



*В книгу писателя и литературоведа Леонида Наумовича Большакова вошли его работы, в которых он с присущей ему «андриковской» свободной и увлекательной манере описывает историю своих открытий, касающихся жизни, судеб и творчества личностей как значительных, известных, так и совсем неизвестных : декабриста Павла Пестеля, вольнодумца Григория Винского, украинского поэта Тараса Шевченко, писателя Льва Толстого, крестьянки Афанасии Скутиной.*

## О СЕБЕ: БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Я родился 1 января 1924 года в г. Сновске (Щорсе) Черниговской области. Отец Наум Борисович всю жизнь работал на земле и в заготовительных пунктах (умер в 1940-м). Мать Соня Наумовна посвятила себя семье (умерла в 1975-м).

Среднюю школу окончил в Чернигове в год и месяц начала Отечественной войны. Там же, еще ранее, после смерти отца, на семнадцатом году жизни стал штатным работником редакции областной газеты. После эвакуации в Оренбуржье с ноября 1941 года до середины 1962-го работал в редакции городской газеты "Орский рабочий", где прошел все ступени творческого и должностного роста.

С Орском связано появление моих первых книг. Орск - это знакомство с моей будущей женой Ириной, студенткой, а затем врачом, любовь, женитьба, рождение трех дочерей. Орского "происхождения" и мои дипломы об окончании учительского, а затем педагогического института (который я окончил первым в истории этого вуза); учился только заочно, совмещая работу с учебой.

Отсюда же ездил в Уральский госуниверситет сдавать экзамены кандидатского минимума; уже была вчерне написана диссертация о связях Льва Толстого с его уральскими, оренбургскими корреспондентами и появились первые крупные публикации по этой теме.

За эти двадцать с лишним лет расставался с Орском только однажды, в 1943-м, когда был призван в армию и уходил на войну. На фронт, однако, не попал, служил в тыловых частях: напоминал о себе туберкулез подростковых лет. Вскоре меня признали негодным к службе и отправили домой.

Крутой поворот судьбы произошел в 1962 году. В Оренбурге возникла студия телевидения, и в обкоме партии решили направить туда редактора Большакова. Хотелось испытать свои силы в чем-то новом, необыкновенном, - и газетчик стал телевизионщиком. В работе учился сам и учил других, набирался опыта, осваивал телевизионные жанры и телевизионную технику - уже вскоре студия была на хорошем счету, ее стали хвалить в Москве.

С телевидением расстался "по собственному желанию", спровоцированному недоброжелателями в обкомовских сферах. Уходил с многотрудного директорского поста с болью в сердце. Лечился от этой боли испытанным способом - работой. И уже через год защитил в Киеве диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Защищался по Тарасу Шевченко, оренбургскому периоду его жизни.

Продержав изрядное время в "ссылке" на малоинтересной и нищенски оплачиваемой работе в "Южном Урале", единственному среди журналистов кандидату наук разрешили, наконец, перейти туда, где ученая степень имела хоть какое-то значение. С 1970 по 1983 год работал старшим преподавателем, доцентом, а затем и профессором по курсам эстетики и этики Оренбургского политехнического института.

На пороге шестидесятилетия ушел на пенсию, что означало полное переключение на литературную работу, которой все годы занимался "без отрыва от производства". Чаще стали выходить солидные тома, появилась возможность подолгу работать в столичных и многих иных архивах. Книги выходили на русском, украинском, польском, греческом, армянском и других языках. Но занимался и "службой" - правда, на общественных началах. Создал и возглавил ежегодный праздник "Шевченковский март", два шевченковских музея, Оренбургский институт Тараса Шевченко, который с 1995 года вошел в систему Оренбургского государственного университета (почетный профессор Л. Н. Большаков - его директор).

Написал более 60 книг, в том числе о Т. Г. Шевченко, Л. Н. Толстом, декабристах, А. А. Фадееве, современниках - людях труда и подвига. За свои книги удостоен Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко (1994) и премии Совета Министров УССР им. П. Тычины

(1982), всесоюзных, республиканских и региональных литературных премий. Удостоен государственных почетных званий "Заслуженный деятель культуры Украины" (1990) и "Заслуженный деятель науки РФ" (1994).

В настоящее время занят осуществлением разработанного мною первого в России регионального энциклопедического проекта.

## От автора. Я – ОДНОЛЮБ

Я - однолюб. У меня одна Родина, одна, на всю жизнь, Жена и одна Страсть. Страсть эта - поиск. Она не оставляет меня с детства (может быть, отрочества или ранней юности), но, конечно, нескончаемо обретает и новые оттенки, и более разнообразные формы, а глубины ее от перехода к переходу меняются, причем, к радости моей, не мельчают. Не дай Бог оказаться на мели; это, по-моему, все равно что потерпеть кораблекрушение. Мне самому моя страсть кажется прямо-таки бездонной, однако тут, вероятно, я себе льщу: все имеет свои ограничители, самый главный (так сказать, универсальный) - душа, степень ее отзывчивости на окружающее, степень восприятия и воспроизведения того, что дорого. Не будучи идеалистом, я в понятие "душа" вкладываю всего человека и все человеческое, постижимое и непостижимое в людях, в себе, то, из чего состою изначально, и каким вылепили меня отец с матерью, среда, время, школа, работа, книги... в общем, сама эпоха, сложнее которой в истории не было.

Поисками нового, разведкой неизвестного живу. Это и радость моя, и мука. То, что не дает мне падать духом даже тогда, когда бывает тяжело. От дел я не бегал никогда, трудного не чурался, ни от чего не прятался - сами понимаете, сколько всякого на долю выпало. И бед всенародных, и испытаний индивидуальных. Героем себя не числю, трусом не считаю, и если что-то отличает меня от многих других, так это страсть и... ее содержание.

Мой бесконечный поиск - в истории давней и недавней, в судьбах личностей великих и значительных (незначительные мне не встречались), в литературах разных времен и народов: от Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Льва Толстого, от Григория Винского и Павла Пестеля до классика поэтической Армении Ваана Терьяна, до человека высокого подвига (и в жизни, и в литературе) Мусы Джалиля. Они со мною, они во мне всегда и во всем; я живу их жизнью, их страстями и стремлюсь узнать о них по возможности все. О Тарасе, Ваане, Мусе...

Искать - значит преодолевать, бороться, драться. Задумываться, ставить задачу, идти к ее решению. Находить, проверять, перепроверять. Упирается в стену и возвращаться назад, чтобы тут же разыскать тропу другую и выходить на путь повернее - без тупика в конце.

Страсть бывает слепой (нечто вроде "любовь зла - полюбишь и козла"), но не о ней сейчас речь, не ее славословлю. Страсть-поиск может быть и эфемерной видимостью, и фантазией самоутешения, и разновидностью эгоистического самолюбования. А может, и самой жизнью - всей жизнью. Ее, такую, и ставлю рядом с высокими для меня словами: Родина... Жена...

Я - однолюб!

## ОТЫСКАЛ Я КНИГУ СЛАВНУЮ

Моему учителю  
Ираклию Андроникову

*Отыскал я книгу славную,  
золотую, незабвенную...*  
А. С. Пушкин

## **ВСТРЕЧА У ПОЛКИ: ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ**

Библиотекари в Оренбурге - люди скромные. Лишь несколько лет тому назад впервые отважились они заговорить о юбилее. Но названные ими четыре десятилетия датой признаны "не круглой", и торжество не состоялось.

Будь друзья мои более искушенными, давно доказали бы они свое право на почет и ласку. И доказали бы не только рабочими заслугами библиотеки, а и возрастом ее - весьма почтенным.

На самом деле главная библиотека области образовалась не на пустом месте. Она стала преемницей и фондов, и многих добрых традиций тех первых, самых первых, библиотек, которые мало-помалу возникали в Оренбурге чуть ли не с начала прошлого века.

Их создавали губернаторы обширного степного края Г. С. Волконский, отец будущего декабриста, и В. А. Перовский, знакомый Пушкина, прототип героя не написанного Л. Н. Толстым романа.

Ими занимались Г. Ф. Гене и В. В. Григорьев - разносторонние ученые, в разное время председатели Пограничной комиссии.

В собиране, стягивание книжных богатств внесли свою долю неутомимый путешественник Г. С. Карелин и первый русский натуралист Э. А. Эверсман, виднейший историк И. И. Рычков и создатель "Толкового словаря" В. И. Даль.

Знавали библиотеки Оренбурга и не менее знаменитых читателей. Многие книги побывали в руках композитора Александра Алябьева, автора романса "Соловей", поэта-петрашевца Алексея Плещеева, польского революционера Зыгмунта Сераковского, прославленного певца Украины Тараса Шевченко.

Давно покинув этот город и уже не первый год томясь на берегах Каспия, он, Шевченко, радовался известию, что его друг, ссыльный поляк Бронислав Залеский, получил предложение стать библиотекарем Оренбургской публичной.

...Да, сорок лет оборачивается полуторастами, и для чествования оснований более чем достаточно. Но это так, к слову...

Книг от времен давних в Оренбурге уцелело немного. Все они (не скажу чтобы свободно, а все-таки без особых затруднений) уместились в той самой дальней и самой маленькой комнатке хранилища, которую работники библиотеки именуют меж собою отделом редкой книги.

Редкие книги тут действительно есть. И даже очень редкие.

"Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие" - первый в России научно-популярный журнал, 1755 года выпуска.

"Труды Вольного Экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства" - вышли в свет в 1766-м...

"Древняя Российская Вивлиофика, или Собрание древностей российских" - издание Николая Новикова: Санкт-Петербург. 1775-й...

Русские литературные альманахи пушкинских времен: "Пантеон русской поэзии", "Новый Пантеон отечественной и иностранной словесности", "Северные цветы", "Новое собрание образцовых русских сочинений и переводов"...

Книга, которую штудировал Пушкин, работая над своей "Историей Пугачева": Алексей Левшин - "Описание киргиз-казацких или киргиз-кайсацких орд и степей"... А также другие из

тех, что значатся в каталоге пушкинской библиотеки; их он читал, над ними думал, на многие откликнулся статьями, рецензиями, письмами...

Рядом с прижизненным томом М. Хераскова - тоже прижизненное, но уже мало кому нужное "Полное собрание стихотворений графа Хвостова"; в близком соседстве со смирдинским Державиным - "Сочинения" В. Петрова.

Писатели выдающиеся и - безвестные, поныне славные и - давно забытые... Труды исторические, географические, медицинские - разных веков, разной ценности... Но от этих книг веет эпохой Радищева, эпохой Пушкина. В них - дыхание далеких времен. Не пыль, а именно дыхание!

И все же - да поймут меня правильно - даже старейшие из названных тут томов уникальными не являются. Каждый из них, без сомнения, можно найти в каталогах ведущих книгохранилищ страны.

Редкости, но - обозрению и изучению доступны...

Иное дело - книги рукописные. Они уникальны уже по самому своему происхождению, по самой природе.

Создавали списки по просьбе, заказу или приказу одного человека, в крайнем случае группы людей, для этого человека или для этой группы. Оседали они, если не зачитывались до дыр, в домах, в семьях, чего только вместе с домами и хозяевами своими не претерпевая.

Списков могло быть больше или меньше, чаще всего один-два, и хорошо, если какой-то по прошествии времени попадал в архив или библиотеку...

Этот - попал. Я имею в виду тот список, точнее, ту рукописную книгу, которая привлекла мое внимание при первом же посещении дальней комнатки в Оренбургской библиотеке. Теперь пришло время сказать о ней больше.

Итак...

Название - "Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821-го года и соприкосновенных оным обстоятельств".

Возраст - около 160 лет (почти вся бумага с водяными знаками 1824 года).

Место пребывания: до революции - Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (об этом свидетельствует штамп на разных страницах), после революции - Оренбургская центральная научная читальня Губполитпросвета (еще один штамп).

Данные наружного осмотра: книга большого формата, размером 194x330 миллиметров; переплет картонный, с кожаными уголками, изрядно потертый, местами порванный и первоначальный цвет утративший; корешок переплета относительно целый, и на коже его, в верхней части, отиснуто: "Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии 1821 года".

Данные внутреннего осмотра: бумага одинаковая, довольно плотная, почти вся с одним и тем же водяным знаком; часть листов, особенно в начале и в конце, пожелтела и покрылась пятнами, большинство же в состоянии вполне удовлетворительном; чернила изрядно выцвели, из черных стали светло-коричневыми, однако прочесть можно всюду и все; нумерации страниц нет (и не было), вообще же их 206, включая несколько совершенно чистых; вся рукопись переписана ровным писарским почерком, расстояние между строками почти везде одинаковое; заметны только две-три карандашные поправки, сделанные другим почерком и вполне поддающиеся прочтению; ширина полей колеблется очень мало, почти незаметно; поля используются для подзаголовков или ссылок на документы, помещенные во второй части книги (ссылок четырнадцать, документов - больше).

Что в этой "анкете" упущено? Прежде всего, даже нет вопроса об авторе. Но если бы такой вопрос и был поставлен, вместо ответа последовал бы вопросительный знак. Ни на обложке, ни на заглавном листе, ни в конце фамилии автора не обозначено.

Есть ли печатное издание этого труда? Где находится оригинал либо иной протограф списка? Кто владел им сразу после переписки? Для чего и кого снята копия?

Вопросы, вопросы. А ответов - нет. Их надо искать.

...Чем дальше следовал я за неведомым мне автором рукописной книги, тем острее становился мой интерес и к событиям, о которых он рассказывал, и вообще ко всему, связанному с этой находкой.

Но отправимся в поиск вместе.

## **ГЛАВА ПЕРВАЯ: ПОД СКРОМНЫМ ИМЕНЕМ "ЭТЕРИИ"...**

Было бы, конечно, лучше, если бы уже до этого вы могли прочесть ее своими глазами. Надеюсь, скоро это удастся. Пока же книга не опубликована и придется довольствоваться пересказом. Сами понимаете - пересказом отнюдь не бесстрастным...

"После трехвекового угнетения турецким правлением воспылал дух свободы между потомками древней Эллады..."

Первые строки...

Когда мы читаем или думаем о Греции, мысли наши устремляются в глубь веков. С уверенностью можно сказать, что многим, если не большинству из нас, в истории этой страны известнее события двухтысячелетней старины, нежели совсем недавних столетий. Это идет от школьных лет.

В школе почти полгода путешествуют по античному греческому миру ученики-пятиклассники. На всю жизнь врезаются в их память клятва афинских юношей, которые жили за четыре столетия до нашей эры: "Я не наложу позора на это священное оружие и никогда не покину своего товарища в битве, где бы я ни стоял... Я буду сражаться за мой очаг и оставлю после себя Отечество не ослабевшим, но более могущественным и сильным..." Эллада, эллины - эти слова звучат для нас как музыка - вдохновенная и яркая.

А в восьмом, значительно повзрослев, те же ученики "проходят Грецию" за какую-то часть урока. Из учебника они вычитывают лишь то, что "великая страна во времена античности, Греция в XIX в. была второстепенной турецкой провинцией", что "в 1821 г. в Греции началась битва за независимость", которая "продолжалась 8 лет - до 1829 г.", когда "греки добились признания их страны независимым государством". Интересуясь подробностями, восьмиклассники узнают одно-единственное: в борьбе греческого народа за независимость принимал участие и отдал свою жизнь великий английский поэт Байрон.

И так не только в учебниках для школ. А в университетских курсах? Разве там соотношение иное? Вот почему добрый мой знакомый, историк по образованию и по профессии, не мог сколько-нибудь подробно ответить на заданный мною вопрос о событиях в Придунайских княжествах. Событиях, которые положили начало национально-освободительному движению 1821 - 1829 годов и в конечном счете - освобождению Греции от турецкого ига. Рукописная книга как раз о двадцать первом - том самом, о котором писал Пушкин:

Война! Подняты наконец,

Шумят знамена бранной чести!

Только первые страницы "Обозрения..." имеют даты иные - излагается предыстория восстания. О чем тут речь?

О том, что "притеснения оттоманов" после трехвекового угнетения сделались для поработанных греков непереносимыми, и желание лучшего бытия внушило им отважность к поднятию оружия против их высокомерных и кровожадных властителей".

О тайном обществе, которое в конце XVIII столетия возникло "в землях, населенных греками", и поставило своей целью "соединение всех соотчичей узами братства и устремление их на низвержение турецкого могущества".

О Ригасе Велестинлисе, основателе и руководителе этой организации: "Сначала ход сего Общества был медленный: невежество и закоснелость в рабстве... поставляло препоны движению... Однако обширные дарования некоего Риги, возведенного на высокую ступень в Союзе, положили прочные основания оному. Рига дал Обществу устройство и определил его действие".

Автору "Обозрения..." принципы построения тайного общества известны. Отчетливо представляет он его структуру - от глубоко законспирированной Главной управы ("известной весьма малому числу и коей начальное пребывание полагают на острове Зацинте") до самых массовых и решающих подразделений ("двух степеней, по коим размещены все члены"). Вновь и вновь подчеркивает летописец конспиративный характер организации: "Члены низшей степени никого не знали, кроме правителя, их принявшего; а правитель никого более не знал, кроме другого правителя\* служившего ему водителем".

По всему чувствуется: этот момент для автора весьма важен. Ему понятны, близки и принципы устройства общества, и продуманная система охраны от чужого глаза, и последовательность действий Ригаса, тех шагов, которые он успел предпринять.

Здесь хочется заметить, что в разысканиях дальнейших мне довелось перечитать почти все, что напечатано о Ригасе Велестинлисе и его организации на русском языке, но ни описания структуры общества, ни многого другого, вычитанного в старом списке, встретить не пришлось.)

Итак, о практических шагах: "Рига поставил правилом сперва разлить между греками просвещение, а потом уже вручить им оружие. Он согласил богатых соотечественников доверить ему своих детей и сам развозил их по разным европейским университетам.

Сии молодые люди, возвратившись в свою землю, стали развивать познания, образовывая различные учебные заведения. Тогда же начались денежные склады и Общество значительно распространилось между греками, так что отделы ононого учредились в знатнейших городах Европы: Вена, Париж, Лондон, Москва..."

Неведомому нам историку деятельность Ригаса известна достаточно подробно. И с глубокой скорбью пишет автор о его гибели - гибели одного из "ревностнейших и способнейших" участников освободительного движения, который "заплатил жизнью за свое предприятие". "Ничто, - продолжает обозреватель, - не могло более нанести вреда грекам, как преждевременная смерть Риги. Общество, потеряв в нем главу свою, лишилось возможности действовать..."

Но память Риги осталась драгоценною для его соотечественников; песнь, им сочиненная, - "Восстаньте, сыны Греции" - известна была каждому греку..."

("Греческой марсельезой" называют "песнь" Ригаса - его прославленный "Военный гимн", который звал к восстанию против султанской власти. Тот, чью рукописную книгу мы с вами читаем, с этим пламенным стихотворением был знаком еще до того, как оно появилось на русском языке в одной из книг "Вестника Европы" за 1821 год. Перевод Н. И. Гнедича звучал чуть иначе: "Воспряньте, Греции народы!" Название, приведенное ранее, скорее всего является переводом вольным - плодом творчества самого автора "Обозрения...", узнавшего "Военный гимн" в подлиннике.)

Рассказ о Ригасе и созданной им организации на том не заканчивается. Рукописная книга пытается раскрыть внешнеполитическую обстановку, которая способствовала подъему национально-освободительного движения среди свободолюбивых греков. И посмотрите, как раскрывает!

«Касательно начала сего первого Общества полагают, что мысль об оном распространена была между греками Наполеоном, когда он был в нерешимости, выбрать для поприща своего Египет или Морею. Замысел его состоял в том, чтобы посредством внутреннего мятежа приуготовить падение Порты без упорного сопротивления и вообще содействовать

распространению вольности, что составляло главнейшую в то время цель мятежного правления Франции. Если нельзя за достоверное принять, что Наполеон участвовал в сокровенном предприятии греков, то по крайней мере нет сомнения, что ход французского переворота более, нежели какая другая причина, внушил грекам (подобно как и некоторым другим народам) стремление к освобождению себя от тягостного ига. Вероятно, немало также содействовали распространяю надежды в сем угнетенном народе частые войны, веденные Россией против турок, и желание покойной императрицы Екатерины, изгнав их из Европы, воздвигнуть в Царьграде престол христианский".

Можно было бы выделить и весь абзац - настолько интересны мысли. Но я подчеркиваю только последние строки - они поразили меня удивительно трезвым, объективным, современным взглядом на историю.

Многие буржуазные историки - особенно французские и американские - и поныне связывают вольнолюбивые планы и свершения Ригаса только с революцией во Франции, только с победами Наполеона (который и на самом деле стремился породить у греков иллюзии относительно своих намерений содействовать их освобождению).

Автор не отрицает влияния, оказанного на греческих патриотов идеями Французской революции, но не может потерпеть, чтобы со счетов сбрасывали Россию...

Подчеркивая роль Русского государства в "распространении надежды в сем угнетенном народе", неизвестный историк - современник событий - выступает предшественником и союзником ученых наших дней.

Советских ученых, которые, признавая определенное идейное воздействие Французской революции, отмечают и другие факторы, повлиявшие на развитие национально-освободительного движения в Греции - в том числе и прежде всего рост политического влияния России на Ближнем Востоке.

"На первый взгляд это кажется несколько парадоксальным, - писал в 1964 году крупный знаток вопроса, ныне покойный А. В. Фадеев, - Россия была в то время страной, где господствовало крепостное право. Русский царизм выступал в роли жандарма Европы, являясь неприменным участником всех коалиций против буржуазной Франции. Малейшие проявления свободомыслия со стороны передовых русских людей беспощадно подавлялись полицией. В области внешней политики царское правительство преследовало завоевательные цели. И несмотря на это выход России к Черному морю и усиление ее политического влияния на Балканском полуострове объективно способствовали развитию национально-освободительного движения народов, поработанных турецкими султанами".

Так или почти так думал и тот, чья рукописная книга лежит предо мною.

После разгрома тайного общества Ригаса Велестинлиса, утверждает он, действия патриотов "едва ли на некоторое время не совсем прекратились". Ему, автору, во всяком случае, неизвестно, чтобы конец XVIII и начало XIX столетия ознаменовались чем-то особенно важным: "По крайней мере в первых годах наступившего века и даже во время последней войны, веденной Россией против Турции (имеется в виду война 1806 - 1812 гг. - Л. Б.), существование Союза ничем не ознаменовалось и сие драгоценное и удобнеее время для блага Греции протекло без всякой для нее пользы. Ясное доказательство, что остатки прежнего Союза слишком были слабы и расторгнуты для учинения чего-либо важного".

Тем не менее общий вывод отнюдь не пессимистичен: "Огромная война за независимость Европы привела в движение все народы, и сотрясения, оною произведенные, оставили в каждом из них сильные впечатления. Греки, хотя наименее участвовавшие в сих важных событиях, почувствовали, однако, некоторую силу, пробуждающую их от ничтожества".

Этот вывод следует как вполне закономерный, хотя с дальнейшей деятельностью патриотических сил автор, кажется, знаком не вполне. Были Христофор Перревос, "Гостиница



греческого языка" в Париже, "Общество любителей муз" в Афинах. Но разобщенность сил греков после гибели Ригаса действительно сомнения не вызывает.

И снова в "Обозрении..." читаем мы о России. На этот раз - как о колыбели нового подпольного политического сообщества. Того, которому суждено было продолжить, расширить, двинуть вперед дело Велестинлиса.

"В недрах России - страны, всегда благодетельствовавшей греческим изгнанникам могущественным своим покровом, - возродился зародыш прежнего разрушенного Союза. В самой Москве (как утверждают тайные показания некоторых греков), куда выгоды торговли привлекли великое число богатых и ученых греков, в 1816-м году возобновлено тайное общество под скромным именем Этерии (означающим просто товарищество)..."

...Этерия!

Почти в те же дни, когда мне попала на глаза рукописная книга "Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821 года и соприкосновенных оным обстоятельств", на экранах шел научно-популярный фильм "По следам Этерии". Украинские кинодокументалисты сняли его к столетия основания "Филики Этерии", в шестьдесят четвертом, а союзный кинопрокат разослал для показа по всей стране где-то в середине 1965-го.

За двадцать минут - столько идет эта лента - мы, зрители, словно прожили с ее героями всю их большую жизнь, прошли их долгим и трудным путем.

Но раньше всего каждый из нас вошел в старый двухэтажный дом в одном из одесских переулков, поднялся по гулкой лестнице, раскрыл дверь и... услышал странный разговор: "Нет ли у тебя трубки?" - "Трубки? Нет. Зато у меня есть лапоть". В сочетании с заранее обусловленными жестами слова эти означали пароль, благодаря которому единомышленники узнавали: свой.

- Вначале, - шел рассказ за кадром, - их насчитывалось только трое: Николай Скуфас - мелкий лавочник, родом из Арты, Эммануил Ксантос - приказчик, родом с острова Патмос, Афанасий Цакалов, сын купца, родом из Янин. Это было в Одессе 1814 года.

Стоп! В четырнадцатом? В Одессе? Рукописная книга называет шестнадцатый и - Москву. Создателями "Этерии" в ней значатся семеро. Три имени - те же, что в фильме: Цокалов, Скуфо, Занто. Да, в рукописи они читаются по-другому, особенно Занто Ксантос, и значатся против этих имен адреса иные, непохожие: против первого - Нижний Новгород, второго - Москва, третьего - Измаил. А четыре других? Они - "Ралатий с острова Корфу (убитый своими товарищами)... Афанасий Анагностопуло, торговец из Одессы... Антон Комитапуло - московский житель... Амфинос Гази - архимандрит".

"Сии семь человек (причем "первым основателем и наиболее достойным уважения" называется Цокалов-Цакалов. - Л. Б.), присоединив к себе еще шесть других в Одессе, понеслись во все страны греческого населения провозвестниками сокровенного их предприятия с тем, чтобы соединить неразрывною связью рассеянных соотчичей и пожертвованиями их составить значительные денежные склады для важных последующих действий".

Когда это все-таки произошло? Где? И отчего расхождения?

Фильм - необычный источник научных доказательств (если, конечно, касаются они не вопросов самого киноискусства). Но этот - из числа фильмов-исследований: увлекательность построения сочетается в нем с отчетливо видимой научной новизной. К тому же в титрах ленты, после незнакомой фамилии сценариста и режиссера (А. Воязос), значится в качестве консультанта

Г. Арш, а его имя мне запомнилось в связи со статьями в академических журналах и сборниках.

Без основательного изучения трудов исследователей эпохи не обойтись и мне. Быть может, они и помогут разобраться в недоуменных вопросах относительно дат, географии, имен...

Нередко приходится слышать, что, мол, искомая книга нашлась в лабиринтах книгохранилищ. Что это значит, мне понятно: каталоги... шифры... стеллажи... полки... Но книгу "Тайное общество "Филики Этерия" не успели ни внести в каталог, ни унести в хранилище. Изданная Академией наук в ее научно-популярной серии, она тогда только-только покинула типографию и прибыла в библиотеку далекого от Москвы Оренбурга. Ту самую, где с неведомых времен тихо-чинно лежала другая книга о тех же событиях - им, событиям, ровесница.

"Первая советская работа о "Филики Этерии" - так характеризовала книгу Г. Арша профессор А. М. Станиславская, автор предисловия и ответственный редактор.

А моя находка... какое место должно быть отведено ей? По времени написания она могла быть первой вообще. И уж от одного такого предположения перехватывало дыхание.

На широком историческом фоне, последовательно и убедительно раскрывал Г. Арш опасный, долгий и благородный путь борьбы греков за свержение османского ига. Только узнав о всех ужасах турецкого господства, вникнув в перипетии политической борьбы, поняв социально-экономические противоречия на Балканах и вообще в Европе, можно было оценить и роль поэта-революционера Ригаса Велестинлиса, и значение связей Греции с Россией, и поистине выдающееся место "Филики Этерии". Ей посвящена главная и, пожалуй, самая яркая часть этой книги, обращенной в равной степени к историкам, литературоведам и широким кругам читателей.

Годом создания "Филики Этерии" ("Дружеского Союза") исследователь считает 1814-й, местом рождения - Одессу, основоположниками - Николаоса Скуфаса, Эммануилоса Ксантоса и Афанасиоса Цакалова. Расхождений между книгой и фильмом нет.

Но книга, естественно, обстоятельнее: всевозможных сведений в ней больше. Любые же сведения, пусть самые косвенные, приближают к истине.

Почему в "Обзрении..." называется год 1816-й? Это наверняка не описка автора. Организационная структура будущего революционного общества была в основном выработана к сентябрю четырнадцатого. Однако в 1814 - 1816 годах число вовлеченных в нее оставалось ничтожно малым. Продолжительное время "Филики Этерия" ничем себя не обнаруживала. Именно к шестнадцатому относятся первые ее шаги навстречу активной деятельности. Не исключено, что было это связано с возвращением в Россию графа Иоанна Каподистрии. На его влиятельную поддержку этеристы рассчитывали в большой степени.

Что касается Москвы как места создания общества, то невозможно не увидеть, что многие начальные и последующие организационные шаги на самом деле связаны с нею. В Москве, куда из Одессы отправились Скуфас и Цакалов, завершилась окончательная выработка структуры организации. Называя родиной "Этерии" именно этот город, автор, думается, исходил также из того, что Цакалов, которого он величает "первым основателем" общества, являлся сыном крупного московского торговца мехами и давно уже, по существу, москвичом, хотя по делам торговым жил и в Нижнем Новгороде, и в Одессе. "Жителем Москвы" именуется в рукописной книге и Скуфас.

И шестнадцатый вместо четырнадцатого, и Москва вместо Одессы, и семь основателей вместо трех - каждое из этих расхождений в отдельности, а тем более все они вместе, свидетельствуют, что сведения получены не от Скуфаса, Цакалова или Ксантоса (их информация была бы точнее), а от других лиц - в истории и характере движения осведомленных, однако с началом его

во всех деталях незнакомых.

Тем не менее осведомленность обозревателя поразительна. В знании принципов, "по коим сие новое Общество должно было действовать": "Члены разделились на 5-ть степеней. Первая заключала в себе людей необразованных и могущих только служить простыми воинами. Вторая имела также людей необразованных, но приносящих денежные жертвования. Третья содержала тех, кои не только собою и имуществом жертвовали, но еще обязывались собирать некоторую часть войска. Четвертая включала людей, способных по образу воспитания к занятию мест высших, и, наконец, к пятой степени принадлежали люди, избранные в предводители народа и Этерии". Досконально автору и его информаторам известны правила посвящения в этеристы: "Принимаемые обязывались клятвою, произносимую на Евангелии, в том, чтобы отнюдь не открывать тайн Общества, быть верными Отечеству, строго и беспрекословно повиноваться повелениям, кои даны будут именем основателей Общества, если бы даже повеления сии заключали в себе убийство ...брата..."

Это похоже - очень похоже - на принципы тайного общества Ригаса Велестинлиса.

Но вдруг в совершенно спокойное течение рассказа, в сдержанный и доброжелательный его тон врываются иные, неожиданные ноты: "...и хотя имя мужа, драгоценное для каждого грека, везде гласимо было новыми основателями Общества, но добродетели его не перешли к ним в наследство".

Откуда такой вывод? Чем мотивирован?

"Хищничество, ложность и убийство - были те орудия, коими они вознамерились действовать и от коих надлежало ожидать в самом начале гибельных следствий".

Значит, безоговорочного одобрения делам этеристов в "Обозрении..." нет?

Давайте поразмыслим.

Тот, кто писал "Обозрение...", своих чувств к угнетенному и свободолюбивому народу не таит с первых же строк. Не скрывает он и симпатий к поднявшим знамя освобождения Греции. К Рига-су и созданной им тайной организации... К Цакалову и другим, возродившим прежде разрушенный союз, вернее - создавшим новый...

(Такие же чувства испытывал Пушкин, когда вопрошал:

Что ж медлит ужас боевой?

Что ж битва первая еще не закипела?)

Недоверчиво-критическое, порой даже резко критическое, отношение к организаторам "Филики Этерии" появляется у автора под влиянием событий последующих. Действия 1821 года явно не оправдали надежд, которые возлагались им на новое общество. И в политическом, и в военном отношениях руководители его оказались далеко не сильны; отсутствовала глубоко продуманная стратегия и тактика; для иных этеристских революционеров - выходцев из греческой буржуазии - важнее общенародных были интересы своекорыстные. Эти недостатки, бесспорно крупные, после поражения восстания в Дунайских княжествах заслонили собою многое светлое из начальной истории организации.

Отсюда-то разочарование, отсюда раздраженные ноты, на которые и обращаешь внимание по ходу чтения.

(Между прочим, подобная перемена произошла в те годы во взглядах на греческие события у Пушкина. Пусть не окончательная и бесповоротная - лишь на какое-то время, а произошла, и случилось это тогда же, когда рождалась рукописная книга неизвестного автора. Небезынтересное совпадение, не так ли?.. Но это просто "к слову". Какие-либо логические построения делать из своего наблюдения я пока не собираюсь. Только констатирую факт и только размышляю.) Цепь размышлений закономерно приводит к одному: слова, нелестные для руководителей "Филики Этерии", ничуть не умаляют сочувствия автора движению этеристов - они лишь выдают боль и горечь его несбывшихся надежд...

Но продолжим дальнейшее знакомство с "Обозрением..." Как и на предыдущих страницах, оно останавливает наше внимание на главном.

А главное - в той роли, которую создатели "Этерии" отводили России. "Не быв известны никому в Греции, они объявили главою Союза императора Александра и, сею мерою приобрета большое число сообщников, безотчетно располагали денежными сборами". Далее это положение развивается. Автор сообщает, что, например, сулиоты (жители Сули, полунезависимой горной общины Эпира. - Л. Б.) посылали своих поверенных в Петербург для выяснения того, "справедливо ли, что Россия обещает покровительство свое грекам". Значит, заинтересованность в этом проявляли не только основатели организации, а и рядовые участники.

Во всех трудах о греческом национально-освободительном движении упоминается имя графа Каподистрии - грека по происхождению, видного русского дипломата, активного поборника дружбы России с Грецией, а впоследствии - первого президента своей, освобожденной от турецкого ига, отчизны. Называется это имя и в рукописной книге.

Стремясь крепить авторитет "Филики Этерии", ее организаторы стали думать над тем, кому из людей известных, народом признанных, можно предложить "предводительство сего Союза". Цакалов отдавал предпочтение "князю Караджа, бывшему в Пизе", но Ксантос - и, очевидно, не он один - стоял за то, чтобы во главе общества был Иоанн Каподистрия. С целью уговорить его Ксантос отправился в Петербург. Однако миссия успехом не увенчалась. "Отказ, на сие последовавший, - что чиновник Российского министерства не мог вступить в сношения с Тайным союзом, не навлекши подозрения на самое министерство, - принудил Занто обратиться к князю Александру Ипсилантию, генерал-майору в службе государя императора".

"Для соглашения его (Ипсиланти. - Л. Б.), - говорится в "Обозрении..." далее, - ...Занто объявил, что великое размножение членов Этерии до высшей степени возбудило дух свободы между греками и что если не найдется способный муж для направления сего пылкого чувства, то все племя греческое, тяготимое турецким игом, подвергнется истреблению, ибо скоро и противу своей воли обнаружится сей тайный замысел... Князь Ипсилантий, принявший на смертном одре отца своего последнее завещание и давший клятву ему принести жизнь свою на освобождение Греции, вникнул в убеждения членов Этерии и, получа доверительные письма от именитейших греков Морей, Архипелажских островов, Фессалии и Эпира,- облекся в звание Полномочного вождя всех Греческих сил".

Это свершилось в 1820-м. Во главе тайного общества стал человек популярный, почитаемый, пользующийся уважением греков и к тому же занимающий довольно высокое официальное положение. На повестку дня был выдвинут вопрос, как скорее привести в ход силы, которые давно уже ждали сигнала к битве.

"Некоторые историки утверждают, что не только Каподистрия, но и царь знал о замышляемом Ипсиланти предприятии, - пишет в уже цитированной книге Г. Арш. - Рассказывают даже, что Ипсиланти перед своим отъездом встретился с русским самодержцем в дворцовом парке Царского Села и тот якобы "благословил" вождя "Филики Этерии" на дело освобождения Греции. Утверждения эти, однако, далеки от истины..."

Автор рукописной книги по сему поводу высказывается неопределенно: "Для исполнения предприятия своего в половине 1820 года он (Ипсиланти. - Л.Б.) испросил позволение у государя императора отлучиться за границу..." Согласитесь, что понимать такое утверждение можно по-разному. То ли "испросил позволение... отлучиться за границу... для исполнения предприятия", то ли целей поездки не раскрывал, а предлог выставил иной, личный, хотя ехал во имя "предприятия".

Мне сдается, что такая расплывчатость не случайна и вызвана не авторской неосведомленностью. О, осведомленность у него исключительная!

Чтобы убедиться (и убедить) в этом еще более, заключительную часть первой главы "Обозрения..." мы с вами прочтем вместе, и притом почти полностью. Вот она... читаем...

"Для исполнения предприятия своего в половине 1820 года он испросил позволение у государя императора отлучиться за границу, с тою, вероятно, целью, чтобы, объехав Европу, войти в прямое сношение как с своими единомышленниками, так и с чужеземными свобододумцами... и, приуготовив посредством журналов и издаваемых книг умы всех правительств к предстоящим явлениям, возбудить их противу турецкого самовластия. Но прежде сего он прибыл летом в Одессу и, проведя там несколько месяцев, проехал через Аккерман, Киллию и Измаил в Кишинев и повсюду старался преклонить живущих там греков содействию в общем намерении. В Кишиневе ждал он дальнейших известий и предполагал, что решительное действие не прежде двух лет могло начаться. В продолжение сего времени учредил он эфории в Царьграде, Одессе, Яссах, Бухаресте, Галаце, Кишиневе, Измаиле и Томарове.

Между тем доходящие до него уведомления заставляли полагать, что способы греков значительно умножились и что, по мнению рассеянных везде этеристов, отлагательства допускать было опасно, ибо Порты, уведомленная будто бы английским министерством о действиях Этерии, начинала уже оказывать подозрения и что по сему гонения не замедлили бы последовать. Притом о способах говорили, что в Булгарии было 13 т. вооруженных людей, готовых к восстанию, Сербию объявляли в возмутительном состоянии, Валахию - недовольною притеснениями бояр и господаря, Морею и острова - воздвигающими знамена свободы, Али-пашу - действующим к одной цели с греками, Константинополь - на краю гибели, долженствующей превратить в пепел сию столицу и предать во власть греков Топчану, Галату и Кесарею. По сим известиям ожидали, что 80 т. человек в разных местах уже находились под оружием и что огромные денежные склады повсюду были заготовлены. Сверх того, политические дела прочих держав и почти беззащитное положение Турции казались способствующими предприятию греков. Персия готовилась к войне с Турциею и должна была удержать анатолийские войска в Азии. Переворот в Неаполе обратил на себя все внимание Австрии, и со стороны сей державы не предстояло опасности. Некоторые утверждают, что карбонарии имели также сношения с греческими этеристами и возбуждали их к скорому восстанию. Все сии причины, однако, не были бы к тому совершенно достаточными, если бы Ипсилантий не возлагал твердой надежды на сильную помощь России.

В таком положении дел он оставался в нерешимости и ожидал случая, долженствовавшего утвердительно показать время к начатию решительных действий. Направление же сим последним полагал дать следующее. Переплыть Морею и там учредить ядро всей Греческой силы и средоточие Верховной власти. Тогда, по данному общеусловленному знаку, в одно время и во всех европейских владениях Порты развернуть знамена бунта и истребить всех турецких правителей. А в самом Царьграде зажечь все концы города и при таком общем пожаре умертвить султана, завладеть арсеналом и, тем разрушив основание оттоманского правления, поселить беспорядок и слабость во все отрасли оногo. Для совершения сего предначертания два раза князь Ипсилантий решался сесть на корабль в Измаиле и отплыть в Морею; но Занто его удерживал и склонял к нападению на турок со стороны Молдавии и Валахии, дабы тем оттянуть силы турецкие к Дунаю - облегчить оборону Морей, а равным образом дабы близким присутствием греческих войск возмутить сербов и болгар.

Наконец, мятеж, случившийся в Валахии в начале генваря 1822-го (описка: 1821-го. - Л. Б.) года, отважил Ипсилантия на принятие совета Занто..."

Поистине любой историк может позавидовать и такой осведомленности, и такой неказенной выразительности.

Слово звучит... Звучит сама история...

(Как не вспомнить тут письма о греческих событиях из эпистолярного наследия Пушкина? Не знаю, как вы сейчас, а я, прочтя цитированные страницы "Обозрения...",

потянулся к последнему пушкинскому тому - настолько близким показалось при чтении одно другому.

"Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь последствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы. Греция восстала и провозгласила свою свободу".

Это Пушкин - письмо 1821 года.

"Дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие..." - написано двумя годами позднее, и тоже им, Пушкиным. Такие высказывания разбросаны по многим страницам его сочинений.

Пушкин... Почему он вспоминается все чаще? Не потому ли, что в "Обзрении..." описания событий и их оценки в чем-то близки его, пушкинским?)

...История звучит! Но кому мы этим обязаны? Уж если, только начиная читать, так часто думаешь о Пушкине, то сами понимаете, как трудно не знать. Кто автор?

\* \* \*

Чем загадка запутаннее, тем больше вызывает она мыслей, сомнений, догадок. Множество их нахлынуло на меня сейчас - волнующих, заманчивых, дерзких. Да каких еще дерзких!

Но даже сомнения должны иметь под собою основания, а уж предположения - и говорить не приходится. Так нужно ли спешить их выкладывать?

...Пусть не заподозрят меня в нарочитом "усложнении сюжета" - в конце этого предложения я поставлю многозначительные точки, а сам... сам переключусь на другое...

## **ГЛАВА ВТОРАЯ: ФИЛИМОН ИЛИ... НЕИЗВЕСТНЫЙ?**

Открывают и известное.

Принципиально отличное от прежних решение мудреной задачи, неожиданно узанный среди давно описанных бумаг шедевр гения, самобытное поэтическое прочтение знаменитой древнерусской поэмы или опознание творения Леонардо в картине "безымянного автора" - все это открытия, да такие, о которых можно мечтать.

Но раньше, чем произнести свое о том слово, нужно знать все, сказанное о предмете облюбованном до тебя, прежде.

Не пришел ли к тому же решению другой математик? Не высказался ли по поводу авторства шедевра иной литературовед? Является ли новое прочтение древней поэмы более оригинальным, нежели предыдущие? А мысль о Леонардо - не возникала ли у знатоков живописи других стран и времен?

Открытие не может быть следствием незнания. Оно воздвигается на прочном, веками создаваемом фундаменте знаний.

Несколько лет тому назад один из советских ученых-пушкинистов обратил внимание на старую греческую книгу об истории "Этерии", до той поры русскими исследователями не учтенную. Книга была не только внесена в библиографию работ о движении греков, но и утвердилась там под № 1.

Вот оно, это издание. На титульном листе напечатано: "И. Филимон. Опыт истории "Филики Этерии". А ниже: "Нафипион. 1834".

Сейчас ученые всего мира считают книгу Филимона первым специальным историческим трудом о тайной организации греков. Своего значения она не утратила до сего дня. И не удивительно: автор сам являлся очевидцем многих событий. В течение всей войны за независимость ему довелось служить у брата Александра Ипсиланти - Димитрия. День за днем общался он с видными этеристами, особенно из наиболее демократического крыла. Источником материалов стали для него сами деятели национально-освободительного движения - их рассказы, донесения, письма.

В труде Филимона многое не сказано или не раскрыто. В год, когда "Опыт истории..." вышел в свет, еще не были доступны основные архивные фонды "Филики Этерии", а сама она находилась у тогдашних правителей Греции "на подозрении". Правители эти придерживались прозападной ориентации и думать спокойно о том, какую роль в освобождении их страны сыграла Россия, не могли. В таких условиях, разумеется, не обо всем и не о всех напишешь.

Но основы будущих исследований о тайной организации греков были заложены именно Филимоном. Им, а не, скажем, Ф. Пукевилем - французским дипломатом, в книге которого (она вышла раньше, еще в 1825-м) политическая организация "Филики Этерия" была перепутана с культурно-просветительной - "Филомузос Этерия"...

Тех, кто заинтересуется историографией вопроса, я отсылаю к уже упоминавшейся мною книге Г. Арша, а также к его статье в журнале "Новая и новейшая история". Здесь можно узнать о книгах историков разных стран: греческих (прежде всего, об "Очерке греческой революции" Филимона - в четырех томах, вышедших в 1859 - 1861 годах; книгах и статьях В. Вакалопулоса, Д. Коккиноса, Я. Нордатоса, Т. Вурнаса), румынских (Н. Камариано, А. Виану), американских (Б. Джелавич), немецких (К. Мендельсон-Бартольди) и других.

Труды дореволюционных русских историков, которые были бы посвящены "Филики Этерии" специально, в обзоре не названы. Работы М. Нечкиной, А. Фадеева, А. Станиславской, И. Иоввы, Г. Арша, О. Шпаро относятся уже к советскому периоду, в основном - к годам пятидесятым-шестидесятым.

Растущий интерес нашей исторической науки к одной из страниц революционного прошлого Греции сомнений не вызывает. Но можно ли утверждать, что в прошлом веке такого интереса не проявлялось? Конечно же, нет.

Официальная историческая наука России фундаментальных исследований о борьбе греков за независимость и в самом деле нам не оставила. (Исключение составляют разве вышедшие в шестидесятые годы книги Ф. Феоктистова, Г. Палеолога и Я. Сивиниса, которые освещали не начальный, а более поздний этап движения.) Слишком тесными были русско-греческие революционные связи, чтобы власть предрержащие таким изысканиям покровительствовали...

Однако события столь широкого общественного резонанса не могли не привлечь к себе внимания уже в те годы, когда они происходили, и прежде всего людей свободолюбивых, свободомыслящих.

В большей ли, в меньшей ли степени, но отозвались на них многие декабристы: Орлов, Штейнгель, Кюхельбекер, Пестель, Лунин, Раевский, Тургенев, Лорер, Поджио, Рылеев, а также Булгарин, Фонвизин... Позволю себе сделать выписки.

М. Ф. Орлов: "Не смейтесь над Ипсилантием. Тот, кто кладет голову за отечество, всегда достоин почтения, каков бы ни был успех его предприятия. Впрочем, он не один, и его покушение не презрительно ни по намерению, ни по средствам..."

П. И. Пестель: "Если существует 800 тысяч итальянских карбонариев, то, может быть, еще более существует греков, соединенных политической целью..." Н. И. Лорер: "Более всего воспламенило молодежь известие о восстании в Греции. Все были уверены, что государь подаст руку помощи единоверцам и что двинут нашу армию в Молдавию..."

В. К. Кюхельбекер:  
Друзья! Нас ждут сыны Эллады!

Кто даст нам крылья? Полетим!  
Сокройтесь горы, реки, грады, -  
Они нас ждут - скорее к ним!

Г. С. Батеньков: "На пути из Москвы я начал рассуждать о делах греческих, обращался на Россию и жалел, что у нас географическое положение не представляет никакой удобства к восстанию".

П. Г. Каховский: "Единоверные нам греки... тонут в крови своей..."

Выписки могли бы занять еще немало страниц. Некоторые высказывания хорошо известны и приводятся часто, другие широкого распространения не приобрели. Но в этом месте подчеркнуть хотелось бы иное.

Слова Орлова почерпнуты из письма его к невесте, Е. Раевской; высказывание Лорера - из "Записок", открытых уже в советскую пору; стихи Кюхельбекера - из сборника, который вышел в свет через много-много лет после смерти автора; заявления Батенькова и Каховского - из материалов следствия по делам декабристов.

Специальных статей, а тем более специальных книг, посвященных восстанию греков, в литературе декабристов неизвестно.

Не было или не сохранилось?

Возможно, и не сохранилось. Несчетное количество ценнейших бумаг сгорело в печах перед обысками, арестами. Муравьев бросил в огонь сочинения свои и Лунина; предали пламени записки, документы, письма Пестель, Кюхельбекер, Батеньков, Муханов. Много было спрятано, а затем не взято из тайников обратно; на десятки лет отправились их владельцы в края далекие, и большинство уж к местам былой службы не вернулись. Кто может определенно сказать, что среди бумаг утраченных - сожженных, закопанных, потерянных - не погибли готовые, или еще не готовые, рукописи о борьбе греков за независимость? А если не рукописи, то материалы?

Сколько они могли бы написать и - сделать!..

"...Я твердо уверен, что Греция восторжествует, а 25 000 000 турков оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла".

Это снова Пушкин. Написанное им о тех событиях известно, кажется, до последней строчки. Несколько стихотворений: "Гречанка верная, не плачь...", "Война", "Дочери Карагеоргия"... Маленькая повесть - "Кирджали"... Разрозненные заметки о восстании Ипсиланти и о Пенда-деке, строки в письмах, наброски ненаписанного...

Собрать все вместе, строка по строке - получится довольно много. Много и... мало! По объему - раза в три-четыре меньше рукописной книги. А по характеру, по содержанию? Так и думаешь: заготовки, наброски для будущего. Можно ли поверить, что "Заметка о восстании Ипсиланти" и "Заметка о Пенда-деке" (та и другая - по страничке) это и есть весь пушкинский "журнал о греческом восстании"?

"Журнал..." Каким он мог быть? Не таким ли, как эта книга неизвестного автора?

"После трехвекового угнетения турецким правлением воспылал дух свободы между потомками древней Эллады..." Чеканная, звучная русская проза. Или - преувеличиваю?

...Вернемся, однако, к вопросу, поставленному ранее. Так не было или не сохранилось? У декабристов? У Пушкина?..

Вопрос этот - прежде всего к себе. И не риторический - конкретный. А ответишь не вдруг, не сразу. Сами посудите: могу ли, имею ли я право сказать "не сохранилось", а тем паче - "не было", если предо мною рукописная книга, от начала до конца посвященная тем историческим событиям и, что очень заметно, пронизанная духом вольнолюбия.

"От начала..." С начальными страницами вы уже знакомы. "До конца..." О заключительном разделе речь пойдет где-то впереди. Тем не менее одну-две выдержки хочется привести уже здесь.

"Происшествия 1821 г. займут место в летописях мира, - как бы подводит итог автор. - Для человека, вскользь смотрящего на явления, они представляют замечательный беспорядок, льющуюся кровь, опустошенные поля изобильных стран, малое число твердых и великое малодушных характеров. Но явления сии при внимательном и глубоком рассмотрении хранят в себе драгоценные поучения для народа, верные руководства для людей..."



"Дух бодрости, отваживающий на гибель, равно необходим как для блага одного лица, так и для целого племени... Но безусловная покорность нераздельна с презрением: она внушает другим понятие о нашей слабости и ободряет их на причинение нам безнаказанно оскорблений..."

Разве все тут не говорит, не убеждает, не доказывает, что автор рукописной книги отнюдь не официальный летописец, что по взглядам своим, по отношению к событиям он мог, вполне мог быть декабристом (или очень к декабристам близким)?

Не потому ли книга и осталась неизданной?

Будь она напечатана в свое время, мы сейчас открывали бы список книг о национально-освободительном движении греков именно этим, русским трудом, а вовсе не книгой И. Филимона, написанной только десять лет спустя. Ведь труд русского историка-современника (притом осведомленного) родился задолго до того, как довел свою книгу до конца его греческий коллега. Вопрос, вынесенный в название главы, - "Филимон или... Неизвестный?" - ответ получает определенный.

По следам "Неизвестного" мы с вами еще пойдем. Это, надеюсь, будет и увлекательный, и небезрезультатный поиск. Кому не понятно, что вопрос об авторе книги - важнейший? Но в этой главе касаться его мы больше не станем.

Раньше надо убедиться в другом.

Два вида запросов были разосланы мною по крупнейшим библиотекам и архивам страны в начале работы.

В библиотеках я спрашивал: имеется ли в их фондах, в печатном или рукописном виде, под этим или другим названием книга "Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821-го года и соприкосновенных оным обстоятельств"?

В архивах интересовался только рукописями и списками. Нет ли такой, как у меня? Схожей с моей? Другой, но о тех же событиях?

На письма приходили ответы. Из библиотек - короткие "нет", "неизвестна", "не значится". Из архивов - пространнее: "Запрашиваемой рукописи не имеем, но..."

Ох, уж эти "но" - как много подчас за ними кроется!

В Центральном государственном военно-историческом архиве, исторических архивах Москвы и Ленинграда, Пушкинском Доме, Архиве литературы и искусства, рукописных отделах библиотек Российской государственной, имени Салтыкова-Щедрина оказалось немало бумаг, в той или иной степени отразивших греческие события двадцатых годов. Рукописи же, подобной "моей", пока не обнаружилось.

"Пока"? Я осторожен. Поиск будет развиваться, и находки еще возможны. А вот что касается изданий печатных, то их нет наверняка. Нет, потому что не было... В этом, сами понимаете,

мне хотелось утвердиться тоже. Не "престижа" ради, но во имя полнейшей научной добросовестности.

...А засим возвратимся к рукописной книге в Оренбурге. Возвратиться - пора...

## **ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ЛАДЬЯ ВЫХОДИТ В МОРЕ**

Заканчивая начальную главу, мы оставили Ипсиланти в преддверии активных действий. И вот - бой грянул, все пришло в движение...

...Первая "военная" глава рукописной книги посвящена событиям, которые разыгрались в Валахии. Мятеж, волнение, возмущение - как только не именует их автор! Среди самых разнообразных определений есть и такое: "замечательные происшествия". Замечательные, слышите?

Каждому, кто изучал творчество Пушкина, запомнилось, что о движении этеристов поэт мечтал написать поэму, и героем ее должен был стать Георгиос Олимпиос - по-другому, Иордаки. Примечательный факт биографии поэта вспомнился мне в ту минуту, когда это имя впервые возникло на одной из страниц рукописной книги: "В числе сообщников "Этерии" в Валахии находился сердарь Иордаки, начальник арнаутов при владетельном князе Александре Суццо..."

Характеристика Иордаки вполне определена: "Предан будучи всеми мыслями делу Союза, он неослабно размножал число своих приверженцев и все сильно старался не только греков привлекать к своему предприятию, но и народ Валахии заставлять принять участие в оном. Будучи ж от природы нрава сурового и упражняясь в ремесле военном, он более на военных мог иметь влияние..."

Намерение его заключалось в том, чтобы вместе с Тудором Владимиреску разжечь революционное пламя в Валахии и Молдавии.

Автору "Обозрения..." известно, что Иордаки и Владимиреску были в дружбе, причем дружба началась еще с последней русско-турецкой: первый "начальствовал небольшим отрядом хорват", второй - "пандурами, занимавшими тогда под владением русских войск Малую Валахию". Для него не тайна, что к Владимиреску Иордаки обратился исключительно, "дабы возбудить валахов", и союзу их способствовало недовольство румынского крестьянства господарями фанариотами. Несправедливость, притеснения, по поводу которых негодовал Тудор (в списке - Феодор) Владимиреску, и привели к тому, что он "легко согласился на предложение Иордаки" о совместных действиях.

Любопытно применительно к нему выражение "прилепившись": "...прилепившись к Греческому Союзу, решился оказать оному пользу..." О многом говорит это емкое слово! Перечитывая страницы книги, убеждаешься: кто-кто, а уж автор сознавал социальную природу восстания. Он видел истинные цели Владимиреску: превратить национально-освободительное движение греков в общий поход поработанных народов. Поход, в рамках которого станет возможным осуществить крестьянскую революцию у себя на родине. Нет оснований сомневаться и в добросовестности передачи событий дальнейших.

Немало довелось мне в последнее время прочесть о днях, когда в придунайских княжествах стал заниматься пожар освободительной борьбы. Сопоставляя, сравнивая прочитанное - в книгах новейших и в этой, рукописной, - не мог я не подивиться тому, как скрупулезно автор "Обозрения..." прослеживал все перипетии тогдашней обстановки. И хотя он шел по горячим следам событий, писал тогда, когда все еще бурлило и кипело, в значительной части своих суждений он современен нам, рассматривающим ту эпоху с высоты полутора столетий.

...Великое искусство - быть кратким. Кратким - и в то же время не упустить ни одного существенного момента истории. Автор "Обозрения..." таким искусством владел отменно. Коротка главка "Возмущение в Валахии", а узнаешь из нее больше, чем из иных толстенных фолиантов.

Об Иордаки и Владимиреску: их прошлом, характерах, устремлениях, целях. О положении валашского народа и программе патриотов.

Об "удобном случае" для начала восстания: смерти господаря Александра Суццо, беспорядках и надеждах, ею вызванных.

О походах Владимиреску с отрядом из тридцати восьми арнаутов по селам Малой Валахии "для воззрения мятежа". О популярности этого похода: "Вскоре народ толпами начал к нему стекаться".

Об интернациональном характере движения: вовлеченными в его орбиту оказались пандуры и сербы, греки и арнауты.

О шагах политических и дипломатических: обращениях к турецкому султану, русскому царю и другим монархам. И о мерах, которые приняли валахские власти: запросах, посулах, угрозах, наконец - формировании ими нового войска, дабы противопоставить восставшему.

"Между тем Феодор Владимиреско, с толпами предводительствуемого им народа, распространял повсюду пламя мятежа со стороны гор и подвигался к Крайову - главному городу Малой Валахии. Монастырь Мотрю, лежавший на пути его и защищаемый некоторым числом арнаутов, сдался ему на договор, и все бывшие там бояре и войска выпущены без всякого притеснения. В то же время с другой стороны от Бухареста шел к Крайову Иордакий со своим отрядом, простиравшимся до 600 человек. Жители города, опасаясь ужасов кровопролития, предались бегству. Диван, приведенный в смятение, собрался для совещания и, недоумеая в выборе средств к восстановлению порядка, действовал по мгновенным внушениям. Самуркаш именем всего правительства объявил, что проступок возмутителя будет прощен, если он, распустив толпы, явится в Крайов и представит желанья народа. Но Владимиреско, отвергнув сие предложение, писал в ответе Дивану, что народ требует возвращения всего того, что боярами и правительством у него ограблено и что впредь желает неперменного соблюдения законных прав, определяющих меру податей и повинностей. Тогда бояре, приведенные в страх сим отказом, старались возможно привлечь к своим выгодам Иордания и предложили ему в награду 8000 пиастров при многих других выгодах, если он истребит Владимиреско и разгонит его войска. Здесь Иордакий, сбросив личину, объявил боярам, что, гнушаясь обманом, он не желает их денег и вместо вражды питает дружбу к Владимиреско. Открытие сие лишило последней надежды Крайовский Диван..."

Повстанцы получили возможность соединиться. Была создана управа. Автор называет имена: Владимиреско, Иордакий, Фармакий, Гадки Продано, Македонский. "Все сии братья должны были иметь равную власть и действовать по общему согласию". Но подлинного объединения не произошло. ...Рассматриваемую сейчас главу я где-то ранее обозначил как военную. Вносить в это определение поправку оснований, пожалуй, нет, хотя, как утверждается в ней дальше, "невзирая на смятение, в коем находилась Валахия, доселе еще не было пролито крови". Действительно, крови пролито не было, и тем не менее активные действия развернулись, пламя борьбы разгорелось: "Слух о всех сих замечательных происшествиях быстро донесся до Молдавии и послужил общим знаком к начатию решительного восстания греков".

Сигналом же, как можно судить и по "Обозрению...", стало учиненное Каравием истребление турок в молдавском городе Галаце. В нескольких строках - весь ход и все результаты этой акции, проведенной 21 февраля не без команды из Кишинева. "Должно полагать, что сии действия начались по приказанию князя Ипсилантия..." Сказано не без оговорки, но достаточно уверенно!

День выступления Александра Ипсиланти называется в современных источниках без особых расхождений: 22 февраля (по новому стилю - 6 марта) 1821 года. Что касается писем непосредственных свидетелей, то тут даты различны, однако с отклонениями всего в два-три дня.

Послушаем А. С. Пушкина, который находился тогда в Кишинева. В одном из его писем мы можем прочесть, что "21 февраля генерал князь Александр Ипсиланти с двумя из своих братьев и с князем Георгием Кантакузином - прибыл в Яссы..." В другом месте читаем: "23 февраля, день объявления греческого бунта Александра Ипсиланти..."

Автор "Обозрения..." говорит о признанном наукой двадцать втором. И сразу дает четкую хронологию событий:

"22-го февраля в 7 часов вечера князь Александр Ипсилантий выехал в Яссы в сопровождении братьев своих Георгия и Николая. (Здесь же сноска: "Полтора дня после Ипсилантия прибыл в Яссы князь Георгий Кантакузин, отставной полковник Российской

службы, также член Этерии".) Отряд из 200 арнаутов встретил его на границе и сопровождал до города. Господарь князь Суццо вошел немедленно в сношение с Ипсилантием. В ночь на 23-е число все турки, проживавшие в Яссах, были убиты. 24-го господарь созвал Совет бояр и предложил просить государя императора о покровительстве Молдавии в предстоящем смутном ее положении. Все бояре приняли сие и немедленно исполнили. 27-го же числа в церкви Трех Святителей митрополит отпел молебствие и освятил знамена греческого войска, имевшие надпись над вылетающим из огня Фениксом: "Из пепла восстаю".

(Опальный Пушкин в это время раздумывал: "Важный вопрос: что станет делать Россия; зайдем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов?" Настороженно, жадно прислушивался он к вестям из Ясс - столицы Молдавии, из Петербурга - столицы России.)

"Из Ясс от 24-го февраля, - говорится в рукописной книге далее, - князь Ипсилантий и Суццо писали к государю и просили о вспомоществовании грекам и о введении русских войск в Молдавию". Они пытались воздействовать на самые сокровенные чувства: "Первый (Ипсиланти. - Л. Б.) поставил причиною своего присоединения к Этерии - заклинание умиравшего отца и прошение 600 т. греков, приславших к нему до 200 писем, наполненных приглашениями к принятию верховного начальства над войсками восставшей Греции". Но ни надежды Ипсиланти, ни помыслы лучших людей земли русской не осуществились. "Решительное отвержение всякого пособия возмутителям со стороны России" - вот что принес в себе царский ответ, посеяв общее разочарование.

Рассказ в "Обозрении..." ведет политик. Порой он уступает место военному. Но и садясь на "военного конька", автор остается мыслителем. Политическим мыслителем... Ему известны планы борьбы, понятны намерения. И не от такого ли понимания идет умение точно, ясно, образно воспроизводить картины событий?

(Мысли мои вновь обращаются к декабристам. В творчестве лучших из них видим мы этот сплав: политик - военный - литератор. Да ведь прежде чем выступить борцами за свободу, они стали военными!

А разве не тот же синтез в исторической прозе Пушкина? И пожалуй, в еще большей мере, чем у декабристов? В "Истории Пугачева"... в заметках об Ипсиланти и Пенда-деке...

Он, Пушкин, военным не был никогда и быть им не стремился. Но гений и труд, замешанные на страсти вольнолюбца, способны постичь все. Помните, как он готовился писать "Пугачева"?

"Пушкин и Этерия"... Об этом уже писали, и статей таких немало. Много он думал над событиями двадцать первого, многое хотел написать... А могу ли я с уверенностью сказать, что книга, которая передо мною, - не Пушкин? Никому не известный, нигде не опубликованный труд Пушкина?!)

"Решившись начать действия со стороны Молдавии, князь Ипсилантий составил себе следующее предначертание. По прибытии в Яссы он хотел устроить там временное правление и вручить оное молдавским боярам, а самому не позже как чрез двое суток поспешно идти с войском, в Молдавии собранным, в Бухарест, где, соединясь с прочими этеристами и учредя такое же правление, как в Яссах, переправиться через Дунай и вступить в Сербию. На все сии действия полагал он не более 15 дней, дабы успеть совершить оные прежде, нежели Порта осведомится о начале возмущения и примет оборонительные меры. Но сему предположению он нисколько не следовал".

Доказательства? Автор видит их уже в том, как развертывались начальные события. Не две тысячи, а всего двести двадцать арнаутов ждали Ипсиланти в Яссах - вот и "старания" тех, кто собирал войско. Очень скоро отряд удвоился, можно было идти дальше, но вместо единоначалия оказалось "восемнадцатиначалие" - по числу лиц, имевших свои особые знамена.

Выступив к Фокшанам, на соединение с Каравием, нашел Ипсиланти гораздо меньше сил и тут. То, к чему он призывал в своих прокламациях, не осуществлялось.

"Оставляя границы Российские, из недр коих этеристы сделали свое вторжение, они подобно легкой ладье пускались в необозримое море, угрожаемое жесточайшею бурей..."

Горечь слышится в этих словах. Горечь и - сочувствие. Но даже сочувствуя делу греков, автор им не льстит и льстить не собирается. Одна мысль не дает ему покоя: "...слабыми силами войско греческое вступило в трудный и малообдуманый поход".

Слабыми...

Еще до того, как повествование было начато, автор знал, каким оказался исход событий, как и чем закончился поход 1821 года. Тем острее его желание разобраться. Всесторонне. Глубоко. Справедливо.

Высшей же справедливостью тех дней являлось одно: вопреки всему борьба продолжалась.

"По мере движения... прибывали к князю Ипсилантию некоторые подкрепления из Молдавии, куда из разных южных городов России стекались греки, желавшие принять участие в общем их деле. В Плоештах собралось всего до 1800 человек, а на пути от сего места до Бухареста число сие умножилось до 3000, и здесь пехотная дружина получила свое устройство. Сам князь Александр Ипсилантий принял главное над оною начальство..."

Сколь бы опасным ни было море, как бы ни была легка ладья, она вышла в суровое плавание...

## **ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: ИСТОРИЕЙ ПОСТАВЛЕННЫЕ РЯДОМ**

Декабристская ладья ледоколом не была тоже. Поход, в который отправилась она впоследствии, а тогда только собиралась, с таким точно основанием мог быть назван и трудным, и рискованным.

В бурном водовороте борьбы этеристов и декабристов породило деятельное свободолюбие. История навсегда поставила этих людей рядом. Они соседствуют в преданиях народов и книгах ученых. Читая об этеристах, я думаю о сыновьях России - их идеи стали знаменем века. И снова, снова - о том, что так написать о восстании греков мог либо кто-то из будущих декабристов, либо человек, близкий им по духу.

Некоторых декабристов мне уже довелось цитировать. Приводить их высказывания об "Этерии" можно было бы и дальше. Этой главой, однако, хочется распорядиться по-иному.

Для лучшего обоснования мысли, которая то и дело прорывается сквозь слой повествования, более важен, пожалуй, не ряд цитат, а хотя бы краткий очерк взаимоотношений декабристов и

этеристов - воздействия одних на других, идейного влияния, укрепления контактов.

Хочу предупредить: делая такой очерк, я выступаю только как обозреватель. На сей счет уже сложилась обширная литература, имеются основательные выводы, и не мне брать на себя их пересмотр - тем паче что сомнений выводы и не вызывают. Итак: этеристы и декабристы... декабристы и этеристы... Русско-турецкие войны XVIII и начала XIX века, борьба русского и других народов против Наполеона разожгли в сердцах греков неодолимое желание видеть отчизну свободной. В России возник их новый патриотический союз - "Филики Этерия". На русской земле сформировались убеждения Александра Ипсиланти и братьев и друзей. Не один год служили они бок о бок с передовыми русскими офицерами. Вместе мечтали, вместе строили планы, и с юности будущие декабристы стали для них друзьями.

Еще до Отечественной войны 1812 года возникла дружба Ипсиланти-старшего и Михаила Орлова - людей стремительной военной карьеры, образованных и мужественных. Массонские ложи свели Ипсиланти с Волконским, Трубецким, Пестелем. Личные симпатии-

связи в большой степени способствовали упрочению их политического единомыслия. Идея вооруженной борьбы, революционного действия созрела в вольнолюбивых греках не без такого общения.

Влияние было не односторонним - взаимным. Никто не станет утверждать, будто "Филики Этерия" вызвала к жизни "Союз Спасения", хотя сообщество греческих бойцов за свободу образовалось в четырнадцатом, а первая декабристская организация - двумя годами позднее. Брать во внимание только последовательность дат - дело сомнительное.

Рождению "Этерии" завтрашние декабристы - тогда еще организационно не оформленные - способствовали куда больше, чем духовные их "крестники" - созданию общества русских патриотов. Что касается воздействия опытов этеристов, то против этого возражать не приходится. Не зря ведь декабристы так интересовались и структурой организации греков, и взаимосвязью ее звеньев, и содержанием работы.

Обо всем этом знал, например, руководитель "Кишиневской управы" М. Ф. Орлов. В его частично цитированном уже письме о греческих делах можно прочесть: "...есть вещи, которые не требуют разглашения, как, например, образ действия и создание тайного общества..." Известны, но - "не требуют разглашения". Можно ли понять иначе?

И уж тем более не вызывает сомнений осведомленность главы Южного общества Пестеля. В первой же своей служебной записке о греческих событиях он счел необходимым подчеркнуть, что восстание было подготовлено тайной политической организацией.

Об этих документах речь у нас еще пойдет, но одно скажем уверенно: не зная о "скрытой силе" прежде, не мог бы П. И. Пестель с таким пониманием написать о ее роли сразу после кратковременной поездки на театр военных действий.

Декабристы были за войну греков против турецкого ига.

Декабристы были за русскую помощь им в этой войне.

"За" - из сочувствия к гордым сынам Эллады, поднявшим знамя борьбы за свои исконные права.

"За" - из трепетной надежды на то, что победа над деспотизмом султана послужит ударом и по деспотизму царя,

"Древние греки... с детства сделались мне любезны", - вспоминал Г. С. Батеньков. Приходится ли сомневаться, что и другие декабристы подписались бы под этими словами? Не будь таких чувств, не родились бы при первых вестях о событиях 1821-го стихи-отклики В. К. Кюхельбекера, Ф. Н. Глинки, В. И. Туманского. Не испытывая сочувствия к бойцам за свободу, разве рвались бы сражаться за дело греков И. Д. Якушкин, П. Г. Каховский, Д. И. Завалишин?

О судьбе Греции, о ее освобождении думали, спорили, мечтали в масонской ложе "Овидий", в двадцать первом созданной и в том же году закрытой.

("Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи", - писал позднее Пушкин.)

Жадно ловили вести из Молдавии и Валахии, чутко ждали повелений идти на помощь восставшим в Петербурге, Москве, Одессе, в полках на Кавказе. И, разумеется, в том же Кишиневе, который Меттерних назвал "колыбелью греческой революции".

Мало у кого из южных декабристов (центром их являлся этот город) не было друзей среди этеристов. Большинство офицеров состояло во Второй армии, а она охраняла как раз те границы России, за которыми и происходили боевые действия. Современник событий А. Ф. Вельтман впоследствии вспоминал, что в Кишиневе "на каждом шагу загорался говор о делах греческих... новости распространялись как электрическая искра". Генерал Орлов собирался без промедления повести вверенную ему 16-ю дивизию через Прут, чтобы сильным ударом подкрепить действия греков. Тысячи русских воинов ждали приказа о выступлении. Не их вина, что похода не последовало...

Но интерес к борьбе греков, воодушевление, вызванное их примером, не угасали и далее. Не было сколько-нибудь крупного события греческой революции, особенно до декабря 1825 года, на которое со стороны декабристов не последовало бы живого отклика. По самым приблизительным подсчетам, не менее пятидесяти из них оставили нам в наследство свои по этому поводу мысли.

Соединяя их в элементарной последовательности, мы получаем объективную картину взглядов на одно из важных звеньев освободительной борьбы.

Организация тайного союза, взаимодействие различных течений внутри него, проведение политических, дипломатических, боевых операций - из всего извлекался декабристами урок. Не бунт, не мятеж против законной власти видели они в борьбе греков, но вполне справедливое стремление народа избавиться от поработителей.

Декабристы думали о будущем борющихся, об устройстве жизни после победы. Именно в их среде родилась идея Балканской федерации из десяти самоуправляющихся национальных областей. Эта идея принадлежала П. И. Пестелю. Самым крупным, самым авторитетным знатоком греческого вопроса в рядах участников движения декабристов был он.

Среди известных нам пяти десятков свидетельств нет ни одного, которое по охвату фактического материала и проникновению в его суть могло бы сравниться с официальными записками и доверительными письмами Пестеля.

Это не удивительно. Буквально с начала событий он был "употреблен в главной квартире Второй армии по делам о возмущении греков". Через него проходили донесения от должностных лиц, секретные депеши агентов разведки, переписка с высшими инстанциями. Трижды в двадцать первом - с конца февраля до начала июня - выезжал Пестель в Кишинев, Скуляны, Тирасполь, объезжая расположения военных частей и карантинных пунктов, встречаясь с десятками различных людей. Ко времени этих поездок относятся и кишиневские встречи с Пушкиным.

("9 апреля. Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...")

Результатом поездок Пестеля явились три донесения и два письма на имя начальника штаба Второй армии генерала Киселева - свидетельства обстоятельные, аргументированные и к грекам доброжелательные.

Уже с самого начала он заявляет: "Мотивы, определяющие поведение Ипсиланти, заслуживают самого высокого уважения". ' Даже стараясь быть беспристрастным, скрыть свое отношение к событиям он не в силах.

Пестелевские донесения и письма дошли до нас как живой его взгляд на первоначальный этап восстания. Дошел и набросок-черновик "Царство Греческое" - продолжение раздумий о революционном решении балканского вопроса. Некоторые его высказывания по греческому вопросу сохранились в протоколах следствия.

И все? Да. А ведь известно, что в июне 1821-го об "Этерии" и ее действиях Пестель докладывал единомышленникам в Петербурге. Могли быть - и, возможно, были - такие же доклады в других местах, куда приходилось ему выезжать с двадцать первого по двадцать пятый. Их нет - ни ранних, ни поздних.

"Из бумаг моих о предметах политики я большую часть сам сжег", ~ давал он показания на следствии.

Кроме наброска "Царство Греческое" не оказалось ничего о восстании греков и в пакете, закопанном по его указанию в поле у деревни Кирнасовки, близ Тульчина.

Но, может, что-то успело разойтись в списках...

...Новое предположение? Пожалуй, да...

Никто и никогда не видел "греческой книги" Пушкина.

Ни один исследователь за целых полтора года не сказал о "греческой книге" Пестеля. Никому не известна "греческая книга" еще кого-то из декабристов.

Если вы, читатель, сторонник исследований "спокойных", - захлопните книгу тотчас: ни вам, ни себе покоя я не дам.

Пушкин... Декабристы... Пестель...

Декабристы... Пестель... Пушкин...

Пока это всего-навсего гипотезы. Определенно только то, что книгу, которая так цепко взяла меня в полон, писал человек, увлеченный страстью свободолюбия.

...Знать, однако, лишь это - мало!

## ГЛАВА ПЯТАЯ: ШАГ ЗА ШАГОМ

"Известие о возмущении в Валахии произвело в Константинополе весьма маловажные впечатления. Порта почитала оное явление обыкновенным, часто случающимся в ее владениях; но когда Галацкое кровопролитие, вступление Ипсилантия в Яссы и истребление турок во всей Молдавии дошло до ее сведения, тогда вся обширность бедствия, грозившего низвергнуть владычество султана, представилась живейшим образом..."

...Новая глава - новое место событий. И новые их участники.

В историческом повествовании - не прерывая его, но заостряя, делая разноплановым и "многослойным" - появляется столица Турции.

"Обозрение..." вводит нас в чужой этот город едва ли не в самое сложное время, и сразу, с первого же шага, мы понимаем, чувствуем, видим всю остроту, всю напряженность момента.

Остроту, напряженность тем большие, что силам патриотическим тут же пришлось столкнуться с предательством: "Эфоры, коим дано было повеление от Верховной греческой управы произвести низвержение турецкого владычества в Царьграде, менее заботились об отечестве, нежели о своих личных выгодах".

Автор знает все. Даже то, о чем султан думал и чего опасался: "Порта твердо была уверена, что могущество России служило основанием сему тайному предприятию..."

Известен ему и каждый шаг турецких владык. Кровавая трагедия мести, разыгравшаяся в те дни в Константинополе, воссоздана с такой достоверностью и такой объективностью, что снова и снова возникает мысль: неужто это писано тогда же, когда события происходили, а не позднее, и притом гораздо позднее?

Но на бумаге водяные знаки "1824", и стиль не нынешний - начала века минувшего. Что касается осведомленности, то она поразительна: и в тех событиях, что были на виду, и в других - подспудных, от посторонних глаз скрытых. Как действовали чужестранные министры... какие меры предпринимал барон Строганов... что предложил, дабы остановить кровопролитие, Ипсиланти...

"...Все сие не было уважено, губительные действия продолжались безостановочно... Меры, принятые турецким правительством, дышали не только местию против преступников, но ненавистью противу всего христианства..."

Тот, кто это писал, не мог пребывать спокойным, представляя, как "первый священнослужитель и глава греческой церкви" был "повешен и тело его брошено на поругание" или как глумились над святынями православия: "Патриаршая церковь и все прочие ограблены, посрамлены и некоторые разрушены до основания..."

Нет, быть спокойным он не мог... Но спокойствие и сдержанность - состояния различные. Повествователь не дает воли эмоциям; в изложении событий он строг, даже суров. Это суровость военного, аскетизм дипломата - в общем, человека, сдержанного профессионально.



Посмотрите, однако, как умело - умело уже писательски - ведет он читателя сквозь лабиринты фактов, охватывая их взглядом единым, соединяя разрозненное в картину цельную:

"...Между тем сильные отряды войск из Анатолии направлены были и к Дунаю, и к Морее, где возмущение начинало свирепствовать с большим успехом, нежели в княжествах. Флот был вооружен и приготовлен к отплытию в архипелаг. Но как в мирном трактате между Россией и Турцией постановлено было, что войска сей последней Державы не могут вступать в Молдавию и Валахию без предварительного о сем сношения с Российским правительством, то государь при самом открытии возмущения пригласил Порту употребить вооруженную силу для восстановления порядка, предложив доверить все войска, к сему концу устремленные, под начальство нового валахского господаря, коим назначен был князь Каллимахи. Пользуясь таковым расположением могущественного союзника, Порты послала войска свои в княжества, но не подчинила их господарю, коего не только не допустила участвовать в военных действиях, но и самого его удержала в Константинополе. Впоследствии он умер, умер скоропостижно в заточении, а дети его и окружающие преданы были смерти по повелению правительства..."

Немногословно. Понятно. Точно.

...О литературных качествах "Обозрения..." мы уже говорили. Будет повод потолковать о них, причем более обстоятельно, и дальше.

Сейчас же перейдем к главе следующей, важной не только в развитии "сюжета". Называется она - "Занятие Бухареста и Валахии". В ней много действий и много раздумий.

...Бухарест. "Известия о вступлении в Яссы князя Ипсилантия и общегласные его объявления произвели различные впечатления в народе..." Различные - но и те, кто грекам симпатизировал, и другие, к ним равнодушные или враждебные, предпочли из Бухареста уехать, держа путь в сторону Карпатских гор. Смятение превратилось в панику, когда в начале марта пронесся слух о приближении турок. Всякий порядок был смят, город опустел.

"В сие время Владимиреско..."

Автор "Обозрения..." подошел едва ли не к острейшему моменту своего повествования. И тут, прежде чем обратиться к этим строкам и страницам, стоит бросить взгляд на румынское национальное крестьянское восстание Тудора Владимиреску, в большой степени предопределившее судьбу восстания в придунайских землях.

В русско-турецкую войну 1806 - 1812 годов воинственные пандуры - жители Малой Валахии - отличились особенно. Большой отряд добровольцев, входя в войско господаря Константина Ипсиланти, составе русской армии дрался отменно. Командиром этого отряда со временем стал человек исключительной личной храбрости. То был Владимиреску, удостоенный впоследствии и ордена святого Владимира, и чина поручика.

Война закончилась. Но для пандур наступили злые времена. Владимиреску, преследуемый турками всех более, вынужден был бежать в Австрию. Там-то постиг он глубже идеи Французской революции, там и свел знакомство с греческими этеристами.

Однако, согласившись на совместные с ними действия, представлял их Тудор по-своему. Для него грядущее восстание было движением не только греков и не только за Грецию - всех обездоленных балканских народов за освобождение и лучшую долю каждого. Освобождение не только от турок, а и от всяких других притеснителей. Для валахского народа такими являлись господари-фанариоты вместе с их прислужниками-боярами. Значит, восстание должно было носить характер социальной революции...

Владимиреску поднял своих былых соратников; на зов его стали собираться крестьяне Малой Валахии, а затем и других мест княжества, стекаться угнетенные из Молдавии. Скоро отряды повстанцев пошли на Бухарест, и что бы бояре ни предпринимали, - остановить восставших не удавалось. Больше того, войска арнаутов, которые формировались в противовес Владимиреску, переходили на его сторону.

Когда в марте Ипсиланти подошел к Бухаресту, Тудор с отрядами был уже в городе. Здесь-то и проявилась разность целей. Союз, на который уповал Ипсиланти, оказался непрочным.

Итак: "в сие время Владимиреско..." Мы возвращаемся к рукописной книге, чтобы пойти, вслед за автором ее, далее, по свежим следам событий.

"В сие время Владимиреско, узнав о движении князя Ипсилантия из Молдавии в Валахию и, вероятно, опасаясь первенства его в направлении возмущения, стал питать тайную ненависть против греков и старался ускорить ход свой к Бухаресту, дабы первому завладеть сим городом. Прибыв в Котрочан, послал он навстречу князю Ипсилантию уведомление о том, чтобы приостановил он движение свое в Плоештах и дал время ему устроить порядок в Бухаресте, а потом уже вступил бы в сию столицу с войсками. Полагаясь на верность Владимирески, князь Ипсилантий задержал движение своего отряда..."

Владимиреску в столицу Валахии вошел как полновластный победитель, не желавший делить ни с кем ни чести победы, ни ее плодов.

"С крайним сожалением узнал я, что Владимиреско не имеет другого достоинства кроме храбрости необыкновенной - храбрости достанет и у Ипсиланти",- записывал в своем дневнике Пушкин 2 апреля 1821 года, как только весть о разладе достигла Кишинева.

Автор "Обозрения..." полагает так же. Он явно на стороне Иордаки - ближайшего сподвижника вождя пандур, который "настоятельно убеждал Владимиреско не изменять грекам и соединить все силы воедино". Определенного успеха Иордаки достиг - тот "решился принести во второй раз присягу на верность "Этерии" и даже выставил знамя вольности пред своим домом". Следовало думать, рассуждает автор, что Владимиреску, все взвесив, от действий единоличных откажется, "соединят силы свои с греками и вместо частной цели блага Валахии будет достигать общего конца - низвержения мусульманского ига". Обозреватель - за такое решение. Тем острее он переживает, будучи вынужденным сказать: "Последствия показали ему противное".

"Они показали, - это звучит как продуманное, прочувствованное, выношенное, как твердое личное убеждение, - что в мятежах народных завистливый и самолюбивый нрав водителей более вредит общему предприятию, нежели сами враги их, и что разнородные характеры весьма трудно соединены быть могут одинаковою целию".

Единение... Вот что занимает автора. И это он ненавязчиво подчеркивает, повествуя о дальнейших действиях Ипсиланти, известных ему в точности. Всего несколько строк, а мы понимаем, видим весь тот план, с которым приезжает князь в Колентин ("селение, близ Бухареста лежащее") - план совместной борьбы всех сил, долженствующих, по его мнению, сообща драться с турками. "Но (снова досада, снова разочарование. - Л. Б.) все сии особы... оставили его внушение и каждая предалась особенному и частному своему поведению, не соблюдая никакой общей связи".

Автор не только следует за событиями - старается проникнуть в их глубину, не только сообщает о поведении каждого участника - пытается вскрыть психологию характеров, логику поступков.

"Иордакий, остававшийся несколько времени при Владимиреско, убеждался более и более, что он презрел все прежние клятвы и приуготовил ему и грекам измену. Сие чрезвычайно охлаждало дружбу, которую питал он к нему с давнего времени. К тому же Владимиреско лишил жизни двух арнаутов из войска Иордакия, и сие обстоятельство, в связи с прочими, совершенно разрушило составленное ими сообщество и сделало их непримиримыми врагами..."

Читатели уже подготовлены к тому, чтобы узнать: Иордаки от Владимиреску отходит.

Судит - и строго судит - обозреватель не только противников движения греков, но и самого их предводителя:

"Первая препона, встреченная Ипсилантием, разрушила весь объем его предприятия. Не исполнив низвержения власти турецкой в Царьграде, по той причине, что не сам лично избрал опаснейшее и решительнейшее дело, а доверил оное эфорам, кои, желая спасти богатства, промедлили в действии и тем открыли весь заговор; не найдя в Валахии большого числа единомышленников, не успев соединиться с возмутителями сего княжества, он не решался ни на переправу за Дунай, дабы чрез Албанию и Фессалию пройти в Янину на присоединение к Али-паше, воюющему против турок, или в Морею к восставшим грекам, или же на какое-либо отважное действие по сю сторону Дуная, но, вопреки всем поучениям опыта и прошедших событий, решился основать стан свой при Терговисте и бездейственно провести в оном более двух месяцев, драгоценных во всякой войне, а тем паче в войне междоусобной. Потеряв из вида главные выгоды "Этерии" и главные цели для своего поведения, он обратился к маловажным и тем нанес гибельный удар своим соотечественникам".

Этот вывод тут же подкрепляется диспозицией сил: с одной стороны - Владимиреску, с другой - Ипсиланти. И снова не однажды высказанная мысль: "...они (силы общие. - Л. Б.) достаточны бы были для продолжительного сопротивления туркам, если бы начальники их соединились одною волею..."

Одною волею!

Автор не равнодушен, и не может быть равнодушным, к событиям, которые его занимают. Месяцы, проведенные повстанцами в бездействии, для него "бедственные месяцы", а слово "разногласные" - применительно к "вождям мятежа" - звучит явным неодобрением. Больше и крепче всего достается от него Ипсиланти. Каждый промах он анализирует с позиций человека, искренне сочувствующего целям "Этерии" и потому не прощающего ничего, если это во вред делу - большому, важному, дорогому. Тому, кто писал "Обозрение...", оно дорого без сомнения - не было бы иначе ни такой заинтересованности, ни такой боли.

Итак, перед его судом - Ипсиланти. Что вменяет ему в вину пристрастный летописец событий?

Во-первых, он, "обезохоченный первою неудачей, лишился всякой бодрости духа и бездейственно проводил все сие время". Ипсиланти думалось, что соединение сил произойдет как бы само собою, а потому "не престававал извещать и Владимиреску и других" о всех своих предприятиях и надеялся, что "откровенностию в действиях успеет привлечь их к себе".

Во-вторых, "люди, последовавшие Ипсилантию, чуждые всякого порядка и повиновения - истинного основания военного устройства, нисколько не подвизались в занятиях, им свойственных". Уже сам выбор места для Терговистского стана не был обдуманым - ни в смысле военном, ни со стороны политической. Но, сделав такой выбор, Ипсиланти не предпринял мер, чтобы к сражению подготовиться. "Двух месяцев достаточно было, чтобы найти выгодное место, укрепить оное, запастись огромным числом жизненных потребностей, собрав оные из обильных стран еще не прикосновенной Валахии - и здесь, соединя все свои силы, приучить их к порядку и поставить в возможность опровергнуть все усилия турок. Успех первых удачных сопротивлений мог повлечь за собой неисчислимые последствия. Сей успех мог опрокинуть силы турецкие за Дунай, внушить в обоих княжествах доверие к грекам и, наконец, чрезвычайно умножить силы Ипсилантия стечением под знамена его всех жителей, коих меч и неистовство турок принуждали бросать дома свои и предаваться безнадежному странствию за пределами отчизны".

В-третьих, Ипсиланти расплыл военные силы на всем пространстве Валахии, "будто бы в раздроблении своем уповал найти силу". Как и в Терговисте, там также сколько-нибудь удачных укреплений сделано не было: "ни одна цель не была ясно представлена и сим самым погибель людей, вручивших ему спасение свое, как будто нарочито устроилась".

Автор не хотел бы судить "человека, желавшего восстановить свободу поработенного Отечества", но он не может не сделать горького вывода: "Пребывание князя Ипсилантия в

Терговисте ясно показало и Греции, и Европе, что способности его далеко не соответствовали обширности того предприятия, в бездну коего ввергнула его необдуманность".

Тем паче, что все могло сложиться не так, и ему, пишущему о недавних по тому времени событиях, отчетливо видится, как поступать следовало, как поступил бы он, занимая пост главы такого движения.

Взять, к примеру, тот же Терговистский стан. "...Надлежало избрать такое место, которое бы представило туркам неотделимые природные преграды, способные быть усиленными еще посредством искусства. Для сего нужен был стан, имеющий сильные опоры на крыльях своих и трудное место перед лицом оною, нужен был стан, не подверженный обходу со стороны неприятеля. Нигде сие не могло быть соблюдено удачнее, как в ущельях гор". И вообще: "Не лучше ли было безостановочно следовать до Каллентина к пределам Сербии и там на берегу Дуная, пред глазами свободолюбивого народа, развеять знамена свободы? Нет сомнения, что вопреки намерению старшин большое число сербов, людей токмо склонных к превратностям военной жизни и столь искренно ненавидящих турок, пристало бы к Ипсилантию, и тогда не встретилось бы преграды ни на переправе через Дунай, ни на проходе через владения сербские..."

Вольно или невольно, но он, на первый взгляд "просто обозреватель", противопоставляет действиям Ипсилантия свой собственный план, который, как автор уверен, мог бы привести к иным результатам. Это план человека, искренне сочувствующего тем, кто поднял знамя свободы, и так же искренне - до боли душевной - огорченного неудачами близкого его сердцу предприятия.

Думается, что преувеличения в такой оценке нет...

...Пушкин собирался написать поэму, героем которой должен был стать Георгаки Олимпиос - "Иордакий" в рукописной книге.

Поля и горы ночь объемлет,  
В лесу, в толпе своих...  
Под темной сению небес

Ипсиланти дремлет.

Это набросок начала - самого начала - так и не осуществленного произведения.

"Ипсиланти дремлет..." Разве то, о чем говорилось раньше ("лишился всякой бодрости духа", "бездейственно проводил... время", "пребывал в немоющем бездействии"), нельзя, пусть условно, выразить так, как сделал Пушкин: "Дремлет"? И разве не показательно, что сразу после страниц "Обозрения" об Ипсиланти "дремлющем" идет рассказ о Георгаки-Иордаки - рассказ-противопоставление?

"...Иордакий, замечательнейший человек из всего Греческого Союза, сохранявший неизменно присутствие духа и непоколебимую верность "Этерии" в то бедственное время, когда дело ее приближалось к гибели; Иордакий почитал первую обязанностью стеречь переход врагов чрез Дунай и производил с отрядом своим набеги на прибрежную страну..."

А Ипсиланти продолжал выжидать.

"Если бы князь Ипсилантий..." Вот и вновь слышим мы огорченный вздох рассказчика, который как бы поторапливает: "Действовать! Действовать!"

...Свободолюб. Политик. Военный.

...Думающий и деятельный.

...Поверяющий опытом Ипсиланти себя.

...Делами "Этерии" озабоченный.

Все чаще обращаюсь я к Пушкину... Все больше думаю о Пестеле...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ: "В РЯДАХ СОБРАТИЙ..."

У каждой главы - четкие и точные названия. Положение Молдавии... Начало военных действий со стороны турок... Отряжение князя Кантакузина в Молдавию и вторжение турок в сию область... Ошибка при Фокшанах... Бой при Скулянах... Вторжение турок в Валахию... Отбытие Ипсилантия в Австрию... Выезд барона Строганова из Константинополя и сношения между обоими дворами... Распоряжения турок в княжествах... Поход Иордания по направлению Карпатского хребта и сражения в горах... Заключение...

Чем дальше следую я за словом, за мыслью автора, тем сложнее оторваться мне от этого труда, отложить его даже на короткое время.

"...По оставлении греческим войском Ясс и Молдавии положение господаря князя Михаила Суццо и всего княжества становилось более и более затруднительным..."

О Молдавии, которая, по словам обозревателя, представляла "сожалительное зрелище", сказано в этой главе скупое. На первом плане здесь - шаги и меры дипломатические, политические, в общем, официальные. Представление о них у автора исчерпывающее. Словно через его руки прошли непосредственно и предписания министерства иностранных дел консулам: "Обнародовать неудовольствие государя императора противу всех участников греческого возмущения", и множество других бумаг, в том числе царских, выражавших истинное отношение российского монарха к повстанцам, которые осмелились обратить оружие против "законного" своего властелина - султана Турции.

"...Ожидание скорого прибытия турок и отказ на просьбу Дивана о вступлении Русской армии для покровительства приводил всех в ужас, и по сим причинам переселение жителей сделалось

общим..."

Переселение? Бегство! "По несколько тысяч человек обитали в камышах, покрывающих берега Прута, ожидая очередь для поступления в карантин..." Одно этого штриха достаточно, чтобы представить себе положение Молдавии, объята паникой.

О, автор знает цену документу! Но знает и то, как дорого наблюдение очевидца, насколько важно свидетельство участника.

Вот он переходит к рассказу о первых военных действиях турок, и снова предстает перед нами тот же сплав: документ - наблюдение - свидетельство.

Документ дает возможность представить расстановку турецких войск в преддверии их активных действий. Наблюдение - воссоздать настроения греков и тех, кто был с ними.

Свидетельство... Без них, свидетельств участников, не было бы, например, правдивого, эмоционального рассказа о геройстве и падении Галаца.

"...30-го апреля перед вечером турки в числе 500 человек вышли из Браилова и, перейдя чрез р. Серет (по мосту, ими во второй раз наведенному, ибо первый был истреблен греками), приближались к Галацу с тем, чтобы, вызвав этеристов из города, узнать о числе их и обозреть состояние их войска. Греческий отряд, не постигнув истинного намерения турок, полагал, что они решились напасть на город, а посему все усилия свои истощил для отражения оных. Превосходство в числе греков доставило им возможность прогнать турок на противную сторону Серета, с потерю 30 убитых, оставленных на месте сражения..."

Ослепленные победою, греки "предались торжеству" и "беззаботному отдохновению". Только капитан Афанасий со своим отрядом "заблаговременно занял одно отдельное укрепление близ Галаца". На рассвете следующего дня турки "огромными силами окружили Галац и, имея с собою значительное число пушек, решительно напали на греков, в беспорядке поспешавших к защите". В городе были истреблены все. Один лишь отряд Афанасия

"мужественно противился многократно повторенным нападениям"... Оборону он держал весь день, а ночью отступил к Пруту.

"Слабый отряд Афанасия... почитал себя обреченным на неизбежную гибель... В сем отчаянном положении несколько раз покушался он перейти в наши границы, но стража ему препятствовала. Генерал-лейтенант Сабанеев сам случился в то время недалеко от Скулян у селения Цыцорь, где слышал следующие слова греков: "У нас половина невооруженных; мы не страшимся смерти, но желаем умереть с пользою. Если превосходные силы нападут на нас, то невооруженные неминуемо сделаются жертвою турецкого меча и все мы погибнем. В сей крайности мы бросимся к русским: делайте с нами, что хотите, мы лучше от вас желаем умереть, нежели от турок".

(Слова греков были сообщены царю. И так как "невозможным представлялось по всему протяжению границы воспрепятствовать переходу людей, отчаянием руководимых", повелел он давать убежище тем, кто будет "представляться без оружия". Но к сему добавил: "Этеристов же и особенно начальников возмущения соблюдать под надзором правительства"...)

...Всех более по-прежнему занимает автора Александр Ипсиланти, его действия разбирает он особенно пристрастно.

Зачем, раздумывает обозреватель, "затял Ипсиланти "отрядить часть войска в Молдавию"? Чтобы "рассеянных этеристов соединить под одно начальство, собрать денежные суммы и все средства, Греческому Союзу принадлежащие, и, возбудив восстановлением правительства и порядка коренных жителей к содействию грекам при вторжении турок, поспешить со всеми собранными силами к Терговисту на присоединение к главному войску".

Да ведь "столь позднее предприятие не могло иметь ни малейшего успеха: ослабляя главные силы, оно без всякой пользы подвергало отряд князя Кантакузина неизбежной гибели"!

Так на деле и получилось. Ни одной из перечисленных целей достичь не удалось. Междоусобная вражда, распри национальные и сословные, алчность и своекорыстие отдельных начальников разъединяли войско, подтачивали и без того небольшие его силы. "Не было никакого единства в действии, доверие подчиненных к начальству совершенно было разрушено, никто не верил, чтобы турки скоро и в больших силах могли напасть на них, и ничто не исполнялось по предначертанию..." А турецкие войска приближались. Перед лицом опасности "все враждолюбные начальники, покинув свои тщетные требования и замыслы, поспешали оберечь жизнь бегством в Россию". Вслед за ними оставили этеристов Кантакузин, Пенда-дека и другие - они также отправились в карантин.

"Хотя Кантакузин,- читаем в "Обзрении..."-, в оправдание выставляет, что дальнейшее пребывание его между сообщниками было бы для него губительно, а для них бесполезно, но кто не знает, что грозящая опасность заглушает все личные негодования и что великодушные пожертвования самих врагов поражают изумлением? Никто бы не воспрепятствовал ему умереть в рядах собратий простым греком, если бы низкое чувство самосохранения не управляло поведением его..."

Оставленные Кантакузиным и другими начальниками, этеристы, во главе которых стали "храбрые мужи, решившиеся лучше умереть с соотечественниками, нежели купить жизнь посрамлением чести", приняли бой и стояли насмерть. "Неустрашимый Стоврака явил чудеса храбрости: он бросался по всем местам, где неприятель начинал одолевать его воинов, и повсюду влек за собою удачу. Не успев уничтожить сие слабое войско оружием в течение 4-часового боя, турки предали огню все деревянные строения с. Стынки и по наступлении темноты удалились к Яссам. Греки же, оставив высоту, истребили мост на реке Жижее и вошли в свое укрепление".

Укрепление то - Скуляны. "Бой при Скулянах" - одно из ярких событий 1821-го и одна из самых впечатляющих глав "Обзрения...". Если бы труд этот был напечатан, я сослался бы, как и в ряде других мест, на соответствующую страницу, к обширным цитатам не прибегая. Но

рукописная книга читателю пока недоступна, и да не посетует он на то, что сейчас последует весьма значительный отрывок - в нем и дух событий, и взгляд на них автора, и стиль его, первого летописца той битвы.

"На другой день (17-го мая) весьма рано огромные турецкие силы начали спускаться от Стынки на равнину. Конница и пехота неприятельская густыми громадами покрывали всю отлогость и могли вселить робость не только в неопытных, беззащитных и малочисленных воинов, но даже и в самое устроенное войско. Немедленно Конго, Инзе и Минглери с 60-ю конных и с сотней пеших людей вышли из укрепления для начатия сего неравного боя; недолго могли они держаться на речке: толпы неприятельские по мере движения по равнине более умножались и со всех сторон уже облегали Скуляны. Тогда этеристы вошли все в укрепление и меткими выстрелами поражали приближавшихся турок. Орудия греческие, хотя на морских станках поставленные, гремели непрерывно и наносили ужасный вред, а равно и живейший ружейный огонь продолжался безумолчно. Турки, заметив, что левая сторона укрепления, будучи недоконченна, была слабейшая, главные силы на оную устремили. Четырехкратные удары их на сие место были отражены неустрашимыми защитниками. Дело уже 8-мь часов продолжалось, и весь успех был на стороне слабых: турки потеряли до 1000 человек, а едва ли более 30 греков было ранено. В 4-м часу пополудни нападающие, видя все усилия тщетными, отступили от укрепления и решились далее поражать этеристов одною артиллериею. Поставив 9-ть орудий противу левой стороны, они вдоль реки начали бить оба фаса укрепления и вскоре подбили несколько пушек, на правой стороне бывших. В то же время загорелись строения в Скулянах, кои служили завесою для движений греков. Тогда бедственный беспорядок объял ими, лишенными и сил, и зарядов. Ядра и гранаты падали посреди их и двукратно конница врубилась в бесстройную толпу. Никакая храбрость не могла устоять далее; и так большая часть сих неустрашимых воинов, оказавших редкую оборону и стяжавших оною справедливую славу, бросилась в Прут, надеясь найти спасение на противном берегу могущественной и неприкосновенной державы. Сие самое еще более подвергло их истреблению. Стремительное течение реки, наполнившей берега весенним приливом, погубило многих, другие же убиты были турецкими выстрелами, направленными с берега. Невзирая на сие, до 300 человек спаслось в карантине; некоторые из переправившихся имели по 4-е и по 5-ть ран, вскоре от них умерли. Начальники войска сего, достойного сожаления как беззащитностию своего положения, так и мужественною твердостью, показали блистательные примеры собственного пожертвования, заслужившего общих похвал и уважения. Им предстояла возможность спасти себя, подражая товарищам; но способ сей был для них бесславен, и смерть казалась слаще угрызений оскорбленной чести. Кондугони, Афанасий, Свойелло, Софиано, Минглери,

Стоврака, Инзе и Конго не оставляли того берега, на коем водрузили они знамя свободы, и окружены будучи толпами врагов, долго оборонялись от их ударов и множество из них поразили. Наконец, смерть пожала сих лучших сынов Греции, достойных имен знаменитых предков...

Племя Греческое обязано воздать истинную признательность свою теням сих мужественных соотечественников, явившихся с честью на сем кровавом поприще и могущих служить справедливым поучением тем малодушным вождям мятежа, коих неспособности причинили столь бедственные и напрасные жертвования..."

Нужно ли говорить, на чьей стороне симпатии автора? Кому возносит он хвалу и поет гимны?

Вызывает ли сомнения его идеал воина и идеал начальника, дерущихся до конца, гибнущих, но знамени не роняющих?

Можно ли усомниться, что и он из тех, для кого славная смерть слаще "угрызений чести"?

На каждый из этих вопросов ответ дает сам автор "Обозрения...". Ответ прямой, недвусмысленный...

Да, говорит он нам тут же, мне близко военное дело, мне понятна стратегия и тактика боя. Да, я люблю слушать, читать, писать о сече, я испытываю упоение, представляя себе истинное героичество, даже героическую в бою смерть. Да, знамя свободы для меня святыня, и я тоже не оставил бы позиции, этим знаменем освященной.

...Вновь и вновь думаю я о литературном даре автора. Вот и здесь: разве не представляешь картинно всего описанного? не слышишь музыки слова? не останавливаешься на каком-то очень точном сравнении? Это стиль, близкий исторической прозе Пушкина - высокому образцу исторической прозы первой половины прошлого века. Вчитайтесь. Вдумайтесь. Я в летописце-обозревателе вижу и литератора ~ хотя сам он, возможно, им себя не считал.

Но прежде всего то был политик. Политик в деле военном, политик в произведении литературном.

Еще и еще раз судит он Кантакузина:

"В чем должно было состоять его намерение? В наипорнейшей и долговременной обороне противу турок, основанной на тех условиях, чтобы причинить им самый величайшими вред, а грекам дать возможность протянуть время в ожидании каких-либо значительнейших явлений, т. е. успеха Ипсилантия в Валахии, вступления Русских войск в турецкие пределы, посредничества европейских держав в деле греков и тому подобного. Во всяком случае ускорять минуту гибели было безрассудно и противно той первой обязанности, которую принял на себя каждый этерист, поднявший оружие противу Порты".

Первая обязанность - значит освобождение Греции, независимость страны.

Первая обязанность - значит борьба с тиранией до полного ее низвержения.

Это - цель и миссия политическая. С такой именно позиции подходит к ней автор - человек в делах подобного рода сведущий.

"Совсем другие явления неотменно последовали бы от иного направления греческой силы. Два способа предстояли к действию. Сражаться с турками в совокупности или сражаться враспыленную. Для первого должно было в отраслях гор, приняв в пособие неодолимое местоположение и крепость монастырей, в большом числе рассеянных по нагорной Молдавии, возвести твердый оплот, об который, вероятно, разрушилась бы ярость нестройных и неискусных турок. Для другого надлежало разделиться на малые части, погрузиться в самую глубину горных ущелий и оттуда производить внезапные набеги подобно испанским гверальясам. В том и другом случае долгое время турки не могли бы одолеть противопоставленных им препон (как сие самым опытом впоследствии доказано), и этеристы успели бы достойными делами ознаменовать свое существование".

...Перед глазами автора "Обозрения..." - широкая панорама освободительной борьбы народов. То, о чем писал Пушкин: "Тряслися грозно Пиренеи, вулкан Неаполя пылал..."

Он думает, ищет, извлекает опыт. Опыт этот - не только для дела греков.

## **ГЛАВА СЕДЬМАЯ: ТРИПТИХ ОБ АРХИВНЫХ НАХОДКАХ**

**МИЛОВАНОВИЧ И ДРУГИЕ**

Хочу предупредить сразу: то, о чем я расскажу здесь, с предыдущим изложением связано мало. Впрочем, это лишь на первый взгляд...

Из книг и статей о греческом восстании мне стало известно, что многие этеристы, найдя спасение в пограничных карантинах, были впоследствии рассеяны по "городам и весям" Российской империи. Оренбург как место их поселения в литературе не значился.

Но вот, окунувшись в дела архивные...



Архив в Оренбурге - одна из тех чудесных сокровищниц, которые пока еще только приоткрыты. Века складывали эти исторические богатства, и когда их раскроют до конца, много появится трудов новых - глубоких и ярких. Будет среди них и капитальный труд об истории оренбургской ссылки.

Семеновцы и декабристы, революционеры-поляки и участники крестьянских восстаний, петрашевцы и Шевченко - кого только не видел на своих просторах обширнейший степной край?!

Этеристы оказались тут среди первых.

...Архивное дело "О назначенных по высочайшему повелению на жительство в Оренбургскую губернию бывших в числе греческих гетеристов" возникло в канцелярии военного губернатора в конце 1821-го.

Первый документ датирован 26 ноября. Что он собой представляет? Это письмо из министерства внутренних дел, уведомляющее генерал-губернатора П. К. Эссена о том, что "по высочайшему повелению присланы будут от исправляющего должность полномочного наместника Бессарабии г. генерал-лейтенанта Инзова в Оренбург бывшие в числе греческих гетеристов: штабс-капитаны Башкович и Солтанович, капитаны Анастасий Иванов, Петрович и Милованович". Поставив губернатора в известность о скорой доставке поименованных ссыльных, высокие должностные лица заканчивали сообщением: "Государю императору благоугодно, чтобы... по доставлении в Оренбург помянутых лиц разослали... по разным уездным городам... для жительства под надзором полиции".

Ссылка на "высочайшую волю" какие-либо послабления исключала.

Еще до прибытия к месту назначения названные в предписании этеристы были распределены по "медвежьим углам" губернии. Солтановича определили в Белебей, Иванова - в Мензелинск, Петровича - в Бугульму... В общем, не более чем по одному на уезд...

С середины декабря двадцать первого до начала февраля двадцать второго продолжался путь из Кишинева в Оренбург шести изгнанников при полицейском надзирателе Сергееве. Доставил их он в "беднейшем положении". Невелики грамотеи сидели в полицейской канцелярии, но уже из их рапорта становится понятным: "Жители города Оренбурга из единственного человеколюбия снабдили их по числу своих состояний малейшим воздаянием, каковое только может им служить на одно дорожное продовольствие и в предстоящее время (те, о ком идет речь) также будут бессомненно претерпевать нужду". Так и получилось.

Городничий из Бугульмы докладывал, что капитан Петрович не имеет никаких средств к существованию.

Из Белебея сообщали, что капитан Солтанович не располагает возможностями ни для пропитания, ни для того, чтобы нанять квартиру.

Из Бугуруслана такой же рапорт был прислан в отношении штабс-капитана Башковича: "не имеет... никакого дневного пропитания и даже носильного платья..."

Отправленный в Мензелинск капитан Анастасий Иванов заболел, но в городке не оказалось даже врача; на лечение - к Сергиевским минеральным водам - его отправили по этапу.

Но и после таких рапортов существенной помощи не последовало. А ссыльные все громче спрашивали: на каком основании преследует их правительство? за что?

Одним из интересных документов дела является "объяснение", посланное военному губернатору П. К. Эсену Ионицей Миловановичем, именующим себя сербским воеводой.

Милованович сообщает, что "по разорении турками прелюбезного нашего отечества" он был вынужден вместе со своим семейством бежать во владения Австрии. В 1814 году, получив дозволение Александра I, братья Миловановичи, в свите сербского верховного вождя Карагеоргия (Георга Черного), отправились в Бессарабию и, поселившись там, стали получать

жалованье "по чину и достоинству". Так продолжалось до начала активных действий этеристов. Но затем, как пишет Иовица, лишённые средств к существованию, старший брат Младен и он задумали на свой риск пробираться к местам родным, чтобы "испросить у родственников своих какое-либо вспоможение". Добрались до Ясс. Тут на их пути оказались турки. "Соединясь купно с греками", братья "начали сражаться за спасение жизни нашей и веры с неприятелем".

В сражении на реке Прут греческие силы потерпели поражение. "Некоторые из греков были побиты турками, а другие бросились в реку, в числе коих и я... - излагал ход событий Милованович. А далее\* продолжал: - ...когда же мы переплыли чрез оную и выбрались на берег, то в ту ж самую минуту подходит к нам форпостная российская стража, отобрав у нас все оружие, отправила нас в карантин, где как я, так и прочие, содержались от 19-го июня до 18-го декабря, и того ж числа потребовал нас военный губернатор г. Инзов в город Кишинев, куда мы были под присмотром отправлены, и, прибыв в означенный город, явились к нему, и он объявил нам словесно, что турки требуют всех тех греческих этеристов, которые воевали против них, но по полученному мною повелению от государя императора я отправлю вас для сбережения жизни вашей от наглостей турецких в город Оренбург ненадолго время..."

"Недолго" время растянулось надолго. Письмо было написано в сентябре 1822-го, а конца ссылке не виделось. Если бы не "благодетельные особы", то он, по словам собственным, "принужденным бы нашелся голод и всякую нужду претерпевать..."

Удивленный несправедливостью, Милованович посылает губернатору "во уверение... достоинства и чести" копию свидетельства, данного Георгом Черным. (В свидетельстве отмечаются его, Иовицы, "храбрость, мужество и приверженность отечеству".) Просьба же заключается в одном: освободить от незаслуженного наказания или... сообщить истинные причины, чтобы мог он себя оправдать.

"К сему объяснению вышеозначенный сербский воевода Иовица Милованович своеручно подписуется..."

Воеводе не поверили.

Последовал запрос в Кишинев - и вот еще одно письмо, от тамошнего губернатора: "...показание отправленного по высочайшему повелению в числе прочих на жительство во вверенную вам губернию сербского капитана Миловановича в том, что он выехал из Бессарабской области единственно для следования в свое отечество и испрошения у своих родственников вспоможения его семейству, не заслуживает вероятия, ибо по приобретенным мною сведениям оказалось, что он, Милованович, отлучился тайно из Хотина, не объявив о том даже своим домашним, с намерением перейти за границу, в Молдавию, для присоединения с единомышленниками его к бывшей там партии греческих гетеристов".

Это писано в один из первых дней двадцать третьего. Писано Инзовым, который за полтора-два года до того открыто сочувствовал этеристам и оказал им важные услуги. Тем самым Инзовым, что принял участие в судьбе Пушкина; великий поэт жил в его доме, и многое из того, что было собрано им об этеристах, узнано именно здесь. К этому времени относится знакомство Пушкина с действиями сербских патриотов и их вождя Георга Черного, ставшего героем стихотворения "Дочери Карагеоргия"; в воображении поэта он предстает как "гроза луны, свободы воин, покрытый кровию святой".

Но Инзов был верным слугой царя; русский же монарх вместе со своими партнерами по Священному Союзу греческое восстание осудил. И наместник пишет об этеристах как о возмутителях, а действия Миловановича называет предосудительными. ...Как сложилась дальнейшая судьба Миловановича и других - из этого архивного дела неясно. Возможно, дадут ответ другие "единицы хранения"; я их, конечно, буду искать.

Хочется больше знать о людях, чьи дела описаны в "Обозрении...". Да, и Милованович, и Солтанович впервые мне встретились при чтении рукописной книги. А там сказано не о каждом.

## "В ПОЛЬЗУ ОБИТАТЕЛЕЙ ГРЕЦИИ"

В эти же дни архив принес еще одну находку. И не менее, пожалуй, важную, чем та, о которой я рассказал...

Подумать только: далекий от центра и даже от периферии греческих событий, Оренбург открывает сначала рукописную книгу, потом дела об этеристах, назначенных на жительство в отдаленную губернию, и наконец - еще одно, новое дело. О денежных вспомоществованиях свободолюбивым грекам.

Уважаемая Ольга Борисовна! (Я обращаюсь к О. Б. Шпаро, автору книги "Освобождение Греции и Россия", вышедшей в свет в Москве примерно через год после труда Г. Арша и в самый разгар моей работы.) Вы пишете, что длительные поиски документов о "денежных подписках в пользу греков" не привели вас к "ощутимым" результатам. Лишь на основе "косвенных данных и случайно оброненных фраз в переписке" приходите вы к предположению: "в Петербурге существовал комитет... собиравший крупные суммы денег для греческих повстанцев". В сноске сказано: "Автор продолжает исследование этого вопроса". Вот тут-то и хочется мне сказать: исследование, безусловно, перспективно. Но... рамки поиска должны быть расширены. В орбиту его пора включить архивы не только столичные. Один из таких архивов - Оренбургский - заявляет о себе первым.

Передо мною - дело губернаторской канцелярии "По отношению князя А. Н. Голицына об открытии подписки в пользу обитателей Греции". Дело на 306 листах...

Лист первый - это предложение министра духовных дел и народного просвещения Голицына оренбургскому военному губернатору Эссену: "открыть подписку в пользу... несчастных изгнанников, тысячами притекающих в Одессу и в пределы Бессарабии".

Почин поначалу исходил от "некоторых лиц, подвигнутых соболезованием к бедствиям обитателей Греции", затем "намерение, внушенное человеколюбием и состраданием", было доложено царю, и вот - "его величество, одобряя намерение, ...высочайше повелел мне (Голицыну) отнестись... с представлением вам (Эссену)... пригласить как дворянство, так и купечество принять участие в благодетельном пожертвовании". Тут же образец "подписного листа". Читаем его текст:

"Всей России известны ужасные происшествия в Константинополе. Множество единоверных нам христиан, дабы избегнуть смерти, устремились к пределам России. Тысячи несчастных жертв гонения с самого марта месяца сего 1821 года ищат убежища в Одессе и Бессарабской области. Изгнанники приняты гостеприимно, славят милосердие монарха и сострадание тамошних жителей. Но пособия, им оказываемые, недостаточны к призрению столь великого числа семейств, со дня на день возрастающего. В одном городе Одессе считалось их в июне месяце около четырех тысяч человек. Они, спасая жизнь свою, честь, жен и детей, утратили все свое достояние. Столь бедственная участь братии наших сама собою вопиет о помощи.

Добрые христиане, конечно, услышат глас сей, простираемый к ним, к вере и любви, и не откажут принимать участие в открываемой ныне подписке в пользу находящихся в Одессе и Бессарабии греческих и молдавских изгнанников. "Милующий бедного взаим дает Богу". Денежные приношения по мере сбора оными доставляемы будут для раздачи неимущим к г. Херсонскому военному губернатору или управляющему Бессарабскою областью. Июля 24 дня 1821 года. На подлинном подписано: князь Александр Голицын".

Подписные листы были разосланы исправникам, предводителям, комендантам - во все уезды, города и крепости обширной губернии. Они-то и составляют основу пухлого архивного дела - листы, испещренные фамилиями, цифрами, подписями.

Подписей - сотни. Тех же комендантов и исправников. Офицеров армейских и казачьих. Священников и мулл. Чиновников всех степеней. Юртовых и прочих старшин. Отставных солдат... мещан... крестьян...

Русских, башкир, татар, казахов - с подписями соответственно буквами латинскими, арабскими.

Обитателей городов и аулов, кантонов и деревень - различнейших мест, которых достигала подписная эстафета.

Цифры неодинаковы. Немало двузначных - с девятки или с единицы. Больше - однозначных, скромных-прескромных. (Какое жалование у коллежского регистратора? Какие доходы у многосемейного вахтера магазина? У сельского писаря?)

Из Троицкого уезда доносили о сборе 1222 рублей, а из Мензелинского - 534. Там, в Мензелинске, в местностях вокруг него, властвовала своя беда: пожары, засуха. Многие были в тревоге: где жить? как жить? И все же делились с далекими, неведомыми изгнанниками - их постигло горе покруче.

Десятки листов, сотни фамилий... Столбики негромких цифр... 3758 рублей дала подписка "в пользу обитателей Греции" по одной лишь Оренбургской губернии.

"Царское правительство, опасаясь того, что его коллеги по Священному Союзу заподозрят Россию в поддержке греческого восстания, запретило всякое упоминание в печати о сборах денежных средств в пользу повстанцев... Поэтому русский филэллизм, в отличие от французского, английского и немецкого, действовал в полной негласности. В русской печати того времени нельзя найти никаких упоминаний о существовании в России филэллистического комитета, о денежных подписках в пользу греков, а тем более о лицах, которые участвовали в организации этого дела".

Приведенная здесь цитата взята из упомянутой книги О. Б. Шпаро.

Не предположительно - на прочном фундаменте фактов - могу я сейчас сказать, что существовали и комитет в центре, и денежные подписки на местах, действовали сотни и тысячи лиц, которых по праву можно именовать организаторами этого бескорыстно благородного движения. Оно заслуживает исследования - кропотливого, специального.

Оно будет изучаться - и наверняка с успехом. "Длительные и тщательные поиски документального материала... не привели до сих пор к более или менее ощутимым результатам, - сетует в своей книге исследовательница. - Дневники, письма и воспоминания также не дали такого материала".

Думается, что и воспоминания, и дневники, и письма (сколько их есть, еще не прочитанных или не дочитанных!) откроют нам не одно драгоценное свидетельство современников событий. Но главное отложилось среди бумаг иных.

По аналогии с Оренбургом, дела о денежных подписках в пользу вольнолюбивых сынов Эллады надо поискать в фондах губернаторских канцелярий за 1821-й и последующие годы. Они там имеются - сомнения это теперь не вызывает.

Собранное отсылалось в канцелярию херсонского губернатора. Ее переписка, конечно же, сохранила множество уведомлений о высланных и полученных суммах. Тех, что стекались отовсюду...

Нити кампании, как свидетельствуют те же оренбургские материалы, сходились в министерстве духовных дел и народного просвещения. Так что и фонд этого министерства может хранить многое. Не там ли, кстати, переписка загадочного "Петербургского комитета для греческих дел"?

Заставляют о себе думать бумаги Александра Николаевича Голицына. Указатель личных архивных фондов дает на сей счет прямые адреса: Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ф. 203), Центральный архив древних актов (ф. 1263), где княжеский род Голицыных представлен 11 305 единицами хранения, еще ряд коллекций в разных архивах. ...Надо искать. Ищущий найдет непременно.

**СТРАНИЦЫ СУДЕБ**

Влекут, неодолимо влекут меня к себе архивы.

Казалось бы, дел и без того много. На рабочем столе - рукописная книга; не так скоро разберешься в микрофильмах и фотокопиях, что уже прибыли; чуть ли не каждый день из библиотеки звонят о поступлении заказанной литературы.

Сутки сиди - и тогда, сдастся, времени не хватит.

Ан нет, вдруг бросаешь все - и идешь в знакомый дом на главной улице. В архив...

Как все-таки складывалась судьба греков, отправленных в Оренбург?

Архивный фонд канцелярии оренбургского губернатора велик и обширен. Каждая опись - сотни густо заполненных страниц. По опыту знаю: наименования дел не всегда точны и сами по себе, при переписке же ошибок становится больше.

Именно ошибка-описка в фамилии привела к тому, что исследователи проглядели солидный том бумаг о польском поэте Эдварде Желиговском - друге Шевченко; лишь при третьем чтении описи извлек я его на свет - и лег он в основу исследовательской моей повести о большом человеке, и ближе стал Желиговский россиянам, украинцам, своим же соплеменникам - полякам.

Нет, спешить нельзя, как ни дорого время...

"О принятии греческого гетериста капитана Анастасия Сульета в Уфимскую больницу".

Сульет? Еще одно новое имя? Хотя почему - новое? Оно встречалось вроде бы в деле "О назначенных по высочайшему повелению на жительство в Оренбургскую губернию бывших в числе греческих гетеристов". Просматриваю выписки. Действительно: "Анастасий Иванов Сульет". Чаше - "Иванов" или "Анастасий Иванов", но однажды написано так. Наверное, это более полно и точно.

Сульет жалуется на нищету, на болезни. Болезни не дают покоя, он просит позволить "испытать счастья в главном гошпитале в Оренбурге". В просьбе отказывают. Следует предложение поместить за счет приказа общественного призрения в уфимскую больницу. Согласия на это капитан не дает...

Идет двадцать второй: июль - август.

Еще одно дело, начатое в августе того же года, 1822-го. С греческими событиями не связанное и - связанное.

"Господину Оренбургскому военному губернатору.

Рескриптом на имя мое, в 1-й день сего августа данным, Его Императорскому Величеству угодно было возложить на меня сделать распоряжения о закрытии и недопущении существования впредь масонских лож и всех тайных обществ..." (Как снова не вспомнить строки из письма Пушкина В. А. Жуковскому: "Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи".)

"...К приведению сих распоряжений в действие, Его Императорское Величество указать мне изволил сообщить всем господам главноуправляющим в губерниях и гражданским губернаторам к исполнению их следующее:

1-е. Все масонские ложи и другие тайные общества закрыть и учреждения их впредь не допускать.

2-е. Объявить о сем всем членам сих обществ и обязать их подписками, что они впредь ни под каким видом ни масонских, ни других тайных обществ, под каким бы благовидным названием они не были предполагаемы, ни внутри империи, ни вне ее составлять не будут.

3-е. Как несвойственно чиновникам, в службе находящимся, обязывать себя какою-либо присягою, кроме той, которая законом определена, то каждый раз при вступлении чиновников в службу или при определении к должности требовать от них подписки по форме, при сем под № 3 приложенной, что они ни к каким масонским ложам или тайным обществам в империи или вне оной не принадлежат.

4-е. Подписки сии хранить при списках о службе чиновников или при просьбах об определении к должностям, ими подаваемых.

Все распоряжения сии не относятся до чиновников, в действительной военной службе находящихся, об их начальство военное получает надлежащее предписание.

О таковой высочайшей воле я честь имею вашему высокопревосходительству сообщить.

Подписали: управляющий министерством внутренних дел граф В. Кочубей и директор Ф. Фок".

"Подписки по форме" такие:

"Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу верно".

Чиновники канцелярии губернатора и главной конторы Златоустовских заводов, Пограничной комиссии и всех других "присутствий" расписались: "не принадлежу".

Расписывались добровольно - или вынужденно, скрепя сердце. Ставили подписи, видя вокруг все больше тех, кто принадлежал к этим самым обществам и ложам, а теперь оказался на положении лишенных всех прав арестантов и ссыльных.

Хотя... подписка не для всех означала отказ от идей и от дел вольнолюбцев. Прошло несколько лет, и вслед за героями Сенатской площади вошли в историю "оренбургские декабристы" -

тоже страстные поборники свободы. А ведь подписку давали и они...

...Но последуем далее - по страницам описей, по листам дел.

Год 1823-й.

Дело "По прошению греческих гетеристов капитанов Петровича, Солтановича и Сулиота об увольнении их для излечения от болезни на Сергиевские минеральные воды"....

Они стремились быть вместе и прибегали ради этого к самым различным уловкам. На водах этеристам несколько недель удалось прожить вместе.

На другую просьбу - об аудиенции у губернатора - не последовало даже ответа...

Год следующий - и очередная подшивка бумаг, касающихся судьбы тех же людей. Только 11 января 1824 года датировано предписание министра внутренних дел: "Возвратить... сосланных... из Бессарабии в Оренбургскую губернию за принятие участия в военных действиях..."

Возвращение сопровождалось мерами полицейского надзора. Он должен был сопутствовать этим людям в дороге; эстафету слежки подхватывали власти тех мест, куда этеристы препровождались.

В Одессу их доставили в апреле.

..."Хлебнуть воздух эпохи..."

Это так же полезно, как вдыхать кислород.

По себе знаю: всякий раз, возвращаясь после многочасовых поисков в архивах, я могу допоздна сидеть за рабочим столом дома.

И думается в такие часы лучше, и видится дальше.

## **ГЛАВА ВОСЬМАЯ: ПИСАТЕЛЬ ЖИВЕТ В КНИГЕ**

Я снова погружаюсь в рукописные главы "Обозрения...". Теперь уже последние главы.

Само название - "Вторжение турок в Валахию" - сообщает о том, как развивались события далее. Содержание главы, однако, шире. В ней - и о все больших разногласиях между Ипсиланти и Владимиреску, и о гибели Владимиреску (завлеченный Иордаки, он был "осужден на смерть и казнен пред войском"), и о предпринятых князем-предводителем шагах к соединению всех сил - шагах запоздалых.

Бой под Драгочанами вновь закончился поражением греков, а равно тех, кто был с ними заодно - хотя "храбрость частных начальников Дракулы, Суццо, Квебаба, Луки и Андроники, отчаянно бросавшихся в ряды неприятелей, возбуждала прочих им следовать", а "священная дружина, предводимая князем Николаем Ипсиланти, одушевленная примерною отважностью и несколько приуготовленная к военному порядку, оказала отличное сопротивление". Она, та дружина, "приняла на себя всю силу турецкую и остановила их стремление", и все же исход оказался роковым: "Более половины храброй дружины погибло, и конечно бы, то же последовало с остальною, если бы Иордакий не приспел на помощь с частью своего войска. Он стремительно врубился в толпу турецкую и выручил погибавших соотчичей..."

Иордаки... Имя это - почти на каждой странице. Под пером автора он вырастает в фигуру крупную, сильную - прямого антипода Ипсиланти, уходящего в Австрию.

"Оставляя войско свое, он издал приказ, в коем упрекал греков в малодушии и изменах. Вероятно, сим действием желал он оправдать свое поведение и всю вину неудач сложить на соучастников своих..."

(Прерывая цитату из "Обозрения...", дадим слово Пушкину: в "Заметке о революции Ипсиланти" он писал: "Александр Ипсиланти, боясь быть убитым, счел необходимым бежать и разразился своей прокламацией...")

"Но никакое оправдание, - это снова из рукописной книги, - не способно убедить свет в том, что поведение Ипсилантия соответствовало доверию народа, избравшего его главою своего ополчения. Принять столь лестное предложение не доказывало еще несколько достоинства, но от последующих деяний зависело: или стяжать благословение Отечества и вместе с оным вечное имя в Истории, или, покрыв себя стыдом и ничтожеством, обременить совесть упреками миллиона несчастных, принесших напрасные жертвы... Ни в общих предначертаниях, ни в частном действии не показал он ни той обширности в соображениях, ни того мужества в презрении к жизни, кои составляют основные черты всякого характера, призванного по ходу дел пред суд Истории. Не довольно сего, во все продолжение кровопролития он ни одного раза лично не участвовал в сражении и не имел довольно душевной силы, чтоб не пережить отчуждения своих приверженцев - отчуждения несравненно оскорбительнейшего, нежели самые неудачи..."

(Снова Пушкин, на этот раз его повесть "Кирджали": "Александр Ипсиланти... не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которым принужден был покровительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения (бой при Драгоманах. - Л. Б.)... Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил его место.

Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодьями. Эти трусы и негодяи большею частию погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь против неприятеля, вдесятеро сильнее..."

Пушкин собирался сделать Иордаки героем поэмы. Неизвестный автор также отдал предпочтение ему. Продолжая читать "Обозрение...", следишь прежде всего за подвигами этого человека - он становится центром повествования, его движущей силой.

..."Великодушный Иордакий, более всех прочих членов "Этерии" соболезновавший о гибели оной, решился испытать все крайние средства, кои опытность могла ему доставить в продолжении своего сопротивления.

По отбытии князя Ипсилантия, перешед с отрядом своим обратно чрез Ольту, он прибыл в Курте Оргиш, где верный друг его Фармакий ожидал его. Видя, что турки приближались к сему месту с намерением окружить их и не имея довольно сил, чтобы вступить в бой с неприятелем, они единодушно решились удалиться в отрасли гор и стараться по возможности пробираться в Молдавию. В сей поход выступили они с 2500 арнаутами..."

Много бед причинил Иордаки туркам. Бои за боями - и сотни врагов нашли смерть от рук его воинов в городах и селах, на горных дорогах и переправах через реки... "Повсюду войско Иордакия одерживало победу и наносило страшный вред неприятелям. Невзирая на сии успехи, положение его день ото дня делалось более отчаянным. В сем трудном походе сквозь горы не только терял он людей от меча неприятельского, но равно и от голода и нищеты. При том же сам он был ранен и изнурен болезнью. Все сие предвещало ему близкий и ужасный конец".

И вот - монастырь Секу, куда Иордаки с войском спустился по совету архиеерея Герасима, одновременно его уведомлявшего и о переходе Русской армии через Прут.

О Секу писал Пушкин - в "Кирджали", "Исторических заметках". Но если у него, Пушкина, об этом всего несколько строк ("Иордаки, во главе 800 чел., 5 раз сражался с турецкой армией и наконец заперся в монастыре (Секу)... Окруженный турками, он поджег свой пороховой склад и взорвался"), то тут, в "Обзрении...", раскрывается картина героизма, воспроизведенная и в главном, и в деталях.

"...Вскоре после занятия сего места турки напали на оное, но были отбиты. Наконец 1-го сентября огромные силы их, простиравшиеся до 10 т. человек, с артиллериею, под начальством Бошнян-Бим-Баши и двух других пашей, прибыли в Секу для окончательного поражения Иордакия. Монахи, в монастыре бывшие, сочли число этеристов и тайно дали о том сведение туркам. (Архиерей зазвал, монахи выдали... - Л. Б.) Узнав о слабости сего отряда, они с большою яростию повели нападение. Осадив со всех сторон слабые ограды монастырские, они начали артиллериею разбивать оные. Этеристы видели гибель, но бодро отвергали все предложения турок касательно добровольной сдачи и несколько раз отражали неприятелей, решавшихся на приступ. Младен (Милованович. - Л. Б.) с 300 арнаут поставлен был вне монастыря в скрытых и трудных местах, а сам Иордании с Фармакием и остальными людьми заперся в самом монастыре. Долгое время турки не могли превозмочь сей слабой защиты; наконец стены обрушились, дома и кельи загорелись и многочисленные толпы турок решительно пошли на приступ. Сеча была отчаянная и дорого стоила туркам, но многолюдство их должно было превозмочь. Этеристы, бывшие вне ограды, почти все были перебиты: несколько человек с Младеном ушли в Буковину; но внутри монастыря никто не мог спастись. Мужественный Иордании, лишившись последней надежды, заперся в одну келью и, сам зажегши ее, погиб в пламени. Фармакий, не успевший умереть в объятиях своего друга, захвачен был с 38-ю сообщниками в плен и отвезен в Царьград, где предан смерти после долгих мучений.

Так кончили жизнь свою сии два отважные мужа, сии два верные друга. Из всех людей, появившихся в течение года греческого возмущения в Молдавии и Валахии, конечно, Иордакий занимает первое и достопочтеннейшее место. При неутомимой деятельности, оказанной им как в начале мятежа, так и во время усыпления Ипсиланти в Терговисте (помните, "Ипсиланти дремлет..."? - Л. Б.), и, наконец, в многотрудном и редком походе чрез горы он заключал в себе сильную душу, бесчувственную для опасности и равно твердую как в успехах, так и в бедствиях. Он, сверх сих драгоценных качеств достойного человека, был предан своему Отечеству, ибо страстно любил его в составе Этерии и почитал неправым и низким делом пережить неудачу в столь важном предприятии. Более людей, подобных Иорданию, и, может быть, свобода Греции была бы восстановлена... Воздадим полную хвалу славному воину, могущему служить примером не только для своих неопытных соотечественников, но и вообще для всех военных людей". Не только для соотечественников, в военном деле неопытных... Для всех военных людей вообще...

...Да, не об одних лишь грехах думает автор, разматывая по свежим следам истории клубок событий, его интересующих. И интересуют-то они прежде всего тем, что близки, созвучны не



только сокровенным мыслям-убеждениям, но и еще более глубоким, может, не до конца осознанным, планам. Планам зреющим, тревожным...

Писатель живет в книге. Она - его мысли и чувства, она - его душа. Где, как не тут, в им созданном, искать нам черты автора? Что, как не это, может стать первейшим источником воссоздания его облика?

Так пусть же вновь зазвучат страницы "Обозрения..." и голос его автора - для нас пока безвестного. Но в предположениях - Пушкин... Пестель... Как не насторожиться, не прислушаться?

#### ГОВОРIT АВТОР "ОБОЗРЕНИЯ"

"...Происшествия 1821-го года займут место в летописях мира. Для человека, вскользь смотрящего на явления, они представляют замечательный беспорядок, льющуюся кровь, опустошенные поля из обильных стран, малое число твердых и великое малодушных характеров! Но явления сии при внимательном и глубоком рассмотрении хранят в себе драгоценные поучения для народов, верные руководства для людей. В сем смысле и политика, и нравоучение с равною важностию будут разбирать оные для общего блага и поверять те правила, кои выводятся ими из наблюдения сего устарелого летами человечества, но столь еще юного в зрелой опасности.

Сии замечательные происшествия способны в развитии своем наполнить обширные произведения ума человеческого. С одной стороны, изнеможенное существование княжеств Молдавии и Валахии никогда еще не представляло столь сильно, как ныне, унижения, до коего достигают народы, лишившиеся своего характера. Дух бодрости, отваживающий на гибель, равно необходим как для блага одного лица, так и для целого племени... Безусловная покорность нераздельна с презрением: она внушает другим понятие о нашей слабости и ободряет их причинение нам безнаказанно оскорблений. В сие-то крайнее положение впали племена, населяющие страны, достойные по счастливым дарам природы лучших обитателей; страны, кои плодородием земли должны были разлить между жителями богатства и с ними промышленность, просвещение, общеустройство, силу; страны, кои по соседству с народами воинственными и по гористому положению края должны были укрепить те лесные силы жителей, внушить им охоту к опасностям и все воинские доблести, необходимые для обеспечения благоденствия народного. Но здесь наблюдатель видит явный спор сил

природы с силами нравственными, самовластно управляющими человеческим родом. Здесь от давних и многообразных причин вторгались пороки, заглушавшие все выпренные порывы, все понятия о частных пожертвованиях для пользы целого, пороки, направившие умы к лени и хищничеству, сковавшие деятельность - драгоценнейшее свойство человека - и тем усыпившие все силы народа...

...Ныне толпа чужеземцев вторглась в сии страны, разрушила существовавший порядок, разогнала жителей: пришли властители, пред коими всякое действие, современное или совместное преступлению, есть равное преступление. Властители сии, кровожадные и ненасытные, все истребили: и честь, и богатства, и жизнь подвластного народа. Никакой завоеватель, никакие битвы не могли столько причинить бед сим странам, как покровительное занятие оных в течение 1821-го года турецкими войсками. И так те, кои страшались умереть с оружием и в священном случае обороны Отечества, закалываемы были по прихотям каждого из подлых слуг тирана; те, кои искали ненарушимого покоя, скитаются по чужим странам и терпят все ужасы нищеты. Таково положение всякого народа, не имеющего достаточной бодрости для своего вооружения и возлагающего бытие свое на посредничество других держав.

...Народы, как и все живущее в мире, имеют свои возрасты, коим приличны бывают различные образы существования. Ускорить переход народа от одного возраста к другому, особенно от младенчества к зрелости, не есть удел одного или нескольких лиц, как бы, впрочем, велики способности их ни были: стечение обстоятельств, сильные перевороты, разительный

пример соседей, долговременное направление умов по одному начертанию - вот рычаги, коими движутся сии полновесные громады, и без оных нельзя им внушить быстрого хода. Можно поколебать покоящееся тело, даже поддержать его несколько на некоторой высоте, но по мере уничтожения подставок оное опять рушится в прежнюю глубину и в падении своем не только само раздробится, но посторонним телам причинит вред; одни лишь громкие сотрясения наполняют воздух. - Вот верное подобие "Этерии" и того напряженного переворота, который думала она произвести своим восстанием. Не говоря о Морее, где совсем отдельные от тайного союза причины устроили упорную защиту, где самое сильнейшее чувство собственной обороны внушило решимость лучше восстать с надеждою освободиться, нежели оставаться беззащитным с уверенностью в неизбежной и незаслуженной смерти; не говоря о Морее, я принимаю в рассмотрение дела "Этерии" в Молдавии и Валахии...

...Не имел ни понятия о войне, ниже решимости для ведения оной, этеристы всю надежду возложили на тех наемников (арнаутов), кои, следуя обману и хищничеству, пристали к знаменам их с единою целию сопутствовать им в счастии и предать в неудаче. Они совершенно потеряли из вида, что наемные войска, по самому существу своему, малонадежны будучи в малом числе и в пособии к прочим, но одни никакого достоинства не имеют, ибо всякое условие священным бывает тогда только, когда за нарушением оного следует возмездие; но в войне, особенно мятежной, в день сражения какое быть может возмездие наемнику, получившему вперед всю плату и коему жизнь дороже, нежели прибавка награждения...

...Когда целый народ чувствует силу свою и решительно желает лучшего бытия - характеры являются на поприще и достойный сменяет достойнейшего; тогда нет неудачи, ибо способы рождаются на каждом шагу; правота дела, сильное общее желание, пылкие порывы все низвергают. Но в составе одного Общества, какова "Этерия", ограниченное число людей и средств скоро истощается, и после нескольких неудач каждый из сочленов следует уже частному своему внушению: один помышляет о личном своем спасении, другой предается влечению случая, решительнейший ищет конца блистательного. О сих последних сострадает друг человечества: он видит в них непремennую жертву, достойную лучшей участи. Иордакий и ему подобные мужи, украсившие своею смертью характер народа греческого, облагородили несколько дело "Этерии", без них же бытописание обрекло бы на вечное презрение имя этеристов, подобно как ныне заслужили сего те из них, кои, введя соотчичей в гибельное положение, сами вышли из оного целыми и даже обогащенными".

Последние строки...

Последний аккорд...

Рукописная книга дочитана до конца...

Но придет ли конец раздумьям над нею?

Многие еще люди будут обращаться к ее страницам, читать их и перечитывать, думать над ними и передумывать. Взгляды военные и исторические, мысли философские и политические, приемы литературные... - все это требует исследований особых, специальных. Независимо от того, кто окажется автором.

Кто окажется?

Могу ли, имею ли я право отойти в сторону, когда вместо имени автора - знак вопроса?

...Нет, безымянным он остаться не должен.

## **ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: НА ПУТЯХ ПОИСКА**

Думать - значит искать. Без поиска - не понять и не додумать.

...Скажу прямо: в не единожды развенчанное "собственное чутье" исследователя - верую. Но сразу же и оговорюсь: особое удовольствие испытываю я всякий раз, когда поверяю интуицию фактами. Это, думается, то самое, о чем говорил в своей книге "Проблемы авторства и теория стилей" академик В. В. Виноградов: "...нельзя подменять строгие объективно-исторические и историко-стилистические приемы и принципы определения авторства априорными субъективно-идеологическими соображениями и эмоциональными уверениями".

Конечно же, нельзя...

Уже здесь, в этом вот поиске, соображения "эмоциональные" и "субъективно-идеологические" не раз подсказывали мне Пушкина. Да и сами вы могли убедиться: общность круга идей, равно как общность образов, у автора "Обозрения..." и у великого, всемирно известного поэта - очевидны. Не буду таить и другое: "непрочитанный Пушкин" - это особенно заманчиво, это "открытие из открытий".

Я не стану в деталях описывать, как проверялась столь дерзкая гипотеза. Понадобилось систематизировать, по самым полным и новым изданиям, все в наследии Пушкина, что хоть как-то, пусть в косвенной степени, перекликалось с событиями 1821-го. Подверглись изучению, тоже весьма скрупулезному, все законченные и незаконченные произведения его исторической, историко-художественной прозы. Из библиотечных недр извлекалось все, что когда-либо писалось о связях Пушкина с этеристами, об интересе гениального поэта к движению греков. И с каждой новой страницей я все более утверждался в мысли, к которой приходил по мере чтения "Обозрения...": у автора рукописной книги и у него, Пушкина, были, в главном, одинаковые взгляды на борьбу свободолюбивых сыновей Эллады, на различные этапы этой борьбы, на роль в ней многих видных представителей движения.

Однажды я задал себе вопрос, на первый взгляд довольно странный: как бы Пушкин сказал о своем труде, этим событиям посвященном, если бы поставил перед собой задачу написать к нему предисловие? Мог, подумалось, вот так: "В нем собрано все, что было обнаружено правительством... Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельствами живых... Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело... легко исправит и дополнит мой труд, конечно, несовершенный, но добросовестный. Историческая страница... не должна быть затеряна для потомства". Да ведь это и есть Пушкин - только предисловие к "Истории Пугачева"!

Но более тщательное сравнение особенностей стиля пушкинской повествовательной прозы и повествовательной прозы "Обозрения..." убедило в том, что "происшествия в Молдавии и Валахии и соприкосновенные оным обстоятельства" воссозданы на бумаге не Пушкиным.

"В орбиту поисков включались новые и новые армады книг, все глубже устремлял я взгляд свой в толщу дел архивных.

Чье все-таки имя должно быть поставлено на титульном листе?

...Давным-давно, мечтая о возвращении народу литературы потаенной, Н.П. Огарев предсказывал: "В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений".

Много с тех пор отыскано. Но не все... нет - еще не все, к сожалению... И среди кладов "заколдованных" (колдовство не чертовское - царское) - не одна сотня, даже не одна тысяча страниц литературы декабристской, расправа над которой была столь же яростно-жестокой, как и над самими декабристами.

...Следственный Комитет допрашивает Федора Глинку. О его личных действиях в тайном обществе и о каждом из друзей-товарищей. Допрашиваемый мужествен. Он гордится теми, с кем свела его судьба - и Пестелем прежде всего. Немногим выпало на долю столько раз испытать себя, как ему...

"При самом открытии греческого дела, то есть при первом шаге Ипсилантия за р. Прут, если еще не прежде, что было в самом начале 1821 г., граф Витгенштейн послал полковника Павла Пестеля переодетым в Молдавию и Буковину для собрания подробнейших сведений (от молдавских и валахских бояр и пр.) об известном греческом тайном обществе под названием "Элевферии".

Глинке известно: Пестель побывал в Германштадте, в Яссах, в других местах, а затем представил "Мемориал о греческом тайном обществе".

"Сие, - пояснил Глинка, - я узнал в то время от его отца при встрече с ним".

Отец Пестеля, сибирский губернатор, был горд и воинской удачей, и военной карьерой сына. В конце 1821-го, в двадцать семь, тот стал полковником. Как не порадоваться отцовскому сердцу!

О командировках сына по делам греческим Пестель-отец мог узнать и от него самого, и от осведомленных людей - в кругах армейских, в высших сферах. А так как сведения были удивительно подробными, вокруг имени "добытчика" возникали легенды. Вот и о переодевании - это тоже могло быть легендой. Хотя как знать - возможно, требовалось и такое...

То ли отец Пестеля, то ли уже сам Глинка окрестили общество греков не "Этерией", а "Элевферией". По незнанию? По созвучию? Сие не столь важно. А вот что касается "Мемориала о греческом тайном обществе", то тут не задуматься нельзя.

"Мемория" - память... "Мемориал" - памятная записка... Припомним, что подобных записок Пестеля историкам известно три (не считая полуофициальных писем к генералу Киселеву и в возглавляемый им штаб Второй армии). Но ни одна приведенного, Глинкой названия не имеет.

Слабая осведомленность? Нет, дело, думается, в другом. Декабристов прежде и больше всего интересовала сама организация "Филики Эгерии", ее деятельность как союза, общества. В связи с этим, надо полагать, ими в миссии Пестеля на первый план выдвигались сбор и обобщение сведений об опыте греков в учреждении, построении, а затем и развертывании работы своего потаенного! содружества. Отсюда, можно предположить далее, и проистекает название: "Мемориал о греческом тайном обществе".

Проще, конечно, заподозрить Глинку в ошибке и заявить, что он-де дал свое, произвольное наименование пестелевским донесениям. Но исключается ли, что Глинка в названии не ошибся и имел в виду не те официальные или полуофициальные записки, а другое, историками декабризма не выявленное?

...Пестель! Я обращаюсь к нему - хоть, впрочем, не оставлял его и ранее, на страницах предыдущих. Вы знаете это, мы шли вместе, а значит, и предположения, и факты, и раздумья над ними вам, читатель, известны. Да, анализ объективно? исторический свидетельствует в пользу того, что ближе всех современников описанных в "Обзрении..." событий к источникам их изучения, к наиболее прогрессивной и трезвой их трактовке, к пониманию, осмыслению в духе декабризма, стоял он, Павел Иванович Пестель.

Но никакие размышления прямой линии не уподобишь. Кривая, ломаная, зигзаг - все что угодно, только не прямая. Вот и! мне не удастся вести рассказ легко, не отклоняясь в стороны и не бросая перо, чтобы взять его в руки несколько минут или несколько дней спустя, что-то поняв, о чем-то додумав...

Несомненно, "истории с переодеванием" еще раз касаться не стоит. Романисты, которые этими событиями увлекутся, вольны истолковать ее и так, и эдак, нисколько при сем перед истиной не погрешив.

Мне же для поисков больше всего нужно то, что вышло из-под пера Пестеля в результате его поездок. Напечатанное при жизни... (Есть ли такое? было ли вообще?)

Изданное позднее - в дореволюционные и уже в наши годы... (Знаю: было и есть. Вопрос: что именно?)

Напечатанное и не напечатанное... (Сохранилось? где? какого характера? содержания?)

Задуманное и ненаписанное... (Где упоминается? что предполагалось? почему осталось лишь замыслом?)

В научном поиске, как и в деле военном, присутствуют своя стратегия и своя тактика. Еще не определив направления главного удара, я уже наметил пути и цели разведки. И первые же "разведданные" оказались весьма полезными.

Прежде всего стало ясно, что ничего о греческих событиях самим Пестелем опубликовано не было. Скрупулезный поиск в изданиях 1821 - 1826 годов находок не принес. Но ведь и твердое "нет" - это тоже результат, не правда ли?

Второе направление оказалось более "урожайным".

Из труда А. П. Заблоцкого-Десятовского "Граф П. Д. Киселев и его время" (он появился в Санкт-Петербурге в 1882-м) я извлек несколько страниц о Пестеле и, что особенно важно, самого Пестеля. Том первый содержал довольно развернутые выдержки из его письма к Киселеву и из письма Киселева к Закревскому (препроводительного к записке Пестеля, с явным звучанием его мыслей). Что касается тома четвертого, заключительного, то в нем, содержащем приложения к трем предыдущим, оказался полный текст письма, ранее известного мне лишь в извлечениях. Написанное по-французски, оно так и напечатано. Первое письмо с театра военных действий...

В литературе об истории движения декабристов часты ссылки на книгу Н. П. Павлова-Сильванского "Декабрист Пестель пред Верховным Уголовным Судом". В этом издании (Ростов-на-Дону, 1907) греческие страницы того, кому труд посвящен, представлены двумя документами. Первый - "Доклад Александру I, содержащий извлечение из записки Пестеля" (название дано Павловым-Сильванским; подлинник, тоже на французском, имел подпись, конечно, не подполковника). Второй документ - сокращенная публикация "Докладной записки Пестеля князю Витгенштейну". Писалась записка по-русски, на русском опубликована - и этим я был удовлетворен особенно: не потому, что не нужно трудиться над переводом, а оттого, что перевод зачастую "сглаживает" стиль, мне же предстояло заняться и им.

Двумя годами позднее, в 1909-м, к запискам Пестеля обратился В. И. Семевский, автор книги "Политические и общественные идеи декабристов"; ее тоже в науке знают, а цитируют даже чаще двух предыдущих. Страницы 252 - 253 - и вот еще несколько десятков строк печатной греческой "пестелевианы".

Понемногу пополняется...

Но стоит ли радоваться, если почти за восемьдесят, даже девяносто лет после казни Пестеля из его записок и писем о 1821 годе в печати оказалось всего семь или восемь страниц?..

Преодо мною, однако, еще полвека. И каких? Советских!

Годы исследований...

Документы, переставшие быть тайной...

Да, в истории изучения общественных движений это поистине "золотые десятилетия"!

Документы по истории декабризма выстроились на библиотечных полках длинным рядом солидных томов. У Пестеля тут свой, отдельный, в семьсот страниц. Именуется он: "Русская правда" П. И. Пестеля и сочинения, ей предшествующие".

Подготовка этого тома, осуществленная под руководством академика Милицы Васильевны Нечкиной, заняла почти тридцать пять лет. Это был настоящий подвиг во славу науки. Место одних, умерших или погибших, занимали другие, а дело продолжалось - на первый взгляд, неприметное, будничное, на поверку - героическое.

Пал в сорок втором в оккупированном врагами Вильнюсе Сергей Николаевич Чернов, один из зачинателей труда; многий из того, что он же успел сделать, бесследно исчезло в огне

войны. Но еще не закончилась Великая Отечественная, как другой боец исторического фронта, Алексей Алексеевич Покровский, вернулся к черновским (и своим собственным) на

броскам, вариантам, материалам, и появились, стали развиваться, обрастать живой тканью новые идеи, мысли, решения. Десять лет, вплоть до 1954-го, работал он над разрозненным наследием главы Южного общества декабристов. Однако и ему не суждено было увидеть результаты - смерть настигла Покровского в разгар больших дел.

Незаконченный труд оказался завершенным другими. В 1958-м он вышел из печати - итог политического творчества! Павла Ивановича Пестеля. Диву даешься, как много успел сделать этот, совсем еще молодой, человек. И с болью думаешь: как много замыслов было оборвано в нем в тот час, когда он, в числе пяти "государственных преступников", поставленных "вне разрядов", повис в петле на кронверке Петропавловской крепости...

О книге "Русская правда" П. И. Пестеля... можно писать и писать. Она как удивительная легенда, как прекрасный памятник. Да славятся те, кто свершил такой научный подвиг!

Но я... я ищу материалы, связанные с освободительным движением греков. А в томе только один такой документ, на полстранички: набросок проекта под названием "Царство Греческое". Автор глубокого разбора пестелевского наследия А. А. Покровский причислил его к "органически не связанным с "Русской правдой", а потому для сборника "случайным". И все-таки поместил этот документ в ряду других, а во вступительной статье отметил, что Пестель "глубоко интересовался делами Ближнего Востока и принимал непосредственное участие в собрании сведений, касавшихся народностей Балканского полуострова".

"Балканская проблема в планах декабристов"... Так называется специальная работа Б. Е. Сыроечковского, опубликованная в те же пятидесятые годы. "Без учета внешнеполитической программы декабристов и их борьбы за ее осуществление не может быть полного понимания ни их революционной деятельности, ни исторического значения этого движения", - отмечал автор. Подчеркивая, что по состоянию источников многие вопросы "не могут получить вполне определенного разрешения", он анализировал донесения и письма, речь о которых уже шла. Но в центре внимания - "Царство Греческое", и маленький набросок вырос в документ огромной важности и силы... Такой, каким он и являлся!

Говоря о литературе еще более новой, хочется назвать книгу И. Иоввы "Южные декабристы и греческое национально-освободительное движение". Небольшую эту монографию я выделяю не только потому, что третья ее глава имеет название "Взгляды П. И. Пестеля на движение греков". Книжка в сто с лишним страниц может послужить сегодня доброй первоосновой изучения проблемы "Декабристы и этеристы" для каждого, кто заинтересуется ею и захочет работать дальше.

Когда мне во время какой-то из поездок в Москву удалось познакомиться с историком "Филики Этерии" Григорием Львовичем Аршем и я спросил его о "греческих" бумагах Пестеля в архивохранилищах страны, на вопрос он ответил вопросом: "Иовву читали?"

И тут же высказался вполне определенно: "Он поднял все архивы".

Действительно, молдавский ученый выказал завидное знание московских, ленинградских, кишиневских фондов, и не раз потом разбросанные по страницам монографии сноски-ссылки указывали мне дорогу в поисках.

...Моими мыслями теперь владеет Пестель. Прежде всего и главным образом - он.

Однако близость, и даже полное совпадение взглядов - для установления авторства книги еще не все. Такая близость есть и у Пушкина - мы в том убедились.

Не будет ли и здесь противоречить версии - на этот раз; "пестелевской" - анализ стилистический, только что перечеркнувший первоначальную мысль о "пушкинской" родословной книги?

Что ж, подходит черед сопоставить стиль рукописной книги и стиль всех известных нам произведений Пестеля (прежде всего, его докладных и писем по поводу тех же событий), положив на чашу весов не только содержание, но и индивидуальный литературный стиль.

Но пока еще не дал о себе знать Пестель неопубликованный, Пестель архивный...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: НА ПУТЯХ ПОИСКА

(Продолжение)

Для меня "архивный" Пестель начался с посылочки. Маленькой посылочки с почтовым штемпелем Ленинграда и с грифом Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Шедрина.

Помните, еще в начале работы я разослал повсюду запросы? Все они касались "Обозрения происшествий в Молдавии и Валахии". Ответы, которые пришли сразу или чуть позднее, содержали в себе одно и то же: нет, такой рукописью там не располагают. Тем не менее далее обычно стояло "но", а за ним... за ним любезное перечисление других имеющихся бумаг о греческих событиях 1821-го или близких к нему годов.

Ленинградцы сообщили о материалах из фонда Н. К. Шильдера: "К истории Этерии", "Восстание пандур под предводительством Тодора Владимирески", "Действия гетеристов под начальством кн. А. Ипсиланти"... Для меня, уже прочитавшего рукописную книгу, эти названия звучали как музыка. Зачарованный ими я поспешил заказать микрофильм и - стал ожидать выполнения.

(О, эти очереди! Они неприятны вообще, но тут... Ждать недели, месяцы, когда живешь поиском, наяву и во сне им гредишь, а в то же время не можешь пойти дальше, не получив крохотного рулона пленки, - мука такая, что ни сказать, ни описать. Не мне одному запомнилось то место из какого-то зарубежного письма Мариэтты Шагинян, где она восхищается моментальным снятием копий в архивах Франции. И кому бить челом, чтобы освоили это у нас? Очереди за копиями, томительнейшие из очередей, нет вам оправдания и быть не может...)

Искал я автора "Обозрения...". Искал уже с мыслью о Пестеле...

Но греческими событиями занимался не только он. И теперь передо мной, в кадрах микрофильма, был труд не Пестеля, а совсем другого человека - иных взглядов, иной судьбы. Того, чья фамилия знакома нам по кишиневским страницам биографии Пушкина.

И я, пожалуй, на время отложу все, чтобы рассказать об Иване Петровиче Липранди.

"...В бытность мою в Бессарабии, когда возникла Гетерия, - вспоминал Липранди много лет спустя, - на меня возложено было генералом от инфантерии Сабанеевым и генерал-майором Орловым собрание сведений о действиях турков в Придунайских княжествах и Болгарии, для чего я неоднократно был послан под разными предлогами в турецкие крепости".

Занимая видное положение в военной разведке, Липранди (не в меньшей степени, чем Пестель) находился у самых истоков сведений о событиях в Молдавии и Валахии. Как чиновник, на которого был возложен непосредственный надзор за теми, кто нашел себе убежище в Бессарабии, он постоянно общался с видными деятелями национально-освободительного движения. Беседы с ними, говорится в его воспоминаниях, "не ограничивались одним обменом словами - многие эпизоды были изложены мне письменно на сербском, греческом, французском и других языках". Материалы, собранные в 1821-м, оказались значительно пополненными позднее, особенно во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов (Липранди тогда было поручено формирование добровольческого отряда из бывших пандуров Тудора Владимиреску). Истый историк опросил десятки людей и к ранее сделанным записям добавил новые - и о Владимиреску, и о событиях вообще.

К чему он стремился? Какую цель перед собой ставил?

Липранди мечтал создать фундаментальный труд по истории Турции - близкого и загадочного соседа России, чьи отношения с ней оставались сложными, напряженными, несмотря на все дипломатические, политические и военные шаги. В характере строптивного соседа следовало разобраться, он за это взялся и - уже не мог отступить. Где-то в середине 30-х годов труд был доведен до конца. В 1837 году "Московский наблюдатель" писал: "Гаммер, издавая в свет многотомное сочинение свое "Оттоманская империя", никак бы не мог вообразить, что в России готов уже гигантский соперник его труда под тем же заглавием. Извещаем об этом наших ученых не по слуху, ибо мы сами видели это огромное сочинение И. П. Липранди, плод семнадцатилетнего исторического изучения посреди самого края, почти готовый уже к изданию".

Семнадцатилетнее - значит начатое в двадцатом либо годом ранее-позднее. Это для этеристов время особенно активных действий. Не без воздействия развернувшихся событий взялся, выходит, за дело Липранди. И не его вина, что света сей труд не увидел.

"Был ли тут скрытый саботаж со стороны влиятельных тогда в России иностранцев, старательно замалчивавших достижения русских специалистов? Явилось ли противоречием официальной точке зрения сочувственное отношение Липранди к революции?..

Так или иначе, но от монументального труда Липранди, подготовленного к изданию, остались лишь разбросанные по архивам; черновики и отрывки рукописей, тщательное исследование которых) может привести к самым неожиданным находкам, проливающим свет не только на жизнь и творчество Пушкина..."

Цитата эта, равно как и некоторые факты, взята из интересной статьи Е. М. Двойченко-Марковой "Пушкин и румынская народная песня о Тудоре Владимиреску".

Живо интересуясь борьбой за независимость Греции, всем сердцем ей сочувствуя, Пушкин, собирая материалы для будущих поэм и повестей, очень много узнал от Липранди. И поэт искренне не восхищался им - "соединяющим ученость истинную с отличными достоинствами военного человека". Тогда еще Пушкин не мог подозревать, что пройдут годы - и придет время, когда его знакомый и "ученость истинную", и "отличные достоинства" променяет на "милостивейшее благоволение" царя и его присных...

Пушкину в кишиневскую его пору это не могло даже прийти голову. Он охотно встречался с Липранди, шел к нему сам, принимал у себя, вновь и вновь расспрашивал о греческой революции! Но - и это надо подчеркнуть особо - пользовался информацией не из одного источника, на многое смотрел по-другому. Так или иначе, о своем знакомце он помнил долгие годы. Осенью 1833-го, набрасывая план будущих записок, Пушкин определял их последовательность таким образом: "Кишинев, - проезд мой из Кавказу и Крыму, - Орлов - Ипсиланти - Каменка - Фонт. Греческая революция - Липранди - 12 год..."

Греческая революция и Липранди соседствуют в этом плане случайно.

О событиях двадцать первого Липранди знал не меньше, Пестель. Столь же близко находился он к каналам официальной неофициальной информации. Каким, однако, было тогда его отношение к восстанию греков?

"Он мне добрый приятель, - писал Пушкин из Кишинева 2 января 1822 года, - и (верная порука за честь и ум) нелюбим правительством и в свою очередь не любит его". Это говорит о многом, но - относится к свидетельствам косвенным. Нужны же прямые, точные - неопровержимые...

Вы понимаете, к чему я веду? При чтении "Обозрения..." и потом, в раздумьях об авторе, в предположениях моих возникал и Липранди. Подтвердить или исключить это могло лишь одно: отыскав доподлинно им написанное, сличить и только так решить, могла ли рукописная книга быть создана им. Оттого я и не огорчился, когда уже в одном из первых кадров микрофильма нашел строчку: "Из записок И. П. Липранди".



...Заказывал микрофильм в надежде отыскать неопубликованного Пестеля - получил записки другого человека. И все-таки дни, затраченные на разбор пленки, на чтение рукописных материалов Липранди, бесполезными не оказались. Предположение о том, что "Обозрение..." мог написать он, отпало начисто. Не говоря уже о литературных стилях, резко отличались оценки событий, а стало быть, взгляды на историю.

Восстание этеристов для Липранди не более чем бунт; в Ипсиланти и его соратниках он отмечает лишь низменное своекорыстие; многие деятели движения - например, Йордаки Олимпиот - подаются им прямо противоположно тому, как делает это автор "Обозрения..."

Рукописную книгу отличает тщательный отбор наиболее важного, стремление к объективности. Она сдержанна, строга и в характеристике обстановки, и в описаниях событий, и в трактовках личностей. Тут только существенное и ничего третьестепенного. Липранди же расплывчат, излишне описателен, чрезмерно подробен, особенно - в родословных. Спору нет, детали, даже малейшие, для истории важны. Однако плохо, когда не столь уж значительные факты семейной хроники, подробности сугубо личного характера не дают сосредоточиться на главном.

Невольно создается впечатление, что, кичась своей осведомленностью, Липранди в то же время не прочь и отвлечь от того, что всего важнее.

Сразу по получении микрофильма мне хотелось прибегнуть к испытанному методу сопоставления текстов: слева - из одного источника, справа - из другого, внизу - обобщения и выводы. Когда же присланное было прочитано, первоначальное намерение исчезло. Сравнивать несравнимое? К чему?

Нет, к занимающему меня "Обозрению..." автор этих рукописей отношения не имеет - вот что принесла мне та маленькая посылочка. Первый вывод подтвердила другая - тоже из Ленинграда, но на сей раз из Исторического архива, где сосредоточилась еще одна часть материалов И.П. Липранди. Тут уж сомнения отпали окончательно. Липранди к рукописной книге непричастен.

...Я посылал письма, получал ответы, делал заказы, ожидал подтверждений, оплачивал счета, и ждал, ждал, ждал... Папка с перепиской начала по своему объему соревноваться с другой, в которой накапливались конспекты прочитанных книг, выписки в несколько слов и в несколько страниц. Казалось, по вопросу, который меня интересовал, прочитано все, что написали и напечатали за полтора столетия. Но полного удовлетворения не было. И не могло быть, пока до конца не сказали своего слова архивы. Главное, думалось, - там...

Главное или не главное - многое нашлось действительно. Явно пестелевское оказалось и в том же фонде Шильдера в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. А когда прибыл пакет из Центрального государственного военно-исторического архива в Москве и маленькие кадры микрофильма поплыли передо мною листами писем, донесений Пестеля (именно Пестеля, а не кого-то другого!), я понял: с этого дня для меня и начинается главный, решающий этап поиска.

...Машинописная копия "Обозрения..." на столе; пестелевский том "Восстания декабристов" под рукой; тут же его, Пестеля, материалы о событиях двадцать первого: опубликованные и неопубликованные, в выписках и на пленке.

Куда, к чему приведет анализ всего собранного? К полной; разгадке или к загадке новой?..

## **ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: ЕГО РУКОЮ**

Первая записка Пестеля на имя начальника Главного штаба Второй армии генерал-майора Киселева, написанная непосредственно по следам событий, 8 марта 1821 года,

охватывает тот же период, что и начальные страницы "Обозрения происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821 года и соприкосновенных оным обстоятельств".

На чаше весов - они. Будем внимательны...

Записка:

13-го января сего года умер владетельный князь господарь I Александр Суццо. Жена его и все семейство старались скрыть сие от народа, в ожидании, что Порты согласится на просьбу покойника назначит сына его преемником. Но смерть князя не могла оставаться долгое время тайною; и 19-го числа весь город Бухарест узнал об оной.

.. Владимиреско издал прокламацию, в которой он объясняет, что поступок его не имеет целью возмущение противу Порты, но одно только сопротивление злодеяниям валахских бояр и различных чиновников, употребляющих в зло свою власть и доверенность правительства и содействующих, таким образом, из Валахии несчастную жертву их ненасытного корыстолюбия и бесчеловечной несправедливости.

...Генеральный наш консул Пини писал также потом к Владимиреске в том же смысле, как и Диван; но ответ был самый язвительный, ибо содержал упреки в том, что Пини разделял с боярами и покойным господарем корысть, происходящую от всех злоупотреблений...

...Получив таковой ответ, Пини отправил донесение в Лайбах, именуя Владимиреску карбонарием. Видя столь худой успех, Диван валахский намеревался просить турецких пашей, начальствующих Дунайскими крепостями, о присылке войск для прекращения беспорядков, но Пини воспротивился принятию сей меры, основываясь на Трактате, заключенном между Россиею и Портою, который воспрещает турецким войскам вход в Молдавию и Валахию без предварительного сношения с Российским Правительством...

На следующий день, т. е. 21 февраля, собрались все греки и арнауты, находившиеся в Галацах, и под предводительством грека Каравия, начальника греческой полиции, за несколько месяцев перед тем Суццо учрежденной, напали на турок, которые все сбежались в дом начальника турецкой полиции. Греков было около 600 человек, а турок только 80. Битва продолжалась 4 часа, и наконец все турки были истреблены. Греков же убито 12 человек, ранено 6. Дом, служивший туркам защитой, был во время перестрелки зажжен греками, отчего несколько соседних лавок и амбаров также сделались добычею пламени.

22 февраля, в 7 часов вечера, князь Александр Ипсилантий, в сопровождении князя Георгия Кантакуэина, да обоих своих братьев, Георгия и Николая, въехал в Яссы. Он был встречен на границе отрядом 300 арнаут и оным до города сопровожден. Князь Суццо, сейчас по приезде Ипсилантия, поехал к нему и около часа у него пробыл... В ночь на 23-е число все турки, в Яссах находившиеся, были убиты, кроме трех человек, объявивших желание воспринять христианскую православную веру.

...24 февраля созвал князь Суццо всех знатнейших бояр и дал им совет отправить прошение к Государю Императору, изъясняя в оном свое положение и прибегая к мощному покровительству Его Величества. Все бояре приняли сие предложение с радостью в тот же час исполнили оное.

27-го февраля в церкви Трех Святителей служил Митрополит литургию и молебствие по повелению князя Суццо и освятил знамена греческого войска. Сии знамена имеют темно-синий

изображением на одной стороне золотого креста, а на другой пепла с выходящим пламенем, из коего вылетает Феникс, надписью: из пепла восстаю...

...Ипсиланти издал несколько прокламаций к греческому народу и к греческому войску. Сии прокламации состоят, как и все таковые, из пышных слов, блистательных выражений и гордых воспоминаний о давно прошедших веках... Все сии прокламации имел я случай собрать, но оставил у генерала Пуцина, для перевода с греческого языка на российский, и как скоро получу, то буду иметь честь представить оные Вашему превосходительству.

"Обозрение..."

13-го января умер господарь Александр Суццо. Жена его и семейство старались скрыть сие от народа в ожидании, что Порта согласится на просьбу покойника и назначит сына его преемником. Но кончина князя не могла долгое время оставаться тайною, и 19-го числа весь город Бухарест узнал об оной.

...Здесь Владимиреско общенародно объявил, что его действия не имеют целью возмущение противу Порты, но одно только сопротивление злодеяниям валахских бояр и различных чиновников, употребляющих во зло доверенность правительства и соделывающих из Валахии несчастную жертву их ненасытного корыстолюбия и несправедливости.

...Российский Генеральный консул Пини писал к нему (Владимиреску. - Л. Б.) также и требовал появления его пред консульством; ответы его были язвительны и наполнены укоризнами...

... Тогда Пини отправил донесение в Лайбах о возникшем мятеже, а Диван вознамерился просить Турецких Пашей о присылке войск из задунайских крепостей для прекращения беспорядков. Видинский Паша объявил на сие готовность; но Пини воспротивился принятию сей меры, основываясь на Трактате, заключенном между Россиею и Портою, коим воспрещено Турецким войскам вступать в Молдавию и Валахию без предварительного сношения с Российским Правительством...

21-го февраля был первый день истребления турок. В Галаце этерист Василий Каравия, начальник греческой полиции в сем городе, незадолго учрежденной молдавским господарем князем Михаилом Суццо (вероятно, не без намерения), собрав до 600 своих сообщников, напал на турок, бывших в городе и простиравшихся числом до 80-ти. Турки для обороны своей скрылись в одном доме и 4 часа отчаянно защищались; но наконец дом был зажжен, и все они погибли.

Греков убито 12-ть и ранено 6-ть...

22-го февраля в 7-мь часов вечера князь Александр Ипсилантии въехал в Яссы в сопровождении братьев своих Георгия и Николая. (Примечание: Полтора дня после Ипсилантия прибыл в Яссы князь Георгий Кантакузин, отставной полковник Российской службы, также член Этерии.) Отряд из 200 арнаутов встретил его на границе и сопровождал до города. Господарь князь Суццо вошел немедленно в сношение с Ипсилантием. В ночь на 23-е число все турки, проживавшие в Яссах, были убиты.

24-го господарь созвал Совет бояр и предложил просить Государя Императора о покровительстве Молдавии в предстоящем смутном ее положении. Все бояре приняли сие и немедленно исполнили.

27-го же числа в церкви Трех Святителей Митрополит отпел молебствие и освятил знамена греческого войска, имевшие надпись над вылетающим из огня Фениксом: из пепла восстаю...

В продолжении 6-ти дней пребывания князя Ипсилантия в Яссах издал он несколько пышных прокламаций, клонившихся к поднятию всех христианских племен против ига мусульманов и в особенности к возбуждению рвения греков примерами великих людей их древнего свободного Отечества...

При необходимости таких параллелей можно провести больше. Но, пожалуй, нужды в этом нет.

Я нигде не выделяю совпадающих слов, строк, периодов: они очевидны без подчеркиваний.

В записке (автор которой известен) отчетливо слышен голос, знакомый нам по анонимной пока книге-рукописи. Одинаково точное выражение мыслей, наказанная меткость характеристик, очень искренний темперамент...

Неизданная книга, найденная в дальнем уголке периферийной библиотеки, сохраняет не только особенности стиля, но, кажется даже, живой тембр голоса человека, чья подпись стоит под официальным, и тоже далеко не бесстрастным, донесением...

Писал один и тот же человек? Да. Пестель? Стилевой анализ подсказывает: он самый.

Записки (первая и последующие) - это как бы необработанные стенограммы событий, зафиксировавшие происшедшее по самым горячим их следам.

"Обозрение..." - взгляд на те же события уже с определенного, пусть и небольшого, расстояния во времени.

В работе над историческим повествованием автор пользовался своими записками - это бесспорно. Но пользовался он ими не более как эскизами, черновиками, набросками для памяти и не следовал слепо за ранее написанным, а думал-передумывал, писал-переписывал.

Вернемся к сопоставлениям. Любое из них может служить подтверждением вдумчивой, требовательной литературной работы автора. Он действительно стремится к лаконизму, четкости, энергичности каждого предложения, к звучанию слова - и это для него немаловажно. Он пишет для читателя, причем читателя-единомышленника. Его занимает, заботит наиболее точная и яркая передача фактов, обстоятельств.

"На следующий день, т. е. 21 февраля..." Цитировать снова ни записку, ни книгу я не стану - приведенных слов достаточно, чтобы соответствующее место найти. Посмотрите, как подчеркивает автор "Обозрения..." направляющую руку "Филики Этерии". В записке читаем: "под предводительством грека Каравия". Расправа с турками в Галаце с именем Ипсиланти в записке не связана. Здесь же автор считает нужным добавить: "Должно полагать, что сии действия начались по приказанию князя Ипсилантия, находившегося тогда в Кишиневе".

В другом сопоставлении ("22 февраля, в 7-мь часов вечера...") обращает прежде всего внимание не столько малозначительный факт, касающийся времени прибытия в Яссы князя Кантакузина, сколько подчеркивание: "Также член "Этерии"; оно относится в "Обозрении..." и к Георгию Кантакузину, и к трем братьям Ипсиланти, оказавшимся в Яссах одновременно.

Читатель, конечно, заметил ссылку Пестеля на собранные им прокламации, оставленные у генерала Пущина для перевода с греческого на русский. Полные их тексты в "Обозрении..." даны как приложение. И как повышает это документальную, историческую ценность труда! Мы имеем возможность, не уходя от рукописной книги, не закрывая ее, убедиться, насколько летописец точен, в какой степени объективен. В прокламациях - пусть не всех, но некоторых, - голос самой "Этерии", ее опыт, так занимавший будущих декабристов.

...Мы с вами сопоставляем пока первую из записок Пестеля и первые страницы "Обозрения...". В отборе, трактовке, изложении фактов, в использовании выразительных средств языка, во внутренней композиции отдельных частей - сходство, не вызывающее сомнений.

Единством трактовки, близостью слога отмечены и те места обоих текстов, которые существенно разнятся. Прежде всего, это касается страниц о тайном обществе "Филики Этерии".

Сведения о нем в записке отнесены на самый конец, причем отведено им сравнительно скромное место. Автор, Пестель, представляет роль этой организации отчетливо ("Возмущение, ныне в Греции случившееся, есть произведение сего тайного общества...". Ему известны и история движения этеристов, структура их патриотического союза, ставшего во главе "возмущения". Того "возмущения", которое, как он уверен, может "иметь самые важные последствия", ибо основано "на общем предначертании, давно сделанном, зрело обдуманном и всю Грецию объемлющем". Тем не менее пишет он об этом обществе весьма коротко, ни разу даже полным его именем не называя. Пестель оговаривает, что "за достоверность сведений по сему предмету" - сведений, им собранных, - поручиться не может, "хотя и имеют они вид самый основательный".

В "Обзрении..." оговорка сохранена (автор оправдывает ее тем, что "все, относящееся до состава тайного союза, взято из частных сведений"). Но то, что в записке отнесено в конец, в рукописной книге составляет первую, и весьма значительную по размерам, главу. С этого книга начинается, это служит прологом всего повествования, подготавливая к восприятию, пониманию последующих событий как результата деятельности разветвленной организации, со всем положительным и всеми недостатками, ей присущими. Обозначенное в записке не более чем пунктирно, здесь, в книге, разворачивается в обширный очерк борьбы потомков древней Эллады за свою свободу и независимость.

Об этих страницах я писал подробно, повторяться необходимости нет, но вот сейчас, перечитывая их и вновь сопоставляя с соответствующим местом первой записки, не могу не сказать: и суть, и слог, и стиль - едины.

(Вот эта часть записки Пестеля: "Что же касается до возмущения греков и поступков Ипсилантия и Владимирески, то оные могут иметь самые важные последствия, ибо основаны на общем предначертании, давно сделанном, зрело обдуманном и всю Грецию объемлющем. Я, однако же, за достоверность сведений, по сему предмету мною собранных, не ручаюсь положительным образом, хотя и имеют они вид самый основательный. Со времени последнего возмущения греков в Морее, столь неудачно для них кончившегося, составили они тайное политическое общество, которое началось в Вене старанием грека Риги, потерявшего потом свою голову по повелению Порты. Сей ужасный пример не устрасил его сообщников. Их было тогда 40 человек. Сие общество составило несколько отделений в Вене, Париже, Лондоне и других знаменитейших городах. Первые же усилия устремлены на приобретение влияния на умы, в чем они успевали посредством книг, печатаваемых в европейских городах и раздаваемых потом между греками. Долгое время ограничивали они свои действия сим кругом и десять только лет тому назад, когда посторонние даже люди стали замечать, что между ними нечто приутоворяется, приступили они к действию более положительному и образовали свое общество на сем основании. Всем обществом управляет Тайная Верховная Управа, коея члены никому из прочих собратьев неизвестны. Само Общество разделяется на две степени. Члены низшей именуются гражданами, члены второй - правителями. Каждый правитель имеет право принимать в граждане. Сии граждане никого из членов Общества не знают, кроме правителя, их принявшего. Сей же правитель никого не знает, кроме граждан, которых сам принял, и того другого правителя, коим он был принят. Из граждан же в правители поступают члены общества не иначе, как по предварительному разрешению Верховной Управы... Возмущение, ныне в Греции случившееся, есть произведение сего тайного общества...").

Автор тот же - Пестель...

А "существенные отличия"? Да ведь между запиской и книгой - годы. Пусть два, три, но какие! Годы дерзких планов и подготовки к их осуществлению... годы мужания и борьбы... Приближался 1825-й, которому суждено было проверить многое. И то, какие уроки декабристами извлечены из опыта других, в том числе "Филики Этерии".

В этой обстановке, - преувеличения тут, думается, нет, - "Обзрение..." приобретало значение труда революционного. А значит, требовало особого внимания ко всему, что могло быть полезным для организации общественного движения в России. К истории, структуре и действиям тайного общества - прежде всего.

...Не только "субъективное чутье", не только разбор исторический, но и анализ стиля - за то, что книга написана Пестелем.

Книга, приговоренная к смерти, потому что жизнь ей дал он.

## **ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: ТОЛЬКО ЛИЧНО...**

Доводы не исчерпаны. Потом, дальше, я намерен сопоставить "Обозрение..." и с той частью литературного наследия Пестеля, которая опубликована. Пока же хочу заняться источниками. Единство исторических источников тоже говорит о многом.

...В своей автобиографической анкете Пестель писал, что в 1821 году он "употреблен был в главной квартире 2-й армии по делам о возмущении греков и по сим же делам был троекратно послан в Бессарабию..."

Все записки-отчеты, все письма об этих поездках явились результатом кропотливого изучения обстановки не по книгам или каким-либо другим печатно-письменным обобщающим материалам - исключительно по личным его впечатлениям, встречам, беседам. А если уж по документам, то самым оперативным, появлявшимся на свет в те именно дни и дотоле обнародованным не далее Молдавии и Валахии: прокламациям, листовкам.

"Основной" части первой записки, на которой я останавливался в связи с анализом стиля, предшествуют строки об источниках полученных сведений.

"По приезде моем в Кишинев, - сообщал автор, - явился я к генерал-лейтенанту Инзову и узнал, что кроме сведений, г. главнокомандующему сообщенных, ...никаких других с тех пор не получено. Переговорив о том же предмете с гражданским губернатором Катакази, зятем князя Ипсилантия, и с некоторыми другими лицами, решился я... немедленно отправиться в Скуляны, куда приехал и бессарабский вице-губернатор Крупенский. Он родом молдаван и имеет родных и многих знакомых в Яссах. В тот же самый день имел я продолжительное свидание с Розетта-Рознаваном, одним из богатейших и знаменитейших бояр княжества Молдавского, имеющим российский чин действительного статского советника. Он сей чин получил от Его Императорского Величества в награду за оказанную им преданность к Российской державе и за услуги во время прошедшей войны. Свидание сие имело вид частный, а не официальный, и я познакомился с Рознаваном посредством Крупенского, находящегося давно уже в приятельской с ним связи. Консул наш в Яссах г. Пизани, приехав того же числа в Скулянский карантин, дал мне случай убедиться в истине всего рассказа Рознавана, почему и полагаю достоверными все те известия, которые честь имею при сем... представить".

Поразительно, как много успевал Пестель сделать в предельно сжатые сроки поездок!

Первая из них протекала с 26 февраля по 8 марта. Десять дней, а за это время он проехал и прошел сотни верст, встретился со множеством людей, из первых рук получил (и тут же проверил-перепроверил) огромное количество сведений. Больше, чем официальная записка, представление дает об этом конфиденциальное его письмо к тому же генералу П. Д. Киселеву - начальнику Главного штаба Второй армии, посланное 3 марта из Скулян для предварительного уведомления об увиденном и услышанном.

Рассказывая о перипетиях поездки, Пестель сообщал, что в Кишиневе, Скулянах он имел много встреч, а, перечисляя, назвал, кроме упомянутых, генерала Пуцина, окружного начальника Навроцкого и других. "Весь вчерашний день и все утро сегодняшнего дня прошли в собирании и систематизировании новостей, касающихся событий, которые происходят в европейских провинциях Турции", - писал он по приезде в Скулянский карантин.

Сбор сведений шел по различным направлениям:

"Завтра у меня будет копия этой прокламации Владимиреско, и я вам ее пришлю..."

"Пизани, которого я видел вчера вечером и с которым имел неофициальный разговор, доверил мне все то, о чем я вам имею честь писать, однако есть еще один источник, откуда я добываю подробности.

Что касается этого источника, то я сообщу вам о нем при личной встрече..."

"Ипсилантий опубликовал несколько прокламаций, которые я достал, но отправлю вам только через несколько дней, так как их нужно перевести, потому что они писаны на греческом и молдавском языках..."

Вся эта работа была сопряжена с трудностями невероятными. "Я ехал то на санях, то почтовыми, в грязи до самых ушей, в снегу по горло... Вы не можете себе представить дорогу, которую я перенес: ужас, мерзость..." - таковы еще несколько строк из того же письма, предшествовавшего первой официальной записке. Кстати, отправляя письмо, Пестель просит Киселева сохранить его и позволить по возвращении в Тульчин снять копию - вероятно, не только для оформления в официальную докладную, но и для себя, в связи с какими-то своими планами. Он рвется поговорить с Киселевым "с глазу на глаз", объясняя нежелание писать о предмете будущего разговора тем, что предмет сей "не касается ни нашей армии, ни поручения, которое вы мне дали". Между тем, это "очень интересное".

Что под "интересным" разумеется? Думаю, что история и действия общества "Филики Этерии". По письму разбросаны намеки на "скрытую" или "тайную" власть, имеющую силу над Ипсиланти, но нигде о патриотическом обществе не упоминается. Только в одном месте подходит Пестель к этому близко: "Если существует 800 000 италийских карбонариев, то, может быть, еще более существует греков, соединенных политической целью. Сам Ипсиланти, я полагаю, только оружие в руках скрытой силы, которая употребила его имя точкою соединения".

Уже после встречи с Киселевым, после тульчинской беседы с ним обо всем, что не могло быть доверено письму, некоторые сведения о тайном обществе, опять же без упоминания его названия, вошли в записку официальную, предназначенную не только для штаба Второй армии, но и для доклада "высшим сферам".

Лишь в "Обзрении..." слова о "греках, соединенных политической целью" получили по-настоящему веское фактическое подкрепление и освещение не просто описательное, информационное, но глубоко заинтересованное, со своим, критическим взглядом на практическую деятельность общества, подчас далекую от провозглашенных им принципов.

Таким образом, отчетливо прослеживается единая цепь: конфиденциальное письмо от 3 марта из Скулян - записка, датированная 8 марта, - страницы "Обзрения...". И не повторение одного и того же, а осмысление как бы заново, с опорой на новые материалы, со все более пристальным, глубинным взглядом на события, которые еще не стали - но должны были стать - достоянием истории.

"Общим в письмах... является их необыкновенная сдержанность в смысле обнаружения политических взглядов, замыслов и работ Пестеля", - читаем в статье, посвященной письмам Пестеля к Киселеву.

Подобной "сдержанности" меньше в "Обзрении...": оно откровеннее, прямее.

Следующая поездка Пестеля продолжалась почти всю первую половину апреля. В записке об этой части его миссии также обращает на себя внимание предпочтение сведениям от непосредственных участников событий. Причем, как и раньше, интересуется Пестеля мнение различных кругов, втянутых в водоворот войны. Вот несколько строк из апрельского рапорта Киселеву: "Приехав в Скулянский карантин, нашел я в оном бывшего господаря Молдавии князя М. Суццо со всем семейством. Имел с ним три свидания, в которых объяснил он причины, принудившие его к выезду из Ясс и руководившие его поведением..." В те же дни собеседниками русского офицера были многие приверженцы и посланцы Ипсиланти. Разносторонняя информация вновь обусловила объективный анализ военных и политических событий.

"...Сведения, которые в короткое время моего пребывания в Бессарабии мог я собрать и из разных разговоров извлечь..." - такова основа и другой апрельской записки 1821 года. Эти сведения касались еще более широкого круга вопросов и стекались к нему из самых различных, порою очень отдаленных, мест. Например, из Константинополя: "В Константинополе отрубили головы многим грекам, между коими называют сорок епископов... Все сие происходит без всякого, как уверяют, предварительного исследования... Сии происшествия усугубляют

негодование греков на константинопольских эфоров тайного их общества, из коих один называется Мавро... По предварительному плану тайного общества греков, было положено начать возмущение в Константинополе, как скоро князь Ипсилантий прибудет в Яссы... Для удобнейшего приведения сего намерения в действие было положено зажечь город во всех концах... Сии три эфора... опасались потерять все свое имущество от пожара, и дабы спасти оное, удержали в тайне, целых две недели, содержание Ипсилантиевой депеши и употребили сие время на приведение своих драгоценностей в безопасность, перенесли оные на корабли, с коими впоследствии и отправились из Константинополя..."

Обстоятельность изложения сочетается с достоверностью фактов, достоверность - с оперативностью, и во всем этом сказывается верность автора записок главному своему принципу: быть в гуще событий, черпать сведения из жизни, брать их от непосредственных участников.

Сравним с "Обозрением..." - принцип тот же. И те же источники: увиденное, узнанное, собранное лично... только лично...

"Все относящееся до состава Тайного Союза взято из частных сведений, за истину коих нельзя поручиться", - оговаривает автор свое повествование об организации и действиях "Филики Этерии".

Именно это, думается, и есть то "интересное", что было узнано Пестелем во время первой его поездки по местам событий. Узнано - и не могло быть доверено даже самому конфиденциальному письму.

"Нельзя поручиться..." Но обозреватель пишет с полнейшим знанием всех обстоятельств, всех фактов.

"Нельзя поручиться..." Но к "частным сведениям" он питает явное доверие; само изложение говорит за это, и только за это.

То, что Пестель не решился доверить письму и очень сдержанно, конспективно отметил в мартовской своей официальной записке 1821 года, то, что мы читаем на первых же страницах "Обозрения...", имеет под собою одни, общие источники.

Любопытно, что и оговорка почти одинакова: "Я, однако же, за достоверность сведений, по сему предмету мною собранных, не ручаюсь положительным образом, хотя и имеют они вид самый основательный".

Считать это какой-то "хитростью", какой-то "уловкой" оснований нет. Вероятнее предположить, что Пестель, вопреки своему правилу, не имел, в силу особого характера материалов, возможности их проверить и перепроверить.

Достоверность и весомость сообщенного оговорка, однако, не колеблет. Представление о явном его сочувствии целям, делам и планам этеристов - также...

Еще больше есть у меня оснований, чтобы подчеркнуть общность источников деловых записок и личных писем Пестеля с источниками последующих глав "Обозрения..."

Приводя множество конкретных фактов, автор рукописной книги не делает ссылок на определенных лиц, их сообщивших. Лишь в отдельных случаях, двух-трех - не более, называет он имена тех, с кем имел беседу, причем свою роль как непосредственного "интервьюера" не выделяет и здесь.

В главе "Начало военных действий со стороны турок" читаем:

"Генерал-лейтенант Сабанеев сам случился в то время недалеко от Скулян у селения Цыцорь, где слышал следующие слова греков: "У нас половина невооруженных; мы не страшимся смерти, но желаем умереть с пользою. Если превосходные силы нападут на нас, то невооруженные неминуемо сделаются жертвою турецкого меча, и все мы погибнем. В сей крайности мы бросимся к русским: делайте с нами, что хотите, мы лучше от вас желаем умереть, нежели от турок".



Слова греков автор приводит с ссылкой на командира 6-го корпуса И. В. Сабанеева и с точным адресом, указывающим, где генерал их услышал. Хотя обозреватель и не пишет, что Сабанеев рассказывал это ему, очевидна информация непосредственная, прямая, личная.

Ссылка на Сабанеева лишний раз подчеркивает авторитетный характер источников и всех иных сообщаемых сведений. Человек, который может слышать доверительный рассказ крупного военного начальника, наверняка вхож в служебные кабинеты и гостиные других высокопоставленных должностных лиц. Во всяком случае, всех, кого перечислял в своих официальных записках Пестель: наместника Бессарабской губернии И. Н. Инзова, гражданского губернатора К. А. Ватакази, вице-губернатора М. И. Крупенского, боярина Розетти-Рознавана, русского генерального консула А. Н. Пизани, генерала П. С. Пущина, окружного начальника Бессарабской карантинной линии С. Г. Навроцкого, бывшего господаря Молдавии М. Суццо. И других, в перечисленных пестелевских письмах и записках не названных, но с Пестелем, безусловно, встречавшихся: командира 16-й пехотной дивизии генерала М. Ф. Орлова, его адъютанта К. А. Охотникова, подполковника И. П. Липранди, бессарабского почтмейстера Н. С. Алексеева. Добавим к этому непосредственных участников событий из числа самих этеристов, прежде всего наиболее осведомленных, из сподвижников Тудора Владимиреску, знавших о его целях отнюдь не по прокламациям. А еще - Пушкина... гениального нашего Пушкина, который проявлял глубочайший интерес к восстанию греков, собирал о нем материалы и тоже знал многое...

Но перейдем к источнику другому.

В письмах Пестеля (соответствующие их места уже приводились) упоминаются прокламации Ипсиланти и Владимиреску, тогда уже автору известные, хотя с языков подлинников еще не переведенные.

В "Обзрении..." прокламации не только называются, а и становятся источником глубинного разбора взглядов различных слоев повстанцев; больше того, эти документы полностью приводятся в приложении вместе с некоторыми другими, тех же событий касающимися.

И когда мы читаем обращенное к мусульманам повеление султана или иные материалы происхождения турецкого, еще более становится понятным, каким широким кругом информации располагал автор, так подробно описывая в отдельной главе первоначальное "поведение Порты", а затем и действия Турции на различных этапах событий.

Между прочим, в поименованной главе приводится факт, ранее узанный (и сокращенно выписанный) из апрельской записки Пестеля: "...Эфоры, коим дано было повеление от Верховной Греческой Управы произвести низвержение турецкого владычества в Царьграде, менее заботились об Отечестве, нежели о своих личных выгодах, и прежде исполнения разрушительного замысла желали привести в безопасность свою собственность. Обвиняют особенно некоего Мавра, который для вывоза товаров, принадлежащих ему, на сумму миллион рублей, удержал нанесение предназначенного удара и тем все успехи греков разрушил невозвратно..." Читателю достаточно вернуться к одной из только что прочитанных им страниц, чтобы убедиться: источник сведений и фактическая их основа - одна и та же, отношение к своекорыстным отступникам - одинаково. Различие только в характере изложения. То, что в спешно составленной записке было подано более развернуто, тут, в ряду других сведений, занимает место поскромнее. Но... не перестает быть заметным, а напротив, как бы подчеркивается.

...Тождество многих источников, несомненная близость остальных - еще один довод в пользу авторства Пестеля. От писем и записок о событиях 1821 года он пришел к книге - первой в мировой литературе книге о победах и поражениях, героике и трагизме тех месяцев, когда возгорелось пламя освобождения балканских народов от ига поработителей.

Отойдя от событий в Дунайских княжествах на расстояние совсем небольшого "шага", Пестель сумел охватить своим взглядом широчайший фронт борьбы, сделать далеко идущие выводы, извлечь уроки.

Выводы, уроки, важные и для революционных сил России...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: АВТОР – ПЕСТЕЛЬ

Каждый, кто обратится к тому "Русская правда" П. И. Пестеля и сочинения, ей предшествующие", не пропустит тех его страниц (407 - 409), которые преподносятся составителями как пестелевский "словник", включенный в третий раздел книги вместе с "различными материалами, мелкими статьями и проектами", предшествовавшими "Русской правде" (добавим - и "Обозрению..."),- документ, несомненно, любопытный.

Глубокий патриотизм автора, его сыновья любовь к России получают на этих страницах еще одно подтверждение, поворачиваются к нам новой своей гранью. Эта грань - преклонение перед русским языком, богатство, силу и музыку которого Пестель чувствует исключительно тонко.

Он досконально знает древнерусские литературные памятники, проник в строй их языка, услышал его изнутри, и вот сейчас, обдумывая проекты переустройства войск, считает нужными коренные реформы не только в военном деле, а и в военной терминологии. Прежде всего Пестель - за отказ от слов иноязычных, русскому языку, по его мнению, чуждых. Отказ с заменой искони российскими, или, если соответствующих нет, то новыми, построенными, однако, по образцу старорусских.

Военного министра он переименовывает в войскового главу, департаменты - в палаты, штабы - в управы, артиллерийскую часть - в оружейную, гошпиталь - в больницу, депо - в склад, лагерь - в стан, жандармов - в рынды, кавалерию - в конницу, штандарт - в знамя, солдата - в ратника... В общем, предлагает замену доброй сотни названий, хоть как-то напоминающих иноземные.

Одни звучат вполне естественно и позднее прижились (знамя взамен штандарта, пехота вместо инфантерии); другие - надуманы (драгуны - легкоконцы, пика - дрот или тыкня, апелляция - воззв, архив - делосвод). Но как не понять главного - стремления к полноправному и полногласному звучанию русской речи, дорогой сердцу автора?

Русификацией слов иностранного происхождения Пестель был увлечен по-настоящему. Тем не менее, конечно, не этим определялось главное в его деятельности, и для раздумий над "словниками" уже в 1819 - 1820 годах времени у него не оставалось.

А преклонение перед родным языком, тонкое понимание его, забота о чистоте - сохранились. И в той же "Русской правде", в "Конституции Государственном Завете", в "Дележе земель" иноязычным словам места нету - на каждой странице, в каждой строке звучит емкая и меткая речь русская.

...Русское слово, русская речь властвуют и в "Обозрении...". Это проявляется на каждой его странице, ощущается в каждом разделе.

Иностранное - только там, где оно необходимо для передачи национального своеобразия, национального колорита событий и без этого уже не обойтись. Лишь в таких случаях появляются слова турецкие, греческие - очень немногие, самые нужные. Прибегая к ним, автор тут же дает пояснения: "эфория (или управа)", "эфоры (чиновники, подвластные главной управе)", "пехоты, названной маврофори (одетой в черное платье)", "иерось-когось (священная дружина)"...

Специфически военной терминологии своего времени он избегает. Те слова, которые Пестель так решительно заменял в "Записке о составе войск" (и в "словнике" к ней), на

страницах повествования о событиях в Молдавии и Валахии встречаются нечасто, и разве что отдельные. Это не значит, что во всех случаях вместо них вводятся обозначения, известные нам по "Записке..." Но многие из "пестелевских" терминов используются, притом широко.

Дружина вместо роты и эскадрона... Конница вместо кавалерии... Стан вместо лагеря... Знамя вместо штандарта... Войско вместо армии...

Таких, совпадающих, замен в каждой главе "Обозрения..." немало.

Рядом с ними можно выделить другие - не те, что предлагались Пестелем, но продиктованные тем же уважением к слову русскому.

Автор ищет свое определение борцов за свободу и останавливается на таком: свобод о думцы.

Выразительное наемщик заменяет слово арнаут; арнаутами турки называли солдат особого своего войска, особой стражи - из христиан.

Из русских летописей приходит на страницы рукописной книги Царьград, заменяя собою в особо значительных случаях официальное название турецкой столицы - Константинополь.

Сеча... воитель... соотчич... властитель... натиск... Я выписываю только отдельные слова из этого произведения и думаю, что в будущем, когда исследователи возьмутся за благородный труд создания "Словаря языка декабристской литературы", "Словаря языка декабристского писателя Пестеля", будут они, словари такие, не просто обширными, не только богатыми, но и удивительно щедрыми именно на русское слово, пришедшее - нет, хлынувшее! - в книги, в статьи (опубликованные и неизданные) из самых дорогих сокровищниц национального гения. О, как много дало бы науке появление этих словарей рядом со "Словарем языка Пушкина" - изданием, уже осуществленным!

Читая, перечитывая "Обозрение...", отчетливо ощущаешь: писать свою книгу языком тогдашней военной литературы автор не намерен, не хочет. Даже "самые военные" главы он старается преподнести просто, понятно, образно - по-русски просто и образно по-русски.

"...Орудия греческие, хотя на морских станках поставленные, гремели непрерывно и наносили ужасный вред, а равно и живейший ружейный огонь продолжался безумолчно. Турки, заметив, что левая сторона укрепления, будучи недокончена, была слабейшая, главные силы на онаю устремили. Четырехкратные удары их на сие место были отражены неустрашимыми защитниками..."

"...Ядра и гранаты падали посреди их и двукратно конница врубилась в бесстройную толпу. Никакая храбрость не могла устоять далее: и так большая часть сих неустрашимых воинов, оказавших редкую оборону и стяжавших онаю справедливую славу, бросилась в Прут, надеясь найти спасение на противном берегу могущественной и неприкосновенной державы..."

"...Тишина заступила кровопролитие и токмо следы оног оставались на противном берегу. Обнаженные трупы греков, лишенные погребения, валялись вдоль отмелевшей косы, строения скулянские, частию сожженные, частию разрушенные, являли место упорного боя..."

От начала до конца - вся! - книга написана вот так: без оглядки на традицию официальных донесений, без витиеватостей, без слов заимствованных. И, не колеблясь, говоришь себе: писал человек образованный, политик, военный, дипломат, литератор, и при всем том - русский. Глубоко русский.

Этот человек - Пестель.

Его стиль. Его словарь. Его язык.

...Пестель!

## **ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ: ПУТИ НЕИСПОВЕДИМЫЕ**

Неисповедимы пути ваши, книги...

С тех пор, как я впервые попал в ту маленькую комнатку оренбургской библиотеки, посещения ее стали делом обычным. Друзья-библиотекари, завидев меня на пороге фондов, только и спрашивали: "В редкие?" и, проводив привычным лабиринтом коридора, оставляли меж тесных стеллажей. А я... я тотчас забывал о неудобствах, и лесенка о три ступеньки становилась вполне приемлемым креслом на долгие часы.

Впрочем, долгими они не казались.

Каждая книга здесь таила в себе загадки - порой по несколько сразу.

...Я беру с полки едва ли не скромнейший среди всех его соседей томик в бумажной обложке. Аскетически-строгий шрифт неброско представляет: "Сочинения Александра Николаевича Радищева", тут же сообщая, что предваряются они "портретом автора и статьей о жизни и сочинениях Радищева", что "редакция изд. П. А. Ефремова", а "издание книжного магазина Черкасова" и, наконец, что дата выпуска - "1872".

Дата не удивляет. Большинство книг старше, и намного; иным исполнилось двести и даже триста лет. Среди обитательниц стеллажа - если не всей этой дальней комнатки - она едва ли не самая молодая. Но на долю ее выпало такое!..

На более чем скромной обложке всего одна чернильная помета: палочка, аккуратно подставленная к римской единице в обозначении тома. Получилось: "Том II". Это и впрямь второй - второй из двух. Собственной его обложки не видел никто и никогда: ее даже не существовало.

Издательский курьез? Если бы так... Не курьез - трагедия!

Чудовищная по своей жестокости расправа 1790-го должна была навсегда вытравить всякое воспоминание о Радищеве и его книге из памяти человеческой. Но уцелевшее в считанных экземплярах первопечатное "Путешествие из Петербурга в Москву" шло к людям в рассказах и пересказах, распространялось в несчетном множестве списков, пробивало дорогу сквозь наистрожайшие заслоны.

Расправа повторилась восемьдесят с лишним лет спустя. Сожженная по приказу Екатерины II, книга, казалось, как бы заново возникла из пепла. Едва, однако, в апреле 1872-го старанием библиографа Ефремова закончилось печатание радищевского двухтомника, как 1960 - из 1985 отпечатанных - экземпляров снова было предано прилюдной казни. Из всего тиража оставили в "живых" двадцать пять комплектов для нужд цензурного ведомства. Это - официально. Еще пятнадцать вынес буквально "на глазах" у жандармов хитроумно-предприимчивый букинист; их скупил у него неугомонный библиофил-издатель.

Откуда этот том, что на полке в оренбургской библиотеке? Тут только второй... Но в нем ода "Вольность" - все пятьдесят четыре строфы, хотя и с цензурными следами-точками. Второй... Но с обложкой и библиографическими примечаниями в конце - того и другого в большинстве других сохранившихся экземпляров нет.

Как попала сюда эта книга? Из тайников цензуры? Был бы официальный штамп сего строгого ведомства. Из пятнадцати похищенных в типографии? Но попали те к Ефремову - человеку, беззаветно влюбленному в книгу, и уж он-то не оставил бы страницы неразрезанными.

История ефремовского издания известна. И все же разгадано, раскрыто не все. Сожженная книга выжила, уничтоженная ~ живет уже, почитай, сотню лет, и вот передо мною - целехонькая.

Удастся ли хоть когда-то сполна проследить твой, радищевский том, путь к этой библиотечной полке? ...А ваши пути и судьбы, изящные томики пушкинской поры?

Точно такой альманах держал в своих руках Пушкин - и уж одного этого достаточно, чтобы душою овладел трепет. "Северные цветы. На 1827 год. Изданы бароном Дельвигом..." Мог ли не ждать экземпляров тома Пушкин, если именно здесь впервые печатались тогда

письмо Татьяны к Онегину, другой отрывок из того же романа, который начинается словами "Не спится, няня, здесь так душно...", неповторимо-прекрасные его стихотворения "Я помню чудное мгновенье..." и "Роняет лес багряный свой убор..."? Трудно даже представить, что было время, когда люди не знали этих поэтических шедевров!

Точно такую листал сам Пушкин... Он был в Оренбурге - в 1833-м. Когда оказались тут эти его стихи? Когда и как?..

..."Черная курица, или Подземные жители"... На заглавном листе повести (или "волшебной повести") для детей, изданной в 1829-м, значится: "Сочинение А. Погорельского". Рядом с фамилией автора, в скобках, чернилами выведено: "Перовского".

Написано это рукою человека, хорошо в делах литературных осведомленного: Антонием Погорельским - автором одной из первых русских повестей, написанных специально для детей, - и впрямь был Алексей Алексеевич Перовский, брат видных государственных деятелей XIX века, один из которых, Василий Алексеевич, дважды - и по несколько лет - являлся генерал-губернатором оренбургским.

Тем же почерком выведена еще одна, тоже нам знакомая, фамилия: "Гнедич". Не указывает ли она того, кому книга принадлежала? Они были современниками: Гнедич и Погорельский. И оба жили в одно время с Пушкиным, состояли в личном с ним знакомстве.

Кто оставил на тебе свои письменные "зарубки"? Кто и когда привез сюда?..

...Кто? Как? Когда?

Я мысленно ставлю вопросы едва ли не всякий раз, когда снимаю с полки очередную старую книгу.

Появление иных из них в Оренбурге куда загадочнее, чем история написания или издания.

И, конечно же, вы понимаете, что размышляя над судьбами книг печатных, я не устаю думать о судьбе этой, рукописной: "Обозрение происшествий Молдавии и Валахии в течение 1821-го года и соприкосновенных оным обстоятельств".

Как оказалась она именно в этом городе? Кто и когда ее сюда привез? Почему попала в оренбургскую, а не какую-то другую библиотеку?

Вот к этому я и подхожу.

Попробуем разобраться.

История группы этеристов, попавших на жительство в Оренбургский край, заинтересовала меня в свое время не только как любопытный факт из прошлого.

Признаюсь вам: теплилась во мне поначалу мысль о том, не они ли завезли с собою ту книгу, прямо связанную с их собственными делами.

Однако скоро пришлось убедиться: бесспорно причастные к событиям, отношения к списку эти люди иметь не могли. Уж потому хотя бы, что вся рукописная книга - на бумаге с филигранями 1824 года, а их, этеристов, отправили из Кишинева в Оренбург в конце двадцать первого и зимой же - или ранней весной - двадцать четвертого препроводили обратно.

Но если мы убеждены, что "Обозрение..." исходит от Пестеля...

Участники движения декабристов в Оренбургской губернии побывали.

Край этот с годами все более обретал "славу" места ссылки. Отдаленный от столиц и крупных центров, достаточно суровый по условиям жизни, дающий властям возможность рассредоточить, "политических" и в то же время неослабно их контролировать, он, год за годом принимал все новое и новое "пополнение".

В 1826 - 1830 годах декабристов сюда было доставлено довольно много.

Разжалованными в солдаты, прав лишенными прибыли в батальоны Отдельного Оренбургского корпуса подпоручики лейб-гвардии Измайловского полка Н. П. Кожевников и А. Л. Фок, брат героев восстания мичман А. Бестужев, лейтенант гвардейского экипажа Е. С. Мусин-Пушкин, мичман Ф. Г. Вишневецкий...

Офицерами разослали по оренбургским крепостям и поручика городишкам поручика Генерального штаба Искрицкого, ротмистра гусарского полка Е. Е. Франка, штаб-лекаря лейб-гвардии Н. Г. Смирнова, поручика И. М. Черноглазова...

Перечислены тут не все люди и не все виды наказания. Пройдя через Петропавловскую крепость и другие казематы, названные (и не названные) декабристы не обрели в краю ссылки даже куцей, урезанной, "приблизительной" свободы. Каждый их шаг сопровождало недреманное око царевых слуг.

Среди декабристов, сосланных в Оренбургскую губернию, оказались и соратники Пестеля по Южному обществу - те, что имели возможность слышать его живые рассказы о борьбе греков и даже читать написанное им по этому поводу.

Но... привезти - точнее, провезти - рукописную книгу они не могли.

Каждый из них по аресте прошел через многие круги ада: долгие и унижительные допросы, тщательнейшие обыски с дотошным перетряхиванием всех бумаг, равелины страшной Петропавловской крепости, куда не внесешь и откуда не вынесешь такой заметной книги.

В течение всей первой четверти XIX столетия в Оренбурге существовала местная тайная организация, которая возникла под влиянием идей Н. И. Новикова, пережила существенную эволюцию взглядов, а затем, в конечном счете, пришла к позициям декабристским.

Могла ли рукописная книга оказаться в Оренбурге в числе других материалов здешнего тайного общества? Учитывая его иногородние связи, - могла. А уцелеть? В документах следствия "Обозрение..." не упоминается.

Нет у нас оснований и для того, чтобы рассматриваемую книгу о греческом восстании связать с политическими ссыльными последующих лет. Их было много - что ни год, то больше. Отправляли сюда польских повстанцев тридцатых... сороковых... пятидесятых... шестидесятых годов. Жестокой карой была сдача в солдаты Отдельного Оренбургского корпуса для видных участников кружка Буташевича-Петрашевского... Десять тяжелых лет солдатчины провел здесь Тарас Григорьевич Шевченко, лишенный, ко всему, права писать и рисовать... Шли в этот край русские и литовцы, белорусы и грузины, украинцы и молдаване, и сколько испытаний выпало на их долю, скольким трагедиям стали свидетелями безбрежные оренбургские степи с редкими, далекими одна от другой, крепостями, станицами, деревнями

Никаких - решительно никаких - данных в пользу того, что "греческую книгу" привез с собою кто-то из них, мне, в поисках самых тщательных, добыть не удалось.

...Но определим те главные объективные критерии, которым должен соответствовать потенциальный владелец (точнее - первовладелец) исследуемой книги.

Это, во-первых, человек, не равнодушный к описываемым событиям, в той или иной мере к ним близкий, а может, и лично причастный.

Это, во-вторых, лицо, связанное с центром, где сосредоточивались сведения о ходе "происшествий", находившееся вблизи автора "Обозрения..." (или тех, кто, помимо автора, мог его трудом обладать).

При всем том это, в-третьих и в-четвертых, личность, которая должна была в 1824-м (вспомним снова водяные знаки на листах книги) или в ближайшие после того годы находиться в Молдавии, а впоследствии, пусть много лет спустя, оказаться в Оренбурге.

Изначальную мысль о политических ссыльных (этеристах, декабристах и других), несмотря на близость ряда обстоятельств, пришлось отвергнуть: положительное перечеркивалось отрицательным.

Почему, однако, первого владельца рукописной книги нужно искать непременно среди сосланных или отданных в солдаты?

Изучение биографических сведений о чинах Отдельного Оренбургского корпуса и чиновниках Оренбургской Пограничной комиссии познакомило меня в конце концов с людьми, которые, как оказалось, соответствовали всем - всем! - критериям, приведенным ранее.

Два из них обращают на себя внимание особо.

Ващенко Герасим Васильевич, впоследствии действительный статский советник, в 1817 - 1821 годах служил в составе русской миссии в Константинополе, а затем на протяжении почти тридцати лет был прямо связан с людьми, событиями на юге России и на Балканах. Он служил в Аккермане и в Одессе (в "Греческой вспомогательной комиссии"), состоял при полномочном представителе Диванов княжеств Валахии и Молдавии, еще дважды или трижды выезжал в Константинополь, был консулом в Молдавии, Сербии - и так до 1850-го, когда оставил край своей многолетней службы, а вскоре перебрался в Оренбург, почти на десять лет посвятив себя делам "Киргизской орды". С Оренбургом связана и вся последующая его жизнь - до конца

Михаил Львович Фантон де Веррайон, прибывший в 1848 году на должность начальника штаба Отдельного Оренбургского' корпуса в чине полковника, а затем, уже здесь, произведенный в генерал-майоры, происходил из обрусевших французских дворян. В службу он вступил поручиком (было это в 1827-м). Отличившись в войне с Турцией, в частности, в освобождении Балканского полуострова, молодой офицер сделал быструю военную карьеру. Но для нас особенно важно то обстоятельство, что он на протяжении ряда лет являлся управляющим делами штаба войск Молдавии и Валахии, а затем начальником "особой канцелярии" генерал-адъютанта Киселева (да, того самого!) и по должности своей - не предположительно, а наверняка - имел прямой доступ ко всем материалам о военных действиях этеристов. Кто-кто, а уж он вполне мог знать рукописную книгу, возникшую в основе своей в стенах того же штаба. Ко всему еще у Фантона де Веррайона был и другой - "семейный" - интерес к событиям: его женой стала дочь валахского боярина Филипеску.

На листах "Обозрения..." помет почти нет. Несколько слов на полях или над чернильными строками карандашом давнего читателя заставляют думать о почерке оренбургского военного губернатора В. А. Обручева. Это также говорит в пользу версии о Фантоне де Веррайоне. В новую должность он вступил как раз при Обручеве. Губернатор - генерал от инфантерии и командир Отдельного корпуса - слыл в России ревностным служакой, а сам считал себя и большим военным специалистом. Мне не раз встречались его собственноручные приказы с разработкой всех перипетий походов оренбургских батальонов в степь, его пометы на полях всевозможных донесений и рапортов тех лет, когда в Оренбург прибыл вновь назначенный начштаба... Кстати, и сам Обручев в свое время служил в Молдавии.

И теперь, уже с большим основанием, я думаю: появление необычной книги в Оренбурге связано именно с перемещениями по службе и прибытием сюда новых чинов.

Книга была безымянной - запретная фамилия не фигурировала ни на обложке, ни на титульном листе, ни где-либо еще. С этой стороны препятствий не возникало. Просто "Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821-го года и соприкосновенных оным обстоятельств"... Просто официальный - интересный, но официальный - документ...

(Кстати, имя Фантона де Веррайона встречается в примечаниях к переписке Тараса Шевченко. Начальник штаба был владельцем коллекции картин, состоявшей в основном из репродукций работ мастеров в его исполнении. Шевченко коллекции не видел, узнал он о ней от друга своего Бронислава Залеского и ему же написал: "...на безрыбьи и рак рыба, может быть, в его копиях есть что-нибудь похожее на оригинал, а если и этого нет, то все-таки есть человек, любящий прекрасное божественное искусство, а между варварами это дар Божий".)

Итак, скорее всего, - Фантон де Веррайон...

...Поистине неисповедимы ваши пути - о, книги!..

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ: О ТИРАЖАХ, "ДВОЙНИКЕ" И КОЕ О ЧЕМ ЕЩЕ

У Смирнова-Сокольского среди превосходных его "Рассказов о книгах" есть один, специально посвященный изданиям "для немногих" - таких, тиражи которых не превышали десяти, двадцати, пятидесяти экземпляров. В одних случаях это вызывалось требованиями цензуры, в других происходило по воле автора.

"Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лермонтов, ни Некрасов... никогда не печатали своих сочинений тиражами, рассчитанными на какой-то узкий круг читателей, - замечает выдающийся знаток книги и тут же вполне справедливо подчеркивает: - Искусство, предназначенное только "для избранных", - не искусство!"

Относится это, естественно, лишь к тем, действительно не заслуживающим уважения, обстоятельствам, когда "малотиражность" была вызвана прихотями эстетствующих литераторов. Цензурные ограничения или ограничения издательские - статья особая. Кто-кто, а уж автор в том упрекаем быть не может.

...Ведя свое повествование и по ходу его характеризуя найденное произведение, я, как вы могли заметить, не прибегал к слову "рукопись", почти не употреблял другое - "список", зато чаще - и, признаюсь, охотнее - называл находку "рукописной книгой". Это определение - точнее. Рукопись подразумевает собственноручное, авторское - будь то фрагмент, вариант, часть целого или целое, готовое. Список являет собою копию рукописи, порою с незаконченностью фрагментов, с разночтениями вариантов. Что касается рукописной книги, то она, соединяя в одно целое отработанные тексты, нередко целый их комплекс, гораздо меньше отличается от привычного нам издания печатного и сама по себе наталкивает на мысль о... тираже.

Экземпляр, найденный среди редких книг библиотеки в Оренбурге, оказался не единственным. Двойник, который я отыскивал с самого начала, нашелся в ЦГВИА - Центральном государственном военно-историческом архиве. О нем мне почти одновременно сообщили Иван Филимонович Иовва - исследователь из Кишинева - и Григорий Львович Арш - научный работник из Москвы.

Иовва пользовался "московской" рукописной книгой, работая над своим трудом "Южные декабристы и греческое национально-освободительное движение", а затем над диссертацией "Бессарабия и греческое национально-освободительное движение", защищенной в середине 1967-го в Ленинградском университете. Ссылки на нее - но без полного названия - я нашел как в книжке, написанной молдавским историком, так и в автореферате его диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

(Ни об авторстве этого труда вообще, ни о принадлежности его перу Пестеля он не задумывался, хотя уже в самом названии опубликованной работы Иоввы подчеркивается, что предметом исследования является не что иное, как отношение к греческим событиям именно декабристов, точнее, южных декабристов, вождем которых был Пестель.)

Полное название московского экземпляра "Обозрения..." (его архивный адрес: ЦГВИА, ф. ВУА, д. 737) оказалось несколько иным, чем оренбургского: "Возмущение князя Ипсилантия в Молдавии и Валахии в 1821 году. Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии в течение 1821 года и соприкосновенных оным обстоятельств".

Это книга в красном картонном переплете (оренбургская была в сером), написанная схожим писарским почерком и по тексту идентичная нашей. Разночтения совершенно незначительны - они являются результатом самого процесса переписывания. В некоторых местах имеются карандашные пометы, кое-где исправления другой рукой...

Нет, рукописная книга с шифром столичного архива не содержит ни дополнительных фактов, ни новых формулировок, ни отличительных литературных реминисценций. Но знать,



при всем том, что она существует, - немаловажно. Когда найдены два экземпляра, можно смелее предполагать наличие и третьего... и пятого... Верится, что они были, а коль так - могут отыскаться. Местные архивы, периферийные библиотеки в этом плане серьезно пока не обследованы. А можно ли забывать, что один из двух известных экземпляров отыскан именно в Оренбурге?

...Я перечитываю "Рассказы о книгах", а думаю о другом солидном томе - он соберет поэтически воспетые истории книг неизданных, навсегда оставшихся в рукописях или списках.

Создатели их мечтали (не могли не мечтать!) о тиражах. Они писали для людей: им рассказывали, с ними делились. И не вина - боль и горе писавших - то, что труды их (часто с ними самими) приговаривались к смерти и забвению.

Так случилось с Пестелем.

Казненный на кронверке Петропавловской крепости, он, однако, вопреки воле царской, остался живым, в веках бессмертным. Книга же его... книга, избежавшая всякого гласного приговора, потому что не была как пестелевская выявлена, словно канула в Лету.

Но можно в наше удивительное время повернуть не только реки Сибири, а и реку Времени.

Книга обретает новую жизнь.

## **МЫСЛИ ВСЛУХ: (Вместо заключения)**

*Судьба автора так любопытна, так известна  
и так таинственна, что разрешение загадки  
должно произвести сильное  
общее впечатление...*

А. С. Пушкин

Человек не может знать все. Самое важное - хотеть знать больше. И потому, впервые взяв эту книгу, я, неспециалист в истории греков, не мог себе отказать в удовольствии примоститься в уголке, чтобы сразу же полистать ее страницы.

Кому из книголюбов не ведом трепет души, когда тебя всего, целиком, властно захватывает ничем, на первый взгляд, не примечательный старинный том или томик - и пристраиваешься к лесенке, на подоконнике, где попало, рассматриваешь переплет, ласкаешь листы, а глаза жадно бегут по строчкам и мысли обгоняют одна другую?

Можно просидеть так с книгой час, просидеть день - время будто не движется. Вот когда особенно понимаешь смысл восклицания: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" Еще бы - ведь том этот шагнул к тебе из глубины лет как друг юности, который бросался на таран, горел в танке, падал от пуль, прошел через сорок смертей и все-таки жив, вернулся, с тобою. Станешь ли думать о часах при встрече с другом? Так и с книгой, которой полтора века от роду, да еще не типографской - рукописной...

...Несколько лет тому назад в печати появилась заметка под интригующим названием "Пропаший портрет". Речь в ней шла о юношеском портрете Павла Пестеля, выполненном его матерью, Елизаветой Ивановной.

В 1928 году художник М. М. Успенский сделал копию с изображения Пестеля для Пушкинского Дома в Ленинграде. Другая художница, Е. М. Смирницкая, скопировала портрет для Государственного Исторического музея в Москве. По этим копиям мы и знаем, каким был будущий декабрист на двадцатом году жизни, вскоре после Бородинского боя, в котором получил боевое свое крещение. А сам портрет - оригинал - исчез. И отыскать его не удастся...

...Читая заметку, я, помнится, подумал, что еще более горькая судьба - безвестие полнейшее - постигла значительную, если не главную, часть литературного наследия провозвестника свободы.

И вот - находка в оренбургской библиотеке, которая помогла мне в конце концов открыть Пестеля непрочитанного: законченное его повествование "Обозрение происшествий в Молдавии и Валахии...". Это произведение можно по праву считать замечательным образцом исторической прозы декабристов. Оно позволяет не только посмотреть на общество "Филики Этерия" и события в Дунайских княжествах глазами виднейшего из героев 1825 года, не только составить представление о его взглядах на начальный период борьбы за освобождение Греции и убедиться в том, насколько внимательно изучали декабристы опыт своих собратьев в Европе. Оно дает нам еще возможность близко познакомиться с Пестелем как политическим публицистом, впервые узнать Пестеля как писателя.

Конечно, страницами, которые вы прочли, изучение пестелевского труда не исчерпывается - оно лишь начинается. Одной из важнейших задач ближайших лет должно, думается, стать научное издание "Обозрения...", причем в комплексе со всеми его списками, всеми письмами и записками Пестеля о событиях бурного двадцать первого. Такой том сделал бы честь академической серии "Литературные памятники" и оказал преогромную помощь в дальнейшем изучении литературы эпохи декабризма. Эта исследовательская повесть, несмотря на новизну сообщенного, - не патент на открытие, а лишь заявка. Заявка на дальнейшие поиски неведомого, на всестороннее прочтение найденного...

Недавно мне привелось побывать в Одессе. В нескольких десятках метров от нарядной и шумной Дерибасовской, в переулке красном, внимание мое привлек небольшой двухэтажный домик № 18: три окна и балкон вверху, две двери и окно внизу. Не будь мемориальной доски, он среди своих соседей не выделялся бы ничем - разве только какой-то особенной неброскостью.

А по этой вот лестнице поднимались в те далекие - но не забытые - годы организаторы "Филики Этерии". Здесь на втором этаже собирался их штаб и в спорах рождались - один другого дерзновеннее - планы освобождения Греции.

Без преувеличения можно сказать, что отсюда, от этого дома и переулка, растекся по земле пожар национального восстания против тирании иноземцев. Того восстания, которое несколько лет спустя привело к рождению независимого греческого государства.

Долго не мог я уйти от тихого старого домика в одесском переулке...

...Мне очень хочется, чтобы книгу декабриста Пестеля прочли и в Греции. Давно она написана, но бьется в ней живое сердце патриота-интернационалиста - сына народа, который и тогда, и много раз позднее приходил на помощь грекам.

Черная хунта гостю из России рада не будет.

Но тираны не вечны.

А Пестелю - жить!

## **ПОСТСКРИПТУМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ**

Может ли быть что-то для автора дороже, чем сознание того, что написанная им книга вызвала живой интерес, нашла множество читателей, оказалась полезной науке нашей, а равно утверждению идей интернационализма во взаимоотношениях народов?

В том же году, когда исследовательская повесть увидела свет в Южно-Уральском книжном издательстве, Н. М. Лебедев, автор биографического труда "Пестель - руководитель и идеолог декабристов" (Москва, 1971) целиком и полностью поддержал мой вывод о принадлежности вождю южных декабристов истории этеристского восстания - "Обозрения происшествий в Молдавии и Валахии". Многочисленные рецензенты отметили важность и ценность находки, в результате которой "раскрыт новый интересный русский писатель - Пестель" (цитирую Р. Борисова из "Нового мира").

Искренне порадовали меня отклики прогрессивной греческой прессы. Истинные патриоты своей отчизны, покинувшие ее и разъехавшиеся по свету в знак протеста против черных дел хунты, заметили книгу, выпущенную в Челябинске, и в своих газетах писали о ее значении для дела восстановления и укрепления традиционной русско-греческой, советско-греческой дружбы. Стараниями коммунистов Греции в обход всех и всяких запретов в 1972-м книга обрела вторую жизнь - в переводе на греческий язык ее выпустило афинское издательство "Горизонты" под названием "Новые данные о "Филики Этерии", с предисловием известной писательницы Элиу Алексиу. Так моя работа стала одним из орудий идеологической борьбы, и для меня это всего дороже. Живет книга и сейчас, в сегодняшней Греции.

"Интересной, хотя и спорной" назвала в газете книгу академик М. В. Нечкина. Спорность, как выяснилось в переписке, заключалась в том, что Пестель, по мнению выдающегося ученого, мог быть и не единственным автором рукописной книги, а, скажем, одним из них. Сообщение Милице Васильевне ряда мест, в которых отчетливо звучит единоличное авторское "я", сомнения ослабило (если даже не устранило вовсе).

Позднее за исследование "Обозрения..." - московского его экземпляра - взялась доктор исторических наук И. С. Достян, опубликовавшая в "Вопросах истории" (1975) обширную статью "О рукописи в красном переплете и ее авторе", а со временем и книгу "Русская общественная мысль и балканские народы" (1980). Полемизируя со мною, Ирина Степановна авторство Пестеля не признает, но декабристское происхождение "Обозрения..." поддерживает. Автора она ищет в том же штабе Второй армии, по заданию которого собирал материалы о греческих событиях Пестель, но пытается разглядеть его в других офицерах. Так возникает личность И. Г. Бурцева. На основе "сличения почерков" историк делает вывод о том, что "редактировал и правил "Обозрение" чиновник особых поручений начальника штаба Второй армии, адъютант и ближайший помощник Киселева полковник Иван Григорьевич Бурцев", и вдруг заявляет, что именно он "мог написать полностью или в значительной части первую историю восстания этеристов и Т. Владимиреску в Дунайских княжествах".

А как же текстуальные совпадения с написанным явно Пестелем? Доводы находятся и тут. "...150 лет назад представления об авторском праве и плагиате очень отличались от наших. Литераторы, публицисты, историки в 20-е годы XIX в. и позднее включали в свои труды выдержки или пересказ произведений других авторов, неопубликованные материалы, дипломатические документы и т. п., не давая каких-либо отсылок. Это было в порядке вещей и не считалось предосудительным. Составленные умно, логично и четко, записки Пестеля, содержавшие первые достоверные и подробные сведения о событиях в Дунайских княжествах, к которым в России проявлялся живой интерес, вскоре стали известны многим в Тульчине и Кишиневе, их читали в великосветских салонах Петербурга. А главное, записки эти хранились в штабе Второй армии, Главном штабе, в министерстве иностранных дел и могли использоваться теми, кто имел к ним доступ по служебной линии. Поэтому наличие в "Обозрении..." выдержек из материалов Пестеля может иметь определенное значение для выяснения источников этого труда, но отнюдь не доказывает, что его автором был вождь Южного общества".

Да, не в лучшей роли (плагиатора!) выставлен моим оппонентом Бурцов - человек достойный, активный деятель ранних декабристских организаций, сосланный после разгрома восстания на Кавказ и там смертельно раненный в бою с горцами...

Многое в статье и книге И.С. Достян очень интересно, безусловно полезно. Но доводы об авторстве - и против Пестеля, и в пользу Бурцева - не убеждают.

## **И ЕЩЕ ОДИН ПОСТСКРИПТУМ**

После исследовательской повести "Отыскал я книгу славную" писать о Пестеле мне не приходилось.

Но вот случилось такое, что не написать я уже не смог. И начал этот своеобразный опус странным, на первый взгляд, вопросом: "Нужно ли историку литературы знать... историю?"

Ох, нужно, и как еще нужно...

Написать письмо, начатое вопросом риторического характера, понудило меня чувство вины перед... Павлом Ивановичем Пестелем. Да, тем самым - идеологом и вождем декабристов, подвиг которого всем известен с юности, даже с детства. Пестелем, о котором написаны (и пишутся) книги. Пестелем, чье литературное наследие объединено в прекрасный том - "Русская правда" П. И. Пестеля и сочинения, ей предшествующие".

"Русская правда", - говорит в предисловии к тому М. В. Нечкина,- крупнейший памятник идеологии декабристов, выдающийся документ их программного и конституционного творчества".

И далее в том же предисловии мы читаем: "Да, Пестель был автором этого замечательного произведения и вложил в него огромное количество своего личного творческого опыта и труда, эта работа была одним из главных дел его жизни. Но ее значение существенно расширяется в силу того, что она явилась не только результатом индивидуального творчества, а стала политической платформой целой организации, была ею рассмотрена, проголосована и принята, превратилась в памятник ее политической программы и конституционной концепции".

Сказано яснее ясного. Четкий, определенный, выверенный вывод отечественного декабристоведа, заслуги которого неоспоримы.

..."Но полноте, кому это не известно?" - вправе остановить меня читатель.

Вот здесь - о моей вине.

Шесть лет тому назад, читая книгу К. Ш. Кереевой-Канафиевой "Русско-казахские литературные отношения", выпущенную издательством "Казахстан" (Алма-Ата, 1975), я вздрогнул, дойдя до несуразнейшего утверждения на 231-й странице, закипел гневом и негодованием, взялся за письмо к автору, но скоро отвлекся, поостыл. Книга оказалась на дальней полке и... вспомнил я о ней только сейчас. Вспомнил, когда получил названную книгу уже в издании 1980 года. Та же Алма-Ата, тот же "Казахстан", тот же редактор, только тираж вдвое больше. Впрочем, на титульном листе обозначено: "Издание второе, доработанное". Значит, все замечено, все исправлено - время-то на месте не стоит.

И все-таки рука - честное слово, машинально - потянулась к', памятной странице. 231-й... Все как было... Ни одного слова, ни одной запятой не исправлено!

Цитирую эти три абзаца. Теперь уж - как напечатано в двух изданиях.

"Н. И. Пестель в своей книге "Русская правда" (СПб., 1906) коснулся двух аспектов, связанных с казахами. Он считал их земли прекрасными местами, которые "могли бы обратиться в отличную страну", способную обогащать Россию "многими произведениями природы и многими способами для самой выгоднейшей торговли".

Н. И. Пестель предлагал из казахских земель составить "особенный" удел, "наподобие Донского", а казахов по положению, устройству и образованию привести "в соответствие" с донскими казаками... Пестель даже предлагал "киргизов" (казахов) "переименовать в аральских казаков".

Корни ошибочных утверждений Н. И. Пестеля кроются не только в его слабом знании вопросов этнографии, истории, культуры и т. д. казахского народа, но и в тенденциозном стремлении автора усилить колонизаторскую политику царизма, в стремлении указать пути быстрого экономического освоения богатств казахских степей, в горячем желании автора интенсифицировать процесс русификации казахов, с тем чтобы превратить их в безопасную, но прочную опору самодержавия".

Уф!

Итак, "некий Н. И. Пестель" (лицо, автору и издательству совершенно неизвестное) в своей "сомнительной книге "Русская правда" (не насторожило и название - впервые слышанное?), изданной в 1906 году (только революция 1905 - 1907 годов открыла такую возможность П. Б. Щеголеву), позволил себе кощунственные выпады против большого и славного народа, причем пошел на это вполне сознательно, во имя своих монархических симпатий и устремлений... Как же не заклеить его в своей книге, не выставить на позор и осмеяние?

"Русская правда" доступна сейчас каждому грамотному человеку. Прочтите, К. Ш. Кереева-Канафиева, параграфы "Составление Донского и Аральского уделов", "Народы кочующие", "Козаки" (а лучше - всю эту книгу), и вы убедитесь, что возвели на автора ее (не придуманного "Н. И.", а знаменитого П. И. Пестеля) напраслину - если воздержаться от определений более точных и резких.

...Историк литературы, не ведающий, кто и когда написал "Русскую правду", относящий ее уже к XX веку, клеймящий Пестеля за "тенденциозное стремление... усилить колонизаторскую политику царизма", способен вызвать самые грустные мысли, повергнуть в наигорчайшие раздумья.

(Страницы книги пестрят именами и названиями, будто главной и единственной задачей писавшей являлся скрупулезно-бухгалтерский учет всех, кто так или иначе отзывался о казахах.

От Льва Толстого до "известного русского писателя" (?) Е. Л. Маркова и не менее, по мнению исследовательницы, известных Г. Гинса, Ф. Лобысевича и др. Все эти главы написаны в одной тональности. И ничуть, вероятно, не смущает Керееву-Канафиеву, что на двадцати страницах, отведенных ею Л. Н. Толстому, почти ничего нет о "казахских мотивах" его творчества. Что же касается темы книги, т. е. русско-казахских литературных отношений, то ей посвящена лишь одна глава: "Ч. Ч. Валиханов и Ф. М. Достоевский" - десятая часть всей этой работы.)

"Содержательная, популярно написанная книга..." "Представляет большую познавательную ценность..." "Адресована широкому кругу читателей..."

Откуда эти оценки? Из аннотации.

А вот что получилось...

Да, перед Павлом Ивановичем Пестелем мы в долгу. И когда только вернем его сполна?..

1981, август

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ВИНСКОГО

*Если читатель пожелает,  
он может считать эту книгу романом.  
Э. Хемингуэй*

## К ЧИТАТЕЛЮ

Знаете ли вы, кто есть Винский? Не кем был, а именно кто есть?

"Кто есть..." Так говорим мы о тех, кто остается с нами, несмотря на годы, десятилетия и даже века.

Громкая слава - ни при жизни, ни после смерти - Винскому суждена не была. Единственное свое произведение напечатанным он не увидел. Немногие списки - один? два? - изредка напоминали об авторе и... исчезали, будто заколдованные. "Полного Винского" читали только отдельные счастливицы, в нашем веке не читал никто. И ни одной книги об этом писателе - ни в девятнадцатом, ни в двадцатом.

...О Винском мы могли и не знать: "не читали", "не слышали". Могли, но дальше уже не можем. С уверенностью в этом и начинаю я свою книгу.

Для тех, кто жаждет монографий, пусть будет она монографией. Для сторонников "читабельных" повествований - "просто повестью". Не жанровые обозначения собственной работы занимают автора - Винский и только Винский. Он входит в эту книгу, чтобы обрести друзей среди людей моего времени и - уверен - века двадцать первого.

Так здравствуй же, вновь обретаемый нами Писатель!

Что

Книгу свою я назвал "Возвращение Винского". Назвал еще до того, как возвращение произошло на самом деле. Поначалу имя ненаписанной книги возникло как своеобразный "скрипичный ключ", зазвучало во мне как заявка или задача. Задача для себя самого. Заявка сугубо внутренняя.

Что может такое название означать?

Из командировки ли, отпуска, любой другой отлучки человек возвращается сам. Из прошлого его возвращает настоящее. Чаще всего это как воскрешение из мертвых.

Для возвращения-воскрешения терпение нужно, да какое еще терпение. Терпение и труд. Труд требует каждый шаг.

Несколько лет тому назад, самочинно возложив на себя полномочия "представителя настоящего", решился я и сделал такой шаг навстречу Винскому. Шаг длиною и в месяцы раздумий, и в те первые десятки страниц, которые повествование открывают.

Они, эти страницы, написаны давно. Потом, позднее, узнать удалось много больше, и не одна загадка оказалась с ответом. Но никаких поправок вносить в первоначальный текст не хочу - пусть станет сам читатель спутником моим и товарищем на путях узнавания, ищет (и находит) разгадки вместе со мною.

Итак, шаг первый.

## ПРОЛОГ

### ШАГ ПЕРВЫЙ: ВИНСКИЙ ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ, или С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

В Большой Советской Энциклопедии (т. 5, 1971, с. 250) читаем: "Винский Григорий Степанович (1752 - после 1818) - мелкопоместный украинский дворянин, автор "Записок", которые охватывают период с 50-х гг. XVIII в. до 1793..."

- Известен ли вам Винский? - спрашивал я знакомых мне литераторов и историков литературы. Разводили руками: нет.

- Что вы знаете о Винском? - взывал к философам и историкам философии. Оказалось: не знают ничего.

Вопрошал историков - студентов, школьных педагогов и даже "педагогов педагогов".

Один только Матвиевский Павел Евменьевич, профессор пединститута и многоопытный историк края, откликнулся, так сказать, положительно: "Как же, эта личность

мне известна - в литературе попадалась, мемуары читал...". И пояснил: "Он в здешних местах ссылку отбывал - на рубеже XVIII и XIX веков".

Столько же в начале поиска знал и я - не больше.

Первые сведения принесли энциклопедии.

Наиболее "подробные" данные среди советских изданий энциклопедического характера приводила, как оказалось, "Радянська Енциклопедія історії України» (т. 1, с. 281): "Родился в г. Почепе, Стародубского полка (теперь Брянской области). Происходил из мелкопоместных украинских дворян. Учился в Киевской академии. В 1770-1775 гг. находился на военной службе в Петербурге, где и жил после выхода в отставку до ареста в 1779. Желая отомстить В. за вольнолюбивые мысли, царские власти клеветнически приписали ему уголовное преступление. В. был осужден на вечную ссылку в Оренбург с лишением чинов и дворянства..."

Но это ведь беглая, поверхностная канва его жизнеописания!

Делает ли она незнакомого тебе человека знакомым? Высвечивает историческую личность настолько, что ты уже вправе сказать себе: "понятно"?

...Это очень кстати: "Записки Винского" оказались в фондах областной библиотеки, и, стало быть, не понадобилось ждать, пока пришлют их по заказу из Москвы или Ленинграда. Правда, экземпляр без титульного листа и предисловия, а потому в каталоге значилось: "б.г., б.м." - то есть "без года, без места". Но все прочее "присутствовало".

Мемуары можно было раскрыть.

Теперь откроем их вместе.

Над введением два слова: "Мое время". Они не случайны - выношены, продуманы. И вольнолюбие, свободомыслие автора уже на этих, первых страницах.

"Заглавие, - читаем, - принадлежит венценосному сочинителю..." Но "порфирородный (имеется в виду прусский король Фридрих II - автор "Истории моего времени". - Л. Б.) жил, имел свое время; я живу, имею мое; итак, каждому свое". И потому: "Я намереваюсь писать о себе, для себя, для своих; следовательно, я буду писать, как умею, не поставляя себе образцами ни Ксенофонов, ни Титов-Лилиев, ниже К..."

"К" - несомненно - Карамзин, который, кажется, ему не близок, и прежде всего своей главной направленностью: "препровождать до позднейшего потомства громкие подвиги витязей, славу владык".

Мемуарист не намерен "втесниться в лик творцов сочинений". Нет, нет и нет: "Слог мой, подобно деяниям, будет прост, но правдив..." Но правдив! - это многозначительно.

...Записки рождаются в томительном одиночестве. Все, что было в его распоряжении, прочитано и перечитано. То, что задержалось в "старой голове", много раз вспомнано и передумано. Работе в огороде и длительным прогулкам мешает зной. И от "несносной скуки" берется он в своем "самопроизвольном заточении" за перо.

Однако если "в средних летах" автор, по собственному его признанию, "много писал, перелагая из иноземных на отечественный язык истины, тогда у нас неизвестные", то сейчас это делать

"не из чего" ("истины", способные взволновать, до него не доходят), да и "не для чего" - здесь, на месте, некому их передавать, связь же с внешним миром поисска.

Так Винский приходит к мысли о мемуарах.

"Я хочу писать мою жизнь и какие мне памятливейшие, случившиеся в течение оной происшествия..."

В помощь себе он призывает "свою богиню" - Истину.

Город, в котором наш герой родился (вероятнее всего - в 1753-м), был небольшим "малороссийским" городком. Родители его обладали единственным богатством - здоровьем и молодостью. Поженились они, когда Степану Винскому шел двадцать первый, а Марфе Пискаревской едва исполнилось шестнадцать. Винский гордился тем, что стал первенцем у

молодых, неискушенных родителей, был вскормлен материнской грудью, а значит, получил с жизнью "чистую кровь, здоровые соки"; это, по его мнению, и дает человеку в конце концов "крепкое тело и мужественную душу".

Мемуаристу близки мысли, созвучны чувства героя романа Лоренца Стерна "Жизнь и убеждения Тристрама Шанди". Он одобряет и приветствует его выводы о том, что вся жизнь людская прямо зависит от того, кем, при каких обстоятельствах и в каком душевном настроении будущий человек зачат.

"О любезный Шанди!.. Каким бы я мог быть доказательством твоего умствования! Ни десятилетняя в молодости самая распутная петербургская жизнь, ни шестинедельное в подземном сыром погребке заключение, ни заточение в суровый башкирский край и тридцатилетнее в оном пребывание, ни все удары несчастья не могли совершенно разрушить или ослабить мое крепкое сложение. Теперь, имея 61 год от рождения, я многих еще заставлю себе завидовать по наружности. А внутренне? О! Я еще живу..."

В своем взгляде на наследственность Винский на стороне Шанди. Он шандеист и в жизни, и в философии. Со всеми плюсами и минусами сторонников шандеизма - течения тогда популярного.

...Степан Акимович умер в двадцать четыре. Марфа Артемьевна, его юная жена, на двадцатом году жизни осталась вдовой с двумя детьми. А скоро Григории и младший, Осип, переехали в имение отчима - Котляковку: мать вышла замуж вторично.

Но ничего этого Винский по молодости своей не помнил. В памяти "зацепились" только отдельные эпизоды раннего детства в местечке Баклань, куда Михаила Васильевича Губчица, их нового "отца", человека неласкового, угрюмого, к чужим детям несправедливого, определили сотником.

Ну а школа в той же Баклани представлялась ему уже не смутно - осязаемо.

"После субботней вечерни все ученики собирались в школу и, не садясь по местам, а стоя, ожидали дьяка. При вступлении в школу он был приветствован ото всех в один голос: "Мир ти, благий учителю наш". На что он отвечал: "Треба секты вас", и тотчас начинал экзекуцию: "Учись, не пустуй, помни субботу"... Те, которых матери присылали дьяку получше млынцев, боланцев, паленыц и того-другого, получали удары по платью; а бедняки или у кого матери были скупы, расплачивались голыми задами..."

"Проклятая поповщина! Где ты не злочинствовала?" - вопрошал-восклидал Винский, вспоминая много лет спустя приходскую школу.

А вот домашний учитель Дворецкий, родом из Сосницы, запомнился иным - добротой. Эта его доброта отнюдь не помешала ученику неплохо усвоить латинский. Не зная латыни, продолжать ученье он не мог бы.

Рано узнав деспотизм отчима, Григорий тем не менее не озлобился.

"В детских играх душевно равнялся с низшими; но господствовать ни сам не любил, ни над собою не терпел. Сие... осталось во мне на всю жизнь..."

"С юнейших лет не уважал богатства и не дорожил деньгами до того, что даванные мне иногда несколько копеек отдавал первому, кто захотел бы их взять..."

И образование, и воспитание продолжены были сначала в Чернигове, а потом в Киеве. "Киевская академия"... Пять лет его жизни... Готовила она к службе духовной, и изучали там грамматику, пиитику, риторика, философию, богословие, языки латинский, польский, греческий, немного немецкий и французский. Остальные науки "академикам" были неизвестны. Настолько неизвестны, что "ежели бы добрый человек, квартировавший тогда в Киеве, канонерского полка штаб-юнкер Паченко, не показал мне первых правил арифметики, я бы принужден был считать по пальцам".



Киев Винский оставил летом 1768-го. Несколько месяцев пробыл в частном пансионе - занимался только французским, а на шестнадцатом году жизни его школьное учение закончилось. Началась служба.

Вступал в нее с любопытством и страхом, вполне сознавая, что постиг немного. Потом он процитирует Луи Себастьяна Мерсье: "Все науки, даже и божественная астрономия, суть только роскошь ума человеческого, одни мораль и политика ему необходимы".

Но оценить "сию важную истину" довелось ему уже позднее. Позднее был осмыслен и первый жизненный опыт. Винский задумался над проблемами "полезнейшего научения юношества" и пришел к выводу о пагубности для человеческой личности того, что вступающих в жизнь заставляют "занимать места в обществе, совсем несообразные ни с их склонностями, ни с их способностями", что "научение в публичных и частных училищах есть для всех одно и то же", что "научение почти повсеместно принимается за воспитание", а родители не стараются "прежде воспитывать, потом научать" чад своих.

"Россиянина должен воспитывать непременно россиянин; научение же можно попустить и иностранцу, только бы воспитание оному предшествовало и никогда из вида не потерялось..."

"Дать просто жизнь, по строгой справедливости, не составляет великого благодеяния; одно воспитание может доставлять отцам неоспоримое право на детскую благодарность, повиновение и пособия..."

"Правительство непременно обязано поддерживать нравственность; без того она бесполезна и не может иметь никакой власти над сердцами. Законы должны быть пополнением и доказательством нравственности, внушенной воспитанием..."

"Ясные и простые правила нравственности гораздо легче для понятия, нежели догматы и заповеди духовные, которых не только поучающиеся, но и сами поучающие, по совести, не понимают..."

Просветительские, педагогические идеи Винского опирались на уроки, полученные в детстве и юности, на опыт жизни.

Не раз воспоеет он гимны родному своему народу, и прежде всего людям простым, звания крестьянского. Добронравию их и дружелюбию, веселости, гостеприимству и откровенности, трудолюбию, почтению к старшим, супружеской верности - многому и разному, оцененному в полной мере лишь позднее, когда Украина стала для него далеким, невозвратимым прошлым.

...В марте 1770 года Винского повезли в Санкт-Петербург, а по приезде доставили в Измайловский полк. И тотчас обнаружилось в нем отвращение к казарме, к муштре: "Я во все продолжение моей четырехлетней службы был неизменно самым худым служивым". Полковая служба столкнула его лицом к лицу с такими пороками, о которых он прежде и не слыхивал. "Хотя воинское звание по наружности имеет вид строгого присмотра, но в самом существе едва ли какое другое из общественных состояний доставляет более своеволия. Умел бы только опрятно одеваться, проворно вертеться, раболепнейше повиноваться - вот и желаемые качества в военном. Нравственность же, ежели в котором полку, по каким-либо особым обстоятельствам, не уничтожается совершенно, то не наблюдается ни в одном..."

(Как перекликается это с наблюдениями и выводами Тараса Шевченко в его "Дневнике" мангышлакского периода жизни! "Солдат - самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, - одним словом, все. Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одинокую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдано все, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата?.. Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира... Хорошо должно быть воспитание. Бесчеловечное воспитание".)

Винский, как и другие, ему подобные, немало "попутешествовал" - это его же слова - "по смердящим болотам распусти". Но сильнее всех соблазнов оказалась в нем любовь к наукам.

У своих земляков одну за другой обнаруживал он "значительные библиотеки" и тут, "не досыпая иногда ночей, познакомился... с Роллениями, Лесажами, Вольтерами и получил такое пристрастие к чтению, что никогда никакое занятие не брало... поверхности над оным".

Многозначительно и следующее признание: "По страсти к чтению нетрудно поверить, что я имел любопытство и то узнать, чего в книгах не печатали".

Узнавал от гвардейских офицеров из придворных кругов, от тех, кто бывал в заграничных поездках ("баталион гвардии, сопровождавший графа Орлова в Архипелаг и довольно времени проживший в Италии, сколько привез с собою прекрасных новостей!"), от приезжавших в столицу "иностранцев и более французов". Что именно узнавал - об этом можно судить по нескольким печатным страницам обзора политической жизни Европы и Азии, равно и России; не воспроизводя его суждения в подробностях, скажем только, что с официальными данными они в большинстве своем расходились.

Ну хотя бы такое - это из событий внутренних: "В марте месяце (1775 года. - Л. Б.) государыня, при торжественном заседании в Сенате, пожаловала народу 47 милостей. Сии милости, для овековеченья их внесенные в государственную хронологию, тогда же, по суждению некоторых крутых голов, не стоили ни одной дельной".

Или другое - об увеличении "судебных мест": "...грубой хлебопашец скоро почувствовал от сея перемены невыгоду, поелику, вместо трех баранов в год, должен возить их до 15-ти в город". О чем это? О лихоимстве, о взяточничестве...

"Кукольной игрой" нарек Винский учреждение совестного суда. И подкрепил свой изначальный вывод примером уже более позднего времени: "Я, четыре года живши в доме совестного уфимского судьи, видел, как его Алешка, бутуз, гонял со двора несчастных чуваш и мордвов, притекавших к совестному правосудию; как судия сам хвастал, что в двенадцать лет его судейства и двенадцати дел не поступило в суд..."

И чем дальше, тем больше порицал он ту, которая, по его словам, все ревностнее старалась "бросить пыль в глаза Европы и обморочить потомство". Он бичевал Екатерину за гонения на "людей благонамеренных, с знаниями и душами", за ее фаворитов-сатрапов и за то, что пустилась государыня "наслаждаться всем, без многих оглядков", за корыстолюбие знатных, взяточничество сильных, упадок нравственности среди вельмож и их супруг.

...Не выдержал тогда Винский: "Испросил себе увольнение от службы, не имея начисто ничего в предмете". Отставка была принята.

Но как жить дальше?

Давний знакомый и приятель его Острожский, на ту пору московский адвокат, пригласил земляка пожить с ним вместе. Винский согласился, и в течение года они делили все - кров, стол, досуг.

Однако могло ли продолжаться так бесконечно?

Поразмыслив, решил вернуться в Почеп. Вернулся. Но скоро обнаружилось, что "ни средств там себя содержать, ниже какой-либо надежды улучшить... положение службою или определением к какому месту" у него нет.

Пустился в обратный путь - снова в Петербург. За три недели добрался. Но и здесь перспектив у Винского не оказалось. Сегодня он не знал, что будет делать завтра. Плыл, как говорится, "по течению". Так приплыл и к женитьбе на Лорхин Фродинг - молоденькой немочке, сестре его нового приятеля. Впрочем, эта женитьба, "составленная без всяких видов и цели, не учинила в... жизни его ни сколько значущей отмены".

Все более влекли к себе нашего героя люди нравственные. Тесное знакомство свел он с Леонтием Петровичем Соколовым. "Качества сердца его виднейшие были: самый кроткий нрав, человеколюбие, сострадание и бескорыстие". Все, что имел, Соколов отдавал людям, низвергнутым в бедность "разными ударами судьбы". Сам же "здравым, что называется, рассудком наделен был достаточно", и вскоре они "сделались искренними друзьями".

Никакого отношения к обнаруженной властями в 1779-м краже из государственной казны ни Соколов, ни Винский не имели. Но "неблагонамеренность" их была взята на заметку еще раньше, и решили сильные мира с "опасными лицами" расправиться, используя для того любой предлог и повод. А так как Винский проявил однажды намерение - только намерение! - незаконно получить из банка 1400 рублей (пользуясь фиктивной закладной на якобы принадлежавших ему 120 крестьян, в то время как оставалось за ним только 38), то с легкостью необыкновенной приписали его к уголовному делу, по которому проходила целая группа дворянской молодежи; был там, между прочим, и Григорий Радищев - брат знаменитого в будущем писателя. Сначала Соколов, а затем и Винский оказались в Петропавловской крепости.

В Петербурге все заговорили о раскрытии "важного заговора". Какого? Какие цели преследовавшего? Этого не знал никто: "секретная комиссия" при Сенате действовала в полной тайне.

Между тем Винского бросили в темноту тесной и сырой одиночки. За что? - не знал и он. В чем его вина? Его и других, "которым не объявлено даже, за что они воровски похищены из своих жилищ и, прежде всех вопросов и суждений, преданы уже наитягчайшему тюремному наказанию"?

"До сведения Ее Императорского Величества дошло, что в Санкт-Петербурге многие молодые люди из дворян, проживая праздну, ведут жизнь крайне подозрительную, утопают в распутстве, затевают дела самые незаконные, клонящиеся к потрясению всего благосостояния общества, - обращался к нему на допросах председательствующий. - ...Укрывательство с твоей стороны будет совершенно тщетным, ибо все твои деяния, до малейших, комиссии известны".

Известны? Какие именно? Четырнадцать месяцев, даже больше, провел Винский в каземате, но государственной преступности своих "деяний" не постиг.

...Суда не было. Приговор был. И суровый: в ссылку. Вечную ссылку!

В тот же день, под вечер, две пароконные повозки отправились в дальний путь по зимней России. Арестанта конвоировали три "телохранителя".

На выезде из Санкт-Петербурга в повозку к Винскому почти на ходу вскочила Лорхин: она решила разделить судьбу мужа.

- Да ты, моя милая, замерзнешь!

- Нет, нет, мне подле тебя будет тепло.

"Конечно, невероятный, по нынешним временам, поступок, - вспоминал он потом. - Но оный точно произведен в действие 16-летней иностранкою, вырвавшейся из рук родных, в домашнем платье и в одной мантилий решившейся с мужем ехать в изгнание за 2500 верст..."

Много лет и даже десятилетий спустя отправятся этим путем в сибирские дали жены и невесты декабристов. Мы знаем их поименно: Трубецкая, Волконская, Анненкова, Ивашева... Так вспомним же, что была у них предшественница - Элеонора Карловна Винская.

В пути они соединились, в пути расстались. Это уже о Винском и его сопроцессниках - прежде всего, о Соколове.

Леонтий Петрович следовал в Тобольск с шестью рублями в кошельке. Но четыре с полтиною уплатил он за кибитку, чтобы беременной жене приятеля покойнее было в дороге.

"О вы! Кузьмичи, Ильичи, Андреичи, Фалалеичи и вы все, любимейшие чада Плутуса, все миллионы свои нажившие самыми "благонамеренными" средствами, кто от кабаков, кто от промыслов, кто от подрядов, кто от закладов, скажите по совести: в состоянии ли кто-нибудь из

вас тысячною частицей своих сокровищ пожертвовать для нужды ближнего?" Соколов отдал ему почти все, что имел.

...В феврале 1780-го Винские добрались до Оренбурга. "Проехавши Каргалу и приблизившись к девятой версте, открылась мне необозримая равнина, покрытая снегом, не имеющая не только дерев или кустов, ниже каких-либо видных из-под снега растений. На правой стороне видно было кругловатое возвышение; с левой - два довольно высоких хребта; впереди - город Оренбург, как груда собранных в одно место церквей и колоколен. При первом обозрении сердце затрепетало и мысли сказали: "Вот твое жилище и гроб!"

Разговор с вице-губернатором мрачное настроение усугубил.

- Ваше сиятельство, до сегодняшнего дня я получал казенное содержание; теперь как изволите приказать?

- Ты прислан сюда на житье, а о содержании твоём ничего не сказано...

- Чем же я буду жить?

- Будешь сыт, было бы что есть...

Развела уныние Лорхин. Лицо ее светилось радостью: трудный путь позади, они вместе и неразделимы. Но той же ночью почувствовала себя худо. Обернулось все тем, что родила мертвого ребенка. "Беспокойствия в дороге и другие потрясения повредили несчастное творение, носимое ею под сердцем..."

По рекомендации вице-губернатора Винский стал секретарем у откупщика Астраханцева и тем самым получил возможность жить сносно.

"...Я мог бы, как и другие, кое-чем для переды запастись, ежели бы решился пред богачами ползать, глупцам вторить, бездушников хвалить, волокитам помогать и прочее, весьма обыкновенное, между всеми "лучшими" нынешними людьми. Многие... может быть, называют меня дураком... пусть и так; но подлецом, по справедливости, никто не может меня назвать".

Два года спустя с Астраханцевым и его присными он распростился: "откуп кончился... кабацкие дела прекратились". Приехавший в Оренбург Шишков - сослуживец Винского по Измайловскому полку - предложил ему перебраться в Уфу, ставшую городом губернским. Перебраться в качестве домашнего учителя детей одного из тамошних чиновников.

"...Уча, на досуге можно и самому учиться, что точно со мною сбылось, ибо я, пробывши около 16 лет в разных домах учителем, ежели не выпустил своих учеников виртуозами в науках, зато сам столько успел в знании французского языка, что мог читать и переводить всех родов авторов без словарей..."

Почувствовав вкус к учительствованию, он внес в это свое дело такие усовершенствования, которые и сейчас педагогикой ценятся. Но это так - к слову...

"Надобно быть допущену во внутренность домов дворянских... дабы видеть все своевольства ежедневно в сих вертепах..." В большинстве домов, убеждался Винский, тиранили дворовых - за малейшую провинность (и без всякой вины) устраивали им экзекуции. "Сколько раз я бывал заступником, ходатаем за таковых несчастных, и всегда почти безуспешно..."

Утехой и усладой жизни стали для него книги. С увлечением прочел он в переводе сочинение аббата де ла Порта "Всемирный путешественник, или познание Старого и Нового света, то есть описание всех по сие время известных земель". Книга возбудила в нем интерес к знаниям.

Уже тогда в Уфе имелись достаточно большие книжные собрания. Был представлен в них и Вольтер - он первым заохотил Винского "читать и рассуждать", первым же натолкнул на мысль о переводах прочитанного на русский. В этой, переводческой, деятельности поддержал Григория Степановича образованный офицер Арсеньев, долгое время живший за границей. И стал Винский все внимательнее следить за новинками.

Так прочел он утопический роман "Год две тысячи четыреста сороковой" Луи-Себастьяна Мерсье. "Увидевши в каталоге книгу под названием L'an 2440, я тотчас ее выписал.

С первых глав: Сон, Греза обезохотили было меня заняться сею книгою: но, прочитавши внимательнее приношение самому лету (то есть году 2440-му. - Л. Б.), я ощутил в душе моей неизъяснимое влечение полюбить сего смелого сочинителя, твердого поборника истины и неустрашимого защитника прав человечества..."

Труд Мерсье не очень давно переиздан в серии "Литературные памятники" - издательство "Наука" сделало его известным пытливому читателю и наших дней.

Винского в нем поразило тогда, прежде всего, "приношение самому лету" - Посвящение далекому году.

"О высокочтимый, священный год всеобщего благоденствия, который, увы, я видел только во сне! - восклицал Мерсье, начиная свою книгу. - Придет свой черед, вечность исторгнет тебя из лона своего, и те, кому будет светить тогда солнце, так же равнодушно станут попираť ногами прах мой, как и прах следующих тридцати поколений, коих одно за другим поглотит бездна смерти. Исчезнут короли, ныне сидящие на тронах, исчезнут их потомки, и ты тогда будешь вершить суд над почившими этими государями и над сочинителями, что были им подвластны. В сиянии славы, чистой и лучезарной, дойдут до тебя имена друзей человечества, защитников его. Имена же злодеев, сей подлой королевской черни, коей немало предстоит еще терзать род людской, канут в пучину забвения, более глубокою, чем смерть, и потому лишь избегнут позора и поношения..."

Это был роман утопический. Но Мерсье, в отличие от своих предшественников, прорицал идеальное будущее не на воображаемом острове Утопия - так Томас Мор, не на острове Тапробана - как Кампанелла, не в изумительной стране "среди широкого моря" - как Морелли, а в родной ему Франции, только много столетий спустя, в далеком двадцать пятом веке.

Государство будущего, по Мерсье, - это общество развитого человеческого сознания: в нем нет и быть не может места людям праздным, каждый стремится приносить пользу, труд - вот главный источник радости, знатность не происхождением и не богатством предопределяется - заслугами перед отечеством. Законодательная власть в 2440-м принадлежит Собранию народных представителей, исполнительная - Сенату. Король есть, но не всесилен: абсолютная монархия - зло из зол. Любовь к ближнему движет во Франции XXV века всем. Отсюда мир и покой, расцвет наук на пользу человечеству, неукоснительное соблюдение справедливых законов, торжество высокой морали и нравственности.

Нет такой сферы жизни, нет такого учреждения, которые не привлекли бы внимание Мерсье; он смело вторгается в политику и экономику, образование и искусство, представления о внешнем облике людей и их поведении. Его волнует решительно все. Мерсье писал свою книгу, менее всего думая о том, что навлекает на себя гнев всемогущей власти.

Роман пришлось печатать анонимно. Запретили его сразу же по выходе в свет. Но это не воспрепятствовало быстрому распространению произведения - и в стране, где оно было создано, и по всей Европе. Очень скоро его смогли прочесть в глубине России.

Многое дала Винскому книга утописта из Франции. "С сего времени сей знаменитый писатель и ему соответствующие сделались моими любимейшими авторами..." - свидетельствовал он потом в "Записках". По всему судя, провел изгнанник не только "год две тысячи четыреста сороковой", а и другие произведения писателя-просветителя - своего современника. В доме Мертваго, например, в то время зачитывались его пьесой "Судья". "Воображение мое было воспламенено", - писал впоследствии Дмитрий Борисович Мертваго (1760-1824), видный деятель края, в последние годы своей жизни сенатор.

"Мысль долговечнее человека. В этом - великое ее превосходство!.. В то время как затихают и уходят в небытие громы деспотизма, голос сочинителя, преодолевая преграды времени, доносит через века хвалу или приговор владыкам мира..." Это снова из Мерсье - того же посвящения воспетому им будущему.

Книги, подобные "Году 2440", все более разжигали в Винском жажду творчества. Разжигало его и общение с "добрыми и умными людьми".

..."В тебе я потерял одного совершенно моего единомышленника, сострадательного друга, честного и с обширными знаниями человека", - мысленно обращался Винский к "почтеннейшему и любезнейшему другу" Петру Ивановичу Чичагову.

Они впрямь были единомышленниками. "С какою горестию воспоминаю наши беседования о происшествиях, начавшихся в наших глазах, от которых надеялись мы спасения, счастья человеческому роду, но, увы! все сие, по отшествии твоём, восприяло новый вид, или лучше: древнейшие рода человеческого враги, самовластие и суеверие, переменяв только деяние и речь, возложили снова чрез безумных честолюбцев оковы рабствования, еще тягчайшие прежних, на выи глупой черни..."

Это почти все, что сказал Винский о Чичагове в своих "Записках"... Возвышенно, но до чего же скупо!

Кем был его друг? Какой судьбы человеком? Чем предопределено "вечное" о нем "напоминание" Винского? Обращаюсь к другим книжным источникам о том времени.

На рабочем столе - те же "Записки Дмитрия Борисовича Мертваго" в отдельном издании "Русского архива" (1807). Они интересны во всех отношениях, но главным образом - как правдивое свидетельство эпохи. Автор их был дружен с Г. Р. Державиным, являлся крестным отцом С. Т. Аксакова и... братом жены Чичагова. Того самого, о котором так нежно вспоминает Винский!

Что сообщает о нем Мертваго?

"Другом моим был в это время Чичагов, человек честный и умный, но имевший несчастье в молодости сделать преступление, не причинившее никому никакого зла. Ссоры людей сильных сделали его жертвою их мщениа. Он был судим и по строгости законов наказан лишением чинов, дворянства и сослан на житье в Уфу..."

Совершил Чичагов вот что.

Ему было всего семнадцать, когда он, юный офицер из родовитой дворянской семьи, образованный, воспитанный за границей, влюбился в не менее знатную Римскую-Корсакову и, по настоянию ее отца, подал в отставку. Чичагов был очень молод, тщеславен, нетерпелив и, не дождавшись указа об отставке, объявил всем, что со службы уволен "с повышением чина". Но, как оказалось, о "повышении" в указе речи не шло. Тогда, недолго думая, жених "исправил ошибку": в официальном уведомлении об отставке самолично переправил "поручика" на "капитана". Обнаружилось это, естественно, быстро. Так же быстро Чичагова судили и наказали. В 1784 году он оказался в Уфе. Тут его вскоре постигло горе: умерла жена.

Винский, уже четыре года находившийся в ссылке, перебрался в Уфу незадолго перед тем. Один опальный встречал другого...

И судьба Чичагова, и сам он привлекали уфимцев. Желанным гостем стал молодой вдовец в лучших домах города. И в доме Марии Михайловны Мертваго - матери не раз упомянутого уже Дмитрия Борисовича. Так продолжалось до дня, когда вдруг обнаружилось, что дочь хозяйки Екатерина влюбилась в умного, образованного и светского Петра Ивановича. "Взаимная их страсть, замеченная матушкою, до того ей была противна, что мы боялись, что с ней сделается удар, - писал в своих "Записках" Д. Б. Мертваго. - Удаление Чичагова (надо полагать: изгнание. - Л. Б.)... так было тягостно влюбленной сестре моей, что, час от часу худея, она стала кашлять кровью..."

Верным другом оказался Дмитрий Борисович: через Державина он начал хлопотать за приятеля в петербургских "сферах" и в конце концов добился помилования - хотя и без права поступления на службу и въезда в обе столицы. Еще раньше тот же Мертваго склонил мать благословить любящих.

Прошло несколько лет. Державин поручил Чичагову управление своими уфимскими деревнями. После снятия запрета служить тот быстро продвинулся по лестнице чинов, и уже в 1807-м был коллежским ассессором. Не один год исполнял обязанности бугульминского и белебеевского уездного предводителя дворянства...

А все же лучшие страницы о Чичагове оставил Сергей Тимофеевич Аксаков, знавший его от раннего своего детства.

"...Он был и живописец и архитектор: сам построил церковь... в саду близехонько от дома, и сам писал все образа. Тут я узнал в первый раз, что такое математический инструмент, что такое палитра и масляные краски и как ими рисуют. Мне особенно нравилось черчение, в чем Чичагов был искусен... Вдобавок ко всему, Петр Иванович дал мне почитать "Тысячу и одну ночь", арабские сказки. Шехерезада свела меня с ума... и добрый хозяин подарил мне два тома..."

Чичагов "все на свете знал, читал, видел и сам умел делать; в дополнены; к этому он был очень весел и словоохотен. Удивление мое к этому человеку, необыкновенному по уму и дарованиям, росло с каждым днем".

Это из книги "Детские годы Багрова-внука". И это оттуда же:

"Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом Петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым: прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен..."

Последние строки - о прощальной их встрече. Чичагов умирал, болезнь доставляла ему невероятные мучения. Но, слушая молодого Аксакова, он смеялся "самым веселым смехом". А потом... "Ну, друг мой, - сказал он мне потом с живым и ясным взглядом, - ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума..."

...Винский его пережил. "Не проходит, может быть, ни единого дня, чтобы я тебя не вспомнил; без тебя я стал истинный сирота", - обращался он в мыслях своих к другу.

Чичагов и другие славные люди одарили его дружбой, открыли надеждой.

Переводы Винского получали распространение. Их читали в Симбирске и Казани, они добрались до самой Сибири. Но все это казалось таким малым перед тем, что для просвещения людского и пользы отечества сделать хотелось...

Много привелось Винскому поездить по краю своей неволи. Побывал в Челябине, жил в селах, охотился в лесах, рыбачил на озерах. И трудился: учил, читал, переводил. Это для него стало смыслом жизни.

А она, жизнь, оглоушила новым ударом: в октябре 1792-го, на двадцать девятом году, безвременно и нежданно умерла его Лорхин. Осиротели Катенька и Кира. Сиротою почувствовал себя сам.

Лекарством в горе была работа. "Нередко по 12 часов в сутки я, как осужденный, переходил от перевода к истории, от нея к автору, к сочинению и пр., и пр.". Это помимо обязанностей учительских, кроме занятий с малышами своими...

На том, что было весной 1794 года, записки Винского и обрываются. Но ведь жил он после этого еще много лет? Да, жил. И жил активно. ..."О! я еще живу"...

Что-то - и существенное - можно узнать из тех же мемуаров: автор их не раз отступал от хронологии. "Вспомни, любезный Прокопович, как мы в 1806 году в Санкт-Петербурге, за дружескою трапезою у Плавковского, решали..." Или в другом месте: "В январе же 1806 года, ехавши чрез Ярославль в Санкт-Петербург..." И далее: "Проживши шесть месяцев в сей великолепной столице..."

Значит, была полугодовая поездка в места далекой юности, со множеством встреч, с яркими новыми впечатлениями. Что ее вызвало? С кем ездил? Ради чего?

О Винском известно мало.

Продолжим чтение статьи в "Радянській Енциклопедії історії України". Что там дальше? В строках последующих?

"...В ссылке сблизился с деятелями дворянско-революционной организации "Оренбургское тайное общество". После амнистии 1805 года жил в г. Бузулуке. В 1818 составил проект военной экспедиции в Хиву для обеспечения охраны торговых путей России. Мемуары В., написанные около 1815, отражают многие стороны жизни тогдашней России..."

Ни в одной другой энциклопедии больше, чем сказано здесь, не найти. Но и тут в спрессованной, сжатой справке, написанной доктором исторических наук В. Г. Сарбеем, речь главным образом о мемуарах и проекте.

Впрочем, нет - не только. Названо "Оренбургское тайное общество". Ошибочно названо - тогда в Оренбурге такого не было. Но известно, что еще в последнее десятилетие XVIII века здесь возникло отделение Новиковского общества.

"Новиковское общество основано было отчасти по правилам масонства. Братство, равенство, искренность, распространение чтения полезных книг и вообще свободомыслие того времени - составляли цель его. Оно имело многие отрасли в России... Мудрено ли, что подобное отделение образовалось и в Оренбурге, на грани обширных степей, где буран и киргиз соперничают в наслаждениях дикою разгульною свободою. Когда и кем оно основано - не знаем; известно только, что бывший Оренбургской таможи директор Величко поддерживал его до самой своей кончины, случившейся в последние годы царствования Александра..."

Это заявление исходит от декабриста В. И. Штейнгейля; его же, в свою очередь, информировал один из руководителей "Оренбургского тайного общества" 20-х годов Василий Колесников. Их беседы в сибирской дали были долгими, откровенными, и результатом стали "Записки Несчастливого, содержащие Путешествие в Сибирь по канату", судьба которых во многом близка судьбе "Записок" Григория Винского.

"Общество Величко" объединяло в разные годы многих. Известны имена майора 4-го линейного батальона Кучевского, коменданта Петропавловской крепости на Оренбургской линии полковника Самарина, кантонного начальника башкирского войска майора Беккера, аудитора ордонансгауза Кудряшова и других. Кто-то выбывал, кто-то приходил снова, но Общество просуществовало много лет...

..."После амнистии 1805 года жил в г. Бузулуке..." Откуда это известно? Чем подтверждается?

Если исходить из того, что сблизился с участниками Новиковского общества, то и Величко, и другие пребывали в Оренбурге. Истинным "центром притяжения" был он и для Винского. Сюда сходились все нити управления необозримым, разноплеменным краем. Тут решались многообразнейшие проблемы политики и экономики. В Оренбург стекались новые и новые люди: одни - по собственной, другие - не по своей воле.

К ним, дерзким в своих замыслах и делах, не повторявшим ортодоксальные "истины", а смотревшим далеко вперед, влекло его всего более. Здесь, в сердце далекой губернии, по-настоящему почувствовал он себя современником Н. И. Новикова и А. Н. Радищева, новиковских сатирических журналов и радищевского "Путешествия из Петербурга в Москву". Здесь ощутил еще не остывшее дыхание прокатившейся по краю Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева и всю остроту событий, которые в недалеком, самом недалеком уже будущем приведут к Отечественной войне 1812 года.

Винский продолжал учительствовать. Любимым его учеником был теперь сын Павла Елисеевича Величко - Александр. В него Григорий Степанович вкладывал все, чем обладал сам. Все знания, все мечты и надежды. Он тоже являлся его произведением!

Жизнь А. П. Величко в наше время обстоятельно проследил М. Д. Рабинович - автор статьи о Винском в "Украинском историческом журнале" (1967, № 2). Сведения, по крупицам собранные историком, характеризуют Александра Павловича с разных сторон.



Родился он в 1793-м. Впоследствии Величко сам отмечал домашнее свое обучение-воспитание как "основу основ" будущих успехов в науках. В семь-восемь лет оказался Александр в руках Винского; шесть с лишним лет день за днем преподавал ему разнообразные знания очень уже к тому времени опытный домашний учитель-наставник.

В Благородный пансион Московского университета пятнадцатилетний юноша пришел вполне подготовленным. Винский следил за его успехами и радовался им. После перерыва в ученье, вызванного Отечественной войной, Величко выдержал публичные экзамены настолько прекрасно, что удостоился и золотой медали с похвальным листом, и двух серебряных медалей, и звания кандидата; двумя годами позднее, в 1815-м, он получил еще и степень магистра.

Александр вернулся в Оренбург чиновником канцелярии губернатора. Служба его тут продолжалась несколько лет...

К тому времени, когда Винский начинал свои мемуары, за плечами его оставались "61 год от рождения" и "30-летнее... заточение в суровый башкирский край". Сосчитать нетрудно: "Мое время" он стал писать в 1814-м, может быть, в 1815-м – не позднее. Написал, наверное, не сразу. Вполне возможно, что мы читаем сейчас только первую часть, а вторая остается неизвестной. Уж слишком резко обрывается повествование! "Зиму я прожил в Уфе, а весной переселился к г. Шишкову..." Даже точки нет - многоточием печатный текст заканчивается. А так заманчиво прочесть, что же стало дальше.

Из этого "дальше" известен пока один-единственный документ: "Проект о усилении российской с Верхнею Азиею торговли через Хиву и Бухарию". Автор - Винский, но в Петербург, "к г. министру" проект был послан Павлом Елисеевичем Величко, начальником Оренбургского таможенного округа и, как водится, не от лица "исполнителя".

Министр запрашивал военного губернатора "о мерах к охранению караванов и вообще о торговле" как в настоящем, так и в будущем. Автор "Проекта" предлагал решения не частные, но коренные, прорицая будущее в мире, дружбе, честной торговле, свободном развитии народов.

Да, Винский с увлечением читал утопии Мерсье, Мабли, Руссо. Однако был он не только мечтателем, но и человеком практическим.

...Жизнь закончилась в... Но нет, точной даты вы здесь не найдете. В энциклопедиях год его смерти определяется приблизительно: "после 1818". Почему "восемнадцатого", если "Проект" датирован 1819-м? И какие основания считать, что, составив этот документ, Винский сразу умер?

Ответы надо искать в архивах, переписке, родословных, некрополях - всюду, где угодно. Но искать непременно: жизнь его должна быть прочитана по возможности полнее.

"...К сожалению, эти "Записки" не доведены до времени переселения Винского в Оренбург, о котором у него и нет рассказов" .

Это из комментария к первому тому монументального "Архива декабриста С. Г. Волконского"; вышел он в Петрограде в 1918 году под редакцией С. М. Волконского и Б. Л. Модзалевского.

"Биограф, кажется, довел свою рукопись до 19-го столетия, но главная жизнь в 18-м..." Таково мнение Александра Ивановича Тургенева - первого, кто написал о Винском в прессе, кто оценил его труд по достоинству.

О, это была личность историческая! Воинствующий гуманист, ярый враг крепостного права, друг декабристов и Пушкина, Тургенев всю свою жизнь оставался верен идеям свободы, равенства, братства, всю жизнь ненавидел - и активно ненавидел - деспотизм. Мог ли он ужиться в самодержавной России? Нет. И связав собственную судьбу с судьбою брата, Николая Тургенева, осужденного после восстания 1825 года на вечное изгнание, он почти двадцать лет - с небольшими перерывами - провел за границей. Из Франции, Германии, Англии, Италии, Швейцарии шли от него письма в Россию. С позиций передового русского человека рассказывал

он в них соотечественникам о жизни Западной Европы, обо всем, что волновало его самого. "Хроника Русского" - под таким названием печатались они в пушкинском "Современнике", в "Москвитянине" и других изданиях.

И вот однажды в статье-письме из Парижа читатели "Москвитянина" натолкнулись на "не европейский", а, напротив, чисто русский "сюжет". То были страницы о никому не ведомом тогда Винском, о его труде "Мое время", дотоле совершенно неизвестном. "...Эта рукопись уже 1/4 века у меня, и я в первый раз вполне прочел ее", - не без укора самому себе писал Тургенев в 1845-м.

Четверть века? Выходит, что попали к нему "Записки" Винского чуть ли не в двадцатом году, а значит, вскоре после того, как стали фактом свершившимся...

Как это могло произойти? На сей счет есть вполне реальная версия.

Винский наезжал в Астрахань - там жила его замужняя дочь. Бывая в Астрахани, он непременно навещал начальника пограничного таможенного округа - знакомства в этой сфере были у него обширными. А начальником являлся... Тургенев. Александр Михайлович Тургенев - не близкий, но родственник Тургеневым-литераторам, давно и много печатавшимся в столичных российских журналах.

То ли с мыслью о продвижении "Записок" в печать, то ли просто из дружеского расположения к А. М. Тургеневу, но оставил Винский свою рукопись ему. И уже от Александра Михайловича, вероятно, попало "Мое время" в руки А. И. Тургенева, не преминувшего порасспросить прежнего владельца об авторе; результаты "интервью" явствуют и из статьи в "Москвитянине". Рукописью Александр Иванович дорожил. Вполне оценил ее позднее, а берег с самого начала.

В письме, адресованном им другу, К. Я. Булгакову, есть такие три слова: "Возврати Винского рукопись". Жаль, что осталось письмо без точной даты. Но все говорит в пользу двадцатых годов, даже первой их половины.

Рукопись была возвращена. И стала она сопутствовать Тургеневу в его странствиях. Во всяком случае, в июне 1843-го, вновь покидая Россию, имел Александр Иванович среди других бумаг и ее. Находясь с сентября сорок третьего по апрель сорок пятого во Франции, он - "в одни сутки" - "Записки" Винского прочел. И февральским же днем 1845 года дал им самую высокую оценку.

В сороковые (как и в двадцатые, "декабристские", годы) публикация этого труда в подцензурной печати России была невозможна. В "Москвитянине" Тургенев их всего лишь аннотировал. Впрочем, если точнее, - реферировал, обнажая и подчеркивая наиболее, с его точки зрения, существенное.

Итак: "...Я прочел в одни сутки записи Винского "Мое время". Эта рукопись уже 1/4 века у меня, и я в первый раз вполне прочел ее. Я не мог оторваться от книги..."

А дальше - суть рукописи, критический ее разбор, анализ прочитанного.

"Винский уроженец Малороссийского городка Почепа (в 1752 году) учился в Малороссии, но оставил ее в первой молодости и переселился в Петербург в первые годы царствования Екатерины II (на 18-м году). Он бегло описывает Петербург, но прежде оригинально описал малороссийскую жизнь свою, воспитание, семейство - и отбытие на чужую сторону. Несмотря на отсутствие важных происшествий, повесть его привлекательна какою-то искренностью и подробностями семейной и провинциальной жизни: "мертвые души" снова ожили бы в сей существенности! Для Гоголя эта рукопись была бы кладом. Киев, Академия, шляхетство, Глухов, общественная жизнь в Малороссии, нравы и справедливый взгляд на влияние французов в России, редкий и в наше время, влияние Екатерины II на смягчение нравов - "апелляция к потомству", - учение вместо воспитания - вот содержание первых глав этой биографии; но я не досказал вам дальнейших походов автобиографа. В Петербурге он записался в военную службу, как недоросль, и в школу; исключен из оной за негодностью

прямо в полк, хотя ученик знал более учителей. - Картина нравов тогдашних в полках и обществе, ненависть взаимная русских и малороссиян и причина оной. - Винский делает дурные знакомства, мотает, закладывает деревнишку в банк - через заклады делается орудием секретной полиции. Донос на Винского - крепость и казематы, но прежде поездка в Москву, к торжеству победы над турками и тамошние приключения... Допросы, суд. Взаимная злоба между Вяземским и Потемкиным спасает многих, из полков забранных. Портреты. "Легкий абрис Европы", право, мастерски написанный, особенно если подумаешь, что писатель был до ссылки своей в Оренбург едва ли и читатель! Политика Екатерины, учреждение наместничеств, совестных судов и проч.

Привилегия дворянству и городам - Потемкин и кн. Вяземский. "Нравы умягчаются, сердца распушаются; роскошь во младенчестве": все это живо и верно изображено; слог самоучки, выучившегося писать до Карамзина, но по французским образцам, из коих превозносит Вольтера, Руссо, Бюффона - и особенно Мерсье! Есть какая-то оригинальность, хотя и не всегда правильная. "Буйная жизнь" его в Малороссии и в Петербурге носит яркую печать века. - Мы должны дорожить этою верною картиною старого быта русского: кто иной передаст нам его, особенно в низшем или среднем слое общества, в коем жил, гнил и погибал Винский...

Сосланный, по лишении дворянства, в Оренбургскую губернию, Винский провел там большую часть жизни своей и кончил ее там же: тут началось его нравственное возрождение с молодой, милой женою, последовавшей за ним, вопреки всему, в ссылку. Винский начал заниматься языками, науками, учиться, чтобы быть учителем. Описание эпохи своего секретарства при винном распутном откупщике, учительства у губернаторов, помещичьей жизни в городках и в деревнях; обхождение дворян с крестьянами и с дворовыми... Чтение и книги: влияние на дворян... Биограф, кажется, довел свою рукопись до 19-го столетия, но главная жизнь в 18-м, она отражается и на Руси, и в Петербурге..."

Такая пространная цитата тут, думается, оправдана. Оправдана тем, что с этой-то рекомендацией Винский впервые явился перед читателями России. Что рекомендовал его не кто иной, а Тургенев Александр Иванович - мыслитель смелый, глубокий и человек судьбы незаурядной. Что, наконец, "Москвитянина" 1845 года отыскать совсем не просто...

Хотя теперь мы имеем внушительный том: А. И. Тургенев. "Хроника Русского. Дневники (1825-1826 гг.)". На 248-249 страницах этой книги полностью воспроизведена и та давняя публикация, которая помещена здесь с небольшими сокращениями, не коснувшимися главного.

В том же сорок пятом Тургенева не стало. А произведение Винского? Ничего худого с ним не случилось. Но понадобилось еще тридцать лет - точнее, тридцать два года, - чтобы его публикация состоялась. Доброе это дело осуществил издатель "Русского архива" неутомимый Петр Иванович Бартенева.

"Русский архив", посвященный историческому изучению нашего отечества, преимущественно в XVIII и XIX столетиях, - читаем на обложке первой книги годового комплекта, - издается в 1877 году на тех же основаниях, как и первые четырнадцать лет".

На пятнадцатом году существования журнала появились в нем "Записки Винского" (так значилось в самом начале), или "Мое время" (название над основным, авторским текстом).

От себя Бартенева предпослал публикации всего семь строк. "Счастливым случаем, - оповестил он, - доставил нам современную перебеленную рукопись этих "Записок", о существовании которых мы знали до сих пор лишь по нижеследующим строкам А. И. Тургенева ("Хроника Русского" в "Москвитянина", 1845, кн. 3). Винский, подобно Радищеву, изображает пороки великой государыни и темные стороны ее достославного царствования; но историк должен дорожить и этими отрицательными свидетельствами, которые, впрочем, у того и у другого вызваны житейскими неудачами и желчным мировоззрением, образовавшимся отчасти вследствие заблуждений и страстей молодости".

Подобно Радищеву... А его, Радищева, "Путешествие из Петербурга в Москву" всего за три с половиной года до того вновь оказалось на "плахе". Речь идет об издании, предпринятом П. А. Ефремовым и почти полностью уничтоженном в типографии нагрянувшей туда полицией.

Может, потому и счел Бартенев необходимыми оговорки о "житейских неудачах", "желчном мировоззрении" и "заблуждениях молодости" как у Радищева, так и у Винского. Для "отвода глаз"? "Смягчения" цензуры?..

Еще несколько строк издатель "Русского архива" приписал в конце:

"Тут кончается наша рукопись. Припомним рассказы о том же времени и частичк" о том же крае и тех же лицах в "Семейной хронике" и в "Детских годах" С.Т. Аксакова, который описывает и впечатление, произведенное в далеком углу России кончиною Екатерины. В семье Аксаковых плакали по ней, и ребенок слышал, что "государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, старалась, чтоб всем было хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов и что в ее царствование соседи нас не обижали и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились". Не так думал озлобленный несчастною судьбою Винский. Читателям "Р. архива" нечего пояснять, чей отзыв правдивее".

Между прочим, эти заявления Бартенева сразу же взял под сомнение - и решительно отверг - первый критик "Моего времени" в печатном его виде Александр Пыпин.

"...Издатель "Р. архива" сравнивает мнение Винского с мнениями Радищева и думает, что эти отрицательные свидетельства о веке Екатерины у того и у другого вызваны "житейскими неудачами и желчным мировоззрением, образовавшимся отчасти вследствие заблуждений и страстей молодости". Объяснение - слишком дешевое; Винский вовсе не был человек желчный... его записки... замечательно правдивы... мы видим много примеров его беспристрастия и не вправе приписывать ему побуждений какого-нибудь недоброжелательства и набрасывать тень на его показания. А. И. Тургенев лучше оценил записки Винского, чем их новейший издатель..."

Вся его, Пыпина, статья в июльской книге "Вестника Европы" того же, 1877 года, полемизирует с воспроизведенными ранее утверждениями Бартенева. Нет, заявляет он, "рассуждения Винского надо принимать вовсе не как следствие темперамента... а как обдуманное мнение - тем больше, что его отзывы вовсе не голословны". Винский, подчеркивает Пыпин, "спокойно признавая, что было благоприятного в тогдашнем положении России... тем не менее видит его недостатки..."/ И подкрепляет свои утверждения примерами неотразимой убедительности. Примерами из "Моего времени"...

Не обошел Пыпин и "послесловия" Бартенева - сопоставления записок Винского с произведениями С.Т. Аксакова. "Отзывы действительно разные, но издатель не подумал, что довольно странно ссылаться на детские воспоминания Аксакова в мнимое опровержение человека, проходившего главную пору своей жизни в эти времена и, надобно думать, понимавшего вещи несколько лучше, чем С.Т. Аксаков во времена своего ребячества... Винский и Аксаков не имеют ничего общего; это - люди разного времени, разного положения, разного писательского склада и разных мнений... Аксаков - до известной степени поэт, наклонный к идеализации старины; Винский - умный и именно правдивый рассказчик о действительной жизни".

В "Русском архиве" Винский появился не полностью. Это бросается в глаза уже при первом прочтении. Или, говоря точнее, при первом же сопоставлении прочитанного с изложением сути произведения, сделанным Тургеневым в "Москвитянине".

Тургенев Александр Иванович, говоря о "Моем времени", особо выделял в нем такое: "...Описывая законодательство Екатерины и именно Комиссию для проекта нового Уложения, под заглавием: "Русские Фоксы и Шериданы", Винский сообщает важный исторический факт: "Из всего происшедшего в сей Комиссии достопамятнейшим может почесться публичное прение князя Щербатова с депутатом Коробьиним, которое прекращено было без дальних

пустословии объявленную через Вяземского волею государыни. Рукопись императрицы, положенная в драгоценный ковчег, отдана для сохранения в Сенат, сочинение же законов под разными начальниками продолжается и по сей день...".

Естественно, что прочесть это место хотелось в полном виде. Но ни в журнале, ни в книге его не оказалось. Будто и не было...

Здесь не прочесть ни о Чарльзе Джеймсе Фоксе, ни о Ричарде Бронслее Шеридане - политических деятелях современной Винскому Великобритании, не найти ни упомянутого "исторического факта", ни других, которые автором приводились. Приводились, однако в печать не попали - их туда не пустили. Кто стал на пути? Воля царя. Цензура царя.

... "Первопечатнику" Винского Бартеневу принадлежала мысль о сходстве "Моего времени" с радищевским "Путешествием из Петербурга в Москву". Он, Бартенев, знал "Записки" в полном их виде. До читателей же - и нас с вами - они дошли урезанными...

Удастся ли отыскать тот полный протограф, который только и дать может истинное представление о труде этом?

Пыпин... В повествование о Винском он вошел твердо, решительно и без представления. Эту свою оплошность я попытаюсь исправить.

Александр Николаевич Пыпин родился в 1833-м, а умер в 1904-м. Жизнь его вместила в себя множество трудов и забот, причем самых разнообразных.

Он был двоюродным братом Н. Г. Чернышевского, и не только родственником, а и человеком к нему близким. Под прямым воздействием Николая Гавриловича прошли его детские и юношеские годы. По настоянию Чернышевского перешел из Казанского университета в Петербургский. Более десяти лет братья жили вместе, в одной квартире.

Когда старшего заключили в крепость, Пыпин смело ринулся на защиту: его письмо петербургскому генерал-губернатору Суворову - с разоблачением задуманного беззакония - шума наделало изрядного. Во время ссылки Чернышевского Александр Николаевич взял на себя воспитание его детей. Он сохранил архив выдающегося деятеля революционной демократии. Он умудрился обойти цензуру и выпустить, правда анонимно, значительнейшие труды, человека, само имя которого находилось под запретом.

Ну, а труды Пыпина - видного историка литературы и общественных движений - известны достаточно широко. Это капитальные тома "Истории русской литературы", "Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов", "Общественное движение в России при Александре I", "Белинский, его жизнь и переписка" и другие. Статьи в периодике, в сборниках даже счесть сложно.

Пыпин-то и стал тем критиком-публицистом, который первым отозвался на "Записки Винского" в "Русском архиве". Да как горячо, вдохновенно отозвался!..

Вот еще несколько фрагментов из его статьи в "Вестнике Европы" - богатой идеями, мыслями, раздумьями: "...Историческое сознание прошедшего есть одно из сильнейших орудий для воспитания общественной мысли, одно из лучших средств проверки самих себя и объяснения того, что происходит перед нами. Между тем, редко кому приходит в голову отдать себе отчет в положении нашего исторического знания...

...Последние лет пятнадцать особенно богаты поисками... особенно по тому времени, которое до сих пор было всего менее разработано, а в прежнее время было и вовсе недоступно для разработки - по XVIII и XIX веку... С шестидесятых годов явились, напр., в первый раз в печати: автобиография знаменитого ересиарха протопопа Аввакума - в высшей степени оригинальное произведение, любопытное и по содержанию, и по народно-старообрядческому стилю; записки священника Лукьянова о путешествии ко святым местам в начале прошлого века, - почти столько же замечательное, как образчик идей и языка, еще не тронутых реформой; далее, записки Неплюева, Лопухина, Лубяновского... Все эти произведения мемуарной литературы и теперь являются не без труда в печать; двадцать лет тому назад появление их

было совсем невозможно... В этих и подобных памятниках давней и недавней старины многие черты нашей исторической жизни являлись перед нами в первый раз не в форме одного темного слуха и предания, а в форме живого факта...

...Многие из этих записок, если не все, имеют тем большую важность, что они не были прикрашены для литературных целей, а потому дают возможность видеть старую жизнь как она была, без официальной призмы. К числу таких характерных записок принадлежит и автобиография Винского, изданная в первых книжках "Русского архива" нынешнего года.

...Когда случается, как в примере Винского, узнавать подобных людей только в их "посмертных" произведениях, является невольное сожаление, что эти люди не имели в свое время возможности сказать современникам то, что они говорят потомству: поль-

136

за, которую они могли принести, исчезла для и времени, и их произведения являются только как защита их мнений, в свое время мало разделяем! лично небезопасных. История оказывает им тольж защиту.

Имя Винского, сколько известно до сих пор, не в <sup>"^</sup> в местной хронике края, где он жил; но, судя по его собственному рассказу, его деятельность не прошла бесплодно. Среди своего учительства он много читал и, наконец, принялся за литературную работу; он делал переводы из иностранных писателей, из той морализирующей беллетристики, которая была тогда особенно в ходу, и, при слабом распространении книг, его переводы расходились в рукописях не только в околотке, но и далеко за его пределами... На его личном примере мы видим пути, которыми в отдаленнейших закоулках находили отголосок и сочувствие гуманные идеи XVIII века и шел внутренний процесс нашей образованности, обыкновенно столь неуловимый для наблюдателя и поражающий иногда неожиданными фактами.

..."Записки Винского" производят... впечатление, какого вообще не производят наши старые писатели: он так близок к нашим понятиям, что, читая его, не нужно никакого усилия переноситься в старое время, становиться на "историческую точку зрения". Он судит просто и здраво и угадывает суждения позднейшей истории..."

"А. П." - Александр Пыпин - посвятил анализу "Записок Винского" в их первой, журнальной, публикации двадцать пять (!) страниц июльской книги "Вестник Европы". Он назвал свою статью просто: "Рассказы из екатерининского века". Уже в самом названии звучит оценка: это не выдуманное, не сочиненное, рассказы не просто о веке, но именно из самого этого века. Следуя за автором, Пыпин выделяет, подчеркивает главное - то, что поднимало остававшийся в рукописи безвестный труд до уровня явления: литературного и общественно-политического.

Читаешь Пыпина, а думаешь о... Чернышевском. Разве не так сказал бы о "Записках" он? Однако до Чернышевского в его сибирском далеке "Русский архив" мог и не дойти. Во всяком случае, так скоро...

Тургенев А. М. - Тургенев А. И. - Бартенев П. И. ... Но между вторым и третьим - пробел (в истории "Записок Винского") протяженностью в три с лишним десятилетия! Как его восполнить?

Ну, а труды Пыпина - видного историка литературы и общественных движений - известны достаточно широко. Это капитальные тома "Истории русской литературы", "Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов", "Общественное

движение в России при Александре I", "Белинский, его жизнь и переписка" и другие. Статьи в периодике, в сборниках даже счесть сложно.

Пыпин-то и стал тем критиком-публицистом, который первым отозвался на "Записки Винского" в "Русском архиве". Да как горячо, вдохновенно отозвался!..

Вот еще несколько фрагментов из его статьи в "Вестнике Европы" - богатой идеями, мыслями, раздумьями: "...Историческое сознание прошедшего есть одно из сильнейших орудий для воспитания общественной мысли, одно из лучших средств проверки самих себя и объяснения того, что происходит перед нами. Между тем, редко кому приходит в голову отдать себе отчет в положении нашего исторического знания...

...Последние лет пятнадцать особенно богаты поисками... особенно по тому времени, которое до сих пор было всего менее разработано, а в прежнее время было и вовсе недоступно для разработки - по XVIII и XIX веку... С шестидесятых годов явились, напр., в первый раз в печати: автобиография знаменитого ересиарха протопопа Аввакума - в высшей степени оригинальное произведение, любопытное и по содержанию, и по народно-старообрядческому стилю; записки священника Лукьянова о путешествии ко святым местам в начале прошлого века, - почти столько же замечательное, как образчик идей и языка, еще не тронутых реформой; далее, записки Неплюева, Лопухина, Лубя-новского... Все эти произведения мемуарной литературы и теперь являются не без труда в печать; двадцать лет тому назад появление их было совсем невозможно... В этих и подобных памятниках давней и недавней старины многие черты нашей исторической жизни являлись перед нами в первый раз не в форме одного темного слуха и предания, а в форме живого факта...

...Многие из этих записок, если не все, имеют тем большую важность, что они не были прикрашены для литературных целей, а потому дают возможность видеть старую жизнь как она была, без официальной призмы. К числу таких характерных записок принадлежит и автобиография Винского, изданная в первых книжках "Русского архива" нынешнего года.

...Когда случается, как в примере Винского, узнавать подобных людей только в их "посмертных" произведениях, является невольное сожаление, что эти люди не имели в свое время возможности сказать современникам то, что они говорят потомству: поль-

136

за, которую они могли принести, исчезла для их собственного времени, и их произведения являются только как историческая защита их мнений, в свое время мало разделяемых и для них лично небезопасных. История оказывает им только запоздалую защиту.

Имя Винского, сколько известно до сих пор, не встречалось в местной хронике края, где он жил; но, судя по его собственному рассказу, его деятельность не прошла бесплодно. Среди своего учительства он много читал и, наконец, принялся за литературную работу; он делал переводы из иностранных писателей, из той морализирующей беллетристики, которая была тогда особенно в ходу, и, при слабом распространении книг, его переводы расходились в рукописях не только в околотке, но и далеко за его пределами... На его личном примере мы видим пути, которыми в отдаленнейших закоулках находили отголосок и сочувствие гуманные идеи XVIII века и шел внутренний процесс нашей образованности, обыкновенно столь неуловимый для наблюдателя и поражающий иногда неожиданными фактами.

..."Записки Винского" производят... впечатление, какого вообще не производят наши старые писатели: он так близок к нашим понятиям, что, читая его, не нужно никакого усилия переноситься в старое время, становиться на "историческую точку зрения". Он судит просто и здраво и угадывает суждения позднейшей истории..."

"А. И." - Александр Пыпин - посвятил анализу "Записок Винского" в их первой, журнальной, публикации двадцать пять (!) страниц июльской книги "Вестник Европы". Он назвал свою статью просто: "Рассказы из екатерининского века". Уже в самом названии звучит

оценка: это не выдуманное, не сочиненное, рассказы не просто о веке, но именно из самого этого века. Следуя за автором, Пыпин выделяет, подчеркивает главное - то, что поднимало оставшийся в рукописи безвестный труд до уровня явления: литературного и общественно-политического.

Читаешь Пыпина, а думаешь о... Чернышевском. Разве не так сказал бы о "Записках" он? Однако до Чернышевского в его сибирском далеке "Русский архив" мог и не дойти. Во всяком случае, так скоро...

Тургенев А. М. - Тургенев А. И. - Бартенев П. И. ... Но между вторым и третьим - пробел (в истории "Записок Винского") протяженностью в три с лишним десятилетия! Как его восполнить?

...Спасибо Пыпину: когда-то задумался он и над этим. А задумавшись, не преминул спросить Бартенева (тогда это еще было возможно).

И вот: "Эти Записки, по словам издателя "Архива", достались ему после покойного А. Н. Афанасьева (у Афанасьева было вообще большое собрание любопытнейшего исторического материала в рукописях - к великому сожалению, оно отчасти погибло); откуда они попали к Афанасьеву, неизвестно..."

Конечно, представлять процесс "попадания" как простейший ("Тургенев передает Афанасьеву") не приходится. Тургенев умер в 1845-м, Афанасьеву тогда едва исполнилось девятнадцать, и, только-только закончив Воронежскую гимназию, поступил он на юридический факультет Московского университета. Александра Ивановича, в последний раз вернувшегося в Москву в конце августа рокового для него года, юноша мог в лучшем случае лишь ненароком увидеть. Но что из этого предположения вытекает? Ровным счетом - ничего.

Обладателем "большого собрания любопытнейшего исторического материала в рукописях" Афанасьев стал много позже. Да и Афанасьевым вообще...

Речь идет о популярнейшем издательстве памятников народного творчества, в первую очередь русских сказок, а кроме того, еще и теоретике фольклора, истории литературы, истории вообще.

В истории русской литературы его всего более привлекал XVIII век. Связи Александра Николаевича были поистине необозримыми, и прежде всего в среде прогрессивной интеллигенции своего времени. Еще в университете определились демократические убеждения Афанасьева; верным им он оставался несмотря на гонения и санкции. Уже в 1862 году его лишили службы в Главном архиве иностранных дел. Одного только посещения Афанасьева эмигрантом В. И. Кельсиевым было достаточно, чтобы подвергся он обыску, а затем и запрету когда-либо состоять на государственной службе. Обрушились на него материальные лишения, вынужден он был распродать даже свою библиотеку. Умер Афанасьев в 1871 году от скоротечной чахотки, и смерть его прошла мимо основной части прессы - в глазах властей он оставался личностью "подозрительной и одиозной". До конца своих дней был этот человек верен убеждениям и делу своей жизни.

...Значит, есть в "биографии" "Записок" Винского еще одно имя - А. Н. Афанасьев. Мы не знаем (и, наверное, не узнаем никогда), от кого получил их "сказочник" Афанасьев, но именно от него, после его безвременной смерти на сорок шестом году, обрело "Мое время" (уже в "современной перебеленной рукописи") нового владельца и первого издателя. Им стал, как мы уже знаем, Петр Иванович Бартенев (1829 - 1912) - археограф, библиограф, издатель великого множества ценнейших - нет, поистине бесценных! - документальных материалов XVIII и XIX веков.

Его благодарно вспоминают пушкинисты. С ним спорят, и не без оснований спорят; но добрым словом поминает его каждый добросовестный исследователь. Кто знает, дошел бы когда-нибудь до читателя труд Григория Винского, не будь на свете Петра Бартенева?..



Ну а первой книжной публикацией "Моего времени" обязаны мы все Щеголеву. Первым, и пока единственным, воспроизведением "Записок" Винского отдельным изданием... Оно состоялось через три с половиной десятилетия после журнального - в 1914 году, в "Библиотеке мемуаров" петербургского издательства "Огни". "Редакция П. Е. Щеголева" - так значится на титульном листе.

Павел Елисеевич Щеголев (1877-1931) среди историков революционного движения и историков литературы занимает свое, особое место.

Учился он на факультете восточных языков Петербургского университета, однако полного курса не закончил - был исключен за участие в студенческом общественном движении. Активную пропагандистскую работу вел юноша на Путиловском заводе, и за это его выслали в Полтаву, а затем в Вологду. В ссылке началась систематическая научно-исследовательская и литературная деятельность Щеголева в области истории литературы и истории вообще. В 1905 году была опубликована его работа "Первый декабрист Владимир Раевский". В том же году увидели свет написанные им на основе архивных материалов книга "Грибоедов и декабристы", а также исследование "Дуэль Пушкина с Дантесом", ставшее началом будущего капитального труда о гениальном поэте. Период революции 1905-1907 годов отмечен Щеголевым публикацией вместе с Н. П. Павловым-Сильванским "Путешествия из Петербурга в Москву" А. Н. Радищева и "Русской Правды" П.И.Пестеля.

В начале 1906 года вышел первый номер созданного Павлом Елисеевичем историко-революционного журнала "Былое", ставшего центром всей работы по собиранию и публикации материалов глубоко прогрессивного звучания. В ноябре 1907 года журнал был закрыт, а Щеголев выслан из Петербурга. В 1909-м его приговорили к трем годам тюремного заключения. Находясь в тюрьме, ученый-революционер написал работу "Из разысканий в области биографии и текста Пушкина". Два года спустя по ходатайству Академии наук его освободили. Он стал сотрудничать в журнале "Современник", в газете "День", редактировать "Библиотеку мемуаров". В этой "Библиотеке" и была им выпущена книга Г. С. Винского.

В последующие годы активная деятельность П. Е. Щеголева продолжалась. В 1916-1917 гг. двумя изданиями вышел многолетний труд "Дуэль и смерть Пушкина". После Февральской революции 1917 года именно Щеголеву поручили разбор материалов Департамента полиции. Он редактировал издание свода документов "Падение царского режима", семь томов этого труда вышли в свет в 1924-1927 годах. При деятельнейшем участии Щеголева в 1930-1931 годах было выпущено первое советское Полное собрание сочинений А. С. Пушкина.

Таков он, человек, первым издавший книгу "Мое время". Щеголев повторил публикацию "Русского архива". Но, как и любое другое щеголевское издание, это также несло в себе печать его творчества.

..."Библиотека мемуаров" петербургского издательства "Огни" начала свою жизнь в 1914-м. "Серия первая" включала, по замыслу Щеголева, шесть книг.

Это:

- "Записки Н. В. Басаргина",
- "Записки братьев Бестужевых",
- "Записки Г. С. Винского",
- "Записки несчастного (В. П. Колесникова)",
- "Записки гр. Е. Ф. Кемеровского",
- "Записки Я. И. де Санглена".

Два тома декабристских, и сразу же, вслед им, - Винский... Нелегкую взвалил он на себя ношу, но "легкие" дела не привлекали его никогда. Труд Винского, личность Винского Щеголев оценил без всяких колебаний.

В очень коротком издательском предисловии к этой книге мы читаем: "Записки Григория Степановича Винского являются одним из самых любопытных и замечательных

памятников русской мемуарной литературы. В них нет рассказов о великих людях и великих подвигах, их автор не играл сколько-нибудь выдающейся роли в современной ему жизни, не занимал видных мест; и тем не менее не какие-либо иные записки, а именно Винского, дают читателю живое ощущение русской жизни Екатерининской эпохи. Записки Винского сохранили и донесли до нас со всею тонкостью аромат бытовой жизни того времени. Читая рассказы Винского, чувствуешь непосредственное касание давно исчезнувшей эпохи.

Такое впечатление записки Винского производят не потому, чтобы в них были закреплены в изобилии подробности бытовой жизни. У Винского есть, конечно, картины быта, притом написанные замечательно ярко и сочно, но дело, пожалуй, не в них. Винскому удается то, что авторам мемуаров удается сравнительно редко: показать, как чувствовалось в его время. Обычно пишущие мемуары показывают только, как жилось. Такого результата достигает Винский отчасти потому, что подходит к предмету своего повествования без всяких предвзятостей, совершенно просто и непосредственно, а отчасти потому, что в нем, несомненно, есть художественная жилка. Он пишет со всеми особенностями господствовавшей тогда литературной манеры (сравн. Радищева), но за этой манерой чувствуется не подражатель, а создатель. "Записки" Винского ближе всего напоминают один литературный род - роман приключений и читаются с таким же неослабевающим интересом, как хороший, добрый роман XVI века, например, Смоллетта; только приключения Винского не были выдуманы, а совершались в самой настоящей действительности".

На нескольких последующих печатных страницах - основные сведения о посмертной судьбе "Моего времени". От высказывания Александра Ивановича Тургенева ("характеристика, набросанная А. И. Тургеневым, сохраняет все значение и до сих пор и потому воспроизводится здесь без сокращений") до публикаций в "Русском архиве" самих "Записок" и дополнительных сведений о них и их авторе, а также статьи-отклика А. Н. Пыпина в "Вестнике Европы".

П. Е. Щеголев счел нужным поместить в той же книге, только в приложении, написанный мемуаристом "Проект о усилении российской с Верхнею Азиею торговли через Хиву и Бухарию"; проект был воспроизведен им по тексту, опубликованному в шестой книге "Русского архива" 1878 года. Эту работу редактор-издатель назвал "...небезынтересной для его (Винского) характеристики".

Издание в "Библиотеке мемуаров" осталось первым и доньше единственным "полным собранием сочинений" Григория Степановича Винского.

Может ли оно быть полнее? А почему бы и нет!

Тургенев читал "Мое время" в рукописи. Подлинной? В пользу такого предположения говорит многое. Неужто не сохранилась, исчезла безвозвратно?

Бартенев имел в своем распоряжении "современную перебеленную рукопись" - точнее, список, копию, доставшуюся ему после Афанасьева. (Разницу между автографом и копией он-то знал...)

След "тургеневского" экземпляра затерялся, исчез. Его, по сути дела, и не искали, довольствуясь тем, что "Записки" Винского увидели, наконец, свет.

Со временем перешла в разряд "неизвестных" и "современная перебеленная". Где она сейчас? Бартенев с реликвиями не расставался, хранил их бережно, как самое дорогое. Так ли хорошо искали мы "Винского" в бартеневском фонде 46 ЦГАЛИ, в коллекциях воспоминаний и дневников столичных наших архивохранилищ?

Найти рукопись - значит восстановить то, что вымарала цензура, что оказалось утраченным на многотрудном пути "Записок" к читателю. Впрочем, для этого есть дополнительная (реальная!) возможность: окунуться в фонды Цензурного комитета, его переписку соответствующего года и...

Но загадывать не станем - бывает всякое. "Еще одна рукопись "Записок" находится в библиотеке Университета, св. Владимира (указание у В. С. Иконникова - "Опыт русской

историографии", т. 1, ч. 1, с. 945). Эта рукопись осталась недоступной для нашего издания..." Такое сообщение сделал в своем предисловии Щеголев. Новая загадка! "Хороший экземпляр с дополнением из записок Массони", о котором в 1892 году упомянул профессор истории Киевского университета Владимир Степанович Иконников (1841, 1923), мог быть еще одним списком с оригинала Винского, а мог и самим автографом. Да еще с приложением "из записок Массони", которые, возможно, представят и Винского-переводчика... В Киеве - двух его крупнейших хранилищах - фонд Иконникова насчитывает свыше 6000 (!) дел. Отдел рукописей Центральной научной библиотеки Академии наук Украины громаден и удивителен. Друзья-киевляне, поищем?

Надо поискать и "бумаги Велички" - Александра Павловича Величко. Через несколько месяцев после публикации в "Русском архиве" "Записок" Винского Бартнев поместил на страницах журнала заметку "К жизнеописанию Г. С. Винского", в которой, между прочим, сообщал, что в бумагах Величко сохранились два литературных труда или перевода, принадлежавших Винскому: "Оратор Французских генеральных штатов в 1789 году" и "Драма в 3 действиях о спасении епископом Иоанном Гепнюером реформатов, вблизи Парижа, в городе Лизье, 27 августа 1572 года". И снова мне видится богатейший бартневский фонд в Центральном государственном архиве литературы и искусства. "Бумаги Велички" могли перейти к нему, Бартневу, - он познакомился с ними тогда, когда владельца в живых уже не было и, как мы убедились, оценил безошибочно. Не дать им ладу такой знаток не мог.

(Особенно дорожил Бартнев всем, что касалось XVIII века. Он ему даже... снился! Петр Иванович как-то рассказывал Валерию Брюсову, тогда еще совсем молодому, что однажды ему приснился сон: вызвала его всемогущая, державнейшая Екатерина II и, грозя пальцем, спросила: "И откуда ты это мог узнать?!" Сон, что говорить, не без глубинной подоплеки...)

Да и в Оренбургском архиве отыскаться может материал не только о Винском и его времени, а и самого Винского - бумаги деловые, бумаги личные...

Сомневаться не приходится - "собрание сочинений Винского" должно быть гораздо полнее. И предстанет тогда этот человек перед всеми явлением - верится - первого порядка.

Поиск следовало продолжать. "Неизвестным", то бишь забытым, оставлять Винского было негоже.

Шаг первый - или пролог - был сделан в Оренбурге. Тут я живу, тут работаю уже более полувека. Но это оказалось только началом, истоком поиска. Чем дальше, тем больше овладевало мною понимание: искать нужно широким фронтом, искать по всей стране.

## I. ТВОРЧЕСТВО

### ШАГ ВТОРОЙ: ПО СЛЕДАМ АРЕСТОВАННЫХ СТРАНИЦ, или ПОИСК В МОСКВЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ В ЛЕНИНГРАДЕ

*...Цел ли и невредим вышел Винский  
из пут цензуры или таким же, как  
из петербургских казематов, - не знаю...  
Из письма читателя "Русского архива"  
Цензурные ищейки... озлились  
продажным усердием...*

П. И. Бартнев - П. А. Вяземскому

Поиск вступал в новую полосу. Он должен был стать всеохватным. Однако куда нацелить искательские щупы раньше? Какой архивный центр, какой фонд таит в себе успех,

удачу? Ближе других архив в Оренбурге. Но и дальше других он, пожалуй, от того, что хотелось мне отыскать всего более. От самого главного и первостепенного...

Думалось прежде всего о полном тексте "Моего времени" - том (или таком), который вызвал восхищение А. И. Тургенева, а П. И. Бартечева заставил вспомнить радищевское "Путешествие из Петербурга в Москву". Где он, этот автограф или список, таится?

Никаких "адресов" ни у Тургенева, ни у Афанасьева, ни у Бартечева на сей счет нет. А все-таки Бартечев вспоминался всего больше. Это и предрешило направление второго шага.

В удивительной по своим богатствам столичной сокровищнице - Государственном архиве литературы и искусства (сокращенно - РГАЛИ) - одним из самых обширных является фонд 46 - Петра Ивановича Бартечева.

Фонд и огромен, и разнообразен. В нем рукописи - его собственные и ему присланные. Разысканные и добытые автографы: Павла I и императрицы Марии Федоровны, Суворова, Нахимова, Пестеля, исторических личностей, писателей. Грамоты, рескрипты, донесения, рапорты. Тысяча с лишним рукописей и документов в одной только бартечевской "коллекции"! А переписка? Свои письма он не копировал - не видел в этом надобности; потом удалось собрать немного, адресованное в основном жене, детям да еще некоторым из друзей. Зато писем, полученных им, - количество несметное. От двух тысяч корреспондентов! Бартечев сам переплел их в пятьдесят девять томов, и какие имена под этими обложками... Братья Аксаковы, Брюсов, И. С. и Н. И. Тургеневы, Фет, Евгений Якушкин...

Со многими он переписывался годами. Например, с Петром Андреевичем Вяземским - поэтом и критиком, другом Пушкина. 211 его писем накопилось за пятнадцать лет. В одном из последних - мартовском 1877-го - речь шла и о Винском. Вяземский прочел "Мое время" в первой книге "Русского архива" и тотчас откликнулся: "Записки Винского очень любопытны... Ожидаю продолжения". Но и сам он чувствовал, и другие корреспонденты информировали: Бартечеву совсем не просто такое печатать, цензура жмет всю, вытравляя из рукописи наиболее острое. 13 марта 1877 года в письме к Вяземскому это подтвердил и сам издатель: "В исходе января арестована была вторая тетрадь за Винского. То, что всегда прежде благополучно проходило, на этот раз подвергнулось задержанию. Цензурные ищйки, чуя, что пришло их время и можно заслужить награду, озлились продажным усердием. Три недели сряду мне не отвечали из Петербурга ни на письма, ни на телеграммы, и наконец, уже под исход февраля, объявили мне, что если я не соглашусь из 12 страниц Винского уничтожить 8, то тетрадь вся будет уничтожена полицейской властью".

Вяземский - из Германии, где лечился, - взмолился: прислать, если можно, "хотя бы в рукописи", запрещенное, вымаранное цензурой. Давний пушкинский приятель, уже восьмидесятилетний, век свой доживающий (он умер в 1878-м), понимает: за страницами журнала остается весьма и весьма важное. Он жаждет это "важное" прочесть и просит о такой возможности как о величайшем одолжении...

Откликов на "Записки" Винского в "Русский архив" приходило много. И от именитых, и от безвестных. Те и другие Бартечев хранил, теми и другими дорожил.

"Позвольте мне, уважаемый Петр Иванович, как постоянному читателю, выразить Вам мою глубокую и искреннюю признательность за доставление полного удовольствия интересными мемуарами Винского. Откуда черпаете Вы такие прелести? Тургенев совершенно прав, говоря, что они были бы находкой для Гоголя. Откровенно говоря, я не предполагал, чтобы в его время русские люди умели так хорошо писать..."

Это из письма Н. Барышникова; жил тот в Орле, сам собирал "нечто из давно минувшего".

"Мой земляк - ваш Винский - прелесть. Какие несправедливости длились и при великой Екатерине!.. Цел ли и невредим вышел Винский из пут цензуры или таким же, каким из петербургских казематов - не знаю. В сию минуту читал № 2, только что полученный..."

А это выдержка из письма варшавского украинца Н. Ханенко.

Письма в редакцию "Русского архива" начали приходить уже после появления первой части. И все они несли в себе восхищение. Для каждого Винский был откровением, открытием и загадкой.

За "Русским архивом" следил Лев Толстой. В яснополянской его библиотеке - комплекты журнала за пятнадцать лет.

Год 1877-й, выпуски первый и второй: "Мое время" Винского. Следы чтения: загнут уголок... отчеркнута строка...

В том же "бартеневском" фонде РГАЛИ многое касается взаимоотношений "Русского архива" с цензурой. О, журнальные страницы она не щадила! Беспощадно истреблялись материалы о вступлении на престол Екатерины II, вытравлялись нелестные эпитеты в адрес императоров и императриц России, искоренялись любые попытки критики государственного аппарата прошлых времен. Хорошо осведомленный в цензурных требованиях, Бартенева загодя смягчал наиболее острые места, но не спасало даже это.

Молодой историк-архивист А. Д. Зайцев составил целый перечень статей и публикаций журнала, обративших на себя внимание цензуры и подвергшихся ее санкциям. Тут и "воспоминание о Пушкине" М. П. Погодина, и "Письмо графа И. де Местра к князю Козловскому", и "Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях" Н. М. Карамзина, и "Записки Н. В. Берга о польских заговорах и восстаниях" - всего до полусотни названий; одни были исключены полностью, другие оставлены после серьезной правки.

Первая часть "Записок" Винского претензий цензуры не вызвала. В производство была запущена вторая. Вот тут-то цензор и распорядился: печатание журнала прекратить, пока издатель не снимет места "противозаконные".

Бартенева это встревожило. Он забил тревогу. Просьбу разузнать получил близкий к Цензурному комитету Яков Карлович Грот - видный филолог России. Одно за другим ушли к нему два письма.

6 февраля 1877 года Грот сообщил, что причиной задержки журнала являются исключительно "Записки" Винского, и от него, Бартенева, потребуется, вероятно, "только" вырезка нескольких страниц (!), посвященных Екатерине II.

"Ф. П. Е. сам затрудняется писать", - добавлял он, имея в виду члена Совета Главного управления по делам печати Федора Павловича Еленева, на которого, по всему судя, возлагал надежды. Для "успокоения" Бартенева Грот приписал: "Не смущайтесь. У Семева редкий № обходится без таких задержек..."

Успокоение было слабым. Требования оказались слишком серьезными, и решить вопрос без проволочек не удалось.

А. Д. Зайцев отметил, что подвергнутый аресту номер вышел в свет "с небольшими изменениями". Небольшими? Из чего это явствует? Наборного экземпляра в фонде 46 обнаружить не удалось.

Нет ли его, или хотя бы того, что цензура вымарала, в фонде канцелярии Цензурного комитета? Он, этот фонд, не в РГАЛИ, а в РГИА. РГИА же - Ростовский государственный исторический архив - как известно, не в Москве, а в Ленинграде.

Значит, теперь дороги ведут туда...

Дело канцелярии Главного управления по делам печати "По изданию в Москве журнала "Русский архив" оказалось достаточно внушительным. Пролистав переписку по статье "Князь Александр Данилович Ментиков" (недозволенным в ней оказалось многое), я погрузился в телеграммы, письма, предписания относительно "Моего времени". Читал с понятным каждому интересом.

Из Москвы. Телеграмма № 97907.

19 января 1877.

Адресат - Министр внутренних дел.

Московский цензурный комитет признал статью Винского 2 Русского архива крайне оскорбительной для памяти Екатерины II вредной и подлежащей аресту... За председательствующего Рахманинов.

Москва. Генерал-губернатору.

Прошу остановить выпуск в свет второй книги журнала "Русский архив". Министр внутренних дел генерал-адъютант Тимашев.

Телеграммы коротки. Такими телеграммам и надлежит быть. Сообщение... распоряжение... в общем, один-единственный факт. Факт мне известен. Ищу не его - расшифровки. Того, что у Винского никто, кроме Тургенева, Бартенева и немногих еще, не читал.

Вот этот документ, пожалуй, может дать больше, а возможно, и на след навести!

Донесение Московского цензурного комитета - начальнику Главного управления по делам печати:

В № 2-м "Русского архива" за 1877-й год напечатано продолжение "Записок Винского", начало коих помещено в № 1-м того же издания. Здесь автор описывает заключение и пребывание его в Петропавловской крепости, в рavelине св. Иоанна, знакомство с заключенными, между прочим с Брецинским, который судился за оклеветание государыни-императрицы Екатерины II (стран. 161), и объявление приговора в Сенате самому Винскому, оговоренному в намерении взять обманным образом деньги из закладного банка. Оговор, по объяснению автора, был несправедлив, а между тем он, по всемилостивейше подтвержденному докладу Правительства Сената, приговорен к лишению чинов и дворянства и к ссылке в Оренбург на вечное житье (стран. 163). По случаю этого приговора Винский обрушивается всею силою своего негодования на несправедливое Государыни, отрицает личные высокие ее качества (стран. 165), резко осуждает ее распоряжения по отобранию имений у монастырей, которые, в нарушение своего слова, раздавала своим любимцам, доказывает, что она была очень обрадована убийством принца Иоанна Антоновича, называет созывание депутатов для составления Уложения кукольною игрою, выставляет раздел Польши как грабеж и насилие (стран. 166), на вывезенную из Италии графом Орловым дочь Елизаветы Петровны, так называемую княжну Тараканову, смотри, как на напрасную жертву честолюбия Екатерины II, а на саму Государыню, как на чужеземку, хищнически захватившую престол у императрицы Елизаветы (стран. 168 и 169), и вообще, все действия Екатерины II и ее приближенных изображает в самых кровавых красках, находя в них отсутствие человеческого достоинства, нравственности, справедливости и религии (стр. 172).

По рассмотрении означенных мест на 161-172 страницах "Русского архива" Московский цензурный комитет нашел, что они заключают в себе не одну дозволенную цензурными правилами критику правительственных распоряжений императрицы Екатерины II, но и резкое и язвительное глумление над ними, равно как и над личными качествами самой Государыни, - глумление, которое дает отзывам о ней Винского характер пасквиля. Посему, находя статью вредною, Московский цензурный комитет признал необходимым применить к ней действие статьи 1-й Высочайше утвержденного 7-го июня 1872 года именения Государственного Совета, о чем доложено телеграммою от 19-го сего января Его высокопревосходительству Министру внутренних дел.

О таком распоряжении, с представлением 2-го нумера "Русского архива", Московский цензурный комитет имеет честь донести Вашему превосходительству и присовокупить, что срок выпуска означенного нумера из типографии наступит 22-го сего января в двенадцать часов дня.

За председательствующего Ф. Рахманинов

За секретаря П. Протопопов.

Представленного "второго номера" в деле, увы, не оказалось. И все-таки...

Все-таки это официальное донесение было второй, после тургеневской, более или менее подробной характеристикой неурезанного текста "Моего времени".

Цензоры старательно детализировали суть "крамольных" взглядов Винского, содержащихся в тех разделах "Записок", которые некогда вызвали особый интерес у А. И. Тургенева, были самыми смелыми, самыми острыми во всем произведении и потому сейчас подлежали беспощадной расправе.

Бегло, пунктирно, но вполне определенно чиновники Московского цензурного комитета подчеркивали резчайшую критику мемуаристом нравов Екатерины и екатерининского времени, произвола и аморализма российской монархии, несправедливости ее политики.

Из донесения становилась ясной даже сама структура - структура и логика! - "непозволительных" мест труда, подлежавших изъятию и уничтожению. Ссылки на журнальные страницы восстанавливали последовательность авторского изложения: тут Винский "всею силою своего негодования" обрушивается на "личные качества" императрицы, тут называет "кукольную игру" составление Уложения, тут высказывает свое - противоположное принятому - мнение о разделе Польши, о княжне Таракановой и снова ("в самых кровавых красках!") о самой Екатерине II.

Эх, отыскался бы тот, первоначальный "второй номер"! Но нет, найти эти страницы в фонде 776 РГИА мне не удалось. Колоссальный фонд цензурного ведомства будто поглотил их, во всяком случае, от меня утаил.

Впрочем, скажу по совести, если бы и нашел я страницы, казенные цензурой, желание (и необходимость) искать автограф (или список) произведения Григория Винского пройти не могло.

Тем не менее, конечно, огорчился. И, огорченный, стал дочитывать дело № 156 до конца.

22 января в двенадцать часов дня февральская книга "Русского архива" из типографии... не вышла. Две телеграммы одного дня (26 января):

Покорнейше прошу распорядиться о выпуске в свет второй книги "Русского архива".  
Петр Бартев.

Вторая книга "Русского архива" заарестована в типографии Лебедева в количестве 2000 экземпляров. Генерал-адъютант князь Долгоруков.

Строки из акта:

Как прибыл 21-го в типографию, как удостоверил, что номер отпечатан и набор разобран, я опечатал эти издания (в неброшюрованных листах, в десяти пачках), которые оставил на хранение в типографии. При сем был содержатель типографии Павел Лебедев...

Пришел февраль (4. II):

...Книжка может быть выпущена в свет с исключением из статьи Винского предосудительных мест... Я разделяю мнение г. Еленева, что за означенным исключением книжка представляется безвредною, о чем и представляю на Ваше благоусмотрение... В. В. Григорьев.

Из Петербурга в Москву (5. II):

Господин Министр внутренних дел по докладу моему признал возможным допустить выпуск в свет прилагаемой при сем 2-й книжки "Русского архива" с тем лишь, чтобы из него были исключены места на стр. 161-172 включительно, отмеченные синим карандашом. Вследствие сего имею честь покоряюще просить Ваше превосходительство предложить издателю г. Бартевеву сделать указанные исключения и если он согласится, то немедленно, по получении от Вас об этом сведении, будет сделано распоряжение о допущении исправления арестованных экземпляров издания. В противном же случае г. Министр внутренних дел... внесет

представление... для уничтожения всех арестованных экземпляров 2-й книги в полном ее составе...

Из Москвы в Петербург (12.11):

Распоряжение..., изложенное в письме Вашего превосходительства ко мне..., я вчера вечером словесно передал г. Бартеневу, и он беспрекословно изъявил согласие на исключение указанных мест, покорнейше прося об ускорении по сему случаю распоряжения для своевременного выпуска в свет второго номера его журнала...

И еще один акт - последний:

...1877 года, февраля 22 дня мы, нижеподписавшиеся, прибыв в типографию г. Лебедева и удостоверяем, что некоторые места на стр. 161-172 второй книги журнала "Русский архив" исключены из всех 2000 экземпляров и что означенные страницы заменены во всех экземплярах... вновь печатанными листами постановили: вырезки, опечатав в 2-х отдельных пачках, оставить на хранение в типографии г. Лебедева, а самую книгу "Русского архива", как сполна исправленную согласно указаниям Цензурного комитета, разрешить типографии выпустить в свет...

Кутерьма продолжалась более месяца - "Для своевременного выпуска в свет..." Нелепее для этого случая формулы и не придумаешь! Меж тем гонения на журнал не утихали. Третий номер держали под арестом, пока Бартенев не исключил из него "Русские письма" Ю. Ф. Самарина ("за тенденциозное описание отношений русского правительства к остзейскому крестьянству"). В четвертом номере придрались к высказываниям о Екатерине II в "Записках графа Александра Ивановича Рибопьера"; книжка вышла с многоточиями в ряде мест текста. "Мучительное мое положение, в котором нахожусь с 20 января (арест "Записок" Винского! - Л. Б.), еще не миновало, - жаловался Бартенев в письме к П. А. Вяземскому. - ...Согласитесь, можно ли после этого заниматься своим делом..."

Но был он человеком долга и в своем деле истинным подвижником. Только много лет спустя, в 1895-м, Петр Иванович в аналогичной ситуации "сорвался" и, по донесению Московского цензурного комитета, "начал поносить самыми оскорбительными словами цензуру".

Протографа "Моего времени" в "бартеневском" фонде обнаружить не удалось. Обрадовался было, натолкнувшись на дело под названием "Корректирующие гранки разных произведений с правкой П. И. Бартенева", но из Винского ничего не оказалось и там (хотя могло оказаться, так как группировались здесь главным образом гранки с пометами "Цензура. Запрещенное").

Сейчас вот, с изрядным опозданием, я подумал, что могли сохраниться и "пойти в оборот" некоторые первоначальные экземпляры второй книги 1877 года с текстом, которого не коснулась цензура. Так случилось несколько лет спустя с "Русским архивом" № 2 за 1882 год, арестованным за "недозволенные" высказывания в "Записках неизвестного", посвященных восстанию декабристов. По "техническим причинам" купюры не были сделаны почти в двухстах экземплярах; они вышли в свет в первоизданном виде, библиофилы их знают и ценят. Предприняв поиск, можно, вероятно, обнаружить и книжку, которая занимает меня...

Шаг второй высветил два важнейших архивных комплекса в Москве и Ленинграде-Петербурге.

Путешествие по следам арестованных страниц "Моего времени" в первой его публикации к открытиям не привело, но нечто важное в понимании значимости "Записок", их неувядаемой силы и всегдашней опасности для поборников монархии внесло.

### **ШАГ ТРЕТИЙ: НАКАПЛИВАЮ ФАКТЫ или ИЩУ ВСЮДУ**



Читали однажды, в рукописи, записки  
некоего Винского...  
Заметка а "Северной пчеле",  
1860г.

Факты рожают ассоциации. Чем больше фактов - прямых ли, косвенных, - тем значимее ассоциация связи, смелее гипотезы, доказательнее выводы.

В каждой книге, которая так или иначе касалась XVIII - начала XIX века, мне теперь виделся источник сведений о Винском и его "Записках". Находил хоть что-то - брал на заметку, делал выписки, порою пространные, шел по следам подстрочных библиографических ссылок.

Оказываясь в архивах, рукописных отделах библиотек и музеев, газетных хранилищах, о Винском не забывал никогда.

...Деление на "шаги" условно. Но придумав такой прием, скажу: этот "шаг" продолжался в течение всей работы над прояснением увлекшей меня судьбы (и будет продолжаться впредь: кое-что, полагаю, от меня пока ускользнуло).

Труд М. Н. Гарнета "История царской тюрьмы" выдержал не одно издание, широко известен и отмечен Государственной премией СССР. Не в первый раз обращаюсь к нему, но теперь вижу и то, мимо чего проходил прежде. Вот прямо в предисловии речь идет о заточении в Петропавловской крепости "княжны Таракановой, или принцессы Володимирской".

Любопытно... "Факт нахождения при пленнице собственных ее слуг подтверждается и мемуарами некоего Винского. Он попал в Алексеевский рavelин через четыре года после смерти "княжны Таракановой" и слышал от тюремного сторожа, что у неизвестной узницы-иностранки было много слуг".

Автор называет Винского. Но ни в публикации "Русского архива", ни в единственном отдельном издании "Моего времени" о Таракановой ни слова и вообще ничего такого нет. Перелистываю страницу за страницей - не нахожу.

На какой источник историк ссылается? Да вот же она, ссылка: "Русский вестник", т. 70, 1867, № 7-8, статья "Княжна Тараканова и принцесса Владимирская", автор - "М". Статья, или, скорее, целая документальная повесть, весьма обширна - почти восемьдесят страниц здесь и столько же в номерах предыдущих.

О свидетельстве Винского - в самом конце: "Прошел еще год или два. (После наводнения 1777 г., с которым в легендах связывали смерть "княжны Таракановой". - Л. Б.). В Алексеевский рavelин посажен был один авантюрист, по фамилии Винский. Это был небогатый дворянин, учившийся в Киевской духовной академии, а потом служивший сержантом в лейб-гвардии Измайловском полку. Вовлеченный в одно политическое дело, он был арестован с несколькими другими гвардейскими офицерами. Сначала его содержали в Петропавловской крепости, а потом сослали на житье в Оренбург, где он и прожил больше тридцати лет и прощен уже императором Александром Павловичем. Винский вел записки обо всем виденном им и слышанном. Эти любопытные записки находились в руках покойного Александра Ивановича Тургенева и несколько раз читались в небольшом обществе..."

За преамбулой - то, что исходило от автора "Записок": достаточно подробный рассказ об иностранке, оказавшейся в страшном рavelине.

"...На вывезенную из Италии графом Орловым дочь Елизаветы Петровны, так называемую княжну Тараканову, смотрит как на напрасную жертву честолюбия Екатерины II..." - доносил Московский цензурный комитет, требуя вымарать из публикации "Русского архива" соответствующее место мемуарного повествования как "вредное" и "недопустимое". И заставил вымарать - окончательно и бесповоротно.

Из статьи в "Русском вестнике" явствовало, что источником информации служил тот экземпляр, который находился у А. И. Тургенева. Находился достаточно долго.

Некий "М", в свою очередь, ссылаясь на газету "Северная пчела", в частности, тот ее номер, который в понедельник 7 марта 1860 года вышел с публикацией под названием: "Дополнение к статье "Предание о судьбе Елисаветы Алексеевны Таракановой". Ее как "первоисточник" мы воспроизведем здесь с минимальными сокращениями.

"У покойного Александра Ивановича Тургенева (директора департамента духовных дел при кн. А. Н. Голицыне) читали однажды, в рукописи, записки некоего Винского... (Далее те же данные, которые повторил "Русский вестник". - Л. Б.) Рукопись Винского есть собственно памятная записка обо всем, что он видел и слышал в жизнь свою. Что в рукописи говорится о загадочной женщине, бывшей в Петропавловской крепости, то здесь печатаем...

Когда Винского переместили из каземата наверх, в отделение из нескольких комнат, то обрадованный переменой своего положения, от нечего делать он смотрел и - можно сказать - изучал все, что видел своими глазами в светлом жилище, - как однажды, стоя днем у окна, замечает Винский на стекле нацарапанные алмазом слова. Вглядывается, стараясь разобрать... Что же?.. Он читает неразборчиво восклицание "O, mio Dio!"<sup>1</sup> Сторож его отделения вскоре принес ему кушанье, и Винский, зная, что он давно тут служит, спросил его: "Кто в отделении прежде жил, кто мог бы нацарапать италиянские слова?" - "Некому, - отвечал сторож, - кроме барыни, привезенной, как я слышал, издалека, молодой, очень красивой, должно быть очень знатной, потому что ей прислуживали и за нею ухаживали не как за арестанткою, прислуги было много, и кушанье носили все хорошее с комендантской кухни. - Вскоре после того, как она здесь поместилась, к ней приезжал сам граф Алексей Григорьевич Орлов. Оставшись с ним вдвоем, они между собою долго и громко говорили; о чем? нельзя было понять: барыня по-русски, видно, не знала, только, разговаривая, очень сердилась и даже топала ногами. Граф скоро уехал и более при мне не приезжал, может и потому, что барыне заметно сближалось время к разрешению. Что потом с нею стало - не знаю. Я вскоре выпросился в побывку к родным, и когда возвратился из отпуска - это отделение было пустое и оставалось все время в том виде, как вы видите..."

В "Журнале литературном и политическом, издаваемом М. Кратковым" (такие слова можно было прочесть под названием "Русский вестник") рассказ вышел несколько обработанным, но суть... суть осталась прежней. Правда, у Винского, судя по заключениям цензуры, более выраженным оказался оценочный момент (на княжну он смотрел вполне определенно: как на "напрасную жертву" екатерининского деспотизма).

...После информации-характеристики в тургеневской "Хронике Русского" 1843 года это было первым упоминанием о Винском в русской печати и первым гласным обнародованием одного из сообщенных им фактов. Примечательно, как охарактеризован тут автор "Моего времени": в "Северной пчеле" о нем говорится как о "замешанном в одну из многих тогда затей", в "Русском вестнике" - как о "вовлеченном в одно политическое дело".

Политическая подоплека сурового наказания будущего писателя была понятна многим, и Тургеневу прежде всего.

Александр Иванович Тургенев проходит по многим страницам этой книги. Первооткрыватель Винского - он. И сказать о нем хочется возможно больше. В своих библиографических и архивных разысканиях несчетное число раз приходилось мне встречаться с ним, замечательным человеком земли русской.

"Декабря 3-го (1845 года. - Л. Б.), в шестом часу после обеда, скончался в Москве тайный советник, камергер А. И. Тургенев, к живейшему прискорбию всех, кто его знал, - вспоминал М. П. Погодин. - А кто его не знал - в Москве, в Петербурге, в Европе?.. Во всей Европе был он как дома у себя. А дома - Карамзин причислял его к искренним друзьям своим; Пушкина записывал он в лицей, и он же проводил его в уединенную могилу в псковском

---

<sup>1</sup> О, мой Бог! (ит.)

Святогорском монастыре. Надо было приобрести такое значение, надо было заслужить такое уважение

и такую дружбу!.."

Известно "Послание Тургеневу" А. С. Пушкина. А вот "Портрет" - сочинение Б. М. Федорова:

Есть в мире чудный человек,  
Едва ль не беспримерный:

Он в странствиях проводит век,

России посвященный...

И дальше:

Во всех столицах у него  
Свои есть кабинеты.  
Где куча книг, того-сего,  
Брошюры и газеты,  
И выписки. Недаром он  
В Архивах пыль глотает;  
Там старину со всех сторон  
Следит и открывает.  
Так! в жизни дан ему в удел  
Предмет его желаний:  
Собрать минувших память дел  
И хартии сказаний...

До "поэтического шедевра" далеко, но "портрет", что и говорить, выразителен.

Один из четырех сыновей богатого симбирского помещика И. П. Тургенева, близкого к Новикову и масонам, впоследствии директора Московского университета, Александр Иванович, еще учась в университетском пансионе, рос в атмосфере свободного обмена литературными и общественными воззрениями, способствовавшей его раннему умственному совершенствованию, возмужанию и быстрому развитию недюжинных природных задатков. Расширению духовных горизонтов молодого человека послужило и его учение в Геттингенском университете; к этому периоду относится начало его литературной деятельности - в качестве переводчика, а затем и публициста, одной из главных тем которого являлось осуждение российских крепостнических порядков и других пороков, мешавших прогрессу любимой им России. Это особенно проявлялось в его путевых письмах-корреспонденциях, впоследствии названных Пушкиным "Хроникой Русского". Честную, пристрастную, воинствующую свою хронику он вел отовсюду, куда забрасывала его судьба политического эмигранта - врага деспотов и деспотизма. Франция, Германия, Италия, Швейцария... И везде Тургенев оставался истинным русским патриотом, всюду вел свою деятельность публициста, откровенно оппозиционного аракчеевскому курсу Александра I, а затем и столь же реакционному правлению Николая I. Путевые корреспонденции А. И. Тургенева представляют собою ценнейший литературный и исторический памятник жизни Западной Европы и духовных исканий широко образованного, декабристски мыслящего русского литератора пушкинской эпохи. Не меньшую ценность имеют его письма и дневники, опубликованные лишь частично; не случайно современники Тургенева называли его выдающимся, блистательным представителем эпистолярного жанра.

Заметки А. И. Тургенева о "Моем времени" впервые появились на страницах его парижского дневника 1845 года, содержащих также записи о встречах автора с Н. В. Гоголем (тем понятнее упоминание Гоголя и в этих заметках!), о личных контактах братьев Тургеневых с М. А. Бакуниным, Н. А. Мельгуновым, Н. М. Сатиным, итальянским революционером Теренцио Мамаиани делла Ровере, немецким поэтом Георгом Гервегом и другими. Появление их в "Москвитянине" относится к тому времени, когда журнал возглавлял И. В. Киреевский.

Очевидное расхождение во взглядах между ним, славянофилом, и Тургеневым, отличавшимся ярко выраженным свободомыслием, публикации парижских корреспонденции не помешало; Киреевского отличала достаточная терпимость к воззрениям идейных противников.

Именно "Москвитянин" 1845 года - "Москвитянин" Киреевского, а не взявшего журнал в свои руки М. П. Погодина и других представителей официальной народности - вызвал одобрительный отзыв со стороны А. И. Герцена, назвавшего очередную тургеневскую "Хронику" интересной. Следовательно, и о "Записках" Винского он, Герцен, узнал от Тургенева. Скажу кстати, что к "Моему времени" в полной мере можно приложить те слова, которыми он охарактеризовал свое собственное произведение "Былое и думы": "Это не столько записки, сколько исповедь". Нечто подобное сказал - тоже о себе - Жан-Жак Руссо: "Я предпринимаю дело беспримерное и которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, и этим человеком буду я".

Ни Винский, ни Тургенев, ни Герцен подражателями не были. Каждый из них шел своим путем - и в жизни, и в творчестве. Впрочем, творчество и было их жизнью...

Первой публикацией "Моего времени" мы вправе, таким образом, считать подробный и комментированный пересказ "Записок" Александром Ивановичем Тургеневым - критический их конспект, передающий главное в прочитанном и в то же время выражающий взгляды самого первооткрывателя.

Даже после его смерти в 1845-м, даже годы и годы спустя, вспоминая Винского, почти обязательно называли Тургенева. Первооткрыватель оставался первоодержателем ("У покойного Александра Ивановича Тургенева... читали однажды, в рукописи, записки некоего Винского" - таково свидетельство уже 1860 года). Цепочка - нет, цепь! - воскрешения Винского из небытия тянулась от него.

В рабочей моей тетради выписки из книг перемежались записями, сделанными в архивах. "Все о Винском" - такому следовал я принципу. Этого "всего" было совсем немного; и тем более радовался каждому случаю записать что-то новое.

Не всегда, собственно, было оно новым по содержанию. Но важным представлялось уже то, что с "легкой руки" Тургенева со времени заметки в "Москвитянине" 1845 года забытый Винский...

забыт не был.

Сочинения К. Н. Батюшкова, т. 1, кн. 2, СПб., 1887. Речь идет о рукописном собрании А. И. Тургенева "Рукопись "Записок" Винского... досталась Александру Ивановичу, по всей вероятности, от его дальнего родственника А. М. Тургенева, которого Винский часто посещал в Астрахани и давал читать ему свои записки".

"Жизнь и труды М. П. Погодина" Ник. Барсукова, книга десятая, СПб., 1896. Мысли Погодина о записках вообще: "...У нас жалуются обыкновенно на их недостаток. Это неправда: мы имеем их множество, но они лежат большею частью под спудом". Винского он называет персонально.

"История русской литературы" А. Н. Пыпина в данном случае - издание третье, "без перемен", СПб., 1907: "Много важных указаний доставили детальные исследования литературы того времени, хотя все еще недостаточные: извлечены из забвения многие мемуары того времени (напр., Добрынина, Гарновского, Болотова, Винского, Челищева, Порошина...)". И там же: "В довершение литературной истории восемнадцатого века должно упомянуть еще особый раздел сочинения, занимающих двойственное положение - литературных произведений и исторического материала. Это довольно многочисленные записки (мемуары). Почти все без исключения, даже все, они писались не для печати, в этом смысле не были фактом литературным, так как не вступали в свое время на литературную арену, не участвовали в движении, в обмене общественной мысли... Вместе с тем, однако, для позднейшего изучения они представляют нередко величайший интерес..." И тут на одном из первых мест - Винский:

"Его записки, писанные оригинально и не без дарования, любопытны чертами малорусского быта конца XVIII века и отголосками общественного мнения относительно мероприятий века Екатерины..."

Беру в руки книгу "Письма Александра Тургенева Булгаковым" (Москва, Государственное социально-экономическое издательство, 1939) - в примечаниях нахожу справку о Винском; новое в ней - попытка уточнения дат его жизни ("1752- 1820?") и вполне определенное утверждение о том, что "А.И. Тургенев приобрел рукопись Винского у А. М. Тургенева, который был лично знаком с автором..."

Обращаюсь к "Истории атеизма" И. П. Вороницына (пять ее выпусков вышли в московском издательстве "Атеист" в течение 1927-1929 годов) и в главе, посвященной борьбе с религией во Франции, уже в самом ее начале, нахожу: "Приступая к изложению безбожных взглядов французских философов, невольно хочется напомнить слова одного забытого русского вольнодумца (Винского): "Ежели когда-нибудь настанут времена правды, тогда великие умы XVIII столетия, истинные благодетели рода человеческого получают все им принадлежащие честь и признательность". В выпуске четвертом (глава "Вольтерьянство и вольтерьянцы") целый раздел - по меньшей мере половина печатного листа текста - озаглавлен "Вольнодумец Винский" и являет собою опыт анализа атеистических, материалистических взглядов одного из "убежденных вольнодумцев" и "замечательных людей своего времени".

..."Забытый"? Ан нет! В истории вообще, в истории литературы в частности, Григорий Винский остался. Разве что в полной мере не оцененный... Но это, уверен, оттого, что в полном виде его наследие неизвестно.

И вдруг подумалось: "Не так ли было бы с Радищевым, не имей мы возможности читать его "Путешествие из Петербурга в Москву"?"»

Исторические параллели всегда условны, но для постижения явления важны чрезвычайно.

"Да, в истории все рядом, и верхние ее этажи стоят на нижних..." Эти слова я выписал из статьи современного историка-публициста.

"Нижние этажи" русской истории не понять и не изучить без РГАДА - Государственного архива древних актов. Но в данном случае удивительный по своему богатству архив лишь подтвердил полнейшую достоверность всего того, о чем писал в своих "Записках" Винский.

Новое о нем удалось найти только в бумагах самого начала XIX века. Нет, он не мирился со своим положением, он добивался справедливости, и шли из Оренбурга прошения личные, ходатайства официальные.

"Доклад подан Апреля 18-го 1801-го..."

"Дело слушано Генваря 11-го 1802-го..."

Сопроцессники 1780 года рассчитывали на помилование. "За подложный заем из банка денег и другие преступления" (не причинившие казне сколько-нибудь серьезного ущерба) они заплатились двадцатью с лишним годами неволи, в ссылке состарились, лишились здоровья, иные потеряли семьи, но... помилования не последовало. Решение было для всех общим: "оставить в настоящем их положении". Только Теляковскрго, бывшего подпоручика, перевели в другой город да Винскому "милостиво дозволили" вступить в статскую службу с нижних чинов.

Дозволение это, однако, в силу вошло не сразу, а только... три с лишним года спустя. Тогда, в 1802-м, решение положили в дальний ящик чиновничьего стола "Комиссии для пересмотра прежних дел уголовных". Положили не по причине забывчивости - совсем по иной. В Санкт-Петербурге сочли, что послабление преждевременно, и наложили резолюцию иную: "Оставить там, где находится".

Толком и не помнили уже, за что в действительности Винский покаран, но рассуждали: коль покаран так, то за дело не пустяковое и... пусть себе остается невольником, прав лишенным. Государству спокойнее!

Это было в том году, когда покончил с собою Радищев, потерявший всякую надежду на скорое изменение общественного строя. Незадолго до рокового часа он сказал: "Потомство за меня отомстит".

И снова о Тургеневе - только уже о другом: Александре Михайловиче. "А. И. Тургенев приобрел рукопись Винского у А. М. Тургенева, который был лично знаком с автором..." Итак, речь об "А. М."

Жил он долго - девяносто два года. Родился около 1772 года. Четырнадцати лет поступил на службу в гвардию. В Петербурге был очевидцем последних дней царствования Екатерины II и первых - Павла I. Перенес многие тяготы армейской службы, которую оставил в 1801-м. Потом Геттингенский университет и служба в канцелярии Сперанского. С 1811-го снова в армии. Тяжелое ранение под Бородино... Другие походы Отечественной... После отставки в чине капитана - многолетняя деятельность гражданская. Губернаторствовал в Тобольске, в Казани, управлял медицинским департаментом, занимал иные видные посты. Его друзьями были В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, другие известные люди. Письма Жуковского полны нежности: "мой милый Александринус", "мой милый Михайлыч", "я тебя люблю сердечно". Через четверть века после его смерти в журнале "Русская старина" писали: "Тургенев... горячо любил отечество и был верный, честный и просвещенный деятель. Подобно родственникам своим - Николаю и Александру Ивановичам Тургеневым, Александр Михайлович всю душу желал блага русскому народу и постоянно лелеял мечту освобождения этого славного народа из пут крепостного ига..."

Богатый материал содержат весьма объемистые "Записки Александра Михайловича Тургенева", печатавшиеся в названном журнале в восьмидесятые годы. "Составитель представленных здесь "Записок" принадлежит к числу достойнейших русских людей", - рекомендовала его редакция.

Знакомство Тургенева и Винского состоялось в начале гражданской карьеры первого и под конец жизни второго.

После мая 1814 года, съездив за границу для излечения от ран, Александр Михайлович принял назначение на должность управляющего феодосийской таможней, потом стал таможенным начальником в Брест-Литовске, а затем и в Астрахани, где прослужил до 1823-го.

Винский, будучи старше его на двадцать лет, приезжал в Астрахань к дочери, одновременно исполняя, вероятно, и поручения по таможенной части, которые могли исходить от П. Е. Величко.

Знакомство, во всяком случае, состоялось. Бартенев, ссылаясь на А.П. Величко, писал о нем с полной уверенностью: "В Астрахани ежедневно бывал он (Винский. - Л. Б.) у начальника пограничного таможенного округа Александра Михайловича Тургенева... и давал ему читать свои записки. Знакомым своим в Астрахани он отзывался, что сослан безвинно, по интригам..."

"Люблю Русь, но не менее люблю правду!" - так заявлял Тургенев, и точно так мог бы сказать Винский.

"Возврати Винского рукопись..." Слова из письма Александра Ивановича Тургенева Константину Яковлевичу Булгакову вспыхивают в сознании моем требовательными сигнальными огнями.

"Возврати..." Значит, дорожил ею, боялся потерять, жаждал сохранить.

"Рукопись..." Этот, третий, "шаг" еще ближе подводил к рукописи, послужившей основой сообщения в "Хронике Русского".

Вслед за автором письма мне тоже хотелось бы воскликнуть: "Возврати Винского рукопись!" Но обратимся к Времени - беспощадному кристаллизатору всего на свете. А где оно запечатлелось полнее, как не в архивах?

## **ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА, или РУКОПИСЬ В КАРТОННОМ ПЕРЕПЛЕТЕ**

*О святая Мати Правда!  
Пречестный Пария говорит: "Тебя  
понимают  
одни добрые сердца". Пусть же одни  
добрые  
люди меня читают, меня судят и меня осуждают,  
ежели найдут тебе неверным...  
Г. Винский*

Адреса всех, решительно всех архивов найти нетрудно. Но до чего же трудно отыскать то, что нужно в архивах тебе!

В Отделе рукописей всемирно прославленной "Ленинки" мне попала на глаза "Записка о рукописях, хранящихся в собрании А. И. Тургенева...". Это был черновой автограф, писанный рукою самого владельца собрания. Ухватился за него, как за нить спасительную: может, и почерпну нечто определенное о месте нахождения "Моего времени". Но вычитал не более того, что знал и без "Записки...". О том прочел, что "в продолжение полувека" Тургенев собирал имеющие "какое-либо отношение к России рукописи" и "приобрел значительное количество оных, которое ныне находится частою в Париже, частою здесь, в Москве". Прочел, далее, что "по содержанию большей части оных рукописи могут быть весьма полезны не только для печати нашего государственного управления, по всем почти частям оною, но и для новых изучений".

Перечня рукописей, однако, не оказалось, да и написана была "Записка..." между 1839-1845 годами, а значит, путеводителем служить не могла.

...Искать счастья следовало прежде всего там, где оказалась основная часть архива братьев Тургеневых. И снова я в Ленинграде. Но теперь держу путь уже не к Медному всаднику - за ним здания РГИА, а через Неву - в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук. Через час-два там откроется очередная Всесоюзная Пушкинская конференция. Как обычно, она будет проходить в конференц-зале на втором этаже. А на первом, в Отделе рукописей, - там, где "весь Пушкин", где фантастическое количество всевозможных богатств отечественной и мировой словесности, - хранится и фонд Тургеневых. Что принесет мне знакомство с ним? Порадует ли "полным Винским"?

Сколько раз бывал я здесь и как часто был в этом зале счастлив!

Нет для исследователя большей радости, чем искать, и высшего счастья, чем находить. Тут же мне удалось найти и новые материалы для книг о Тарасе Шевченко, и многое важное о декабристах.

История последней моей находки в Пушкинском Доме чем-то сродни той, к которой стремлюсь сейчас...

С начала девятнадцатого века, а может, и с конца восемнадцатого, существовала в Оренбурге тайная организация свобододолюбцев. Среди тех, кто руководил ею, когда она имела еще масонскую окраску и являлась филиалом Новиковского общества, чаще всего называют П. Е. Величко. Зная об отношениях, которые связывали его с Г. С. Винским, не приходится

сомневаться и в том, что будущий автор "Моего времени" о существовании сообщества знал, на заседаниях его бывал и не отмалчивался.

В начале двадцатых годов "Оренбургское тайное общество" возглавил П. М. Кудряшев - военный чиновник по роду служебных занятий, поэт, лингвист, этнограф по призванию. Его предшественники отдали дань смелой фразе, вроде такой: "Русским людям нужно дать свободу и прекратить рабство, дабы ни царей, ни господ не было". Кудряшев решил перейти от слов к делу, а для этого собрать смелых людей, организовать и сплотить их, подготовить к действиям. Устав Общества начинался такими словами: "I. Оренбургское тайное общество составлено с целью политической. II. Цель его есть изменение монархического правления в России и применение лучшего рода правления к выгодам и свойствам народа для составления истинного его благополучия...". Была разработана целая стратегическая программа - обширная, развернутая, дерзкая.

Но после восстания на Сенатской площади в Обществе оказался провокатор. Это предопределило провал. Кара была суровой: "оренбургские декабристы" разделили участь героев 14 декабря.

Выразительнейшим документом, посвященным их деятельности, стал литературный труд "Записки Несчастливого, содержащие Путешествие в Сибирь по канату". Автор записок - один из руководителей тайного общества В. П. Колесников. Однако своим существованием повествование обязано декабристу В. И. Штейнгейлю, записавшему и обработавшему рассказы Колесникова, подготовившему их к долгим встречам с читателями.

Этим встречам препятствовали. И в "Русской старине", и в первом отдельном издании, осуществленном П. Е. Щеголевым в 1914 году, "Записки..." оказались с многоточиями вместо слов, предложений, абзацев и даже целых страниц. Можно было только догадываться, что были то страницы и строки смелые, обличительные. "Где находится подлинная рукопись Штейнгейля в настоящее время, неизвестно," - констатировал Щеголев.

Рукопись удалось мне отыскать в Пушкинском Доме. Ее архивный адрес в этом богатейшем хранилище оказался таким: фонд 604, дело 18 (5587). Последняя цифра, взятая в скобки, характеризовала прежнее "местожительство" оригинала: в ИРЛИ он поступил в свое время вместе с необъятным архивом журнала "Русская старина". Неотъемлемой частью удивительного по своему богатству собрания стала библиотека Михаила Ивановича Семевского. Наборный экслибрис неутомимого издателя, редактора, собирателя увидел я и на тыльной стороне картонной обложки, скрепившей сто пятьдесят карандашом пронумерованных малоформатных страниц рукописи.

...Корешок скромного переплета украшен золотым тиснением:

"Штейнгейль В. И. ПРОГУЛКА В СИБИРЬ. Колесников".

Это, однако, название не авторское, и вообще неофициальное. Не окончательное и на шмуцтитуле: "Записки несчастного". Полное и точное - на начальном листе рукописи: "Записки Несчастливого, содержащие Путешествие в Сибирь по канату".

Именно такое - и по звучанию своему, и по размещению слов, и по их написанию...

Эти первые страницы рукописи содержат многочисленные пометы издательского характера (принадлежат они преимущественно Семевскому). Но главное не в них. Главное в том, что удалось восстановить полный текст "Записок...", вернуть на свои места все, что изъела царская цензура.

Прежде всего, сопоставил места, "украшенные" в печатном тексте многоточиями. Получилось вот что.

Издание 1914 года:

Со смертью его общество не рушилось.

Они, разбойники, умышляли... и дай еще им лошадей!

- И! Федоров, не стыдно ли? У тебя слезы на глазах! - сказал я.



- Видишь, мы не плачем. Раскаиваться нам не в чем; бесчестного ничего не сделали; тебе все известно.

- Знаем, и тем-то более жаль.

Рукопись:

Со смертью его общество не рушилось. Вынужденные тогда правительством подписки доказывают только, и конечно не в первый раз, что в подобных случаях никто не считает делом противусовестным обмануть его.

Они, разбойники, замыслили еще на батюшку нашего царя и дай еще им лошадей!

- И! Федоров, не стыдно ли? У тебя слезы на глазах? - сказал я.

- Видишь, мы не плачем. Раскаиваться нам не в чем; бесчестного ничего не сделали; тебе все известно.

- Знаем, и тем-то более жаль. Поздно спохватились. Да вы все сами виноваты. Отговорили. Помните, приходили к вам! Ведь умирать же когда-нибудь.

- Да, мы кусаем теперь локти, - промолвил молодцеватый семеновский солдат Мурзин, - напрасно все послушались; вы бы даром не пропали.

Не все многоточия бросаются в глаза: иные воспринимаются просто как средство передачи интонации автора. Но и за ними пропуски, причем многозначительные.

Издание:

...Вскоре после казни, совершившейся в 1826 году, открыт "ужасный злодейский замысел" в Оренбурге...

Один мне знакомый молодой купец сказал к народу и довольно громко: "Вот, братцы, невинность везде видна; она даже и в цепях смеется"...

Рукопись:

Так и в нынешнее царствование, вскоре после казни, совершившейся в 1826 году, открыт ужасный замысел в Оренбурге...

Один мне знакомый молодой купец сказал к народу и довольно громко: "Вот, братцы, невинность везде видна; она даже и в цепях смеется над угнетателями!"

Но если за этими многоточиями - слова, строки, абзацы, то оказался пропуск и еще более крупный.

За двумя строками точек под заголовком "Вместо вступления" - страницы текста, который не вошел ни в одну публикацию, в том числе в первом выпуске седьмой книги "Полярной звезды на 1862 год", где вступительная статья В. И. Штейнгейля к "Запискам Несчастливого..." была помещена безымянно под заголовком "Колесников и его товарищи в Оренбурге".

Конечно, Герцен и Огарев поместили ее в виде усеченном лишь в силу того, что такой пришла она в Лондон: "Полярная звезда" цензуры не страшилась. Другое дело - "Русская старина". Тут все было именно в жесточайшей цензуре, которая за такие страницы расправлялась и с журналами, и с издателями.

Опущенные во всех дореволюционных публикациях первые страницы произведения восстановить удалось только благодаря находке.

Итак: "Есть истины, которые забываются именно от излишней известности; потому не мешает от времени до времени припоминать о них.

Во всяком государстве, управляемом на праве отчином, нет и не может быть гласности. Где нет гласности, там все под Дамоклесовым мечом; там попасть под суд и пропасть - синонимы; там законы - оболстительная, обманчивая благовидность для пасомых, верный костыль - для пасущих.

Где возвышается один повелительный голос власти, там никакой другой не может быть слышен, кроме угодного ей голоса рабской подлейшей лести. Оттого не в редкость окрест

властелина раздаются хвалебные восклицания, а по углам проливаются одни слезы и произносятся проклятия!

Не было и нет ни одного властелина, который бы не пекся отечески о благе своих верноподданных! Горе, однако ж, этим верноподданным, если властелин думает иметь право на подозрительность! Тогда повсюду возрождаются черви шпионажа, подтачивающие семейное спокойствие, самые родственные и дружественные связи; тогда предрежащие власть в областях получают охоту выставлять свое усердие к престолу и выслуживаться - не бдительности о порядках и о спокойствии общественном, но открытием так называемых злонамеренных людей и доставлением правительству пищи, возбуждающей аппетит к жестокостям. Наша история, со времен Бирона, в течение ста лет, представляет множество таких примеров; разумеется, не печатная история. Упомянем некоторые, еще свежие в памяти живущих поколений".

Вот какие страницы оказались за двумя строками точек.

Страницы гневного обличения деспотизма, сурового приговора душителям свободы... В них весь Штейнгейль - видный деятель Северного общества, приговоренный к двадцати годам каторжных работ, но, несмотря ни на что, сохранивший силу духа.

Многие десятки разночтений удалось установить при сопоставлении печатного и рукописного текстов. К 150-летию восстания декабристов "Записки Несчастливого..." впервые увидели свет в первоизданном их виде.

...Да, большей радости, чем искать и находить, я не знаю. И в этом хранилище, в этом зале испытал ее не раз.

Есть! Указатель к архиву братьев Тургеневых, как отменно работающее справочное бюро, выдал мне лаконичный и предельно четкий "адрес" Винского: фонд 309, единица хранения 1151...

Еще не веря в удачу, взял я в руки книгу большого формата, в картонном переплете с кожаным корешком. Раскрыл и прочел: "Рассказ малороссийского дворянина Григория Степановича Винского подарен Николаю Ивановичу Тургеневу

1858 года, мая 29/17. Париж".

Страница следующая - начало "Записок". Над рукописным текстом - название: "Мое время". Выше - надпись: "Принадлежит Александру Михайловичу Тургеневу".

Следовательно, подтверждается, что первым владельцем рукописи был не кто иной, как он, А. М. Тургенев, - астраханский знакомый Винского.

А. И. Тургенев, судя по всему, пользовался рукописью не как владелец, а как читатель - правда, без ограничения срока пользования и обязательств по скорому возврату. После его смерти рукопись вернулась к владельцу, который за пять лет до кончины, в глубокой своей старости, передал ее навсегда Тургеневу Николаю Ивановичу - декабристу, политическому изгнаннику. Произошло это в Париже...

Если бы правила были не так строги, я не отдавал бы рукопись и на ночь...

Открытие нового началось с первой же страницы. Не о небольших разночтениях речь - их множество, все не упомянешь; при подготовке "Записок" к печати - изданию по рукописи, в полном и выверенном виде - все они будут учтены, авторская воля восторжествует.

Сейчас речь о существенном.

От автора исходит дата начала его работы над мемуарами. Дата и место: 24 июня 1814, Башкирия. Незачем больше строить догадки, когда именно взялся он за "Мое время", где его писал.

Из введения выпали слова, обращенные к "святой Мата Правде". Их я воспроизвел в качестве эпиграфа - они и есть его творческое кредо.

Много больше, чем в печатных экземплярах, подзаголовков, подчеркивающих значимость отдельных положений. Например: "Общественное воспитание под надзором правительства могло бы наивернейше улучшить нравы". Или: "Екатерина виновница..."

Фамилии, имена, отчества в рукописи даны не полностью. Как правило, удаляются гласные. Отец обозначен так: "Ст.п.н Ак.м.в.ч В.нский. Другие фамилии: К.ш.нц.в, В.лк.в. Автор думал над тем, как будет выглядеть его труд на печатных страницах.

На отдельных страницах журнальной и книжной публикации - следы бартеневской литературной, редакторской правки (правда, осторожной и бережной). Там, где вмешалась цензура, ему, Бартеневу, дабы избежать многоточий вместо удаленных кусков, пришлось самому писать связки.

В общем, при полной публикации "Записок" Винского потребуются сотни поправок - и стилистических, и орфографических, и синтаксических. Сотни!

Но самое главное - это восстановление мест, которые не увидели света. Мест, вызвавших особое восхищение у А. И. Тургенева... Мест, уничтоженных цензурой во второй книге "Русского архива"... Мест, от которых до нас дошли только отголоски...

Не терпелось прочесть их тотчас, немедленно, однако я не позволял себе торопиться, забегать вперед. Нет, всему свое время. Доберемся и до них.

Добрался. В донесении Московского цензурного комитета первым тяжким "грехом" автора и журнала было объявлено описание "знакомства с заключенными, между прочим с Брецинским, который судился за оклеветание государыни-императрицы Екатерины II".

Суть своего "преступления" Брецинский открыл Винскому перед судом, мы же можем услышать его рассказ только сейчас, читая повествование в рукописи.

Цензура добилась своего и эти страницы убрала. Страницы, содержащие обличение нравов екатерининского двора с его часто менявшимися фаворитами-временщиками, с воцарившимся там распутством.

Кусок текста пространен, но ничто не заменит голоса самого автора:

"...За день до выбытия из Комиссии несчастный Брецинский, соединясь со мною, сказал мне: "Ну, мой друг, час мой ударил, я сегодня узнал, что завтра отправляюсь в кригсрехт, следовательно, я пропал. Строгость моего осуждения, может быть, тебя удивит, для сего я тебе открою роковую тайну, дабы ты, зная весь ход моего несчастия, видел, что я, хотя и заслужил наказание, но завлечен в преступление самою адскою хитростию и потому не совсем недостоин сострадания бедных сердец. Я тебе сказывал, что, живучи с Князевым, удовольственнейшее мое занятие было: беседовать с ним одиночно. Он же, усиливая изо дня в день свою откровенность пересказыванием дел и происшествий самых важных и тем настроивши мое легкомыслие к слепому верованию, в один вечер, со всеми употребительными оговорками, открыл мне ужасную тайну, или, как теперь я вижу, наглейшую ложь; словом, он меня уверил, что дважды фортуна давала ему временщинство и что в первый раз лишил его оно князь, уславши на Кавказ; в другой же, даже имевши свиданье, он скоростижно занемог и, протрадавши около месяца, нашел уже место занятым. Но что под рукою был он уведомлен, чтобы держал себя как можно скромнее и от князя осторожнее; что посему он надеется непременно возратить упущенное. Всякому другому, рассказывающему мне подобную чуху, я бы, кажется, в глаза насмеялся; но Князев своим красноречием, своими картинками, своим интересным видом так завладел всем моим понятием, что я не только всему поверил, но, кажется, наплатил тем и душу мою и все существование до того, что я более недели был как бы восхищенный до третьего небеса и наяву и во сне непрестанно мечтал о том щастливом времени, когда я чрез моего друга буду выведен, возведен, прославлен.

По пылкости моего сложения не могли в себе вмещать моего воздушного щастия, я бы хотел всем оное сообщить, дабы предварительно иметь некоторый род наслаждения в рассказывании; посему нетрудно поверить, что я в жару спора с Кашиным не удержался,

чтобы не болтнуть несколько о временщинстве. Сей, будучи не меньше Князева хитр и искусен пользоваться пылкостью неосторожной молодости, расположил свой спор так, что, то вопрошая, то возражая, то отвергая, выцедил из меня всю мою тайну. Конечно, как вздор была бы она им скоро забыта; но несчастный случай, уловительные приемы Комиссии, а может быть, и злость, видя свою гибель неизбежно, решили его о сем донести Комиссии, и меня выставить как зачинщика или сообщника, дерзнувшего клеветать на... От сего-то столь продолжительные по три дни мне допросы и самые бурливые сцены. По сему одному я должен был считать 16 пунктов; и конечно, я их изгладил, то есть во всем заперся, и Кашинцев ничем не мог меня уличить, но все сие, однако, осталось в допросе, и я точно уверен, что меня или как клеветника, или сообщника, непременно накажут жестоко". - Предчувствие несчастного в точности сбылось: он осужден быть вечно заключенным в ручные и ножные железы и работать в нерчинских заводах. Князев же, наверно знавший все происходящее в Комиссии, за день до отправления Брецинского в кригсрехт, переменил свою квартиру и чрез то присвоил себе даже оставшиеся Брецинского вещи, которые позволено было ему для своего содержания продать. И так Брецинский, обманутый, ограбленный и осужденный, в рубище потащился на канате в Нерчинск, а Князев, плут, грабитель, определенный к месту, поскакал в венской коляске в Саратов.

Оговор, по объяснению автора, был несправедлив..."

Это явствовало из всего текста "Записок", но было место, подчеркнутое синим карандашом особо, и им пришлось поступиться.

...Винского и других отдали в руки Вяземского. "Ибо он, встревоживши Государыню пустым изветом и издержавши на Комиссию значительные суммы, долженствовал непременно выставить преступников".

Вот так: не правосудие, а защита чести клеветника. На полях против вычеркнутого текста - подзаголовок: "Необходимость быть пожертвованными". Вывод предельно ясен.

"По случаю этого приговора Винский обрушивается всею силою своего негодования на несправосудие Государыни, отрицает личные высокие ее качества, резко осуждает ее распоряжения по отобранию имений у монастырей, которые, в нарушение своего слова, раздавала своим любимцам, доказывает, что она была обрадована убийством принца Иоанна Антоновича, называет созвание депутатов для составления Уложения кукольною игрою, выставляет раздел Польши как грабеж и насилие, на вывезенную из Италии графом Орловым дочь Елизаветы Петровны, так называемую княжну Тараканову, смотрит как на напрасную жертву честолюбия Екатерины II, а на саму Государыню как на чужеземку Елизаветы..."

Известных нам в таком цензорском пересказе страниц ни "Русский архив", ни книга издания 1914 года не содержат. Их будто и не было. Отзвучали последние слова приговора ("...Винского в Оренбург, вечно на житье"), мемуарист сообщает о том, как осужденные были отправлены, - и все.

Меж тем дальнейшее и интересно, и важно. Суть взглядов автора "Моего времени" оно раскрывает с большой глубиной.

Не желая портить прекрасный и в высшей степени ответственный текст пересказом, я предлагаю читателю первую публикацию страниц, казненных цензорами. Казнили навсегда, они же, к радости нашей, выжили.

"...Так совершился гибельнейший для меня переворот. Я описать старался его с мельчайшими, даже скучными, подробностями, дабы показать чувствительному читателю в самых малостях, как ничего не значили дети у Премилосердья Матери, и что непрестанно, на разные распевы провозглашаемое, правосудие Российская Минервы было не что иное, как нарядное разбойничество.

Щебетанье кузнечика

По извету, что кто-нибудь намерен из банка занять денег, но занял или нет, неизвестно - скажите, кто лучше это знает: можно ли посему кого-нибудь взять под стражу? - а я точно посему взял. Положим: "для вида правительства необходимо бы то было". - Но можно ли с равелинскою жестокостию поступать с тем, кто задерживается для банка? При допросе позволено ли именем ИМПЕРАТРИЦЫ обольщать подсудимого или расставлять ему ловушки? - После допроса можно ли подсудимого содержать 15 месяцев понапрасну под стражею? - В деле после следствия, поступающем в суд, не тем ли оное начинается, что подсудимый подтверждает свои допросы или передоправшивается; почему у нас сие было отнято? - Почему же в конфирмации о том ни слова? Может быть, председатель боялся опоздать к обеду, для того не хотел читать доклада? - Нет, читать было нечего, ибо и в бумагах, с которыми я приехал в Оренбург, об винах моих ни слова. И, наконец, почему избран не только не пресудственный, но большого праздника день для объяснения нам ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО обесчеловечия? - Дабы... дабы... по возможности укрыть приговор сострадательного Правосудия. Нет, нет, и на смертном одре скажу: "Судили меня неправосудно, приговорили бесчеловечно".

Лучше поздно, нежели никогда

Родившись в стране поработанной, воспитанный у монахов, определенный начать мнимую отечеству службу между мамелюками, не выдавши, не слыхавши ни малейшего понятия о страшном животном-человеке, еще меньше о составе обществ, законах, властях, правительствах, я вопиющую несправедливость, причиненную мне правосудием, принял с истинным скотским равнодушием: ни единой жалобы против моих обидчиков, ни единого проклятия на синклит разбойников, на их Атамана, на их Повелительницу; одно сожаление о потере вольности и удалении в суровую сторону наполнило всю мою сущность; я плакал как ребенок и повиновался как вол.

Много протекло времени, прежде нежели набрел я на способы, чтобы видеть дела и делателей в их настоящем виде, вознегодовал, оскорбился, видя себя столь бессовестно обиженным, успокоился, утих, узнавши, что моей братии, жертв правосудия, несравненно безвиннейших меня, во все времена, во всех правительствах, во всех народах премногие тысячи изгнаны, зарезаны, удавлены, живые сожжены и проч. и проч... Гнев мой переменился в тихое негодование, одобряемое самим разумом. Собственно, за себя я искренно перестал сердиться на всемилостивейшую содеятельницу моего вечного нещастия; но не видеть произвола ее злодейств? приписывать ее лукавствам ум? ее дерзостям мудрость? Нет, нет, я на сие не согласен.

Знаю, что многие вознегодуют на меня за жесткие выражения начет премудрыя; но сим обожателям великий скажу: Правда есть мой Бог; она не всегда бывает выглажена; к тому, тысячам ложных похвал великий ли причинят ущерб несколько десятков истинных укоризн.

Театр

Оставляя С.-Петербург, я щел себя как бы изгнанным с великолепного и многоличного Театра. Правда, роля моя была самая мелочная, но оспорить меня никто по справедливости не может, чтобы, живучи около десяти лет в сей столице, я не был действителем. Игравши, я не имел ни времени, ни уменья дарования прочих действителей; живучи во уединении, я собрал об них кой-какие напоминания и их-то, на прощаньи с театром, намерен здесь поместить.

Некоторые внутренние распоряжения.

Законодательство.

Русские Фоксы и Шериданы

Екатерина, главное лицо, приближалась уже в сие время к своему перигею. В игре становилась она от часу искуснее; похвалы и рукоплескания раздавались ей со всех концов Европы. Роли играла разные и довольно удачно. После занятия престола обратила на короткое время свое внимание на внутренние дела. Отобранные Петром Третьим у монастырей деревни, возвращенные при начале ее правительствования, скоро опять отняты под предлогом, что

прежний отбор учинен был неосновательно. Она же для сих имений учредила особый Приказ, обещавши торжественно: имения сии как священную собственность сохранять в ненарушимой целости, никогда не смешивать их с другими имениями, считать их вечно монастырскими и доходы от них употреблять на одно содержание монастырей, монахов, школ, больниц и других Богу угодных заведений, между которыми очень скоро поместила графа Орлова, пожаловавши ему в вечное и потомственное владение в Ростовском уезде 10 тысяч лучших экономических крестьян. Тайную Канцелярию, Петром же уничтоженную, хотя не восстановила, но вместо ее учредила при Сенате Секретную Коллегию под непосредственным начальством князя Вяземского и производство дел поручила славному кровопийце Шешковскому. Пытки публичной, конечно, не отменили; но что творилось в Равелине Св. Иоанна, на домах Вяземского и Шешковского, это и в розыскных приказах едва ли случалось. - Сенат разделила на Департаменты; трем первым Коллегиям, то есть: Военной, Адмиралтейств и Иностранной, пожаловала новое образование; как и кадетским корпусам и воспитанию благородных девиц, - Вознамерившись обозреть Империю, начало учинила Лифляндию; но скоро возвратилась в С.-Петербург, по причине происшествия, затеянного Мировичем, следствием коего было убиение злощасного Иоанна Антоновича. Сколько изъявила публичными отзывами, на словах и на бумаге сожаления о сем напрасном убийстве, столько душевно благоволила об оном, о чем заключали все по значительным награждениям, учиненным Савелову и Чевкину, палачам несчастного принца. - Задумавши сделаться законодательницею, повелела во всем государстве избрать от всех сословий по одному депутату для сочинения по ее Наказу законов. В ожидании же прибытия их в Москву сама изволила предпринять путешествие по Волге на великолепных галерах, с блистательною и многочисленною свитою. Плавание, начатое в Костроме, продолжалось только до Симбирска, откуда, по причине полученного донесения о болезни цесаревича, возвратившись в Москву, открыла величественную кукольную игру законодательства. Пышное шествие во храм, блистательное заседание на троне, высокого витийства приветствия от всех сословий, колокольный звон, народные клики, пушечная пальба не умолкала во все время, пока совершилось великое дело образования Комиссии о сочинении Проекта Нового Уложения. НАКАЗ прочитан в первом заседании; Комиссия по предметам разделена на 22 отделения, под распоряжением двух маршалов, председательствовавших в дирекции. Дело началось довольно торопливо, длилось около года, потом вдруг Комиссия сокращена в двенадцать членов под начальством князя Вяземского, а прочие депутаты распущены по домам: одни подверженные немилости за неуместную стойкость, другие награжденные пожалованиями за догадливую подлость. Из всего, происходившего в сей Комиссии, достопамятнейшим может почестся публичное прение князя Щербатова, защищавшего рабство крестьян, с депутатом Карабьиным, говорившим за их вольность, которое прекращено было без дальнейших пустословии объявленною чрез Вяземского волею Государыни о сем не говорить. Рукопись Императрицыной десницы, положенная в драгоценный ковчег, отдана для сохранения в Сенат; сочинение же Законов под разными названиями, под разными начальниками, разными Немецкими Салонами продолжается по сей день.

За сим последовала первая война с турками и польскими конфедератами, посылки в Архипелаг Российского флота и, наконец, Кайнарджийский мир. Описывать сии важные происшествия не считаю нужным, поелику оные всем известны. Тогдашние повествования сих деяний, по новости ли, или по ненавычке еще бессовестнейше обманывать, вразумляют любопытного читателя достаточно о всех приемах, чрез которые совершено усмирение турок и обессиление Польши. Кагульская победа, одержанная Российским Тюреном, мужественными чиновниками и храбрыми воинами, от истинных знатоков военного дела достойно прославляемая; взятие Бендер грудью и совершенное истребление Агарянского, в их собственных водах, флота; деяния, по справедливости могущие требовать сравнения с

бессмертными подвигами у Платеи, Маратона и Саламина, представленные от отечественных и чужеземных писателей не сомнительными доказательствами поверхности россиян над оттоманами<sup>1</sup>. Отторжение от Польши третьей части ее владений и дружественное оных разделений между соседями хотя и не одобрялось повсеместно тогда и, криводушничая, стыдились еще бесчестно лгать, посему: насилие не именуется справедливостию, грабеж обогащением ограбленных, угнетение благоденствием угнетенных. В тогдашних писаниях можно было каждому ясно видеть, что три мочные соседы, видя четвертого, по слабоумию не радящего о своих пользах, непрестанно пьянствующего и забиячущего, решились, для общего спокойствия, отнять у него значительную часть его собственности; решились и, не пустословя понапрасну, каждый себе любое отделил, поставивши на рубежах вместо столбов войска; и наияснейшая, подонкишотствовавши, принуждена была своего собственного добра отступиться. Словом, публичные дела сих годов можно читать во многих сочинениях; я же здесь, по возможности, постараюсь написать несколько частных, со всевозможным тщанием утаенных, и из сих одни мне известнейшие.

По окончании первой Турецкой войны, когда остаток Российского флота долженствовал из Архипелага возвратиться в Кронштадт, граф Алексей Орлов придумал оставить в Италии памятник русской честности и своего человеколюбия. В Тосканском герцогстве возвращена, воспитана и жила в сие время дочь императрицы Елизаветы, не знающая, может быть, о своем странном рождении; по меньшей мере, не занимавшаяся Россиею. Граф во время зимований своих в Пизе познакомившись с сею нещасною, будто до теснейшего, при отбытии своем определил увезть ее в Россию. Для сего задолго еще склонил ее и успел согласить, чтобы она простилась с ним на флоте. - Принцесса, может быть, узнавши нечто о своем происхождении, может быть, и по чистому своему добродушию, бывши для всех русских ласковою и благодетельною и по сему не имея вины ни к малейшему подозрению, пригласив с собою несколько своих приближенных, приехала из Пизы для сделания сей чести Орлову нарочно в Ливорну. В назначенный день адмирал с знатнейшими офицерами, приняв принцессу с берегу, на украшеннейших шлюпках препроводил ко флоту, находившемуся уже вне гавани на рейде. С кораблей приветствовали гостью пушечными выстрелами, расцвечением мачт флагами, поздравлениями ура, и граф сам на лестнице подал княжне руку. Пиршество открылося великолепным полдником, на котором отборнейшие плоды, вкуснейшие яства, изящнейшие прохладения, редчайшие пития и замысловатейшие украшения сколько увеселяли зрение, столько же услаждали вкус; причем музыка попеременно то нежная италиянская, то воинственная русская, восхищала слух. Веселие было в полной мере, как граф с величайшею вежливостию предложил принцессе: не угодно ли ей будет посмотреть морских кораблей движений? Неблагодарная, не видевшая того никогда, охотно согласилась на вероломную забаву. Поданы сигналы, корабли снялись с якорей, распустили паруса, начли свои эволюции и, маневрируя, не чувствительно удалялись в открытое море. Княжна, занимаемая непрестанно, была в полном удовольствии, но, увидевши приближение ночи, попросила о возвращении. Тогда сцена вдруг переменяется: княжну с первопопавшею в руки италиянскою схватывают, запирают в каюту; последовавших за нею италийцев ссаживают на задержанное, идущее в Ливорну, судно; корабли прибавляют парусов и направляют путь свой прямо в Россию. Так внучка ПЕТРА ВЕЛИКОГО, водворенная в прелестной Италии, дабы отдаленностию от отечества укрыть ее от адских дворских притязаний, чужеземкою, хищнически завладевшею престолом ея Матери, исторгнута из мирного теплого края и перенесена во влажные подземелья хладного Петрополя.

---

<sup>1</sup> Этот абзац, до сих пор, П. Бартевым был опубликован, но в сокращении. К тому же текст предыдущий неразрывно связан с последующим

Слух, глухо носившийся о сем происшествии, скоро затих, и злощасная дочь и внука обладателей России забыта, как бы не существовавшая. До моего знания сие дошло странным образом. В занимаемой мною в крепости комнате я увидел нечаянно в углу одного окошечного стекла написанное ДЮ. Рассматривая примечательнее, открывалось, что стекла все прежде были забелены, что доказывалось оставшею в некоторых углах белою краскою. Я долго глядел на мое открытие и машинально выговорил діо. Старик солдат, мой прислужник, случившийся на ту пору со мной, вдруг меня спрашивает: "Что это, батюшка, дня?" - "Это по-италиянски Бог". - "А мия дия?" - "Это мой Бог". - "Ну, так-то оно и есть". - "Да ты почему сии слова знаешь?" - "Я тебе, сударь, скажу, только ты помолчи: годов пять тому, в темную осеннюю ночь привезли в равелин двух барынь, не русских; одна была как бы госпожа, молода, лица красного, рослая, белая, другая похуже, смугленькая. Первая была больна, и к ней доктор раза по три в день приезжал; но видно ей тяжело было в равелине, и так ее, ночью же, перенесли в сей дом, и она жила в самой сей комнате. Я был с другими при ней, и мы часто слышали, как она выговаривала МИЯ ДИЯ; а плакала она, сердечушка, и день и ночь. Она опять скоро занемогла, сделалась больно тяжелою, то ее снова увезли куда-то, где, говорят, она скоро померла".

Происшествие с сею княжною в Ливорне, описанное мною выше, я слышал от моего доброго Чичагова, которому передано оное морским офицером, служившим тогда на том самом корабле, который привез нещасную в Россию. Се была совершенно напрасная жертва честолюбия Екатеринина. Она, говорят, сильно негодовала на Орлова за сей поступок, старалась всем возможным уверить, что оный сделан без ее знания, но опровергнуть подозрение вернейшим, то есть освободить и возвратить невинную в Италию, ей не пришло в голову.

#### Посещения

Война с турками еще продолжалась, как прусский принц, Генрих, брат короля Фридриха II-го, посетил императрицу в С. Петербурге. Блистательнейшие праздники, замысловатые увеселения, богатые подарки являли Екатерину обходительною, величавою, щедрою. Сей князь будто проложил в Россию дорогу другим высоким лицам. Скоро за ним посетила Екатерину Гессендармстадская фамилия, из трех княжон которой одна избрана супругою цесаревичу. По возвращении двора из Москвы принц Генрих снова пожаловался в С.-Петербург, положил на мере брак овдовевшего великого князя и склонил его учинить посещение королю Прусскому.

Король Шведский, Император Римский и Наследник Прусский один за другим посетили также Екатерину. Праздники, торжества, всех родов увеселения наполняли не дни или недели, но целые годы, удивляя и восхищая всех сколько великолепием, столько же разновидностью и вкусом.

Блеск двора, наполняя лучезарностию столицу, от доверенных Екатерины отражался, казалось, сугубым сиянием..."

"Русские Фоксы и Шериданы" обратили на себя внимание еще Александра Ивановича Тургенева. Так вот что за этим названием... О, многое!

Но первопубликация неизвестного в "Записках" Винского пока не закончена. Публицистическому накалу нарастать, крепнуть. И кому, как не читателю, в том убедиться? Убедиться, читая уже следующие страницы "Моего времени". Едва ли пятая часть приводимого далее текста попала в печать. Мы сохраним и ее: из песни слова не выбросишь.

Из того же донесения Цензурного комитета:

"...и вообще, все действия Екатерины II и ее приближенных изображает в самых кровавых красках, находя в них отсутствие человеческого достоинства, нравственности, справедливости и религии".

Что же в действительности кроется за этими словами?

"...Хотя, по сущей справедливости, Потемкина нельзя порицать жестокосердным и гонителем своих недоброхотов; напротив, много было примеров, что он бывал нередко к ним



великодушен; по большей же части мстил своим злодеям одним презрением. История, однако, князя Петра Михайловича Голицына являет противное. Сей генерал-поручик, служивший всегда с отличием в армии, за год пред сим, главноначальствуя войсками против Пугачева, низложивши злодеев среди лютой зимы под крепостью Татищевой, освободивши Оренбург от осады, рассыпавши толпы мятежников и тем настроивши окончательное истребление изверга, по прибытии в Москву повел себя касательно нового любимца с совершенным невниманием, к чему подстрекаем был сколько знатностию своего рода, богатством и оказанными заслугами, столько же и природною ему гордостью. Лестный от императрицы прием и паче поддерживая в нем все сие, скоро произвел в столице слух, что он заступит место Потемкина, чему почти все верили, кому было известно, что князь и из себя довольно был недурен. Когда молва о сем событии становилась по Москве почти общею, Потемкин приготовил всему сему опровержение совсем нового изобретения. Утром одного дня явился в дом князя Голицына отставной майор Лавров и просил князя об особенном переговоре, на котором потребовал от князя удовлетворения за причиненную якобы ему от него во время служения еще его в княжнем полку обиды. Князь не только обиду, но и самого его забывши, отвечал вспыльчиво и грубо. Проситель сего, как видно, ожидавший, возразил полновесным ударом в лицо его сиятельства. Князь, взбесясь от сей неслыханной в России дерзости, бросился сам на него и, с пособием людей, схватив и связав злочинца, отослал с изветом в полицию. Вся многочисленная Голицыных фамилия требовала, громко и настоятельно, примерного дерзкому оскорбителю наказания: все, до кого сие происшествие доходило, судили об оном различно; но явное покровительство Лаврову, от Потемкина деемое, вразумляло каждого, откуда произошел удар. Учреждено по высочайшей воле особое для рассмотрения и суждения сего дела судилище. Голицыны, однако, одумавшись и видя, что сей суд послужит только к пущему их обесславлению, силились выдать, что Лавров был сумасшедший, но сей при первом допросе уничтожил сие домогательство, доказавши, что он не есть и никогда не был сумасшедшим. Чрез несколько же дней вдруг вышло именное повеление, где без каких-либо малейших предлогов приказывалось: "то дело предоставить суду божию". Сим публика удивлена; фамилия Голицыных уничтожена; Петр же, доведенный до беснующего отчаяния, не нашел лучшего средства успокоиться, как, вызвав своего сослуживца и почти друга бригадира Шепелева к единоборствию, дать себя убить. Тело его со всеми воинскими почестями предано земле; Шепелев отпущен на три года за границу; Лавров, прославленный и обогащенный, возвратился к своим пенатам. В сие время начали на театре появляться новые лица, из коих некоторые от мелких ролей переходили очень скоро играть первые. В числе сих Безбородько, приобретши своими дарованиями благоволение САМОДЕРЖИЦЫ, умел чудесно протесниться между двумя могучими САТРАПАМИ, то есть Потемкиным и Вяземским, и, создавши для себя новый генерал почт-директора чин, ежели не поравнялся с ними, по меньшей мере, сделавшись от них независимым, удержал до смерти Екатерины всю ее доверенность.

Гвардия, корпус со времен Петра первого всеми его преемниками до того уважаемый, что в нем не только офицеры, но и унтер-офицеры непременно должныствовали быть из настоящих дворян, в правление Потемкина наполнилась всех родов разночинцами, даже азиатцами.

Водворение в России иностранцев, Петром Великим сильно покровительствуемое, сколько было тогда нужно и полезно, столько по кончине его, особенно в царствование Анны, сделалось для России тягостным; так что Елизавета принуждена была издать закон о непроизводстве иностранцев, не знающих российского языка, в офицеры. С половины царствования Екатерины II не только европейцы, но всех стран чужеземцы начали у нас поступать в службу, производиться в чины, вписываться в сословие дворянства и занимать государственные должности. С.-Петербург, как бы рассадник всех сих нечистых растений, расплодил их по всей Империи. С сего времени начали появляться между гвардейскими

офицерами чухонцы, а в Сенате заседать маймисты. Немчуря же, как однодневная мошка, забивалась в мельчайшие изгибы государственного тела. Ни один народ не обнаруживает более неприязненности к иностранцам, как русский, но и нигде они не усваиваются так легко и повсеместно, как в России.

Производство в чины, до сего времени бывшее важным действием правительства и исполняемое по заведенным правилам, от Потемкина и Вяземского направлялось по одному их благоволению; посему купец наряжался в майорский мундир и отпущенник, по прокурорству, выходил в надворные советники. Места, должности, кресты и награждения сыпались как снег; и одни только честные да ленивые их не получали.

Екатерина в сих годах была самую деятельною. По преодолении первых затруднений одной ее головы достаточно было изображать, располагать, давать наставления, по которым министры ее при европейских дворах начали выступать надежнейшими шагами. Внутренние дела находились в чудесном движении: Потемкин переиначивал войско, созидая и разрушая все самопроизвольно; Вяземский открывал непрестанно новые театры, то есть наместничества, которые, подавая случай в разных местах Империи к пышным торжествам, поочередно отправляли ко двору с благодарениями депутации.

ИМПЕРАТРИЦА, плавая радостно в море величия, назирая все своим оком как самодержица, утопая в сладострастии как человеича, переменяла без малейших оглядков своих любимцев и тогда утомляла уже шестого явного; учредив же утешников своея ненасытимыя похотливости вожнейшими государственными чиновниками, ругалась бессовестно не только над своими подданными, но над целым, можно сказать, человечеством.

Тогда, наряду с другими, и я поклонялся сим божкам. Не видел в них иного, кроме красоты, сияния, могущества. Теперь, по рассеянии тумана, когда люди и их деяния представляются мне в настоящем своем виде, - я не могу довольно надивиться, как сих бесстыдных подлых

мушино-б... не покрывали и не покрывают справедливо ими заслуживаемыми бесчестьем и поношением? - Бедная блудница, продающая себя, дабы не умереть с голоду, за деньги, презирается от всех и считается хуже самых злодеев. Благородный или сиятельный мушина-б..., продаваясь бесстыдной Мессалине, вместо поругания домогается общего почитания.

Где высокое чувствование человеческого достоинства? Где нравственность? Где справедливость? Что Религия, сильнейшее, по-вашему, обуздание страстей, - единственный бич пороков? Почто она молчит? Какой честный, чувствительный человек не вознегодует, видя, как ваш первосвященник лобызает бесстыдных жены руку, еще носящую, может быть, пятны блевотин ее любодеев?

О! как я рад, благодарен, что сия мужественная мысль есть собственная моя, возрожденная негодованием в моем мозгу!

Разъезжайте гордо на английских конях, овдовевшие Екатерины блудники, мечите с сияющих ваших колесниц нерадиво очи на пресмыкающуюся чернь! Знаю, что миллионы вас не разумеют; что, тысячи вам поклоняются; сотни вам завидуют; но в глазах честных людей, но по самой справедливости вы не иное что, как продажные б..., несравненно подлейшие, низшие кабацких потаскух, поелику тех нужда несколько извиняет; а вас?., насильно себя погружавших в смрадную пропасть похотливый старухи, чем можно извинить?

Вечное проклятие ей, и всегдашнее поношение вам!

Dix!"

- "Dix". "Я кончил".

Дописана вторая глава "Записок", впереди третья ("Тринадцать лет, или Средние годы"), наверняка должны были последовать еще многие и многие страницы, но уже здесь

Винский излил, выплеснул на бумагу то главное, самое главное, что переполняло его мозг, его душу.

От описания своей, и только своей, жизни он смело шагнул к широким обобщениям, к выстраданным, честным, гневным выводам, касающимся судьбы всего отечества, всего народа.

Цензура сочла эти страницы пасквилем.

Винский писал не пасквиль, но приговор.

Долгожданная встреча состоялась.

Рукопись в картонном переплете открыла мне Винского не урезанного, не приглушенного - полнозвучного, дерзновенного, борющегося.

Предпринятые шаги оказались не напрасными. Значит, все? В поиске своем я достиг конечной цели? Но как много остается неизвестным, неясным! И в биографии этого человека, и в его творчестве...

Не знаю даже - этой ли рукописью пользовался Бартенев? Единственная она или есть двойники? Рукопись передо мною или список с рукописи?

Вопросов предостаточно. Без ответа оставлять их нельзя. Не обольщаясь достигнутым, пойдем дальше. Быть и "шагу пятому", быть последующим.

## **ШАГ ПЯТЫЙ: ПОД НОМЕРОМ 140 (195), или РАЗГОВОР ПО ДУШАМ**

Бог дал мне свет ума, Я истины искал. Но видел ложь везде... Г. Винский

Только для малыша-первогодка первый шаг г- это действительно первый. Для нас, людей взрослых, каждый последующий шаг есть продолжение предыдущего; его не отличить, не выделить среди бесчисленного множества других.

В благословенные летние месяцы я стараюсь делать хотя бы десять тысяч шагов в день и очень придирчиво поверяю себя вполне надежным шагомером.

Но на бумаге сделаешь за день один и не без оснований упрекнешь себя в торопливости. Сказаться она может и не тотчас, только уязвимость поспешности в конце концов проявится.

Шаги по земле и шаги в повествовании. суть действия разные. Одно безусловное, другое - условное. А коль условное, то его и поименовать можно. Направление этого, "условно пятого", шага - Киев.

Ни на день не выходило у меня из головы сообщение П. Е. Щеголева в предисловии к "Моему времени" издания 1914 года о рукописи, которая находилась в библиотеке Университета св. Владимира.

Щеголев ее не видел: "Эта рукопись осталась недоступной для нашего издания". Однако она там была. И в 1892 году, когда киевский профессор-историк В. С. Иконников выпустил свою книгу "Опыт русской историографии" с упоминанием рукописи Винского, и почти двадцать лет спустя, когда вышел "Обзор рукописей библиотеки Императорского Университета св. Владимира" (Киев, 1910), где "черным по белому" значилось: "...140 (195). Сочинения и переводы Гр. Ст. Винского: 1) "Мое время". Автобиографические записки. 2) Перевод из "Memoires secrets sur la R(ussie) par M..." (1802). Рукопись, писанная зятем Винского Я. М. Сизовым (1830). 4о. 114 лл. В бумажном переплете".

Только от 1910 года отделяет нас тоже более трех четвертей столетия, притом какого еще столетия - с революциями и войнами, каждая из которых коснулась Киева своим размашистым крылом, оставила на 1500-летнем богатстве свои глубочайшие отметины.

Библиотека и в огне полыхала, и разорению подвергалась. Знаю: жива, процветает - одна из лучших теперь в мире. Но не поручусь, что из старого сохранилось все - время бывает беспощадным.

...И вот очередная поездка в Киев, и снова я поднимаюсь по ступеням хорошо мне знакомой Центральной Научной библиотеки Академии наук Украины, вхожу в ее богатейший Отдел рукописей, жму руку Николаю Петровичу Визирю - давнему и доброму моему советчику в поисках шевченковских. Многое здесь отыскано. Но сейчас все мысли о рукописи под двойным номером 140 (195). Удастся ее отыскать, получить, прочесть?

На черном картонном переплете ярлык с шифром: "VIII140/ 195". На тыльной стороне обложки наборный экслибрис: "Отдел рукописей Библиотеки Императорского Университета св. Владимира". Титульный лист: "Мое время".

Но еще до титула, на листе, ему предшествующем, меня ожидает сюрприз. Тут вклеен заполненный с обеих сторон листок. Он посвящен Винскому и этой рукописи. Чернила поблекли, частично выцвели, но прочесть можно от начала до конца. Читаю:

"Винский умер в Астрахани в 1818 году и погребен на общем кладбище. Ему поставлен памятник, на котором надписаны стихи сочинения самого Винского:

Бог дал мне свет ума,  
Я истины искал.  
Но видел ложь везде.  
Светильник погашаю.  
Бог дал мне сердце.  
Я страдал.  
И сердце Богу возвращаю".

Писал эти записки Яков Мартыныч Сизов, бывший смотритель соляного озера Бертюль (женатый на дочери Винского); списывал их с записок самого Винского, которые пропали. Сизов умер в Астрахани в 1830 году от холеры. Оставил дочь Анну Яковлевну, которая вышла замуж за Владимира Ивановича Копытовского. Одна из нескольких дочерей Копытовского - Феликитана - вышла замуж за Павла Петровича Давыдова, бывшего судьей и предводителем дворянства в Астрахани.

"Дочь единственная Давыдова вышла замуж за моего родного брата Сергея Николаевича Хорват, по смерти коих остается малолетний Леонид Николаевич Хорват.

Эти "Записки" Винского найдены были после смерти Сизова и переплетены Копытовским. "Записки" подарены мне Анной Владимировной Копытовской, со слов которой и списаны эти сведения, которые подтверждены и старухой, ныне еще живой Анной Яковлевной Копытовской, урожденной Сизовой.

1881-го года, июня 21-го дня.

Хутор Литвинки Херсонской губернии Александрийского уезда".

Подписи нет. Но фамилия того, кто передал "Винского" в библиотеку, ясна: Хорват.

Библиотека Университета св. Владимира стала после Октябрьской революции "Всенародной библиотекой Украины", позднее - Государственной Научной библиотекой АН Украины, а рукопись, переходившая прежде из рук в руки, от поколения к поколению Копытовских, обрела в ней свой вечный (и самый надежный) дом.

...Над наклеенным листком помета, увековечившая благородное дело носителей этой фамилии. Хвала им и честь!

Нет, это не автограф. Это список, сделанный еще при жизни Винского, прямо с оригинала. Подтверждение тому - водяные знаки на бумаге. Большинство листов высвечивает: "1815".

Выходит:

- писалось "Мое время" в 1814-1815 годах;
- в распространении его активно помогали члены семьи;
- с собою в Астрахань Винский привозил и рукопись "Моего времени", и рукописи переводов, возможно, не всех, а наиболее дорогих переводчику;

- к числу этих самых дорогих он относил "Секретные записки о России" Карла Массона (1762-1807) - писателя-публициста, уроженца Женевы, в 1786-1796 годах служившего в Петербурге сначала преподавателем в Артиллерийском инженерном кадетском корпусе, а затем воспитателем и учителем сыновей генерал-аншефа Салтыкова, часто занимавшихся совместно с великими князьями Александром и Константином Павловичами, и, наконец, секретарем будущего Александра I; Карл Массой многое видел и знал, а обо всем узанном судил самостоятельно, смело.

Но о переводе потом - говорить о нем надо особо, не "между прочим".

Главное в киевской находке - это оригинальный литературный труд Винского "Мое время". Теперь, когда списков два (Пушкинского Дома и академической Библиотеки Украины), есть возможность сравнить, сопоставить - и их между собою, и их с печатными воспроизведениями, чтобы решить, основательно решить вопрос о будущем каноническом тексте, достойном изданий и переизданий.

Полный научный анализ - анализ по всем правилам весьма строгой (и точной) науки текстологии - проводить не тут. Но искус сопоставления, сравнения неудержим и - сопоставляешь тотчас, по мере чтения.

Списки, в основном, одинаковы. Однако первоосновой - вслед за утраченным оригиналом - является киевский. Наверняка более ранний. Не исключено, что авторизованный. Подчеркнуто расшифрованный там, где автор прибег к точкам и многоточиям вместо букв или полных имен. Содержащий в себе имена и слова, которые при последующем переписывании выпали, исчезли. Скажем, во "Введении".

У обоих списков есть небольшие расхождения в синтаксисе. Сопоставляя, вчитываясь, вдруг начинаешь слышать голос, интонацию Винского и понимать, как стремился он к сохранению на бумаге живого, непринужденного разговорного стиля. Отсюда обилие знаков: многоточия, вопросы, восклицания, "лишние", на первый взгляд, запятые; отсюда длинные периоды, которые можно было бы разделить на две, три, пять частей, но... в ущерб его интонации, его индивидуальной манере говорить, доказывать, убеждать. Сизов, переписывая, это понял с самого начала. Переписчик второго известного экземпляра что-то пытался подтянуть к общепринятой стилистике. "Чуть-чуть" подтянуть, но... к чему? Публикация Бартенева:

"Я намереваюсь писать о себе, для себя, для своих; следовательно, я буду писать, как умею, не поставляя себе образцами ни Ксенофонтов, ни Титов Ливиев, ниже К... Слог мой, подобно деяниям, будет прост, но правдив, в чем призываю на помощь мою богиню, истину".

Ленинградский список:

1) "следовательно, я буду писать - как умею...", 2) "ни Титов Ливиев...", 3) "в чем призываю на помощь мою богиню Истину".

Киевский экземпляр:

"Я намереваюсь писать о себе, для себя, для своих; следовательно, я буду писать, как умею, не поставляя себе образцами ни Ксенофонтов, ни Титов Ливиев, ни Волтеров, ниже Карамзиных. Слог мой, подобно деяниям, будет прост, но правдив; в чем призываю на помощь мою богиню Истину".

Что от Винского? Его, и только его? Конечно, последнее. Переписчик по своей воле Вольтера бы не вставил, да и заполнять многоточие после "К" не стал. Кстати, тут полная фамилия Карамзина вынесена еще и на поля.

Список, которым пользовался Бартенев, явно исходил не от этого, так сказать, "семейного", экземпляра, но, скорее, от иного, основывавшегося на "тургеневском", - без Вольтера.

(Обращение к "Мати Правде", отсутствующее в журнале и книге, завершает "Введение" в том и другом списках. Где оно было утрачено, сказать трудно...)

Доказательств в пользу высказанной раньше мысли о первооснове бартевской публикации можно отыскать немало.

"Начало учения грамоте". В журнале и книге читаем: "Сие глупо-варварское обыкновение (розги. - Л. Б.) было в употреблении почти во всех приходских школах, по причине дьяку некоторого доходишка". В ленинградском списке - слово в слово, с тем же пропуском, причем явным. В киевском пропуска нет: "...по причине доставления дьяку некоторого доходишка".

"Важность первого десятилетия". В печати - "Сие время есть важнейшее в жизни, потому что тут должно чрез воспитание добрые склонности в юноше посеять...". Ленинградский список - никаких расхождений. А в киевском вместо "юноше" - "юной душе". В изданиях и первом из списков - "обработания", во втором же "обработывания".

"Пребывание в Киеве". В печати и списке, что в Ленинграде, - "Списывать все подробности моего пятилетнего пребывания..."; в списке киевском - "...пятилетнего в Киеве пребывания...".

Предвижу, что читатель скажет: "до чего мелкие расхождения!" Но они по всему тексту, а потому и не могут быть случайностью. Хотя, справедливости ради, замечу: в наборном экземпляре было нечто и от "семейного", прежде всего - расшифровка упоминаемых имен, отчеств и фамилий (родителей, отчима, судьи в Глухове и других). Это свидетельствует, что каждый список имел свои особенности, пусть чем-то, но отличавшие его от других. Таких же и не таких!

Раньше я обронил, что список в Центральной научной библиотеке АН Украины мог быть и авторизованным. Откуда это предположение? Оно вытекает не только из времени переписки и точного знания того, кто переписывал, но и из некоторых помет в тексте - помет происхождения сугубо авторского. Например, там, где речь идет о "займах на закладные", первоначально говорилось так: "А всего осчастливлен я в сем благодатном доме 1500 руб., которые и получили все сполна, как помянуто будет в своем месте". Позднее на полях (сразу после суммы) появилась дописка: "обязательств же с меня взяли на 4 тыс. рублей". Не автора ли рука? Похоже...

В списке, сделанном Я. М. Сизовым в Астрахани, "Мое время" завершается не многоточием незаконченности или случайного обрыва повествования (как полагаешь, читая "Записки" в журнале и книге), но твердой, уверенной точкой: глава ("Тринадцать лет, или Средние годы"), а с нею, быть может, и первая часть, пришли к концу.

Но труд не закончен - это явно. Начиная его, Винский писал: "Я хочу писать мою жизнь и какие мне памяты важнейшие, случившиеся в течение оной происшествия". В течение жизни!.. А прочитанное доводит повествование лишь до 1794-го. Значит, до начала предпринятой Винским литературной работы остается двадцать лет, причем таких, которые вместили в себя многое: и ссылку, и освобождение по амнистии от дальнейшего наказания, и поездку на полгода в Петербург, и службу во всякого рода учреждениях губернии. Это, так сказать, канва. "Расшивая" ее, автор мог поведать о встречах сторонников Н. И. Новикова, о П. Е. Величко и других прогрессивных, свободомыслящих людях края, об Отечественной войне... - обо всем, что стало для него олицетворением Времени. Не мельча ("ничтожность не занимательна, следовательно, не может быть продолжительна"), но и не упуская сколько-нибудь важного ("пиши, сыскав себе предмет и что ты лучше знаешь"). Человек и Эпоха - вот направление его мысли. Не "человек вообще" - он сам. ("Порфирородный жил, имел свое время; я живу, имею мое; итак, каждому свое"). Детство и юношество описаны, молодость и средние годы тоже, впереди - лета зрелости и лета старости; в общем, то, что за пределами достигнутых сорока. "Теперь, имея 61 год от рождения, я многих еще заставляю себе завидовать по наружности; а внутренне? О! я еще живу". Живет не просто сам по себе, а и во времени. Своим Времени...

...Честно говоря, взяв в руки этот рукописный том, я надеялся на встречу с последующими страницами "Моего времени". Но... записки закончились на листе 66-м. Чистый "оборот", чистые листы 67-73 (предполагалось поместить еще что-то?), а далее, с 74-го, начался Винский-переводчик. И уже до самого конца, до оборота заполненного 108-го листа и не заполненных последующих были переводы из К. Массона - они, и только они.

Переводчик родился в нем ранее писателя ("в средних моих летах я много писал, перелагая из иноземных на отечественный язык истины, тогда у нас неизвестные"). Тут же переводчик подстроился вослед писателю... Случайность? Прихоть переписчика? А может, и не прихоть - дань логике?

"Бог дал мне свет ума, я истины искал..."

А меня все более притягивает сам Винский в его исканиях и его постижении истин жизни, времени, эпохи. Винский как свободолоуб, мыслитель, писатель. Личность из нашего прошлого, не утратившая своего значения ни для настоящего, ни для будущего.

Какой шаг станет следующим? Конечно же, прочтение переводов. Что нового скажут мне они о герое моих раздумий?

## **ШАГ ШЕСТОЙ: НАД СЕКРЕТНЫМИ ЗАПИСКАМИ или ЕЩЕ 79 СТРАНИЦ ВИНСКОГО**

*...Что касается России, то отсюда эти мемуары могли проникнуть лишь с трудом и только в руки немногих избранных...*

*От издателей русского перевода "Секретных записок о России" (1918 г.)*

Вдруг вспомнилась недавно прочитанная повесть Юрия Нагибина "Дорожное происшествие", а в ней такая мысль, вложенная автором в уста своей героини (слова эти я даже выписал):

"Едва ли есть другая великая страна со столь неразработанной историей; большинство наших представлений о знаменитых людях и событиях прошлого почерпнуто не из научных трудов, а из беллетристики. Русская философия - это литература, русская история - тоже литература. Вот и живут в нашем представлении пьянчуги-гвардейцы братья Орловы, воруги Меншиков и Шафиров, карикатурный Шувалов, половой психопат-меланхолик Потемкин, развратница Екатерина, интриган Безбородко, болван Клейнмихель, злой карлик Нессельроде, а кто строил Россию, кто собрал это непомерное государство и оберег от бесчисленных врагов, кто скрепил его расплзающееся тело дорогами, каналами, почтовой связью? Жалко, что у меня нет гуманитарного образования, как интересно было бы написать роман о созидательных силах России..."

Героиня повести, вероятно, от имени самого автора выступает в защиту жертв русских исторических романистов.

"Жертв" и впрямь немало. Но в лучших произведениях (к чему говорить о ремесленных поделках?) они отнюдь не невинны. Заслуги заслугами - со счетов их не сбросишь. Доброе остается, за него честь и хвала. Только не может оставаться без справедливой оценки деспотизм, подлость самодержавия, ни к чему превращать развратницу в святую, вора в идеал честности, пьяницу в убежденного трезвенника. Самодержавие отвратительно!..

...Винский переводил Массона. Только ли переводил?

В списке Пушкинского Дома, первоначально принадлежавшем А. М. Тургеневу, перевода страниц из "Секретных записок..." Карла Массона нет.

Общаясь с Александром Михайловичем, Винский наверняка почувствовал свои с ним разногласия в оценке Екатерины II и не стал их обострять, не захотел портить отношения с приятным собеседником и единомышленником во многом другом.

А.М. Тургенев писал: "Век Екатерины II: непрерывная цепь побед над врагом, до сего страшным в Европе, заставила признать мужество россиян у всех народов, и славе военной, непобедимой армии Екатерины не было равной. Первенство на горизонте политическом: слово повелительницы Севера решало судьбу царей и народов! Мудрые и благотворные законы и учреждения водворили в империи благоденствие, спокойствие, уверенность, изобилие и полное, никем, никому непререкаемое наслаждение плодов труда своего; неприкосновенность собственности, благоразумное и необременительное распоряжение... приковали сердца подданных Екатерины искреннейшею, чистою и неограниченною любовью. В чертогах богатого и в хижине земледельца Екатерина была равно любима искренно; имя ее произносили с благоговением, называя всегда императрицу: матушка, всемилостивейшая государыня".

По-иному писал Винский. Нет, он не преминул отметить, что Россия "в царствование Екатерины II-я приняла на политическом театре действительную роль", что "внутреннее ее состояние... было... довольно мочно", что "дешевизна первых потребностей жизни содействовала народ здоровым" и т. д. и т. п. Но и во внешней, и во внутренней политике видел он не только светлые, а и темные стороны, больше того, видел гниение, разложение общества, особенно его верхушки, и с горестью, с гневом вопрошал: "Где высокое чувство человеческого достоинства? Где нравственность? Где справедливость?" - и заканчивал свой дерзкий, годами выношенный монолог, словами: "Вечное проклятие ей и всегдашнее поношение вам!" (это, последнее, относилось уже к "овдовевшим Екатерины блудникам").

Астраханский знакомый Винского монолог его, как и всю рукопись, читал, а потом, со временем, принял во владение, долго хранил, передал для прочтения А. И. Тургеневу (от которого о "Записках" узнали в России) и в конце концов подарил Тургеневу-декабристу.

Иное дело - его, Винского, перевод "Секретных записок о России...". Не зная о нем Александр Михайлович не мог, однако желание иметь список с него не выразил, и в подаренном экземпляре оказалось только "Мое время".

Спасибо Сизову - соединил в своем списке и мемуары, и перевод. Это как бы цельный "екатерининский комплекс": оригинальное литературное произведение и один из его источников. В изданиях последующих они, думается, должны быть и вместе, и рядом.

В преддекабристский год А. И. Тургенев в своем дневнике записал: "Остался пить чай у Cuvier<sup>2</sup> и много говорил с женою и дочерью: Массой, писатель о России, родственник".

Массой, к тому времени уже давно умерший (год его смерти - 1807), был ему известен. Знали его по всей Европе. И прежде всего по главному произведению "Memoires secrets Sur la Russie pendant les regnes de Catherine et de Paul I", вышедшему в трех томах в Париже (1800-1802); четвертый, дополнительный, том увидел свет годом позже в Амстердаме.

"Писатель о России" - это звучало как звание и, несомненно, было признанием. Признанием того, насколько полезным для прогресса общества, для человечества стал его труд.

"В высшей степени интересные записки Массона были в свое время запрещены в России и потому остались неизвестными громадному большинству русского общества", - читаем в журнале "Голос минувшего" предреволюционного 1916 года.

Да, написанные и опубликованные на французском, "Секретные записки о России и в частности о конце царствования Екатерины II и правлении Павла I" почти тотчас вышли в переводе на немецкий, английский, датский языки, вызвали гул откликов, привлекли всеобщее внимание в европейских странах, но оказались перед наглухо закрытыми для них воротами Российской Империи, о нравах которой рассказывали с болью и страстью обличения.

---

<sup>2</sup> Георг Кювье - французский ученый.



Однако как бы ни были закрыты входы и въезды, Карл Массон, высланный Павлом I вместе со своим братом из России, в страну эту вернулся. Не самолично, но книгою. Для царя и его присных изданные тома представляли собою большую опасность, чем оба брата под небом Петербурга.

Немногие экземпляры проникли в Россию сразу по их издании в Париже. А все же совсем скоро читал их и Винский в своем степном оренбургском далеке. И без промедления взялся за перевод. Перевод для распространения среди близких ему по духу людей... (Как не вспомнить тут членов кружка А. Е. Величко - в будущем "Оренбургского тайного общества"!)

В верхней части 74-го листа киевского списка есть такое указание: "Перевод В.....го. 1802. № 1."

Рядом помещено название: "Выписка из Memoires Secrets Sur la R. par M..."

1802-й?! Но это же год издания книг в Париже! Оперативность удивительная...

Выписка? Прочтя тома, Винский переводит не все, не подряд, не буквально - отбирает то, что созвучно его собственным мыслям, что соответствует его личным взглядам на людей и время. Он не поддается искусству буквализма, ищет свои "эквиваленты смысла", излагает положения автора свободно, формулирует высказывания Массона по-своему, вносит в перевод то, чем живет сам.

Винский-переводчик глубоко пристрастен; так и слышишь его голос, его гнев. И "Выписка из..." становится произведением не только Массона, но и самого переводчика.

Вот к какому выводу привело меня чтение и сопоставление. Чтение того, что открыл мне киевский список. Сопоставление с оригиналом и - переводами опубликованными.

Это очень показательно: переводы "Секретных записок о России..." в печати стали появляться в предреволюционные и революционные годы (1916-1918). Революция как бы призвала их себе

на службу.

"Голос минувшего" - "журнал истории и истории литературы" - в течение почти всего 1916-го и частично в 1917-м под заголовком "Мемуары Массона о России" публикует главы из них в переводе П. Степановой; журнал отдал им около полутора ста страниц, заполненных весьма плотно.

Заключительная публикация здесь появилась в номере, прямо предшествовавшем Октябрю. Номер посвящался "светлой памяти В. И. Семевского" и открывался такими словами: "Прошел год. Исполнилось то, что только в мечтах лелеял дорогой наш друг и учитель. Свергнуто иго самодержавия, борьбе с которым была посвящена вся научная деятельность знаменитого историка русской революционной общественности...". В венок ему были вплетены и материалы, исходящие от Массона.

Вышла в свет также книга "Секретные записки о России..." в переводе "Н. На-го". На титульном листе ее такие выходные данные: "Москва, 1918, издание И. И. Казакова". (Правда, вся эта книга основывалась лишь на первом томе мемуаров Массона; продолжения, насколько мне известно, не последовало).

Во имя чего было предпринято это издание? "Книга Массона, - читаем в предисловии, - может и должна напомнить всем, кто имеет очи, сколь постыден лик пережитого прошлого". И там же: "Недаром даже такой великий знаток русской истории, как покойный профессор Московского университета Василий Осипович Ключевский... находил в них много "чрезвычайно интересного". Только поэтому издательство и взяло на себя труд в наше неблагоприятное время отпечатать и обнародовать эти старинные записки, доселе недоступные широким слоям русского общества и не существовавшие в русском переводе".

Нет, существовавшие, и чтобы убедиться в этом, надо обратиться к рукописной книге Г. С. Винского. Рукописной, не типографской? Но ведь списки, сделанные от руки, в то время

имели достаточно широкое хождение. По словам самого Винского, он "имел удовольствие" видеть им сделанные переводы привезенными даже из Сибири; что касается мест поближе (Казани, Симбирска), то там "они весьма многим были известны". Это, конечно, могло относиться и к переводу записок Массона.

...Сопоставлять есть с чем. С оригиналом... с публикациями XX века...

Предисловие к первому французскому изданию труда Карла Массона занимает десять страниц. В издании 1918 года ему отдано страницы три с небольшим, правда, достаточно большого формата. Винский ограничился несколькими строками, которые и взял эпитафией к своей "Выписке".

Вот они, эти строки: "Вы! желающие видеть Троны, окруженные рабами или обожателями! преклоните ваше рабственное чело долу, закройте сию книгу: в ней есть истины".

Для сравнения обратимся к переводу 1918 года: "...Не читайте дальше - те, кто желает видеть вокруг царского трона только рабов и прихвостней; опустите ваше холопское чело и закройте эту книгу: здесь лишь истина!"

И оригинал - соответствующие строки в тексте К. Массона: "...o vous qui ne voulez voir autour du tron des tzars gue des esclaves et des adoreateurs! baissez votre front servile, et fermer ce livre: il y a des verites".

Знающий французский - нет в том сомнения - предпочтение отдаст переводу Винского, интерпретации Винского.

С удовольствием отмечаешь редкое чутье переводчика-толкователя, переводчика-единомышленника, сумевшего извлечь из достаточно большого вступления самое броское, самое гневное и довести строки французского публициста до афоризма-эпитафия.

Первая глава у Массона и она же в публикации "Голоса минувшего", в издании 1918 года, совпадают как в существенном, так и в деталях. Она - о пребывании в Петербурге шведского короля. Цитирую подзаголовок: "Подробности и анекдоты, касающиеся предполагаемого его (короля Швеции. - Л. Б.) брака с великой княжной Александрой. Его портрет. Портрет этой молодой принцессы. Замечания об этом несостоявшемся браке. Германские принцессы, вызванные в Россию. Браки великих князей, подробности об их супругах и пышность двора в эту эпоху".

Винский от всего этого отказывается. Обыденные факты придворной жизни, присущие в той или иной степени любому двору, его не увлекают, его задаче не соответствуют. Екатерина II тут не столько деспот, сатрап, сколько "любящая бабушка". Впоследствии кое-какие моменты прочитанного (о планах Екатерины в отношении Швеции, о политических взаимоотношениях России с этой державой) он использует в своих "Записках", но от перевода или изложения десятков страниц отказывается сразу и начисто.

Иное дело - глава следующая, о Екатерине II. Тут Винский сохраняет если не все, то уж наверняка самое главное из переводимого оригинала. Как и Массой, он начинает непосредственно с обстоятельств смерти всемогущей императрицы, причем, сохраняя деликатность мужчины, в то же время находит наиболее хлесткие слова, дабы читатель мог ощутить отвращение ко всему тому, что происходило во дворце и вокруг него. Никаких сглаживаний даже в мелочах.

Для сопоставления положим перед собою "Голос минувшего".

Журнал: "...она все еще старалась казаться молодой и здоровой и не хотела пользоваться портшезом".

Винский: "...было для нее затруднением тем большим, что она силилась всегда выдавать себя молодой и здоровой и ни за что не хотела употреблять носилок".

Журнал дает далее следующий абзац: "Зная, как ей трудно входить наверх, некоторые вельможи с большими издержками переделали свои лестницы в отлогие скаты, покрытые коврами, для приема ее на праздниках и балах в честь короля..."

Винский не чувствует необходимости вдаваться в такие детали. Зато он не пытается умолчать, что Екатерина упала "навзничь между двух дверей, ведущих из ее алькова в..." и не заменяет

уборную гардеробной, как это сделал впоследствии переводчик журнала, не боится откровенных характеристик всего того, что происходило в эти часы близ (и вокруг) умиравшей повелительницы...

Последуем по страницам перевода, включенного в список Центральной научной библиотеки АН Украины. Прочтем вместе хотя бы некоторые места второй главы, уже отказавшись от сопоставления, но стараясь почувствовать всю остроту обличения и у Массона, и у Винского (в данном случае - прежде всего - Винского).

"...Царствование ее было блистательно и счастливо для нее и ее двора; но и конец особенно был весьма пагубен для народов и государства. Все части правительственной машины расшатались, все пружины ослабли: каждый генерал, каждый губернатор, каждый начальник стали особенными самовольниками. Чины, правосудие, безнаказанность продавались с молотка: около двадцати сатрапов под кровом любимца делили между собою Россию, грабили сами, попутали грабить доходы и ссорились за добычи, отнятые у несчастных. Подлейшие служки, самые рабы наживали с неимоверною скоростью чины, достоинства, богатства. <...> Никогда <...> грабеж не бывал ни столько всеобщ, ни столько удобен. <...> Начиная с верховного любимца до последнего пищика, все почитали государственные имения своими рудниками, из которых каждый вынимал для себя по силе, по умению, по возможности; иные же с таким бесстыдством пуцались в хищение, как чернь на быка, выставяемого для нее в некоторые праздники. <...> Вообще ничто не было столько мелочно, как вельможи в последние годы Екатерины: без малейших сведений, без всяких видов, без воспитания, без необходимейшего понятия о честности, они не имели даже тщеславия являть себя честными, что к истинному праводушию есть как ханжество к добродетели; жестоки как паши, вымогальщики как перевозчики, грабители как корчемники и продажные как б... Их можно было смело называть последнейшею подлостью в государстве".

"...Революция французская, бывши толико пагубна королям, особенный вред причинила Екатерине. Сияние, скоропостижно вырвавшееся из недра Франции, как бы из пожирающего жерла, оросивши на Россию бледный как молния свет, обнаружило в ней неправду, злодеяния и кровь, где прежде видали величие, славу и добродетели. Екатерина затрепетала от страху и негодования: сии французы, сии провозвестники ее славы, сии блистательные и льстивые повествователи, имеющие передать чудеса ее царствования потомству, вдруг стали для нее страшными неумолимыми судьями. <...> Судьба ей судила, заснувшей на лаврах, проснуться на трупах; слава, которую думала она обнимать, преобразилась в ее царственных руках фуриею, и законодательница Севера, забывши свои собственные правила, свою философию, явилась старою Сибиллою. <...> Что б она стала отвечать, ежели бы, в спокойное время, ей доказали, что она сама пособствовала и укрепляла Французскую Революцию, толико ненавистную в ее глазах? Это, однако же, правда..."

"Вся Европа наполнилась похвалами, когда она обнародовала свой Наказ. Екатерина созвала депутатов от всех народов своей пространной Империи и единственно для того, чтоб им прочесть свое сочинение и принять от них поздравление; ибо коль скоро совершилось сие от депутатов поклонение, они тотчас были распущены по домам: одни лишася милости за свою неуместную стойкость, другие награжденные пожалованиями за свою догадливую подлость. Рукопись Екатеринына положена в драгоценный ковчег для показывания ее любопытным иностранцам. Составили некоторый род Комитета для сочинения законов; и когда любимцы или министры не знали, куда кого-нибудь из своих покровительствуемых девать или когда желали шута иметь при себе не на свой счет, они назначали такового членом сего Комитета для получения только оттуда жалованья..."

"О, Екатерина! Слепляемый твоим величием, которое я видел вблизи, обвороженный твоими благодеяниями, которые учинили толико счастливых, прельщенный тысячью любезных качеств, коим удивляются в тебе, я хотел воздвигнуть памятник твоей славы; но кровь человеческая, пролитая тобою, совокупившись в яростный поток, притекает и его опровергает. Звук оков твоих тридцати миллионов рабов меня оглушает; неправда и злодеяние, царствовавшие твоим именем, приводят меня в негодование; я бросаю мое перо и вопию: да не будет впредь славы без добродетели и пусть порок и неправда, ежели им должно восседать на тронах, восходят на оные, увенчанные змиями Немезиды".

Читая эти пространные куски, забываешь, что перед тобою не страницы из оригинального литературного произведения Григория Винского, а "всего-навсего" перевод не им написанного текста.

Швейцарец Массой писал по-французски. Украинец по рождению, Винский переводил его на русский. Его переводил и - себя: свои мысли, свои чувства, свой гнев.

Написать такое от собственного имени - значило оказаться перед пропастью, подвергнуть себя риску неминуемой расправы, еще более жестокой, чем та, которая обернулась для него десятилетиями неволи в Богом забытом крае.

Перевод - относительно "легальная" форма высказать свое, сокровенное под маркой дословной передачи того, что написано другим, а вовсе не тобою, под видом беспристрастного переложения на иной язык истин, которые вполне могут быть тебе чужими и чуждыми.

Мало ли знаем мы примеров, когда под прикрытием понятия "перевод" обретали крылья, получали распространение произведения, которые без этого оставались бы никому не ведомыми?

Подлинный автор жертвует при этом своим именем, зато пускает по свету дорогие ему, им выношенные идеи. Идеи же - это то, из чего соткана жизнь человека мыслящего: самое важное в нем, самое главное.

Винский переводил в Массоне то, с чем был безусловно согласен сам. Переводил "лично", пристрастно, темпераментно - так, как со временем стал писать сам. Для него это являлось и пробой пера, и пробой голоса. Голоса, который зазвучит в "Моем времени".

...Пока шел только 1802-й...

От второй главы неотделима третья. У Массона - "Des Favoris", у Винского - "О Любимцах". Подчеркнуто просто - о явлении, которое расцвело при Екатерине II. "Двенадцать главнейших любимцев один за другим занимали сие место, ставшее главнейшим в государстве" - читаем в начале этого рассказа о фаворитах императрицы.

Для Винского неважны подробные характеристики каждого; они остаются за пределами перевода (а точнее - пересказа) подлинника. На "русских страницах" сообщается только наиболее существенное, но и этого вполне достаточно, чтобы подвести к выводу о том, что происходило в царском дворце в то время, когда войска России вели трудные походы, а "народ умирал с голоду и бедности и был пожираем грабителями и мучителями".

И вот его, Винского, резюме. Его прежде всего. Не выражай оно мыслей и чувств собственных, не звучало бы так, с такой страстью!

"Читая сии записки, не придет ли кому в голову, что это соблазнительные сказки из "Тысячи и одной ночи" или что это мечтательное изображение Семирамиды Ассирийской, около которой для шутки помещены российские чиновники? Столько бесстыдства, наглости и подлости в конце 18-го столетия, во времена, когда философия не только словом, но уже и делом открывает глазам людей свет истины пред лицом целой Европы, покажется каждому невероятным. Не мечтаешь ли и тебе, о, Р(оссия), что это ложь, выдуманная из злости завистниками великой, премудрой твоей Государыни? Ах! Как бы я желал, как бы я был рад, ежели бы я мог самого себя уверить, что все здесь мною написанное я видел в мечтании, что я, как один из семи ефесских отроков или как второй Евмедин, десять лет моего в Петербурге

пробывания проспал и все сии страшные, мерзкие, невероятные дела видел и слышал во сновидении. Но нет, здравый смысл, освещаемый лучом истины, проникает всего меня; я чувствую во глубине моей души, что я был очевидцем многого и что все мною написанное есть самая истина. Многое еще можно и должно бы обнародовать, но я считаю и сего довольным для воспаления благородного сердца негодованием к бесчестной, лютой, кровожадной, бесстыдной б..., к ее гнусным, алчным наложникам и к раболепственнейшей подлости терпевших и поддерживавших подобные мерзости. О, Екатерина, как мелочны, ничтожны все твои деяния и хвалимые качества, когда их сравнить со злом, причиняемым от тебя несчастному человеческому племени".

За Массона, за его "Секретные записки о России" Винский взялся не как за произведение историческое. Нет и нет, - он писал сугубо современное, жгуче современное.

Со времени смерти Екатерины II - в конце 1796 года - минуло только пять лет. За это пятилетие успел поцарствовать - и тоже уйти в небытие - Павел I. На престоле утвердился новый монарх - Александр I.

Как раз в тот год, когда Винский раздумывал над своим переводом-переложением, Радищев писал оставшуюся незаконченной поэму "Песнь историческая", а в ней такие строки:

Ах, сия ли участь смертных,  
Что и казнь тирана люта  
Не спасает их от бедствий;  
Коль мучительство нагнуло  
Во ярем высоко выю,  
То что нужды, кто им правит?  
Вождь падет, лицо сменится,  
Но ярем, ярем пребудет.  
И, как будто бы в насмешку  
Роду смертных, тиран новый  
Будет благ и будет кроток;  
Но надолго ль? - На мгновенье...

Это писано под конец его многотрудной жизни: в сентябре 1802 года Радищев покончил с собою, произнеся напоследок вещи свои слова: "Потомство за меня отомстит".

1802-й стал годом первого датированного произведения Винского. Того самого перевода, в раздумьях о котором пребываю я сейчас.

Да не упрекнет меня читатель в непомерном порою цитировании. Где еще может он прочесть этот труд? Где может услышать голос Винского, как не на страницах этой книги? Ради Винского она и пишется. А еще - ради Правды.

Преыдушие страницы-главы у Винского обозначены как "№ 1". Так выделена им екатерининская часть "переводного комплекса". "№ 2" - это уже Павел.

Начинается рассказ о восшествии его на престол сразу и прямо, без особых преамбул: "После убийства мужа, Ивана, несчастной Италианской Княжны и хищения престола наивеличайшее злодеяние Е<катерины> было, может быть, ее поведение в рассуждении ее сына. Жена-убийца, без сомнения, не могла быть доброю матерью..."

Вслед за Массоном Винский старается разобраться в истоках характера Павла I, Разбор этот самостоятелен и критичен. Вот только один пример.

Массой пишет (и в переводе "Голоса минувшего" это воспроизводится дословно) так: "Дурным обращением она (Екатерина. - Л. Б.) подавляла в нем те качества, которые проявлялись в детстве. Он был умен, деятелен, тяготел к наукам, любил порядок и справедливость: но все это погибло, не получив развития".

Винский преподносит ту же мысль по-своему: "Говорят, что однако ж весьма трудно утвердить, что в юности он имел изрядные качества, которые совершенно пропали за недостатком воспитания".

Тут нет уже безоговорочного утверждения (есть предположение, не более того). "Однако ж весьма трудно утвердить" - это заявление Винского, берущего под сомнение то, что кажется ему сомнительным.

Даже в публикации 1916 года опущены слова, которые так важны для Винского (по его переводу и цитирую): "Когда рос<сияне> не имеют никаких прав, их самодержцы прав имеют еще меньше; со времен П<етра> I, который присвоил себе власть назначать своего наследника, престол царский всегда почти занимаем был хищниками, которые низвергали один другого не с меньшею жестокостью, как и оттоманы". Не менее крамольным казался издателям "Голоса минувшего" обзор этих жестокостей: от Екатерины I до Екатерины II, через козни, ненависть, убийства, особенно наглядные в последние три десятилетия. Винский такой обзор дает - пусть краткий, но безусловно выразительный.

"Голос минувшего": "Ужасный предсмертный крик Екатерины..."

Винский: "Ужасный вопль, испущенный при издыхании Екатериною, провозгласил Павла императором и самодержцем всероссийским..."

Так трансформируется Винским и все последующее. Там, где у Массона (и переводчиков предреволюционной поры) идет плавное, спокойное изложение фактов, у него, Винского, едва сдерживаемая эмоциональность, нарастающий накал политических страстей.

"Каждый час приносил мудрую перемену, праведное наказание, заслуженную милость; двор и город, чудясь, не знали, что о сем подумать", - подчеркивает Винский, излагая, по следам Массона, первые действия нового монарха. "Я его (добро. - Л. Б.) собрал вместе, хотя оно выходило из его (Павла. - Л. Б.) головы между бездной насилий, вздоров, мелочей, совершенно их затемнявших".

Винский реферирует самое, с его точки зрения, существенное.

У Массона довольно подробно описывается польский национальный герой Костюшко; факт следует за фактом, пример за примером. Винскому достаточно нескольких строк: "Поступь его с храбрым, но несчастным Костюшко была бы одна из благороднейших, ежели бы побуждением к оной было его великодушие. Но сие весьма известно, что Костюшко обязан своею свободою ненависти Павловой к его матери и его старанию действовать во всем в противность ее намерений". Коль скоро "сие весьма известно", то и не считает он нужным воспроизводить все. Но оценка, вывод сомнений не вызывают.

Массой в подробностях излагает, какие похороны организовал Павел своему убитому отцу Петру III. Обстоятельства всего этого Винскому не столь уж важны. Ему достаточен общий вывод: "...все, что он (Павел. - Л. Б.) ни делал при сем случае, должно относить к его тщанию заплатить своей матери <...> за досады досадою". А из "деталей" вводит он в изложение всего одну, но какую выразительную: "Лучшее, что он мог придумать, было велеть Алек. Ор<л>ову следовать за гробом своего отца". Убийце - за жертвой...

Многое у Винского опущено. В том числе и немало примеров, характеризующих произвол Павла I. Скажем, такой: некая госпожа Лихарева была отправлена в тюрьму за то, что, проезжая в карете, не заметила царя и не приветствовала его. А она в это время спешила к умирающему мужу; он скончался, так и не дождавшись жены.

Зато в полный голос зазвучал факт иной, касающийся того, что Винского, чувствуется, занимало особенно. Воспроизведу это место полностью.

"Слух разнесшийся, что Павел хочет ограничить власть помещиков над их рабами и учредить их работы и доходы от них как с коронных, произвел повсеместную радость. В сие время один офицер Федосеев, едущий из Петербурга к своему полку в Оренбург, по дороге, как обыкновенно случается, был крестьянами вопрошаем об столичных происшествиях; он

рассказывает, что видел, и сказывает, что слышал об указе, имеющем быть скоро обнародованным касательно крестьян. От сего разносится молва, и несмысленные хлебопашцы в Тверь и Новгород пушаются в необдуманную радость; начинают по обыкновению русскому питьем, шумом, драками, непослушанием изъяслять свое преждевременное веселие. Помещики принимаются их усмирять строгостями и жестокостями; сие доводит до явного неповиновения. Открывают причину их заблуждения. Для усмирения их посылается Репнин с войсками; офицер же, производитель сей ложной надежды и рассеявший ее невинно - догнан, закован в железы, возвращен в столицу как заводчик бунтов и проповедник вольности. Кто может слушать, не содрогаясь от негодования: Санкт-петербургский Сенат приговорил его к смерти; но как смертная казнь тогда еще была не введена, он осудил его разжаловать, высечь кнутом и послать вечно в работу, ежели останется он жив после наказания. Павел подтвердил сие лютое осуждение. Вот первое уголовное дело, которое увидели обнародованным; Сенат не устыдился называть правосудием и законным суждением дело самое кровожадное, которых, конечно, немало случалось и при Екатерине, но в тишине и тайне, коими обыкновенно покрывается злодеяние".

От "власти помещиков над их рабами" до конечного слова "злодеяние", через весь этот эпизод проходит сочувствие Винского и к тем, кто страдает в рабстве, и к тем, кого преследуют за отзывчивость к рабам-крестьянам, "которых тяжелые оковы Павел прилагал попечение еще крепче склепать".

Вспоминается Радищев, его "Путешествие из Петербурга в Москву": "Я взглянул окрест меня - душа моя страданиями человечества уязвлена стала". И его "Вольность" вспоминается:

Чело надменное вознесши,  
Прияв железный скипетр, царь,  
На громком троне властно севши,  
В народе зрит лишь подлу тварь.  
Живот и смерть в руке имея:  
"По воле, - рекл, - щажу злодея;  
Я властью могу дарить;  
Где я смеюсь, там все смеется;  
Нахмурюсь грозно, все смеется;  
Живешь тогда, велю коль жить".

Винский соединяет главы, меняет местами абзацы и строки, краткими связками заменяет страницы оригинала: "Я не упомяну ничего о переобразовании Армии; чудесности, в ней введенные, довольно всем известны..."

А у Массона здесь целая печатная страница (даже больше страницы).

"Караульный вкус" Павла (меткое словосочетание - придумка Винского) раскрывается по всему ходу повествования: от его законов до его... любви.

Авторы (описки тут нет - именно авторы; оба выступают на равных) мыслят смело и широко, хлестко бичуя беззаконие, тиранию, самовластье. Сопоставляя дела Петра III и Павла I, они приходят к выводу: "Видя между сими двумя государями толико черт сообразности, можно бы, кажется, из сего заключать и ожидать одинаковой участи сыну, но сие невероятно, по крайней мере отдалено, и должно быть произведено отлично".

Ничего не скажешь: замах так замах!

(Кстати, дальше речь идет о наследниках престола, первый из которых, Александр Павлович, в 1801-м уже стал монархом. Переписчик перевода Винского, спасаясь кары, нечто существеннейшее в этом месте убрал, заменив строкою точек. Но часть характеристики осталась: "Ему недостает смелости и надежности находить людей заслуженных и достойных, которые обыкновенно сами скромны и застенчивы; опасно, чтобы самый наянливейший или бесстыднейший, который всегда бывает самый невежа или злой, не успел им овладеть. Попущая

себя идти по направлениям посторонним, он не предается довольно побуждениям своего сердца и разума. Казалось, он потерял охоту научиться...". Да, Массой и Винский раздумывали не только над прошлым!)

Переписчик что ни лист, то осторожнее, осмотрительнее. На иных страницах пропусков и по два, и по три. Все эти страницы - о Павле I, но касаются не только его. Винский пытается быть объективным и не уходит от характеристик положительного в этом императоре (например, "сохранял порядок и строгость во нравах посреди повреждения и беспорядков двора его матери"). Однако возвеличивать его не старается.

"Написать <...> все черты свойства Павлова есть выше моих сил. Известно, сколько трудно изобразить ребенка, коего лицеизображение не основалось, то же самое и с человеком вздорным. Ко оправданию его можно только сказать, что Революция Французская, подобно небесному огню, опровергнувшему некогда его тезоименита Савла, или Павла, поразила и расстроила его голову; она помешала и его матери, череп бывший гораздо его крепче".

Может, и не совсем складно под конец сказано, но мысль понятна безусловно.

Опустив некоторые подробности солдафонства Павла I, Винский приберег для завершения "перевода № 2" эпизод "маневров" в Гатчине, рисующий тогда еще будущего царя, а равно и его приближенных, в самом смешном и жалком виде. "В один день задумавши учинить самые хитрые своими войсками движения, он поместил в<еликую> княгиню на одном балконе замка, дабы она служила тычкою или точкою нападения его солдат. Сам принял он команду защищать сей пост..." В это время полил дождь. Супруга оставалась на балконе - уйти во дворец Павел не позволял. "Но часы протекали, дождь усиливался и неприятель не являлся..." Оказывается, командовавший "нападением" майор до того запутался, что предпочел прикинуться больным и, оставив команду, уехал домой. "Павел, взбесясь <...>, пришпоривает своего коня, скачет во дворец и запирается на целый день в своей комнате, кинувши и армию свою под дождем, и великую княгиню на балконе, и всех приглашенных к сему мудрому маневру..."

Действительно, эпизод этот в высшей степени выразителен. И вот что любопытно: у Массона он изложен в ином месте, в одной из сносок, Винский же его приберег для концовки и подал броско, "ударно" - так, чтобы не приметить и не прочесть не смог ни один читатель.

Он не столько переводил, сколько создавал свое "по мотивам Карла Массона". И свой текст, и - даже - свою "архитектуру" произведения.

"Перевод Вин...го. 1802, № 3". Это уже по второму тому парижского трехтомника. Три главы-фрагмента; у каждого своя тема.

О революции и просвещении - очерк начальный.

"...Я не утверждаю, чтобы в России не было вовсе просвещения и любителей истины; но причастные им, будучи благоразумны, для собственных своих выгод покровительствуют невежество и приводят в умственное положение рабствование", - вот что вычитывает Винский у Массона, воспроизводит мысль его по-русски, но тут же считает нужным открыто высказаться сам. Что думает о просвещении он... Какие надлежит просвещению решать задачи...

Так рождается "Примечание переводившего" ^- единственное такое во всем труде: "Просвещение, ежели оно не делает человека во всем пространстве смысла честным, не должно носить сего священного названия. Оно не просвещение будет, но знание обращать случаи в свою пользу, уменьше искусно носить личины добродетелей. Любитель истины никогда не возымеет адского благоразумия покровительствовать невежество и охорашивать, под каким бы то ни было видом, рабство. Прочь от нас подобные просвещение и истина; лучше стократ праводушное невежество, нежели хитростное просвещение. Можно, однако, утвердительно сказать, что есть в Р<оссии> истинные любомудры, праводушные любители истины, но они так малочисленны, так одиноки, так человеколюбивы, что <...> они находят единым возможным и дозволенным в тайнике своих сердец чтить и растить Ф<ранцию>, быть полезным своим



братиям легкими, на первый случай, открытиями истины, благотворить нуждающимся, сострадать терпящим, стенать об общих бедствиях отечества и молить источник всякого света, дабы он сам препроводил своих чад ему известными безмятежными путями к их благоденствию. Сие благоразумие не есть также добродетель; по меньшей мере оно приневоление, необходимое, но не произвольное и не устремляющееся прямо для своих, на счет других, выгод".

По всему тексту рассыпаны, словно самородки, мысли, светящиеся политической дерзостью.

"Запрещение книгопечатания и учреждение тройной цензуры возбудят рвение во всех приверженцах учения, чтобы беречь, назирать и питать те семена, коими они запаслись <...>. Отражение угнетения по сей части произведет неожиданные успехи по той одной причине, что запрещаемого всегда ревностнее ищут, хотя бы для одного любопытства; но сие любопытство доставит пользы. Благодаря слабоумию своевольника и его приверженцев, они сами воздвигают себе врагов и роют себе могилу".

"Как на самом деле <...> в стране, которая не окружена тройною медною стеною, в стране, где многие умеют читать и некоторые мыслить, может еще существовать подобное правительство? Заглушая разум великими деяниями, можно его принудить молчать. Но самовластие есть болван, у коего глиняные ноги и железные руки; тело его исполинское, непустое; глава его скрывается в густом облаке, которое рабы почитают небом; одни дураки ему поклоняются и трусы ему раболепствуют".

"У вас (это к народу России. - Л. о.) еще будут Ермаки, Разины, Пугачевы прежде, нежели родятся Лафайеты, Дюмурье и проч. Вы долго еще будете подвержены всем ужасам перемен дворских, нежели увидите перемену народную. В вашей императорской семье долго еще отцы будут убивать детей, как Петр I Алексея, тетки заключать в вечные темницы племянников, как Елизавета Иоанна, жены давить своих мужей, как Екатерина II Петра III (пропуск переписчика. - Л. Б.), <...> пока народ, утомленный толикими злодеяниями и устыдившись своей подлости, позовет сам своего последнего тирана на суд. Но наконец сие достопамятное время должно прийти в Россию, как и во все другие места: шествия свободы, подобно ходу времени, медленно, но верно..."

Эти мысли как бы осенены радищевским светом - зажатым в темнице, но живым и животворным вопреки всему. Эти идеи - из арсенала "Путешествия из Петербурга в Москву" и "Вольности", ставших путеводителями и героями времени.

Конечно, останься они лишь на французском, такие сопоставления выглядели бы преувеличенными, чуть ли не "притянутыми за уши". Но сейчас это мысли, идеи россиянина: им принятые, им выстраданные, им снаряженные в путь по России.

Один экземпляр...

Привыкнув к тиражам XX века (миллионы! тысячи!), мы забываем, что в книжную лавку купца Зотова в Гостином дворе Радищев в мае 1790 года доставил всего 25 (!) экземпляров своей книги, и этого оказалось достаточным, чтобы взбудоражить и двор, и столицу. "Путешествие..." вышло из домашней типографии без указания на обложке или титуле имени автора.

И переложение "Секретных записок...", конечно, не могло иметь тогда вот этого указания: "Перевод Вин...го". Разве что в экземпляре "авторском" или "из семейного архива"...

Когда я это писал, мне известно не было, что да, такой экземпляр существует, и опять же в Ленинграде.

Меж тем еще в 1966 году попал он в Рукописный отдел Библиотеки Академии наук и был записан в очередную книгу текущих поступлений, где получил свой нынешний номер: 1193.

Сорок четыре листа скорописи - одним почерком, одними чернилами. Переплет основательный, кожаный. На верхней крышке его от руки написано: "Павлу Елисеевичу Величке, пану доброму, от Винского, в знак чистейшей приверженности. 3 ноября 1803 г. в Оренбурге".

Выходит, что я не ошибся, упомянув Величко уже в самом начале главы, перед тем, как приступить к характеристике отысканного в Киеве перевода?

"В знак чистейшей приверженности..." Это и о симпатии человеческой, и о близости идейной. Человеку мыслящему нужны единомышленники - Величко, чувствуется, из таких. Не стал бы иначе дарить ему запретное, крамольное - дарить в открытую, с посвящением и подписью.

Тексты почти одинаковы - тот, что здесь, и тот, что в Киеве. Различия есть, иногда существенные. При решении вопроса о публикации приоритет в данном случае будет, конечно, за экземпляром ленинградским, удостоверенным самим автором. Значение его исключительно. Но для меня сейчас всего важнее именно это собственноручное посвящение на рукописи, побывавшей чуть не за два века во многих руках.

Киевский список, между прочим, тоже в руках побывал. Многих ли - не знаю, но побывал.

Так появились на полях пометы гневного, и даже ругательного свойства: "видно, что писал безбожник" и - безоговорочная - "подлец". Они сопровождают абзац, вершиной которого являются слова: "Про россиянина можно сказать: правительство его оподляет, вера оскотинивает и мнимое просвещение его развращает"; а дальше... дальше выражается удивление: "и чего не долженствовал иметь сей народ, который в нынешней своей бедности и в своих оковах являет столько прекрасных качеств!"

Да, несомненно, не со всем у Массона можно согласиться. Иные "качества русского народа" им поняты превратно, восприняты извращенно, преувеличены или, напротив, недооценены. Винский не мог не обратить на это внимание. Но... переводчик не вправе подменять чужие взгляды своими. Памятуя о том, он сохранил и некоторые из таких - "неприемлемых" - выводов, как равно оставил и заявление: "Народ российский, народ храбрый и сильный, любезный и гостеприимный, <...> прости чистосердечие иностранца, осмелившегося тебе начертать, как он тебя видел, и который, ежели бы говорил о своих соотчиках, не умолчал бы истины. Изображая твои добры качества, я являл твое сердце; начертывая твои пороки, я показывал плоды твоего рабствования".

Это относится и к фрагментам заключительным (во всяком случае, из тех, которые до нас дошли). Они носят названия: "Гинскократия", "О воспитании россиян" и касаются: первый - самовластья женщин-императриц, женщин-помещиц, а равно падения нравов среди женщин из господствующих кругов России, и второй - важного вопроса воспитания российского дворянства, влияния на этот процесс "учителей иностранных".

К переводам, однако, еще будет повод вернуться. Этим переводам - и другим.

Нити к "Моему времени" тянутся и от них. Побудительный повод ко многим раздумьям Винского, его спорам с самим собой и официальной Россией - кропотливая, подвижническая его работа по переложению на русский язык "истин, тогда у нас неизвестных".

Писателем он становился уже в то время. Писателем России и о России.

## **ШАГ СЕДЬМОЙ: ЗАГАДКА ИОАННА ГЕННЮЕРА, или ЧТО ХРАНИЛ Д.С.С. ВЕЛИЧКО**

*...два литературных труда, или перевода, принадлежащих Винскому:  
"Оратор Французских генеральных*

*штатов в 1789 году" и "Драма в 3-х действиях о спасении епископом Иоанном Геннюером реформатов, вблизи Парижа, в городе Лизье, 27 августа 1572 года".*

«К жизнеописанию Г. С. Винского»

Помните, еще при начале поиска натолкнулся я на сообщение о том, что "в бумагах Велички" сохранились "два литературных труда, или перевода", Григория Винского? Даже названия там указывались. "П. Б." - автор заметки в "Русском архиве" (это был, конечно, Петр Бартнев - издатель, редактор и поистине душа журнала) - видел, по всему судя, их сам, своими глазами.

Видел-то видел, но публиковать целесообразным не счел. И где они сейчас - кто знает. "Бумаги Велички" где-то лежат. Но где?

Искать трудно всегда, во всех случаях. Искать вслепую - труднее трудного. Для того, чтобы поиск "слепым" не был, к нему надо быть готовым.

Так что же это такое? Труды оригинальные или переводы?

Что искать?

1789 год - год Великой Французской революции. Значит, произведение посвящено ей, Революции во Франции, им, событиям, Революцией вызванным. Драма? Повествование? Публицистика?

1572-й, 27 августа... Варфоломеевская ночь! Историческая основа сомнений не вызывает. Жанр тоже. "Драма в 3-х действиях", посвященная тому, что происходило в XVI столетии. Но как мало этого для продуктивного поиска!

"Оратор Французских генеральных штатов..." Анахарсис Клоотс писал: "В Париже было место оратора человеческого рода. Я не уезжал отсюда с 1789 г.". Революция выдвинула революционных ораторов - пламенных ее поборников-двигателей. Кому именно посвятил свой труд - скорее всего, перевод - Винский?

Епископ города Лизье... Кто находился на этом высоком посту в период Варфоломеевской ночи? В заметке его имя-фамилия ("Иоанн Геннюер") звучат не совсем по-французски. Скорее - так, как ежели бы транскрибировал человек, впервые столкнувшийся с этим именем на бумаге и никогда до того не слышавший его в живой разговорной речи. Не попробовать ли перевести русские буквы, в журнале приведенные, на алфавит французского языка? Жан... Анньюе... А вот и подтверждение: епископом Лизье был именно Жан Анньюе и отличился он по-настоящему во время тех трагических событий!

Варфоломеевская ночь в художественную литературу вошла давно. Многие нам известно чуть ли не с детства. Читано и перечитано каждым.

"О спасении реформатов..." Кто писал об этом? Чье драматическое произведение привлекло Винского? "...В средних моих летах я много писал, перелагая из иноземных на отечественный язык истины, тогда у нас неизвестные..."

И сейчас все более думается о переводах. Ищу первооснову их - подлинники.

"Продолжая чтение, я скоро заметил, что в российских книгах много недоставало для удовольствия моего любопытства, и для сего начал знакомиться с французскими... Первый Вольтер захотел меня читать и рассуждать. Занимательный слог, важность вещесловия, смелые истины тотчас мною переведены и сообщены знакомым, как новость..."

Нет, у Вольтера драмы о спасении реформатов 27 августа 1572 года нет.

"...Я ощутил в душе моей неизъяснимое влечение полюбить сего смелого сочинителя, твердого поборника истины и неустрашимого защитника прав человечества. С сего времени

(прочтения "L'an 2440". - Л. Б.) сей знаменитый писатель и ему соответствующие сделались моими любимейшими авторами..."

Теперь речь идет о Мерсье. Луи Себастьяне Мерсье (1740- 1814) - одном из тех, кто давно занял место в почетном ряду французских мыслителей и художников XVIII века, которые, по словам К. Маркса и Ф. Энгельса, просветили "французские головы для приближающейся революции".

Мерсье... Не писал ли "драму в трех действиях" на таком именно материале он? Есть! "Жан Анньюе, епископ Лизье"!

Он написал эту драму к двухсотлетию Варфоломеевской ночи, которое исполнялось в 1772 году. Написал о событиях и лицах, которые находились под запретом официальной цензуры.

На Мерсье это могло навлечь всяческие кары. Потому-то, опасаясь преследования, автор опубликовал свое произведение анонимно. Только в 1775-м, после смерти Людовика XV, решился он, наконец, поставить на пьесе свое подлинное и полное имя.

К тому времени драма уже имела определенную сценическую историю. Правда, не на парижской сцене, а в провинции. В Париже постановка ее была запрещена категорически. Зато на сценах провинциальных театров успех постановки оказался шумным.

Столица Франции впервые увидела "Жана Антоне" в 1790 году - на гребне революции. Произведение Мерсье прозвучало смело, новаторски, революционно, оно стало заметным событием и в истории французской драматургии, французского театра, и в политической жизни страны.

Не одной страны. Пьеса получила распространение. Если же вспомнить о переводе ее... Идеи, ради которых написал свою драму свободомыслящий автор, становились достоянием не только его соплеменников и сограждан.

Мерсье - а вслед за ним Винский - обратился к XVI веку, к эпохе жестоких, нескончаемых религиозных войн, к овеянной романтикой личности короля Генриха IV.

О, кто-кто, а он издавна вызывал интерес французов. Сей властелин вошел в народные песни и предания как личность мудрая и благородная, король, близкий к народу и связанный с ним самыми тесными узами, как национальный герой. С его именем связывались мечты о просвещенной монархии. Вольтер посвятил Генриху IV свою поэму "Генриада" (1720); в ней он откровенно противопоставил справедливость (и веротерпимость) своего героя непомерному произволу абсолютизма и бесконечному, не знающему границ фанатизму католической церкви. Особенно возрос интерес к этой личности во второй половине XVIII века. Причиной тому было непрерывное усиление оппозиции в отношении монархии Людовика XV. И вот пьеса Мерсье.

...В небольшом французском городке Лизье замышляется (и готовится) избиение протестантов.

Автор вводит своего читателя и зрителя в мирную, дружную, живущую в согласии и счастье семью протестанта Арсена - старого и уважаемого горожанина. Волею судьбы она оказывается втянутой в водоворот самых трагических событий.

Завязкой действия служат первые известия о беспорядках, начавшихся в Париже. Кульминация наступает тогда, когда происходит столкновение местных гугенотов с воинством католиков, направленным в Лизье по приказу Карла IX. Если поначалу социальное явление - большое и острое - раскрывается через перипетии частной жизни семьи, через личные переживания ее членов, то тут драма приобретает героический характер. Героическое при этом раскрывается в тех же образах простых людей - Арсена, его жены, других членов семьи, близких друзей. По ходу действия происходит их созревание. Из мирных, тихих, отнюдь не воинственных граждан они превращаются в убежденных борцов за справедливость. В этот момент - момент высшего напряжения - и появляется епископ Жан Анньюе, которому удается предотвратить резню, уладить острейший конфликт миром.

Он, Жан Анньюе, Мерсье по-особому близок. Этот человек свободен от религиозного фанатизма единоверцев и выступает истинным поборником прав человека. Естественные законы милосердия, человеколюбия, которыми руководствуется епископ из Лизье, прямо противоположны - непримиримо противоположны - монархическому и церковному произволу "власть предрержащих". Анньюе наделяет своего заглавного героя живыми человеческими чертами, отнюдь не типичными для представителя верхов католического духовенства.

Разумеется, драматург допустил известное отступление от правды. Торжество милосердия епископа не могло не ослабить остроту социального звучания произведения. Но он верил в возможность мирного разрешения жизненно важных проблем и потому в финале соединил антагонистов: католический епископ Анньюе и старый протестант Арсен берутся за руки и идут к людям. Идут торжествовать победу над черными силами фанатизма...

В России пьесы Мерсье переводились и печатались уже и XVIII веке. Это касается таких его произведений, как "Судья", "Тачка уксусника", "Неимуший", "Дезертир". Публиковались в переводе на русский язык и главы из книги "Картины Парижа", из романа "Год 2440". У "Жана Анньюе" никаких перспектив на это не было. Тем более что Мерсье стал одним из деятелей Великой Французской революции, а это в глазах монарха и монархистов Российской империи его репутацию не возвышало. И за перевод взялся Винский.

Думается, что "Драма в 3-х действиях о спасении епископом Иоанном Геннюером реформатов, вблизи Парижа, в городе Лизье, 27 августа 1572 года" это и есть перевод "Жана Анньюе, епископа Лизье".

Тем важнее перевод отыскать. Отыскать и сопоставить с оригиналом. Мы ведь уже убедились: Винский не просто переводил текст, но и перелагал истины.

Ну, а "Оратор Французских генеральных штатов в 1789 году"? Тут пока только загадки, фактами не подтвержденные. Хотя известно кое-что и достаточно точно.

Точно, например, известно, что Винского глубоко интересовали события Великой Французской революции – буржуазно - демократической революции 1789-1794 годов, которая нанесла решающий удар по феодально-абсолютистскому строю и расчистила почву для развития капитализма. Монархия оказалась не в силах удержать свои позиции испытанными старыми методами и вынуждена была пойти на серьезнейшие для нее уступки: во Франции начали действовать сначала нотабли, а затем Генеральные штаты, не собиравшиеся до того с 1614 года.

Генеральные штаты были высшим органом сословного представительства. Они объединяли депутатов от горожан, дворян, духовенства. Их начало во Франции - 1302 год. Их расцвет - 1789-й. Многих замечательных ораторов слышали они в своих стенах. Самым пламенным среди них был, пожалуй, Максимильен Робеспьер. Депутат Генеральных штатов 1789 года от третьего сословия Арраса, он в своих речах страстно защищал интересы народа и принципы демократии, разоблачал антидемократический характер ряда законопроектов, проводил самую радикальную политику в вопросах аграрных, всей душой радея об интересах крестьянства. Часто он обращался прямо и непосредственно к народу - через головы депутатов Генштатов, а затем Национального Собрания.

Не Робеспьер ли был героем "Оратора Французских Генеральных штатов"?

Винский не оставил нам специальных развернутых высказываний о Революции во Франции. Но его раздумья на сей счет все же есть. Хотя бы такое: "...Заря наук для нашего отечества начала пробиваться сквозь мрак невежества в конце осьмого десятка протекшего столетия (выделено мною. - Л. Б.). Сколько бы из лиха ни вопияли: "Распинайте французов!", но они одни гораздо больше способствовали нашему научению, нежели совокупно вся Европа". Научению, надо полагать, не только в плане научном - и это явствует из дальнейшего; только замечу, что писалось все и после поражения Революции, и после победы России в Отечественной войне 1812 года: "...Повторю паки: сколько бы старообрядцы, и новообрядцы и

все их отголоски ни вопияли: "Распинайте французов!", но Вольтеры - не Мараты, Ж.-Ж. Руссо - не Кутоны, Бюффоны - не Робеспьеры. Ежели когда-нибудь настанут времена правды, тогда великие умы XVIII столетия, истинные благодетели рода человеческого, получают всю им принадлежащую честь и признательность". Я снова повторяю эти слова, но теперь вычитываю в них хвалу не только Вольтеру и Руссо (его, Руссо, считал своим главным учителем и Максимильтен Робеспьер).

И еще одна догадка, еще одно предположение. Они связаны опять же с Мерсье, так высоко ценимым Винским.

Конечно, оратор, по Далю, это "вития, речистый человек, краснослов, мастер говорить в людях, проповедник". Но в глазах Винского ораторами были и Робеспьер, и Марат, и Мерсье, хотя последний являлся писателем, а первые - публицистами трибун и митингов. Однако разве не словом с трибуны стало в свое время публицистическое произведение Мерсье "L'an 1789" ("1789 год")? Пусть испугался он радикализма якобинцев, пусть стал жирондистом, только Винскому была близка, дорога смелость этого "твердого поборника истины и неустрашимого защитника прав человечества", одного из его "любимейших авторов". Быть может, "Оратор...", упомянутый в заметке "Б.П.", и есть перевод (переложение) брошюры Луи Себастьяна Мерсье?

Но это лишь догадки. Впрочем, поиску они не помеха, а помощь. Мы теперь представляем, что искать надо. Найдем - не отмахнемся, не пройдем мимо. Если же не найдем, то уже сейчас знаем, что его, Винского, занимало-привлекало, как относился он к выдающимся событиям мировой истории.

Сделан еще один шаг от незнания к знанию. Не все нашел, но, даже не дойдя до конца, подошел на шаг ближе.

К чему? Да все к тому же: пониманию, постижению Григория Винского. Чем больше ищу, тем более убеждаюсь: и он того заслуживает, и нам всем это нужно.

История русской литературы, русской общественной мысли богата на удивление, на зависть. Богатством своим мы щедро делимся со всем миром. Но ни от грана его не откажемся. Тем паче от настоящего самородка, каким был - и остается - Винский.

## **ШАГ ВОСЬМОЙ: РАДИ БЛАГА РОССИИ, или ПЕРВЫМ БЫЛ ОН**

...Сие мое, может быть, дерзновенное суждение препровождая, ...всенижайше прошу о милостивом снисхождении; ценя более мою к пользам отечественным ревность, нежели мое знание.

Строки из "Проекта..."

"Мое время" в серии "Библиотека мемуаров" издательства "Огни" сопровождается приложением: "Проектом о усилении российской с Верхнею Азиею торговли через Хиву и Бухарию". На первый взгляд, это чисто служебная докладная записка - одна из многих, сочиняемых за жизнь свою человеком, состоящим "при должности".

Но в данном случае и суть документа, и стиль его, и история - все, решительно все - заставляет отнести к "Проекту..." как образцу "служебной прозы". Прозы не казенной при всей ее казенной задаче...

Первой публикацией и этих страниц из наследия Григория Винского мы обязаны тому же Петру Ивановичу Бартеневу, а равно издававшемуся им "Русскому архиву". "Проект о усилении российской с Верхнею Азиею торговли через Хиву и Бухарию" стал достоянием печати именно на страницах журнала, который за год до того обнародовал "Мое время".

Рукопись будущей публикации, или список (что, вероятно, точнее), принес в редакцию "г-н Н. Петровский" - Петровский Нестор Мелитонович, невидный журналист, сотрудничавший

в то время в самых различных органах печати. Откуда он сей материал извлек? Вероятнее всего, из бумаг того же А. П. Величко, к тому времени уже умершего.

(За одиннадцать лет до этого, 5 (17 мая) 1867 года, в газете "Голос" появилось извещение: "Семейство отставного действительного статского советника Александра Павловича Величко, с душевным прискорбием извещая о кончине его, последовавшей 3-го мая, после тяжелой болезни, покорнейше просит знавших его пожаловать на вынос тела из квартиры покойного...")

Так или иначе, но Н. Петровский материал в журнал доставил (или, как писали тогда, "сообщил"), а "Русский архив" место для него нашел, хотя и был-то "всего-навсего" документ служебный.

Бартенев продолжал линию "оживления" Винского. Она тянулась от публикации в номерах 1877 года "Моего времени" (с заметкой А. И. Тургенева и собственными вступлением-заключением), продолжалась информацией "К жизнеописанию Г. С. Винского" и сейчас - в шестой книге 1878 года - заканчивалась обнаружением его, Винского, "служебной прозы".

Под заголовком документа в журнальной его публикации читаем: "Писан, в царствование Александра Павловича, Григорием Степановичем Винским, а послан к г. министру от Павла Елисеевича Величии, начальника Оренбургского таможенного округа".

Тем свидетельствуется: автор - Винский, писал он по просьбе (или заданию) Величко П. Е., в Петербург проект ушел как документ вполне официальный.

"Во исполнение Вашего высокопревосходительства предписания, касательно отношения Вашего г-ну Оренбургскому военному губернатору от 4 декабря прошлого 1818 года о мерах к охранению караванов и вообще о торговле нашей..." Начало вполне казенное, каким и быть ему надлежит. Ссылка на предписание... дата его... Но что это? "Прошлого 1818 года..." Выходит, проект отослан в 1819-м? А Винского, по свидетельству его зятя, не стало за год до того...

Нет-нет, в этом мы еще попытаемся разобраться. Сейчас же о самом проекте, его содержании и стиле. Стиль служебных бумаг... "Обязанностью моею поставляю донести" - и в таком духе дальше.

"Я употребил много, в долголетнее мое в сем крае служение, стараний и трудов разведывать... обо всех обстоятельствах, с самого начатия нашей с азиатцами торговли, постоянно препятствующих распространению и усилению оныя..."

"Я" - это в равной мере и Величко, документ подписавший, и Винский, который его писал. У окружного таможенного начальника за плечами было более полутора десятка лет службы в отдаленном крае, у сосланного сюда "отставного подпоручика" - и вовсе за тридцать.

Оба они хорошо понимали, как важна для губернии (и всей России) широко и разумно поставленная торговля с азиатскими странами, как ненадежны шаги и проекты, предпринимавшиеся (или предлагавшиеся) в былые годы; сопровождая каждое из предложений лестными словами в адрес тех, кто вносил ("по усердию своему", "сии патриотические старания"), Винский и Величко отводят их как необдуманные ("истинной своей меты, т. е. обеспечения купеческих караванов от грабежей в степях, они никак бы не достигли"). Зато все более необходимым и желательным представляется осуществление другой идеи, ими выношенной, выпестованной: "Я под сим разумею экспедицию, в степь назначенную, движениями которой с четырех пунктов чрез степь к Хиве правительство наше намеревалось истребить грабителей караванов; воров, чинивших побег в наши границы, унять; потери, понесенные нашим купечеством от грабежей, вознаградить; враждующих киргизцев нам и между собою усмирить; благонамеренных успокоить; словом, окончательно устроить сии народы, имея всегда в виду распространение и усиление нашей торговли, положила всему основанием и утверждением занятие Хивы".

Проект возник не вдруг, не в один какой-то момент. В "неотдаленном времени", но еще в бытность оренбургским военным губернатором Г. С. Волконского, царю был представлен план такой экспедиции ("первые мысли" о ней исходили от Величко и, конечно, от Винского); идея получила одобрение и "удостоилась конфирмации". Но план остался всего-навсего планом. Теперь он представлялся заново, при "Проекте о усилении российской с Верхнею Азиею торговли через Хиву и Бухарию" ("я обязанностию моею поставляю довести к сведению вашего высокопревосходительства оной со всеми подробностями в прилагаемой у сего копии").

(Копии в распоряжении Бартенева не оказалось. Изучение материалов о губернаторе Волконском дает основания сделать вывод о том, что первоначальные разработки идеи относились к 1808 году и вылились в комплекс документов под названием: "Предположения Оренбургского военного губернатора о торговле с Верхнею Азиею").

"...Сказанная экспедиция есть единственная верная мера для достижения благонамеренных российского правительства предприятий", - читаем в документе 1819 года. Тут же сноски - примечание П. И. Бартенева:

"Итак, Винскому принадлежит первоначальная мысль, выразившаяся при Николае Павловиче Хивинским походом Перовского и увенчанная в наши дни великими успехами в Средней Азии. Несчастный Винский не дождался до исполнения этой мысли..."

Это, конечно, преувеличение: единоличным автором такой "мысли" Винский не был и быть не мог. Ее пробудило, выдвинуло само время. Но живейшая увлеченность проблемой будущего неродного ему края, патриотическое стремление принести пользу немилостивому к нему отечеству сделали этого человека самым активным поборником актуальной практической идеи, выдвинули его в ряд инициаторов ее осуществления.

"...Да позволено будет мне прибавить, что занятие Хивы должно быть не временное, но чрез присоединение ее навсегда к областям России, вечное, чего требуют истинные выгоды, ожидаемые от сего предприятия..."

...Та же Хива, образованная и устроенная твердым заведением поселения, о коем распространяться было бы для меня напрасным усилием, Хива, заключу, на будущие времена российский в Великой Татарии Гибралтар, послужит для торгующих всех земель мирною пристанью, к коей поспешит всяк, во уверенности найти тут: упокоение, пособие и обнадеженный путь к дальнейшим предприятиям. Для нашего же купечества да соделается она вратами, имеющими со временем богатые индийские товары препровождать в недра нашего любезного отечества".

Проект невелик, но емко. Винский в нем не просто увлеченный мечтатель и практически мыслящий политик. Я подчеркну: патриот. Цену этому понятию он знал.

Не могу обойти молчанием одну выразительную переключку. Переключку проектов Винского и... Александра Корниловича, декабриста.

Находясь в Петропавловской крепости, он в 1829 году написал несколько "Записок", свидетельствующих о разносторонности, широте его научных и практических интересов. Среди них - две о развитии русской торговли: "Записка о расширении азиатской торговли" и "Еще несколько слов о торговле со Средней Азией".

Узника, обреченного на годы и годы заточения, волновало то же, что и двадцатью годами ранее ссыльного Винского: возможности сбыта на Восток "мануфактурных произведений" из России и получения с азиатских рынков продуктов, которые могли обойтись "гораздо дешевле того, что мы платим за них теперь западным европейцам". Предложения его носили иной характер, менее радикальный: о замене экспедиций специально организованными караванами, об устройстве линии редутов, об учреждении "колонии на Мангышлаке".

Но не в различии конкретных предложений дело, а в том, что увлекла их одна, общая, для всего государства важная задача, и ей посвятили они многотрудные свои дни: один - в крепости, другой - в ссылке.



...Да, патриотизм проверяется в деле!

А теперь самое время вернуться к биографическому несовпадению. Опубликованный проект - из текста это яснее ясного - был послан из Оренбурга в Петербург в 1819 году. "Винский умер в Астрахани в 1818 году" - свидетельство из разряда достовернейших. Не вяжется как-то. Или умер позднее, или проект не Винского...

Попытки пересмотреть дату его смерти были, есть и, наверное, будут, пока не отыщем мы самый надежный источник: запись в церковной книге. Совсем недавно уфимские краеведы-искатели Г. Ф. и З. И. Гудковы выдвинули новую версию: "Анализируя высказывания Винского о Чичагове, можно внести существенные уточнения биографии самого Винского: до сего времени исследователи полагали год смерти Винского не ранее 1818 года. Однако напрашивается вывод, что умер он после расправы над декабристами, т. е. не ранее 1826 года". Нет, из высказываний Винского это никак не вытекает, как равно и из имеющихся биографических данных друга его уфимского П. И. Чичагова!

Год смерти - 1818-й. Что касается "Проекта о усилении российской с Верхнею Азиею торговли...", то тут все объяснимо, притом достаточно убедительно.

И Винского, и Величко проблема занимала долгие годы. Проектов и прочих служебных бумаг было составлено на сей счет предостаточно. Так возник и этот документ, отправленный в столицу тогда, когда пришел его срок. Изменить первые строки (ссылку на предписание от такого-то числа и года) труда, естественно, не составляло.

Таким образом, под сомнение роковую для Винского дату проект не ставит. В свою очередь, и дата эта права авторства его не лишает никак.

Что-то проясняется окончательно, что-то требует дополнительных поисков. Впрочем, тут нужно уточнить: когда открываешь - для себя ли, для всех - судьбу яркую, по-настоящему значительную, судьбу, которой суждено притягивать к себе внимание новых и новых поколений, одинаково важны и шаг вперед, и шаг назад, и шаг в сторону; пересмотру подлежит даже то, что сегодня кажется "окончательным". Всегда заманчиво заштриховывать "белые пятна". И в творчестве, и в биографии нет страниц и строк незначительных.

## **ШАГ ДЕВЯТЫЙ: ВИНСКИЙ ВО "ВРЕМЕНА ПРАВДЫ", или РАЗМЫШЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ**

*Приступая к изложению безбожных  
взглядов французских философов,  
невольно хочется напомнить  
слова одного забытого русского  
вольнодумца  
(Винского): "Ежели когда-нибудь  
настанут времена правды,  
тогда великие умы XVIII столетия,  
истинные благодетели рода человеческого,  
получат все им принадлежащие  
честь и признательность".*  
И. П. Вороницын. "История атеизма"

Да не сложится у читателя впечатление, что когда настали времена, о которых мечтал Григорий Винский, о нем самом вдруг забыли. Полнейшей было бы это несправедливостью.

Нет, - и я об этом имел случай сказать, - заметки о Винском можно прочесть и в советских энциклопедиях разных лет, и в выпускавшемся не раз капитальном труде М. Н.

Гернета "История царской тюрьмы", и в примечаниях к изданиям, преимущественно академическим, произведений некоторых "старых" авторов.

Но самого-то его после 1914 года не издавали? Обстоятельных статей о нем, о его взглядах до статьи М. Д. Рабиновича в "Украинском историческом журнале" 1967 года не появлялось? Издавали. Появлялись. И об этом - особо.

После Октябрьской революции "Мое время" Г. Винского получило еще одно печатное воспроизведение. Не отдельной книгой, но в составе книги. Не полностью, но в солидных фрагментах. Речь идет о многочастевой книге "Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век".

Ее издание началось задолго до революции 1917 года. Уже в 1914-м научно-популярный журнал "Вестник воспитания" поместил в своем разделе критики и библиографии отзыв на первую часть этого труда. Рецензент (В. Сыроечковский) писал, что "Русский быт..." является "крайне полезной книгой", справедливости ради добавляя: "хотя калажная форма не всегда способна дать целостное представление о той или иной стороне действительности". Часть вторая, в трех выпусках, с выходом в свет задержалась.

Обратимся к первому из этих выпусков. На титульном его листе обозначена дата: 1918. Но если судить по более надежным - "выходным" - данным, то к читателю он явился в 1919-м.

Раскрываю "сборник отрывков из записок, воспоминаний и писем, составленный П. Е. Мелыуновой, К. В. Сивковым и Н. П. Сидоровым". Период - "От Петра до Павла I". И уже совсем скоро наталкиваюсь на Винского. Да, его собственные тексты из "Моего времени".

Сборник делится на несколько разделов. Раздел "Быт и нравы" открывается заметкой "Жизнь русских бар". У Винского этот отрывок имеет подзаголовок "Жизнь русская домашняя". Посвящен он дому Булгаковых в Уфе - нелицеприятной, правдивой и суровой характеристике нравов "русского дворянского дома" в его "настоящем виде", с полнейшим произволом в отношении людей "низшего сословия" ("челядинцы, как и везде, составляли домашний скот"). "Надобно быть допущену во внутренность домов дворянских и самому не быть посему русским, дабы видеть все своевольства ежедневно в сих вертепах", - делает автор вывод, подкрепляя его примерами неотразимыми. В том же разделе еще полторы страницы из записок Винского (они извлечены из главы, которую автор назвал "Привилегии дворянству и городам"). Речь тут о падении моральных устоев общества ("нравы... хотя начали умягчаться, но с тем вместе и распуста становилась виднее"). И снова примеры поистине неотразимой убедительности...

Следующий раздел - "Помещики дома и в городе". Отрывки из произведения А. Радищева, С. Глинки, М. Щепкина, А. Болотова и других. Тут же Винский: "Чудак-помещик" и "Офицер-разбойник". Названия не авторские. Составителей привлекли типы времени. И какие типы, да как талантливо выписанные. Первый отрывок - о Левашове Сергее Яковлевиче, надворном советнике и совестном судье: "Описывать все его странности было бы и скучно, и трудно; скажу только еще, бывши почти безграмотен, охотник превеликий был диктовать письма, особенно наставления приказчикам, садовникам, конюхам и другим своим чиновникам. Щедр, даже мот бывал из тщеславия, скуп же по природе, нрава самого крутого и жестокого, но к сентиментальному разговору всегда приставал, выдавая себя за Стерна". В таком же духе весь его портрет, выразительный в своей противоречивости, пунктирный и в то же время вполне красочный. "Офицер-разбойник" - не портрет, а скорее, автопортрет. Винский вспоминает Себя, совсем юного офицера, каким приехал в Почеп: "Все то, что буйная распуста имеет отвратительнейшего и порочнейшего, производимо было мною без малейшего зазрения. Ни чин, ни лета, ни родство, ни знакомство не защищали никого от моего буйства..." О, он так же беспощаден к себе, как и к другим, попадающим в поле его зрения!

(В этом же выпуске "Русского быта..." находим и справку о самом Григории Степановиче. Вот она: "Г. Винский (род. в 1752). Уроженец Малороссии, рано покинувший родину для бурных житейских приключений, бросавших его из края в край по России, в

разнообразную общественную среду, преимущественно среднего и низшего слоя, где он, нравственно неустойчивый, но зоркий и вдумчивый, "жил, гнил и погибал"; как плод и след пестрого жизненного опыта, Винский нарисовал в своих записках - "Мое время" - яркие картины быта XVIII века". Справка в "Указателе авторов" - сжатая до предела характеристика, основанная на вдумчивом прочтении составителями главного первоисточника - печатного экземпляра мемуаров). Но проследуем дальше.

"Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век"... То же название, та же часть, но выпуск второй, и на титульном листе помета - "Время Екатерины II". Книга, как и предыдущая, выпущена московским издательством "Задруга" в 1922 году. В разделе "Столица и провинция" под заголовком "Нравы Малороссии в середине XVIII века" помещена глава из "Записок" Винского, названная автором "Общие моей отчизны нравы". Четкая, объективная, предельно сжатая характеристика своей родины, данная любящим - но видящим и недостатки ее - сыном...

Однако, пожалуй, наиболее полно Винский представлен в выпуске третьем, заканчивающем характеристику екатерининской эпохи; он вышел из типографии в 1923 году, выпустила его та же "Задруга".

В разделе "Школа и просвещение" автор "Записок" главенствует. Одна за другой идут написанные и поименованные им главки: "Начало учения грамоте", "Малороссийская субботка", "Начало учения латинского языка", "Дом вотчима", "Отбытие на чужую сторону", "Пребывание в Киеве", "Академия", "Пансион". Они без всяких сокращений (замечу, между прочим, что отношение составителей к его, Винского, произведению самое бережное и уважительное всюду). Несколькими страницами далее Винский появляется снова. На этот раз под названием "Недоросль в петербургской школе": отъезд и приезд автора в Петербург, определение в военное училище, учение здесь во всех его уродливых проявлениях.

Страницы "Моего времени" появляются и в дальнейшем. Составители сочли нужным непременно включить в свой сборник данную Винским характеристику внутренней политики Екатерины II и затем, как прямое продолжение ее, взгляд мемуариста на "привилегии дворянству и городам". Там и тут - обличение истинных пороков общества и правления им. ("...Екатерина перестала себя слишком принуждать и, в четырнадцать лет владычества высмотревши, что народ русский есть самый повадливый и нещекотливый, пустилась наслаждаться всем, без многих оглядков...").

Такой была уже советская публикация произведения Григория Винского. Хотел сказать: первая советская. Но спохватился: второй не было, вторая только предстоит, теперь уже, конечно, на основе отысканных мною материалов ~ полная, без всяких цензурных и редакторских изъятий, без какого-либо вмешательства в авторский текст. Авторский текст - авторская воля!

Однако дорого и то, что в самое трудное для Советской России время был помянут добрым словом Винский и состоялась его встреча с новым читателем.

Попутно замечу, что во всех трех выпусках второй части "Русского быта..." с Григорием Винским соседствует Карл Массон. Правда, не в его, Винского, переводе.

Цитата, ставшая эпиграфом к этим страницам, взята из труда И. П. Вороницына "История атеизма". Пять солидных, в сотни страниц каждый, выпусков, осуществленных в 1927-1929 годах научным обществом "Атеист" под девизом "Религия ~ дурман для народа", содержат глубокий анализ атеистических учений различных веков и народов.

Предваряя выпуск, в котором речь идет о Винском, автор написал: "Сама тема о религиозном свободомыслии в XVIII веке была первоначально ограничена сравнительно кратким обзором русского вольтерьянства. Но при ближайшем изучении относящихся сюда источников она оказалась настолько обширной и представила столько поучительных аналогий с однородными общественными движениями Запада, ...что развитие ее в более обширных

пределах показалось как лично автору, так и редакции "Атеиста" и интересным, и полезным. Надо сказать, что в нашей исторической литературе эта область в целом совершенно не разработана и если частично затрагивалась, то в недоступных ныне широкой читательской массе изданиях или же в специальных трудах. Русский XVIII век, таким образом, занимает в нашем изложении три больших главы, последняя из которых почти целиком посвящена первому великому русскому просветителю - Радищеву".

Последняя - Радищеву. А в предпоследней один из разделов - объемом в пол-листа, не меньше - носит название "Вольнодумец Винский". О Винском здесь говорится как об одном из виднейших русских вольтерьянцев и...предшественников Александра Радищева.

"Рамки нашей работы не позволяют подробно анализировать жизнь Винского, - писал И. Вороницын. - Но одна сторона этой жизни - острый и сочувственный интерес к "великим умам XVIII столетия, этим истинным благодетелям рода человеческого" и активная пропаганда их идей в среде, казалось бы, весьма мало подходящей для этого, - требует всего нашего внимания. С другой стороны, и те наблюдения, которые он - правда" задним числом - сделал над распространением вольтерьянства в русском обществе, тоже известный интерес представляют".

Так очерчена автором его исследовательская задача. Ей раздел этот (под номером пятым) посвящен. И прежде всего в нем подчеркнуто, что история жизни самого Винского, "увлекательно рассказанная им самим", прекрасно иллюстрирует "действительный переворот в мировоззрении, происшедший под влиянием просветительских теорий или просто сопутствуемый более или менее глубоким пониманием "новых идей".

История жизни... О ней тут - достаточно подробно (начиная с утверждения: "Винский - украинец, до конца жизни сохранивший глубокую любовь к родному краю..."). Но в его "истории жизни" Вороницын ищет истоки и историю нравственного, духовного упадка, а затем, впоследствии, возрождения и возвышения личности, ищет - и указывает - источники вольнодумства в человеке, который оказался на краю бездны и неизбежно пал бы в нее, не оказавшись зорче других в отношении российской действительности и не прильни своевременно к такому роднику, как идеи французских философов и писателей. От постижения этих идей Винский переходит к их пропаганде, успех же пропаганды ведет к дальнейшему углублению его собственной заинтересованности в осмыслении происходящего. Осмыслению не ради утоления праздного любопытства, но для того, чтобы получить ответ на трагический вопрос, поставленный Радищевым:

Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам.  
Или погрязнет еще, ах, человечество глубже?

Страницы в "Истории атеизма" привлекли мое внимание не только потому, что тут впервые дан анализ атеистических взглядов "вольнодумца Винского". Это были первые развернутые страницы о писателе в советской литературе. Она пока очень скудна, наша литература о Винском.

Несколько страниц в книге Г. Ф. Гудкова и З. И. Гудковой "С. Т. Аксаков...". Несколько абзацев в очерках Н. Н. Барсова, которые появились в сборнике "По тропам былого". Это вклад пытливых краеведов Уфы. Мимолетные упоминания Винского или скупые абзацы о нем в печатных изданиях Украины я имел случай упоминать, как и заметки в энциклопедиях.

Единственная специальная научная статья о нем помещена в современном научном журнале: Рабинович М. Д.. Общественно-политические взгляды Г. С. Винского//Український історичний журнал. - 1967. - № 2.

И вообще вся библиография Винского - за два века! - уместится, наверное, на одной машинописной странице. Обидно...

Путь к Винскому лежит через архивы и книги, через раздумья над тем, что отыскано и пока не отыскано, написано и не написано, не состоялось.

Начал с творчества. В нем - главное. Теперь мы знаем пусть не полного, зато не "приглаженного" автора "Моего времени", переводов Массона, других произведений. Писателя значительного, самобытного, крупного - и по таланту литературному, и по силе обличения. Десятками страниц, извлеченных из небытия, из забвения, он клеймит, обличает самодержавие - то самое "чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй", разоблачению которого посвятил всего себя его великий современник Радищев.

Да, Винский и писатель, и мыслитель, вопреки мнению не раз упомянутого мною Л. А. Коваленко, который на странице 37-й поименованной раньше своей монографии заявил: "Последний (т. е. Винский. - Л. Б.) не отличался, как В. Капнист, талантом писателя, или как Я. Козельский - талантом мыслителя, а являл собой достаточно распространенный в те времена тип дворянина-интеллигента с его достоинствами и недостатками". Почтенный автор с творчеством Винского познакомился лишь в небольшой степени, отсюда и ошибочность высказанного им о нем суждения. Теперь, надеюсь, уже никто не скажет, что этот человек оказался обделенным талантом писателя-мыслителя, как никто не скажет о нем: "забытый". Его произведениям жить, а значит, жить в истории литературы, в благодарной памяти людей и самому Винскому.

К творчеству его я буду возвращаться и на страницах последующих. Читать-перечитывать произведения, размышлять над ними, искать истоки образов, характеров, выводов.

Знаю! главный источник - это его жизнь. Приспела пора углубиться в нее. Биография писателя прояснена пока лишь в самых общих чертах. Последние два десятилетия - сплошной "туман". Да и многие годы предыдущие...

Займусь биографией. Не все, разумеется, расшифровке поддается - между нами два века. Но немало узнать удастся - в том я уверен.

Поиск продолжается.

## II. ЖИЗНЬ

Да, сворачивать поиск рано...

Страниц, написанных Григорием Винским, дошло до наших дней обидно мало. Одно повествование в прозе ("Мое время")... один перевод (из К. Массона)... одно стихотворение (и то - эпитафия)...

Но кроме этого есть еще "творение" куда более монументальное и - впечатляющее. Какое? Жизнь! Жизнь - вот лучшее произведение Винского. Жизнь, полная потерь и обретений, ошибок и решений, горя и борьбы. И что самое важное - обретения в борьбе себя истинного, способного на высокое, способного на такой поступок, как его "Записки".

Удастся ли раскрыть жизнь человека полнее, чем это сделал он сам в своей литературной автобиографии? Допisać те страницы, которые у Винского остались не заполненными? Как то и другое сделать?

Путь, собственно, один: поиск в местах его жизни, в архивных фондах и старых книгах, разведка всего, что связано с эпохой, семьей, окружением, им самим.

А принцип изложения? Конечно, не монографический. Монография - впереди. Сейчас она "в тумане будущего", до которого идти и идти.

Принцип тот же, что и в первой части: отчет о перипетиях и результатах своего поиска, непридуманый рассказ о том, как шел по следам его судьбы. Это, пожалуй, и есть единственно возможная сейчас форма "организации материала".

Деления на главы и разделы мне не избежать. Так не прибегнуть ли к тому делению, которое есть в "Моем времени"?

"Шестнадцать лет, или Детство и Юношество",

"Одиннадцать лет, или Молодость",

"Тринадцать лет, или Средние годы".

И сопоставить, и уточнить, и расширить?

Но тут "только" две трети его жизни, даже меньше: сорок лет из шестидесяти пяти или шестидесяти шести прожитых. В повествовании автор покинул своего героя, а точнее, самого себя, в начале пятого десятка лет существования, на пороге наиболее важных шагов и свершений, лишь мимоходом разбросав по написанному немного из того, что случилось в его жизни дальше.

Нам предстоит биографию дочитать до конца - восстановить, реконструировать по крупницам. И поведать так, чтобы убедительно было. Как именно - загадывать не стану: дальнейшее повествование будет вытекать из предыдущего и... материала, а отнюдь не умозрительных построений.

Ну, и с тем, как говорится, - в добрый час!

## Глава I. "...ДЕТСТВО И ЮНОШЕСТВО"

Ничего не скажешь: память у него завидная. Что на даты и названия, что на фамилии-имена. Проверяешь - то, что проверке поддается, - сходится. О, запомнилось ему, притом цепко, многое.

Только вдруг наталкиваешься на такое, что заставляет расставить знаки вопроса и против "бесспорного", никаких сомнений не вызывавшего.

"Отец Степан Акимович Винский, юноша 21 года, женился по взаимной сердечной склонности на матери моей, 16-летней отроковице, Марфе Артемьевне Пискаревской, и их счастливый союз Бог на десятом месяце благословил мною..."

Так в публикациях - что Бартенева, что Щеголева. В списках - и киевском, и ленинградском - разночтения преимущественно в знаках препинания. Но - не в них только.

«...16-летней отроковице, Марф. Артемовне П<у>шк<a>-р<e>вскрой...» В "семейном" списке и на поля вынесено: "Пушкарёвской". Это - существенно. Две буквы в первом слове фамилию меняют неузнаваемо.

Ищу хоть какие-то сведения о его родителях в книгах дворянских родословий. На моем рабочем столе в Центральной научной библиотеке Академии наук Украины - и четырехтомный "Малороссийский родословник" Вадима Львовича Модзалевского (причем с дополнениями, вставками, сделанными рукою составителя в последовавшие за изданием годы), и два увесистых тома "Родословной книги Черниговского дворянства" Г. А. Милорадовича. "Родословник" выходил в 1908-1914 годах, "Милорадович" увидел свет в 1901-м.

Винский... Пушкарёвские... На всякий случай смотрю и Пискаревских... Нет ничего! Экая досада: а я-то связывал с украинскими родословными надежды особые. Выходит, родов таких в черниговском - и "малороссийском" в целом - дворянстве зафиксировано не было?

Иное дело - Губчицы. Они встречаются все чаще. На них я фиксирую внимание потому, что из "Моего времени" знаю: после кончины Степана Винского мать автора вышла замуж вторично и мужем ее, а Григорию отчимом, стал Губчиц Михаил Васильевич. Род не из древних, но давний. Родоначальником значится тоже Михаил, только живший в середине XVII века. Сын его, Иван Михайлович, был человеком именитым: "знатный товарищ сотни Почеповской (1696), знатный войсковой товарищ (1697), знатный товарищ полку Стародубовского (1701-1704), Почепский городской атаман (1709), сотник Почеповский (1710)".

Умер он в 1/29-м, оставив сыновей Ивана и Василия. Василий Иванович в службе продвинулся еще далее: дослужился до чина "малороссийского полковника".

А вот и Михаил Васильевич - личность уже непосредственно из биографии героя этой книги. Родился в 1728 году... с 1748 служил канцеляристом Стародубовской канцелярии... с 1750 - значковый товарищ... с 1756 - сотник Бакланский... в 1759- 1760 - на устройстве пограничных форпостов...

Но вернуться к его биографии повод еще представится. Сейчас же тянет заглянуть в конец - туда, где обычно называют супругу. Есть! "Жена Марфа Артемовна Пороховникова, до 1783 г. дочь войта Почеповского (1768); в 1-м браке была за Степаном Акимовичем Винским, канцеляристом Почеповской комендантской канцелярии".

Она самая - сомнений в том нет. Совпадает все, кроме... фамилии. Пороховникова?! Ошибка в "Родословнике"? Спутал Винский?

Модзалевский ссылается на "Румянцевскую опись Малороссии" - том, посвященный Стародубовскому полку. Опись проштудирована им основательно. Составитель нашел сведения и об отце Пороховниковой; пометил даже, что войтом числился тот в 1768-м. Ничто в биографии Губчица сомнений не вызывает. На каком же основании можно брать под сомнение это?

Произвожу "эксперимент": знают ли девичью фамилию своей матери мои знакомые-друзья? Оказывается: знают. А он, выходит, не знал?!

И вдруг мысль: сколько лет им прожито под крылом матери? Да ведь совсем мало! Первые детские - до восьми, не более... Потом соединялись уже на самое короткое время, чаще мимолетно... Десятилетия не общались никак... Не видел живую и не хоронил мертвую...

Увы, мог и не запомнить, забыть. Между "содержанием" фамилий определенная связь существует - вот и Пушкаревская вместо Пороховниковой!

Как, однако, не поискать материалы дополнительные? Хорошо бы найти нечто подтверждающее (или, напротив, утверждающее иное) в архивах. Каких и где?

Родные места Григория Винского теперь относятся к Брянщине. Пишу в Государственный архив Брянской области.

Совсем скоро приходит ответ: "Сообщаем, что метрических книг населенных пунктов Почепа, Котляковки, Баклани и Стародуба за 1750-1760 годы на хранении в госархиве нет". Подписи, печать - документ вполне официальный.

Что ж, прошли века, и категорическое "нет" имеет под собою более чем основательное объяснение. ...А были там дела эти когда-нибудь прежде? С "отказом" смириться не хотелось - вот и новая, "спасительная", мысль мелькнула. Так были они в Брянске или найти пытаюсь не там, где искать следует?..

Собираюсь на Украину. Собственно, лечу в Киев. Но заманчиво проехать и в Чернигов - город детства, довоенной юности. Походить-побродить среди его старины, всмотреться в лицо сегодняшнее, встретиться с друзьями... Вырваться бы туда хоть на денек!

Опять раздумываю о Винском. В Чернигове он учился... В Черниговском коллегиуме... Почему там? Но ведь и Почеп, и Баклань, и все другие местечки, села, деревни из первых страниц его биографии в те времена относились к Черниговщине!

Спешу на почту, торопливо составляю телеграмму: "Срочно выясни наличие в архиве метрических книг 1750-1760 годов районов, отошедших к Брянской области. Завтра вечером позвоню из Киева". Телеграмма другу в Чернигов. Он сам искатель и мое нетерпение поймет.

Утром вылетаю, к полудню - в Киеве, вечером уже разговариваю по телефону с "моим Давыдовым".

- Метрические книги почти не сохранились. Есть несколько разрозненных - за 1780-й, 1789-й, 1791-й. Так что порадовать тебя, друже, нечем... - В его голосе разочарование: огорчать не хочется. - Как поживаешь? Над чем работаешь?

- Рассказывать, дорогой, долго - телефонные трубки перегреются. Приеду - наговоримся.

- Приедешь?

- Жди...

...Так и решился вопрос о том, как бы попасть в Чернигов. Пока есть хоть какая-то нить, ее надо использовать. Авось поведают что-то и книги восьмидесятых-девяностых годов.

Архив в Чернигове - первый в моей жизни. Его порог я впервые переступил еще в далекие школьные годы, когда мы, литкружковцы черниговского Дворца пионеров, решили подготовить рукописный альманах "Прошлое и настоящее города" и мне предстояло писать о Глебе Успенском, который пять лет учился в здешней гимназии.

Сорок с лишним лет минуло с тех пор, и я открываю ту дверь снова. Ту и не ту: бомбы Гитлера не пощадил в мирном, тихом Чернигове ни древнерусских церквей, ни старых бумаг (тех, которые не успели вывезти). Но как воинская честь жива, пока есть, сохранено ее знамя, так и архив "в строю", если сбережены основные, веками накапливающиеся, богатства. Героический Чернигов их не растерял, не утратил.

Но меня влекут сейчас подшивки XVIII века. Нужно - в фонде Черниговской духовной консистории. Нужно ли? Во всяком случае, относящиеся к интересующим меня местам, а по времени близкое к годам, когда родился Винский и происходили другие события, к нему относящиеся. "Близкое..." Да ведь разница в тридцать лет! Узнаешь ли в тридцатилетнем мужчине того, которого видел в возрасте... одного дня?

Ни одного Винского ни в одной из сохранившихся метрических книг о родившихся, бракосочетавшихся и умерших не оказалось. Будто и не было такой фамилии сроду.

Бросалось это в глаза тем более, что в "тетрадах зашнурных" встретить привелось носителей многих фамилий, знакомых по "Моему времени". И Губчицов, и Самоцветов, и... Пороховниковых. Пушкаревских не оказалось вовсе, зато Пороховниковых...

"Жителя Почеповского Семена Пороховникова умре сын Стефан..."

"Живущий в местечке Почепе аглицкий купец Роман Иванов Охтерлон с девкою Ефросиниею Тихоновною Пороховниковою повенчаны первым браком..."

"Житель Почеповский Григорий Пороховников умре 70..."

Кем они доводились Марфе Артемовне - не установить, да и не так это важно. Много важнее, что Пороховниковы - фамилия для Почепа "коренная", а стало быть, в "Родословнике" ошибки нет, ошибся не Модзалевский, а Винский.

А кстати, откуда такая фамилия пошла?

Александр Лазаревский, пятый из шести братьев, бывших в дружбе с Тарасом Шевченко, украинский историк либерального направления, установил, что особенностью одной из сотен, а именно Мглинской, прямо соседствовавшей с Почепскими и Бакланской, являлось значительное количество "стрельцов" и "пороховников".

"В Мглинской сотне, - читаем в "Описании старой Малороссии", - стрельцы явились, по-видимому, не позже первой половины XVII века и, записавшись после изгнания поляков в казаки, несли стрелецкую службу, промышляя зверя и птицу для обихода гетманов и местной старшины... Стрельцам необходим был порох и из среды их выделилась особая группа - "пороховников", занимавшихся приготовлением пороха. Есть известие, что в первое время существования Стародубского полка пороховников вызывали из "Литвы", но затем пороховники Мглинской сотни выделяли порох не только для своего полка, но и для генеральной артиллерии..."

Прозвище со временем стало фамилией. И пошла она от дедов к детям-внукам.

Можно установить по церковным книгам и такое.

В Почепе было тогда шесть церквей. Пороховниковы, Губчицы, Самоцветы являлись, в большинстве своем, прихожанами церкви Рождества Богородицы. Это позволяет предположить,



что здесь некогда жила и юная Марфа, ставшая в семнадцать лет матерью будущего писателя. А кроме того и другое: крестили его именно в этой церкви, священником которой долгие годы (десятилетия!) был Иоанн Максимович.

Марфа Артемовна умерла, по словам Григория Степановича, во время пребывания его "под судом". Строки "Родословника" этому не противоречат. Только сказано приблизительно: "до 1783 г." (более точных данных в распоряжении составителя не было). Беда, случившаяся с первенцем, ее смерть наверняка ускорила...

Он происходил "от родителей, ежели не знаменитейших и богачейших, то от самых здоровых и молодых". Не знаменитейших и богачейших... Это о происхождении; оно интересует и нас.

В "Родословной книге Черниговского дворянства" о Г. С. Винском сказано во втором томе, но не в основном его тексте, а в приложении: "Земляки, достопамятные уроженцы Черниговской губернии..." Первыми указаны основатель монашества, духовник императрицы Елизаветы, члены Государственного Совета, министры, сенаторы, а много дальше, среди писателей и журналистов, он, Винский.

Потом те же "достопамятные уроженцы" распределены "по месту рождения", и Винский проходит среди мглинских (Почеп относился тогда к уезду, центром которого являлся Мглин).

Григорию Милорадовичу, составителю "Родословной книги", фамилия, выходит, была известна. Но там, где речь идет о родах дворянских, ее не сыскать и нигде более она не упоминается. Нет ее в "Списке 142 потомственных дворян Черниговской губернии, владеющих землею от 1000 десятин и свыше". Нет в "Списке черниговских дворян на государственной службе". В общем, нигде, кроме упомянутого перечня "достопамятных".

Автор, правда, предупреждает: "Сведения, помещенные в родословной книге черниговского дворянства, неполны за недостатком сведений, сообщаемых в депутатское собрание". Но тут дело, вероятнее всего, не в том...

Последней должностью Степана Винского - возможно, первой и последней - была та, которая упомянута в "Малороссийском родословнике" В. Л. Модзалевского в связи с предыдущим браком жены Губчица. С. А. Винский назван здесь "канцеляристом Почеповской комендантской канцелярии". Что же значил тогда канцелярист, или, точнее, "войсковой канцелярист"?

"Все молодые люди, окончив в латинских школах науки, определялись в Генеральную войсковую канцелярию канцеляристами и, приготовив себя в знании всех своего отечества дел, поступали в разные чины и должности. Число безопределенное было, до ста и более человек простирались, ибо многие достаточные и почетнейших фамилий люди служили в сем чине на собственном содержании, единственно из одной чести..."

Действительный статский советник и кавалер Афанасий Шафонский, автор книги "Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малыя России...", составленной еще в 1786 году, должностное расписание, как и все остальное в том времени, знал отменно. Мне к нему обращаться и дальше.

Пока же замечу: и к "богачейшим" Степан Винский не принадлежал (об этом свидетельствовал его сын), служил он отнюдь не "на собственном содержании" и не "единственно из одной чести", но и добывая средства к существованию семьи, а "в разные чины и должности" не вышел - умер. Умер канцеляристом.

...В дворянских родословиях его нет. Хотя вот же знакомая фамилия выделена черным...

Автор этих "Родословных записей" был дальновиден. Открывая своим предисловием первый выпуск, Л. М. Савелов написал: "Все издание займет приблизительно 12-15 выпусков, которые мы предполагаем выпустить в течение 12-15 лет; срок, правда, очень большой и за это время много воды утечет и дворянство русское может покончить свое существование, не будучи

в силах бороться с своими врагами, в рядах которых оно найдет своих же собратий, носящих фамилии, о которых будет сказано и в наших "Р. 3.", но если дворянство погибнет как сословие, то роды все же останутся, останется история, которая каждому воздаст по трудам его..."

Выпуск первый был издан в Москве в 1906 году. Потом вышли еще два. Последующие не состоялись. Но можно быть благодарным составителю и за то, что он сделал. Лично я признателен ему за... Винского.

Во втором выпуске (1908, с. 69) есть такие строки: "Винские. Иноземный род (в настоящее время Винских находим в Гродненской губ.) Алексей Васильевич (Валентов) владел поместьем в Данковском у. и в 1630 г. был стряпчим... Под 1682 г. встречаем подполковника Степана В...".

От них, стряпчего и подполковника, род, может, и пошел? В других родословных про него нет вовсе.

Нигде не засвидетельствовано печатно дворянское происхождение Марфы Артемовны. "Дочь войта Почеповского..."

Снова цитирую Шафонского: "Дела в городах и местечках управлялись... выборными из мещан: войтом или градоначальником, четырьмя бургомистрами и четырьмя райцами. Войты в своих должностях утверждались гетманами".

Войт Пороховников был, выходит, мещанского сословия?

Теперь о Почепе - там он родился. Лучшим источником сведений о месте рождения Григория Винского стала для меня книга, выпущенная в Петербурге в 1865 году: "Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Черниговская губерния. Составил Генерального штаба подполковник М. Демонтович, действительный член Императорского Русского Географического общества".

Итак: "м. (т. е. местечко) Почеп на р. Судости". Как характеризовал и описывал его образованный офицер Генштаба?

"...Считается одним из древнейших поселений Северского края и уже в XV веке носит звание города. В XVI столетии он, вместе с другими городами, отданными Литвою в удел князю Василию Шемяке, отошел к Московскому государству и составлял его пограничную крепость с Литвою до 1618 года, когда был присоединен к Польше. В это время Почепу дано было магдебургское право<sup>3</sup> и несколько деревень и других угодий во владение. Во время народного восстания при Богдане Хмельницком жители Почепа выгнали стоявший в городе польский гарнизон, после чего Почеп был назначен сотенным местечком Стародубского полка. В войну Петра I с Карлом XII Почеп был значительно укреплен, так что шведы не рискнули напасть на него..."

Дальше события развивались так. Гетман Скоропадский, всячески стараясь снискать расположение всесильного князя Меншикова, преподнес ему "подарок": Почеп со всей волостью. Власть светлейшего князя, сподвижника Петра, простиралась действительно далеко, и он в кратчайшее время сумел прибрать к рукам много других земель в районах Мглина и Стародуба, образовав из этих "своих" владений нечто вроде удельного княжества. Гетману это пришлось не по душе. Он вынужден был пожаловаться на могущественного Александра Даниловича его высочайшему покровителю и другу. Царь повелел: незаконно захваченные земли Почепщины вернуть. Спорить тот не стал, но против гетмана до поры до времени затаил вражду, которая в недалеком будущем, уже при Екатерине I, выплеснулась наружу "правительственными мерами", ограничивавшими и гетманскую власть, и "общее

<sup>3</sup> Феодальное городское право, сложившееся в XIII в. в г. Магдебурге и распространившееся первоначально на другие города Восточной Германии, а впоследствии на Литву, Белоруссию, Украину. Города с магдебургским правом пользовались привилегиями, налоговым и судебным иммунитетом, собственностью на землю, льготами в отношении ремесел и торговли. Магдебургское городское право предусматривало порядок выбора властей и их функции ("Советская историческая энциклопедия", т. 8, 1965, с. 883-884).

благосостояние Малороссии". Личная месть фактического правителя государства оказалась крутой.

Все это время в Почепе и по Стародубщине размещались русские кавалерийские полки. Когда Меншиков пал, смещенный Петром II и сосланный в далекий северный Березов, городок возвратился в состав Стародубского казачьего полка, но по-прежнему оставался он в зависимости от полков русской армии, дислоцированных по всей округе.

Со временем Почеп стал развиваться в промышленном отношении. Тут была устроена казенная полотняная фабрика, снабжавшая войска холстом. Но в 1750-м фабрику упразднили, а сам Почеп с его округой описали "на уряд" (иными словами, сделали владением) нового гетмана графа Кирилла Григорьевича Разумовского.

Что представлял он собою тогда? Краткие сведения об этом содержатся в книге под названием "Обозрение Румянцевской описки Малороссии. Выпуск третий. Полк Стародубский" (Чернигов, 1875). "Обозрение" дает представление о самом главном, что содержит в себе посвященный Первой Почеповской сотне указанного полка том 35-й капитальнейшей описи украинских земель, проведенной в XVIII веке. Говоря о Почепе, составитель-обозреватель отмечает, что в нем шесть церквей (и называет их поименно), что во владении К. Г. Разумовского находятся 460 дворов, цехи "резницкий, шевский, музичкий, купеческий, кравецкий", а кроме того, есть "мещанских дворов 572, казачьих 110, разных владельцев 91".

Колоритно описание 1731 года: "Город Почеп положение имеет на излоговатом месте, по небольшим косогорам, в чистых полях, на проезжих из Москвы, Калуги, Брянска и Смоленска на Стародуб и Киев дорогах, при р. Судости, которая протекает под городом от востока, склоняется на юг, касаясь городу правым своим берегом. В сем городе имеется крепость, обнесенная земляным валом, который от ветхости так осыпался, что едва одного знаки видны..."

Таким было это местечко в то время, когда появился на свет будущий автор "Моего времени". И дальше оно развивалось не быстро и не громко. В 1865-м Почеп имел только 1005 дворов и насчитывал 5233 "души" - в города все еще не вышел. Не "гремит" он и сегодня, хотя городского звания достиг давно. В Советском Энциклопедическом Словаре уделено ему три строки: "Почеп, г., райцентр в Брянской обл., на р. Судость. Ж.-д. ст. Пром-сть: пищ., деревообр., легкая. Изв. с 15 в."

Винский родился в Почепе, тогда местечке. Год рождения? Его выводят "арифметически", путем несложных вычитаний. Могу к ним прибегнуть и я, располагая ныне точной датой написания (или начала писания) "Моего времени" (24 июня 1814). "Теперь, имея 61 год от рождения..." - сказано автором на одной из первых страниц. Выходит, что от 1814 надо отнять 61 и получится: 1753. Но это так при условии, что Винский родился в первой половине года. Считать было принято полные годы, а не те, которые "наступали" - скоро или не скоро. Годы без "округления". В противном случае изначальный год отодвигался: скажем, не 1753, а 1752.

Были бы метрические книги!.. Но их нет и уже не сыскать. Следовательно, без "арифметических" расчетов с привлечением любых возможных данных не обойтись. Любых возможных? А где их взять?

У Григория был брат Осип, моложе его. Никаких сведений о нем у меня нет. Была у него и сестра, рожденная матерью уже во втором браке. "Малороссийский родословник" сообщает о ней следующее: "Екатерина Михайловна, род. около 1754..."

Опять это "около"! Снова огорчительная для меня приблизительность! А она и дальше, когда о той же Екатерине, дочери М. В. Губчица, речь идет как о супруге А. К. Лобысевича...

Нет, родиться в 1753-м Григорий не мог: "арифметика" не сходится совершенно. Основательнее предположить, что родился он после июня 1752 года. Осип был зачат вскоре после рождения старшего брата, а на свет появился уже после смерти отца, в середине 1753-го.

После непродолжительного траура по мужу женщина, оставшаяся в весьма тяжелом положении, приняла предложение Губчица, вошла "в семью довольно знатную и достаточную" и в положенное время, в 1754-м (без всяких "около"! ) родила дочь - сводную сестру Григория, причинившую ему немало огорчений.

При таком датировании можно уточнить и некоторые другие биографические сведения, содержащиеся в "Записках" Винского:

- бракосочетание С. А. Винского с М. А. Пороховниковой произошло осенью 1751 года; следовательно, Степан Акимович родился в 1730-м (прожил 23 года), а Марфа Артемовна - в 1735-м (и прожила около сорока пяти);

- овдовела мать не на двадцатом году жизни, а в восемнадцать, прожив со Степаном менее трех лет, и тогда же, "обижаема будучи по имению нашими родными тетками" (т. е. сестрами отца), вышла замуж вторично...

Уточнения, если вдуматься, касаются многого. На первый взгляд, может, и не столь уж существенного, но когда речь идет о биографии большого человека - "незначительного" нет и быть не может.

Отца своего он не помнил. И помнить не мог: потерял слишком рано. "Вижу, как будто в тумане, наш дом в деревне Котляковке..." Это было имение Губчица, его отчима.

"С. Котляков при реч. Калинке..." Так село названо в "Описании старой Малороссии" А. Лазаревского (Киев, 1888, т. 1). На современной карте Брянской области имя ему - Котляково.

Тогда это был один из 111 населенных пунктов, относившихся к Первой Почепской сотне Стародубского полка. Теперь, - пишет мне энтузиаст-краевед Владимир Столицын, - довольно крупный, растущий и строящийся совхозный поселок.

Название села шло от рельефа местности. Оно протянулось вдоль котловины длиной в четыре и шириной в одну версту, по правую сторону речушки Калинки, или Калиновки, как именуют ее сейчас.

Деревню отчима - ее "сливня" (сливовые) деревья, ее "огороды", ее "пруд" (в котором едва не утонул) вспоминал Винский как "памятное в непамятном". Тут же, правда, он замечал: "Но, кажется, сие все я знаю более по рассказываниям домашних". А все-таки не забывал - помнил.

"Переезд отсюда на житье в местечко Баклань", о котором он писал: "гораздо явственнее помню", состоялся после 23 июля 1756 года. Откуда вдруг эта точная дата? Из "Родословника" Модзалевского, где жизнь М. В. Губчица прослежена довольно четко. Именно в тот год и тот день состоялось назначение его сотником Бакланским. Определением отчима в сотники объясняет переезд семьи в Баклань и автор "Записок". Ему тогда исполнилось (или еще не исполнилось) четыре года, но и более чем через полвека мог он сказать "как теперь вижу", припоминая и "приготовления к сему путешествию", и сам переезд - с перебежавшим через дорогу волком и вызванным этим шумом, со всем тем возбуждением, которое такие поездки сопровождает.

Бакланская сотня была меньше Первопочепской: она включала в себя, кроме одного местечка, 64 села и деревни. "Местечко Баклань при р. Судости, - читаем у Домонтовича. - Как сотенное местечко Стародубского полка, известно еще в XVII веке. Одно время оно принадлежало князю А. Д. Меншикову, но потом было отобрано от него и вместе с бывшим здесь "дворцом" приписано к заводам конной гвардии. В 1759 году местечко поступило во владение графу Разумовскому... В нем жителей 755 душ обоего пола, все бывшие владельческие крестьяне".

"Сотенное местечко Баклань на р. Судости. Церкви Преображения Господня, Св. Николая..." - это уже из другого источника ("Обозрения Румянцевской описи Малороссии"). Вроде бы ничего нового эта, вторая, выписка не добавляет, но для меня - и для повествования моего - она существенна двояко: во-первых, ссылкой на две церкви (в то время как в Почепе

было шесть), а во-вторых, подтверждением того, что одна из них и впрямь была Святого Николая ~ Винский, упоминая ее в своих записках, оказался совершенно точным.

Но есть, кажется, то, что нуждается в пояснении. Имею в виду часто употребляемые мною такие понятия, как полк, сотня и т. п.

"Полк козацкий малороссийский", поясняет Шафонский, поначалу представлял собою определенное количество войска ("на собственном своем содержании служащего"), которое приводилось в действие при наступлении военного лихолетья, в мирное же время занималось привычным трудом в своих селениях. Со времен Богдана Хмельницкого суть этого понятия изменилась, расширилась. "...Сверх первоначального его состояния значил полк часть

Малыя России и составлял целую область, или провинцию, из полкового города, нескольких местечек и многих сел и деревень состоящую, и назывался по главному своему городу или местечку. В полковом городе имели полковник того полку, полковая старшина и полковая канцелярия, в некоторых магистраты, а в других ратуши, свое пребывание. Полки разделялись на сотни, которых не равное было число: в одном меньше, в другом больше..."

Украина, таким образом, имела 9 полков и 142 сотни. Среди полков был Стародубовский (или Стародубский) с центром в Стародубе. О размерах его дает представление приведенная в этой же книге "Ведомость, по которой значит, сколько в Малой России до открытия в ней трех наместничеств, то есть до 1782 года, было полков, сотен и в оных разных селений и жителей". Так вот, Стародубовский полк, занимавший север Черниговщины, имел: городов - 4, местечек - 3, сел, деревень, хуторов - 1118, "Козаков выборных" - 7050, "Козаков подпомощников" - 18 107, дворян, мужиков и прочего населения - 147 629, всего же почти 173 тысячи человек. Полк делился на одиннадцать сотен: Первую полковую Стародубовскую, Вторую полковую Стародубовскую, Первопочепскую, Второпочепскую, Бакланскую и другие.

"Сотня в себе заключала живущих в ней дворян, Козаков выборных и подпомощников, крестьян казенных, владельческих и монастырских, а в некоторых и мещан, магистрату подсудимых..."

Выборных, то есть таких, "которые к полевой и заграничной службе с лошадей, мундиром, ружьем и пикою и всею верхнею и нижнею амунициею должны быть готовы", в сотне было от 100 до 200 человек. По тысяче и более числилось "подпомощников" - ближайшего военного резерва, способного развернуться при первой необходимости. Имела сотня и артиллерию, для которой "определяемы были из Козаков армаша или пушкари и палубные или фурлейты". Чтобы управлять было сподручнее, сотня разделялась на курени с куренными атаманами во главе.

А над всем и всеми стоял сотник. В Баклани - Губчиц, внук, сын и брат казацкой старшины.

Мы его знаем по Винскому. Не будь "Моего времени", оставаться бы Михаилу Васильевичу безвестным. Разве что мелькнуть на мгновение перед листающим родословия и вновь кануть в небытие.

"Вотчим мой, бывши от природы человек угрюмый и сердитый, к нам весьма был неласков..."

: "Вскормленный в доме вотчима, я испытал прежде несправедливости и обиды, нежели ласки и милости..."

"...Наказания случались ежедневно, нередко с повторением, и не обходя праздников..."

Все это штрихи к портрету Губчица. Еще один штрих: "...сам, сколько помнится, меня никогда не бивал, а исправлял сие чрез нашу несчастную мать..." И еще один штрих - его, Губчица, голос, произносящий: "се добрый знак (дорогу перебежал волк. - Л. Б.); а коли б заяц, то не добре".

Только для этих слов и открывает он рот в книге пасынка, а вообще же проходит ее страницами молча - несправедливый, неулыбчивый, мрачный.

Может, оттого не запомнились ему первые годы "в сем местечке"; если же и вспоминал на старости лет "дом, сад, реку Судость, греблю, городище и проч." в Баклани, то потому только, что прожил тут и годы, которые врезаются в память. Во всяком случае, он помнил, как из дома, где жил, ходил в школу при церкви Св. Николая и там постигал "науки". "Чему и как учил" его дьяк, Винский сказать не мог, но "что он часто и больно секал..., особливо по субботам", забыть не мог и в шестьдесят. По поводу этого "глупо варварского обыкновения", до конца постигнутого и осмысленного затем в университетах жизни, писатель исторгнет из груди наболевшее: "Проклятая поповщина!"

Был Григорий ребенком восприимчивым.

Дальних поездок семья не совершала, но в Почеп навевывалась: расстояние невелико; а родня там - что Губчицы, что Пороховниковы (и Винские?).

Запомнилось не все. Но это... "...На пятом или шестом году моего века, едучи осенью из Почепа в Баклань, при захождении солнца спускалася наша повозка с небольшого бугорка к реке Судости. От солнечных лучей, скользящих, что теперь знаю, по гладкой поверхности воды, казалась она огненною; чрез нее летели несколько сорок в лес ночевать. Глядя на все сие, я не знаю отчего, стало мне очень грустно. Сия картина и теперь еще так жива в моей памяти, что я, кажется, мог бы ее нарисовать; с того времени воззрение на заходящее осеннее солнце всегда в душе моей производит уныние..."

Такое нельзя со счетов сбросить - ведь тут пробуждение в человечке маленьком художника. Но как внести этот эпизод, и множество ему подобных, в "хронологию" жизни?

Просто запомним. Как запомнил он, Винский.

Приметим: от раннего детства красота для него неотделима от доброты.

Недобрым человеком вошел в память первый домашний учитель Мушинский - "пан Мушинский", поляк. Он был "охотник стрелять, удить рыбу, ловить птичек"; Григория это привлекало (вспомним страницы, касающиеся уже зрелых лет); инспектор его "нередко с собою важивал". Но... никаких восторгов не прорывается, а все потому, что Мушинский "был крайне зол и нас секал без милости".

"Нас" - это прежде всего его. Погодок Осип "почитался хворым", и "его не принуждали учиться". Винский вспоминал: брата почти никогда не наказывали - "больше ласкали". А уж с него самого взыскивали за все...

Губчиц продвигался по службе дальше. 22 июня 1759 года ему было поручено ведение "пограничных работ" в Брянском уезде, а затем во всем Стародубском полку. Новое назначение повлекло за собою частые отлучки и разъезды. Но для старшего пасынка это вряд ли было огорчительным. Ближе становилась мать, нежно им любимая. Мало слов и много чувств посвящено в книге ей и - "неизреченной нежности материнской"... Как раз в это время, вероятно, Мушинского сменил Дворецкий, и учитель, и человек хороший. Родом он был из Сосницы. Можно предположить, что речь идет об Иване Дворецком, впоследствии священнике Сосницкой Покровской церкви, питомце Киево-Могилянской академии. При нем Винский прошел основы латыни, научился бойко читать и писать по-русски. Дошло до того, что страницы из "Апостола" читал в церкви. Первые, так сказать, его "публичные выступления"...

Между прочим, и отец Александра Радищева, Николай Афанасьевич, получал свое начальное образование вот так же, притом в этих же местах. Почему? Каким образом? Обратимся к выписке из старого документального исследования.

"...Было в обычае, если сына не отдавали в школу, брать к нему на дом в качестве учителей тех же школяров из старших классов Киевской академии и других подобных ей школ... Философ или богослов Академии в качестве домашнего учителя... передавал ученику ту премудрость, которую усвоил у своих профессоров. "Семь свободных искусств" схоластической школы с элементами древней истории Руси по Гизелю, обязательный, для многих полуродной, польский язык, латинский язык как необходимое орудие проникновения в ученую литературу и

как внешний признак высокой образованности, для паничей высшего круга один или два европейских языка - вот основные элементы книжного и достаточно сухого образования панских детей на Украине в эту пору; причем, конечно, все это сдабривалось, насквозь пронизывалось элементами доступного богословия..."

Здесь, наверное, эта выписка не случайна.

"Дитя, к десяти годам своего существования, являет уже начатки страстей, имеющих некогда образовать его свойство..." Своими десятью, - критически оглядывая жизнь, подходившую к концу, - Винский доволен не был: "важнейшие дни моей весны протекали без малейшего обработывания". Будто бросали, сравнивал он, зерна на ниву, а всходы их, рост, созревание предоставляли судьбе. И все-таки доброе проросло. Что именно? Он "точно не был ни зол, ни скуп, ни завидлив", еще в детских играх "душевно равнялся с низшими", а "господствовать ни сам не любил, ни над собою не терпел". В его представлении это было "врожденным". На самом же деле сказывались личность любимой и любящей матери, уроки Дворецкого, постоянное общение с "низшими", наконец, сызмала возникший протест против несправедливости, неравенства ("мать часто мне говаривала о богатстве нашего отца расхищенном и что мы бедняки против сестры нашей, рожденной ею от г. Губчица").

"Сие, однако, весьма мало действовало на меня". Потом, возможно, и мало. А поначалу?

Так или иначе, но, расставаясь с домом (и прежде всего с матерью), он горько плакал. Было ему всего десять.

Сколько раз случалось такое: сойдемся мы, бывшие или сегодняшние черниговцы, вместе, и среди бесчисленного множества небезразличных вопросов непременно прозвучит этот, о Вале.

- Как там наш Вал?

- Держится старик. Стоит крепко.

- Ну, и тебе того пожелаю...

Вал - место, примечательное не только для родного мне города, одного из древнейших городов Отечества. Он и в историю всей Украины, всей Руси вписан. Так именуют - сказал бы даже: величают - стародавний, когда-то сильно укрепленный центр Чернигова, воспетого во множестве народных песен, былин, летописей. Еще бы - первое письменное о нем упоминание датируется 907 годом. А к этому времени он был уже признанным центром восточнославянского племени северян, вторым по значимости после Киева городом Древней Руси.

Тогда, в глубокой древности, а если точно, то в начале XI столетия, начал складываться тут, на Валу, уникальный, неповторимый архитектурный комплекс. И до чего же славно, что сейчас, воскресший из пепла войны, составляет он основу Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника! В нем - Спасский и Борисоглебский соборы, Коллегиум и Дом Лизогуба, дома губернатора и архиепископа, чуть в стороне Екатерининская церковь и, как вечные стражи этой прекрасной "застывшей музыки" разных эпох, - старинные пушки.

XVIII век утвердил славу Вала, славу его сердцевины - Кремля-Детинца как административно-политического, религиозного и, наконец, культурно-просветительного центра города.

Произошло это, последнее, благодаря упомянутому уже Коллегиуму. Но почему зашла речь о Коллегиуме? Винский там учился. Начиная в свои десять.

В родословных - особенно "малороссийской" и "черниговской" - три интересующие меня фамилии переплелись тесно: Губчицы, Самоцветы, Рославцы...

Фамилия Самоцветов принадлежит к дворянству Волынской губернии Новоградволынского уезда, где она записана в родословную книгу и в дворянстве признана

Правительствующим Сенатом. "Род Матвея Михайловича Самоцвета по владению имением в м. Почепе внесен во 2-ю часть..." - сказано в "Родословной книге Черниговского дворянства".

Матвей Михайлович был тогда отставным штабс-капитаном и достаточно богатым человеком. Сыновей своих, Ивана и Феофила, он учил в Чернигове, приставив к ним для надзора особого инспектора Михаилу Цвета (впоследствии он выйдет в судьи Черниговского совестного суда).

Рославцы вели свой род от начала XVII века; были они из "знатнейшего шляхетства". А по богатству... Есть такая фамилия и в "Списке 142 потомственных дворян Черниговской губернии, владеющих землею от 1000 десятин и свыше". У этого Рославца - десятин 1348. Фамилия повторяется часто. Вошел в "Родословник" и Николай Иосифович - тот самый Николай, с которым вместе ехали в Чернигов.

Р чему тут, спросите, эти Самоцветы да Рославцы? Но ведь я "расшифровываю" строки из "Записок" Винского: "...Два почепские паньчи Самоцветы, учившиеся уже в Черниговской коллегии под надзором инспектора Цвета, со вновь завербованным паньчем Рославцем, заехали к нам в октябре 1762 года и, присоединив меня к себе, повезли в Чернигов".

Ехал он без всякой охоты. Да и пробыл там совсем недолго...

Коллегиум возник на основе славяно-латинской школы Лазаря Барановича и стал одной из первых средних школ на всей Левобережной Украине. Учились в ней дети казачьих верхов и простых казаков, отпрыски родов мещанских, купеческих, сыновья лиц духовного звания, и не только с земель украинских, но также из соседних районов России и Белоруссии.

Учащихся было довольно много: 250-300 человек. Распределялись они по классам, или, как именовали их там, школам. Первая школа - инфима, вторая - грамматика, третья - синтаксима, четвертая - пиитика, пятая - риторика, шестая - философия. Три первых соответствовали начальной: тут изучали книжные русский и украинский языки, латынь, греческий, церковнославянский, немного французский, немного арифметику и геометрию. Впереди у тех, кто здесь учился, было дальнейшее изучение языков, знакомство с историей и географией, а кроме того, постижение искусства стихосложения, составления проповедей и красноречия, чтение в оригиналах и толкование трудов философов.

Новичка Винского игумен Котельницкий, ректор, зачислил в "грамматику". Это был второй класс (автор "Моего времени" ошибся, назвав его третьим). До третьей школы он не дошел: учение в Коллегиуме не понравилось настолько, что убедил мать увезти.

"Все мое пребывание в Чернигове чуть-чуть помню..." - писал Винский. Нет, просто не хотел вспоминать. Помнил же и то, как его "сек понапрасну" инспектор и сколько обид претерпел от Самоцветов, которые были "гораздо старше". Между прочим, в Коллегиуме существовал такой порядок: старшие назначались аудиторами к младшим - проверяли домашние работы, следили за поведением и т. д. Права им предоставлялись широкие, вплоть до физических "внушений". Самоцветы, вероятно, пользовались своим "правом" широко и охотно. После относительной домашней вольницы вся обстановка здесь угнетала и удручала. Бурсацкие нравы были ему не просто непривычны, но - чужды.

А учителя - "пана Дембицкого" - запомнил. И ничего худого о нем сказать не мог...

Учебный год в Коллегиуме продолжался до конца мая - "Троицына дня".

Григория забрали на каникулы до дня святой Троицы - "гораздо ранее обыкновенного". В Чернигов он больше не вернулся.

Остался ли там "паньч Рославец" - не знаю, а вот Самоцветы, закончив несколько "школ" в Коллегиуме, переехали в Киев и стали учиться в тамошней академии; так что общение Винского с ними продолжалось.

Может, случая больше не представится, и потому скажу сразу: Николай Рославец впоследствии был определен в военные канцеляристы, а затем пошел по лестнице казачьих чинов, Иван Самоцвет дослужился до капитана и занимался своим хозяйством, Самоцвет же



Феофил вышел в генерал-майоры и под конец жизни исправлял довольно важную должность в Оренбурге. Знал ли он, что до него в том крае протекли тридцать пять лет жизни ссыльного Григория Винского? Вряд ли. Жизненные их дороги разошлись давно и - навсегда.

...А пока он, Винский, предпочитал изучать "мироздание" не по учебникам - по жизни. Более всего были ему по душе поездки.

Запомнилась нежинская - ездил с матерью и бабушкой (Пороховниковой). Пишет: "для каких-то надобностей". Но было это "кажется, в сентябре", "базар и улицы завалены были каунами" (и многим другим), а потому, думается, речь идет о поездке на "фирменную" для города Покровскую ярмарку, собиравшую в конце сентября - первых числах октября великое множество людей отовсюду.

Нежин со времен образования казачества на Украине выделялся в ряд городов главнейших, при Богдане Хмельницком - полковых. Расположение его было непривычным: на совершенно почти равнине, по обоим берегам реки Остер, протекавшей через город прорытым каналом. Но и в этом выражалась его особая притягательная живописность.

Есть у М. Домонтовича, чьи сведения я использую, упоминания и о греках, привлечших к себе юного Винского особенно. Они утвердились здесь со времен того же гетмана Хмельницкого, жаждавшего, чтобы в крае развивались ремесла и торговля. Греки слыли народом предприимчивым, торговым - вот и дали им возможность проявить себя в полной мере. В Нежине, как и в ряде других мест Малороссии, им предоставили дополнительные права и преимущества. Нежинские греки освобождались от податей, постоев, дачи войску подвод и личной военной службы, в торговых делах приравнивались к купцам первой и второй гильдии, пользовались привилегией вступления в службу армейскую или казачью на правах личных дворян; у них даже был свой магистрат, самостоятельно вершивший все дела "греческого общества" города.

На Покровской ярмарке Григорий мог увидеть - и увидел - все удивительное многообразие торгового Нежина. С лавками, гостиницами, трактирами, винными погребами. С бойкой распродажей железного, медного, красного товара, папушного табака, который во множестве возделывали жители и самого города, и его уезда, наконец, знаменитых нежинских огурчиков, вишен, слив, арбузов, грибов, груш и даже винограда, в огромных количествах доставлявшегося на осеннюю ярмарку из южных районов.

На бумаге же - прошло полвека! - вспомнил он немного, но самое для него яркое: увиденных тогда впервые колоритных, живописных, с другими не схожих греков и их товары - особенно колбасы и... каракатицы<sup>4</sup>, а также горы "каунов" (арбузов), корзины с "дулями" (украинскими грушами), торговлю сливами, виноградом и прочим.

Нежин из памяти его не ушел.

К Киеву Нежин был ближе Баклани или, скажем, Почепа. Возвращаться домой не стали - напрямик отправились дальше. Так, собственно, и замышлялось.

Марфа Артемовна жаждала помолиться в киевских соборах, приобщить к "таинствам" сына и... определить его на учение - настоящее, долговременное, основательное, не то, что в Чернигове, который оказался всего-навсего "пробой сил".

Молилась она недолго и не слишком истово. Это заметил даже Григорий, человек одиннадцати лет. Так и написал: "...мать моя, исправивши с великою торопливостью свое богомолье, оставила меня..."

Торопливость, противоречившая, даже по его, детскому, убеждению, настоящей вере, имела наверняка свои причины. Этими причинами, представляется, были заботы домашние: о младшем сыне, о Кате, о доме. Думаю я и о Губчице - человеке, крутой нрав которого более всех ощущала она; не случайно это словосочетание в записках сына: "наша несчастная мать".

---

<sup>4</sup> "Морской слизень, слизняк" - так у Даля.

Своего первенца она оставила "какой-то женщине, именем Варвара". Неизвестная ему дотоле (а нам и сейчас) женщина стала для Григория попечительницей и нянькой на все пять лет жизни в Киеве.

Первые шаги по Киеву совершали они вместе: "недели две... шатался с нею по монастырям..." Шатался! И это о Софийском соборе, несравненном памятнике истории, архитектуры, монументальной живописи, тогда, конечно, не музей, а действующем мужском монастыре, о Киево-Печерской лавре, православном монастыре еще с 1051 года, других известнейших храмах, привлекающих сегодня тысячи и тысячи людей со всего света... Но как о матери, торопливо справившей богомолье, так и о себе, своем приобщении к киевским "святыням", он отозвался без особого благоговения: "шатался". Куда почтительнее вспоминал о другом - о том, как "пресыщался" в те же недели изобилием "всех родов плодов"...

Киев 1763 года - как раз тогда впервые проводили перепись его "ревизских душ" - насчитывал 42 тысячи человек. Добрую половину составляли дворяне, духовенство, чиновники, военные, три процента - купцы, более трети - ремесленники, мещане, казаки. Город давно уже снискал себе славу главного экономического и культурного центра украинских земель.

Занимал он тогда весьма небольшую площадь вдоль Днепра. Но и та единой застройки не имела. Киев состоял из трех частей: Подола, Печерска и Верхнего города. Каждая управлялась по усмотрению своей собственной администрации. Нелишне заметить, что и право самоуправления, и особый статус имела также Киевская академия, на учение в которой был Винский зачислен.

"Описывать все подробности моего пятилетнего в Киеве пребывания, хотя и весьма мне памятные, не считаю нужным, поелику во все сие время ничего со мною не случилось особенно любопытного..."

Все подробности помнил, но описывать не считал нужным? Ничего особенно любопытного? И это в годы, когда каждый день несет с собою и знания, и опыт.

С высот многотрудной его жизни, сотканной из испытаний одно другого сложнее, относительно спокойные, радикальными переменами не отмеченные периоды представлялись чуть ли не праздными...

Но праздными они не были.

Из энциклопедического справочника "Киев": "Киевская академия. Первая высшая школа на Украине и в Восточной Европе. Начало К. а. положили киевские Братская школа и Лаврская школа, которые в 1632 объединились. В 1632 назывались Киево-Могилянской коллегией. К. а. материально поддерживал гетман Б. Хмельницкий... С 80-х гг. 17 ст. коллегия приобрела все черты высшего учебного заведения, но юридические права и титул академии получила в 1701-м. Имела восемь классов, курс которых изучался на протяжении 12 лет. В нее принимали молодежь всех сословий, но преимущественно учились дети казацкой старшины, шляхты, духовенства и зажиточных мещан. Большинство слушателей К. а. (до 2000 чел.) получало разностороннее светское высшее образование. Студенты изучали славяно-русский (тогдашний литературный украинский язык), церковнославянский, польский, латинский, греческий, староеврейский, немецкий и французский языки, историю, географию, математику, астрономию, катехизис, пиитику, риторику и диалектику (умение провозглашать речи и вести диспуты), философию, богословие (для тех студентов, которые намеревались стать служителями культа)... В 1817 К. академия была закрыта. В том же году в помещении ее открыли духовную семинарию, которую в 1819-м реорганизовали в духовную академию. Размещалась К. а. на Подоле, на территории Братского монастыря. Теперь в помещении академии (Красная пл., № 2а) - филиал ЦНБ УССР..."

Еще одна справка - "субъективная" (из "Записок" Г. Винского): "Киевская академия, по назначению своему для духовенства, пеклась наиболее образовывать людей в сие звание. Посему

науки, преподаваемые в ней, были: грамматика, пиитика, риторика, философия, богословие и языки: латинский как основание, польский как истолковательный; по ним греческий и еврейский как нужные для разумения церковных писателей; немецкому и французскому хотя также обучали, но весьма недостаточно; прочие же науки там были совершенно неизвестны. ...Я, учившись весьма похвально, бывши в одной риторике три года, говоривши и писавши латинским и польским языками как моим природным, имевши набитую голову тропами и фигурами, умевши соорудить хрию правильную и превращенную, выехал из Киева настоящим, касательно необходимейших знаний, дурнем..."

В подтверждение он сослался на неграмотность в арифметике. Мог бы, конечно, привести и примеры, касающиеся других наук. Но вспомним, сколько было "студенту" лет, какую подготовку прошел он к своим одиннадцати и... подивимся не пробелам, но почерпнутому.

Учениками становились в возрасте от десяти (иногда и семи) до пятнадцати, а то и двадцати, лет. За ходом учения, за поведением учащихся неусыпно следили сеньоры, цензоры, учителя, пользовавшиеся полным правом и взыскивать. Только в разной мере: учителям, например, позволялось давать ученикам не более двадцати ударов. Жил Винский на квартирах наемных. Обихаживала его там Варвара; что же касается нравственности, то ее контролировали "переменявшиеся", притом не раз, инспектора.

"Учился довольно прилежно, не только не отставал от других, но всегда числился между отличными. Учителям, как публичным академическим, так и частным инспекторам, был всегда послушен и добрых, особенно умных, душевно любил..." С "сердечным почитанием и благоговением" вспоминал Винский тогдашнего ректора отца Самуила (Самуила Миславского) и учителя риторики отца Никодима (Никодима Панкратьева). Зато не лучшую память оставили по себе некоторые другие, в том числе ("не взирая на всю ученость") Иван Самойлович. Он много знал, обладал прекрасной библиотекой, но... не отличался справедливостью и тем самым питомцев своих отталкивал. Оттолкнул и его, будущего писателя. "Несправедливые... в рассуждении меня поступки я умел уже чувствовать и им того не прощать..."

К "низшим" людям причислил он также Щербацкого - "старого богослова", который "выпросил" Винского под свою "инспекцию" и, вероятно, досадил ему изрядно. Справедливости ради следует отметить, что современный исследователь В. М. Ничик, изучив собрание рукописных курсов риторики и философии профессоров академии XVII-XVIII веков, хранящееся в той же ЦНБ АН Украины, констатировал: "Значительный интерес представляет курс Тимофея Щербацкого, и не только потому, что в этом курсе имеется раздел "Этика", но также и потому, что курс Щербацкого показывает хорошее знакомство автора с картезианской философией".

Повторю, однако, что тот, чью жизнь я сейчас "проживаю", оценивал ученых не только по их лекциям.

Курс обучения в Киевской академии был рассчитан на двенадцать лет. Винский учился пять: значит, не прошел и половины программы? На этот вопрос не ответить, если представлять себе программы только по названиям классов, а не по сути предъявлявшихся требований. Зная же суть, мы поймем, как много дало нашему герою обучение домашнее.

Первые четыре класса были грамматическими: фара (или аналогия), инфима, грамматика, синтаксима. Особое внимание здесь уделялось изучению латинского языка. Как же иначе - преподавание философии, поэтики, риторики, богословия велось дальше исключительно на латыни, и студенты академии должны были владеть ею безукоризненно.

Винский приехал в Киев уже достаточно по этой части подготовленным. "При сем учителе, - писал он ранее о Дворецком, - я прошел латинский альвар..."

Признаюсь откровенно: не сразу и понял, что за "альвар" имеет в виду автор. Только позднее стало ясно: называл он популярнейшую тогда в Европе грамматику Эммануила Альвара, по которой изучали латынь и в академии. Во всяком случае, до 1763 года; позднее Альвар уступил место писарской грамматике, печатавшейся в Варшаве.

В латинском языке его подготовка была основательной. Изрядно успел он в грамматике, в практике русского и церковнославянского языков. Широко известная тогда "Грамматика Словенска" Мелетия Смотрицкого была знакома и ему. Знал польский - и потому, что этот язык был в ходу, и от первого учителя поляка Мушинского.

Черниговский Коллегиум, хоть и проучился в нем недолго, знания его привел в определенную систему и, безусловно, расширил.

Так что ни в первом, ни во втором, ни в третьем классах академии ученика Винского не видели. Разве лишь проучился год в четвертом, одновременно восполняя свои пробелы по предметам "грамматического цикла".

Достовернее знаем мы только о его занятиях "в одной риторике". По свидетельству собственному, он проучился там целых три года, причем "весьма похвально".

По окончании грамматических ученики становились студентами классов пиитики и риторики. Год отводился на пиитику, год - на риторику; Винский же провел здесь не два года, а три. Эти классы пользовались наибольшей популярностью - и вообще и у него в частности.

В "пиитике" студентов досконально знакомили с общими правилами стихосложения, причем рассматривалось до тридцати видов произведений классического и средневекового стиля. Они постигали, что есть эпопея и трагедия, канты и элегии, комедия и буколика, каковы законы поэзии идиллической, сатирической, дидактической, стихотворений приветственных, драматических и многих других. Постигали не только теоретически, но и на практике, тут же составляя стихи, посвященные всевозможным событиям и самым разным лицам.

Пиитика подготавливала к риторике. Вот где в полной мере раскрывались и знания, и таланты студентов! Учась составлять речи и писать письма, они занимались творчеством в полном смысле этого емкого слова, овладевали искусством элоквенции - красноречия, постигали возможности эпистолярного жанра, проверяли свои способности увлекать, зажигать слушателей.

Голова его, не без иронии вспоминал Винский, была набита "тропами и фигурами". О чем тут говорится? Привлечем себе в помощь Владимира Ивановича Даля. 1. "Троп... слово, речь в переносном, иносказательном, инословном, иноречивом смысле..." 2. "...Фигура риторическая, украшение речи, оборот инословный, иносказанье, иноречие, окольная речь, обиняк, притча..." Студент - это опять же о себе - мог "состроить хрию правильную и превращенную". Хрию? Вряд ли многим сейчас, даже среди людей с высшим гуманитарным образованием, известен сам этот термин. Опять же прибегнем к "Толковому словарю" Даля: "Хрия... риторическая речь, по данным правилам". Могла она быть, оказывается, и "правильной", и "превращенной"?

Учебники пиитики и риторики были преимущественно рукописными. Каждый преподаватель пользовался своим. Только в рукописном наследии Киево-Могилянской академии, хранящемся в Центральной научной библиотеке АН Украины, находится (точнее, выявлено) 183 курса риторики, из которых 127 составлены в стенах самой академии. Тут же найдено немало "речей" и "слов", посвящавшихся важным общественно-политическим событиям XVII-XVIII веков, крупным деятелям науки, выдающимся преподавателям. Много речей - о пользе наук, с самыми развернутыми доказательствами этого. Специально исследовавший обширнейшие фонды материалов В. М. Ничик пришел к выводу: "Курсы риторики отличаются от других курсов своей светскостью, обилием цитируемых античных историков, связью с общественной жизнью эпохи. Именно в этих курсах сосредоточено все новое; они тесно связаны с гуманистической проблематикой и благодаря этому начинают

выступать в роли методики по всей излагаемой системе знания". Исследователи столицы Украины заняты сейчас составлением описи курсов риторики и философии, находящихся, как установлено, не только в Киеве, но и в Москве, Ленинграде, Львове, Вильнюсе, библиотеках и музеях за рубежами страны. Впереди - интересные находки, важные для науки выводы.

Чтобы еще более подчеркнуть значение классов пиитики, и особенно риторики, их первейшее место в системе академических наук, приведу некоторые "статистические данные", почерпнутые из серьезной, глубокой монографии Зои Ивановны Хижняк "Киево-Могилянская академия", вышедшей вторым, переработанным и дополненным, изданием к 1500-летию Киева (К., "Вища школа", 1981). Итак, в 1764/65 учебном году в классе аналогии насчитывалось 162 ученика, инфимы - 92, грамматики - 127, синтаксисы - 166, пиитики - 157 студентов, риторики - 278, философии - 122, богословия - 55. Несколькими годами позднее, в 1768/69 учебном году, класс аналогии посещал 161 ученик, инфимы - 130, грамматики - 94, а пиитике училось 128 студентов, риторике - 306, философии и богословию - 151. По окончании класса риторики из академии обычно уходила половина ее состава. Даже больше половины - популярность философии и тем паче богословия была много меньше, сравнения с риторикой они не выдерживали.

В маленькой "главке" под названием "Академия" Винский не случайно сделал упор на своем интересе к риторике. Трехлетнее изучение ее, а перед тем пиитики, оказалось в высшей степени полезным, когда принялся он за собственную литературную деятельность.

Разве не по законам ораторского искусства написаны публицистические страницы "Моего времени", посвященные проблеме просвещения в России, роли родителей в воспитании детей, привлечению к делу воспитания юных россиян всякого рода иноземцев?

Не голос ли трибуна звучит там, где автор обличает пороки Екатерины II и ее присных, выступает против нравов самовластья, против всего того, что задерживало развитие России, ее экономики и культуры?

"...О, отцы, матери, и все вы, от коих зависят дети! Войдите в подробнейшее разыскание разности между воспитанием и научением; пекитесь ваших чад прежде воспитывать, потом научать..."

"...Ликург хотя против правил здравья нравственности написал свои законы, но нельзя не согласиться, чтобы он не чувствовал могущества общественного воспитания. В Спарте оно было под непосредственным назиранием правительства, единообразное для всех и утвержденное законом. Ежели сей свирепый законодатель мог чрез воспитание образовать исступленных воинов, презиравших болезни и смерть, почему законодатели, более человеколюбивые и более благоразумные, не могли бы также образовать людей добродетельных и рассудительных?..."

"...Где высокое чувство человеческого достоинства? Где нравственность? Где справедливость? Что религия, сильнейшее, по-вашему, обуздание страстей, единственный бич пороков? Почто она молчит?..."

Изучение риторики Винскому дало многое. "Тропы", "фигуры", "хрии правильные и превращенные" - все то, что увлекало тогда, в академии, что держало "в одной риторике три года", становилось для его прозы горячей кровью и крепкой мускулатурой, делало ее по-особому убедительной и доходчивой, по-настоящему живой (и к жизни зовущей).

Бесследно они не прошли - ни лекции, ни упражнения практические, ни диспуты по множеству разнообразнейших тем. Обострили его восприятие, отточили и расцветили язык, углубили эрудицию - заложили полезные основы творчества, к ^ которому он пришел лишь через годы и годы тягчайших испытаний.

Вот чем она, та "пиитика и риторика", обернулась.

Для других - многих других - обернулась скорее, чем для него. Десятки питомцев академии и ее профессоров сыграли важнейшую роль в становлении отечественной литературы.

Назовем хотя бы Григория Саввича Сковороду - выдающегося украинского просветителя, философа и поэта. Полистаем - почитаем страницы прекрасной антологии киевской поэзии XVII-XVIII веков "Аполлонова лютня", выпущенной издательством "Молодь". Среди более чем сорока поэтов давних времен, многие из которых полногласно зазвучали впервые (Фома Евлевич, Афанасий Кальнофейский, Лазарь Баранович, Илларион Ярошевицкий и другие), большинство составляют выпускники Киево-Могилянской академии. Многие имена тех, кто внес свой вклад в развитие творческого гения родного народа, указаны и в книге З. И. Хижняк, и в статьях по истории академии, и в изданиях энциклопедического характера. Но тщетно искать там Винского. Почему?

В своих родных местах жил он в стихии речи украинской, русской, польской и... смешанной. "Стародубье было в течение долгого времени заманчивым приютом для переселенцев. Находясь вблизи границ Польши, оно давало полную возможность в случае преследований, минуя заставы, уходить за границу и потом снова возвращаться под именем чужеземных выходцев" - так писал А. Шафонский, и в этом свидетельстве находим мы то, что безусловно важно и для характеристики речи, впитанной Винским с детства.

"Языковым островом" окрестил Стародубщину писатель Г. Метельский. Меня свело с ним вполне естественное для всякого пишущего желание привлечь как можно более полезного материала, нужного в работе над этой книгой.

Георгий Васильевич с послевоенных лет живет в Вильнюсе. Прописан в Вильнюсе - так, пожалуй, точнее. Все время он в пути. Ходит и ездит по Литве, колесит по просторам Крайнего Севера, живет на погранзаставах Курильских островов, бороздит моря-океаны на кораблях торгового и пассажирского флотов... Мне больше знакомы его историко-биографические произведения - о Зыгмунте Сераковском, о Петре Смидовиче. И в них бьется беспокойное сердце путешественника-искателя, и в них меньше всего от домоседа, от затворника.

Но вот в одном из интервью читаю: Метельский родом из Стародуба. Так, может, и о Винском знает такое, что прошло мимо меня? Оказалось - не знает. "Когда я писал свои "Листья дуба", то перерыл и перелопатил великое множество материала, но эта фамилия мне либо совсем не встречалась, либо, если и встречалась, не привлекла внимания..." Что ж, и такое признание важно!

"Листья дуба" - о сегодняшнем дне отчего края. Однако всюду, чуть ли не на каждой странице, - экскурсы в историю, литературу, этнографию, лингвистику.

Так вот о лингвистике. "Из каких только лексиконов не попали сюда (в местный говор, получивший даже название "стародубского языка". - Л. Б.) эти слова! Белорусские, украинские, старославянские, польские, литовские, а может быть, и иные, происхождение коих осталось тайной для неспециалиста. Получился некий сгусток, конгломерат таких редких слов, что сам Даль, услышав некоторые из них, ахнул бы от восторга..."

Эту "языковую смесь" изучали академики и профессора, сказки "по-стародубски" записывал Афанасьев, а какой-то чудак взялся было даже перевести на "перевертенский язык" здешних мест басни Крылова. Переводят, дескать, их на французский или монгольский...

"...Некоторые лингвисты, - пишет Метельский, - утверждали даже, что именно здесь работала кухня, где в результате долгой исторической варки образовалось три славянских языка - белорусский, северомалорусский и средневеликорусский, ставший литературным русским языком".

Через эту "кухню" - только не многовековую, не глобальную, а, как бы точнее сказать, более интенсивную и индивидуальную - прошел в свое время Григорий Винский, - от языка стародубского к чистейшему русскому, с диалектными и иноязычными включениями только там, где посчитал нужным сам писатель.

Потому-то мне хочется обратить внимание на два факта: один - из "Моего времени", другой - из документов академии. Винский вознес хвалу глубоко им почитаемому "отцу ректору Самуилу". Стараниями же Самуила Миславского с начала пятидесятых годов XVIII века в учебном заведении ввели в качестве первостепенного предмета русский язык, русскую поэзию и риторику. Сам Миславский был и тонким знатоком, и сторонником изучения языка великого народа; позаботился он о профессорах и учебниках - так пришли сюда, в частности, "Российская грамматика" и "Риторика" М. В. Ломоносова. С уверенностью можно сказать: это в Киевской академии пришла к Винскому полноразличность русского слова, тут впервые он по-настоящему постиг красоту его и гармонию.

Учились в академии столько, сколько желали. Студент мог оставаться в классе на любой срок. Имел он и право - из высших классов возвращаться в нижние. Не отчисляли даже за неуспеваемость.

Оставляли ученики и студенты свою "альма матер" по собственному прошению. Одних толкала на это нужда, других вынуждали семейные обстоятельства, третьих - намерение поступить в университет, либо подготовить себя к врачебной деятельности, либо пройти курс народного училища и выйти из него учителем. А часто уходили просто потому, что ничего полезного от дальнейшего учения уже не ожидали. Аттестат - соответствующий, конечно, - выдавался и после завершения полного курса, и после окончания любого из старших классов.

Почему не дошел до конца Винский? На этот вопрос мы никогда точно не ответим. Кроме полюбившейся риторики его интересовали языки. Латинский, польский, греческий, древнееврейский были пройдены. Много успел в русском, церковнославянском, родном украинском. Мечталось овладеть еще немецким и французским - особенно французским. Но этим языкам "хотя тоже обучали, но - по его словам - весьма недостаточно". Так зачем же оставаться в академии дальше? Ради философии и богословия? К названным наукам его не тянуло. Выходит, пора заканчивать? Да!

Оно, это "да", было решительным. "В половине 1768 года я оставил Киев..."

Но к тому времени в нем утвердилось решение: проситься на службу в "заграничную армию" - один из русских полков за рубежом. Знание французского языка открывало в такой службе

возможности более скорого продвижения, он же знал его слабо. (Может, и отсюда нелестная оценка Ивана Самойловича, преподававшего в академии также французский?)

Так и получилось, что, прожив подле матери, по которой соскучился, месяца два, не более, Винский оказался в Стародубе - "помещен был для французского языка" в только что открытый тогда частный пансион.

Не остановили и соображения престижа: "Перейти из публичного училища в частное значит быть понижену в своих собственных очах; но я, по пристрастию к французскому языку, сим не затруднился".

Стародуб уже в XI веке был одним из значительных городов Черниговского княжества. Не раз он погибал, но - не погиб, терял значение, но - не потерял. После смерти Богдана Хмельницкого ему суждено было стать главным городом особого полка и обширного района.

Располагался город по обоим берегам Бабинца - реки болотистой, поросшей камышами, но очень его красившей. Утопал Стародуб в садах, возвышался золотыми куполами церквей, шумел ярмарками. Четыре ярмарки в год сами по себе свидетельствовали о его богатстве как торгового центра. "Фирменными" товарами были тут конопляное масло и пенька. Большой выбор изделий представляли на продажу ремесленники.

Украинцы, русские, поляки, греки, евреи - с ними он познакомился еще в детские свои и ранние юношеские годы. Познакомился как бы "изнутри", узнав их и в привычной для каждого работе, и в говоре-песнях, и в быту. Позже он узнает - поймет! - неповторимое своеобразие других народов и народностей. И это тоже служило для него школой. Школой жизни.

Пансион был "новозаведенный". Создал его некий Карнович. Хотя почему "некий"? Только потому, что не знаю его я?

Карновичи вели свой род от почепского городского атамана, который утвердился здесь еще в конце XVII века. У атамана Антона был сын Ефим, тоже личность видная. Сын же Ефима Степан пошел дальше всех. Поехав в Петербург (это было еще при Елизавете), он поступил здесь на службу к наследнику престола, у которого вскоре стал одним из приближенных. Великий князь произвел его даже в графы (Шлезвиг-Голштинского графства), а сразу после своего восшествия на престол назначил стародубским полковником. Это произошло в 1762 году. Тогда-то возник в полковом городе пансион: пребывание Степана Ефимовича Карновича в Петербурге при будущем Петре III не прошло без следа. Пансион продолжал существовать и после смещения этого полковника со своей должности.

Язык тут изучали с "азов". Кроме французского проходили и другие предметы. Принимали обычно малолеток. Здесь же перед учителями оказался юноша пятнадцати лет, прошедший различные предметы в самой Киевской академии, да и в французском не такой уж новичок. Для него требовалась программа своя, методика необычная...

Приняли. "Лета мои, знание латинского языка и правил грамматических (французского? - Л. Б.) произвели в учителе некоторой род уважения ко мне, так что он, снисходя на мою просьбу, прошел для меня синтаксис Пеплиеров..."

Это был тогда едва ли не самый известный в России учебник французского языка. Грамматика Пеплиера выходила в XVIII веке несколькими изданиями. В реестре книг учителя риторики Ивана Самойловича, переданных им в дар Киевской академии, она представлена в двух изданиях и значится под названиями: "Французская грамматика Пеплиерова" и "Французская грамматика Пеплиера"; оба экземпляра - из отпечатанных в Москве.

Много лет спустя в своей собственной практике домашнего учителя Винский, наверное, пользовался ею же, именно грамматикой Пеплиера - ценил учебник высоко.

"Сие одно мне было нужно, и я чрез девять месяцев оставил пансион..." Оставил, добившись своего, - достаточно свободного знания французского языка. Он и подумать не мог, что много лет спустя французский надолго станет источником его существования...

Пансион существовал долго. Практически на его основе в 1790 году в Стародубе было открыто "малое народное училище", состоявшее поначалу из двух классов. Училось в них от 25 до 60 мальчиков и "до 4-х девочек". Позднее "малое народное" стало уездным. А традиции сохранялись.

"...В отчетах и в особенности на торжественных актах с гордостью упоминалось, что в училище преподаются языки: латинский, немецкий и французский. Но приносило ли это преподавание пользу краю - вопрос был важности второстепенной: училище гордилось уже тем только, что некоторые из помещиков отдавали сюда детей своих для того, чтобы последние, научившись читать и писать, могли с грехом пополам перейти во 2-й или 3-й класс гимназии..." (Это опять из Домонтовича.)

Винский готовил себя к другому. "Школьное" учение для него "совершенно кончилось" в шестнадцать лет. Шел 1769-й. Дело было летом.

А осенью... "Осенью 1769-го я отвезен был в Глухов, где, препорученный генеральному судье г. Журману, я долженствовал прожить зиму и потом, с его заступлением, ехать в заграничную армию..."

Слово М. Домонтовичу: "Впервые Глухов упоминается в письменных источниках в 1152 году: город был взят половцами, пришедшими на помощь князю Юрию Долгорукому... В 1240 году, во время нашествия монголов на Южную Русь, один только Глухов, как полагают, уцелел от разорения... В 1352 году моровая язва, опустошившая в то время почти всю Европу и Азию, по свидетельству летописей, истребила в Глухове поголовно все население... Неизвестно, с какого года город возобновился снова, но в XVII веке имя его начинает встречаться в разных



актах весьма часто как одного из пограничных городов между московскими и польскими владениями... Когда в 1663 году король Ян-Казимир предпринял сильный поход в Левобережную Украину, то... Глухов... в продолжение почти двух месяцев держался против приступов поляков и успел отстоять свою независимость..."

"Леонтий Москвич свидетельствовал по впечатлениям 1702 года: "Город Глухов - земляной, обруб дубовый, вельми крепок; а в нем жителей весьма богатых много, панов. И строения в нем преузорчатые; церковей каменных много; соборная церковь хороша..."

"В 1708 году жители Глухова были свидетелями проклятия Мазепы и избрания в малороссийские гетманы Ивана Скоропадского. С этих пор значение и благосостояние Глухова, назначенного главным городом Малороссии и резиденциею гетмана, начинает заметно возрастать. В 1722 году в Глухове была учреждена Малороссийская коллегия, которая помещалась в весьма красивом трехэтажном здании, имевшем до 250 комнат..."

"Гетманская столица" продолжала расти и после 1764 года, когда гетманство было упразднено. Глухов оставался местом сосредоточения высших учреждений огромного края. Жизнь здесь бурлила на петербургский лад. Последний гетман, Кирилл Разумовский, хотя и не жаловал своей любовью "гнусное место Глуховское", устроил тут и постоянную оперу, и французские пансионы для детей казацкой старшины и "благородного малороссийского шляхетства", и один из редчайших тогда книжных магазинов. Продолжала свою деятельность певческая школа и по-прежнему каждый год десять лучших ее питомцев пополняли придворную хоровую капеллу, придворный оркестр. В Глухове начиналась слава Дмитрия Бортнянского - знаменитого композитора XVIII века.

"Препоручили" Григория попечительству генерального судьи Журмана

Генеральный суд был высшим судебным учреждением на Левобережной Украине. Возник он в ходе освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов. Тут решались самые ответственные дела, связанные с деятельностью генеральной и полковой старшины, он являлся высшей апелляционной инстанцией для судов полковых. Ликвидация его произошла в 1783 году в связи с введением на украинских землях общероссийской судебно-административной системы.

И вновь, как однажды уже было, "между прочим" замечу: и к Генеральному суду, и к Стародубу имел отношение дед Радищева, Афанасий Прокофьевич. Служба его на Украине продолжалась почти десять лет (1731-1741). После расформирования кавалергардов, выйдя с военной службы в отставку полковником, он, уже сорокасемилетний, получил достаточно высокое назначение - членом в Малороссийский Генеральный суд, отправился в Глухов и, служа там, не только многое повидал и сделал, но и существенно поправил материальное благосостояние семьи, в которой уже рос будущий отец знаменитого писателя (о том, как протекало его учение, сказано раньше).

Тогда в составе Генерального суда было три украинца и столько же "великороссиян", назначенных из Петербурга. Радищев как старший среди них одно время исполнял даже обязанности "правителя". Позднее его поставили во главе Стародубского полка, и он стал полномочным администратором на обширнейшей территории (к которой относились и Почеп, и Баклань, и другие населенные пункты, знакомые впоследствии Винскому).

"Ранговые маетности" давали Афанасию Прокофьевичу возможность стать человеком в высшей степени богатым, причем на всю жизнь и всему его роду. Но к получению земли на Украине в полную и потомственную собственность он не стремился, как и не занимался стяжательством вообще. А все же средств скопил немало, жить по возвращении в Россию стал много вольготнее.

В родовом имени Немцове близ Малоярославца на видном месте висел портрет А.П. Радищева в роскошном парчовом кунтуше с перначом полковника и казацкой саблей в руках.

Внук Афанасия Прокофьевича родился через три года после смерти деда, но жизнь в Глухове и особенно Стародубе помнилась его отцу, от которого многое мог слышать и Александр Радищев, впоследствии автор "Путешествия из Петербурга в Москву".

Обо всем этом я прочел в скрупулезнейшем труде П. Г. Любомирова "Род Радищева", составившем значительную часть академического сборника "А. Н. Радищев. Материалы и исследования" (М.; Л., 1936).

Но отчего я решил привести некоторые из вычитанных фактов здесь? Без особых причин. Просто потому, что Стародубье некоторым образом оказалось-то "общим" и для Винских, и для Радищевых.

"Судья генеральный" в таблице о рангах "малороссийских чинов" во времена гетманства проходил как "второй по гетмане генеральная старшина". Отсюда положение Журмана в Глухове: он был настоящим вельможей. Так называет его и Винский: "Я находился под покровительством вельможи, у коего временно являлся и иногда обедал..."

Илья Васильевич Журман был из потомственной стародубской старшины. Роды Журманов и Губчицов поддерживали между собою добрые, даже родственные отношения. Этим покровительство и объяснялось.

Из биографической справки:

Будущий судья генеральный родился от брака именитого казацкого старшины Василия Журмана с дочерью почепского сотника Губчица. Илья Журман начал службу с 1739 года в генеральной канцелярии; просидев там шесть лет войсковым канцеляристом, он получил чин бунчукового товарища, обеспечивавший его положение в обществе, а через пять лет, в 1750 г., был уже в числе посланцев, поехавших в Петербург "для поднесения императрице учиненных всею Малою Россиею на гетманское достоинство выборов и для испрошения на те выборы высочайшей конфирмации". Не успел Журман вернуться на родину, как отправлен был снова в Петербург, "депутатом по делам национальным". В эти поездки он успел понравиться новому гетману и вскоре стал его свойственником, женившись на одной из родственниц Разумовских, Агафье Давыдовне Стрешенцовой. Это свойство, вероятно, выдвинуло Журмана и в генеральную старшину: по именному указу 1756 г. он был пожалован в генеральные судьи. На этом уряде он оставался до конца гетманства Разумовского, а при Румянцеве, сохраняя тот же чин, заведовал Генеральным судом до его закрытия. При открытии в Малороссии наместничеств Журман назначен был новгородсеверским губернатором. Умер в 1783 г. бездетным, оставив богатые имения...

Лазаревский, из книги которого "Описание старой Малороссии" эти сведения почерпнуты, прояснил для меня многое. И родство Журманов-Губчицов. И родство Журманов-Разумовских. И определенную надежду на бездетность богача-вельможи: не станет ли пасынок Губчица ему сыном?

"Я был причислен к Генеральному суду, но присутствовать в нем более трех раз не удосужился..." В этих словах - и официальное положение Винского в Глухове и ... "неофициальное", так сказать, его отношение к своим обязанностям. Впрочем, не его одного: "Молодые шляхтичи, приписанные в разные присутственные места, вели жизнь по большей части праздную..."

Шляхтич - вообще-то польский дворянин. Но уже тогда понятие это распространялось и на дворянство не польское - не высшего разряда и не слишком большого достатка. Любопытны пословицы, приводимые к словам "шляхта", "шляхтич" В. И. Далем: "Гол, да в шляпе - тот же шляхта", "Хоть шляхтич дробной, да породы доброй". Последнее можно было отнести к Винскому без всяких оговорок.

Праздность развращает любого. Юную душу - тем более. Он же впервые оказался предоставленным самому себе. Без присмотра домашнего. Без надзора инспекторов. Без строгих уставов Коллегиума и академии. "...Жил... на наемной квартире, располагая моим временем,

делами и поступками самопроизвольно..." Полная, ничем и никем не ограниченная свобода! И впервые столько привезенных из дому вещей "для пристойного появления в большом городе". И невиданных соблазнов повсюду. И людей, которые были уже "профессорами распусты..."

Нет, в разгул он не пустился - и не по "безденежию", как писал потом, оглядываясь на прожитое, но по "застенчивости", точнее, нравственности, утверждавшейся в нём на протяжении всех лет.

И все же осень и зима в Глухове устои его поколебали. Главное (он о том не пишет, но это случилось), не находили применения ни его знания, ни его жажда деятельности. Так для чего языки, пиитика, риторика?

Винский расслабился: "...я только был повсюду зрителем, но действователем нигде..." А мечталось быть именно действователем. Причем не только в развлечениях, в забавах (хотя кто скажет, что для человека его возраста они не важны?)...

Дей-ство-ва-тель... В "живом великорусском языке" Даль этого слова не услышал. Уже в наше время Д. Н. Ушаков поместил его в "Толковом словаре русского языка" со ссылкой: "книжное устаревшее". Не из "Записок" ли Винского пришло оно в словарь тридцатых годов XX века?

...Из Глухова он выехал 2 марта 1770 года.

"Я оставил Глухов, не могучи себя, по строгой справедливости, ничем укорять порочным или вредным. Шалости мои и проступки точно были ребяческие, могущие быть достаточно изглаженными одним признанием. Как сладостно вспоминать и теперь, что я тогда не был еще виновен ни пред людьми, ни перед собою!..."

Григорий был совсем юным. Серьезно задумываться над проблемами жизни, а тем более извлекать (и формулировать) выводы, он станет гораздо позднее.

Но вот что замечаешь, перечитывая первый раздел "Моего времени": чуть ли не половину его занимают рассуждения-выводы, навеянные тем периодом жизни, рассказ о котором он назвал просто: "Шестнадцать лет, или Детство и Юношество".

## Глава II. "ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ..."

Это просто невозможно: представить себе Петербург без Зимнего, а набережную Невы - без Медного всадника. Весной 1770 года Петербург ни того ни другого не имел (хотя иметь и готовился).

"На 18-м году приехавши в Санкт-Петербург, виденные тогда предметы, как: недостроенные две стороны Зимнего дворца, не очищенная пред ним площадь, зимовавший против Кунсткамеры спущенный на Неву военный корабль, каменный сарай, где отливался Петра Великого памятник, кристальный у Семеновского мосту завод, даже первые гренадеры Измайловского полку, в их древних шапках и унтер-офицерския перевязи, так свежи в моей голове, будто я на них теперь гляжу..." "Теперь" - значит в 1814-м, когда писалось "Мое время".

Любимому детищу Петра - городу на Неве шел при первом с ним знакомстве Григория Винского всего-навсего шестьдесят седьмой год. Новой столице России было и того меньше: из Москвы она переместилась сюда в 1717-м.

...Где прежде финский рыболов,  
Печальный пасынок природы,  
Один у низких берегов  
Бросал в неведомые воды  
Свой ветхий невод, ныне там  
По оживленным берегам  
Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли  
Толпой со всех концов земли  
К богатым пристаням стремятся;  
В гранит оделася Нева;  
Мосты повисли над водами;  
Темно-зелеными садами  
Ее покрылись острова,  
И перед младшею столицей  
Померкла старая Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиноносная вдова...

"Медный всадник. Петербургская повесть"... Великая поэма, однако, будет написана только через шесть с лишним десятилетий после появления Винского в сем граде. Тогда, в 1770-м, еще не родилась даже будущая мать Пушкина, будущему же его отцу шел всего-навсего третий год.

...Был он, Петербург, пока не таким, каким воспел его впоследствии гениальный поэт России.

К восемнадцатому году своей жизни Григорий уже и поездил, и повидал немало. Доселе только в пределах Украины. Но она была его домом: говорили здесь на родном певучем и таком понятном языке, пели удивительные, за сердце берущие, знакомые с детства песни, дорожили традициями, шедшими от дедов-прадедов.

Нет, он не склонен был преувеличивать. Любовался качествами добрыми, но замечал и не их только. "Скупость, родная сестрица расчетливости, родственница бережливости, свойственница хозяйства, довольно была у соотчичей моих приметна; но скряжничеством и лихоимством, кажется, они душевно гнушались. Тяжбы и ябедничество были весьма употребительными преимущественно между шляхетством. Ссоры и драки у простолюдинов случались, но не продолжительные и не увечные, ибо наиболее разделявались чубами..." Однако главное виделось ему в крепости семейных устоев ("дети были у родителей в полном повиновении, простиравшемся так далеко, что ни лета, ни звание не освобождали от оного..."). Виделось оно и в народном гостеприимстве, которое проводилось всюду "с истинным усердием и удовольствием", и в открытости характеров, дружелюбии отношений, неприятии показного ("поддельных - тут речь о женщинах - нигде не терпели...") и в том, что "праздничать, веселиться, петь, плясать - все любили; музыку умели чувствовать". А потом опять не о лучшем: "Но суеверие?.. увы! сие адское детище и в благословенной Малороссии было почти повсеместно!.."

Он так и назвал эти заметки, включенные им в ткань первой же части книги: "Общие моей отчизны нравы". Нравы роднили Почеп и Баклань, Чернигов и Нежин, Киев и Стародуб, города, местечки, села, в которых жил, через которые проезжал.

Теперь Винский впервые оставлял родные украинские земли - выезжал "из благословенных Малороссии" и "при расставаньи с милою родиною" исповедовал самого себя: как жил? что доброго (иль недоброго) сделал?

"Ежели, - рассуждал он, - не имел я самых худых свойств, то по совести же не могу похвалиться, чтобы обладал отличительно добрыми... Я совершенно не склонен был обижать, себе чужое присвоивать, еще меньше хищничать; но вступить за обижаемого, плакать о несчастьи другого, пособить нуждающемуся я точно не умел... Я не навик мучить несчастных слуг, глядеть покойно на брызги их крови, слушать хладнокровно их вопли, не трогаться их стонами, видеть их голодных, холодных и всегда готовых забавлять своих мучителей..."

"Не навик", и шло это из детства. "Не навик потому, что в нашем доме сие не виделось". И с полной убежденностью сам себе говорил:

"Человек ничего не имеет врожденного... все он приобретает, перенимая от тех, с кем живет в теснейшем сообщении..."

...Путешествие располагало к раздумьям и выводам.

О том, как везли его из Глухова в Петербург, автор "Моего времени" рассказал всего в одном абзаце. Был же в пути около месяца.

ото не значит, что месяц он мчался к цели своей поездки. Вовсе нет. Ехали не спеша, останавливались в промежуточных пунктах - порою даже на дни. В Орле кто-то из людей бывалых посоветовал отказаться от казенных способов передвижения и обзавестись собственной, пусть скромной, но своей "кибитчонкой". Стало удобнее, вольготней. Постепенно нашел общий язык и со спутником, точнее, провожатым - Чигиринским. В "Записках" он называет его корнетом. Однако этот младший офицерский чин был введен в русской кавалерии лишь много лет спустя - только в 1801-м (соответствовал он армейскому прапорщику). Да, чин Чигиринского звучал тогда иначе, но усомниться в том, что был он офицером из младших, оснований у нас нет.

Дорога, напомним, была мартовской, под конец даже апрельской. Следовательно, с весенней слякотью, распутицей, грязью, с остановками и такими, которые не предусмотреть, а тем паче не предотвратить. В сочетании с настроением, тоже "слякотным", это на восприятии виденного сказалось. Впечатления от поездки у Винского остались не лучшие.

Конечно, он преувеличивал, десятилетия спустя заявляя: "Все города и самая Москва не произвели во мне ни малейшего внимания..." Внимание было. Иное дело, что виденное прежде казалось ему более ярким и новые впечатления затмевало.

"...Живши в Киеве и видевши там строения довольно огромные и величественные, я по их размеру смотрел и судил о попадавшихся моим взорам; посему славимый русскими Иван Великий пред киевскою лавринскою колокольнею был в моих глазах столбик, как и Успенский собор гораздо у меня меньше значил Киевобратской церкви..."

Киевское возвышала его национальная гордость, возносил патриотизм сына Украины. Определенная переоценка произойдет со временем и, думая над тем, почему не возбуждали в нем удивления "петербургские тогдашние строения", он скажет: "зная киевские, я об них воображал (!) несравненно выше".

Из наблюдений литературоведа.

Многое в "Записках" своих Винский не раскрывает - только обозначает. Причем обозначает легким пунктиром, не прибегая к деталям. Детали вроде бы есть (вот в этом абзаце и дата выезда из Глухова указана, и Орел как промежуточный пункт назван, и про купленную "собственную кибитчонку" говорится, и сотоварищ в поездке - корнет Чигиринский упомянут, и колокольни с соборами поименованы...). Но углубляешься в текст того же абзаца и оказывается, что подробностей автор избегает. Не всюду, разумеется, но тут определенно...

Как биографа меня это огорчает. Эх, думаешь, зря он заторопился - не упомянул одно, проскочил мимо другого. Где теперь то найти, что пробелы восполнит?

Однако тут же начинаешь понимать (или, точнее, в понимании утверждаешься): Винский поступает так вполне сознательно. Не для полного учета и полного обозрения всего, что с ним случалось, повествование предпринято. Из множества фактов жизни отобраны им лишь те, которые, на взгляд авторский, оказались существенными для понимания его будущего.

Будущего - значит, того, что с ним произойдет, случится.

Будущего - следовательно, того, в чем смысл всей жизни...

Пока идет только экспозиция (хотя и есть у этих глав значение самостоятельное). Экспозиция должна быть по возможности сжатее, динамичнее: так учили и в академической "риторике". Отсюда определенная скороговорка отдельных мест. Да, меня, биографа, она не устраивает. Но не понять ее не могу, не уважать не имею права. Восполнение же пропусков -

мое дело. Им я сейчас и занят: шаг за шагом восстанавливаю страницы жизни человека, который с некоторых пор стал частицей меня самого и - мечтается - будет известен всем.

Засим - продолжаю. И поиск, и книгу.

"12-го апреля того ж году флигель-адъютант графа Кириллы Григорьевича Разумовского Петрищев, посади меня с собою в карету, отвез в полк..."

Прежде чем написать о полке, скажу о Разумовском. Без его протекции в привилегированный Измайловский полк было бы не попасть.

Сын реестрового казака Розума, он волею судьбы оказался родным братом фаворита императрицы Елизаветы Петровны, и это определило его участь, его жизнь.

Елизавета вознесла Кирилла в графское достоинство, восемнадцатилетним сделала президентом Петербургской Академии наук, одарила огромными земельными владениями и великим множеством крепостных крестьян, а вслед за тем провозгласила гетманом Украины; гетманство его продолжалось почти пятнадцать лет - с 1750-го по 1764-й, когда было упразднено вовсе.

Эти полтора десятилетия Почеп со всем, что было вокруг, являлся, по сути, его, Разумовского, собственностью. Полученной, как водилось, "на уряд" и оставшейся в полном распоряжении семейства. Сюда приезжали и Кирилл Григорьевич, и его мать Наталия Демьяновна, или "Разумиха", и сыновья, дочери гетмана; для некоторых из них Почеп был поистине "родным гнездом".

Теперь К. Г. Разумовский жил в Санкт-Петербурге, но связь его с Украиной, и особенно с этими местами, не прерывалась. Наиболее близким из числа "земляков" он протезировал, причем действительно.

Потом, в подтверждение, я приведу историю с Лобысевичем - тем самым Афанасием Кирилловичем', упоминаемым в "Записках" Винского его зятем (упоминаемым, надо сказать, благожелательно). А сейчас...

Дворец на Мойке был в столице среди самых заметных. Начиная его строить в 1760 году архитектор А. Ф. Кокоринов, заканчивал в 1766-м Ж.-Б. Валлен-Деламот. В конце века Разумовские передали его Воспитательному дому. (Сейчас это здание входит в комплекс Педагогического института имени А. И. Герцена.)

"Он в нем жил истым вельможею, - читаем в первом томе труда А. А. Васильчикова "Семейство Разумовских" (с. 334). - Насчитывали в одном этом городском доме более 200 человек служителей. Он давал великолепные праздники и ежедневно принимал... В доме этом, в богатом кабинете графа, стоял изящный накладной шкаф из розового дерева; в нем свято хранились пастушечья свирель и простонародный кобенник<sup>5</sup>, который во дни юности носил лемешевский казак Кирило Разумовский, теперешний фельдмаршал и вельможа..."

Приехавший из Почепа Григорий Винский мог видеть и свирель, и кобеняк; высокопоставленный Кирилл Григорьевич показывал свои реликвии также в назидание: "старайтесь - и достигнете многого".

...Но почему был избран Измайловский? Кроме всех своих многочисленных званий Разумовский обладал и таким, на первый взгляд, не "громким" и никак не вяжущимся с более высокими в наших глазах - генерал-адъютанта и генерал-фельдмаршала: с 5 сентября 1748 года (и почти полвека, по 13 ноября 1796-го) он именовался также подполковником лейб-гвардии Измайловского полка.

Все станет понятным, если тут же добавим, что полковником в описываемые времена являлась... "Ея Императорское Величество Государыня Императрица Екатерина II".

---

<sup>5</sup> Кобеняк - одежда на толстого сукна, от холода и дождя.

Сведения почерпнуты из первого и второго приложений к книге "История лейб-гвардии Измайловского полка", составленной капитаном Н. Зноско-Боровским 1-м и вышедшей в свет в 1882 году.

"Возсоздатель славы и могущества России, император Петр I был создателем и гвардии..." - таковы первые строки введения к книге.

Однако, в отличие от Преображенского и Семеновского, Измайловский был сформирован уже при Анне Иоанновне, в сентябре 1730 года; назвали его по селу Измайлово - любимой летней резиденции монархини, которая пять лет спустя и приняла на себя звание полковника этого полка, положив начало традиции: шефом, или полковником, тут всегда есть и будет особа императорской фамилии.

Анна Иоанновна незадолго до своей смерти выбрала для полка и постоянное место: "за рекою Фонтанкою, по обе стороны пространства, составляющего продолжение Вознесенской улицы".

Кирилл Григорьевич был пожалован в подполковники еще при Анне Леопольдовне; не без его участия в 1756-м "при лейб-гвардии Измайловском полку была учреждена школа для обучения грамоте и мастерствам солдатских детей" (ее назначением являлась подготовка к тому, чтобы "окончившие в ней чины могли поступать в ряды полка лекарскими, живописными, габойскими, барабанщичьими, флейщичьими, фельдшерскими, слесарными, токарными и столярными учениками, а по достижении совершеннолетия зачисляться на действительную службу теми же званиями". В подполковниках Разумовский состоял и при "полковнике" Петре III, и при Екатерине II, которая повелела, чтобы полк "составился из трех баталионов с гренадерскою ротою и пушкарскою командою".

В 1770 году - мы подошли к тому, который нам нужен, - произошло два события: первое - "при Измайловском полку учреждена была команда егерей, в числе 72 человек, под командою капитана Олсуфьева"; второе - "по представлению офицера Измайловского полка секунд-майора и армии генерал-поручика Бибикова сформированы были при полку 1-я и 2-я кадетские роты для обучения дворян, числящихся при гвардейских частях".

Они, эти роты, и стали той школой, которая Винскому запомнилась навсегда, а со временем вошла в его записки несколькими выразительными, на удивление живописными страницами.

"В сие время умным и благотворительным Бибиковым заведено было в Измайловском полку училище под названием инженерной школы для записывающихся в сей полк дворян, из которых большая часть едва знали грамоте. Заведение, без прекословия, весьма полезное, ибо тут учили: языки, математику, фортификацию, артиллерию и еще некоторые науки; для языков и высших частей математики были наняты учителя, для нижней же математики и арифметики употреблялись солдатские дети".

Секунд-майор Александр Ильич Бибиков (Винский "произвел" его в премьер-майоры) получил новенького уже не просителем о приеме, а "принятым его сиятельством". Это, а еще более то, что доставивший Винского Петрищев, флигель-адъютант графа, был в Санкт-Петербурге хорошо известен (семейству Разумовских он служил давно, сыновей Кирилла Григорьевича сопровождал даже в поездках зарубежных), позволило им пройти к Бибикову вне всякой очередности; только потом Винский заметил, что обе передние перед кабинетом были заполнены "офицерами и унтер-офицерами", тотчас окрестившими ошарашенного новичка ходовым тогда словом "недоросль". (Бранного, оскорбительного смысла в него не вкладывалось; Даль растолковывал его так: "невзрослый, не вошедший во все года, в полный возраст, невозмужалый".)

Бибиков был в столице человеком из виднейших. К этому времени за его плечами оставалось уже более двух десятилетий военной службы - вступил в нее шестнадцатилетним. Особенно проявил он себя в Семилетней войне 1756-1763 годов. Потом ему довелось

председательствовать в Комиссии по составлению Уложения 1767 года, возглавлять карательную экспедицию против восставших заводских крестьян Урала. О характере его деятельности на Урале Винский не знал, над этим и не задумывался. Но военная его карьера, высокие его звания были ослепительными. Он-то и приказал: "в школу".

На генеральском плане Санкт-Петербурга, составленном в 1755 году, лейб-гвардии Измайловский полк занимает весьма обширную территорию, прямо примыкающую к реке Фонтанке.

На плане "расположения слобод" полка "в Нарвской части" полковые владения начинаются с парадной площади, размеры которой достаточно большие, видны даже в линиях листа. За площадью, по обе стороны Вознесенского проспекта, шел ряд "Измайловских светлиц" - зданий, где располагались учреждения и чины полка. В строгом - "петербургском" - порядке выстроились кварталы и улицы батальонов, рот, команд; в самом центре размещался полковой двор.

Даже сейчас, зная, в какой роте Винский (или кто-то из его знакомцев) находился, можно уверенно сказать: это было там, где сейчас улица имярек. Тут жил, тут проходил службу, тут представал пред очи непосредственного начальства.

Мельком, например, упоминает о том, что, "промотавшись", он "принужденным нашелся нанять квартиру" в четвертой роте, "в солдатском домике". Четвертая рота бывшего Измайловского полка - это в современном Петербурге 4-я Красноармейская улица. Значит, по этой улице он ходил, где-то тут подписал свой первый вексель, отсюда покатился по скользкой дорожке унижений.

Может, это и не главное - ну, конечно же, не главное. Но жизнь-то соткана не столько из событий, сколько из будней. А представить их легче, когда к месту привяжешь, место наглядно уяснишь. Пусть даже не сохранило оно ничего от времен стародавних.

Инженерная школа на плане не выделена - возникла через пятнадцать лет после того, как этот план был составлен. Так что скажем пока: находилась "где-то здесь". Много важнее понять: было то одно из первых военно-инженерных учебных заведений в России. "Заведение это, - читаем в истории полка, - дало много хороших и образованных офицеров в армию".

"Курс в этих ротах продолжался с 1-го сентября по 1-е мая, - учебный классный, а с 1-го мая по 1-е сентября - строевой", - вот и все, что сказано там об организации обучения дворянских недорослей.

Разочарование пришло скоро. За его плечами были годы учения в Киевской академии, а на памяти - настоящие профессора, в науках непревзойденные. Тут же, как убедился сразу, рядом с ним оказались полнейшие неучи ("даже воспитанные иностранцами весьма ограничены в знаниях"), гуманитарная подготовка их ("особенно касательно словесности") не выдерживала никакой критики; что касается "профессуры", то среди нее он прежде всего выделил Артамонова ("в оборванном солдатского сукна сюртуке, с сковерканною рожею"), который с ходу ошарашил его вопросом: "Умеешь ли ты писать?.. а цифры?" Артамонов учил арифметике. Но возиться с новичком ему не хотелось, и обязанности эти он тотчас переложил на "школьников", которые взялись за дело так, что Винский сразу же от них отдалился, а учение возненавидел. Особенно досаждало глумление "русского благородства" над его украинским акцентом, его украинской речью. Оскорбленный в лучших чувствах, он "пустился из доброй... воли в дураки, притворяясь непонятным до того, что учитель и начальники, уставши разговаривать-рапортовать... еженедельно ленивцем, выключили наконец в роту".

Учение для него закончилось быстро.

"Служба фронтовая мне также не понравилась..." Имел он в виду не "кампании" и не "дела", в которых приходилось участвовать измайловцам.

Из "Истории" полка: "1771 год отмечен в истории России как одна из самых тяжелых минут в жизни народа. Моровая язва в Москве похитила массу народа и довела неразвитую



чернь до бунта, кончившегося убийством архиепископа Московского Амвросия. С другой стороны, на юге взбунтовались толпы казаков и крестьян и под начальством Пугачева разграбили целую область, угрожали Астрахани, Оренбургу, Казани и даже Москве. В обоих этих несчастиях офицеры лейб-гвардии Измайловского полка деятельностью своею много помогли прекращению несчастья и бунта..."

Ни в Москву с поручиком полка Сабуровым, ни на Волгу с Бибиковым, "который (по той же "Истории") в три месяца успел остановить распространение мятежа и рассеял главные скопища Пугачева", Винский не ходил. Не участвовал он и в кампании 17/4 года против Турции.

"...Но, - заканчивал он свой вывод насчет службы фронтовой, - я и тем был уже доволен, что, не находясь под подлою ферулою, определен был вертеть ружье, поворачиваться, топтать ногами, как бы делать что-нибудь путное..."

Ферула по-латыни - хлыст, розга. Ферулой называли линейку, которой били по ладоням провинившихся школяров. Винский радовался, что избавился хотя бы от этого.

Для карьеры военной создан он не был. Признавался: "...я во все продолжение моей четырехлетней службы был неизменным самым худым служивым, точно имея природное от нее отвращение, что деспотическое по оной управление еще более во мне усиливало".

Тем более что вскоре убедился: за фасадом строгой дисциплины царит в полку откровенная безнравственность, причем в самых отвратительных, гнусных ее проявлениях.

Девять месяцев - значит, до конца 1770 года - жил он не в полковых казармах. Где именно? "Проживши их в совершенной праздности..." Может, во дворце на Мойке, у самого Разумовского? Что ж, это вовсе не исключено: землякам своим вельможа покровительствовал по-всякому, а там, где постоянно обитает двести человек, найдется место и для двухсот первого. "Удален бывши сообщества порядочных людей..." На огни дворца слетались не самые светлые личности столицы, что же касается слуг всякого ранга, то их жизнь, их плутни более всего и соответствовали тому, о чем писал он потом: "...я всматривался и навикал быть негодяем".

Так вот о покровительстве Кирилла Григорьевича Разумовского. В труде А. А. Васильчикова "Семейство Разумовских" приводится в ряду других и такой любопытный факт: "Между студентами академического университета находились два малороссиянина - Лобысевич и Девович, которым особенно покровительствовали два брата Разумовские. Несмотря на это, по предложению Ломоносова академическая канцелярия постановила обоих студентов за нехождение выключить. Малороссы обратились с жалобою к президенту... дабы он, прекратя своею властью злобу Ломоносова, прямо повелел наградить их при академии адъютантами или магистрами и к другому какому месту определить..."

Президент Петербургской Академии наук был еще и гетманом. Жалобу "обиженных" переслали к нему в Глухов. Кирилл Григорьевич за земляков заступился. Ломоносову он сделал внушение, их же вытребовал к себе и пристроил к должностям при собственном гетманском дворе.

Лобысевич нам еще встретится: впоследствии он стал и родственником Винского, и... одним из персонажей его "Записок".

Новоявленный измайловец мог жить у Разумовского, мог и у кого-то из его приближенных.

В начале 1771-го Винский поселился в одной из казарм первой роты. Первой - это по его же мимолетному, вскользь оброненному упоминанию в "Моем времени". Значит, там, где теперь в Петербурге улица 1-я Красноармейская.

Конечно, она не такая, какой была в то время. Перестройка началась уже в конце XVIII - начале XIX веков и коснулась буквально каждого метра прежних ротных владений. Еще до Винского на площади против первой роты неизвестный зодчий возвел деревянную церковь. В 1824 году бурные воды разбушевавшейся Невы прокатились и по городку полка, церковь и другие постройки из дерева повредив основательно. Церковь пришлось разобрать. Но на том же

самом месте архитектор В. П. Стасов поставил в 1828-1835 годах монументальный собор, и он, по утверждению специалистов, сохранил плановое решение сооружения, находящегося тут первоначально.

Немногое, но кое-что из того, что видим мы, бродя по улицам между нынешними Московским и Лермонтовским проспектами, сохраняет свой внешний облик от тех стародавних времен и до наших дней. Например, двухэтажное здание полкового манежа (сейчас это дом № 13 на углу 1-й Красноармейской и Измайловского проспекта).

Пусть многие здания казарм и других помещений лейб-гвардии Измайловского полка не сохранились, а дошедшие до нас значительно перестроены, как забыть, что тут в первые десятилетия прошлого века действовала революционная организация - "составилось отдельное общество", которое, по ответам Е. П. Оболенского на следствии, "имело собственные свои законы, принадлежа к Союзу благоденствия как одна из отраслей Союза". Измайловский полк вошел в биографии Фонвизина, Муханова, Бриггена, Искритского и других активных участников движения декабристов. Организовать выступление полка в поддержку восставших офицерам-декабристам не удалось. Но мало ли какие планы оказались тогда не осуществленными? Главное, что первое открытое выступление с оружием в руках против крепостничества, против самодержавия состоялось.

Однако многие и многие вопросы, возбуждавшие умы, будоражившие души, приходили, накапливались, требовали ответа задолго до того, как стали образовываться первые сообщества революционного толка.

Их, эти вопросы, задавал себе Николай Новиков - и не тогда, когда стал писателем-сатириком, журналистом, издателем, а еще в бытность свою в Измайловском полку, в который поступил в 1762-м, восемнадцатилетним.

Уже в семидесятые мучился ими Василий Капнист - будущий известный литератор, автор "Ябеда", будущий друг виднейших декабристов и отец двух членов Южного общества; его ранняя юность тоже была связана с лейб-гвардии Измайловским.

Судьбы измайловцев специально не прослеживал никто. Приходится ли сомневаться, что поиски на сей счет открыли бы многое?

По землячеству попал Винский в Санкт-Петербург. "Земляк" - было для него не просто словом, но в большой степени паролем. Земляки связывали его с прошлым, скрашивали настоящее, помогали веселее глядеть в будущее. Земляками вошли в его петербургскую жизнь Адрианопольский и Острожский.

Читая страницы его "Записок" бегло, подсознательно приходишь к выводу: совсем зеленый еще, в жизни неискушенный дворянский недоросль с Украины, вырвавшись "на свободу", при посредстве земляков постарше все дальше отходил от преподанных ему прежде строгих правил нравственности и все глубже окунался в неведомые прежде "удовольствия" разгульной жизни.

Да, он пишет и об этом. Прямо, откровенно, не щадя себя, своего самолюбия... Но для чего пишет? Не для того вовсе, чтобы удовольствиями "похвастаться". О нет, не этого ради предпринята его исповедь перед читателем, исповедь под конец жизни. Она - во имя искоренения самих причин, пороки порождающих.

Вчитаемся, однако, в те же страницы, вдумаемся в "информационную" их основу. И окажется, что беглое чтение приемлемо не всегда, а тут и вовсе не на пользу явно.

Итак, Адрианопольский и Острожский. Как входят они в повествование Григория Винского? Что мы о них узнаем?

"В сие время были в Санкт-Петербурге два прокураторы, гг. Адрианопольский и Острожский. Оба по своей части вельми сведущие: славные писцы и довольно, по-тогдашнему, знакомые со словесностию. По делам в Сенате имели покровителями много вельможей; по своим качествам знакомы были с лучшими деловыми и учеными людьми, особенно со

служившими тогда в Комиссии о сочинении проекта Н<ового> Уложения. ^Значительные свои доходы проживали благородно, имея хороший стол и ежедневно гостей..."

Цитирую по спискам. Разночтения с печатным текстом невелики. Но - есть. У Бартенева и Щеголева - "два прокурора".

Так привычнее. "Прокураторы" - непонятно. Однако правильно у автора. "Прокуратить... прокудить, проказить. Прокурат... проказник, шутник, затейник..." (Даль). "Прокурат... (простореч. устар.). Проказник, шутник; плут" (Ушаков). Вот оно откуда: эти "прокураторы"; никакого отношения к юриспруденции термин не имеет.

Так по какой же "своей части" люди они "вельми сведущие"? "Славные писцы..." У Даля за словом "писец" не одно толкование - несколько. Во-первых, "писарь, переписчик". С пометой "стар." - "кто составлял писцовые книги, переписывал земли, угодья и статьи, подлежащие сбору". И под конец: "историограф, летописец, ведущий дневные записки событиям". Что первое, что третье толкования в контекст не укладываются: это - по малозначительности своей, это - по тому хотя бы, что "историограф, летописец" всегда уникален (тут же, вдруг, сразу два). То, перед которым "стар.", реальнее всего. Дело, требующее знаний и опыта, безусловно, ответственное и... доходное (вспомним: "значительные свои доходы"). Кстати, "славный" чаще всего употреблялось тогда в смысле "прославленный или прославивший громкою славой, известный, знаменитый, чтимый, возносимый, хвалимый всюду" (опять же - по Далю).

Через запятую в том самом тексте сказано: "...и довольно, по-тогдашнему, знакомые со словесностию". Снова Даль: "Словесность... все, что относится к изучению здравого суждения, правильного и изящного выраженья; письменность; общность словесных произведений народа, письменность, литература". По-тогдашнему? Смысл ясен (как здесь: "Большая разница - век нынешний и век тогдашний!"). Словесность, близость к ней, знание, понимание ее (или незнание, непонимание) были в глазах Винского едва ли не важнейшим критерием оценки человека, его достоинств, его сути. Причем не только в годы зрелые, но и смолоду. "Словесность", которая вмещала в себя и литературу, и языки, и пиитику, и риторику, и философию... в общем, "все, что относится к изучению здравого суждения" - в самом широком смысле.

Оба бывали в Сенате, или Правительствующем Сенате, высшем органе государственной власти, подчиненном императору. Но Бог с ними, с вельможами, которые им покровительствовали; куда важнее другое: "по своим качествам знакомы были с лучшими деловыми и учеными людьми, особенно со служившими тогда в Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения".

По качествам - не по должности! Это не оговорка - позиция. Не для красного словца упомянута и Комиссия. Остановимся: тут первостепенное.

"Комиссия об Уложении" 1767 - собрание представителей некоторых сословий России с совещательными правами, созванное для выработки нового свода законов. В напряженной обстановке 60-х гг. 18 в. Екатерина II использовала "К. об. У." для укрепления дворянской диктатуры и своего положения на троне". (Советская историческая энциклопедия, т. 7.)

Открылась она 30 июля 1767 года в Успенском соборе Москвы. Полгода спустя, с февраля 1768-го, ее работа была перенесена в Санкт-Петербург. Прошло более двухсот заседаний, но... ни один из вопросов обсужден до конца не был, ни одного мало-мальски конкретного дела осуществить не удалось. Основное время растрчивалось на чтение наказов сословных групп. Интересы, отстаиваемые их депутатами, как и следовало ожидать, являлись несоединимыми. Тем не менее трезвые голоса прозвучали. Например, при обсуждении крестьянского вопроса. Депутаты от дворян Г. Коробьин и Я. Козельский, от пахотных крестьян - И. Жеребцов, казаков - А. Алейников, государственных крестьян - И. Чупров подвергли критике крепостные порядки и предложили крепостное право ограничить: часть земель -

крестьянам в собственность, повинности - сократить, и существенно, помещиков - урезонить, дабы аппетиты свои умерили. Депутат от дворян А. Маслов заговорил даже об освобождении крестьян от помещичьей власти. Разумеется, дворянское большинство не на шутку разъярилось. Осердилась и Екатерина II. Сославшись на грянувшую русско-турецкую войну, она в январе 1769 года общее собрание Комиссии распустила. Девятнадцать частных комиссий какое-то время еще собиралось; продолжали работу штаты Комиссии; оставался в силе статут депутатов, но... то была уже агония явно не удавшегося предприятия во славу "просвещенного абсолютизма".

Такова историческая справка. Но она лишь подводит к вопросу: "кто?" Так кто же мог быть среди "деловых и ученых людей", служивших в "Комиссии об Уложении"?

Мог быть и Новиков. Тот самый, речь о котором уже шла. Писатель и просветитель, журналист и издатель, чья жизнь стала настоящим гражданским подвигом.

В 1767-1768 годах Николай Иванович служил секретарем Комиссии по составлению проекта "Нового Уложения". На заседаниях ее он вел пристрастные дневниковые записи обсуждений, все более убеждаясь в том, что нищета, бесправие крестьянства, а равно жестокость крепостников останутся и впредь, вопреки всем лицемерным заявлениям Екатерины II. В январе 1769 года после роспуска Комиссии Новиков был уволен, но скоро определился в Коллегию иностранных дел на должность переводчика.

В том же, 1769-м, стал он издавать журнал "Трутень", идейное направление которого определял эпиграф - выразительные слова из басни Сумарокова: "Они работают, а вы их труд идите". Дворянские трутни и закабаленное трудовое крестьянство - их жизнь противопоставлялась во всей контрастности. Из номера в номер Новиков доказывал неразумность, несправедливость русской крепостнической действительности. Последовательно и убедительно рисовал он картины произвола, деспотизма чиновно-бюрократического аппарата, самоуправства и взяточничества судейских, со всей решительностью выступал против раболепства дворянства перед иностранщиной, за русскую национальную культуру. Журнал "продержался" менее года. В апреле 1770-го (том месяце, когда Винский стал "измайловцем") "Трутень" Екатериной II был закрыт.

Но "утихомирить" издателя не удалось. Один за другим появлялись его сатирические журналы "Пустомеля" (1770), "Живописец" (1772-1773), "Кошелек" (1774) и другие. Много позже, оценивая их, Добролюбов напишет: "Новиков, как известно, был первый и, может быть, единственный из русских журналистов, умевший взяться за сатиру смелую и благородную, поражающую порок сильный и господствующий. Он затрагивал такие вопросы и интересы, которые только еще в настоящее время находят свое разрешение..."

Тогда же, официально оставаясь на службе в Коллегии иностранных дел, совсем молодой еще Новиков занялся пропагандой художественной литературы. В 1772-м вышел его "Опыт исторического словаря о российских писателях" - первый библиографический словарь в России, с 1773-го им издавалась "Древняя российская Вивлиофика", содержащая повести, драмы, старинные документы. Через его типографии шли к русскому читателю переводы сочинений Расина, Корнеля, Мольера, других виднейших западноевропейских писателей.

И все это было как раз тогда, когда Винский оказался в Санкт-Петербурге, свел знакомство с Адрианопольским и Острожским, подружился с ними.

"Введенный в сие общество, я приласкан был за мои знания, скоро приобрел любовь за мою живость и сделался для сего общества интересным..."

Было в молодом "обществе" многое (об этом "многом" пишет он подробнее, как бы остерегая других от повторения своих ошибок), но главным все-таки являлись встречи "с лучшими деловыми и учеными людьми", беседы серьезные и веселые, занятия интеллектуальные.

В Комиссии по составлению "Нового Уложения" служили и другие литераторы - близкие к Новикову Александр Аблесимов, Гаврила Державин, Михаил Попов... М. И. Попов, В. И. Майков, другие члены новиковского кружка, но прежде всего сам Н. И. Новиков, более всего "вписываются" в круг тех, кого имел в виду Винский, вспоминая свои первые петербургские годы.

С ними, этими годами и людьми, связан и тот его рассказ, который мы не находим в печатном тексте "Моего времени", но с особым интересом читаем в полных его списках. Позволю себе частично повторить фрагменты приведенного в первой части полностью "крамольного" рассказа, прямо касающуюся работы Комиссии.

"...Задумавши сделаться законодательницею, <Екатерина II> повелела во всем государстве избрать от всех сословий по одному депутату для сочинения, по ее Наказу, законов". И вот после плавания по Волге она, возвратившись в Москву, открыла "величественную кукольную игру законодательства". Далее, картинно, о самой "игре": "Пышное шествие во храм, блистательное заседание на троне, высокого витийства приветствия от всех сословий, колокольный звон, народные клики, пушечная пальба не умолкали во все время, пока совершилось великое дело образования Комиссии о сочинении Проекта Нового Уложения. Наказ прочитан в первом заседании; Комиссия по предметам разделена на 22 отделения, под распоряжением двух маршалов, председательствовавших в дирекции. Дело началось довольно торопливо, длилось около года, потом вдруг Комиссия сокращена в двенадцать членов, под начальством князя Вяземского, а прочие депутаты распущены по домам: одни подверженные немилости за неуместную стойкость, другие награжденные пожалованиями за догадливую подлость. Из всего, происходившего в сей Комиссии, достопамятнейшим может почтется публичное прение князя Щербатова, защищавшего рабство крестьян, с депутатом Карабыным, говорившим за их вольность, которое прекращено было без дальнейших пустословии объявленною чрез Вяземского волею Государыни о сем не говорить..."

Нет, это не вычитанное (да и вычитывать было неоткуда). Это услышанное от тех, кто был с "Комиссией об Уложении" связан непосредственно, кто видел и слышал сам. С авторитетной исторической справкой в энциклопедии есть тут расхождения в деталях (19 частных комиссий - 22 отделения, Коробьин - Карабын и т. п.), но характеристика современника событий поражает и глубиной, и смелостью, и яркостью.

Винский замечает: "роля моя была самая мелочная, но оспорить меня никто, по справедливости, не может". Это "не может" исходит из уверенности в источнике приводимых сведений. Для

него сей источник "забил" тогда, в Петербурге. В рассказе о "кукольной игре" мне слышится иронически злой голос Новикова. "Веселые беседы" у Адрианопольского и Острожского касались не только пустяков, "шутки" бывали и нешуточными.

Из первого - самого первого - сообщения о "Моем времени" запомнились мне слова А. И. Тургенева о том, что до ссылки своей в Оренбург Григорий Винский (в котором тонкий и глубокий ценитель литературы легко распознал писателя) был "едва ли и читатель!". В этом, втором, случае слова выделены не мною - Тургеневым. И он же сопроводил их восклицательным знаком, придавшим его утверждению значительность особую.

Но нет, читателем Винский стал задолго до постигшей его беды и кары. Любовь к наукам, к чтению поселила в нем еще Киевская академия. Читал (точнее, "почитывал") в Глухове - без какой-либо системы, что попадалось. А вот в Петербурге...

У Острожского и Адрианопольского - земляков и приятелей - оказалась "значительная библиотека лучших российских книг". Никакие "странствия по смердящим болотам распусти" не могли помешать ему читать. "Тут, не досыпая иногда ночей, познакомился я с Роллениями, Ле-Сажамы, Волтерами и получил такое пристрастие к чтению, что никогда никакое занятие не

брало по сей день у меня поверхности над оным". Читал он, по его же словам, и в карауле, и в трактире, и в магистратской тюрьме; в тюрьме, где свободного времени в его распоряжении было предостаточно, стал заниматься и переводами. (Переводами, конечно, не в смысле литературной работы - для себя, собственных потребностей, уяснения самим иноязычных страниц и книг.)

...Роллень? Вот о чем речь: "Роллень III. Древняя история об египтянах и карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках. Сочиненная чрез г. Ролленя, бывшего ректора Парижского университета, проф. элоквенции и прочая. А ныне с французского переведенная чрез Василия ТрEDIAКОВСКОГО, профессора элоквенции и члена СПб. Имп. АН. - Т. 1, 2. - СПб.: Имп. Акад. наук, 1749-1751". Это всего только библиографическое описание, но вполне выразительное и суть книги выражающее. Книжки, которая пользовалась популярностью долгие годы.

...Ле-Саж? Ален Рене Лесаж, французский писатель, был известен как автор "Хромого беса" и четырехтомной "Истории Жиль Блаза из Сантьяны". Реалист Лесаж воссоздавал сатирически заостренные картины нравов абсолютистской Франции.

...Вольтер? О Вольтере пояснений не требуется: выдающийся писатель и философ-просветитель славен во всем мире. Да и будет еще случаи сказать о его книгах в связи с героем этого повествования дальше.

Книжки значили для него многое уже тогда. Читателем Винский стал с юности. Это, разумеется, ничуть не умаляет роли и значения чтения в зрелые его годы.

А все же был он тогда очень юн, неискушен, неопытен, столичная жизнь его, провинциала, закружила, и стал Григорий "держатъ расходы, не справляясь с собственным карманом". А где такие расходы, там долги; где долги - тут как тут "благонамеренные люди", готовые ссудить деньгами "под ручные заклады, на векселя, под заклад имений". Немало подобных "заимодавцев" оказалось в самом полку (в деталях описал Винский, как подловили его и довели до крайности в одном из "благородных" офицерских семейств). За двумя годами такой жизни (1771-1772) последовало два года (1773-1774) "в числе тюремников" - среди таких же, как он, "неоплатных должников". Заключение строгим не было, гарнизонного унтера не составляло труда подкупать, но... не было и надежд на освобождение. Посыльный матери рассчитаться по всем его долгам не смог, и арестант "остался неподвижным в магистрате".

Вызволила все-таки она, любящая Марфа Артемовна, приехавшая в конце 1774 года в Москву. Приехала она туда с "новоприобретенным" зятем своим - тем самым Лобысевичем, которому покровительствовали Разумовские и чья жалоба на Ломоносова повлекла за собою очередное внушение непокорному ученому.

В "Малороссийском родословнике" В. Л. Модзалевского Лобысевичам отведено почти семь страниц. Есть - отдельно - и об Афанасии Кирилловиче.

Родился он "около 1732 г.". С 1748-го обучался в гимназии Академии наук и дошел до класса риторики. В 1754-м попросил принять его в студенты той же Академии. Шесть лет спустя (январь 1760) Лобысевич значился тут же на службе - переводчиком. 1 сентября 1761 года он был уволен и зачислен в штат К. Г. Разумовского. Продвижение его шло достаточно успешно: 1765 - секретарь "капитан-поручичья чина", 1771 - "генеральс-аудитор-лейтенант премьер-майорского чина", 1773 - "генеральс-адъютант подполковничья чина", 1774 - "армии полковник при отставке". Потом дослужился до чина действительного статского советника, был предводителем дворянства и т. д. и т. п. Но нас интересуют не его "потом", а его "сейчас", когда Винский сидит в "магистрате" и это, при всей нелюбви к нему молодой жены Лобысевича, Екатерины Михайловны Губчиц, бросает на семью тень позора.

"Зять мой, 45-ти лет, из весьма бедного состояния, по уму своему и учению дослуживши полковничья чина, во время служения за свои достоинства и качества приобретши

дружбу благородного вельможи гр. Разумовского, его начальника, живши всегда в большом свете, зная оный со всеми его коловратностями достаточно, бывши честен и добр..." - в общем, этот-то зять и поспособствовал освобождению Винского, отпуску его из Петербурга да еще и с "повышением унтерства". Иными словами, производством капрала в подпрапорщики. Этот чин присваивался унтер-офицерам, отличившимся в бою или выдержавшим соответствующий экзамен. А еще, как видим, по протекции: ни в боях, ни на экзамене повода отличиться у Винского не было.

В Москву он приехал с матерью: чтобы выручить сына, Марфа Артемовна, "не пожалевши себя", прибыла на почтовых в Санкт-Петербург. "Неизреченная нежность материнская..." - вздыхал автор "Моего времени", вспоминая самого родного для него человека.

"Екатерина расстроеной Польши, победами над турками и отторжением от них Крыма сыгравшая первое действие своей политической драмы довольно удачно, вздумала народ свой занять, ослепить и Европе бросить несколько в глаза пыли блистательными торжествами и премудрыми новыми, ежели не законами, то учреждениями. Для сих важных дел назначена была древняя столица и целый 1775 год..."

"В конце 1774 года двор отбыл в Москву для празднования торжеств о заключенном с турками мире; мать моя... исходатайствовала мне не только освобождение из заключения, но пожалование чином и отпуск в Москву..."

"Мелодрама открылась наряднейшим императрицы въездом в Москву, предшествуемой и сопутствуемой блистательным двором, видными полками телохранителей и бесчисленным народом. Торжественные врата, взгромощенные на скорую руку, хотя из лубков и рогож, но раскрашенные, раззолоченные и в приличных местах убранные соответственными предметами картинами, восхищали всех до безумия..."

Винский - в Москве. Оказался он там в январе 1775-го и пробыл по март (вероятнее всего, включительно). Может, и по апрель. Потом поехал в Почеп и, пробыв на родине три месяца, в "древнюю столицу" вернулся.

"...Возвратившись в конце июня в Москву, я был зрителем и несколько участником блистательных торжеств и веселий, которые описывать, однако, считаю не нужным, ибо в них, кроме обыкновенного, ничего не замечалось особенного..."

"Обыкновенное" для времени писания цитируемых "Записок"? Или и для того уже, когда события происходили? Для непосредственного их воспитания?

Думается, что в последних вопросах резон есть. Отношение его к жизни менялось. Сознательно или стихийно, но изменения претерпевало. Тому, что видел, с чем сталкивался, давал он оценки собственные, основанные на им же производимом анализе всех "pro", всех "contra".

И вдруг захотелось (захотелось мне) сопоставить московские абзацы "Моего времени" с московскими страницами "Дневника поручика Васильева", изданного в конце прошлого века (СПб., 1896). Автор введения к книге, Е. Щепкина, предварила публикацию таким своим выводом: "...местами в записях... можно найти кое-какие характерные черты нравов и быта второй половины XVIII века, а главное, общим своим составом дневник представляет любопытный материал для истории русской личности того времени, для нравственной и умственной характеристики тогдашнего, так сказать, среднего человека, представителя служилого сословия". К этому сословию принадлежал и Винский - тоже из мелкопоместных дворян, тоже небольших чинов, но моложе годами, основательнее учившийся. Впрочем, и общего, и различий много больше, чем можно перечислить в рамках короткой характеристики.

"Дневник Нарвского карабинерного полка поручика Васильева" интересен нам тем, что автор его, как и автор "Моего времени", почти весь 1775 год провел в Москве.

Значит, могли они быть рядом, видеть друг друга, общаться между собою, а главное - наблюдать одни и те же события.

Вернемся к приведенным выше словам: "Мелодрама открылась наряднейшим императрицы въездом в Москву..." (По Далю, "мелодрама" - это "драма с музыкой и пением"; тут же лексикограф упоминает о "страстных и потрясающих явлениях, вставляемых в мелодрамы".)

О событиях, свидетелем и участником которых был он сам, Винский пишет с очевидной, хотя и не подчеркиваемой особо, иронией.

Васильев довольствуется фотографированием. "Схватить" успевает многое, но вот насчет того, чтобы осмыслить...

Приведу всю эту пространную запись в его "дневнике" - иначе не сопоставить, не сравнить. "Число 25. Воскресенье. (Идет "генварь" 1775-го. - Л. Б.). Сего числа торжественный вход в Москву Ея Императорского Величества начался пополудни в 3 часа таким образом: от Всесвятского до Успенского собора и до дворца нового, что у Пречистенских ворот, улицы были по обе стороны убраны зеленью и в пристойных местах к зрению народа поделаны были места; а как скоро три часа пробило, то выпалено из вестовой пушки и пущены были ракеты; потом из Всесвятского во дворцовых экипажах ехали кавалеры, а посольства, дворяне верхами. Ея Императорское Величество с их Императорскими Высочествами в трех особах в одной карете, а за ними дамы в разных каретах, в препровождении разных воинских команд; а по улицам стояла конная и пехотная гвардия и прочих полевых полков команды по обе стороны, даже до дворца. Первые встречали земледельцы на поле, вторые - купцы в земляном валу, где сделаны их коштом ворота триумфальный, называемый Тверкие ямския; третьи - московской губернатор с дворянством в Тверских, их коштом построенных, называемых Белого Города воротах, где играла инструментальная и духовная музыка; губернатор московской Остерман говорил поздравление, а товарищ держал хлеб с солонкою золотою; четвертое - сенаторы и прочих коллегий члены у Воскресенских ворот; пятое - синод и духовенство у Никольских ворот; шестое - начальствующий Крутицкий архиерей пред Успенским собором с причетом того собора. Во все оное шествие производилась пальба пушечная на площади и звон во все колокола у всех церквей; а как из собора шествие началось ко дворцу, то и у дворца пальба производилась. Тот вечер весь город и улицы иллюминированы были, а у некоторых дворов поделаны были для иллюминации щиты. Во время того шествия бесчисленное множество народа имелось, стоящих по улицам и в зрительных местах, также и на кровлях строения, отчего иныя места подломились, крыши обвалились, и теснота была великая. А ночью великими толпами прохаживались и, видя Матерь Отечества, веселились".

Конечно, все это небезынтересно. Но только как исходное для выводов... У Винского же явны и ход события, и его цель: "бросить несколько в глаза пыли". Вывод вполне определенный - что здесь, что в других абзацах.

...Не всегда можно сказать, что талант - это подробность.

Ни на этих, ни на других страницах "Моего времени" ничего нет о Пугачеве и Крестьянской войне, тогда, в московские месяцы Винского, еще совсем недавней.

Не знал о ней? Подобное предположение в высшей степени абсурдно. Хотя бы потому абсурдно, что к событиям оказались причастными знакомые ему (и даже вошедшие в "Записки" люди). Например, Бибииков, определявший его в школу Измайловского полка.

Так могла ли не взволновать Винского еще в Петербурге, за несколько месяцев до поездки в Москву, весть о смерти этого человека? (Васильев, как явствует из дневника, генерала не знал, посвятил же ему не одну запись. Вроде такой: "Число 15. Четверток. (1774, май. - Л. Б.). Сей день получил обстоятельное известие от прибывшего из Казани ротмистра Рыльева, что его высокопревосходительство господин генерал-аншеф и разных орденов кавалер Александр Ильич Бибииков, будучи от Казани в 50 верстах, в местечке Бугулминах, апреля в первых числах, от приключившейся ему жестокой горячки и апестимы скончался...")



...Не знал Винский в январе и о таком январском, 1775 года, событии, как казнь Емельяна Пугачева?

Опять Васильев: "Число 10. Суббота. Казнен вор и злодей самозванец Емелька Пугачев, на Болоте четвертован, а потом голова отрублена и на шест воткнута, и прочим его единомышленникам тож учинено.

...Число 12. Понедельник. Пугачева труп и прочих на Болоте и со эшофотом сожгли..."

Если бы даже Винский добрался до Москвы после 10-го или после 12-го, не слышать о том он не мог. Слышать со всеми подробностями; город полнился ими с тех самых пор, когда "бунтовщик и народный вор Емельян Пугачев" (так у Васильева) был доставлен сюда и посажен "у Воскресенских ворот в покоях Монетного двора".

Слышал, может, и видел, но даже не упомянул. Почему? Отчего? Вопросы, над которыми думать и думать.

Из "Дневника поручика Васильева": "...Ея Императорское Величество Государыня Екатерина Алексеевна... 18-го (марта. - Л. Б.) присутствовала в Сенате и подписала многие для удовольствия народа и облегчения народной тяжести в разных материях указы".

Из "Моего времени" Григория Винского (цитирую по полному списку): "В марте месяце государыня, при торжественном заседании в Сенате, пожаловала народу 47 милостей. Сии милости, для увековеченья их внесенныя в Государственную Хронологию, тогда же, по суждению некоторых крутых голов, не стоили ни одной дельной..." И дальше - о наместничествах, "умножении судейских мест", совестных судах, привилегиях дворянству и городам. Многом и разным. Дарованном на бумаге, провозглашенном – и том, что оказалось на деле. (Писал-то много лет спустя, уже во втором десятилетии века следующего.) Вот тут Винский места не жалеет - не считанное количество строк, как на все московские церемонии до того, а несколько страниц, и каких насыщенных, посвящает он тому, что случилось 18 марта в Сенате. "Для удовольствия народа и облегчения народной тяжести"? Нет, он смотрит на это по-иному!

Вчитаемся в текст "Записок", сопоставим его с другими источниками и мы увидим, что в Москве Григорий Винский был на службе. "Мать моя... исходатайствовала мне... пожалование чином и отпуск в Москву..." По Далю, "отпуск" - это "срочное увольнение от дел, занятий и службы, временная свобода от должности", но - наряду с тем - это и законно полученное право выехать из места постоянного нахождения в какое-то иное: для любых целей, в том числе служебных.

"По случаю заключения Кучук-Кайнарджийского мира в Москве происходили разные празднества, на которых присутствовала часть л.-гв. Измайловского полка" - значит в истории полка, составленной Н. Зноско-Боровским 1-м.

Нежданно-негаданно освобожденный из заключения, да еще с получением чина, Винский оказался среди измайловцев, прибывших в Москву для продолжения службы. Службой называлось участие в различных церемониях, но само это участие открывало и возможность видеть бесконечно много.

Пребывание в Малороссии с марта-апреля по конец июня было для подпрапорщика отпуском уже в нашем, современном понимании этого слова. Оттуда он снова вернулся и в Москву, и в полк, опять став "зрителем и несколько участником блистательных торжеств и веселий".

Каких именно? Не упоминает. Об этом - коротко - есть у Васильева:

"Число 21. Вторник. На Ходынке изволила ея величество кушать в Азовской крепости, и притом для народа поставлены были и происходили разные народные увеселения и игры.

...Число 23. Четверток. На Ходынке была иллюминация, фейверок и другая фигуры зажжены были; также маскарад был и прочия увеселения..."

В "торжествах и веселиях" недостатка не оказалось. Но Винского тяготили и они. Некоторое время спустя, когда "императрица пожаловала свою гвардию позволением облегчиться ей от многочисленного дворянства выпуском в армию и отставкую", он "не пропустил случая сделаться всесовершенно свободным".

Так стал Винский подпоручиком в отставке и... человеком без определенных занятий. Испрашивая себе "увольнение", он "начисто ничего в предмете" не имел.

Винский: "Еще отставка моя не воспоследовала, а казна моя была уже истощена..."

Московская жизнь продолжалась таким образом примерно год. Оживило ее возобновление общения с Острожским, оказавшимся здесь по своим "обыкновенным делам" (Винский называет их "адвокатскими"). В Петербурге Острожский не раз подводил своего приятеля и земляка, причем основательно, но все-таки был им любим как "единомысленник и сочувственник". Жить стали вместе, деля и кров, и досуг. Винский вел себя осмотрительнее, делать крупные долги опасался, от сомнительных знакомств воздерживался; когда же средства существования оказались исчерпанными, он отправился домой.

"Доброхотные извозчики, знающие моих родственников, свезли меня в Почеп со всеми от себя издержками..."

Пути-дороги - много их было, а еще больше предстоит...

Вдруг явилась возможность рассказать о переезде этом. Не Винского, но по тому самому маршруту. Автор описания видел то же, что и возвращавшийся в родные места отставной подпоручик. Имею в виду описание, сделанное Отгоном фон Гуном и отпечатанное в 1806 году в московской типографии Платона Бекетова под названием "Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию в осени 1805 года. Часть первая, содержащая в себе Путешествие от Москвы до Почепа". Гун сопровождал графа А. К. Разумовского и ему же труд свой посвятил.

Почтовые станции стояли каждые двадцать-тридцать верст: Шарاپово, Бекасово, Боровск, Малый Ярославец, Семейки, Калуга, Перемышль, Подберезье, Козельск, Белев, Дольцы, Волхов, Угрино, Хотинцы, Карачев, Постоялые двory, Брянск, Козловка, Красный Рог, Почеп. ("Итого 483 версты".)

Первый ночлег был в Боровске, от Москвы в 60, а от Калуги в 72 верстах. "Этот небольшой городок лежит в долине, окруженной холмами, самую природою образованными. При подошве их протекает изгибами река Протва, придающая положению города, и без того уже прямо картинному, много приятности и живости..."

Но природа природой, а виделась не только она. "...Калуга во многих отношениях, кажется, есть совершенное подражание Москвы. Везде худое сопутствует хорошему; так, например, видны после прекраснейших домов самые бедные, подле наилучших вымощенных улиц прегрязные переулки".

"...Прежде нежели въедешь в Болхов, должно проехать чрез бедную деревушку, в которой избы так малы и низки, что в них иначе стоять не можно, как нагнувшись. Кровли все соломенные..."

От Московской заставы до въезда в Почеп путь продолжался девять дней. "Погода была прекрасная, дорога гладкая, ровная, и мы, вмиг переехав поля, коноплями и табаком засеянные, очутились пред Почетом... Несмотря на то, что он не уездный город, можно, однако ж, дать ему преимущество пред многими городами и по многим причинам. В нем считается около двух тысяч пятисот жителей, шестьсот дворов и девять церквей. Здесь бывают четыре раза в году ярмарки, на кои собирается народа тысяч до десяти человек... Почеп преимущественно торгует льном, пенькою, маслом конопляным, медом, хлебом, а наиболее простым вином, которое, сказывают, здесь чрезвычайно дешево и крепко, почему и продают его на всех улицах и почти во всех домах... Поелику улицы не мощены, то, сказывают, бывает весною и осенью грязь непроходимая..."

Для Отгона фон Гуна Почеп являлся не более чем владением Разумовских. Для Винского он был родиной.

"В какой бедности живет здесь крестьянин!" - восклицал Гун.

С бедностью столкнулся Винский и в собственном своем скудном хозяйстве: "Мать для выкупа меня из магистрата принуждена была не только все скопленное издержать, но многое продать или заложить..."

Не умея и не любя хозяйничать, не видя разумного применения ни знаниям своим, ни силам, никому, кроме матери, не нужный, стал он отыскивать развлечения в "буйной распусе". А тут еще приехал - опять же "по своим делам" - Острожский, и, в конце концов, учинили друзья то, о чем в "Моем времени" рассказано чуть ли не "репортажно": побоище в монастыре.

Костянский Троицкий мужской монастырь располагался на берегу реки Косты, "на горе, в лесе" и представлял из себя вот что: "в нем церковей деревянных две; кельи деревянные; при нем имеется подданных сего монастыря 5 дворов, 6 хат". Основание монастыря, получившего название по реке, связывали с именем Семена Рославца, который, приняв монашество, стал и первым его игуменом. Это произошло еще в конце XVII века.

Во времена описываемых событий настоятелем здесь являлся Савва Пальмовский. Значит, с ним "богословствовал" Винский, когда увидел, что друга его "обижают"; ему же, Пальмовскому, раньше иных и досталось.

Потерпевших и с одной, и с другой стороны оказалось предостаточно. Но каким-то чудом удалось избежать "смертоубийства", а затем и откупиться. Это, однако, как и все предыдущее, средства к существованию на Украине истощило до предела. Дом и прочее имущество перестали быть его собственностью. Могли помочь родственники, но их участие Григорий отверг. И решил он снова поискать счастья в Санкт-Петербурге: определиться на службу по способностям, попытать удачи еще раз.

Ехал в Почеп в приличной карете, а в Петербург отправлялся в "бедной кибитчонке", запряженной "парой плохих лошаденок". В Почеп его везли парадной дорогой и довольно скоро. Из Почепа - самым захудалым маршрутом, более всего соответствовавшим содержанию кошелька.

"Дорога на наемных, по лесам смоленским и болотам псковским, при роздыхах и ночевании в бедных избушках, вельми была не на мой сибаритский вкус; но переменить сего было нечем, и я в три недели насилу дотащился до Санкт-Петербургской Ямской..."

Произошло это ранней весной 1777 года.

### **Глава III. "...ИЛИ МОЛОДОСТЬ" (Продолжение предыдущей)**

Молодость подходила к концу. Не по годам к концу - по иллюзиям: их оставалось все меньше.

Службы не оказалось, надежд на нее тоже. Существовал "коммерческими играми на небольшие деньги". Но много ли даст нешулеру карточная игра или бильярд?

Поддерживал некоторые из прежних знакомств, заводил - правда, не без осторожности - новые. Но осторожность осторожностью, а стал его знакомым и Адлер. Это была личность, которая имела крупные средства и сорила ими; истинный характер "деятельности" Адлера он понял тогда, когда оказался под следствием, а дальше и в Оренбурге по одному и тому же делу.

Среди новых знакомств были приятные. Одно из них состоялось под самый 1778 год в облюбованном им Рижском трактире. (Находился он на углу Обводного канала и нынешнего Московского проспекта, примерно там, где сейчас Фрунзенский универмаг; важные события его жизни начинались именно здесь.) В этом трактире - заведении не только "питейном", а скорее даже клубе - и произошла та, навсегда запомнившаяся, встреча с немолодым уже, добродушным

Фродингом, в прошлом ювелиром и владельцем доходных домов, а теперь, к пятидесяти, обедневшим и подслеповатым, но бодрости духа не утратившим и не терявшим ни при каких обстоятельствах. Оптимизм его Винскому импонировал, подружился сразу.

В Доме Фродингов и познакомился он с молодой, тогда пятнадцатилетней, Лорхин, младшей сестрой нового приятеля, ставшей некоторое время спустя его женой. Нежданно вспыхнувшая любовь щедро одарила Винского счастьем.

Перипетии их отношений, их любви - едва ли не самые светлые страницы "Моего времени". Читаешь об этом и не замечаешь, как пролетали дни, проходили месяцы, один год уступал место другому.

"Женитьба моя, составленная без всяких видов и цели, не учинила в моей жизни нисколько значущей отмены..." Но появился у Винского дом; дома всегда ждала любимая.

Ну, а жизнь... жизнь распорядилась по-своему. Приближался "роковой переворот", в результате которого он был "выгнан из общества, лишен всего... и, можно сказать, живой погребен".

Этот переворот случился вскоре после того, как в Санкт-Петербурге заговорили о преступлении поручика Кашинцева.

Екатерина II - генерал-аншефу М. Н. Волконскому

Из приложенной при сем записки вы усмотрите, какое бездельство учинил в Ревеле некто под именем поручика Василия Безобразова. Хотя от нас послано повеление к ревельскому вице-губернатору, чтоб он о сем происшествии прислал подробное объяснение и злодея сыскать старался, но притом за нужное почитаем к вам дать знать о том, дабы вы приложили свое старание о сыске образом благопристойным того преступника, буде бы он паче чаяния мог укрываться в тамошних местах.

28-го июня 1779 г.

В Петергофе.

"Злодея" нашли без помощи князя Михаила Никитича - "главнокомандующего в Москве". Суть нашумевшего дела становится ясной уже из первого показания главного в афере Кашинцева на следствии. (Насколько это возможно, постараюсь донести его неприкосновенно.) Показание из дела № 1564

Вятского пехотного полку поручик Михаила Петров сын Кашинцев показал:

Из дворян, от роду 25 лет, а за ним в Любимском и Пешехонском уездах 31 душа... Минувшего мая месяца сего года, а которого числа он не упомнит, как я нанимал квартиру у сенатского подканцеляриста Борисова, пришел ко мне статс-конторы отставной актуариус Михаила Гаврилов, а в то время были у меня приезжий из Москвы подканцелярист Василий Полозов и астраханского драгунского полку подпоручик Алексей Волков, при которых актуариус Гаврилов нам обще всем говорил, что можно написать указ в Ревельскую губернскую канцелярию, из которой можно получить деньги и, советуясь все мы между собою, к тому согласились и, переночевав, Гаврилов пошел от них, сказав - в статс-контору, для приносу определения, с которого можно подписаться под руки судей и секретарей. И в тот же день он, Гаврилов, пришел, ему, Кашинцеву, сказал, что сего дня закрепленного определения принести не можно и у него, Кашинцева, он, Гаврилов, ночевал, а на другой день он, Гаврилов, обще с Полозовым, от него, Кашинцева, пошли, сказав, что в статс-контору. И после полудни, часу в 3-ем, пришли к нему, Кашинцеву, он, Гаврилов, с Полозовым и принесли подлинное статс-конторы, подписанное с присутствующими, определение; о чем оное было написано, он, Кашинцев, не знал. И тогда ж Гаврилов у него, Кашинцева, написал начерно в Ревельскую губернскую канцелярию о выдаче пяти тысяч рублей указ, а с него тот указ переписал набело подьячий Полозов, в котором написали, чтоб те деньги выдать посланному из Иностранной коллегии курьеру поручику Безобразову, и под тем указом он, Кашинцев, применяясь к закрепленному определению, имя Семена Ашиткова подписал своею рукою, а прочих судей и

секретаря имена подписывал подьячий Полозов, и по подписке ими того указа Гаврилов обещал к ним принести статс-конторы печать...

А дни через два или три, того подлинно не упомнит, пришел Гаврилов к нему, Кашинцеву, в квартиру и ночевал, где был же и подьячий Полозов и подпоручик Волков. А переночевав, поутру, часу в пятом, он, Гаврилов, взяв с собой подьячего Полозова, поехали на наемных у извозчика дрожках в статс-контору для приносу той статс-конторы печати. И в тот же день поутру, часу в седьмом, ту печать привез... Полозов и тот указ запечатал; при чем был и подпоручик Волков. По запечатании указа Полозов ту печать повез обратно - в статс-контору к актуариусу Гаврилову, ибо он, Гаврилов, оной дожидался в статс-конторе; и чрез некоторое время в тот же день приехали к нему, Кашинцеву, он, Полозов, обще с... Гавриловым.

А по приезде актуариус Гаврилов с подьячим Полозовым советовали как достать подорожную; причем Гаврилов написал в ямскую канцелярию требование от имени надворного советника Григория Бровцына находящемся при нем, Бровцыне, в комиссии поручику Безобразову о даче двух почтовых лошадей, и под тем требованием подписал Бровцына имя подьячий Полозов, и относил оное в ямскую канцелярию он, Полозов.

И в тот же день ту подорожную он, Полозов, к нему, Кашинцеву, принес и, взяв с почтового двора пару лошадей, поехали в Ревель в третий день после вечерни и стали в трактире, где ночевали. А на другой день поутру, надев подьячий Полозов его, Кашинцева, мундир и шпагу, пошел с тем указом к губернатору, откуда и пришед ему, Кашинцеву, сказал, что пакет губернатору подал, которой, приняв, велел притить чрез три часа, и как три часа прошло, то тот Полозов пошел еще к губернатору и принес к нему, Кашинцеву, в трактир пять мешков тысячных серебряною монетою, сказав, что в приеме тех денег расписался он именем поручика Безобразова. И взяв те деньги, поехали он, Кашинцев, с Полозовым в Петербург, сказавши как в трактире, так и на почтовом дворе, что поедут к живущему близ Ревеля графу, назвав его имя, а как - не припомнит.

И приехав в Петербург, не доезжая квартиры, заехали к родственнице его, Кашинцева, капитанше Акулине (Григорьевой дочери) Стениной и, сидев немного, переложили в кибитке те с деньгами мешки, как они худо лежали, к тому ж и кибитка была ветха, и не сказавши ей о тех деньгах ничего, от нее поехали в свою квартиру и как стали подъезжать до своей квартиры, то услышал он, Кашинцев, что из бывших у него денег три мешка выпали сквозь кибитку на пол. То он, Кашинцев, велел извозчику остановиться, но вскоре лошадей не мог он удержать, причем подьячий Полозов, соскоча с кибитки на улицу, а лошади подъехали к самым его воротам. И в то же время выбежал к ним товарищ их подпоручик Волков, которому сказал он, Кашинцев, чтоб те, оброненные, мешки поднял, которой обще с подьячим Полозовым и подняли и принесли в его, Кашинцева, квартиру, куды и остальные с кибитки мешки несли; а как подпоручик Волков и подьячий Полозов те мешки с улицы подобрали, тогда у тех мешков стоял незнаемо какой мальчик.

А на другой день их приезда актуариус Гаврилов взял у него, Кашинцева, из тех привезенных денег 60 рублей, а Полозов для размена на золотые и на ассигнации взял? тысячи рублей, да еще как они ехали в Петербург, то подьячий Полозов платя из тех денег прогоны и за изломанные во время их езды кибитки и колесо, а сколько - не припомнит. Да дал он, Полозов, товарищу двоих подпоручику Волкову сто рублей, а достальные 340 рублей остались у того подьячего Полозова в карманах, а 1500 рублей остались у него, Кашинцева, и лежали у него в сундуке. А как его, Кашинцева, взяли в главную полицию по кричанию коронного поверенного Голикова служителям караула в непоставке ему, Голикову, работных людей и о взятии за то от него денег, тогда он, Кашинцев, из тех денег отдал на сохранение хозяину своей квартиры сенатскому подканцеляристу Борисову, а где те деньги им, Кашинцевым, взяты, того ему не сказывал, прося только о том: как у него где спросят о тех деньгах чьи, то б сказал - его, Борисова, собственные. И оные все 1500 рублей заплатил он, Кашинцев, тому Голикову за свой

долг (и где ныне подьячий Полозов, он, Кашинцев, не знает) и променных денег Полозов к нему, Кашинцеву, не приносил, и вышеписанных ево, Кашинцева, товарищей - подьячего Полозова, актуариуса Гаврилова и подпоручика Волкова к вышеписанному умыслу никого с ним, Кашинцевым, не было. И прежде таковых фальшивых указов не сочинял, и ни подьячи руки не подписывался, и во всем вышеписанном показал сущую правду и ничего не утаил, а ежели что утаил, за то подвергает себя чему по военным правам будет достоин...

Однако зачем это показание здесь, в книге не об уголовных преступлениях екатерининских времен, а о Винском, и только о Винском? Но она же и о времени его! Об эпохе, которую потом, десятилетия спустя, именно ему выразить так, как никому другому! Его, Винского, время тут, в показании, во всем, и в самой сути дела, и в начале-развитии сюжета, и даже в... орфографии. А таких документов за долгие месяцы следствия накопились тома и тома - все они сейчас в РГАДА (Российском государственном архиве древних актов)<sup>6</sup>.

Винский не мог и подумать, что войдет в эти тома сам. Преступником войдет. Да еще одним из главных. И наказанным сверх всякой меры...

Пока знал он об этом деле не более, чем можно было почерпнуть из слухов. Но и в них Кашинцев с соучастниками выглядели не лучшим образом. В его глазах это были "люди более, нежели моты", которые, "перебрав все возможные роды обманов и оборотов, задумали короновать свое распутство явным злодеянием, т. е. кражею государственной казны". Заметим: явным злодеянием. Даже тридцать пять лет спустя автор "Моего времени" осуждал их замыслы и действия, отодвигая, отстраняя себя от преступной акции, к которой вскоре его приписали, положив тем самым начало злключениям, длившимся до конца жизни.

Обстоятельства мошенничества в "Записках" переданы подробнее - Винский не забыл ничего: ни мест, где разворачивались события, ни сумм, которыми оперировали участники "предприятия", ни хронологии. Разве только одну-две фамилии забыл - например, Гаврилова. Он назван тут "отставным статс-конторы архивариусом". А на самом деле был актуариусом, то есть "чиновником, у которого акты, приказные дела на руках". Но ко времени писания "Записок", а тем более переписывания их, в чиновничьем аппарате произошли изменения и - по словам того же Владимира Даля - "ныне у нас таких особых чинов нет". Так и превратился актуариус в архивариуса; впрочем, тот и другой относились к "чинам 14-го класса" - самого что ни есть низшего...

Однако я отвлекся: много важнее, что сочувственных нот в адрес Кашинцева нет и в "Записках". Как не было их, скорее всего, в рассказе Соколова, осведомленного о всех "случившихся по присутственным местам происшествиях" и снабжавшего Винского информацией достаточно достоверной.

Разговоры о Кашинцеве в непродолжительном времени пошли на убыль: "...происшествие скоро стало всему Петербургу известным и скоро же, по обыкновению больших городов, забытым".

Но забыли о нем ненадолго...

С Соколовым Винский познакомился при посредстве Адлера - трактирного завсегдатая, промышленявшего, как оказалось, на многом: то на "провиантских делах" армии, то на вербовке колонистов, то на строительстве жилищ для новых поселенцев. Знал он многих, множество людей знало его, и вскоре некоторые из них стали также знакомцами Винского (которого Адлер, по безответственности своей, не отпускал ни на шаг).

---

<sup>6</sup> Как не сказать здесь слово благодарности талантливому архивисту, заслуженному работнику культуры России Светлане Романовне Долговой, которая не пожалела времени и сил своих, чтобы помочь мне в выявлении и копировании нужных документов? Спасибо Андрею Сергеевичу Светенко из того же архива! Работники архивов, по век жизни обязаны вам исследователи. Низкий поклон за труд ваш, за доброту вашу! (Архивный адрес воспроизведенного документа: РГАДА, ф. 248, д. 1564, ч. 1, лл. 13-16 с об.).

"Из всех, однако, чрез него знакомцев, один Леонтий Петрович Соколов остался не только в памяти, но навсегда и в моем сердце как добрейший из всех моих вообще знакомых и как невинная вина моего несчастья..."

Едва ли еще какой образ в "Записках" так ярок и многогранен, как этот. Для Винского Соколов был "образцом чистейших природных нравственности". Сын приказного, человека бедного, а потому не имевшего возможности дать ему образование, сам приказной, канцелярский писец от малых лет, выслужившийся в коллежские асессоры только благодаря стараниям своим, а еще способностям, которые его выделяли и отличали, он был живой историей России в царствование Анны Иоанновны, Ивана VI Антоновича, Елизаветы, Петра III и, наконец, Екатерины II, знающим и занимательным рассказчиком, бескорыстным и сострадательным человеком, всегда готовым отдать последнее.

Их дружбе не мешали ни изрядная разница в годах и положении, ни расстояния между местами обитания (Соколов жил на Васильевском острове, Винский - у Семеновского моста).

От Леонтия Петровича он и узнал, что дело Кашинцева не закончено, больше того - учреждается секретная комиссия, которой сама императрица повелевает разобраться во всем доскональнее, обратив особое внимание на выявление делавших или замышлявших "вообще какие преступления".

Винский пропустил это сообщение "мимо ушей". Признание его собственное: ни к Кашинцеву, ни к комиссии никакого отношения он, по твердому своему убеждению, не имел.

Не вызвали особой тревоги и сообщения последующие (все они исходили от того же Соколова): в августе комиссия начала работать в Петропавловской крепости, туда отправлены и ранее арестованные, и "еще несколько людей", в сентябре "открыт важный заговор", в октябре "в крепость уже множество натаскано".

Тревога закралась в него лишь тогда (9 октября), когда прибежал слуга соседа-офицера Брецинского и со слезами сообщил, что его барин не возвращается домой вторые сутки.

А уж когда он узнал об аресте Соколова, случившемся три дня спустя, 12-го, запаниковал не на шутку. Явилась даже мысль уехать из города, проще говоря, бежать, но... как оставить жену? Куда и с чем ехать?

Никакой вины за собою не чувствовал. Однако "ковшик горечи поднесли, надо было выпить": поздним вечером того же, двенадцатого, арестовали и его, а на рассвете следующего, тринадцатого, переправили вместе с тремя другими через Неву и ввели в рavelин св. Иоанна.

За что?!

Из того же дела: показание Винского:

1779 года ноября 7 дни в учрежденной при Сенате о поручике Кашинцеве комиссии отставной подпоручик Винский с довольным от комиссии о показании истины увещеванием допрашивай и показал: Григорием его зовут, Степанов сын, от роду ему 26 лет, из дворян по городу Трубчевску<sup>7</sup>. Недвижимого за ним состоят доставшиеся ему по наследству после отца капитана<sup>8</sup> Степана Акимова сына Винского, который назад тому с лишком 20 лет умре, в Трубчевском уезде в деревне Калачовке - 13, да в Брянском уезде в деревне Булышевой - 25 душ<sup>9</sup>. В службу он, Григорий, вступил в 1770-м году лейб-гвардии в Измайловский полк

---

<sup>7</sup> Важная биографическая деталь! И так, ближайшие корни Винских были в Трубчевске - городе, отстоявшем от Почепы на значительном по тем временам расстоянии.

<sup>8</sup> Стать капитаном С. А. Винский просто-напросто не успел - умер на пороге "карьеры", которая так и не состоялась. Дослужился он не более чем до канцеляриста комендантского управления. То ли неверно записал тот, кто вел протокол, то ли пускал пыль в глаза сам Винский, старавшийся, по молодости своей, любой ценою выглядеть знатнее, именитее.

<sup>9</sup> Отцовские имения были на тот час явно небогатыми. Две деревни, отстоявшие одна от другой весьма изрядно. Степан Винский владел и другими, но после смерти его состоялся раздел, и две трети земель и крестьян отошло

солдатом и производим был чинами: в 1772 - капралом, в 1775 - подпрапорщиком и в том же, 1775-м, годе июле 10 отставлен подпоручиком и жил у матери своей Марфы, Артемовой дочери и у второго ее мужа бунчукового товарища Губчица в городе Почепе по 1777 год. А в том году принял намерение вступить в службу и для того в октябре<sup>10</sup> месяце приехал в Петербург и, приискивая себе место, познакомился он чрез голштинской коммерции асессора Адлера с статс-конторы секретарем Соколовым, у коего видал и также знакомство завел с прапорщиком Брецинским, с поручиком Михаилом Кашинцевым. Но с ними никаких дел он не имел, а только по просьбе Кашинцева в минувшем феврале месяце сего года засвидетельствовал закладную в занимаемых ими деньгах, а у кого - того он не припомнит, понеже он той закладной не читал. Знал же он, Винский, что по данным от него, Винского, еще будучи в службе, векселям трубчевскому купцу<sup>11</sup> Семену Неустроеву да Санкт-Петербургскому Семену Акбарову и Тверскому (а как его имя и отчество не припомнит), просят они на него, Винского, в магистрате, то, желая он с ними разделаться, советовал с Соколовым, который и сказал ему, что для той разделки занять можно денег под заклад его, Винского, деревень из Воспитательного дома и потому Соколов сперва посылал Воспитательного дома к секретарю Евдокимову счетчика Митялина наведатца, который в ответ принес, что ежели нет на имения запрещения, то денег взять можно, а потом, написав записку здешней рейнте-рейкментмейстеру Петру Ушакову с прошением, чтоб он о том займе постарался, с которою он, Винский, к нему, Ушакову, ходил и он сказал, что теперь де в Воспитательном доме денег нет. А когда будет - стараться станет, то он, Винский, и предпринял намерение занять из банка и просил надворного советника, юстиц-конторы члена Страшилова<sup>12</sup>, который ему знаком был потому, что когда он, Винский, служил в Измайловском полку, то Страшилов жил в том же полку против его, Винского, квартиры и через старание его, Страшилова, получил из банка в 2 раза в 1779 году в июне-июле месяце 500 рублей, в котором заложил он, Винский, вышеписанную в Брянском уезде деревню Булышеву, 25 душ, а поручаками по нем подписались покинерных полков отставной подпоручик Алексей Петров сын Лыкошин да подпоручик Карл Михайлов сын Бауман<sup>13</sup> с залогом недвижимого их имения - Лыкошин 15, а Бауман 10 душ. С Соколовым никаких дел он не имеет. И в банковской конторе чужого недвижимого не закладывал, и под чужим именем не занимал, и за другими ни за кем никаких преступлений не знает. В сем допросе показал сущую правду и ничего не утаил, а ежели что утаил и впредь доказано будет, за то поступлено с ним было б по закону<sup>14</sup>.

Еще один документ... Винского он касается непосредственно - каждой своей строкой и каждым словом.

Представим его себе после двадцати пяти суток заточения в темной, сырой, тесной камере-одиночке, без привычной одежды, без всякого общения с внешним миром, а - главное - без малейшего представления о том, чем же он провинился, за что его заживо хоронят.

"...Вступая в сие место, я увидел огромный, со сводами во всю ширину стены, погреб, или сарай, освещаемый одним маленьким окошечком. Не успел я, так сказать, оглянуться, как услышал: "ну, раздевайте". С сим словом чувствую, что бросились расстегивать и тащить с меня сюртук и камзол. Первая мысль: "ахти! никак сечь хотят" заморозила во мне кровь..."

---

Осипу и матери. Доставшееся матери находилось, вероятно, в совместном владении ее и сестер покойного мужа, отсюда в "Записках" слова: "обижаема будучи по имению нашими родными тетками".

<sup>10</sup> Ошибка в записи (или обмолвка): на самом деле - в марте.

<sup>11</sup> Связи с Трубчевском и Трубчевскими, выходит, сохранялись.

<sup>12</sup> Страшилов, а не Строилов, как в "Записках"; разночтение не слишком существенное, но не учитывать его нельзя (со Страшиловых начались его знакомства с "заимодацами под заклад имений").

<sup>13</sup> Это он просил Винского стать его сватом у Лорхин; как видим - в их отношениях было и "деловое", а не только личное.

<sup>14</sup> РГАДА, Ф- 248, д. 1564, лл. 1187-1188 об.



Сечь?! Он наверняка подумал о Шешковском - слышан о нем был давно и основательно. Недаром же написаны эти слова в его повествовании: "...славному кровопийце Шешковскому". Славному - значит известному. И - кровопийце!

Биографическая справка.

Шешковский Степан Иванович родился в 1727 году. Его отец был приказным, дослужился до полицмейстера Коломны. Сын учился грамоте дома, чтобы пойти по его стопам. Одиннадцати лет от роду Степана определили в Санкт-Петербургский приказ, где он находился "при делах в тайной канцелярии". Позднее копиист Шешковский по указу Сената был взят в Московскую контору тайных розыскных дел. Граф А. И. Шувалов, его непосредственный начальник, доносил Елизавете Петровне про "добропорядочные при важных делах и примерные труды" Шешковского, вследствие чего он был назначен секретарем в тайную канцелярию. В дальнейшем Екатерина II поручает ему все крупные сыски, заявляя, что он "особливый дар имеет с простыми людьми". Допросы с пристрастием снискали "кнутобойце" известность палача. В то же время он исправно посещал церковь, всячески подчеркивая свою богобоязненность. Умер Шешковский в 1793 году. (Из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.)

"По бесчеловечному заключению я не мог иного придумать, как: есть на меня подозрение в весьма важном преступлении..." Но каком? "Правительственными делами я столько же тогда занимался, сколько и астрономиею..." Так что обвинение может основываться только на навете, а навет откроется на первых же допросах.

И вот - седьмое ноября... долгожданный допрос на четвертой неделе мучительного неведения... недоуменное - и чистосердечное - показание... Этот час должен был все прояснить, выведя его из крепости, возвратив к Лорхин, к жизни, которая теперь, как никогда раньше, манила к себе и по-особому притягивала.

Едва открыли дверь во двор и Винский шагнул навстречу желанной справедливости, как свет и ветер сбили его с ног, повергли в обморок. Перед комиссией он предстал только на следующий день, но показание помечено седьмым: либо судьи решили не вносить поправок в официальный план следствия, либо писарь "Малофеич" не стал менять заранее заготовленный допросный лист.

Первые же слова председательствующего - им был известный всему Петербургу обер-секретарь и тайный советник Екатерины Терский, человек "с мясничью рожею и взорами целовальника", носивший, по той же характеристике Винского, кличку "багра" ("в знаменитое отличие от его братии мелких крючков") - как бы подтверждали предположение узника о существовании и обнаружении "важного заговора", к которому по недоразумению или клевете причислен он, неповинный.

"До сведения Ея Императорского Величества дошло, что в Санкт-Петербурге многие молодые люди из дворян, проживая праздну, ведут жизнь крайне подозрительную, утопают в распутстве, затевают дела самые незаконные, клонящиеся к потрясению всего благосостояния общества..."

Так вот чего ради была затеяна вся эта мрачная комедия последних, сначала тревожных, а потом и страшных, недель! "Для прекращения сего" и создана была секретная эта комиссия. Но он-то... какое отношение к потрясению общества имеет он, Винский? "Буйствы и забиячествы мои прежния не могли быть к сему поводом; долг в банке меньше всего мог способствовать к сей жестокости..."

Показание многое сглаживает: Малофеич о стиле не заботился. Но уверенность допрашиваемого зафиксирована: "Ив банковской конторе чужого недвижимого не закладывал, и под чужим именем не занимал, и за другими, ни за кем никаких преступлений не знает..."

Это и в "Записках". Нет, не слова те же - сам дух допроса, диалог сторон, их пикировка, их бой. Что вопросы-ответы, что ремарки ("нахмуривши харю") - безусловно-динамичная

драматургия, острый текст и отчетливо слышимый подтекст, каждый персонаж живой, со своим языком и своим характером. Это можно сыграть как хорошую пьесу, но... не пьесу Винский писал - собственное неизбывное горе.

После допроса надеялся (убежден был!): выйдет первым. Первым среди "сотен невинных", которыми, как ему казалось, кишмя кишат рavelин и вся крепость. Сколько их было на самом деле? Не сотни, может быть, но многие десятки наверняка - всякого звания и рода занятий, из разных сословий.

В том же деле № 1564 из фонда РГАДА (ч. 1, л. 457) подшита "Ведомость содержащимся при Комиссии арестантам". Ведомость (не единственная!) - "рабочая", определяет она не "степень вины", но "кто на каком должен состоять содержании". Вот те, кто на "казенном":

коллежский ассессор Леонтий Петров сын Соколов;

капитан Николай Максимов сын Хотянцов;

поручики: Михаил Петров сын Кашинцев, Иван Александров сын Епанчин, Антон Кондратьев сын Гиммель;

генерал-аншефа и кавалера Николая Ивановича Салтыкова секретарь Алексей Иванов сын Кашеев;

аудиторы: Василий Лукьянов сын Есеновский, Федор Никитин сын Котляров;

подпоручики: Алексей Михайлов сын Волков, Григорий Иванов сын Радищев, Матвей Андреев сын Теляковский, Григорий Степанов сын Винский;

прапорщики: Григорий Федосеев сын Данковский, Петр Григорьев сын Брецинский;

актуариус Михаил Гаврилов;

регистратор Михаил Митялин;

каптенармус Дмитрий Кривцов;

подпрапорщик Михаил Белавин;

курьер Иван Сомов.

капрал Лев Ченцов;

рейтар Филипп Никишин;

канонир Василий Яновский;

подканцелярист Василий Полозов;

девка Марья Сергеева;

майорши Михельсоновой дворник Пахом Соколов;

корабельного ученика Яковлева жена вдова Аксинья Еремеева дочь.

Не "ведомость", а "табель о рангах": по старшинству, по сословной принадлежности; дворяне - с отчествами, все иные, может, за единичными исключениями, без оных.

Тот же принцип и во второй части списка, где обозначены находящиеся не на казенном, а уже на "своем" содержании:

надворного советника Адамовича жена Дарья Николаева дочь;

премьер-майор Николай Афанасьев сын Львов;

вдова капитанша Акулина Григорьева дочь Стенкина; и так далее - десяток имен еще.

Привел их потому, что прямо ли, косвенно, а все они соприкоснулись с судьбой Винского, как и он - с судьбою этих людей. Например? В "Моем времени" написано: "...банковский судья Адамович, при смерти больной, стережется в своем доме весьма строго"; "...жена его и зять взяты в крепость..." Жена Дарья Николаевна - в списке "своекоштных", зять Епанчин - среди тех, которые на "казенном".

Самого Винского можно и проглядеть; он где-то в середине.

Увы, не проглядели его те, которым во всем виделся заговор ради "потресения общества". И выпускать из своих цепких рук не спешили.

Обрадовался арестант свободе явно преждевременно.

В списке его, Винского, товарищей по несчастью выделяется фамилия Радищева. Выделяется по вполне понятной причине; всем нам известен Радищев Александр Николаевич, выдающийся писатель и мыслитель.

Тогда, в 1779-1780 годах, знаменитым он не был. Не родилась еще ода "Вольность" - первое революционное стихотворение в России, не писались "Письмо к другу, жительствующему в Тобольске" и "Житие Федора Васильевича Ушакова", а до "Путешествия из Петербурга в Москву" оставалось целых десять лет.

В полный голос эта фамилия зазвучала в 1790-м, когда, прочтя "Путешествие...", Екатерина II углядела в авторе "бунтовщика хуже Пугачева". Книга была уничтожена. Радищева заключили в мрачную крепость, а затем отправили в Сибирь.

Не я первый предположил в Радищеве, арестованном одновременно с Винским, брата прославленного основоположника революционного направления русской общественной мысли. Задолго до меня именно так отрекомендовал его М. Д. Рабинович. Но братья А. Н. Радищева носили другие имена. И все они были "Николаевичами". Тут же, как удалось установить по делам в РГАДА, речь шла о человеке по имени Григорий Иванович.

И все-таки Радищев!..

...Родословное древо Радищевых имело несколько ответвлений и множество ветвей. К Александру Николаевичу непосредственно вела поколенная роспись пензенско-саратовского ядра. Были же еще и смоленское, и калужское... В Калужской губернии владел землей и крестьянами Радищев Иван Гаврилович. Его богатства заключались в сотне десятин земли и десятке крепостных душ. Григорий и брат его Семен, к ответственности не привлекавшийся, но в бумагах упоминаемый, являлись сыновьями Ивана Гавриловича и неблизкими родственниками будущего прославленного писателя, о произведении (и судьбе) которого Винский узнает в ссылке.

Тогда - в Уфе ли, в Оренбурге - вспомнил он того представителя громкой и запретной фамилии, с которым свела его Петропавловская крепость. Подпоручик "Григорий Иванов сын Радищев" обвинялся в том, что намеревался и пытался получить из банка под заклад крайне малого своего владения две или три тысячи рублей<sup>15</sup>. Намеревался, не осуществил, но... поплатился. И как еще жестоко!

Доискивались "важного заговора", а посему не упускали ни одной зацепки. Хватались за малейшую.

Кашинцев показывал, что Брецинский "советовал ему познакомиться с Князевым и стараться сыскать ему взаймы денег, сказывая, что нужда тому ехать в Царское Село и что он будет великим человеком".

О чем речь? Про что говорили? Допросы, допросы, допросы... Поручик Михаила Васильев сын Князев категорически утверждал, что имелось в виду не более чем осуществление вексельной операции, все же остальное говорилось "просто так" - ради упрочения союза.

Мы, однако, уже осведомлены (из тех страниц в "Записках", которые прежде не публиковались), что Князев заморочил Петру Брецинскому голову своими рассказами о якобы ожидающем его, Князева, положении всеильного временщика при Екатерине II. Эту тайну они не выдавали, отлично понимая, чем им такое грозит в случае обнаружения.

Брецинский в письме к Кашинцеву писал, что "служить он сил больше не имеет, а притом и законов боится". Явно "заговорщическая" переписка! Явно "устой подрывающая"!

"Михаила Прокофьев сын Яковлев" в письме к Кашинцеву писал, что "злой рок его заключил в Эдикюль" и что он "посылает... избранную песенку и стишки". Кашинцев утверждал, что Эдикюлем Яковлев назвал крепость, а "стишки и песенки" ничего не значили и

---

<sup>15</sup> "Вопросные пункты" подпоручика Г. Радищева - в том же деле № 1564, лл. 1095-1097.

потому утратились, но никакого доверия такое показание не вызвало. К потайным стихам отношение было уже вполне определенным - в высшей степени настороженным.

"На Соколова состоят подозрения..." В чем? "Кашинцев показывал, что он у него жительство имел и тут с актуариусом Гавриловым познакомился, который научил Кашинцева просить Соколова сочинить фальшивый указ о выдаче денег". Это лишь первый пункт - всего же их пять, правда, взаимосвязанных.

О Винском и нумерации пунктов нет - всего три строки: "Кашинцев показывает, что с ним, Винским, статс-конторы секретарь Соколов условились занять... из банка деньги".

...Искали заговор широкого масштаба. И по крупницам собирали все, что попадало под руку. Здесь я привел лишь отдельные штрихи из показаний главного обвиняемого. Они, эти показания, - в том же "Деле Комиссии о Кашинцеве и его сообщниках по обвинению их в подложном получении денег из Ревельской губернской канцелярии" (лл. 285-298 об.).

Биографическая справка.

Терский Аркадий Иванович, родился в 1732 году; на службу вступил в 1744-м, в 1758 г. записан был по определению Сената в дворянский список и пожалован коллегии юнкером; в 1760 г. получил чин коллежского секретаря, в 1763 - возведен в секретари капитанского чина, два года спустя определен сенатским секретарем, а в 1775 назначен на должность обер-секретаря первого департамента Сената. В 1780 году Терского определили на должность генерал-рекетмейстера с возведением в чин статского советника; эту должность он занимал в течение шестнадцати лет. На обязанности генерал-рекетмейстера лежало рассмотрение жалоб на несправедливость и волокиту судебных установлений и составление о них всеподданнейших докладов; ему же подавались прошения на высочайшее имя. О деятельности Терского в этой должности сохранились вполне благожелательные отзывы; один из них говорит даже о данном ему современниками прозвании "защитника правоты". Однако Державин в своих "Записках" дает ему совсем иную характеристику. "Терской, - говорил Державин, - человек хотя умный, дела знавший, но хитрый и совершенный подьячий, готовый всегда угождать сильной стороне". В придворных кругах Терский пользовался большим влиянием вследствие расположения к нему Екатерины II... (Из "Русского биографического словаря", СПб., 1912.)

Винский писал о нем еще определеннее Державина. Он прямо причислял его к "взяточбраловым", которые, поднявшись к должностным высотам, "не изменяли своей крови". Подчеркивал "жестокость" этого "чугунного" человека. Навсегда запомнилось его нечеловеческое отношение: "странное реверие", "свирепо поднимался", "сбеленился... заревел". О "мясничьей роже" речь уже шла.

А ведь это писалось тогда, когда Терский еще был жив - тайный советник, кавалер многих орденов, вельможа во все царствования (умер он лишь в августе 1815-го).

Вот кто давил на неискушенного, растерявшегося от нахлынувшей беды Винского. Вот кто выбивал "признания" из всяк попавшего к нему в сети.

Попал и Соколов. Вспомним, как писал о Соколове Винский. Кроме "добрейший из всех моих вообще знакомых", еще и... "невинная вина моего несчастья".

В их характерах, их натурах было много общего. И того, и другого отличала, в частности, простосердечная искренность. В простосердечии своем Леонтий Петрович на допросе показал, что некогда имел он намерение занять в банке две тысячи рублей и сделать это собирался с помощью Винского.

Для Терского то была зацепка из важных. На Винского обрушилась неудержимая "логика" завязтого инквизитора: "Что тут пустое врать; ты намеревался взять две тысячи рублей из банка; сколько должно на то число заложить крестьян, ты их не имеешь; следовательно, ты хотел занимать фальшиво и чрез то обворовать казну". Он напирал, он орал, он провоцировал: "в допросе о сем умолчал, но на очной ставке уличен и признался". Никаких возражений "багор" и слушать не желал: "Молчи; ни слова... Пошел к месту..."

Очная ставка с дорогим ему Соколовым Винского повергла в печаль, однако не слишком тяжкую и долгую: "обдумавши сколько можно точнее все происшествие, открывалось, что это была истинная натяжка, которая всякому сама собою обнаруживалась..."

Всякому? Или только непредвзятому? Терский к таким не принадлежал.

Не принадлежал и Вяземский, исполнителем воли которого выступал его любимец.

Биографическая справка.

Вяземский Александр Алексеевич - князь, генерал-прокурор; родился в 1727-м, умер в 1796-м. Свою деятельность начинал с усмирения бунтов на уральских заводах. В круг его обязанностей Екатерина II, благоволившая Вяземскому, включила личное наблюдение за Сенатом, который, по ее мнению, не соблюдал законов, за канцелярией при Сенате (с правом замены любых чиновников), сугубое внимание к денежному обращению и финансовому управлению России. Если в общем собрании Сената не было единогласия, то Вяземский представлял дело государыне и объявлял высочайшую волю.

Арестованный - даже просто по подозрению - долженствовал быть осужденным. Так считали и Вяземский, и Терский. Тем более в деле о "попытке потрясения".

..."Мечтал, не зная я того, что сия натяжка могла быть растянута до бесконечности..." И до такой именно бесконечности она растянулась. Бесконечности в тринадцать месяцев крепостных и десятилетия неволи после этого. Пред очи Комиссии его больше не звали, а решать судьбу не спешили. Поистине так: "ястреб ни одной птички, попавшей в его когти, не отпускает, и волк ни одного пойманного ягненка не освобождает".

"Ястребы" и "волки" в представлении Винского многолики. Никак не похож на хищника князь и сенатор Мещерский Петр Сергеевич - член юстиц-канцелярии. Он воздаст ему должное: тот и "добрый", и "сострадательный", и плачет над участью арестованных. Но на исход дела это не влияет. Мещерский и судит, и засуживает.

А плачут и волки...

Календарем Винскому служили церковные праздники. Месяц-число он указывает все реже. Идут то "масляница", то "великий пост", то "страстная неделя"... Чуть ли не весь годовой цикл религиозного календаря проходит перед нами на страницах "Моего времени", и все эти "празднества" он встречал, отмечал и провожал в заточении с надеждами, которые вспыхивали и - угасали.

Князя А. А. Вяземского, генерал-прокурора Сената и действительного тайного советника, на посту главы секретной комиссии сменил генерал Александр Петрович Толстой, ставленник взявшего верх над Вяземским князя Г. А. Потемкина, который сумел доказать Екатерине тщетность и невыгодность "затеи" нелюбимого им "соревнователя". Потемкин попросил поручить комиссию "человеку беспристрастному" и окончить следствие как можно скорее.

"Что г. Толстой был честен, это известно; как и предан князю Потемкину, также справедливо..." При первом же появлении Толстой обласкал и обнадежил всех. Винского он обрадовал особенно - возможностью свидания с Лорхин.

Свидание состоялось назавтра, и узник смог убедиться, сколько любви к нему, какая верность и какое мужество в этой, совсем юной еще, женщине.

Но переведем праздники церковные на язык календаря обыкновенного, представим себе последующие тринадцать месяцев в судьбе Винского, в его ожиданиях, тревогах, разочарованиях.

Теперь он находился в Алексеевском равелине, причем в камере, где за несколько лет до того оказалась окутанная легендой "княжна Тараканова". Страницы, ей посвященные, читателю, однако, уже известны по публикации в первой части, и пересказывать их незачем.

24 декабря 1778 года была решена судьба первой группы, или "первого отделения подсудимых", - тринадцати человек во главе с Кашинцевым, по оценке Винского - "истинных и важнейших преступников".

"Труднейшее окончено", - заявил Толстой, суля остальным заняться ими после рождественских праздников. 16-17 февраля 1779-го ("на первых днях масляницы") комиссия решила участь еще одной группы подсудимых - главным образом, из числа преображенцев или к их действиям причастных; лейб-гвардии Преображенский полк пользовался особым покровительством могущественного князя Г. А. Потемкина и его ставленника генерала А. П. Толстого.

Оставшиеся надеялись на "великий пост", но с 23 февраля по 12 апреля во все продолжение его владетель их "душ и тел" Александр Петрович в "присутствие" приезжал редко и никаких действий не предпринимал. С 12 по 19 апреля (на "страстной неделе") комиссия "рассталась" еще с несколькими подсудимыми. Это были преимущественно купцы и иностранцы, прямо или косвенно связанные с банковскими займами. Для Винского тот выпуск остался памятным прощанием с полюбившимся ему Петром Брецинским, с которым в дни заточения он сошелся особенно близко. "Будучи с ним неразлучны, мы находили лучшее удовольствие в одиночном беседовании..." О многом поведал своему соузнику "благородный юноша", с детства "бедный сирота", воспитанник Московского университетского пансиона, потом армеец - участник войны с турками, подающий надежды прапорщик, наконец - "жертва доброты своего сердца и неопытности". Часть сведений, полученных от Брецинского, вошла потом в "Мое время". Характер их, однако, оказался таким, что многое приходит к читателю только сейчас, благодаря отысканию и публикации полных списков; у Бартенева же и Щеголева некоторые важные места "выпали" - конечно, не по их вине: потребовала и настояла цензура. Среди образов-персонажей записок Брецинский может соперничать разве что с Соколовым - и по полноте характеристик, и по душевному теплу, отданному им автором.

...После "страстной" стали надеяться на "Святую Пасху": уж к ней-то быть им по домам. Не оправдались надежды и на этот праздник. "Великодушия" не последовало и сразу после него. Дела решались, но уже не по группам, а в порядке единичном - то об одном, то о другом. Перед "днем Святыя Троицы" - это 31 мая - арестованных оставалось всего семеро.

Генерал Толстой не преминул обнадежить и тут: не тужите, мол, ждате совсем недолго. Меж тем он просто подсластил пилюлю: комиссия свое существование прекратила, а их (цитирую Винского) "восемь месяцев державши в заключении, судивши и не досудивши, бросили, но не освободили". И к кому было теперь обращаться? Кого просить?

"Между тем дни пробегали, недели проходили, месяцы протекали, одна наша злая участь оставалась неподвижною..." Тянулось так до Рождества - еще одного в неволе. Наконец вспомнили и о них. На второй день рождественских праздников 1780 года Винского с пятью другими вывели за стены крепости и доставили в юстиц-контору. "Я мечтал и радовался, что севодни же, может быть, буду участвовать во всеобщем движении..." И после всего, что произошло, оставался он оптимистом.

Тем острее оказалось разочарование.

"Куда нас вели, никто того не знал; да и о чем было спрашивать или сомневаться? В дни великого праздника за тем и позвали нас, чтобы возвестить нам радость, то есть свободу..." А что возвестили?

Приговор оглушил своей холодной жестокостью и полной несправедливостью. Состоял он из двух частей: "всепопданнейшего доклада" Сената с изложением вины каждого и предлагаемых мер наказания, а далее - в заключение - "высочайшей конфирмации", которой "всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица и самодержица всероссийская" раз и навсегда утверждала то, что считала нужным, никаких надежд на пересмотр уже не оставляя.

"...По учиненном исследовании бывшею при Сенате Комиссиею оказались в разных преступлениях виновными, а именно:

1-й. Из дворян подпоручик Матвей Теляковский изобличился в подговоре беглого солдата и в соглашении с ним, назвав его своим, к продаже, в чем и письмо на него покупщику до крепости дано было, в знании и за другими о подговорах к побегу и во вспоможении им в том, так же и при закладе другими в банке, назвав своим, чужого имения, и в приискивании поручителей, кои чужими именами в поручительство подписывали подложно; в скрывании таких людей, кои другим чрез него, Теляковского, давали поверенные письма о займе из банка денег и с залогом подложно имения, в неоднократном намерении ко взятию из банка денег с залогом чужого имения и выдаче беглым людям пашпортов.

2-й. Из дворян подпоручик Григорий Радищев винился в займе из банка 1160 рублей с залогом чужого имения, в приискивании другим при займе из банка денег подложных поручителей...

...3-й. Из иностранцев адмиралтейского корабельного мастера сын отставной подпоручик Антон Гиммель признался в даче, по просьбе Чечулина о займе из банка 1000 рублей, поверенного письма с чужим именем и залогом чужого имения...

...4-й. Из секретарских детей коллежской асессор Леонтий Соколов и 5-й - из дворян подпоручик Петр Калитеевский показали о себе, что сочинили с общего согласия подложное письмо от имени Нижегородского пехотного полку подпоручика Алексея Батюшкова, по которому он, Батюшков, будто поверяет Соколову поручиться при займе из банка капитаном Квинихидзевым 5000 рублей с залогом его, Батюшкова, 250 ДУШ, под которым поверенным письмом Калитеевский именем Батюшкова и подписался и то письмо в юстиц-конторе засвидетельствовали, но в число показанной суммы Квинихидзев получил только 500 рублей. А сверх того Соколов признался в написании им по согласию с бывшим Кашинцевым векселя в 500 рублях на имя московского купца Гуткова с тем, чтоб Гутков адресовал тот вексель на имя Кашинцева. А Кашинцев продал бы его охотнику..."

"Признался..." Но в чем? В том, что не смог отказать в просьбе ближнего - ничего-то Соколов для себя не добывал и не добыл!

"...6-й. Из дворян подпоручик Григорий Винский по совету голштинской коммерции асессора Адлера имел намерение о взятии из банка 1400 рублей с залогом подложно имения..."

Ни слова больше. "Имел намерение..." Откуда этот вывод? Но нет, за несовершенно не судят. Судят за поступки, преступления, дела, но никак не за такое... Осудить его не за что!

А председательствующий читал дальше:

"...1780-го года декабря 18-го дня по имянному Ея Императорского Величества указу, состоявшемуся в 17-й день сего ж месяца на поднесенном от Сената докладе, которым всеподданнейше представлено было, что нижеозначенные по именам семь человек за разные учиненные ими преступления подвергли себя наказанию. А именно:

1-е. Подпоручики Матвей Теляковский и Григорей Радищев - лишению чинов, дворянского достоинства и публичному кнуту наказанию с осуждением к вечной ссылке в работу.

2-е. Поручик Антон Гиммель - лишению чинов, имения, извержению из числа честных людей и телесному кнуту наказанию.

3-е. Асессор Леонтей Соколов и подпоручик Петр Калитеевской - лишению чести и имения, исключению из числа честных людей и телесному кнуту наказанию.

4-е. Подпоручик Григорей Винской и голстинской коммерции асессор Адлер заслужили: Винской - лишен быть имения, чинов и чести, а Адлер - нынешнего голстинской коммерции асессорского названия купно с извержением из числа честного общества..."

Да неужто это возможно? Дворян - кнутом, притом публично... Вечная ссылка в работу - иначе говоря, на каторгу... Лишение чести и чинов... Исключение из числа честных людей...

Ему наказание поменьше, без кнутов и ссылки. Но, полноте, за что исключение из дворян, за что снятие офицерского мундира и "извержение из честного общества"? С чем он вернется к Лорхин? к матери? к друзьям и недругам? Вернется - сегодня, или сегодня еще и не пустят?...

Дальнейшее дошло не сразу. Закручинился над приговором оглашенным и едва не пропустил императрицына. Председательствующий читал его с особой торжественностью: "На оном докладе высочайшая конфирмация воспоследовала такова:

Теляковского, Радищева, Гиммеля, Соколова, Калитеевского, Адлера и Винского лишить чинов и дворянского достоинства, кто из них оное имеет. И потом сослать вечно: первых двух - в Колу; Гиммеля, Соколова и Калитеевского - в Сибирь, а Винского и Адлера - в Оренбург".

"Сослать вечно!.." И это за неосуществленное, больше того - ничем не доказанное, "намерение" получить из банка произвольно названную сумму! За то, что никогда не совершал и совершать не собирался!

"От сея всемилостивейший милости зарыдали все мои товарищи; остолбенел и я..." Было от чего остолбенеть - приговор означал крушение всех надежд, и даже лишал возможности обжалования: исходил он от самой Екатерины. Ее рука сие начертала. Не сатана ли нашептывал "милосердной" в те минуты?

"Нет, нет, и на смертном одре скажу: "Судили меня неправосудно, приговорили бесчеловечно..." Но кто мог услышать крик души его?

"Вследствие сего Правительствующий Сенат приказали в юстиц-контуре для исполнения послать указ с приложением копии с высочайше конфирмованного. А как из упоминаемых осужденных Адлер по посланному из Сената в юстиц-контуре сентября от 30 дня сего года указу сослан уже в Сибирь, то юстиц-контуре, снесясь об нем, Адлере, с кем надлежит, поворотить его в Оренбург. И о том послать указ.

Подлинное за подписанием Правительствующего Сената 22 декабря 1780 года. С подлинным читал регистратор Иван Брагин".

Эти документы - напомним - в РГАДА. Адрес их в фонде 248: дело 1564-а, лл. 328-332, 338-338а, 414-414 об.

"Высочайшая конфирмация" была объявлена 26 декабря - скорее всего к полудню. На сборы времени не полагалось: кибитки стояли у порога, сопровождающие ("три телохранителя") ожидали окончания процедуры. И все-таки какое-то время на подготовку к дальней дороге выкроить удалось. Правда, самое малое - путь на восток начался в шесть часов вечера, по улицам с уже зажженными фонарями. В шесть вечера того же 26 декабря - второго дня рождественских праздников...

Вывозили его не просто из преславной северной столицы. Увозили из молодости и от молодости. Молодость закончилась. Казалось, что и жизнь.

## **Глава IV. "ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ..."**

Писателям - и вообще людям "пишущим" - часто задают один и тот же вопрос: над чем работаете? Спрашивают и меня. Я несуетерен, а потому отвечаю без экивоков - прямо: над книгой о Григории Винском. Во избежание неловкости, "невзначай" поясню: жил тогда-то, сделал то-то, славен тем-то. Понятно, кажется. Ан нет, вопрос новый: роман? монография? Становлюсь в тупик. Ну как объяснить, что для меня эта книга - и роман, и монография.

Совершенно научная по всем статьям, книга в то же время - по замыслу моему, а еще более по тому, как складывается - несет в себе многое, что в людском мнении присуще исключительно литературе "художественной". Есть единый сюжет со сквозными и боковыми линиями, есть образы-характеры, отступления лирические и публицистические...



- Роман-эссе?

Пожимаю плечами: а что, собственно, имеет в виду вопрошающий? Модное определение или - суть?

В новейшей энциклопедии сказано, что эссе - это "жанр философской, эстетической, литературно-критической, художественной, публицистической литературы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь". (Основателем жанра тут называют Монтеня, одним из классических образцов - "Дневник писателя" Достоевского.)

"Подчеркнуто индивидуальная позиция" у меня, конечно, есть: не случайно то и дело прибегаю к авторскому "я". Но разве нет ее, этой самой позиции, у авторов "просто романов" или "просто рассказов"?

"Часто парадоксальное изложение..." Из энциклопедии: "неожиданное, непривычное, расходящееся с традицией утверждение, рассуждение или вывод". Что ж, и сама жизнь Винского парадоксальна, и мой взгляд на нее с традицией расходится, и читателю, наверно, странно, что до сих пор он о Винском ничего не слыхивал, что в истории литературы его нет.

"Ориентированный на разговорную речь..." Разговорная речь нам всего понятнее, ближе. Достигнем простоты изложения - дойдем до сознания много большего числа людей, чем если станем писать языком докладных или специальных отчетов.

- Так все-таки научная или художественная? Ох, уж эти ревнители "чистоты крови"! Меня все чаще удивляет пристрастие к рубрикам, желание все, решительно все разнести по "точным", якобы "своим", клеточкам. Это, дескать, поэзия, это проза, а это литературоведение. Критерием такого деления часто служит наличие или отсутствие ссылок. Да ведь ссылки есть и в "Медном всаднике" Пушкина!

Нет, научность не помеха художественности, равно как эмоциональность не противоречит научности. Честно говоря, мне давно и все более претит занудность иных, не столь уж малочисленных, статей (того более - книг) бесконечной серии "К вопросу о...".

К вопросу о знаменитом петербургском наводнении обратился в свое время великий русский поэт и ученый (да, и ученый - вспомним его "Историю Пугачева") А. С. Пушкин. Он посвятил этому событию своего "Медного всадника". Не трактат - поэму. Но не только поэму - труд научный.

Научно в нем все. Идея и суть... Постигание и трактовка... Глобальные выводы из частного...

"Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Верхом".

Он обращался к первоисточникам и отсылал к работе авторитетной. Он не убоился дать "Примечания" - притом целых пять. "Природой здесь нам суждено / В Европу прорубить окно..." - и ссылка на Альгаротти, которым, по Пушкину, впервые была высказана мысль, звучащая в переводе так: "Петербург - окно, через которое Россия смотрит в Европу".

В другом месте автор обращает внимание на стихи князя Вяземского к графине 3\*\*\*, в третьем называет имена безымянных в поэме "генералов" (граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф)...

А какой образец научной и писательской честности вот здесь, в примечании под цифрой "3": "Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений - Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его неточно. Снегу не было. - Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта".

Вот он каков, "Медный всадник" Пушкина: великая поэма и - прекрасный образец научности. То и другое - неразрывно.

Так что извините: на вопрос о жанре этой книги я не отвечаю. Просто прибегну к спасительной, мудрой формуле Хемингуэя: "Если читатель пожелает, он может считать эту книгу романом".

А какой роман без любви?

Об Элеоноре Карловне Фродинг, или Лорхин, как называли ее близкие (и прежде всего он) мне известно не более того, что удалось почерпнуть из "Моего времени".

Ей не было и пятнадцати, когда девушку встретил Винский. Встретил и - заметил ("беленькая, как фарфор, с голубыми глазками, девочка; по малому росту довольно стройная, по взорам и всем движениям истинная невинность"). Нежданно-негаданно впрорхнула она в квартиру, где жил старший брат - его, Григория, новый знакомец. От "своего Фродинга" и узнал, что это самая младшая из трех дочерей его отца от второго супружества; старшая сестра была замужем, жила близ Петербурга; с нею жили обе незамужние вместе с их матерью. Семья была патриархально-немецкой, небогатой ("бедной, но честной"), общались только между собою, и Лорхин говорила лишь по-немецки, русской речи даже не понимая; читать-писать и на родном она почти не умела.

Потянуло их друг к другу разом. Стали искать встреч, радовались всякой возможности остаться наедине. Полтора месяца спустя Григорий сказал ей о серьезности своих намерений. Против воли старшей сестры своей возлюбленной и ее мужа ("врагов заклятых всему русскому"), вопреки козням жены и дочери Фродинга, но при поддержке матери, средней сестры и, конечно, старшего брата - своего знакольца - Григорий Степанович и Элеонора Карловна стали супругами. Ей шел тогда шестнадцатый, ему - двадцать шестой.

Совсем близко был "роковой переворот", разлучивший их на бесконечно долгие, трагические месяцы и грозивший разлучить навсегда.

Навсегда - если бы не Лорхин. Это она, "не зная двух слов русского языка" и "не имея никого сотоварищем", искала Винского по всему Санкт-Петербургу и добилась-таки цели - свидания с любимым.

Это она бросилась за ним, осужденным, за его быстро удалявшимися санями - в легком платье по снегу, в дальний и тяжкий путь без всякой надежды на возвращение.

Добрый, участливый человеком оказался безвестный унтер-офицер, попечением которого препоручили Винского. Поддался унтер на уговоры - завезти его к Фродингам "на Руке". Сестры с матерью жили за городом, Лорхин могла быть только там, а дом их ему был памятен еще от первого посещения; он находился рядом с караульным помещением, и особой задержки не предвиделось.

Можно представить, какое горе принес Винский юной жене, надеявшейся видеть его совершенно свободным, а увидевшей под стражей, пришедшим только для того, чтобы проститься, и теперь уж навсегда. Отчаяние Лорхин смешалось с проклятиями сестры и зятя. С трудом он "вырвался из милых объятий".

Славным человеком был унтер. Лошади уже взяли разбег, когда он, услышав крики "постойте! постойте!", остановил их. Не воспрепятствовал даже тому, чтобы вскочившая в сани Лорхин там и осталась.

Но нет, подвиг тут не унтер-офицера и не арестанта. Подвиг ее, и только ее. В ней, шестнадцатилетней, оказалось столько любви, столько мужества, что никакие препятствия остановить могучий порыв души не могли.

Две с лишним тысячи верст пути они проделали вместе. И сколько невзгод преодолели вместе еще!..

"Конечно, невероятной, по нынешним временам, поступок..." Он писал это в 1814-м.

Двенадцать лет спустя "поступок" Элеоноры Карловны повторят те, кого История восславит как Декабристок...

Цитирую самого себя: "Молодость закончилась. Казалось, что и жизнь". К жизни его возвращала любовь. Теперь он был ответствен за Лорхин, за будущего их ребенка, а значит, сдаваться не имел права.

Любовь... Как много дала она Винскому!

2500... И 21... Первое - версты, второе - рубли. Версты были перед ними - тянулись через всю Европейскую Россию; рубли - именно столько, ни одним больше - были в их, Винских, кармане и убывали быстрее, чем версты. Еще бы - следовало хоть как-то экипироваться, особенно Лорхин: в домашнем платье и мантилье далеко не уедешь. Половина их "богатства" ушла уже в первые дни - на "необходимейшее". Ехали целым санным поездом: Соколова с другими, назначенными в Тобольск, догнали уже на первой почтовой станции. Для Винского это было важно: Соколов - рядом.

Мне нетрудно обозначить каждый из пунктов, которые они проехали, все почтовые станции на пути их следования. Но... "Описывать города и места, на сей дороге лежащие, я не считаю нужным, поелику они довольно известны; приключений с нами, заслуживающих внимания, также не случилось".

Этот путь спустя половину с лишним века, в 1833-м, проделал Пушкин, а еще четырнадцать лет спустя (1847) - Шевченко.

Первый - по собственному желанию, для сбора материалов о Пугачеве и Крестьянской войне. Второй - по царскому злому приговору. Как Винский... Что Пушкин, что Шевченко о дальней своей дороге сколько-нибудь подробных заметок не оставили тоже.

Пятьдесят верст в день, не более того... Сначала, до Москвы, в кибитках, и довольно поместительных, потом, за Москву, в крестьянских подводах, то еле сносных, то совсем худых.., Особенно досаждало это в ее болезненном состоянии, вызванном беременностью, Элеоноре Карловне.

Петербург - Москва... 698 верст... Из почтовых станций он назвал одну: Новгород. В "Новгороде" было истрачено "около десяти рублей" - на одежду, на обувь, на всякое дорожное снаряжение. Тем город и запомнился. В других просто ночевали. Разглядывать окрестности не тянуло.

Москва - Нижний Новгород... 441 верста по тракту... Из почтовых станций Винский вспоминал опять же одну - ту, что в Покрове. Сейчас он во Владимирской области, городом его провозгласили за два года до того. Но дело не в Покрове, а в том, что тут по-особому проявилась щедрость души Соколова: последние свои деньги отдал он за кибитку, в которой бы Лорхин чувствовала себя получше.

Нижний Новгород - Казань... Еще 380 верст... Казань запомнилась, главным образом, потому, что именно там расстались они с Соколовым, отправлявшимся далее уже другой дорогой. "В любезном моем Соколове я лишился друга, собеседника, утешителя..." Дружба скрашивала дни и облегчала тяжкий путь.

От Казани - к цели... Пушкин ехал, а Шевченко везли через Симбирск и далее - маршрутом южным. Винские поехали напрямик, в направлении Камы, скованной льдом, а потому проезжей. Тут-то начал он приглядываться к местам и людям: приближался край ссылки. "Дорога.., особенно переехавши Каму, почти вся заселена татарами..." Два ночлега здесь представляли резкий контраст: в первом из домов супруги "не могли... налюбоваться чистотою и опрятностью", в другом оказались в "избе мокрой, смердящей самую отвратительною вонью".

Выезжали из Санкт-Петербурга 26 декабря 1780 года. В Бугульму - первый город Оренбургской губернии - приехали в 1781-м, 7-го февраля. Дорога сюда продолжалась сорок три дня.

"Безвестный унтер..." Винские успели его узнать. Почему оставаться безразличными к его имени нам?

Документы из того же дела 1564а.

В Правительствующий Сенат из юстиц-конторы рапорт о действительном исполнении по присланному указу:

Во исполнение высочайшего Ея Императорского Величества имянного и Правительствующего Сената указов оным преступникам Соколову, Калитеевскому, Гиммелю, Винскому, Радищеву и Теляковскому воспоследовавшая об них высочайшая конфирмация в присутствии юстиц-конторы объявлена. И потом Теляковской и Радищев для отсылки в Колу к господину Ярославскому и Вологоцкому генерал-губернатору, действительному тайному советнику, сенатору и кавалеру Алексею Петровичу Мельгунову при доношении; а Винской - в Оренбург к господину генерал-поручику и Оренбургской губернии губернатору Рейнсдорпу; а Соколов, Калитеевской и Гиммель - к правящему в Тобольской губернии губернаторскую должность оберштер-кригс-комиссару Осипову, при сообщениях, за конвоями Санкт-петербургских баталионов: Теляковской и Радищев - капрала Петра Иванова и трех человек солдат; Винской - капрала ж Петра Яркина и двух человек солдат, а последняя - сержант Степана Ладыгина и четырех человек солдат, с данными оным сержанту и капралам, каким образом им в пути поступать инструкциями, с выдачею как под тех преступников, так и под конвойных прогонных, и тем преступникам кормовых денег; и на ямских и уездных подводах отправлены...

В журнале Правительствующего Сената "по секретной экспедиции" записано: "1781 года января 26 дня. Приказали оной репорт принять за известие и сообщить к делу..."

Капрал Петр Яркий и солдаты без имени, спасибо вам!

Итак, Бугульма. И с ней - Оренбуржье. От Казани до Бугульмы было 183 версты, до Оренбурга отсюда оставалось 338.

Захолустный городок на берегу речки Бугульминки вырос из деревни, населенной татарами, башкирами, тептярами. Расположенная на оживленной торговой трассе, она в недалеком будущем стала слобдой, а теперь жила в ожидании важных для нее административных решений.

В год приезда Винских Бугульма была объявлена уездным городом, а на следующий получила собственный герб: "В голубом поле серебряная рыба с голубыми пятнами, называемая пеструшка, которой сей страны воды весьма изобилуют". Но тогда, в феврале 1781-го, Бугульминка была подо льдом, единственная "достопримечательность" - пеструшка, путников потешить не могла, воевода обошелся с бессрочным ссыльным бесцеремонно

("отнял у меня мою гвардию, препровождение мое поручивши одному старому солдату"), отсюда и оценка в записках: "в сем вшивом городишке". ,

Впрочем, оценка достаточно объективная: свое первое впечатление Винский имел возможность поверить позднейшими, так как, живя в Спасском, у Рычковых, бывал здесь не раз.

Один абзац, а сколько в нем информации! "Верительная грамота" Винского была адресована губернатору Рейнсдорпу. Верительная? Официальная бумага представляла его как человека, которому верить не следовало, как преступника, осужденного на бесправие, притом вечное. Но имел же он какие-то основания надеяться, если, узнав о смерти начальника края, огорчился ("известие для меня немаловажное, поелику я знал, что г. Рейнсдорп был человек умный и добрый").

Умный... добрый... Мы знаем генерал-поручика Ивана Андреевича Рейнсдорпа по Пушкину, его "Истории Пугачева". Там он среди персонажей существенных. Доброты его великий автор "не заметил", а уж ума и подавно. Иронизирует он над умственными способностями оренбургского губернатора щедро.

Бугульма была вблизи Ново-Московской, по-другому - Большой Оренбургской, дороги. Дорога эта вела из Казани в Оренбург. Вез их дальше уже помянутый "старый солдат".

На благожелательных людей Винским в пути везло. Вот и этот "добрый старик" молодой паре из "самого Петербурга" помогал чем только мог. В нем олицетворялось как бы само сочувствие здешнего народа.

Но ведь судьбы их решал не народ - вершили судьбы власти.

"16 февраля, в сыропустное заговенье, пообедавши в Сакмарске, пустились мы к Оренбургу..." Оставался последний - самый уже последний - перегон...

Перебросим мост через годы. Мы уже вспоминали и еще будем иметь повод рассказывать об Оренбургском тайном обществе - "оренбургских декабристах". В сентябре 1827 года их, одетых в кандалы, прикованных к железному пруту, уводили в Сибирь. И вот последний взгляд на город, на то, что они оставляли. "...Поднялись на гору, и вдруг Оренбург с окрестностями своими представился нашему взору. Сквозь редяющий воздух виднелся город, а за ним расстилалась необозримая киргиз-кайсацкая степь. С неописанным чувством взглянули мы в последний раз на это вместилище всего, что нас привязывало еще к жизни. Несколько

минут мы стояли неподвижно и не могли оторвать своих взоров, отуманенных слезами. Внезапно пламенный энтузиазм любви к родине овладел нами, мы все вдруг схватили по горсти земли и клялись хранить ее при себе до конца нашей жизни..." Это из книги В. П. Колесникова (в записи В. И. Штейнгейля) "Записки Несчастливого, содержащие Путешествие в Сибирь по канату"; первая полная ее публикация была осуществлена мною к 150-летию восстания декабристов, и не могу я тем не гордиться.

Винский смотрел на город глазами иными - если и затуманенными слезами, то не от нежности к нему, скорее, от ненависти. "...Приблизившись к 9-й версте, открылась мне необозримая равнина, покрытая снегом, не имеющая не только дерев или кустов, ниже каких-либо видных из-под снега растений. На правой стороне видно было кругловатое возвышение, с левой - два довольно высоких хребта; впереди город Оренбург, как груда собранных в одно место церквей и колоколен. При первом обозрении сердце затрепетало и мысли сказали: "вот твое жилище и гроб!"

"...По мере приближения город прибывал в окружности, но терял в виде, ибо его стены, с сея стороны одеянные камнем и от времени почерневшие, казались к белизне снега весьма страшными..."

Оренбургу тогда было немногим более лет, чем Винскому. Тридцать седьмой шел городу-крепости, двадцать восьмой - ее новому подневольному обитателю.

Нужный Российской империи как главный опорный пункт протяженной линии укреплений и одновременно центр политического, экономического, культурного общения с народами Востока, Оренбург закладывался трижды и только в третий раз утвердился на нынешнем своем месте.

"Прибывал в окружности..." На принципе окружности Оренбургская крепость и основывалась по плану, утвержденному Елизаветой. Она имела десять полных бастионов и два полубастиона; оградой служил земляной вал средней высотой в три с половиной метра. Через вал вело четверо ворот: Сакмарские, Самарские, Яицкие, Орские.

Первые из них и были теми, которые миновали Винские, въезжая в Оренбург. Ворота сводчатые, к ним вел деревянный мостик, перекинутый через ров, опоясывавший крепость непосредственно перед валом.

Тем, кто знает сегодняшний город, небезынтересно представить себе местоположение ворот; это район перекрестка современных улиц Володарского и Советской. Нынешняя Советская - прямая "наследница" главной улицы крепости, которую вновь прибывшие решили объехать, так как она по случаю масленицы оказалась запруженной "катальщиками всех званий". Свернули на одну из боковых и кое-как "пробрались" к постоялому двору. (Улицы были спланированы так, чтобы конница единственно возможного противника - степных кочевников - в случае прорыва сразу лишалась маневра, самой планировкой вынужденная то и

дело поворачивать.) Постоялый двор, где Винские провели остаток первого дня и первую ночь в Оренбурге, находился в районе двора. "Радость и веселие от нас были весьма далеко..."

Сакмарские ворота... Через шестьдесят шесть лет, три месяца и сколько-то дней после приезда Винских, а именно в июне 1847-го, проследовал тут и Тарас Шевченко, определенный рядовым в Отдельный Оренбургский корпус. "...Мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие Сакмарские ворота, в которые я и въехал в Оренбург", - писал Шевченко в одной из своих русских повестей. Его характеристики города-крепости как нельзя более выразительны. "На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что-то антипатичное..." Или: "Один вид Оренбурга наводил на него сон..." Или: "Они видят его (героя повести. - Л. Б.), как он идет по большой улице (у Винского - "прямая, длинная". - Л. Б.) и ему встречаются эполеты да каски, каски да эполеты, казаки да солдаты, солдаты да казаки, даже бабы ходят по улицам в солдатских шинелях..." А вот и в стихах: "Считаю в ссылке дни и ночи - /И счет им теряю/ О господи, как печально/ Они уплывают!.." Винский прожил в Оренбурге два с половиной года, бывал здесь (и подолгу оставался) в дальнейшем, вплоть до последних лет жизни. Шевченко провел тут - и в сорок седьмом, и в пятидесятом - двести с лишним дней, но помнил об этом городе все десять лет солдатчины и потом, когда был освобожден.

Близость впечатлений случайной не кажется. Случайной она и не была.

Еще в Бугульме Винский узнал: умершего Рейнсдорпа замещает вице-губернатор Хвабулов. Эта фамилия не говорила ему ни о чем. Кое-какие сведения, правда, удалось получить уже там, в первом на пути городке губернии, но расспросить подробнее было и некогда, и не у кого. С тем и предстал перед главой губернии на второй день по приезде своем в Оренбург.

Матвей Афанасьевич Хвабулов, князь и генерал-майор, принял его, не вставая с софы, в общем-то довольно равнодушно и, обронив несколько малозначащих фраз, тотчас препоручил своему секретарю, который, в свою очередь, отослал Винского в губернскую канцелярию.

Едва ли не целый день продолжались "приказные обряды". Они закончились только к вечеру, когда ссыльный был окончательно записан "в число жителей оренбургских, разумеется несчастных" и препровожден с женою вместе в маленький домик на "небольшой улице".

Впервые после восемнадцати месяцев неволи Винские почувствовали себя "без надзору". Но могла ли отпустить их тревога, если впереди была полная неизвестность?

- Мы станем работать, будем веселы и счастливы, - утешала Лорхин.

- Но я ничего не умею, а ты не сможешь, - отвечал он.

Говорил так не без оснований: какому-либо определенному делу, да еще нужному здесь, жизнь его не научила.

Не научила и - не щадила. Ни в Петербурге, ни здесь, "на краю света". Снова ударила она по сердцу, и какой болью полоснула в одну из самых первых оренбургских ночей. Запылала Лорхин. Мучения ее были ужасными. Смотреть в глаза любимой, такие страдальческие глаза, не хватало сил.

Их первенец умер, еще не родившись. Юная женщина поправилась не сразу. Выжила она чудом.

Тем острее захотелось жить. А коль так - к жизни нужно было приспособливаться. Продавать вещи? Но их почти не оставалось. Служить? Службы ему не предлагали. Определиться в учителя французского языка? К кому-то из тех, кто видит в "французе" чуть ли не главное "украшение" дома? Нет, в наставники он не годится: немногому научился сам, учить же других не умеет и вовсе. Стать чем-то вроде старика Ганио, живущего в доме Хвабулова в качестве няньки и шута ("для детей... угодливая нянюшка, для князя забавник")? Ганио сыт, одет, доволен - только его, Винского, этим не соблазнить...

И все-таки учить попробовал. Заставила нужда. Понудил князь: сам послал его к майору Рыбкину. Но майор решил, что расплачиваться за уроки достаточно... рюмкой водки. Хватило терпения на две недели - с благословения Хвабулова ушел.

Тот же Матвей Афанасьевич порекомендовал его на службу к откупщику Астраханцеву. Тут Винский прижился.

Историческая справка.

Откупа в России появились в конце XV - начале XVI века. Представляли они систему сбора с населения налогов и других государственных доходов, при которой за определенную сумму полное право сбора передавалось частным лицам. Возникновение откупов было связано с господством натурального хозяйства, неразвитостью кредита, финансовыми затруднениями правительства, слабостью транспортных связей и другими экономическими причинами. Откупа были генеральные (охватывавшие обширную территорию и целый комплекс налогов), были и "отраслевые" - например, винные. Те и другие тяжким бременем ложились на массы, государство же лишало значительной части его доходов, а значит, вели к упадку производительных сил, зато обогащали откупщиков, а равно других, к откупам причастных.

По манифесту Екатерины II о переходе к откупной системе при продаже водки (он был объявлен в 1765 году) винные откупа приобрели широкий - всероссийский - характер. Внеся в казну заранее оговоренную денежную сумму, откупщики получали возможность получения любой, практически неограниченной, прибыли, за счет потребителей, недостатка в которых не было. Многие из них в короткие сроки составляли крупнейшие состояния. В 1781 году от винных откупов государство получило 10 миллионов рублей. Прибыли откупщиков были много выше.

В том, 1781-м, году стал причастен к деятельности откупщиков и герой моей книги. Называли его даже "комиссионером", но был он просто мелким служащим, просто исполнителем, получавшим за старание не доходы, а достаточно скромную плату.

Из "Очерков по истории кабачества" И. Г. Прыжова: "...Казна требовала все больших и больших кабацких прибылей, и чтоб вернее достигнуть этого, она, в отношении казенного сбора, связывала выборных самыми тяжелыми правителями, и в отношении к народу, к потребителям напитков, не стесняя выборных в произволе действия... Откупщики жили вне суда, имели право действовать бесстрашно, только чтоб они к новому году представляли большую прибыль перед прошлыми годами..."

Из "справки" выпало, что право на откуп приобреталось с публичных торгов, после чего владельцы откупов становились на четыре года "коронными поверенными служителями".

Уже через неделю Винский знал, что Астраханцев состоит здесь главным управляющим, действующим по поручению и на основе полного доверия своего хозяина, истинного владельца откупа, имеющего в нем семь частей, а потому и заслуживающего звания: "главный и важнейший всего откупа повелитель".

Но "повелитель" был не в Оренбурге, тут же все вершил Астраханцев, озабоченный сейчас тем, что в деле возникли осложнения, притом серьезные. Затевалась "приказная ссора", и малограмотный, но изворотливый воротила уповал на способность Винского "сочинять". Конечно, исключительно деловое: прошения, просьбы, письма.

Он и сочинял, получая даже поощрения: то к празднику, то за бумагу "по вкусу". Мог разбогатеть - однако это уже при условии "пролазничества, бесстыдства и прочих достохвальных качеств, способствующих, что называется, к наживе". Нет, нет и нет, в нем это вызывало отвращение.

"Теперь, стоя у конца моего течения и смотря на прошедшее время, - писал он впоследствии, - ...вижу весьма ясно, что я мог бы, как и другие, кое-чем для переды запастись, ежели бы решился пред богачами ползать, глупцам вторить, бездушников хвалить, волокитам помогать и проч., и проч. ... Многие, зная некоторые случаи моей жизни, может быть, называют

меня дураком, что я не умел воспользоваться своим временем; пусть и так: но подлецом, по справедливости, никто не может меня назвать". Что считал подлостью Винский, яснее ясного уже из строк приведенных.

И этого человека екатерининские самодуры могли судить (и осудить) по обвинению в злостном мошенничестве!

Совет Хвабулова "не плошай" был ему понятен, но означал для него иное, прямо противоположное: "не роняй чести". Его лишили "чести" по суду, но она, честь, оставалась его главным и единственным богатством. От прибавок он, конечно, не отказывался. Но это совсем другое. Прибавка - значит можно "состроить себе новый сюртук", значит можно порадоваться обновой Лорхин.

Право на откуп приобреталось на четыре года. Винский на службу к откупщикам поступил в середине этого срока. Теперь, по прошествии месяцев и лет, он радовался тому, что его служба, как и откуп, подходила к концу. Радовался при всем том, что ничего иного жизнь пока не сулила и снова нужно было думать о хлебе насущном, о крыше над головою.

Но до чего опостылело "быть ежедневно в сообществе корчмарей, слышать непрестанные их ссоры и раздоры, напиваться без вкуса по дважды в день, а иногда и трижды, словом: быть настоящим ярыгою".

Ярыгою? Смысл этого выражения, этого понятия он постиг в Оренбурге. Там же взял его себе на заметку и будущий автор "Толкового словаря живого великорусского языка" В. И. Даль, растолковавший народное слово вполне определенно: "пьяница, шатун, мошенник, беспутный". Винский мог стать и тем, и другим, и третьим, и четвертым.

"Так провел я почти два года и не могу сказать, что бы из меня вышло, ежели бы я далее оставался при сем месте..." Хватило сил не остаться, разорвать цепи, вырваться из плена сытой и пьяной жизни - пусть в неизвестность, но вырваться.

"Откуп кончился..."

Историческая справка.

"...В 1779 году распределение России по губерниям было признано неудобным. Повелено было в составе нескольких областей учредить наместничества, которые бы, в свою очередь, подчинялись еще особым генерал-губернаторам. По этому распределению Оренбургский край был наименован Уфимским наместничеством из двух областей: губернии Уфимской и провинции Оренбургской. В первую вошли уезды: Уфимский, Бирский, Мензелинский, Стерлитамакский, Бугульминский, Белебеевский, Бугурусланский и Челябинский (слободы Бугульма и Бугуруслан, чувашское селение Белебей и крепость Челябинская возведены были на степень городов). Последнюю (т. е. Оренбургскую провинцию. - Л. Б.) составили уезды: Оренбургский, Верхнеуральский, Бузулукский и Сергиевский. Три уездных города образовались из крепостей Верхнеуральской и Бузулукской и пригорода Сергиевска. Сюда же была причислена и крепость Троицкая, переименованная в 1782 г. в уездный город..." (Из "Русского архива".)

Современная историческая наука трактует образование наместничеств в России как стремление Екатерины II и ее приближенных к усилению централизации власти; явилось это прямым результатом Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева - войны, которая напугала крепко.

О реорганизации края и управления им Винский мог слышать еще в Санкт-Петербурге. Но вряд ли тогда, в дни бесшабашной вольницы, тем паче под арестом, в крепости, обратил он внимание на государственный акт, лично ему ничего не суливший. О другом думалось и в пути из северной столицы к месту долготелней подневольной жизни. Даже в Бугульме смерть прежнего губернатора занимала больше, чем будущее устройство этих просторов. Да и не пришло еще время для дел практических. Пока высочайшее повеление разошлется по местам... пока дадут ему ход... Пространства-то какие - неохватные! А связь одна: лошади.



Прошел 1781-й, минули зимние месяцы 1782-го. Движения никакого. И вот...

Историческая справка.

17 мая 1782 года состоялось открытие Уфимского наместничества и новой губернии Уфимской, а немного позднее, 24 мая, в г. Оренбурге открылась и Оренбургская область. Тогда же наместником Уфимским был определен генерал-поручик Аким Иванович Апухтин, а губернатором Оренбургской области генерал-майор князь Матвей Афанасьевич Хвабулов. Одновременно с этим управление всем краем, под именем Симбирского и Уфимского генерал-губернаторства, было поручено бывшему Астраханскому губернатору генерал-поручику Ивану Варфоломеевичу Якоби.

Винский писал: "Очередь дошла Оренбургскому краю быть причастну преобразований..." И связал это именно с Якоби, с участниками его экспедиции: "Сей чиновник, будучи умен, обходителен и в делах сведущ, при первом своем приезде в Оренбург имел с собою много людей с дарованиями, приятного обхождения, словом: людей весьма от оренбургских каторжных жителей отличных".

Что ни слово здесь, то личное. Оценить экспедицию можно на основе любой, не обязательно собственной, информации. Ну и сказать так о людях, выделить и подчеркнуть в них человеческое можно, лишь увидев, услышав, узнав этих людей не по рассказам других, а самому - непременно самому.

Биографическая справка.

Якоби Иван Варфоломеевич - генерал-поручик; родился в 1724-м, умер в 1803-м. Воспитывался в Сухопутном кадетском корпусе, по окончании которого, в 1747 году, получил чин прапорщика и отправился в Селенгинск, где отец его в то время служил комендантом. Там Якоби провел более пятнадцати лет, имея возможность непосредственно познакомиться с отдаленными местами России. Сибирь он оставил в чине полковника, чтобы отправиться во Вторую армию, действовавшую против турок. В боях Якоби проявил храбрость и геройство, заслужил высокие ордена и генеральское звание. В 1776 году генерал-майор стал губернатором в Астрахани; в 1780-м он "открывал" Саратовское наместничество; вслед же за тем получил высочайшее предписание отправиться в Оренбург и Уфу. Должность Уфимского и Симбирского генерал-губернатора, а также командира Оренбургского полевого корпуса и всех войск, расположенных по линиям этого края, Якоби исполнял недолго. В 1783 году он был назначен генерал-губернатором в Иркутск, где служил до выхода в отставку (1797). (По "Русскому биографическому словарю" - СПб., 1913.)

Перемены в крае сказались и на нем, Винском. Были они как майский ветер - теплый и освежающий.

В "Записки" Григория Винского, в частности на оренбургские их страницы, попало немного.

Не называет он ни одной прочитанной в эти два года книги. О книгах нет речи вообще. Вряд ли и читал. Ежели подружился с книгой потом, в Уфе, так знаем мы (из "Моего времени"), что прочел, чему отдал предпочтение, чем понравилось, почему и отчего запомнилось.

Да где он, собственно, мог брать книги в Оренбурге? Ни книжного магазина, ни библиотеки тут не было. У князя Хвабулова? Как владелец "личной библиотеки", пусть даже самой малейшей, сей, по выражению Винского, "истинный гусар" не "просматривается" никак. У Астраханцева или прочих откупщиков? "Двух пудренных, нескольких бородатых, нескольких с пучками"? Их интересовали не книги, но яства, не чтение, но нажива. "Дела кабацкие", "жизнь корчмарская" не оставляли для чтения времени у Винского.

Не книгой - общением вызваны полученные им в Оренбурге новые знания, представления, впечатления. Знания не систематические, представления разрозненные, однако важны и они, да еще как важны.

Мог ли он не интересоваться событиями совсем недавнего прошлого, связанными с Пугачевым и пугачевщиной? Событиями, которые происходили под самыми стенами Оренбурга, когда 5 октября 1773 года армия пугачевцев, насчитывавшая более двух тысяч человек, подошла к городу-крепости?

В запустении стояла бывшая Георгиевская церковь, оскверненная, по мнению властей, повстанцами: на колокольню ее они втащили пушку, из которой стреляли по осажденным.

Жители помнили обстрелы, а некоторые даже божились, что Пугачев стрелял не только картечью, но и тяжелыми медными ятаками. Попадет такой - несдобровать.

Из Зауральной рощи, которая начиналась сразу по ту сторону Урала, бывшего Яика, пугачевское воинство пыталось ворваться в крепость по ноябрьскому льду; с крутого обрыва, к которому подходила главная улица, можно было легко представить себе всю стратегию наступающих.

В Бердской станице, куда наверняка приходилось выезжать по делам "откупным", стояли и "золотой дворец" Пугачева, и дома, где жили его сподвижники, а в других местах - скажем, между Сакмарскими и Орскими воротами - отчетливо видны были остатки пугачевских укреплений.

Рассказывала или не рассказывала о тех днях и ночах первая их оренбургская хозяйка - "простая, даже глупая, но добрая крестьянка", - но слышать, что происходило тут за семь-восемь лет до их приезда, приходилось наверняка. Уж если услышал Пушкин через шестьдесят...

...В "Записки" попало далеко не все!

Как и прежде, в ночное или просто темное время обитатели города-крепости должны были ходить по ее улицам непременно с фонарями. В Оренбургском архиве хранится приказ коменданта Валленштерна, в котором черным по белому написано, что некий мелкий чиновник, по должности копиист, а по фамилии Соколов, возвращавшийся со службы без фонаря, был застигнут солдатским патрулем и доставлен на гауптвахту, где его без всяких разговоров оштрафовали на десять копеек. Штраф немалый - стоимость двух фунтов говядины или трех куриц. А какой у копииста заработок?

Имел, разумеется, фонарь и Винский. Но путь ему освещал не этот тусклый источник света. Освещала надежда! На несбыточное - скорую свободу - он не надеялся. Что же согревало?

"...Открытие... наместничества еще более доставило краю людей весьма порядочных, так что грубость и скотство, прежде здесь господствовавшие, тотчас принуждены были уступить место людскости, вежливости и другим качествам, свойственным благоустроенным обществам".

В этих словах - мечта. Сладкий сон человека, грезящего о Людскости - Человечности... "Благоустроенное общество" - когда еще оно придет, когда утвердится?!

## **Глава V. "...ИЛИ СРЕДНИЕ ГОДЫ" (Продолжение предыдущей)**

"Людскость" олицетворяли Люди. Из тех, с кем познакомился в Оренбурге, называет он одного: Шишкова Федора Яковлевича.

Сошлись как "сослуживцы в Измайловском полку". Шишков пришел в лейб-гвардии Измайловский полк за восемь лет до Винского и... в один и тот же год, что и Николай Иванович Новиков, впоследствии выдающийся русский просветитель, писатель, журналист, издатель. Именно в 1762-м он, как и все гвардейцы, числившиеся на тот момент в отпуску, был вытребован в полк. Служба много времени не отнимала. А все-таки тяготила! Новиков подал в отставку и вышел из полка поручиком. Шишков ушел отсюда тоже - капитаном в Ядринский батальон. Продолжал служить, дослужился до секунд-майора и только в 1773-м перешел на гражданскую службу - в экспедицию таможенных дел Уфимской казенной палаты.

"По новому учреждению губернии" Шишков как "таможенный советник" приехал из Уфы в Оренбург. Бывшие измайловцы встретились. Кто-то их свел: может, Хвабулов, может, кто другой - суть не в этом. Важно иное - общий язык нашли. Новый знакомый был лет на десять старше, в практических делах опытнее и мудрее, обладал добрым, отзывчивым сердцем и, войдя искренно в положение Винского, желая "сколько можно" его "улучшить", стал рьяно побуждать опального однополчанина незамедлительно сменить и место жительства, и характер службы, к тому времени совершенно опостылевшей. Не уйдет - чувствовал (и не без оснований) Винский - от жизни "кабацкой", не оторвется, окружение останется прежним, все будет идти так, как шло до сих пор. А значит - без всякой пользы и для него, и для общества. Ему же хотелось быть полезным.

Только теперь, познав, что такое официальное корчмарство, заглянув в глубины быта, нравов прожигателей жизни, он - уже совсем по-иному и без всякого предубеждения - стал думать о деле учительском, а о себе самом как учителе.

Винский знал французский. Учитель языка был в крае редкостью. Он знал и некоторые другие науки: учение в Чернигове, Киеве, Санкт-Петербурге, занятия домашние отложили в памяти его немало. Так разве не полезно, не благородно передавать свои знания дворянским детям, которым без этого тонуть в невежестве?

На том строил свои доводы Шишков. Федора Яковлевича поддерживала Лорхин: жизнь мужа в эти годы ей "давно была несносна".

Порешили так: Винские готовы переехать в Уфу, чтобы там, в губернском городе, Григорий Степанович тотчас вступил в должность домашнего учителя. Шишков и место ему приискал - в семье надворного советника Булгакова, человека из именитых и богатых. Учеников в этом доме считалось двое; кроме французского, их надо было учить географии, истории и арифметике.

9 августа 1783 года они пустились в путь. 13 августа семейство уже поселилось у Булгаковых.

Итак - Уфа.

Цитирую уже упоминавшиеся "Записки Несчастливого..." В. П. Колесникова в литературной обработке декабриста В. И. Штейнгейля: "...Когда мы пришли на берег р. Белой, омывающей стены города Уфы, и остановились у самого перевоза, нам представилась очаровательная картина... По скату высокой и довольно крутой горы, разделенной большим оврагом, в глубине которого струится быстрая небольшая речка Уфа, небрежно разбросано множество домов и церковей разнообразной архитектуры. Там, под железною крашеною крышею, возвышается огромное каменное здание с каланчою, по всем признакам принадлежащее казне; тут видите и одноэтажный с обширным двором и садом барский дом; здесь с золотыми главами величественно возвышающийся древний соборный храм; неподалеку тянутся каменные и деревянные ряды гостиного двора; далее виднеется деревянная полуразвалившаяся церковь, от времени уже совершенно почерневшая, местами покрытая мхом и склонившаяся к падению, между всеми этими предметами рассеяны без всякого порядка дома зажиточных обывателей и хижины бедных ремесленников..."

Такой представилась Уфа и им, Винским, следовавшим той же дорогой из Оренбурга.

Свое летосчисление новый для них город вел с 1574 года - было ему, следовательно, за двести. Много всякого на долю Уфы выпало, и пожаров тоже. Майской молнии в 1759-м хватило, чтобы начисто сгорел кремль, а с ним вместе исчезло несколько сот дворов. Однако два-три года спустя закончилось сооружение комплекса из трех домов: провинциальной канцелярии, архива и рентереи - хранилища денежной казны. Строительство шло пусть стихийно, но достаточно скоро. Ко времени приезда Винских Уфа состояла из 32 улиц, переулков и слобод; она занимала площадь длиной 1200 и шириной 500 сажен. По-нынешнему - три километра на один. Что и говорить, невелика территория...

Создание наместничества в Уфе отпраздновали с помпой. По улицам шествовали чиновники всех рангов, церкви правили торжественные богослужения, вечернее небо расцвечивали фейерверки, вспыхивала пушечная и ружейная пальба. Это свершилось за пятнадцать месяцев до переезда Григория Степановича и его жены. Теперь уже все устроилось: действовало наместническое правление - оно объявляло верховные распоряжения и осуществляло надзор за их осуществлением; своими делами занимались казенная палата, ведавшая промышленностью, налогами, доходами и расходами, приказ общественного призрения (ему подчинялись немногие школы, больницы, приюты), суды - всякого наименования и назначения, для каждого сословия свои.

В 1783 году в Уфе насчитывалось 979 частных домов. И среди них тот, который на годы стал их семейным прибежищем, семейным очагом. Связано с ним многое.

"Я начал мое ознакомление с домами точно не в худшем..." Попробуем составить "переписной лист" Булгакова, восполняя то, что в "Записках" отсутствует:

Поименованы:

- Николай Михайлович Булгаков, надворный советник, за 40 лет;
- Прасковья Михайловна, его супруга, под 40 лет; '
- Алексей, сын, 9 лет;
- Анна, дочь, 15 лет;
- Аленушка, дочь, 4 года.

Никаких других биографических сведений нет; они же нужны, поскольку в жизни Винского и его жены эти люди определенное место заняли.

"Другие сведения" дают дворянские родословия, генеалогические разведки и прочие подобные книги. Прежде всего они указывают на родовитость фамилии. К московской ли, к рязанской ветви Булгаковых принадлежали дворяне уфимские, но и та и другая корни имели глубокие.

Николай Михайлович родился в 1740 году; выходит, что к приезду Винских шел ему сорок третий. Как и большинство дворянских сыновей, начинал он с военной службы. В 1764-м уже "артиллерии подпоручик", в 1772-м его чин - поручик. Вскоре, наверное, последовала отставка. Поступив на службу "статскую", Булгаков стал титуловаться надворным советником. Характер его деятельности в качестве чиновника установить не удалось (меня это, собственно говоря, не очень и занимало). Зато удалось прочесть немало купчих, актов и других документов, связанных с приобретением им земель - как у русских помещиков, так и у башкир. Владения разрастались, крепостных прибавлялось. Крестьяне Булгакова находились и вблизи Уфы на реке Уршак, и в Бузулукском, и в Бугурусланском округах.

Винский познакомился с Булгаковым в начале его "восхождения", связанного опять же с образованием наместничества. Вскоре Николай Михайлович станет коллежским советником; поздравит его Винский и со статским, и с избранием губернским предводителем дворянства, и с почетным командированием для присутствия при коронации Александра I.

Но это будет "потом". А пока Булгаков был ему больше известен как хозяин "порядочного дворянского дома", в котором сам он жил на правах учителя. Дом среди многих уфимских выделялся. Еще бы - "до 60-ти обоего пола челядинцев"! Таким обилием дворовых в городском доме могли похвастаться лишь очень богатые.

Прасковья Михайловна была из рода Тимашевых - крупных оренбургских землевладельцев. От отца, Михаила Лаврентьевича, досталось ей изрядное приданое в виде сел и крестьян. Собственность Булгакова, таким образом, соединилась с собственностью Тимашевой; на этой основе она приобрела особый вес. Доля вклада Прасковьи Михайловны в семейное богатство делала ее в доме едва ли не главной по всем статьям распорядительницей.

Старшим среди сыновей Булгаковых был Иван, Винским не упоминаемый, хотя ему и знакомый (но уже по более поздним встречам). Тогда, в 1783-м, он продолжал свою

офицерскую службу. Начинал ее в 1776 году в Санкт-Петербургском драгунском, служил в лейб-гвардии Преображенском, был поручиком в Казанском пехотном, откуда, с чином капитана, и ушел в отставку в 1785-м. Цивильная его служба протекала в Уфимской гражданской палате; позже он стал судьей Оренбургского совестного суда, дослужился до коллежского асессора и полностью отдал себя заботам помещика, богатого вообще и богатого потомством. Дети, внуки, правнуки его (целое родословное древо!) владели огромными земельными наделами и играли в губернии важную роль на протяжении целых полутора столетий.

Старшей среди дочерей\* Булгаковых являлась Анна - из учеников, препорученных стараниям Винского-учителя. В "Записках" он указывает ее возраст: пятнадцать лет. По родословным разысканиям А. А. Сиверса, было Анне к приезду учителя не более двенадцати, что, впрочем, не мешало ей заглядываться на мужчин. Несколькими годами спустя девушка стала женой вдовца подполковника Александра Павловича Мансурова; об этом браке как весьма выгодном усердно и изобретательно пеклась ее мать, Прасковья Михайловна. События развертывались на глазах у Винского.

Другим учеником в доме был девятилетний Алексей. Учителю он не понравился. Оба - "избалованные барчата", но этот еще и "истинный ососок". Определение многозначное. Даль предлагает несколько толкований - от "молодого животного, теленка, ...поросенка" до "одинокого, беззащитного сироты". Имелось, конечно, в виду не последнее. Из "ососка" впоследствии получился гвардии офицер; что касается хозяйственных талантов, то на получение доходов от имения их хватало.

"Аленушкой" Винский назвал будущую Елену Николаевну Булгакову. Будущего же Сергея Николаевича не упомянул вовсе, хоть был тот года на два старше маленькой сестрички, ходившей по дому "с рожком во рту".

В "переписном листе" важны всякие\* сведения. Нам они могут потребоваться для дальнейшего.

"Не в худшем..." Но "и в сем доме... лилась кровь несчастных". Потом Винский расскажет, что он видел и что впервые понял здесь: "Челядинцы, как и везде, составляли домашний скот". Вот она, формула той жизни, того строя - краткая и выразительная.

Управительницей дома, при полном попустительстве со стороны его номинального главы, была Прасковья Михайловна. "Ласкательна сначала без меры, искательна до низости, услужлива до подлости, завидлива, скупа, сварлива, тщеславна, болтунья, бесстыдница и к людям жестока" - таковы штрихи портрета "русской домоводки". Портрета достаточно типического: подобных хозяек автор "Записок" видел в усадьбах Левашовых, Рычковых и других.

Но у Винского обобщение оказалось еще шире. Оно основывалось и на источниках письменных. В том числе - на переведенной, "переложенной" им главе из секретных записок К. Массона, которую поименовал "Гинекократия".

Вот ее начало: "Россия представляет единственный пример в истории. В одном веке пять или шесть жен царствовали самовластно над империею, где прежде женщины были рабыни рабов. <...> Трудно найти в истории шесть царствований более изобильных войнами, переменами, злодеяниями, беспорядками, бедствиями всех родов..."

Острые обличения было направлено, конечно, против Екатерины II. Однако в изложении своем Винский больше места отвел самоуправству на местах. "В отдалении от двора видны были те же действия. Многие полковничьи жены управляли полками своих супругов даже во всех подробностях: наряжали офицеров и на службу, и к частным своим услугам, отпускали их, отставляли и иногда производили. Г-жа полковница Мелина повелевала Тобольским полком с истинно воинственным видом: принимала рапорты за уборным столиком, осматривала из окошек развод, исправляла чрез адъютантов непорядки, а мякинкий ее муженек между тем занимался пустяками в ее же присутствии. В деревнях еще больше примечательно

мужчинство женщин. <...> Продавать, покупать, менять рабов, распределять им работы, за неисправность кричать, бранить, велеть раздевать, сечь в их присутствии - суть дела весьма обыкновенные для российской дворянки. <...> Я должен дать приметить, до чего может доходить лютость женщины, когда правительство, вера, законы и обычаи страны кажутся их уполномочивающими. Есть ли причина удивляться, что рабство и мучительство превращают мужчин, когда они преображают в свирепых зверей пол чувствительнейший и тишайший!"

Это Массой. Но это и Винский. А далее уже Винский, и только он. "Здесь следуют, - читаем в приписке, - повествовании нескольких лютостей, произведенных у нас женщинами, но я

их пропустил, уверен будучи, что они к стыду нашего народа всем известны, и еще больше нежели сему Сочинителю".

Много позже, более чем через десятилетие после переложения записок Массона, будут написаны им жгучие строки о том, что видел и слышал он в доме Булгаковых - "точно не в худшем".

И тут "за малейшие проступки, часто по одному своенравию госпожи, лилась кровь несчастных". И здесь он "невольнo должен был видеть или слышать экзекуции, всегда отправляемые обыкновенно в сенях в присутствии госпожи".

Шестидесятилетний старик-повар подвергнулся порке за "нехороший", по мнению барыни, соус. Дворовая девушка, позволившая себе самостоятельность в чувствах или даже просто заподозренная в таком своеволии, наказывалась, "кроме истязаний телесных", еще более зло: "выдачею несчастная преступницы в замужество за какого-нибудь урoда". (Как и "во всех благочестивых домах" - подчеркнул тут Винский, дома эти уже узнавший.) В примерах он не распространяется: "всяк знает, что пред господином, - что ступил, то провинился, и за все наказывается". Живя в помещичьем доме, будущий писатель видит: на одном полюсе - "зверство... властелинов", на другом - то, что делает простых, подневольных людей "истинными безответными скотами". Дом Булгаковых - в его глазах - "вертеп". Он вертеп и впрямь, причем не только по самовластью хозяев (прежде всего, хозяйки), а и по развращенности дворовых, которые, стараясь увертываться от наказаний, исподтишка творят всякие пакости, особенно тем, от кого не ждут ответных.

Тем не менее сочувствие Винского целиком и полностью на стороне "челядинцев", во всяком случае - большинства из них. "Сколько раз я бывал заступником, ходатаем за таковых несчастных и всегда почти безуспешно..." На первом году жизни в доме это ранило особенно - и его самого, и чувствительную Лорхин. Не могли они смириться с тем, что происходило вокруг них и дальше. Увидели, убедились: нравы бывают "еще более жестокие" (Винский видел, например, "тиранства", творимые у Матюниных), но дом Булгаковых был и его домом, следовательно, все тут воспринималось острее.

В этом доме, где жизнь Винских протекала вообще-то "довольно сносно", стараниями той же "домоводки" был нанесен и коварный удар по любви Григория и Лорхин. Чтоб разрушить дружбу юной Элеоноры Карловны с младшей сестрой Булгакова молодой вдовой Авдотьей Михайловной, поселившейся здесь после смерти мужа, хозяйка дома стала нашептывать жене учителя всякие сплетни и - "злоба взяла верх над простосердечием": Лорхин заболела "бедственной страстию" - ревностью. Как только не клеймил потом Винский нарушительницу своего счастья: и "мерзкой душонкой", и "брюзгливой бабой", и "подлой женщиной". Так или иначе, но свое "адское дело" она свершила, испортив отношения любящих на годы.

Отъезд из дома Булгаковых за полгода до срока, оговоренного сразу, был вызван, вероятно, и этим.

Но нам, читатель, оставлять первый уфимский дом Винских еще рано.

Григорий Степанович приехал сюда не нахлебником ~ работником. И как не сказать, что именно тут проявился (и утвердился!) в нем Учитель.

"Учение, хотя не могу похвалиться, чтобы было завидное, имело, однако же, свою пользу тем, что я, поступая искренно, не только никогда не внушал ничего детям порочного, но старался всевозможно поселить в них человеколюбие, справедливость, бескорыстие и другие нужнейшие для русских добродетели..."

Педагогический его опыт, педагогические взгляды начали формироваться в эти годы. Какие именно взгляды? "Россиянина воспитывать должен непременно россиянин; научение же можно попустить и иностранцу..."

Теперь не установишь, когда впервые всерьез задумался Винский над этим важным вопросом. Документально подтверждается лишь одна дата: "1802". Тогда он переводил труд К. Массона и особо выделил главу "О воспитании россиян", а в ней рассуждения автора о роли учителей, приглашенных из других стран. Массон считал эту роль безоговорочно важной, ведущей. Винский отнесся к его уверенности с полным сочувствием. "Воспитание молодых россиян, имеющих несколько достатка, обыкновенно поверяется иностранцам, известным в России под названием Учитель, - читаем страницы перевода. - <...> Учителя, сии люди, которых легкомысленные осмеивают и коих старухи усиливаются выдавать опасными, наиболее способствовали к обделению россиян, уча в разницу человека за человеком..." Винский, перелагая мысли Массона, возносит хвалу и иноземным наставникам, и результатам их стараний, оговаривая при этом лишь самые что ни есть частности.

Но вот проходит двенадцать лет, и автор "Моего времени" восклицает: "О! Отцы, Матери, и все вы, от коих зависят дети! Войдите в подробнейшее розыскание разности между воспитанием и научением; пекитесь ваших чад прежде воспитывать, потом научать. <...> Ведайте, что наемные иноземцы <...> не могут дать вашим детям воспитания, по тому одному, что они не знают ни законов наших, ни нравов, ни обычаев..."

Он сам не сразу осознал различие между воспитанием и образованием, сам не просто и не скоро выработал собственный взгляд на проблему; понадобились долгие годы учительствования в разных домах, критическое прочтение многих книг - зарубежных и отечественных, беседы-споры с людьми уважаемыми, наконец, важные политические события (среди которых, конечно, война с Наполеоном), чтобы прийти к выводу окончательному и бесповоротному, вынесенному для пущей убедительности в подзаголовок: "Иноземец не может воспитывать". Речь шла о воспитании патриотическом.

Однако впервые Винский задумался над этим еще в Оренбурге, при встрече с Ганио. Тогда-то мысленно обратился он к князю Хвабулову, препоручившему воспитание своих детей невежественному "учителю из чад Гароны". И было это обращение вполне определенным: "Не ты сие затеял; ты только последовал десяти тысячам глупцов, ловивших в перехват всех бродяг французских для воспитания своих чад".

Сменив "француза" в доме Булгаковых, Винский радовался, что тот не успел причинить ученикам своим сколько-нибудь существенного вреда. ("По щастию, дети, бывши на руках француза около года, еще азбуки не вышли...")

Занятия проводились исправно: никогда и нигде он "не пропускал дней или часов, определенных для учения". Поначалу новоявленный учитель старательно следовал методу "иностранцев и наших педантов": правило за правилом, слово за словом - заставляя заучивать, зубрить, а что в памяти остается, это не суть важно.

Скоро, однако, такие уроки наскучили самому. Винский "добрел" до способов "легчайших или вернейших" и в преподавании наук, в учительстве своем открыл такой источник, который оказался куда более результативным.

"...Есть средство самое верное и ученику полезное - в учении его языку чрез чтение с переводом и истолкованием слога того языка и разности нашего. В сем способе вся трудность

учителю, поелику он должен не только с усердием, но и крайним терпением и снисхождением внушать ученику скучные правила, не именуя их, что особенно трудно на первых десятках страниц; но я по опытам уверен, что, прошедши так с учеником только четверть тома, он столько уже знал язык и его состав, что ему можно было тотчас поручить переводы самых трудных авторов..."

Такое обучение увлекло его настолько, что он охотно жертвовал своими собственными "часами и занятиями". Пошло это на пользу и ему самому: оба языка изучил "всесовершенно". ...Свой "способ домашнего учения" он впервые применил на занятиях с Анной и Алексеем Булгаковыми.

"...Уча... и самому учиться..." К этому тоже пришел он с первых шагов учительствования. И, как писал, подводя итог, "ежели не выпустил своих учеников виртуозами в науках, зато сам столько успел..."

Так вошла в его жизнь книга. Так пристрастился к систематическому чтению.

"Начавший тогда выходить в свет "Всемирный путешественник" зажег во мне любопытство..." Аббат де ла Порта создал труд преогромный: своеобразная его энциклопедия состояла из 34 частей. На русский язык французское сочинение перевел Яков Иванович Булгаков (1743-1809). Известный дипломат екатерининского времени, он дал читателям немало произведений, преимущественно научно-познавательного характера. Но это было едва ли не крупнейшим его предприятием: "Всемирный путешественник, или Познание старого и нового света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях света и проч.". Русское издание вышло в 27 частях. Выпускалось оно в течение 1778-1794 годов. Винский познакомился с этим изданием в Уфе, учительствуя в доме Булгаковых, и выделил его как первейший источник своего любопытства. Любопытствовать же, по Винскому, значило "научаться одному полезному".

"Первый, Вольтер заохотил меня читать и рассуждать..." Можно даже сказать, когда это произошло: в 1784-1785 годах. "По щастию у г. губернатора имелась богатая библиотека..." Речь идет о гражданском губернаторе И. И. Квашнине-Самарине - представителе большого, богатого помещичьего рода, в котором были и деятели культуры, в том числе писатели, переводчики. Один из Квашниных-Самариных известен как переводчик Вольтера, опубликовавший его произведение в "Утренней заре" (1806, кн. 4).

Как утверждал Виктор Гюго, он был "более чем человек - он был эпоха". Вольтер являлся крупнейшим поэтом XVIII столетия, первым драматургом века, блестящим беллетристом и публицистом, выдающимся историком, философом-мыслителем, неустанным "практическим деятелем", выступавшим против "злоупотреблений и мракобесия". Сотни его произведений еще при жизни автора (1694-1778) разошлись по всему свету.

В России знакомство с Вольтером началось в 1730-е годы. По мере усиления просветительских тенденций известность его здесь очень быстро росла. Невозможно обозначить, что конкретно было прочтено Винским, когда Квашнин-Самарин "благоволил" дать ему позволение пользоваться своей библиотекой. Произведения гениального француза были тут, по всему судя, в оригинале, ибо только это могло заставить читателя "упражняться в переводах" для ознакомления с идеями Вольтера других.

Важно, однако, подчеркнуть, что Винский читал труды Вольтера и прежде, во времена своей гвардейской службы. В его "Записках" это имя упоминается несколько раз и по всяким поводам. Здесь оно обозначено в связи с началом чтения углубленного, и особенно деятельности переводческой.

"Занимательный слог, важность вещесловия, смелые истины тотчас мною переведены и сообщены знакомым, как новость". Из всей этой лаконичной и емкой характеристики Вольтера выделю два слова: "важность вещесловия".



Вещесловия? Звучит непривычно, незнакомо, искусственно. Мне поначалу даже показалось: придумано самим Винским, стремившимся к полногласному звучанию русской речи. АН нет! Термин такой имел хождение. Позднее его зафиксировал в своем "Толковом словаре живого великорусского языка" Владимир Даль. "Вещесловие, - читаем у Даля, - материализм, учение, верованье, понятие, которое видимую и невидимую природу основывает на вещественных, природных силах".

Так вот что выделил в прочитанном им Вольтере Винский, вот чем особенно привлек его знаменитый француз! Он придерживался материалистических объяснений природы (не отказываясь, впрочем, от идеи Бога как первопричины, сообщившей материи способность ощущать и мыслить, способность движения.) Винскому у деиста Вольтера важнее всего материализм. Это и слышится за непривычным нашему уху выражением: "важность вещесловия".

Тут только несколько комментариев к высказываниям Винского о книгах и авторах. Пока лишь несколько... Что ни день, книге в его жизни будет принадлежать роль все большая. "Блажен, чье сердце способно принять сию божественную искру..."

Много было забот и тревог - всяких забот, всяких тревог. "Несчастье есть лучший учитель, я точно на себе испытал..."

Первенец родился мертвым - его убила тяжелая зимняя дорога из Санкт-Петербурга в Оренбург. Во чреве матери или в первые дни, недели, месяцы жизни умерли последующие Винские - уже в Уфе.

Элеонора Карловна родила девять детей, и только двум суждено было выжить - появившимся на свет в 1788-м и 1790-м годах.

Сколько слез было пролито, как много пережито!

"Досадную шутку" сыграла над Винским и его женой сводная сестра - дочь Губчица. Зимой 1786 года Екатерина Михайловна вытребовала к себе Лорхин, чтобы вместе отправиться в столицу для "испрошения свободы" Григорию. Собрав "последние крохи" и воспользовавшись помощью Булгакова, поездку осуществили. Но ко времени приезда Лорхин настроение "сестрицы" изменилось. Завезя ее в Петербург, она бросила жену брата на произвол судьбы: "без денег, без покровительства; не сказавши ей о своем отъезде". И снова волнения, снова разочарования...

А ревность? "Но что она претерпела?" - это о Лорхин. "И сколько я перенес досад?" - это о себе.

На вопросы свои он мог ответить только так:

- Сие одним нам известно.

Им одним остались известны многие унижения дней и лет уфимских. Удивительным было само их положение. Вечная ссылка - вечное бесправие!

Из дома Булгаковых - в дом Левашовых.

Значит, теперь об этой семье. Была она и родовитее, и, пожалуй, богаче первой.

Родоначальником уфимско-оренбургской ветви фамилии можно считать Фаддея Левашова, жившего еще в конце XVI века. Его сын Степан по документам 1624 года значился "объезжим головой" в Казани. Потомки Степана Фаддеевича - и дети, и внуки, и правнуки - наследовали земли в Казанском, Лаишевском и других уездах.

Поближе к берегам Урала и Белой первым из всего рода перебрался Сергей Яковлевич, отставной секунд-майор, надворный советник, судья Уфимского совестного суда. Ко времени знакомства с ним Винского Левашов исполнял также обязанности уфимского окружного предводителя дворянства и, таким образом, был в городе и крае "на виду".

Но наиболее полную характеристику этого человека мы можем прочесть в записках "Мое время". Был он, по словам мемуариста, "человек крайне странный".

"В юности без всякого воспитания, в молодости без малейшего образования, в мужеских летах без нравственности, достаточный казанский дворянин, посему родными и знакомыми в

его своеволии там несколько стесняемый, оставив молодую жену и пятерых любезных детей, переселился в Башкирию, где, купивши землю, переводил крестьян, строил дома, рассаживал сады, заводил оранжереи, учреждал фабрики, заводы; но все сие только начинал, а не оканчивал. Дом его снаружи, по виду, был казарма, во внутренности же оштукатурен как палаты. Сад был не огорожен, но ворота в него воздвигнуты были столярной работы и с немецкими петлями и замками.

Описывать все его странности было бы и скучно, и трудно; скажу только еще: бывши почти безграмотен, охотник превеликой был диктовать письма, особенно наставления прикащикам, садовникам, конюхам и другим своим чиновникам. Щедр, даже мот бывал из тщеславия, скуп же по природе; нрава самого крутого и жестокого, но к сентиментальному разговору всегда приставал, выдавая себя за Стерна..."

Сын капитана, а по отставке - коллежского асессора Левашова Якова Ивановича, служить он начал в 60-е годы, и в формулярном его списке чины-звания выстроились в таком порядке: гвардии каптенармус (1767), капитан (1774), секунд-майор в отставке (1782), ну а дальше "советник" - сначала надворный, потом коллежский, а под конец и статский (умер он в 1801-м).

Тогда, впрочем, до смерти было далеко; Левашов о ней и не думал. Пятый том "Материалов по истории Башкирии" буквально "пестрит" документами о предпринимательской его деятельности. Тут и купчая башкир Ногайской дороги, Телтим-Юрматынской волости на землю по рекам Белой и Куганак, проданную Сергею Яковлевичу в 1780 году, и документы о покупке земельного участка вдоль реки Сутолока, и акт на право владения большими угодьями по речке Стерля и т. д. Покупал, расширял, менял. Вино производил и торговал им все шире. Насчет вина - тут же: завод С. Я. Левашова на речке Каран-Елга в Стерлитамакской округе давал 8400 ведер вина в год. Поставлялась "продукция" в Стерлитамак и Уфу; 500 ведер шло "на домашний обиход". Только на винокуренном заводе и ближайших к нему землях Левашову принадлежало 175 крестьянских душ - крепостных разного пола.

Отсутствие образования и воспитания не мешало ему, как видим, наживать, умножать свои богатства; это и составляло главный предмет левашовских забот. Служебными делами он себя не утруждал, общественными, вероятно, тоже. Как совестный судья, Левашов "сам хвастал, что в двенадцать лет его судейства и двенадцать дел не поступило в суд". Винский своими глазами видел, как маленький Алешка "гонял со двора несчастных чуваш и мордвов, притекавших к совестному правосудию".

Не выдержал наш герой бесконечных "странностей" нового своего "патрона" и прежде всего его "сумбурства". ("Сумбурить, говорить или делать вздор, бессмыслицу" - В. И. Даль.) Чаша терпения переполнилась совсем скоро. И если спустя годы в тот же дом вернулся, то исключительно ради Левашовых-детей: привязался к ним сразу.

Много страниц в "Детских годах Багрова-внука" посвящено "Софье Николаевне Багровой (урожденной Зубиной)", а на самом деле, в жизни, Марии Николаевне Зубовой-Аксаковой, матери автора.

То место, на которое мне хочется обратить внимание сейчас, относится ко времени, когда она еще не была матерью и даже не вступила в брак, а всецело посвящала себя отцу и семье.

Читаем: "С самым напряженным вниманием и нежностью ухаживала Софья Николаевна за больным отцом, присматривала попечительно за тремя братьями и двумя сестрами и даже позаботилась о воспитании старших; она нашла возможность приискать учителей для своих братьев от одной с ней матери, Сергея и Александра, из которых первому было двенадцать, а

другому десять лет: она отыскала для них какого-то предоброго француза Вильме, заброшенного судьбою в Уфу, и какого-то полученного малоросса В-ского, сосланного туда же за неудавшиеся плутни. Софья Николаевна воспользовалась случаем, сама училась вместе с братьями (сноска внизу: "Она училась так прилежно, что скоро стала понимать французские книги, разговоры и даже выучилась немного говорить по-французски") и чрез полтора года отправила их в Москву к А. Ф. Аничкову, с которым через двоюродного его брата, находившегося в Уфе, познакомилась она заочно и вела постоянную переписку. Аничков жил в Москве вместе с известным Н. И. Новиковым; оба приятеля до того пленились красноречивыми письмами неизвестной барышни с берегов реки Белой из Башкирии, что присылали ей все замечательные сочинения в русской литературе".

..."В-ский" - это, конечно, Винский. "Полученный" и "плутни" - оттого, что сам автор его не знал, а пользовался информацией не во всем достоверной. Куда важнее другие факты - что среди учеников Винского в Уфе была и та, которая родила замечательного русского писателя, что давал он знания основательные, достаточно широкие, открывавшие лучшим из его питомцев дорогу к плодотворной деятельности, что, наконец, из Уфы Винского, во многом благодаря ему, протягивались нити к Москве Новикова.

Относится описанное к середине восьмидесятых годов - первым годам учительствования Григория Степановича после переселения его в Уфу (где Н. Ф. Зубов был лицом видным - товарищем уфимского наместника).

Учеников в Уфе у Винского оказалось больше, чем рассказано в "Моем времени" - записках не исчерпывающих, кратких. Особенно кратких в сравнении с прежними...

"Отстав" от Левашова, Григорий Степанович и Элеонора Карловна жили на снятой ими квартире. На жизнь он зарабатывал исполнением обязанностей "бродящего учителя". Доход был невелик, но после барских домов с их принудительным режимом такая ни к чему не обязывавшая служба несла с собою и определенную "прелесть свободы".

Домом, в который он приходил учить, был, по Винскому, Рычковский: "...исправляя должность в доме г. Рычкова бродящего учителя..."

Рычкова? Фамилия в крае - и вообще - известная. Но о ком речь тут? О Рычкове Василии Петровиче, сыне знаменитого исследователя, в то время прокуроре Уфимского наместничества.

Рычков и Винский были ровесниками: тому и другому исполнилось тридцать пять. Вступив в военную службу в 1765 году, Рычков прошел путь от капрала до капитана, в 1/77-м вышел в отставку в чине секунд-майора и в течение нескольких лет служил в Уфе помощником директора казенных заводов. Потом уезжал в Саратов - соблазнила должность прокурора в губернском магистрате. Получив чин коллежского асессора, вернулся прокурорствовать в Уфу. В это время и состоялось их знакомство, а затем приглашение в учителя совсем еще малолетнего сына Николая... В 1/88 году В. П. Рычков получил увольнение от должности - по болезни.

..."В доме г. Рычкова..." Но учительствовал Винский так не только здесь. Ведь вот училась же у него будущая мать будущего известного писателя!

Еще у Булгаковых стали мучить Григория Степановича головные боли. Теперь они порою вынуждали подолгу не выходить из дома, лежать в постели.

Обострение болезни стало поводом к важному для Винского знакомству - с Андреевским Степаном Семеновичем. Потом он писал: "Не забуду никогда... тебя, благодетель мой, ...который не только по искусству своему освободил меня от тяжкия болезни, но умными твоими суждениями, беспримерною добротою твоей души ускорил образование моей нравственности..."

Андреевскому исполнилось всего-навсего двадцать семь, и судьба его складывалась достаточно благополучно. Главное, в полной свободе выбора и решения. Выбора собственного жизненного пути по своему разумению, решения тех задач, которые решать хотелось.

Они были земляками и знакомству это способствовало.

Родился Андреевский в 1760-м в местечке Салтыкова-Девица на Черниговщине. Отец служил приходским священником и носил фамилию Прокопович, но с самого детства стал Степан - по материнской линии - Андреевским и оставался им до конца.

Что отец, что мать происходили из семей служителей Божьих. Не удивительно, что сын был определен в Киевскую академию. Первоначальное образование он получил там же, где и Винский.

Но служба Богу его не прельщала. Много привлекательнее было для него служение людям. Особенно манила к себе медицина. И в 1779-м Андреевский оказался в школе при Санкт-Петербургском сухопутном госпитале. Два года спустя он получил звание подлекаря - если по-современному, то фельдшера, а одновременно и назначение в Черниговский легкоконный полк. Служба его там продолжалась до 1783-го, когда юноша вернулся в Петербург. Для чего? Чтобы держать экзамен на звание лекаря. Выдержал с блеском, получив вместе с врачебным дипломом приглашение профессора М. М. Тереховского стать его помощником.

Лекарь - таким было официальное звание врача в дореволюционной России; с XVIII века оно присваивалось тем, кто имел специальное медицинское образование. Звание штаб-лекаря во врачебной иерархии являлось высшим. Для получения его требовались и образование, и стаж, и заслуги (в том числе научные). Приравнивалось оно к армейскому чину капитана.

Андреевский путь от лекаря до штаб-лекаря прошел в пять с небольшим лет. Прошел честно, достойно и даже геройски.

Однако вернемся к тому времени, когда служил он в петербургской клинике Тереховского. Увы, заболев, и тяжело, Андреевский вскоре принужден был оставить перспективную службу и вернуться в места родные. Но едва выздоровев, определился на службу вновь, теперь уже в Чернигове, и совсем скоро удивил всех подробнейшим "Медико-топографическим описанием Черниговской губернии". Всех - и медицинскую коллегия в том числе. Описание свидетельствовало о незаурядных способностях никому не известного лекаря, его умении решать задачи принципиально новые, до дерзости смелые.

И та же коллегия - высший медицинский орган в России - предложила Андреевскому работу исключительной трудности: изучение сибирской язвы. Собственно говоря, даже названия свирепая и коварная эта болезнь тогда не имела - его придумал он.

Три года продолжалась экспедиция, в ходе которой были подробно изучены и клиника, и патологическая анатомия, и эпидемиология тяжелого заболевания, разработаны методы его лечения, способы профилактики. Первым в мире ученый медик доказал заразный характер болезни, и как еще доказал!..

Но об этом позже. А пока обратимся к дням, когда экспедиция из Санкт-Петербурга прибыла в Уфу, чтобы оттуда продолжить путь дальше.

Их было четверо: доктор Борнеман, лекарь Андреевский, а с ними два подлекаря ~ Вальтер и Жуковский. Борнеман с Вальтером выбрали Челябину, Андреевский с Жуковским - Троицк; там и там сибирская язва "гуляла" ежегодно, там и там ущерб причиняла огромный.

Первая "комиссия". свернула работу очень скоро. Борнеман не стал утруждать себя исследованиями и с необыкновенной легкостью составил сочинение, в котором на все лады расписывал собственные "подвиги" в излечении загадочной болезни. С тем он и его помощник уехали - якобы для химического исследования воды, которую громогласно провозгласили источником бед.

Степан Андреевский и Василий Жуковский остались, всю развернув работу и в Троицке, и в Челябине, и в других местах губернии. Они не уехали даже тогда, когда была подготовлена и представлена итоговая, казалось, работа - "О сибирской язве". Андреевский выговорил у медицинской коллегии еще один год, который, подчеркнем, мог стать для него последним.

"...В сию зиму почтенный штаб-лекарь г. Андреевский приезжал из Челябины в Уфу, дабы познакомиться с доктором Занденом. Он, услышавши, что один его земляк несчастлив и болен, тотчас по добродушию своему меня посетил. Сердечная его ласковость и искреннее участие во мне открыли ему всю мою душу..."

Знакомство состоялось зимой 1787-1788 годов. В первый же день Андреевский предложил Винскому поехать с ним в Челябину, обещая оказать ему там всю необходимую медицинскую помощь. "...Переезд сей, по моим недостаткам, был совершенно для меня невозможен; на сие он отвечал: может быть, возможность откроется..."

И ведь открылась. Подполковник Мансуров предложил Винскому "ехать с ним в Челябину, где квартировал его батальон". Расходы он брал на себя, тот согласился. В начале февраля 1788 года Андреевский, Мансуров, Винский "были уже на пути к Челябине".

"...Сколько я обязан г. Андреевскому, сие я никак изъяснить не в силах; он точно излечил меня телесно и душевно; без его словохотных бесед, без его неутомимого старания внушать истины, им знаемые, я бы никогда не воздержался ни от крепких напитков, ни от буйных поступков. Три месяца, с ним вместе проведенные, были мне полезнее десятилетнего учения..."

Учение, надо полагать, было взаимным. Конечно же, Винский притянул к себе Андреевского не только как пациент. Его горькая и гордая судьба наверняка способствовала возвышению духа самого медика. В конце мая того же года Винский вернулся в Уфу, а в июле...

18 июля 1788 года в присутствии лекаря (уже лекаря) Жуковского, городничего Челябины Швейгофера и еще одного местного деятеля - судьи Оловянного, Степан Семенович Андреевский сделал самому себе прививку сибирской язвы!

Болезнь протекала бурно, жизнь ученого была в опасности. Он же из последних сил записывал все, что испытывал. До тех пор записывал, пока - по его собственному признанию - "расстройство и помешательство мыслей, соединенные с превеликим страданием, воспрепятствовали... сохранить в памяти тогдашнее... состояние во всем существе его".

Андреевский едва не погиб, но - выжил. Только после этого вернулся он в Санкт-Петербург, в тот же "сухопутный госпиталь", где не так уж и давно начинал учиться медицине. Вернулся "со щитом".

В 1792 году штаб-лекарь стал членом медицинской коллегии и одним из организаторов здравоохранения в масштабах Российской Империи. Много ему привелось поехать по России. Гигиена городов и сел... обеспечение лекарственным сырьем... проказа... - какими только проблемами не занимался! Глубоко вник он в практику и перспективы подготовки русских врачей, и в 1804-м его назначили директором Петербургской медико-хирургической академии. Продержался там, однако, всего три года. Не выдержала душа русского патриота очевидной и все усиливавшейся ориентации правительства на иностранцев, рассердился настолько, что подал в отставку и с медицинской деятельностью распростился навсегда.

"...Ты, от благородного упражнения врачевать болезни телесные переместившись на лестницу службы гражданской, по уму твоему и сердцу можешь быть в пространнейшем кругу благодетелем несчастным; дай лишь Бог, чтобы ты никогда не забывал: honores mutant mores, и чтобы скверна корысти не коснулась чистоты твоей души".

Honores mutant mores... Почести изменяют нравы... Винский читал Плутарха; источник выражения - "Жизнь Суллы". А суть его в том, что Сулла в молодости был мягким и

сострадательным, став же диктатором - превратился в жестокосердного деспота. Намек, что и говорить, понятный.

С Андреевским такого не случилось. Винский об этом знал. Как и почему - о том еще скажу.

Старался он "жить благоразумно". Соблюдал правило: "быть всевозможно с полицией в миру". "...Мне не великого труда стоило перемениться, ибо я природно был добр, человеколюбив, бескорыстен..."

Еще не поборол в себе мотовства, не вытравил бражничества, не искоренил беспечности, но - никаких "буйств", ни малейших "грубиянств" и навсегда прочь любые "низкие знакомства".

Зато прибавлялось упрямства: "Сродная... мне неуступчивость не только не уменьшилась, но от времени делалась сильнейшею. Чему виною было внутреннее чувство, подстрекаемое уже несколько смелыми авторами, и что от меня требовали несправедливого".

Такая "неуступчивость" - отличительная черта убежденности. Убежденности идейной.

"Подстрекаемое... смелыми авторами"? Кем именно?"

Аббат де ла Порта зажег в нем всего-навсего "любопытство". Вольтер заставил Винского "рассуждать". А вот Мерсье...

В "Записках Дмитрия Борисовича Мертваго" (издание "Русского архива", 1867) к 1787 году отнесено воспоминание о получении из Петербурга "вновь появившихся книг", в том числе "сочинения Мерсиера". Тут же отзыв: "Драма его: Судья, сильно поразила меня. Читая ее с слезами на глазах, Чирков говорил мне: "счастлив бы я был, если бы ты был похож на этого судью!" Воображение мое было воспламенено..."

(И Мертваго, и Чиркова Винский, конечно, знал: оба они были видными уфимскими чиновниками. Небезынтересно отметить, что дочь Чиркова, Софья, впоследствии стала Давыдовой, женой прославленного поэта-партизана Отечественной войны 1812 года.)

Отзыв Николая Александровича Чиркова был и его, Винского, отзывом. Из чего это явствует? А хотя бы из строк "Моего времени" о судеоустройстве, судах и судьях, в частности, совестных. Своими глазами он видел, как "желание благонамеренных быть судиму по совести уничтожалось, и ябедники безбоязненно продолжали угнетать беспомощных". Между тем словами биографа Державина Я. Грота замечу, что "совестный суд, впервые введенный Екатериной II при новой организации губернского управления, был одним из тех учреждений, которыми она, как видно из ее собственных отзывов, особенно гордилась, называя этот суд могилою ябедничества".

Судья из одноименной драмы Мерсье являлся полным антиподом того же Левашова Сергея Яковлевича, в домах которого в разное время Винский прожил четыре года.

До Уфы 80-х годов, до знакомства с сочинениями Мерсье Винский, по его же словам, мало задумывался над тем, "чем каждый человек обязан обществу и, наоборот, общество человеку". Это - "святую нравственность", "состав людских обществ" - он прежде и науками не считал. А если считать и начал, то во многом благодаря полюбившемуся ему французу, автору "2440 года" и других произведений политической, социальной направленности. Острой политической, острой социальной... И - ко всему - удивительной по смелости постановки моральных проблем. Недаром запомнились герою моей книги слова Мерсье о том, что все науки "суть только роскошь ума человеческого, одне мораль и политика ему необходимы". Как он сожалел, что "сию важную истину... узнал поздно"!

"Смелые авторы..." В разных местах своих "Записок" Винский упоминает Гельвеция, Руссо, Мабли, Стерна, других писателей, мыслителей, философов, чьи труды были прочитаны им в те годы и, безусловно, оказали на него влияние. Поименованы здесь, однако, не все - далеко не все. Широкое хождение имели французские издания произведений Фенелона ("Приключения Телемака", "О воспитании девиц", "Диалоги мертвых"), роман Лесажа

("Похождения Жиль-Блаза из Сантьяны", "Хромой бес", "Бакалавр Саламанский"), труд Фонтенеля "Разговоры о множестве миров", направленный против традиционных религиозных представлений о строении Вселенной, переводы на французский язык книг английских писателей Д. Дефо ("Приключения Робинзона Крузо"), Дж. Свифта ("Приключения Гулливера", "Сказка бочки") и другие издания.

Читал Винский много. И читал не без разбора. Искал он не просто книгу для заполнения досуга, но свою книгу, своего автора. Идеалом "своего" автора стал для него "смелый сочинитель, твердый поборник истины и неустрашимый защитник прав человечества" Мерсье.

К такому идеалу его подводили все новые уфимские знакомства.

Арсеньев... В жизни Винского сыграл он роль благородную: дал ему ключ к основательному чтению, воодушевил заняться "переводами важнейшими", открыл на поиски новых путей жизни. Их общение в течение года было почти ежедневным. Как можно судить по некоторым косвенным данным, шел тогда 1785-й.

"Дворянин отличных достоинств по уму и доброте", Александр Иванович принадлежал к роду древнему и знатному. Она, эта фамилия, - во всех родословиях России, к которым мне приходилось обращаться. Арсеньевы значились в дворянских книгах губерний Тульской, Московской, Тверской, Орловской, Самарской, Рязанской, Владимирской, в матрикулах Курляндского дворянства и т. д. и проч.

В энциклопедии читаем: "Род Арсеньевых в России берет свое начало в 1389, когда к Великому князю владимирскому и московскому Дмитрию Донскому из Золотой Орды перешел на службу Аслан Мурза Челебей (наряду с др. представителями татарской знати). Челебей принял православную христианскую веру и получил имя Прокопий. По родословной легенде, "сам Великий князь был его восприемником и выдал за него дочь своего ближнего человека Житова, - Марию... У Прокопия было три сына - Арсений, Яков и Лев. Старший сын Арсений (Юсуп) является родоначальником Арсеньевых. Из рода Арсеньевых вышли крупные государств, и военные деятели..."

Я цитирую не "просто энциклопедию", а персональную. Имя ей - "Лермонтовская энциклопедия" (Москва, 1981). Из рода Арсеньевых была мать великого нашего поэта; принадлежностью, причастностью к нему гордился и он сам.

А. И. Арсеньев гордился тоже. Его близким (и ему самому) довелось сослужить Отечеству добрую службу. Недаром заметил Винский, что "ни одного из русских" не знал он дотоле, который бы, долго прожив вне страны своей, "более привержен был к своему отечеству и любил его страстнее".

Из книги "Род дворян Арсеньевых": "Родился в конце 1740-х годов. Переводчик Иностранной коллегии (1769). Адъютант Главнокомандующего (1771-1774). Подполковник; был на Турецкой войне 1771-1774 годов".

Получив "превосходное воспитание и достаточное научение" в доме отца, чернского помещика и участника военных походов, Александр Иванович годы провел в Англии, где его дядя был полномочным послом России. Причастным к дипломатической службе оказался затем и он сам. Арсеньев, пишет Винский, был "при посольстве князя Репнина..." - значит, участвовал в переговорах, завершившихся подписанием Кучук-Кайнарджийского мирного договора, а затем и торжественным посольством в Константинополе, предпринятым для обмена ратификационными грамотами этого договора между победительницей Россией и потерпевшей поражение Оттоманской империей. Был, наверное, с Репниным и при выполнении им ответственного задания примирить Пруссию с Австрией, предупредить готовую вспыхнуть войну между ними. Тешенский договор 1779 года стал достойным завершением мирного конгресса, предотвратившего кровопролитие в Европе и укрепившего позиции России.

В общем, поездил Арсеньев по свету изрядно, многое повидал, имел возможность сопоставлять, сравнивать, и патриотизм его был не "слепым", но основанным на учете всего, что

составляло великое целое - Россию. Тонкое и точное наблюдение Винского: "...хотя и весьма не принадлежал к тому безмерному скопищу, где русский дым называется сладким, благовонным". Да, его не сладость "русского дыма" влекла, а лучшая доля Отечества.

Новый знакомый Винского продолжал служить. Пройдет совсем немного времени, и Арсеньев примет участие в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, опять же в боях под началом генерал-фельдмаршала и дипломата Н. В. Репнина, всегда его отличавшего. Потом он перейдет на гражданскую службу: будет директором училищ Курской губернии (1798), товарищем министра уделов (1803), председателем Рижской ревизионной комиссии (1803-1806), особо уполномоченным для ревизии 1806 года Владимирской и Тамбовской губерний ("где открыл миллионные хищения"), присутствующим в департаменте уделов (1810). Дослужится до чина тайного советника.

А пока он в Уфе, и с ним рядом - Винский. "Сей благородный человек" навсегда остался в памяти будущего писателя как истинный "благодетель ближнего". Много доброго, полезного оставили в Григории Степановиче их беседы.

Круг его приятелей был обширным. Это даже если судить по тем фамилиям, которые в "Моем времени" названы.

Рейна Винский благодарил за частное: "за сотовариществование мне, или лучше, за возобновление во мне любви к стрельбе".

Звали его Карлом; в переписке он значился "бывшим кадетом". (Переписка, отысканная в Оренбургском архиве, судьбы этого человека касается непосредственно.) Именно в бытность кадетом, служа в гусарском полку, оказался Рейн участником какой-то "картежной свары". Его противник в гневе обнажил саблю и бросился на своего недавнего партнера, тот ответил тем же, и - была нанесена рана, оказавшаяся смертельной.

Вот так, в 1777 или 1778 годах, лишенный дворянства и чина, он оказался в Оренбургской губернии. Незадолго до Григория Винского...

Ходатайств об облегчении участи за годы его ссылки накопилось много. Одно из них датировано, например, 1804 годом. Рейн писал, что он уже двадцать седьмой год живет в отдаленном крае, прежде имел пропитание от трудов своих, а теперь "по болезням и старости" лишился "всякого к содержанию себя средства". Просил об одном: позволении переселиться в Екатеринбург, куда приглашали его некоторые там живущие знакомые, "от коих надеется он иметь пропитание, обучая их детей". Было ему тогда "лет с лишним пятьдесят". Дозволения, однако, не последовало. Посоветовали обращаться "в установленном порядке".

Уфа соединила людей молодых, едва перешагнувших за тридцать. Винский и Рейн были ровесниками. И притом с одной, близкой судьбой.

"Гагемейстер не долго для меня жил, но много мне добра желал..." ...Остров Гагемейстера... Пролив Гагемейстера... Это где-то в районе Аляски. Не в его ли честь? Хотя мало ли на свете однофамильцев?

"Тот самый Гагемейстер", имя которого увековечено географическими картами, оказался не однофамильцем - сыном. Сыном человека, знакомого мне по "Запискам", а Винскому - по Уфе. Известный русский мореплаватель, капитан первого ранга, совершивший в 1806-1807 гг. на шлюпе "Нева" плавание из Кронштадта через Атлантический, Индийский и Тихий океаны в Русскую Америку, а в дальнейшем еще и два кругосветных плавания - на корабле "Кутузов" и шлюпе "Кроткий", был сыном Андриана Андриановича Гагемейстера - директора народного училища и советника наместнического правления в Уфе, надворного советника. Сына его, родившегося в 1780 году, Винский мог знать, даже нянчить, отца же, как человека отзывчивого, благожелательного, помнил и много лет спустя, когда того уже в живых не было. Доброе не забывается.

"Почтенный, искусный, человеколюбивый врач Занден..." Таким вошел этот человек не только в "Записки" Винского, но и в "Семейную хронику" С. Т. Аксакова.



Федор Иванович Занден был доктором Оренбургского корпуса на протяжении многих лет. Как врач он пользовался полным доверием и непререкаемым авторитетом. Правитель Олонецкой губернии статский советник А. И. Чириков в благодарность за излечение подарил врачу землю в Стерлитамакской округе. Но лавры помещика его, Зандена, не прельщали, и "подарок" /он вскоре "уступил" тем, кто стремился к умножению своей собственности. Сам же продолжил лечить страждущих и искать разгадки медицинских тайн. Это к нему приезжал из Челябины штаб-лекарь Андреевский; это благодаря Зандену состоялось их, Андреевского и Винского, знакомство, перешедшее в дружбу; это он, Занден, "врач и друг", принял последний вздох Лорхин.

Годы спустя Занден служил вместе с Андреевским в Медицинской коллегии, далеко продвинулся по лестнице чинов и званий; Винский об этом знал, но помнил уфимца... уфимцем. "Не забуду никогда..."

Кеслер... У Винского: "весельчак". У Винского же: "любезность... нрава и трогательные тоны фортепиано". Если и могу что-то добавить, так только то, что в Уфе он учительствовал. Местом его службы было народное училище - то, директором которого являлся Гагемейстер.

"Благодарение и тебе, любезный добрый Миллер! Твоя дружеская улыбка..." Богдан Миллер в 178/ году открыл первую в Уфе аптеку. Однако речь не об улыбке "профессиональной". Нет, совсем иной, которая, как писал Винский, "никогда для меня не менялась". Два десятка лет продолжалось их приятельствование. Его не омрачило ничего.

Но ведь в "Моем времени" галерею друзей и приятелей автора открывает - и возглавляет - Петр Иванович Чичагов!.. О, могу ли я о нем не помнить? Единомышленнике, друге, человеке широких знаний и талантов? Тем, с кем целых двадцать лет были они душа в душу?

Только о Чичагове рассказано раньше - заинтересовался им уже на первом шагу своих поисков. Будет случай сказать о нем и дальше.

Подполковник Мансуров, ранее уже упомянутый, к тем "добрым и умным людям", за которых благодарил судьбу Винский, не принадлежал. Но на какое-то время в жизнь его вошел и он. А значит, быть ему и на этих страницах.

Булгаковы состояли в родстве с Тимашевыми. Мансуровы не уступали последним ни в богатстве, ни в знатности. Один из Мансуровых - Александр Павлович, тот самый подполковник - овдовел. Прасковья Михайловна, урожденная Тимашева, вознамерилась сделать вдовца своим зятем. Требовалось привадить его к дому Булгаковых. Привадить, во-первых, картами, привадить, во-вторых, беседой.

К тому и другому привлекли Винского, связей с Булгаковыми не терявшего. Недели две почти каждый вечер сражались они в пикет и одновременно "собеседовали".

Мансурова удалось расшевелить, временами он становился просто веселым. В веселый такой час и возникло у него предложение стать его товарищем в Челябине: "Ты игрок, стрелок, весельчак; для ипохондрика не надобно лучшего..."

Убеждал, сулил, настаивал. А тут еще приглашение Андреевского - с перспективой избавления от мучившей его болезни. И рьяная поддержка идеи хозяйкой дома, Булгаковой, жаждавшей иметь Винского своим "поверенным" в заманчивом для нее сватовстве.

...Убедили. Поехали.

"Три месяца, с ним вместе проведенные, были мне полезнее десятилетнего учения..." Но нет, это не о Мансурове - в связи с Челябиной он даже не упоминается. Это, конечно, об Андреевском, излечившем Винского "телесно и душевно".

А чем закончилась дружба с родовитым подполковником? Полным (и взаимным) охлаждением.

По возвращении в Уфу, в конце мая, Мансуров сделал Анне Булгаковой официальное предложение; оно было принято. Вполне счастливый "жених" раскрывал перед Винским

радужные перспективы, но ... вмешалась будущая теща и уговор расстроила. Заготовленный контракт, по которому Григорий Степанович становился управляющим мансуровским имением, подписан не был. Несостоявшийся "управитель" оказался на пороге "самой крайности".

Еще и еще раз убеждался он в том, как мало благородства заключалось в известных ему "благородных" семьях.

Приведу выдержку из документа, который я нашел и переписал в одном из дел Оренбургского архива того периода:

"Уфимского наместничества во учрежденное для составления Дворянской родословной книги собрание Оренбургского мушкетерского второго полевого батальона подполковника Александра Павлова сына Мансурова объявление:

При сем представлению диплом за собственноручным Ея Императорского Величества подписанием, данный на дворянское достоинство отцу моему господину генерал-поручику, сенатору и орденов военного святого Георгия 4-го класса и святыя Анны кавалеру Павлу Дмитриевичу - копию, засвидетельствованную Правительствующего Сената в герольдмейстерской конторе, для внесения в родословную книгу..."

В деле и формулярный список "о службе и достоинстве".

Ко времени, описанному Винским, Александру Павловичу было близко к сорока. Происходил он из оренбургских дворян; в сельце Спасском Оренбургской округи ему принадлежала 261 "мужская душа". Военную службу Мансуров начал в 1768-м. В подполковники его произвели в начале 1789-го; вероятнее всего, уже в бытность их в Челябине. Значился он тогда и вдовым, и бездетным.

Бурная его карьера была впереди. Прослужив достаточно долго во 2-м Оренбургском полевом батальоне все в том же чине подполковника, он отличился много позже, в Итальянском походе А. В. Суворова - как писал С. Т. Аксаков, "прославился с Суворовым на Альпийских горах, при переправе через Чертов мост". Тогда он стал и генерал-майором, и кавалером ордена св. Анны 1-й степени. По окончании войны Мансуров получил в командование полк, стоявший в Уфе. В отставку он ушел генерал-лейтенантом. К тому времени у него и Анны Николаевны, урожденной Булгаковой, было три сына (старший, Николай, впоследствии тоже стал генералом).

Свои "Записки" Винский писал тогда, когда А. П. Мансурова не было в живых (умер он в 1810-м). Жизнь этого человека автор знал до самого ее конца, но обиду на него (и Булгаковых) сохранил.

"Обманутый так бессовестно... безжалостно..."

Снова помог Петр Иванович Чичагов - хвала ему за это и честь. Он-то и договорился: Винских примут Рычковы, переселившиеся уже в свое Спасское. Не то, "мансуровское", а их собственное, под Бугульмой.

Прокомментирую первые же строки "Моего времени", касающиеся нового для автора места жительства.

"Подъезжая к селу Спасскому, месту пребывания семейства Рычковых, каменная церковь и дом, пространный с аллеями сад метнулись издали в глаза..."

У церкви был похоронен тот, о ком Н. И. Новиков писал: "Муж великого разума, искусства и знания, сей трудолюбивый и рачительный муж полезными своими трудами заслужил вечную себе похвалу".

Петр Иванович Рычков (1712-1777) являлся выдающимся исследователем своего времени. Историк, этнограф, археолог, экономист, естествоиспытатель - многогранными оказались его интересы, широчайшими исследования, отмеченные еще в конце пятидесятых годов избранием Рычкова членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.

Спасское было его имением. Оно зародилось в пятнадцати километрах от Бугульминской слободы в 1748 году, но развиваться в полную силу стало тогда, когда Петр

Иванович, не вынеся бесконечных тяжб с чиновниками царя и сославшись на болезнь, переехал сюда (в 1760-м) на постоянное жительство.

Сразу по переезде он деятельно взялся за разведку руд и поиск места для постройки медеплавильного завода, строительство мельницы и винокуренного завода, организацию пасеки и проведение систематических наблюдений за жизнью пчел в застекленных ульях, поиски каменного угля по всей округе и т. д. Писал статьи ("О содержании пчел", "О горячей угольной земле" и др.), вел обширную переписку с Академией наук, принимал ученых гостей, среди которых были Паллас, Лепехин, Ловиц, Эйлер, Крашенинников и другие выдающиеся исследователи.

В Спасском Рычков много думал над жизнью крепостных. В своем "Наказе для управителя и помещика" он рекомендовал возложить на помещиков заботу о здоровье крестьян, поощрять сельских жителей к разведению фруктовых садов и овощных культур, обрушивался на тех владельцев имений, которые отвлекали мужиков от земледельческого труда для обслуживания своих "излишних" потребностей. Озабоченный неграмотностью татар, башкир, казахов, калмыков, Петр Иванович пытался упростить алфавит татарского языка.

Все это было в Спасском и продолжалось до самой смерти неутомимого ученого в 1777 году.

"...Каменная церковь..." Отчего возвращаюсь я к ней снова?

"На могиле Рычкова нет надписи, но в той же церкви погребен сын его Андрей Петрович Рычков, бывший симбирский комендант, убитый в Пугачевский бунт, в 1774 году", - писал Р. Игнатьев в "Оренбургском листке" (1877, № 5). И он же далее свидетельствовал: Петр Иванович собственноручно сделал надмогильную надпись, выражавшую его отцовское горе. "Цвет и надежда своего роду" - так отзывался ученый-подвижник о старшем сыне.

Подверглась разорению - в 1773-м - и сама эта церковь, восстановленная уже после поражения Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева.

Следы этой войны, совсем еще недавней, Винский воочию видел в Спасском, как ранее в других селах и городах губернии, а до того - в Оренбурге, да и на пути к месту бессрочной своей ссылки тоже. На страницах же "Моего времени" о Пугачеве и пугачевщине ни слова. Почему? Объясняю одним: писать об этом вскользь, мимоходом автор не желал, в ритм и ткань написанной части "Записок" эта тема не вплелась и - осталась отложенной. До следующей? Той, на которую не хватило сил?

"...Каменная церковь..." И опять о ней же. Не могу сказать, была ли там могила Николая Васильевича Толстого, начальника Казанского конного легиона, убитого в сражении 1774 года повстанцами Емельяна Пугачева, но служба за упокой души "убиенного" правилась тут наверняка. Вдова его, Мария Петровна, жила в Спасском. Приходилась она Петру Ивановичу Рычкову дочерью, как и сын ее - один из учеников Винского - внуком. После гибели Толстого их приветила Елена Денисовна - "вдова родоначальника всея сея семьи".

В семью эту мы входим не постепенно, как новый учитель, а сразу. И входим не в историю ее, не в заботы общественные, но в быт помещичьей усадьбы - не очень-то богатой, однако со своим установившимся укладом.

Елена Денисовна Рычкова на протяжении многих лет была верной помощницей и единомышленницей своего мужа. В 1770 году Вольное экономическое общество присудило ей золотую медаль за содействие Академии наук своими практическими изысканиями. Она стала одной из зачинательниц поныне процветающего искусства вязания оренбургских пуховых платков.

Автору "Моего времени" знакомство и общение со "старой барыней" было приятно, писал он о ней в тоне уважительном и... сочувственном: после кончины супруга старая женщина превратилась в завязтую картежницу. Карты любил и Винский, но в "страсть" они для него не превратились, пользоваться "чужими слабостями" не позволяла совесть. "Составляя

ежедневную партию" Елене Денисовне и Марии Петровне, их компаньон видел перед собою не только и не столько карты, сколько характеры - индивидуальные и типические одновременно.

Потом он набросает такой портрет: "Старуха была из богатого симбирского дворянского дома; обхождения весьма приветливого, хлебосолка и обязательная к чужим, но к своим крайне жестока, скупа и своенравна".

Изображение внешнего облика, конечно, важно. Но не менее, думается, важна объективная характеристика свойств внутренних.

Рычковых оказалось много, и я в них, честно говоря, запутался. Обрадовался, когда узнал о существовании книги некоего К. И. Рычкова "Родословная потомков П. И. Рычкова", выпущенной в 1908 году оренбургской типографией Мазина. Но нигде в Оренбурге ее не оказалось, найти удалось лишь в Москве, а найдя, - довольно-таки разочароваться: внук ученого исследователем не был, учел он не все и даже немногое. И все-таки на двадцати четырех страницах брошюры полезные для меня сведения нашлись.

Во-первых, о том, что Мария Петровна являлась дочерью Рычкова от первого его брака. Во втором браке старшими были Василий (знакомый Винскому еще по Уфе) и Иван.

Василий жил неподалеку - в селе Богоявленном. Иван владел Спасским. Это о нем у Винского сказано: "Хозяин был около 50 лет, физиономии самой непривлекательной: кос, слюняй и до крайности неопрятен. Нравственно он был того рода чудака, которых учат, будто нарочно, чтобы яснее обнаружить их глупость; заставляют служить, дают места, дабы показать их ничтожество; но не злой и иногда даже добрый". Как раз в это время - с 1788-го по 1795-й - Иван Петрович исполнял должность бугульминского и бугурусланского предводителя дворянства. Так вот на каком поприще проявлялась, по мнению Винского, его, спасского помещика, несостоятельность! Да и не его одного: "дают места, дабы показать их ничтожество..."

Сына Ивана Петровича, Александра, он не упомянул ни разу. Впрочем, об учениках своих не распространялся и в других случаях - если и писал, то вскользь. Бахвальство учительскими успехами ему претило. Но нам результаты учения и воспитания знать хочется. Так как не взять на заметку строки из книжечки о потомках П. И. Рычкова: "Сын его (Ивана Петровича. - Л. Б.) Александр Иванович Рычков потомство не имел и завещал 3000 десятин своим крестьянам села Спасского, освободив их при том от крепостной зависимости". Учителем Александра Винский стал на девятом или десятом году его жизни. Воздействие наставника в этом возрасте особенно благотворно. Семена, посеянные Григорием Степановичем, давали всходы и при нем, и без него уже. "Александр Иванов сын Рычков" в 1797 году вступил в службу, получил чины подпрапорщика и прапорщика, довольно скоро, в 1799-м, ушел в отставку подпоручиком, был потом дворянским заседателем и, по всему судя, преподавание ему не забывал.

Конечно, ожидать такого поступка от каждого ученика не приходилось. Да и проследить трудно, какие семена проросли, а какие заглохли. Скажем, в сыне Марии Петровны - юном, а потом зрелом Толстом. В Николае, сыне Василия Петровича. Но если даже просто прибавилось в них доброты, уменьшилось "запальчивости и тщеславия", если отпрыски рода становились и грамотнее, и культурнее - была в том его, учителя, заслуга перед обществом. Правда, слишком большого влияния Винского опасались. Так и пишет - совершенно определенно: "...за учением не сильно гнались; нравственностью, дабы я не поселил в детях чего-нибудь несообразного с правилами нового их дворянства, занимались сами родители..."

А все-таки "поселял". И - поселил!

Однако, думается, именно оттого, что полной свободы учить и наставлять у Рычковых ему не давали, а потому и жажда настоящего, полноценного учительствования здесь, в Спасском, не утолялась, решился Винский на новую перемену службы и с нею - уклада жизни.

"Мы тут жили удовольствием..." Тут - это в Спасском. Мы - это уже и маленькая Кира. Но вот приехал в Уфу, и властно потянуло к своим прежним ученикам - детям Левашова. Потянуло настолько, что постарался забыть и о странностях невежды хозяина, и о прежних своих обидах на него.

Пятеро детей ("две дочери, два сына и племянник"), составляя его "пансион", тешили душу способностями, прилежанием, что и поселило в нем "неимоверную ревность споспешествовать их успехам". Успехи пришли, особенно к Наталье, которая, по словам ее учителя, "через два года понимала столько французский язык, что труднейших авторов, каковы: Гельвеции, Мерсье, Руссо, Мабли, переводила без словаря; писала письма со всею исправностию правописания; историю древнюю и новую, географию и мифологию знала также достаточно".

Речь идет о Наталье Сергеевне, по мужу Деларю; француз по происхождению, он был коллежским ассессором и русским дворянином. Ученица Винского родилась в 1778 году - указанные в "Записках" пятнадцать лет исполнились только ко времени их расставания. Тем более убедительно утверждение о том, что совсем юная девушка "одарена была отличною способностью".

Как могла использовать свои знания женщина того времени? "Понимала... знала..." Для чего? Для собственного удовольствия? Для умной беседы в избранном кругу?

Она - женщина. И первый вопрос: кем, какими стали ее дети? Деларю звали Даниилом Андреевичем. Поищем других Деларю с соответствующим отчеством. О, есть! Сразу в нескольких книгах уже моей домашней библиотеки!

Правда, все больше об одном Деларю: Михаиле... Даниловиче. Родился в 1811-м, умер в 1868-м. Даты его жизни предположению не противоречат. Кстати, в ревизских сказках 1811 (!) года Наталья Сергеевна значится владелицей 14 крестьянских душ мужского пола в сельце Новая слободка Уфимского уезда.

Но более всех других совпадений воодушевило меня то, что Михаил Деларю был поэтом!

Потом я мысленно, про себя, назову его духовным, литературным внуком Винского, стану думать о нем именно так и никак иначе. Но коль скоро считаю внуком - обретаю полное, притом законное, право на специальное о нем отступление. Ради того отступление, чтобы во "внуке" разглядеть... "деда".

Итак, Деларю - поэт. В библиографическом описании "Библиотеки русской поэзии И. Н. Розанова" (М., 1975) значатся две его книги: "Превращение Дафны. Сельская поэма. Соч. М. Деларю" и "Опыты в стихах Михаила Деларю" - обе изданы в Санкт-Петербурге, одна в 1829-м, вторая - в 1835-м, выходит, совсем молодым (первая и вовсе юным) стихотворцем. Он же среди авторов почти двух десятков поэтических альманахов и сборников, представленных в непревзойденном розановском собрании. И прижизненных, и антологических. Таким, например: "Русские поэты за 100 лет (с пушкинской эпохи до наших дней) в портретах, биографиях и образцах". Сборник лучших лирических произведений русской поэзии, составленный А. Н. Сальниковым, вышел в 1901 году. Или сборниках "Русские поэты в биографиях и образцах" Н. В. Гербеля, вышедших несколько ранее, в 70- 80-х годах XIX века.

Еще одна неповторимая библиотека нашего замечательного современника - Н. П. Смирнова-Сокольского. "Моя библиотека. Библиографическое описание"... Два прекрасных тома выпущены тем же издательством "Книга", только несколькими годами ранее - в 1969-м. Тут, в первом томе, описаны экземпляры трех книг Деларю; кроме названных - "Сон и смерть" 1831 года. Многие, очень многие дают уже самые короткие, лаконичные аннотации.

"Превращение Дафны"... Вольная обработка одного из "Превращений" Овидия. Состоит из двух песен. Первая посвящена Д. А. и Н. С. Деларю...

Даниилу Андреевичу и Наталье Сергеевне! Восемнадцатилетний (или даже не достигший восемнадцати лет) автор посвящает свой первый поэтический труд родителям, это воспринимается не только как сыновья почтительность - нет, в посвящении звучит нечто большее: благодарность за подготовку к творчеству.

Ну, а вторая "песня"? Есть ли посвящение здесь? Есть. Антону Антоновичу Дельвигу, поэту и другу! Нам известному по дружбе его с Пушкиным!

К Дельвигу, к Пушкину мы вернемся. Что скажут экземпляры другие? О, говорят и они. "Сон и смерть" - это, оказывается, отдельный оттиск из альманаха "Северные цветы", напечатанный в двухстах экземплярах в пользу "бедной дворянки, вдовы А. Б. Г-ой". В основе издания - отзывчивость души человеческой, благородное желание помочь в нужде, в горе... На "Опытах

в стихах" - опять же посвящение Дельвигу и его, Деларю, собственноручное: вклеенный в конце лист с автографом стихотворения "Красавице":

Когда б я был царем всему земному миру,  
Волшебница! тогда б поверг я пред тобой  
Все, все, что власть дает народному кумиру:  
Державу, скипетр, трон, корону и порфиру.  
За взор, за взгляд единый твой!  
И если б богом был - селеньями святыми  
Клянусь - я отдал бы прохладу райских струй  
И сонмы ангелов с их песнями живыми,  
Гармонию миров и власть мою над ними  
За твой единый поцелуй!

Дельвиг, предсказавший некогда великое будущее своему ближайшему товарищу-лицеисту Пушкину, ценил и привечал Михаила Деларю. Как возникла их дружба, не знаю: разница в годах была велика - чуть ли не в двадцать лет. (Антон Антонович родился в 1798-м). Но общение поэта-барона с лицеистом пятого курса (1823-1829) оказалось и долгим, и тесным; оно продолжалось тогда, когда Деларю стал чиновником министерства внутренних дел, а позже военного министерства, когда к нему самому пришла слава литератора - переводчика и поэта.

Пушкин читал его стихи еще во время своего посещения Царскосельского лицея (1828). Начинающего поэта он "ободрил", но высказался о нем достаточно критически: "Деларю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста". Слушать стихотворца приходилось ему не раз - прежде всего, у Дельвига, с которым тот сотрудничал и в "Литературной газете", и в "Северных цветах". Когда после смерти Дельвига Пушкин задумал издание альманаха в пользу семьи умершего, в лице Деларю нашел он самого деятельного помощника.

В мае 1834 года Михаил Данилович помог ему и в важном личном деле: утаил от Бенкендорфа письмо поэта к жене, оказавшееся в III Отделении стараниями А. Я. Булгакова; принял он участие и в пушкинском "контрманевре", направленном на дискредитацию упомянутого московского почтового директора.

Шумная история возникла вокруг публикации Деларю того самого перевода произведения Виктора Гюго "Красавице". Митрополит Серафим затеял в конце 1834-го дело против переводчика, обвинив его в том, что им, мол, проявлено "неуважение к престолу". За такое "кошунство" Деларю изгнали из военного министерства, а цензора А. В. Никитенко отправили на гауптвахту. Запись об этом, весьма сочувственная в отношении пострадавших, есть в пушкинском дневнике:

"Цензор Никитенко на обахте под арестом и вот по какому случаю. Деларю напечатал в "Библиотеке для чтения" Смирдина перевод оды В. Гюго, в которой находится следующая глубокая мысль: Если-де я был бы Богом, то я бы отдал свой рай и своих ангелов за поцелуй

Милены и Хлои. Митрополит (которому даются читать наши бредни) жаловался государю, прося защиты православия от нападений Деларю и Смирдина. - Отселе буря. И. А. Крылов сказал очень хорошо:

Мой друг! когда бы был ты Бог,  
То глупости такой сказать бы ты не мог..."

О многом и важном говорят строки из письма Деларю к своим братьям, написанного под непосредственным впечатлением смерти великого поэта: "Если бы мне и не сказали, что его убил иностранец, то я бы угадал это: у русского не поднялась бы рука на славу своего отечества".

Самого его смерть настигла за переводом "Георгик" Вергилия. До этого он перевел и многое с древних языков, и "Слово о полку Игореве" (стихотворное переложение бессмертного шедевра было опубликовано под заглавием "Песнь об ополчении Игоря, сына Святослава, внука Олега")...

О внуках Григория Степановича, о прямых его потомках ничего толком мне неизвестно. Но разве не передается по наследству то высокое и доброе, что вкладывает Учитель в Ученика своего?

В доме Левашовых был у него целый "пансион". Учились, кроме Натальи, братья Николай и Алексей, сестра Елизавета, а еще племянник хозяина - сын его сестры Марии Яковлевны.

Всем им Винский воздал должное: "Довольно изрядно учились..." Все они почерпнули от наставника своего немало полезного.

Братья пошли по военной части. Николай Сергеевич дослужился до чина гвардии капитана, после чего был уфимским уездным предводителем дворянства, занимался имением в Стерлитамакском уезде, растил большую семью. Среди его детей поэтов и ученых, кажется, не было. Но, к примеру, Александр Николаевич учился в Московском благородном университетском пансионе, с пользой служил на чиновничьем поприще, тяготел к делу просвещения и долгие годы являлся почетным смотрителем Бирского уездного училища. Упомянутая Елизавета Сергеевна по знаниям своим и развитию стала "своим человеком" в доме уфимских дворян Пекарских (из этой семьи вышел будущий академик Петр Петрович - историк, литературовед, собиратель реликвий). Семейная ее жизнь с П. Н. Пекарским не удалась, но... факт остается фактом.

При первой же возможности я постараюсь заглянуть в бумаги, оставшиеся от братьев Деларю - Михаила и Николая; их фонды в РГАЛИ (1062-й) и библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (242-й) невелики, однако и среди немногочисленного (в одном случае - 7 единицы хранения, в другом - два картона) может обнаружиться полезное и для более широкой характеристики результатов деятельности Винского. Пусть косвенных, но результатов.

В домах у Левашовых - городском и сельском - узнавал Винский о событиях, бушевавших в Европе. "Сие время во Франции можно было почесть брожением умов..." - отмечал он раньше. Теперь там была Революция. Штурм Бастилии. Казнь Людовика XVI... Декларация прав человека и гражданина... Провозглашение республики и противоборство сил вокруг нее...

Каждое слово о Франции ловилось жадно, воспринималось с надеждой.

В Левашовке родилась Катя. Из дома Левашовых увез он в Уфу Лорхин. Увез, не подозревая, что Элеонора Карловна на пороге смерти и видеться им больше не суждено.

Горе вдовства, горе сиротства... Растерялся, закручинился. Что будет с детьми? Старшей пятый, младшей третий - и уже без матери, с отцом, у которого нет постоянного пристанища. В чем он, выход?

Бросился на поклон к сестре. Просил: будь сиротам матерью. Убеждал: станет посылать все, что заработает. В ответ не пришло ни слова.

Нет, расставаться с малышками тотчас Винский не собирался. Думал о будущем их, о том, как жить станут, когда вырастут в пятнадцатилетних барышень. Мало ли что может за эти годы случиться с ним самим...

Потому-то до слез растрогало участие, высказанное Наташей и Лизой Левашовыми. С согласия Сергея Яковлевича они предложили повергнутому в печаль учителю взять дочерей его "к себе для воспитания", а со временем, по возможности, на свой счет и "пристроить". Было это перспективой реальной: Наталья и Елизавета в недалеком будущем становились владелицами "ста душ лучших крестьян" каждая. Значит, не останутся их с Лорхин девочки бесприданницами, не постигнут их нужда и одиночество. Одиночество... Нет его горше!

"Из благодарности за таковую милость, почитая ее несомненно последний год моего житья в сем доме, я могу сказать, что точно не жалел самого себя, стараясь всеми силами удовлетворять детскую горячность к учению. Нередко по двенадцать часов в сутки..."

Но мысль его понятна. А до конца лучше процитирую "духовного внука" - Михаила, сына Натальи:

С младенчества душой свободной  
Я льстивых песен не слагал,  
И идолам молвы народной  
Даров Камен не предлагал:  
Служил лишь божеству; и ныне  
Несу тебе мои мечты,  
Как вдохновительной богине  
Ума, любви и красоты.

Стихотворение называется: "К... При посылке тетради стихов". Напечатано оно в "Северных цветах" в 1832 году и соседствует здесь с первопечатными пушкинскими "Бесами" ("Мчатся тучи, вьются тучи...").

..."Пансион" закрывался. Сыновья и племянник Левашова отправлялись в Санкт-Петербург на службу. Дочерей ждала в Казани их мать: подошло время вывозить Наталью и Елизавету в свет.

Кира и Катя до поры до времени оставались с отцом и должны были ехать в деревню Ф. Я. Шишкова - того, который, собственно, и убедил его стать на стезю учительскую.

С тех пор прошло десять лет. От начала ссылки - тринадцать.

...Левашовку они оставляли в начале зимы 1793-го.

## Глава VI. "ВЕСНОЮ ПЕРЕСЕЛИЛСЯ К г. ШИШКОВУ"

Итак, это было весной 1794-го...

В публикациях Бартенева и Щеголева последнее предложение заканчивается многоточием: "...переселился к г. Шишкову..." Незаконченность действия? Обрыв мысли? Временность события?

В списках многоточия нет. Есть точка. Вполне твердая: "- к г. Шишкову". Это уже нечто этапное. Такое, что надолго. За чем - если быть продолжению - последует не очередная глава, а новая часть.

Весной 1794 года ему шел сорок второй от рождения. И пятнадцатый от ареста. И четырнадцатый в крае ссылки - по-прежнему без надежд на освобождение.

За десять лет до того не кто иной, а Шишков Федор Яковлевич стал инициатором переселения Винских в Уфу. Они, напомним, сошлись как сослуживцы по Измайловскому полку.

Теперь, когда бывший "измайловец" снова оказался перед выбором, тот же Шишков протянул ему руку опять. Только в этот раз, чтобы привести к себе, в свой дом. Тогда, похоже,



его не было. Сейчас он был, и вполне устроенный. Удобный для малюток, осиротевших после кончины матери, для горюющего их отца, | для жизни "тихой", но... не пустой.

Духовная пустота страшила Винского всего больше. Страшила пуще смерти.

Но переселились... куда? Где он, этот их дом, находился? (Кто скажет, что биография может обойтись без географии?)

В поисках сведений о новом жительстве Шишковых (и местах, в которые попал Винский) я основательно "полазил" по родословным, установил связи со многими краеведами и, наконец, переворотил десятки пудовых подшивок метрических книг в Оренбургском архиве.

Не сразу, но узнать удалось: владения Федора Яковлевича Шишкова и его детей (сначала "малолетних", а затем и без такого определения) находились в Бузулукском уезде. Именовались они следующим образом:

- сельцо Зимники с деревней Шишковой. Александровка тож (дворов 57, жителей - 218 душ мужского и 262 души женского пола. 3190 десятин земли, винокуренный завод - до 40 тысяч ведер вина в год);

- пустошь Сидоровская: 832 десятины; отхожие земли - 91 и 513 десятин;

- село Богородское, Языкове тож (56 дворов; 320 душ мужских и 350 женских, 6007 десятин); поначалу оно значилось как общее владение статского советника И. Д. Апраксина и коллежского советника Ф. Я. Шишкова;

- покупная "у башкирцев" земля, на коей "состоит" выселок из села Богородское (50 дворов, 7864 десятины) - тоже собственность общая: двух названных и, кроме них, поручика А. Г. Ляхова.

Землевладельцем Шишков-отец был не из крупных, но к средним или около того причислен быть может.

Кстати, десятина по тем временам равнялась 3200 квадратных сажень (1,45 гектара). Многие понятия напрочь ушли из нашего обихода, мы смутно представляем, что за ними стоит, путаемся порой в кажущемся элементарным - вот и поясню...

"Книга, данная из Оренбургского духовного правления Оренбургской губернии Бузулукской округи села Богородского Языкова тож в Богородской церкви священнику Герасиму Стефанову для записи прихода их вновь родившихся, браками сочетавшихся и умерших обоего пола людей..."

Такие книги - уже ветхие, очень ветхие, с трудночитаемыми страницами и строками, пахнущие стариной, именно пахнущие - хранят в себе черты времени, язык времени, сказал бы даже, "аромат" Эпохи. Почему не обращаются к ним филологи и поэты? Изредка "ныряют" в необъятные тома историки - уточнить даты, имена, в общем, почерпнуть какие-нибудь факты "утилитарного" характера.

Эти, кажется, не открывал никто. По крайней мере, лет сто, даже больше. Открываю я. Чего ради? Фактов, только фактов... А есть ли они тут - те, что интересуют меня?

Рождения: "того же села у крестьянина... одного же села у крестьянина... сказанного села у крестьянина... реченного села... того же села... вышесказанного..."

Ау, век восемнадцатый! Слушаю и - слышу! Он и в такой записи: "Деревни Зимнихи помещика Федора Яковлевича Шишкова крестьянин..."

И в итогах года: "Итого в 1799 году родилось мужеска 28, женска 17, обоего пола 45 человек, браками сочеталось супружеств 11, лиц 22, померло мужеска 7, женска 4, обоего пола 11 человек".

И в таком итоге года другого: "Померло 18 особ горячечною болезнию..."

Все - одной "горячечною": и пятеро малюток до двух лет, и почти девяностолетний Павел Степанов...

"Господина помещика Александра Федоровича Шишкова..."

Стоп! Запись какого года? 1808-го... Федора Яковлевича, уже коллежского советника, не стало незадолго перед тем. Точной даты установить пока не удалось, но с уверенностью можно сказать, что произошло это до марта 1807 года. Тогда и состоялся раздел имений Шишкова-старшего между его наследниками - сыном Александром, дочерью Дарьей.

Богородское-Языково - главное среди владений семейства, давно уже ставшее полной собственностью Шишковых - досталось Александру Федоровичу. И оставалось за ним десятилетия.

Запись 1811 года: "Села Богородицкого Языкова тож господина Александра Федоровича Шишкова у крестьянина его Петра Филаретова родился сын Василий..."

Через четверть века, в 1836-м:

"Села Языкова помещика корнета Александра Федоровича Шишкова..."

Что отец, что сын были в округе своей людьми видными: первый предводительствовал бузулукским дворянством в шестом трехлетии (1796-1800), второй - в семнадцатом (1830-1832).

После неудачного сватовства к Надежде Тимофеевне Аксаковой Александр довольно долго оставался холостым. Женился он в 1818-м на Марии Булгаковой - из тех Булгаковых, в доме которых Винский некогда учительствовал и жил. Впрочем, это не помешало ему обзавестись многими детьми: Николаем, Виктором, Александром, Евграфом, Паню и Софьей. Все они были внесены в третью часть дворянской родословной книги. Добивался отставной корнет причисления к дворянству древнему...

Ни в одной из церковных записей имени Винского не оказалось. Но во второй брак он не вступал, детей, кроме Киры и Кати, не нажил, дочерей выдавал замуж не здесь, и смерть настигла его не в Бузулукской округе, даже вне пределов губернии - в Астрахани. Мог оказаться в восприемниках? Мог, если бы тянулся к церкви, к Богу. Он - не тянулся. Вспомним, что писал Хорват, один из потомков Винского: "Бога, как говорят, не признавал, равно как и души..."

Так что же просмотр книг дал (если не повторять уже сообщенного)? А вот что: местом жительства Шишковых было бузулукское село Богородское Языкове, ставшее со временем только Языковым, без всяких приложений. Сюда отправился Винский с дочерьми весной 1794 года. Тут с перерывами прожил немало лет. И здесь... конечно же, здесь... писал "Мое время"!

Но почему на первой же странице "Записок" он пометил: "Башкирия"?

Наиболее полные первоначальные справки я получил от краеведов-уфимцев Г. Ф. и З. И. Гудковых, а также от сельского учителя из оренбургской Грачевки Н. Г. Хлебникова.

Языкове - по старому, дореволюционному, административному делению - относилось к Могутовской волости Бузулукского уезда Самарской губернии; сейчас оно входит в состав Борского района Куйбышевской области и на карте ее помечено как центр сельского Совета.

Название свое село получило по фамилии первого основателя и владельца, принадлежащего к родовитому семейству Языковых, с представителями которого впоследствии свел знакомство и поддерживал дружеские связи А. С. Пушкин. После основания Оренбурга и постройки крепостей по Уралу, Сакмаре и Самарке правительство принимало меры к заселению Оренбургского края. Одной из таких мер стала раздача земель служилому дворянству.

Так образовалось в начале пятидесятых годов село Державине (родоначальником его был отец Г.Р. Державина, служивший тогда подполковником Оренбургского пехотного полка).

Так появилось неподалеку от него, всего в двадцати верстах к западу, и Языкове. Впоследствии владелец села предпочел переселиться в более привычные (и сердцу милые) места под Симбирском, а это продал Апраксиным и Шишковым, еще более его расширившим за счет покупки смежных земель у ближайших соседей - башкир.

Подчеркиваю: земель башкирских. И для возбуждения "художественных ассоциаций" напоминаю: где-то поблизости происходило то, что послужило основой известного рассказа Льва Николаевича Толстого "Много ли человеку земли нужно". Сюда Пахом за землю отправляется. Тут условию башкирского старшины удивляется: "сколько обойдешь в день, то и

твое, а цена дню тысяча рублей". Удивляется и - принимает: "да ведь это... земли много будет". "Разогрелись глаза у Пахома: земля вся ковыльная, ровная как ладонь, черная как мак, а где лощинка - так разнотравье, трава по груди". И старается, изо всех сил старается обойти-захватить побольше. "Ай, молодец! - закричал старшина. - Много земли завладел!" А у Пахома "изо рта кровь течет, и он мертвый лежит". Досталось ему всего три аршина - надел могильный...

..."Зимнихи на карте нет, - наводил по моей просьбе справки Н. Г. Хлебников, - но, как я узнал, такая деревня верстах в восьми от Державине к западу была..."

Земли Шишковых, таким образом, теснейше соприкасались с землями Державиных. Это подтверждается и теми же метрическими книгами. Приходский священник села Державине часто и крестил, и венчал, и отпевал крестьян "деревни Зимнихи помещика Шишкова".

(Название деревни, по всему судя, происходило от фамилии жены Федора Яковлевича - Прасковьи Николаевны, урожденной Зимнинской, дочери подпоручика. Это было в русле традиции: соседям, Державиным, принадлежало в округе несколько населенных пунктов - Гавриловка, названная по имени поэта, Феклинка - по имени его матери, и Екатериновка - по имени первой жены Г. Р. Державина.

Прасковья Николаевна умерла раньше своего супруга. Это явствует хотя бы из того, что Ф. Я. Шишков был официально назначен опекуном над малолетними детьми своими - сыном Александром и дочерью Дарьей.

Между помещичьими усадьбами существовала постоянная связь. По соседству, по родству, по симпатиям... Близость владений Державина, знаменитого автора "Фелицы", "Вельможи" и других произведений, была для Винского фактом немаловажным. Человек, к литературе близкий, всегда тянется к авторитетам литературным, ко всему тому, что с ними связано.

В Державине он бывал, конечно, часто. Центром его являлся храм с удивительным по своей красоте иконостасом - дар Гаврилы Романовича, тогда еще недавний.

Некий Ивлентьев спустя полвека в "Оренбургских губернских ведомостях" писал (даю в сокращении):

"Обозревая Бузулукский уезд с разных его пунктов, между прочим, посетил я и село Державино, столь известное у нас иконостасом главного алтаря местного храма Смоленской Божией матери, составляющим, можно сказать, редкое и замечательное в крае явление по своей неподражаемой живописи.

Певец Екатерины Великой, ея любимец и статс-секретарь, действительный тайный советник Гавриил Романович Державин, которому принадлежало с. Державино, прислал этот иконостас со всею церковною утварью, вместе с двумя придельными иконостасами престолов, в сооруженный им в 1878 году в с. Державине каменный трехпрестольный храм из С.-Петербурга...

...Из запрестольных икон более всего занимала меня "Божественная Дева" со сложенными на груди крестообразно руками и небесно-голубыми очами, устремленными к небесной родине. Дивный лик, на который все хотелось бы глядеть! Высокой художественной работы и образ Вседержителя. Над престолом, в балдахине, изображен "Саваоф"...

...Лучшими иконами главного алтаря храма Смоленской Богоматери, по общему приговору, почитаются местные иконы, в особенности четыре из них, а именно: "Спаситель", "Богоматерь", "Рождество" и "Воскресение". Каждая из этих икон ценится более, чем в 300 руб. сер. Чья же гениальная рука начертала эти светлые образы? На этот вопрос мы не можем отвечать удовлетворительно, а потому и пройдем молчанием. Знаем, однако ж, что иконостас писан в Академии художеств...

...Правый придел - во имя св. великомученицы Екатерины. Иконостас этого алтаря весь писан на стекле - работы Екатерины Яковлевны Державиной, первой супруги Певца. Наверху

этого иконостаса находится дощечка с следующей надписью: "В сем иконостасе все святые образа работы покойной Екатерины Яковлевны Державиной, о которой память да свершится здесь вечно..."

В той же статье Ивлентьева есть и некоторые другие подробности. Это, во-первых:

"...Церковь стоит на крутом берегу р. Катулука; здание ее построено весьма прочно и поддерживается рачительно. Храм обнесен каменной оградой, в коей покоится прах Ф. Я. Шишкова, К. П. Миллера и княгини Мустафиной, урожденной Шишковой..." (Так вот где похоронили Федора Яковлевича! Происходило то при Винском - наверное, в 1807-м. "Княгиня Мустафина" - родная его сестра, Дарья, в 1784-м четырехлетняя.)

И еще одно примечательное сообщение:

"...У нынешних владельцев бывшего державинского имения, Бузулукского уезда, у гг. Миллер имеются и живописные портреты Певца и второй его супруги Дарьи Алексеевны Державиной, присланные самим же Певцом в контору с. Державина, а у г. помещика Миллера есть и собственноручным бумага его руки, например, "наказ старосте с. Державина" на нескольких десятках листов... Певец Екатерины и сам бывал в своем бузулуцком имении, где и ныне есть старожилы, лично знавшие его и служившие ему..." (Миллеры, между прочим, владели с. Державино не как сторонние покупцы его, а по завещанию, в качестве родственников.)

Сделаю отступление; имеет оно отношение не только к этой главе, а и ко всей книге. Речь пойдет о творческой манере автора и будет содержать рассуждения об одном близком мне приеме - отнюдь не "механическом".

Все, решительно все поддается пересказу. Пересказ, изложение "экономнее" цитирования, причем документов порою и пространных, и не слишком грамотных.

Я же предпочитаю снискать упрек, но не поступиться тем, что мне (надеюсь, и другим) дорого, в чем вижу приметы очень привлекательного для меня (и многих) литературного жанра.

Мое слово - о "коллаже". Коллаж - в буквальном переводе с французского означает "наклеивание".

В изобразительном искусстве (так объясняет это понятие БСЭ) коллажем именуется технический прием, подразумевающий "наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре", а равно то, что получилось в результате, - "произведение, целиком выполненное этим приемом".

Итак, всего-навсего наклеивание? Занятие из программы детского сада? Нет, не его, не это занятие, имею в виду я, хотя, скажу без обиняков: коллажи детские мне очень милы - всегда неожиданные, по-ребячьи изобретательные, восхитительные на удивленье.

Я представляю себе коллажи Пикассо... Кончаловского... Базарелли... Ильи Глазунова...

Истинные художники, они тончайше постигли и искусно использовали все, что способно придать их замыслам, их произведениям наибольшую остроту - идейную, эмоциональную.

Остроумное сочетание разнородного материала родило листы и полотна глубокого смысла, одухотворенной выразительности. Материалы те - обрывки газет, детали фотографий, клочки обоев, лоскутки ткани... Но главное - талант художника. Главное - жажда новой образности. И правды... исторической правды... В результате - произведение: совершенно неожиданное, но ни в чем не случайное.

Изошрения кубистов, футуристов, дадаистов мне чужды. Бросаться из одной крайности в другую - в любом деле занятие не из лучших. Нет никакой необходимости противопоставлять коллажи произведениям "традиционным". Но надо видеть возможность любого приема и использовать его в полную меру.

Возможности коллажа как жанра - огромны. И не только в графике, в искусстве изобразительном. А в литературе?

Применительно к литературе этот термин, насколько мне известно, не употребляется. Вспомним, однако, хотя бы "Пушкина в жизни" - книгу, талантливо сотканную Вересаевым из воспоминаний, писем, документов, - и мы согласимся, что в словарях литературоведческих терминов понятие "коллаж" отсутствует лишь по недоразумению.

Вересаев был не первым, кто оценил его возможности. И, конечно, не последним. Произведения, которые можно с полным правом отнести к этому необычному жанру, выходят из года в год. Читатель их приметил. Читатель их оценил. Как верно сказал один из видных советских писателей, "нынешний читатель порой больше верит в документ, чем в писательский высокохудожественный вымысел". Вера в правду, стремление к правде - знамение нашего времени, и это побуждает к тому, чтобы по-хозяйски разобраться в том, "что есть что".

Итак, я уверен, что и в литературе понятие "коллаж" правомерно. Но нет и не будет таких производных от него, как "коллажирование", "коллажист". Коллаж - не рукоделие посредством клея и ножниц, а труд писательский, который всегда есть творчество.

Соседство имений сулило и еще одно удовольствие. Управляющим владениями Державина как раз в то время, когда Винский переселялся к Шишковым, становился Чичагов - человек по-особому ему близкий.

Гаврила Романович был им весьма доволен. В 1796 году он засвидетельствовал это в письме к Д. Б. Мертваго, своему доброму знакомому в Уфе (и родственнику Чичагова по жене): "Спешу вас благодарить за такого человека, которого ум и сведения уверяют меня в полной мере, что деревни мои будут иметь не расхитителя, а устроителя и попечителя как о моем, так и о их благе".

Чичагов и впрямь сделал многое. В державинских деревнях он устроил винокуренный и конный заводы, доходы стали расти, но... последовали пожары, уничтожившие многое. Прибыли опять сократились, владельца это и огорчало, и тревожило, однако менее всего винил он управляющего. Справляясь насчет получения им бриллиантовых перстней, Державин вопрошал: "Получили вы их, и довольны ли вы ими? Не приняли ли вы на сердце, что я препроводил к вам дошедшие до меня сведения о беспорядках моих сельских управителей? Но то, поверьте, милостивый государь мой, отнюдь к вам не относится..."

О Чичагове в общении его с приятелем хотелось бы, разумеется, рассказать особо, но... свидетельств на сей счет нет. Ни документальных, ни мемуарных... Мемуары касаются Чичагова и других лиц. Однако многое здесь вполне можно спроецировать на Винского.

Например, свидетельство Дмитрия Борисовича Мертваго, относящееся примерно к тем же годам: "Быв в должности советника губернского правления, требовавшей деятельности и быстроты в решении дел, в такое время, когда встречалось множество случаев необыкновенных, я действительно чувствовал, что не в состоянии был бы исполнить обязанность свою как следует, если бы Господь не дал мне друга, умного и честного, заслужившего всю мою доверенность. Его советы и одобрения не давали мне впасть в уныние, возрождали бодрость..."

То, что заключено в словах Мертваго, с полным основанием мог бы сказать применительно к себе Винский. И сказал - пусть строк для этого и отвел немного.

У Мертваго: "человек честный и умный".

У Винского: "честный и с обширными знаниями..."

У Мертваго: "советы... возрождали бодрость".

У Винского: "совершенно единомышленник", полное родство душ и сердец.

Но прежде чем вернуться к касающимся Чичагова этих лет строкам "Моего времени", содержащим в себе и намек, и откровение, заглянем ненадолго в другой источник - "Детские годы Багрова-внука" С. Т. Аксакова<sup>16</sup>.

Чичагов тут и упоминается, и "раскрывается". Упоминается сначала фамилией - только фамилией. Потом постепенно появляются и характеристики.

"...Катерина Борисовна (большая приятельница Софьи Николавны), недавно вышедшая замуж за сосланного в Уфу правительством и овдовевшего там П. И. Чичагова..." (1, 218).

"...Софья Николавна... любила Чичагова не меньше, чем свою приятельницу..." (там же).

"История и вторичная женитьба Чичагова - целый роман... П. И. Чичагов был необыкновенно умный, или, справедливее сказать, необыкновенно остроумный человек; он получил по-тогдашнему блестящее и многостороннее образование, знал несколько языков, рисовал, чертил (т. е. знал архитектуру), писал и прозой, и стихами. В поре пылкой молодости влюбился он в Москве в девушку Римско-Корсакову и для получения ее руки решился на какой-то непростительный обман, который открылся уже после брака, за что и был Чичагов сослан на жительство в Уфу. Жена его скоро умерла; он через год утешился, влюбился в Катерину Борисовну и увлек ее своей любезностью, веселостью, образованностью и умом; наружность же его была очень некрасива, влюбиться в нее было невозможно. Катерина Борисовна была девушка взрослая и с твердым характером; мать и братья не могли с ней сладить и выдали за Чичагова, который впоследствии был прощен, но не имел права выезжать из Уфимской губернии..." (1, 218-219).

"Петр Иванович Чичагов... не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства... Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем..." Чичагов "громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иванович и смеется умно". Он "над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина и в то же время подшучивал над ним; одного только Дмитриева хвалил..." И вывод: "Этот необыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружавшего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманию тогдашних писателей". (1, 514, 515).

Тут же - из более поздних времен, чем описанные:

"Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым: прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенною живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти, очень больному, прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю кем написанные, едва ли не Шатовым...

Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. "Ну, друг мой, - сказал он мне потом с живым и ясным взглядом, - ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума". Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах". (1, 515-516).

...Таким он был годы спустя, уже тяжело больным. Каким же знал его Винский в Уфе, а потом и после переселения к Шишковым!

Говорили друзья меж собою откровенно. Совершенно откровенно, ничего не утаивая. Вот тут и о "намек", да еще каком выразительном.

---

<sup>16</sup> Цитирую по "Собранию сочинений" С. Т. Аксакова в четырех томах (Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1955). Том и страницы указываются в тексте. Отдельные строки приводились в начале повествования, здесь же повторяются в интересах целостности характеристики.

"...С какую горестию воспоминаю наши беседования о происшествиях, начавшихся в наших глазах, от которых надеялись мы спасения, щастия человеческому роду; но увы! все сие, по отшествии твоём, восприяло новый вид, или лучше: древнейшие рода человеческого враги, самовластие и суеверие, переменяв только одеяние и речь, возложили снова, чрез безумных честолюбцев, оковы рабствования, еще тягчайшие прежних, на выи глупой черни".

О чем это? На "их глазах" заканчивалась эпоха ненавистной обоим Екатерины II и начиналось правление Павла I, сулившее благотворные перемены<sup>17</sup>, отмеченное поначалу освобождением Н. И. Новикова и некоторых других, послаблениями в отношении солдат, крестьян, "городской черни", а обернувшееся крахом надежд и... государственным переворотом 11 марта 1801 года. Переворотом, куда более подходящим к тому, на что надеялись Винский и Чичагов. "Век новый! Царь молодой, прекрасный..." Все предвещало "щастия человеческому роду", торжество просвещения, свободу миллионам и... привело к еще большему разочарованию. Разочарованию в людях мыслящих. "Это были люди, длительное время укреплявшие власть своей поддержкой, соучастием, но постепенно отходившие в оппозицию, в лишние людей, в революцию..." Цитирую монографию Н. Я. Эйдельмана "Грань веков" (М., 1982) - труд новаторский, оригинальный и по материалу, и по его трактовке; вся она, собственно, служит пониманию слов Винского, его воспоминаний о сути долгих и острых бесед с Чичаговым.

Винский, "Мое время": "но увы! все сие, по отшествии твоём, восприяло новый вид..." (и дальше об "оковах рабствования", что "еще тягчайшие прежних").

Декабрист Раевский В. Ф. (о происшедшем в 1812 году)<sup>18</sup>:

Тогда в душе моей свободной  
Я узы в первый раз узнал,  
И, видя скорби глас народный,  
От соучастья трепетал.

Как раз к этим годам относятся свидетельства С. Т. Аксакова о последних своих встречах с Чичаговым. "Сосчитать" не так уж трудно: в университете Казанском Аксаков учился в 1804-1807 годах; петербургским чиновником он перестал быть в 1811-м (переехал в Москву).

"Суровое время Отечественной войны 1812 года Аксаков прожил в деревенской тиши Оренбургской губернии, в одном из поместий своих родных, - написал известный биограф писателя С. И. Машинский в монографии "С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество". - Здесь же преимущественно провел он и последующие полтора десятилетия, лишь на короткое время приезжая в Петербург и Москву, чтобы не дать угаснуть своим литературно-театральным связям".

Нет, Аксаков не мог запомнить: последняя их встреча состоялась до 1811 года - "незадолго до его (Чичагова) смерти".

А за три или четыре года до того...

"1807 года Генваря 9 дня" Чичагов от лица всего дворянства Оренбургской губернии произнес речь. "В присутствии господина гражданского губернатора и собравшихся гг. губернского предводителя, уездных предводителей и депутатов дворянства" он говорил о том, что волновало всех - и собравшихся, и отсутствовавших.

"Случай настоящего собрания нашего есть воля Государя Императора и глас Отечества, призывающего нас явиться пред ним и пред целым светом достойными его сынами, верными царю подданными и деятельными подражателями доблестей предков наших..."

Процитировав монаршее обращение к дворянству, слова его призыва "достохвально" участвовать "в спасении, защите и славе

<sup>17</sup> Вспомним пушкинское: "Говорили много о Павле I-м - романтическом нашем императоре..."

<sup>18</sup> И этот пример я заимствую у автора названной книги.

И этот пример я заимствую у автора названной книги.

Отечества", Чичагов сказал, что это "слова не деспота, движущаго ужасом рабов своих, и не жаждущаго корыстолюбием и всесветным завоеванием властелина, подстрекающаго подобных себе эгоистов на грабеж и кровопролитие, поставляя ввиду их подлья корысти, - се слова отца, призывающаго чад своих, и любовь возбуждающаго в нас дух мужества и великодушия ко приношению жертвы Отечеству на поражение врага..."

"...Россы не суть рабы, управляемые ужасом, ниже наемники, движимые наградами, но суть сыны Отечества, воспламененные к нему беспредельною любовью... Мы все преданы Престолу и Отечеству усердием Пожарского, а просвещенное и ревностное гражданство стремится уподобить себя Минину. (...) Наидствуйте на нас ныне, и доблесть ваша (Пожарского и Минина. - Л. Б.) да предстоит везде очам нашим и незагладимо напечатлеется в сердцах..."

Государь посулил верноподданным отличия и почести, но не о них были мысли в час испытаний.

"...Ныне не о сем предстоит нам подвизаться и не о временном отличии имен наших помыслить надлежит, но о вечном! Едва истекает второе столетие, - и кто из нас ведает, какими знаками почестей и отличий украшен был Пожарский и какими выгодами награжден был Минин? Вся сия суть временная и временем в памяти человеческой заглаждается; но единая доблесть их и подвиги соделали имена их вечными и движут всегда и ныне души сынов Отечества. Да возгорится в нас дух их и враги наши истребятся!!!"

Вознеся хвалу Г. С. Волконскому с его "древностию породы и знаменитыми заслугами", Чичагов закончил выражением надежды на то, что "жертвоприношение наше Отечеству явится чрез вас (военного губернатора. - Л. Б.) в истинном соразмерении возможностей наших с горящими в нас усердием и верноподданническою ревностию..."

Царь в этой речи поминается часто - носила она характер официальный; Чичагов, напомним, говорил не от себя лично, но "от лица всего дворянства". Тем не менее главным, что ее, эту речь, отличало, была высокая патриотическая наполненность.

"...Положим жизнь нашу тамо, где определит пекущаяся о нас Его воля, и отразим хищника, возмущающаго монаршее миролюбие и наш покой".

И снова, снова - о Минине и Пожарском, их примере, вдохновляющем на подвиг...

Бугульминским и Белебеевским уездным предводителем дворянства П. И. Чичагов пребывал с 1806 по 1809 год. Его авторитет в губернии был высок. Авторитет не столько официальный,

сколько человеческий. Именно потому произнесение важной речи было поручено ему. Призыв Александра I о созыве земской милиции - народного ополчения - для отпора неприятелю, так горячо подхваченный и поддержанный, нашел в крае живой и действенный отклик. Дворянство Оренбургской губернии на содержание милиции добровольно выделило по подписке 109 657 рублей. Собрало оно также разные вещи: ружья, сабли, хлеб, даже пушку. В конце того же, 1807 года императорским рескриптом оренбургскому дворянству была выражена "высочайшая благодарность".

Речь Петра Ивановича Чичагова С. Г. Волконский приказал переписать и в тщательном писарском списке сохранил среди самых важных своих бумаг.

Так эта речь и попала на страницы первого тома "Архива декабриста С. Г. Волконского", вышедшего в свет в Петрограде в 1918 году. Том начинается документами и перепиской отца декабриста - Волконского Григория Семеновича, долголетнего правителя в обширнейшем тогда Оренбуржье.

"Но увь!., оковы рабствования, еще тяжчайшие прежних" остались и тяжким бременем легли "на выи глупой черни".

Вопреки всем и всяким надеждам друзей-единомышленников...



Глава получается "разбросанной" - не то что прежние, хронологически выстроенные. Да ведь в тех, предыдущих, я шел за Винским, его собственным повествованием о себе, его автобиографическими "Записками", сейчас же власть их надо мною если и не закончилась, то стала менее определяющей. Во всяком случае, в отношении последовательности действий, четкости их канвы.

Итак, с весны 1794 года он живет в имении Федора Яковлевича Шишкова. На каком положении? А все на том же - домашнего учителя. Со времени их первой встречи в Оренбурге у Шишкова-старшего появился (и стал учеником) Шишков-младший, наследник и надежда помещицкой фамилии.

Хороший ученик - учителю радость. Александр Шишков оказался учеником понятливым, пытливым. Потом, впоследствии, он отличился и на гражданской, и на военной службе. Сначала, в 1805-м, его определили в один из департаментов министерства внутренних дел, но далее, учитывая желание молодого чиновника, отпустили в родную губернию, назначив туда форштмейстером. А скоро оказался он в канцелярии князя Г. С. Волконского - всесильного губернатора. Там и служил до конца 1812 года, когда, захлестнутый волною патриотизма, вызванного Отечественной войной против полчищ Наполеона, поступил в военную службу. Вернулся уже в 1814-м, с мыслью быть полезным Оренбуржью. Долгие годы прожил он тут. В документах тридцатых годов мы видим его Бузулукским уездным предводителем дворянства. Ученик учителя в общем-то не подвел.

Что касается других подробностей службы Винского у Шишковых, то их нет. Не дошли. Не сохранились.

Но разве художественное произведение свидетельством быть не может? Повесть автобиографического характера со счетов можно сбросить?

Речь идет о повести "Наташа", начатой Сергеем Тимофеевичем Аксаковым на закате его жизни. Он умер в конце апреля 1859 года, а за новое произведение взялся менее чем за три года до кончины - летом 1856-го. Осуществить удалось только часть замысла.

Среди незавершенных трудов С. Т. Аксакова она и публикуется в его собраниях сочинений.

В издании 1886 года "Наташе" предшествовало предисловие Аксакова Ивана Сергеевича; в нем он написал: "В настоящее время нет уже более надобности скрывать, что эта повесть не вымысел и составляет один из эпизодов "Семейной хроники"... "Наташа" - та самая "сестрица Наташинька", или "Надежинька", с которою уже знакомы читатели по прежним сочинениям автора. Ее женихи: Солобуев - сын владельца богатых чугунных заводов Вятской губ. Мосолов, а Шатов - Шишков, помещик Бузулукского уезда Самарской..."

Свидетельство И. С. Аксакова подтверждается самой героиней незаконченной повести, вышедшей впоследствии замуж за Г.И. Карташевского, воспитателя Сергея Тимофеевича в Казани, а со временем профессора Казанского университета. Н.С. Карташевская оставила воспоминания, написанные по просьбе знаменитого брата; рукопись, которая, как и повесть, называется "Наташа", хранится в Пушкинском Доме и имеет подзаголовок: "Истинное происшествие (1811-1814). Действие происходит в Оренбургской и Вятской губернии".

Даты, взятые в скобки, для нас важны как временные указатели того "истинного происшествия", которое легло в основу нового аксаковского произведения, в известной мере отвечающего на вопрос, где и как жил Винский, когда принялся писать свои записки. Да-да, на вопрос о Винском отвечает Аксаков!

Вот эти страницы о "Шатове" - Шишкове: сыне Федора Яковлевича Александре Федоровиче (в повести он - "Ардалион Семенович").

"Ардалион Семеныч Шатов был весьма недюжинный молодой человек. Хотя он пробыл в губернской гимназии только один год, но считался там лучшим учеником в средних классах. Отчего взяли его так скоро - неизвестно. Зато он получил хорошее домашнее образование; у них

в доме жил учителем и теперь продолжал жить уже другом один малороссиянин, очень умный и научно образованный человек. Разумеется, ученость его была весьма односторонняя, как у всех киевских бурсаков. Каким образом судьба занесла его с юга России на северо-восток - не знаю, но, без сомнения, попал он сюда не по доброй воле. Властолюбивый бурсак еще при жизни старика Шатова сделался оракулом в доме, а по кончине его стал уже полновластным господином. Жить ему было очень привольно: кроме всяких существенных выгод и удобств (а он любил хорошо покушать и выпить стакан старого вина), он мог удовлетворить вполне своей духовной, высшей потребности, мог выписывать книг сколько угодно. Много лет прожив в бедности, он был лишен возможности следить за ходом и успехами просвещения, а потому дорого ценил умственное наслаждение, которое доставляла ему библиотека, собираемая им для молодого Шатова. Он был либерал, вольтерьянец по тогдашнему выражению; философы осьмнадцатого столетия были его единственными божествами. С полной добросовестностью наставник передал своему питомцу все свои знания, все убеждения и верования; как упрямый малоросс, он старался преимущественно развить в Ардальоне (так звал он своего воспитанника и теперь) силу воли, ошибочно или нет предполагая, что ее мало в флегматическом ребенке, - и он успел в том. Как только дорос Ардальон лет до девятнадцати, он начал проявлять силу воли, не всегда слушаясь своего наставника и даже поступая иногда умышленно ему наперекор, хотя был очень к нему привязан. Так, например: наставник, любя, одобряя и поощряя в других ружейную охоту, ненавидел псовую, не мог видеть борзой собаки; а воспитанник, будучи в то же время страстным стрелком, завел огромную псарню и наполнил дом долгорылыми псами, противными его воспитателю. Подобных доказательств воли, или, лучше сказать, претензии на силу воли, было много, но для нас довольно и одного доказательства. Малоросс сначала хотел было повернуть дело круто, вздумал было расстаться с своим Телемаком, поугаать его; но Телемак очень равнодушно принял такое намерение рассердиться и, позвав человека, приказал готовить экипаж для своего Ментора. Разлука была для обоих слишком тяжела. Пошли переговоры, соглашения, уступки, и дело кончилось тем, что Ментор остался жить у Телемака уже не в качестве наставника, а совершенно равного ему приятеля, не имеющего никакого влияния на образ его жизни. В таком положении жили они очень дружески в настоящую минуту..."

Оставив на совести автора выражения вроде "властолюбивый бурсак" и "упрямый малоросс", согласимся с тем, что портрет нарисован достаточно выразительно. Портрет не внешний, но внутренний, глубинный. Винского портрет - его черты улавливаются и дальше по мере развития образа Шатова-Шишкова, который читателем воспринимается не только сам по себе, но и как плод воспитательных усилий "очень умного и научно образованного человека". Причем "плод" столько же привлекательный, сколько и отталкивающий, а в общем - совершенно живой.

Сам Винский входит в повесть как действователь чуть далее: "Со вторым курьером Шатов, между прочим, писал, что воспитатель его, Григорий Максимович<sup>19</sup> Винский, должен проезжать через село Болдухино, и просит позволения заехать к его хозяевам, с которыми и прежде был знаком..." Винский "ехал навестить больного приятеля, прежнего товарища своей тяжелой участи", дорога проходила возле самого этого села, но хозяевам, конечно, виделась тут причина иная, связанная со сватовством.

"Под личиной правдивого грубияна это был человек тонкий, хитрый. Несмотря на ласковый прием, он сейчас заметил, что хозяйка как-то недоверчиво на него смотрит. Он сейчас взялся за откровенность и рассказал всю правду; то есть все, что ему было известно о намереньях и предложении Шатова..." Но... "речи отставного воспитателя (надо сказать, - и искренние, и убедительные. - Л. Б.) не понравились г-же Болдухиной; она поспешила высказать

---

<sup>19</sup> Отчество Аксаков мог запомнить; могло быть это и приемом литературным.

ему, что достоинства Адальона Семеныча они очень хорошо знают, а недостатков, которые находит в нем Григорий Максимыч, они не видят...". Варвара Михайловна "очень была довольна, что отбрила хитрого хохла (так она его всегда называла)", после чего гость "говорил только о посторонних предметах" и вскоре уехал.

Бракосочетание не состоялось. Не состоялась и повесть "Наташа"; она заканчивается словами о том, что "натура, личность Ардальона Семеныча была ей не по вкусу...".

Отставляя незаконченную рукопись, Сергей Тимофеевич писал Ивану Сергеевичу, своему сыну: "...Я прихожу в отчаяние от невозможности написать ее. Правды говорить нельзя, а всякая ложь расхолодит мое воображение, и все дело мне опротивит. Я ничего не могу выдумывать: к выдуманному у меня не лежит душа, я не могу принимать в нем живого участия..."

Не выдумывал Аксаков и Винского.

А нет ли каких-то дополнительных сведений у Надежды Тимофеевны Аксаковой-Карташевской? В той самой рукописи, что хранится в ИРЛИ (фонд 3, опись 11, дело 6)?

Как описано оренбургское место действия здесь? Менее конкретно, чем у С. Т. Аксакова: "В дальнем краю, в степях ненаселенных..."

Аксаковы тут - Темировы. Нет и Шишкова. К "Наташе" последовательно сватаются некий Озаревский, некий Леонов, некий Терентий Иванович.

Против фамилии Леонова - карандашная помета: "Шишков Оренб. губ.". О нем сказано: "Леонов каждый день бывал у Темировых, более и более нравился родителям, но более и более становился противен Наташе. Ей все в нем не нравилось: и флегматическая натура, и нетактичные разговоры, и его красные толстые щеки, и его безжизненные глаза, устремленные всегда на нее и ничего не говорящие, словом, ей все было в нем противно".

В конце концов наступает разрыв. Леонов оказывается вынужден возвратить ей кольцо. Он поступает юнкером в полк. Повесть продолжается, но... уже без того, кто занимает нас.

Выходит, никаких дополнительных сведений Аксакова-Карташевская не сообщает? От такого утверждения воздержусь. Много любопытных деталей. Есть и указывающие на более точное время действия. Вот это, например: после возвращения кольца Леонов "поступает юнкером в полк". А из биографии А. Ф. Шишкова явствует, что в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк он вступил юнкером в самом начале 1813-го, тотчас был произведен в корнеты и в этом качестве служил до декабря, когда последовала отставка.

Выходит, для нас "истинное происшествие" заканчивается 1812 годом. Знание этого немаловажно: в двенадцатом году Винский, стало быть, жил в имении Шишковых. Нет оснований сомневаться, что продолжал он жить там и дальше (отлучки, даже долговременные, не в счет). В Богородском-Языково дождался Григорий Степанович своего бывшего ученика со службы, был ему собеседником в долгие сельские вечера, не пытался более наставлять бывшего подопечного, но вел жизнь "совершенно равного ему приятеля". Спорил же с ним на... бумаге. К примеру, по "частному" - и вовсе не частному - вопросу об охоте.

Вернемся к страницам и строкам из повести Аксакова "Наташа" - идет там речь и об этом их, "Григория Максимыча" и "Шатова", принципиальном разногласии.

Кому не известны произведения С. Т. Аксакова "Записки об уженье", "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии", "Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах"? Тонкий наблюдатель русской природы, проникновенный ее поэт, Аксаков (1791-1859) поначалу писал эти свои повествования для узкого круга рыболовов и охотников, а известны они стали всей читающей России. Известны и - любимы!

Произведения родились из впечатлений детских лет, проведенных будущим писателем в Уфе и родовом имении Ново-Аксаково. (Среди впечатлений были и смутные воспоминания о Винском - разница в возрасте оказалась слишком большой...) Не знал Аксаков о том, что

задолго до него писал свою "Оружейную охоту" этот самый Винский, черпавший пищу для размышлений в тех же местах, где бродил с ружьем он.

Винский - год 1814-й, Аксаков - 1847-1855... У Аксакова - книги, у Винского - несколько страниц... Но какие! Настоящая Ода ружейной охоте!

В этой "Оде" он говорит прямо: "Оренбургский край, преизобилуя всех родов дичью, доставлял через сию охоту и для здоровья весьма полезное занятие, и для моего лакомства изобильное удовлетворение". Тридцать пять лет по лесам и полям, с ружьем за плечом или наперевес, в одиночку или с товарищем - опыт, дающий право не только на размышления, а и на выводы. Выводы с позиции человека свободомыслящего, демократичного, утверждающего благородство в противовес низости, превосходство социальной справедливости над несправедливостью властителей жизни.

Оружейный охотник действует сам, псовый присваивает труд других... Охотиться с ружьем может "почти каждый гражданин", с псами - "только богатые люди в своих поместьях"... Стрелок ни людям, ни полям не помеха, "псовники" не только устроители "адских концертов", а и явные враги "осенним посевам и вешним всходам", в итоге же всего - "бедным земледельцам"... Оружейная забава "не отнимает у благонамеренного охотника ни времени, ни способов заниматься другими полезнейшими делами, даже учением"; псовая приучает к праздности, отвлекает от важных занятий, делает бар и барчат "совершенными негодьями, вредными себе, пагубными их рабам, несносными даже знакомцам"... Заключает Винский доводом простейшим: "стрелок все то, что может только псовник своими собаками поймать, весьма легко получает от ружья; но псовый охотник к тому, что приобретается ружьем, и примериться не смеет". Такова эта "ода" - выношенная, прочувствованная, страстная. Таково это слово - в защиту справедливости и равенства людей, во утверждение истинной нравственности. Поистине прекрасные страницы!

Прочитав Аксакова, мы понимаем, что Винский спорил не только с некими отвлеченными поборниками "псовый охоты", а и с вполне конкретным Александром Шишковым, своим учеником, которого (как явствует не из "Моего времени", а из написанного Аксаковыми - писателем и его сестрой) мечтал видеть иным.

Сергей Тимофеевич назвал Винского Ментором - сравнил с персонажем поэмы Гомера, воспитателем, наставником Телемака. Шишкова, в свою очередь, он "окрестил" Телемаком - о сыном Одиссея.

...Почему-то вспомнилось, что в тяжелой своей неволе на Мангышлаке Шевченко написал сепию "Телемак на острове Калипсо", изобразив героя поэмы в пещере на острове нимфы Калипсо, куда он попал в поисках своего отца.

У того же Аксакова можно встретить такое: "Уфимский или Оренбургский край". Не в смысле различия мест и названий, но в плане ином: называй либо так, либо эдак - ничто от этого в основе своей не меняется.

Вот родина моя... Вот дикие пустыни!..  
Вот благодарная оратаю земля.  
Дубовые леса, и злачные долины,  
И тучной жатвою покрытые поля!  
Вот окруженные башкирцев кочевьями  
Озера светлые, бездонны глубиной,

И кони резвые, несчетны табунами

В них смотрятся с холмов, любяся собой!..

И это Аксаков. И дальше. "Жирны и тихи патриархальные первобытные обитатели и хозяева твои, кочевые башкирские племена!" - восклицал он, обращаясь к родной ему оренбургской земле.

Оренбуржье... Башкирия... Тогда еще эти понятия не были столь определенными, как в наше, нынешнее время. Определенными в плане географическом, экономическом, даже административном (территориальное деление менялось, места подчинялись то Оренбургу, то Уфе).

Григорий Винский жил в имении уфимского дворянина Шишкова, считал его продолжением уфимского дома помещика-друга, поддерживал связи как с Оренбургом, так и с Уфой; вот почему, начиная в сельском сем уединении повествование о многотрудной собственной жизни, на первом же листе вывел: "Башкирия".

Вспомним начало, заповедь "Моего времени":

"24 июня 1814. Башкирия. Все перечитавши, и несколько раз, что только нашлося своего или занятого; все передумавши, и неоднократно, что только задержалось в моей старой голове; всем наскучивши, что только могла доставлять благодатная мечта, - наконец с месяц нахожусь я в совершенном безделии, следовательно, в несносной скуке. Работать в огороде? Или бродить по окрестностям моего самопроизвольного заточения? - препятствует ежедневный жар; выезжать на охоту? - стрелять в сие время нечего; к тому, оводы одолевают коней. Чем же наполнять день, особенно чем сокращать предолгие предобеденные часы? Писать..."

Перечитал он все - и то, что было в домашней, им созданной, библиотеке, и то, что отыскивалось у соседей.

Полнейшим абсурдом звучало донесение оренбургского гражданского губернатора Гевлича, отказавшегося в 1835 (!) году от организации в Уфе общественной библиотеки по причине, сформулированной так: "Здесь вовсе еще нет людей, занимающихся чтением, ибо все живущие в Уфе дворяне и чиновники все время свое посвящают исключительно службе; прочим же сословиям потребность чтения книги вовсе еще неизвестна". И что самое удивительное: с ним согласился "сам" В. А. Перовский - властелин просвещенный, незадолго перед тем принимавший у себя в доме Пушкина, знавший и литературу, и литераторов (среди них был брат родной, писавший под псевдонимом "А. Погорельский", были племянники, создавшие впоследствии "Козьму Пруткова").

Нет, читатели в крае были, и библиотеки тоже, причем не только в городах.

Вернемся к прочитанному у Аксакова:

"...Он мог удовлетворять вполне своей духовной, высшей потребности, мог выписывать книг сколько угодно" (это о Винском в бытность его у Ф. Я. Шишкова). "...А потому дорого ценил умственное наслаждение, которое доставляла ему библиотека, собираемая им для молодого Шатова" (то бишь А. Ф. Шишкова; Винский собирал ее по прямому согласию Федора Яковлевича, жаждавшего видеть сына человеком просвещенным).

Шишковская библиотека была и значительной, и основательной. Но... каталога ее нам не восстановить - разве что отдельные его штрихи.

Помню, как ухватился я за книгу Н. П. Лихачева "Генеалогическая история одной помещицкой библиотеки" (СПб., 1913). Наверняка надеялся найти в собрании казанской ветви рода Лихачевых нечто конкретное и для этой своей работы.

Конкретного не нашел, полезное - выписал.

"Старинные книголюбцы тонут посреди библиофилов XIX столетия..."

"Отношение к книгам иногда выливалось в глубокую любовь и не только у какого-нибудь будущего поэта, литератора и министра И. И. Дмитриева, или прирожденного барчука Аксакова, но и у нищего канцеляриста, например, И. А. Второва ("...вся моя веселость в книгах и больше ничего мне не надобно").

"Сколько безвестных офицеров не только покупали, тщательно переплетали и надписывали свои книжки, но и именовали свои собрания библиотеками! И не только вельможи и офицеры, но и другие сословия имели и хранили книги. Архиереи, священники и дьяконы,

купцы, мещанство, крестьяне, даже, в редких случаях, дворовые люди оставили записи на книжках..."

Записей, указывающих на принадлежность книг к библиотеке Шишковых, мне не встретилось.

Но именно ее, им созданную библиотеку, ощущаю, чувствую я с первых страниц "Моего времени". Уже с самого его названия.

"Заглавие... принадлежит венценосному сочинителю..." Речь тут о труде Фридриха II Великого, прусского короля и полководца (1712-1786).

"Histoire de mon temps" - "История моего времени"...

Относительное созвучие заголовков он использует для того только, чтобы уже во "Введении" высказать первостепенной важности мысль: "Порфирородный жил, имел свое время; я живу, имею мое; и так каждому свое".

Читаешь и понимаешь: противопоставляет он себя венценосным и порфирородным не только среди иноземцев... Между прочим, Фридрих II вел политику усиления крепостничества, увеличения налогов, ужесточения абсолютизма, и это тоже существенно для понимания слов Винского: "каждому свое". Монархам - свое, людям свободомыслящим, простым и честным - свое!

"...Не поставляя себе образцами ни Ксенофонов, ни Титов Ливиею, ни Волтеров, ниже К..."

Древнегреческий историк и политический деятель Ксенофонт (около 430-355 и 354 до н. э.) был автором "Греческой истории" - продолжения труда Фукидида. Ученик Сократа и софистов, он преклонялся перед аристократическими порядками Спарты.

Тит Ливий (59 до н. э. - 17 н. э.) - историк древнеримский, автор "Римской истории от основания города", консерватор по политическим взглядам, компилятор по методам работы.

Вольтер (1694-1778) - один из крупнейших деятелей французского буржуазного Просвещения XVIII века, выдающийся поэт, драматург, философ, автор трудов, в которых обращался и к историческому опыту России ("История России при Петре Великом" и др.). Исторические события Вольтер рассматривал как проявление случайности, произвола или даже невежества.

И наконец, "К...". Николай Михайлович Карамзин (1766- 1826) тогда уже проявил себя как талантливый писатель и историк, автор еще не дописанной, но уже ставшей фактом национальной жизни "Истории государства Российского".

Винский их читал, но подражать не собирался: "я буду писать, как умею". И утверждал убежденно: "Слог мой, подобно деяниям, будет прост, но правдив".

"Пречестный Пария говорит..."

Пария тут - проповедник одной из низших "неприкасаемых" каст в Южной Индии. Иносказательно - угнетенный, бесправный человек.

К Винскому этот образ пришел из книги. Какой? Можно только гадать. Но никаких сомнений не вызывает: ему самому Пария понятен и близок.

Одна страничка и - уже - чуть не целая книжная полка...

"Философы осмнадцатого столетия были его единственными божествами..." Винский подтверждал это и сам: "Ежели когда-нибудь настанут времена правды, тогда великие умы 18-го столетия, истинные благодетели рода человеческого, получают всю им принадлежащую честь и признательность..."

В шкафах библиотеки Богородского-Языкова соседствовали, полагаю, тома "Естественной истории" французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка Бюффона, "Об общественном договоре...", "Рассуждение о начале и основаниях неравенства...", "Исповедь" Жан-Жака Руссо и многие другие тома. Были тут - наверняка были - Мерсье и Шеридан, Стерн и Лесаж; я называю эти имена не случайно - каждое из них на страницах его

записок.

Книги, главным образом, выписывались. Каталоги и росписи содержателей книжной лавки Московского университета Христиана Ридигера и Христофора Клаудия, частных книгопродавцев Глазуновых, Огорокова и других содержали сотни названий. Пользовавшиеся росписями уведомлялись, что "если кому потребно будет по сему реестру каких книг из других городов, то могут адресоваться прямо в означенную при сем реестре лавку... со вложением денег сколько кому угодно будет по означенной цене в реестре, прилагая сверх того за почтовую пересылку на каждый рубль за расстояние 500 верст по 10 коп., за 1000 верст 20 коп. и так далее".

Винскому предоставлялась возможность выписывать "сколько угодно". Но это, пожалуй, было только при Шишкове-старшем. Младшего книги интересовали меньше.

Вот так местом "постоянного" его жительства стало на годы и годы имение Шишковых в Бузулукской округе. Росли-подрастали дочери. Вдовствовал и не молодедел сам. Много читал. Учил. Переводил. Мечтал быть свободным. Пока же свою относительную свободу использовал для общения с соседями и приятелями - теми, кем дорожил.

В Богородское-Языково вернется Винский и после нескольких лет жизни в Оренбурге, после поездки в Санкт-Петербург... - в общем, после нового всплеска и краха надежд, для дела своего главного.

## **Глава VII. ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВ "КОСВЕННЫХ" И ПЕРЕПИСКИ "ПРЯМОЙ"**

В 1896 году преподаватель истории Уфимской мужской гимназии М. П. Правдин вручил известному краеведу Павлу Юдину попавшие ему в руки дневники титулярного советника Михаила Семеновича Ребелинского, служившего чиновником сначала в Уфе, а потом в Оренбурге.

"Дневники эти, на старинной синей бумаге, - описывал Юдин в "Русском архиве" (1897, кн. 3), - представляют собой простую домашнюю записную книжку в осьмую долю писчего листа и толщиной около 1 ½ вершков, переплетены в толсто склеенную сахарную бумагу с корешком из подошвенной кожи; крышки сверху покрыты синей оберточной бумагой... В дневниках своих Ребелинский изо дня в день записывал все, что только видел и слышал и что находил для себя достопамятным..."

Он подчеркивал: в свое время... Но это было и временем Григория Винского. "Дневники Ребелинского начинаются с 1792 года и кончаются 1801-м годом, т. е. обнимают собой далеко еще не исследованный период русской жизни, именно: конец царствования Екатерины II, все царствование Павла I и начало царствования Александра Благословенного. В дневниках особенно любопытны некоторые взгляды провинции и ходившие в то время слухи об известном сватовстве шведского короля к великой княжне Александре Павловне, о кончине Екатерины, вступлении на престол Павла и его распоряжениях. Историк любопытно знать и проследить, как принимал к сердцу те или другие события народ и вообще провинциальные жители..."

Таким вот "провинциальным жителем" далекой окраины России был тогда и он, Г. С. Винский.

1792-й принес Ребелинскому радости. Радости, а еще надежды... Определенный в свои двадцать четыре секретарем Палаты гражданского суда, он восторженно восклицал: "Благодарю Бога моего, Создателя и Творца моего, что управил в сем прошедшем году дни для меня благосклонные и к благополучию жизни моей довольные".

Винскому тот же год причинил неистребимое горе: умерла Элеонора Карловна, осиротив и двух их дочерей, и его самого. "...Я каждодневно ее вспоминаю..." - тяжело вздыхал

он почти четверть века спустя. Но он жил, и все, что происходило, занимало его живейше.

И события апрельские (у Ребелинского это запись 20 апреля): "Вода в великой прибыли, а в Стерлитамаке слышно было, что потопило до 200 000 пуд. в амбарах"...

И касающееся людей знакомых (в "Дневнике" записано 6 ноября): "Сегодня видел полученный с нынешней почтой из Сената указ об отставке губернского прокурора Тимашева, а на место его быть секунд-майору Княжевичу"...

Записи каждого года в той или иной степени характеризуют обстановку, в которой жил и Винский. Вот эта и эта - из 1793 года: "Сего числа происходило торжество о мире. Полевой батальон был у собора и при многолетии стрелял из ружей 3 раза" и - "Пришла почта, с коею получен указ о наборе рекрут с 500 одного или 400 руб. деньгами". Из 1794-го: "О Чичагове получен указ, что он прощен" (у Ребелинского - 24 октября), "Получен указ о бытии здесь генерал-губернатору Вязьмитинову, и что губернатор Пеутлинг отставлен"<sup>20</sup>, а под Новый год (31-го) - "В церквах благодарственный молебен о взятии Варшавы".

Можно представить себе, какой вихрь чувств вызвало в Винском событие, о котором Ребелинский записал 21 ноября 1796 года: "Пополудни в 3 часу получен манифест о кончине вечной славы достойной императрицы Екатерины II и о восшествии на престол императора Павла Петровича, коему в сей день и присягали (в Уфе)".

Соборный благовест в честь нового монарха Уфа слышала только через две недели после смерти всемогущей повелительницы России (а для Винского - главной виновницы его бед и страданий). Вечной славы "почившей в бозе" он, конечно, петь не стал, свое же слово о ней сказал, перелагая годы спустя на русский

373

язык мемуары Карла Массона и - еще позднее - в записках "Мое время".

Из Петербурга новость за новостью: одни достоверные, другие в слухах. 1797-й: "Новости, что наместничества не будут, а будут губернии, и Уфимская губерния переводится в Оренбург" (январь, 9); "Стало известно, что Российские законы будут состоять из трех токмо книг" (16-е); "Получены указы: 1) об уничтожении вольных типографий..." (март, 1); "Получен указ, чтоб быть губернским городом Оренбургу" (апрель, 28); "Новости токмо те, что многие в день коронации, т. е. 5-го апреля, пожалованы деревнями, деньгами и чинами" (май, 2). Ребелинский фиксировал это все, ничего особого для себя не ожидая (разве что переезд в новую "губернскую столицу"). Винский прислушивался к вестям и слухам, надеясь на перемены в своей судьбе.

Владелец и автор дневника ехал с семейством из Уфы в Оренбург целую неделю. Такие были расстояния, такие темпы.

На новом месте его занимало все. "Июль 25. Ездили на Меновой двор, который отстоит от Оренбурга в трех верстах за Уралом, окружен каменною стеною, в которой внутри сделаны лавки, коих более тысячи пятисот; при самом въезде для директора дом, под коим сделаны ворота, в кои въезжают на тот двор; лавки ж оные покрыты железом, однако ж почти целая половина уже брошена и стоит без крыши. Среди самого двора сделаны квадратно во все стороны лавки, в коих торгуют бухарцы. Сверх того была и церковь, но в бывшее в 1772 году (?) неустройство (явно имеется в виду Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. - Л. Б.) разорена и стоит без всякого поправления. А за Меновым двором выстроены каменные две мечети, очень изрядного фасону. Киргизцы пригоняют баранов, быков и лошадей и меняют

---

<sup>20</sup> Генерал-поручик Пеутлинг Александр Андреевич был уфимским губернатором с 1790 года; его сменил Вязьмитинов Сергей Кузьмин, впоследствии министр.



российским купцам; а бухарцы привозят разные азиатские товары и также частью меняют, а большею частою продают за наличные деньги..."

Меновой двор был, конечно, известен и Винскому. Известен еще по первым годам ссылки, когда служил у откупщиков... Теперь он снова обращал свои взгляды к Оренбургу и - вскоре ехал туда: во-первых, добиваться справедливости, во-вторых, поелику возможно, служить неласковому к нему отечеству.

В деревне, разумеется, было спокойнее, а из Оренбурга шли и вести недобрые, вроде таких: "Ноябрь... 25. Вчера отправленная отсюда почта съехалась с двумя неизвестными людьми на седьмой версте от города, которые (т. е. люди) почтальона подстрелили из ружья в плечо картечью и потом разломали ему голову и оставили на месте без чувств, а почту - всю увезли, с коей, сказывают, было денег 14 000 рублей".

Но не покой нужен был Винскому - душа его жаждала деятельности.

Когда переместилась эта деятельность в Оренбург, точно, в датах, установить пока не удается. И за неимением других источников пытаюсь увидеть Винского через строки его современника - автора записей в дневнике.

Край лихорадило. 1797, декабрь, 25: "Слухи, будто губерния паки в Уфе будет". Будоражили нововведения Павла I. 1798, июль, 27: "Новости с почтою получены: 1) запрещено в праздничные дни сидеть и торговать в лавках, 2) не велено носить фраков, а вместо них немецкие кафтаны с одиноким (?) стоячим воротником, 3) не носить также круглых шляп и со шнуром и с отворотами сапог и всякого рода жилетов, вместо коих употреблять камзолы, 4) не навертывать на шею толсто косынок, а повязывать субтильно, 5) слугам шить такую же ливрею, какова положена по классам..."

Ребелинского это занимало всерьез (месяц спустя он в дневнике отмечал об изгнании со службы некоего городничего - "за ношение круглой шляпы и фрака").

У Винского ни лавок, ни чинов, ни слуг не было, к подобным указам он мог отнестись лишь иронически, зато совсем без иронии встречал вест" о новых ссыльных, появившихся в Оренбурге и губернии.

1799, январь, 14: "Прислан сюда надворный советник Буг с нарочным фельдъегерем на житье, а по какому делу - неизвестно..." (Предписание Оренбургскому военному губернатору генерал-майору Бахметеву гласило: "Повелеваю вам иметь строгое смотрение за тем, чтобы находящийся у вас надворный советник Буг не имел ни с кем переписки, задерживая как от него, так и к нему доходящие письма. За сим пребываю вам благосклонный ПАВЕЛ".) Такое не обнадеживало.

Зима стояла невиданно морозная. "Февраль, 8. В газетах напечатано, что таковая холодная зима, какова ныне, была в 1399 году". За четыреста лет!

А где-то далеко вершились дела значительные, о которых сюда, причем с большим опозданием, доходили лишь отголоски. "Август, 16. Был благодарственный молебен и читана в церквах реляция о победе над французским генералом Мангонольдом, одержанной графом Суворовым-Рымникским... Сентябрь, 20. В газетах напечатано, что фельдмаршал граф Суворов пожалован князем с наименованием Итальянским, коему велено в гвардии и в войсках отдавать честь так, как Государю..."

Наконец, Оренбурга достигла весть о предстоящей "инспекции гражданских дел" и о том, что "сюда будет Лопухин". Публикуя в "Русском архиве" выдержки из дневника Ребелинского, П. Л. Юдин отмечал, что всего "любопытнее в дневниках описание шаг за шагом сенаторской ревизии Оренбургской губернии". Тут же он подчеркивал: "Из этих данных человеку с талантом нетрудно сочинить сцену вроде гоголевского "Ревизора". (Как не вспомнить упоминание Н. В. Гоголя в заметках А. И. Тургенева о "Моем времени" Винского?)

Факты у Ребелинского и впрямь "гоголевские". "1800, июль, 17. Гг. сенаторы сегодняшней день ходили по городу, однако ж не в виде сенаторов, а в немецких кафтанах

инкогнито и на рынке торговали хлеб, дрова, калачи и прочее; а один из них смотрел некоторые и землянки. 18. Гг. сенаторы сегодня были и свидетельствовали губернское правление; но довольны ли остались оным, - неизвестно, а кушали у бывшего гражданского губернатора Куриса. 19. Сенаторы никуда не выезжали, как токмо после обеда ходили по улицам пешком... И так целый месяц! "Свидетельствовали дела"... "ездили"... "кушали"... А результат? "Сказывают, что усмотрели они, что губернии в Оренбурге быть неудобно, а способно быть ей в Уфе, о чем-де и сделали государю донесение".

Похоже, что такое представление действительно было. Во всяком случае, под новый, 1801 год Ребелинский записал: "Получ. указ, что Е. И. В-во, на всеподданнейше поднесенный доклад Сената 1-го департамента о переводе губернских присутственных мест из Оренбурга в Уфу высочайшего соизволения оказать не благоволил".

Не благоволил... Все оставалось, как и прежде, на своих местах. ...Год 1800-й заканчивал век восемнадцатый. С 1801-го начинался отсчет лет нового, девятнадцатого. С достаточной уверенностью можно сказать, что наступления его большинство и не заметило. Просто минул еще один год. Просто пришел следующий...

Оказывается, в Оренбурге пребывал Секретарев, бывший камердинер Екатерины, отправленный сюда в ссылку. "Секретарев и с ним в регистре 160 человек прощены и велено жить, где похотят..."

Запись апрельская, точнее - за 11 апреля. Она из восьми пунктов, и все о "прощении беглых", о "возвращении из ссылки" и т. д. и т. п. О том же и дальше, к другим записям года.

Объяснение им на тех самых страницах: "Март, 26. В ночи на 26-е число в 11 часу получен с курьером манифест о кончине 11-го на 12-е число марта Государя императора Павла Петровича скоропостижно от апоплексического удара, который (т. е. государь) царствовал весьма строго четыре года, четыре месяца и шесть дней, умер 46 лет от роду, - и о восшествии на престол

Государя Александра Павловича, коему от роду 23 года. В сей день о первом была в соборе панихида, а в верности последнему принимали присягу".

Не оправдала надежд предыдущая смена монархов - так неужели не порадует новая? Уж этот год наверняка стал для Винского оренбургским!

Переписка возобновилась в 1801-м - при Александре I. На одном из документов дела № 1493 (речь о нем дальше) есть помета: "в комиссии слушано 6 февраля 1802". Имеется в виду "комиссия для пересмотра прежних дел уголовных", получившая в 1801 году представление военного губернатора Бахметева.

"Губернатор Николай Николаевич Бахметев поступил на эту должность молодым человеком в царствование Павла I, был строгим притеснителем и гонителем казаков", - свидетельствовал оренбургский старожил и краевед И. В. Чернов в своих записках.

Представления Бахметева мне прочесть не пришлось. Но преемник его князь Г. С. Волконский имел, видимо, основание полагать, что было оно "неосмотрительным". Скорее всего, это так. Во всяком случае, когда "всеподданнейший" доклад комиссии был представлен царю, то "высочайшего соизволения к облегчению участи его (Винского) не последовало, а повелено оставить его в прежнем состоянии".

Преждем - значит бесправном...

Фонд 6 в Государственном архиве Оренбургской области. Опись 2, дело 1493: "По отношению военного губернатора князя Волконского, ходатайствующего в облегчении участи бывшему подпоручику Винскому".

Некогда номер его был 4009-м. Спасибо тому, кто не списал эту шивку бумаг "за ненадобностью" (до чего же много оказалось списанным!), а напротив, наложил резолюцию: "Гражданское. Хранить. 18.14.VII. 991". Подписи нет, но резолюция была в высшей степени важной и - дело спасла.

Небольшое дело, всего на девятнадцати листах, однако для нас уже не косвенное, а прямое. Многие говорят оно и о надеждах Винского, и о том, как надежды рушились.

Переписка о Винском возобновилась в 1805 году. За полтора года до этого в Оренбург прибыл новый военный губернатор князь Григорий Семенович Волконский.

Было Волконскому тогда уже за шестьдесят. Жизнь свою он прожил бурно. Участвовал в двух русско-турецких войнах; сам Суворов называл его "неутомимым". Не раз вел в атаку свой полк, в жаркой схватке рассекал саблей врага. Но и его не миновал ятаган турка. Тяжелое ранение навсегда перечеркнуло дальнейшую боевую карьеру генерала.

Жизнь в столице Волконскому была не по душе. Придворные и всякие прочие светские интриги вызывали в нем ненависть. И потому с превеликой охотой отправился он "на край света" - губернатором в Оренбург.

Многое делал старый суворовский генерал для пользы огромной этой губернии, внимательнейше присматривался к людям, отыскивая среди них достойных.

Таково (мне кажется, необходимое) предисловие к документам архивного дела.

Первый я привожу дословно. Г. С. Волконский - П. В. Лопухину:

Милостивый государь князь Петр Васильевич!

Зная доброту вашего сердца и истинное человеколюбие, вижу по собственным моим чувствам, что ваша светлость изволите удовольствоваться принять мое усерднейшее старание о подании помощи страждущему человеку.

Я имел случаи узнать и довольно испытал, что находящийся здесь с 1781-го года бывший подпоручик Григорий Винский заслуживает сострадание чувствительных душ, и сему-то несчастному я осмеливаюсь всепокорнейше просить вашей светлости покровительства и милости.

Служа в тогдашней гвардии, завлеченный по молодости лет примером и удобством тех времен, он поползнулся к займу под ложный залог из Дворянского банка 500 рублей, которые и взысканы уже давно с его поручителей.

Преступление, конечно, для дворянина позорное, но по тем временам не единственное, навлекло ему наказание слишком строгое, кажется, потому только, что он судим был в Комиссии, учрежденной при Сенате по делу поручика Кашинцова о фальшивом указе, совершенно чуждом займам дворянским, которые, однако же, были в него введены.

Ваша светлость, помнится, в сие время были в Санкт-Петербурге оберполицмейстером; посему Комиссию сию и ее ход, верно, изволите припомнить.

Я вхожу во все сии подробности, дабы обнаружить пред вашею светлостью стечение обстоятельств, отяготивших участь сего бедного человека.

Двадцатичетырехлетнее претерпение всех горестей, сопровождающих неминуемо уничижительное положение; тихость нрава, трудолюбие и услужливость, всеми, его знающими, свидетельствуемые; определение себя, по неимению казенного содержания, на обучение в дворянских домах детей иностранным языкам и другим наукам, - являют в нем существо, по справедливости жалость заслуживающее, тем более, что и последняя отрада несчастных - надежда - у него отнята.

Комиссия о пересмотре прежних уголовных дел имела о нем суждение и Государь император изволил утвердить неприменность его нынешнего положения.

В Указе Правительствующего Сената от 9-го июня 1802 года, коим Оренбургскому губернскому правлению предписывалось иметь его, Винского, в своем ведомстве, он означен как бывший в Тайной канцелярии; но на вопрос мой о сем он утвердительно уверял, что в той Канцелярии никогда не был судим, а находился под следствием в Комиссии, учрежденной в 1779 году при Сенате, которая окончилась в 1780-м; что он никогда и ни о чем касательно до Тайной канцелярии не был спрашиваем, а единственно о займах дворянами из банка.

Сие утверждал он с видимою надежностью, подвергая даже себя строжайшему наказанию, ежели бы показание его нашлось несправедливым; о чем, по словам его, яснее всего видеть можно из бумаг сказанной Комиссии, которые поступили в Сенатский архив.

Сия несообразность показания терпящего с определением его судьбы заставляет меня подозревать, что неосмотрительное, может быть, г. Бахметова об нем в Комиссию представление могло подать к сему повод, и ежели это так, я не отчаиваюсь во облегчении участи сего несчастного, и на сем основываясь, воззываю ваше, милостивый государь, человеколюбие и сострадание.

Войдите внутренним сердечным суждением в положение человека, 24 года терпящего всю тяжесть уничиженной жизни изгнанника, лучшие годы своего существования проведенного в непрестанных горестях, тем самым приблизившего к себе преждевременную дряхлость, не обещающую другого, как бедственную старость и еще бедственнейший конец жизни.

Присоедините к тому двух его дочерей, рожденных здесь от его жены, поехавшей с ним добровольно сюда, оставшихся от матери сиротами, невинных ни в чем, кроме от него рождения, терпящих с ним равную долю, и которых самая будущая участь расстроивается судьбою отца.

Вообразите все сие, и тогда, я уверен, заступление мое за несчастного ваша светлость изволите удостоить благосклонного внятия.

Я вас, милостивейший государь, всепокорнейше прошу явить ему милость восприятием на себя попечения для облегчения его участи. Я сие приму с сердечным чувством на мой собственный щет, и деяние сие всегда стану почитать долгом моим самым священным.

Исполненный ревности пособить страждущему, я прошу всех господ ваших соприисудствующих, надеясь на их ко мне благорасположение и сострадание к бедствующим.

С совершенным почтением к вам

князь Г. Волконский

Апреля 3 дня 1805-го года

Оренбург

Вот какое письмо доило в означенный день из губернаторской канцелярии в Санкт-Петербург. Там ему дали ход. И прежде всего отыскали-приобщили тот, самый первый, поистине трагический, документ, который обрек его на десятилетия неволи: "Теляковского, Радищева, Гиммеля, Соколова, Капитеевского, Адлера и Винского лишить чинов и дворянского достоинства кто из них оное имеет; и потом сослать вечно первых двух в Колу, Гиммеля, Соколова и Калитеевского в Сибирь, а Винского и Адлера в Оренбург. Екатерина".

Документ оказался в деле.

Министр юстиции Лопухин собрал и другие сведения.

"По справке оказалось, что оной Винской судим был в представлении в залог подложного имени в банке вместо 38, за ним почитавшихся, 120 душ и в намерении взять из оногo 1400 рублей, за что по высочайшей конфирмации на доклад Правительствующего Сената, в 17 день декабря 1780 года состоявшейся, лишен он чинов и дворянства и сослан в Оренбург. Комиссия для пересмотра прежних дел уголовных, рассматривая об нем дело, подносила с прочими всеподданнейший доклад, но высочайшего соизволения к облегчению участи его не последовало, а повелено оставить его в прежнем положении".

После доклада (и решения) предыдущего, состоявшегося в 1802-м, прошло около трех лет. Лопухин "счел возможным" обратиться к монарху снова. И вот...

"Бывшего подпоручика Григорий Винского... всемилостивейше прощая, дозволяем ему вступить в статскую службу с нижних чинов".

Новое повеление имеет дату: год 1805-й, 9 мая.

Тут же письмо Лопухина:

"Милостивый государь мой, князь Григорий Семенович!

В искреннем участии, проявленном вашим сиятельством в судьбе бывшего подпоручика Винского, видя новый опыт чувствительности вашего сердца, только вас отличающий, с удовольствием принял я на себя содействовать благодетельному предприятию вашему.

Из прилагаемого... в копии высочайшего указа, - ...ваше сиятельство увидеть изволите плоды усерднейшего ходатайства моего у Государя Императора о облегчении участи г. Винского. Душевно радуюсь, что с возвращением ему свободы, успел я выполнить и желание вашего сиятельства в доказательство того почтения..."

О почтении чуть не десяток строк. Так или иначе, но Винский свободу получил. Куцую, урезанную, а все же свободу!

Но почему всесильного в крае Волконского вдруг заинтересовала судьба "преступника" Винского?

Причины этого надо искать в его, губернаторском, отношении к Величко, директору таможни. Совсем скоро после назначения в Оренбург Григорий Семенович Волконский доносил в Санкт-Петербург, что в исполнении первых же из осуществленных предприятий ему способствовали "знанием и наилучшею волею" два лица, "всею похвалы достойных", и прежде всего назвал "надворного советника и директора таможенного г. Величко". Влиятельный князь испрашивал "монаршего одобрения" деятельности своего нового соратника - человека "честного и прилежнейшего". Письмо князя Г. С. Волконского, предназначенное для доклада царю, вышло из Оренбурга в марте (или апреле) 1804-го.

Павел Елисеевич Величко, с которым так тесно переплелась судьба ссыльного, происходил, как и он, "из малороссийских дворян". Был Величко моложе Винского - родился в 1757-м. Двенадцати лет от роду, в декабре 1769-го, начал службу в Гадяцкой полковой канцелярии, пять лет спустя получил производство в сотенные атаманы, а еще через шесть - в войсковые товарищи. Его способности заметил и оценил граф П. А. Румянцев: он произвел Величко в поручики и - уволил "к статским делам". Служил молодой дворянин секретарем в Черниговской комиссии "по разбору дворянства", прокурором в Кольванском губернском магистрате, но потом пошел по совершенно иной, новой для себя, стезе - таможенной. В 1777 году его назначили цолнером (смотрителем) в Астраханскую портовую таможню, а через два года, на пороге нового века, перевели в Оренбург. Сначала поставили на должность смотрительскую, но чуть позднее сделали директором. Положение его упрочилось с назначением в край Волконского. По тому, изложенному ранее, письму он, Величко, - "за содействие в устройении Оренбургской линии и прекращении грабительств" - получил от царя бриллиантовый перстень... Летом 1806 года Павел Елисеевич из губернии отбыл: уехал директором в Таганрог. Однако продолжалась его разлука с этим краем совсем недолго. Полгода спустя Величко возвратился и еще много-много лет трудился здесь на том же избранном им. поприще. Под бумагами 1818-1819 годов, которые хранятся в Государственном архиве области, то и дело встречается подпись: "начальник Оренбургского таможенного округа Павел Величко".

По сведениям, исходящим от сына Величко, Александра, Винский жил с 1801 по 1806 годы в их доме как его учитель и воспитатель.

Это - официально. На самом же деле Павла Елисеевича и Григория Степановича связывали отношения более тесные. Во многом - и главным - они были единомышленниками.

Любопытная загадка есть в апрельско-майском письме 1804 года, посланном в Санкт-Петербург Г. С. Волконским. Его высокопоставленный корреспондент в ответ на полученное им представление Величко к награде высказал свои замечания: какие - мы не знаем, но достаточно серьезные. Настолько серьезные, что губернатор смолчать не смог. Поблагодарив за "относящееся до г. Величко", он сообщил, что имел с таможенным начальником беседу,

говорили "не утаивая ничего", и Величко "клялся, что не будет сметь сделать бесовестного за мое об нем ходатайство".

О чем это? Думается, что не о деятельности служебной. О какой же? О той, полагаю, которая была связана с русским масонством. Величко являлся деятельным сторонником выдающегося просветителя Н. И. Новикова.

Судя по всему, заверения Величко, данные в беседе с губернатором, оказались не более чем заверениями. Нелегальная организация масонского (или полумасонского) характера в Оренбурге просуществовала долго, со временем, уже после смерти Величко (он скончался в марте 1821 года), превратившись в одно из ответвлений движения декабристов. "Оренбургское тайное общество" было разгромлено в 1827-м, его руководители разделили судьбу участников восстания на Сенатской площади.

То же архивное дело. Мы следуем по его листам далее.

Письмо Винского! Гербовая бумага, отменнейшая каллиграфия... Помета канцелярии: 1806, марта 28 дня.

"Всемиловейший Государь... - Он обращается к Александру I. - Прошлого года 9-го мая, по беспредельному человеколюбию Вашего Императорского Величества быв прощен в вине моей, освобожден я был от двадцатилетнего заточения со всемиловейшим дозволением вступить в гражданскую службу с нижних чинов. Того же года в июле месяце и поступил я в ведомство Оренбургской таможни губернским регистратором; но старость, расстроенное здоровье, особливо притупившееся зрение, делая меня не способным к переписке, принудили оставить сию должность. В продолжение долговременного моего в Оренбурге бедствования я лишился смертию матери, брата, другим всем сродникам сделался чужд и странник для моей родины. Теперь остался я один в целом мире, без пристанища, без пропитания. В таковой безотрадней крайности возлагая последнее мое упование на Бога и на Ваше Императорское Величество, припадаю к стопам вашим, Государь, отец своих подданных, и, обливая их слезами, осмеливаюсь всеподданнейше просить единый великия милости, дабы возвращен мне был прежний подпоручичий чин мой, который способствовать мне будет к приисканию места и с оным насущного хлеба. Таковое милосердие Вашего Императорского Величества обносит жизнь мою, усладит дух мой в час смертный тем, что и дети мои по мне станут благословлять свою участь.

Августейший монарх, оживотворите несчастного единым милостивым своим словом..."

В самом низу листа подпись: "верноподданнейший Григорий Винский, губернский регистратор". Подпись сделана той же рукой, которая скоро станет писать "Мое время".

Но пока он о мемуарах не думает. Все мысли его заняты одним - жаждой осуществления своего проекта о восстановлении в офицерском чине. О, это было бы решающим и на пути к возвращению дворянства! "Дети мои по мне станут благословлять свою участь..." Винский думает прежде всего о дочерях, о судьбе, которая ожидает их.

Однако что это? Да ведь в 1806-м - с января и далее, целых полгода - Винский был в Санкт-Петербурге! Сам о том пишет - сомнений в достоверности никаких. Значит, прошение не по почте послано, а самим во дворец принесено? Самим к стопам "всемоущего" положено?

Не ради прогулок по прекрасному городу и не для любования малютками в летнем дворцовом саду, ехал он в столицу. С поездкой связывались планы наиважнейшие. В Петербург Винский от

правился вместе с Величко.

Сохранились и опубликованы два письма Г. С. Волконского - две "верительные грамоты", которые вез с собою Павел Елисеевич. Оба послания - П. М. Волконскому и С. Г. Волконской - датированы 7 января 1806 года; это и был, вероятно, тот день, который предшествовал их выезду.

"Вручитель - г. директор таможни Оренбургской Павел Елисеевич Величко; с наилучшим одобрением... спознакомливаю: заслуживает не только хвалы по его посту, но я ему в три года обвязан - помогал мне во всех моих заботах..."

"Павла Елисеевича, по усердию ко мне, и мой приятель; пожалуй, сердечный друг! чтоб чаще у вас был; он заслужил всю ласку..."

Винский имел основания рассчитывать на высокопоставленных, влиятельных Волконских в Санкт-Петербурге. Но более всего уповал на Величко: благороднейший этот человек делал ради него все, что мог.

Царь, однако, "быть по сему" не говорил. Прощение побывало у князя Лопухина, у графа Румянцева, у тайного советника Муравьева и коллежского советника Даниловского - переходило из инстанции в инстанцию, из рук в руки.

Возникли вопросы: служил ли Винский действительно в Оренбургской таможне? когда вступил в службу? как происходил чинами? когда отставлен? какого был поведения?

Запросили Величко. 28 апреля он докладывал:

"...Григорий Винский прошлого года в июле месяце по прошению его принят в службу Оренбургскую таможню по его способностям и отличным сведениям губернским регистратором, должность исправлял с усердием и успехом; но по немолодым летам, по слабости здоровья и особливо притуплению зрения, по его прошению уволен в декабре месяце того же года для приискания себе другого места; поведения был добропорядочного и похвального..."

...В деле, увы, это лист последний. Сам Винский царскую волю узнал на месте. Мы же знаем и без того: чин подпоручика ему не возвратили, существенных перемен в судьбе не произошло, как был, так и остался он в краю неволи.

Но коль скоро речь зашла о поездке героя книги в столицу и полугодном жительстве его там, попытаюсь прояснить те строки из "Моего времени", разгадка которых не давалась не особенно долго. Они в самом почти начале: "Вспомни, любезный Прокопович, как мы в 1806 году в СПбурге, за дружескою трапезою у Плавковского, решали по сей системе задачу: как могли родиться от благородного, умного, храброго боярина три сына негодяя?"

Не "подавалась" - не суть спора. Смысл его ясен - как и теория, которой в книге посвящаются прямо-таки восторженные строки.

"О любезный Шанди!" Это имя появляется в записках уже в самом начале второго абзаца первой главы. "Как бы я порадовался, встретившись с истинным последователем твоей глубокомысленной, о зачатии и рождении, системы!" - новое восклицание следует за предыдущим. А дальше появляется - и даже в подзаголовок выносятся - термин "шандеизм"; свою собственную жизнестойкость Винский поверяет и объясняет на основе теории "остроумного Шанди".

Кто же он, тот, чьим именем названо целое направление? Философ? Писатель? Нет, литературный герой!

Создал его Лоренс Стерн - автор книги "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена". В ряду классических английских романов XVIII столетия этому произведению, написанному в 1759-1767 годах, принадлежит одно из самых почетных мест. Его читали и ценили Маркс и Энгельс. Ему воздавали должное Пушкин и Гете. В России "Тристрам Шенди" снискал известность уже в XVIII веке, однако в противовес первым, произвольно сокращаемым и неудовлетворительным, переводам полный и совершенный появился в наше время: А. А. Франковский отдал ему годы жизни и закончил в 1941-м (первое издание состоялось в 1949 году в Государственном издательстве художественной литературы).

Но вернемся к Винскому. Он читал роман Л. Стерна, вероятнее всего, во французском переводе (сведений о знании им английского у нас нет). На русском в то время существовали

лишь более или менее крупные отрывки из "Шенди" (тогда писали и произносили по-иному - Шанди, отсюда и шандеизм).

Уже П. Щеголев отмечал, что "Стерн оказал большое влияние на литературную манеру Винского". Особенно перекликаются первые страницы их произведений (у Стерна - "глава I", у Винского - "Мое рождение" и "Шандеизм").

Воспроизведем начало романа Лоренса Стерна в превосходном переводе Андриана Антоновича Франковского, сохраняющем все полнозвучие оригинала.

"Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе, - ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, - поразмыслили над тем, что они делают в то время, когда они меня зачинали. Если бы они должным образом подумали, сколь многое зависит от того, чем они тогда были заняты, - и что дело тут не только в произведении на свет разумного существа, но что, по всей вероятности, его счастливое телосложение и темперамент, быть может, его дарования и самый склад его ума - и даже, почему знать, судьба всего его рода - определяются их собственной натурой и самочувствием - если бы они, должным образом все это взвесив и обдумав, соответственно поступили, - то, я твердо убежден, я занимал бы совсем иное положение в свете, чем то, в котором читатель, вероятно, меня увидит. Право же, добрые люди, это вовсе не такая маловажная вещь, как многие из вас думают; все вы, полагаю, слышали о жизненных духах, о том, как они передаются от отца к сыну, и т. д. и т. д. - и многое другое на этот счет. Так вот, поверьте моему слову, девять десятых умных вещей и глупостей, которые творятся человеком, девять десятых его успехов и неудач на этом свете зависят от движений и деятельности названных духов, от разнообразных путей и направлений, по которым вы их посылаете, так что, когда они пущены в ход, - правильно или неправильно, безразлично, - они в суматохе несутся вперед, как угорелые, и, следуя вновь и вновь по одному и тому же пути, быстро обращают его в проторенную дорогу, ровную и гладкую, как садовая аллея, с которой, когда они к ней привыкнут, сам черт подчас не в силах их сбить".

У Винского мы читаем: "Остроумный Шанди от одного неосторожно и не в пору сделанного вопроса: "Заведены ли часы?" выводит самое глубокомысленное умствование о зачатии, рождении и следствиях от того на всю жизнь человека".

У Стерна: "- Послушайте, дорогой, - произнесла моя мать, - вы не забыли завести часы? - Господи Боже! - воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой голос, - бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким дурацким вопросом. - Что же, скажите, разумел ваш батюшка? - Ничего".

... "О любезный Шанди!" От теории Винский в восторге, роман Стерна ему дорог и близок. Но подражание англичанину у него только на первых страницах. Далее такое подражание не просматривается. Его, говоря категорически, нет.

Разговор с Прокоповичем состоялся "у Плавковского" - в популярном тогда петербургском трактире, где, вероятно, они и останавливались. Прокопович... Прокопович... Кто он такой?

Прокоповичей в энциклопедиях достаточно. С некоторыми из них Винский мог быть знаком. Например, со знаменитым пчеловодом - его земляком. Или с Прокоповичем-Антонским, учившимся, как и он, в Киевской академии.

Прокопович Николай Яковлевич, поэт, родился в Оренбурге. Но в... 1810-м! Потом он учился в Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине, там подружился с однокашником своим Николаем Гоголем и стал ему ближайшим другом на всю жизнь.

А кем был отец этого человека? Тут-то и явилась разгадка. "Любезный Прокопович" носил, оказывается, имя-отчество Яков Семенович. В "Моем времени" речь о нем.

Я. С. Прокопович был моложе Винского почти на двадцать лет (год его рождения - 1772-й). Родился он и рос на Украине, военную карьеру начинал капралом лейб-гвардии Преображенского полка, дослужился до поручика, после чего был "выпущен к статским делам"



и в 1801 году определен на должность унтер-цолнера Оренбургской таможни. И Величко, и Волконский его ценили (впоследствии Прокопович стал директором таможни в Троицке). Сейчас же он, скорее всего, сопутствовал, как и Винский, в петербургской поездке своего таможенного начальника.

Павел Елисеевич рекомендовал Прокоповича как "чиновника наилучших качеств", не имевшего "ни одной жалобы от купечества российского и бухарского".

Если же вспомнить, что в июне того самого 1806 года Величко перевели на пост директора в Таганроге (правда, прослужил он там всего семь месяцев), то невольно напрашивается вопрос: не преследовала ли поездка и целей лучшего устройства милых его сердцу людей в оставляемом им оренбургском таможенном ведомстве?

Далее, так сказать, "вставная новелла". Последовательность изложения она, пожалуй, нарушит, но... для главы (и книги), с точки зрения автора, полезна. В ней, кстати, "действуют" и Прокопович, и Величко...

В Астраханской областной библиотеке среди самых старых, редких книг ее обширнейшего фонда есть и шесть томов не многим сейчас известного произведения, на титуле которого значится: "Путешествия Пифагора, знаменитого Самосского философа, или Картина древних славнейших народов, изображающая их происхождение, обычаи, богослужение, таинства и достопамятности. Соч. Г. Маршала де Сильвень; пер. с франц. 6 ч. с фигурами; Москва, 1804-1810".

Внимательно просматривая каждый том, мой друг в Астрахани писатель и краевед Александр Сергеевич Марков обратил внимание на последние страницы заключительного, шестого. Здесь его привлек любопытный список: "Имена особ, соблаговоливших подписаться на сию книгу". Подписчики - или, по-старому, пренумеранты - оказались по всей России.

"В Оренбурге: Его высокоблагородие Павел Елисеевич Величко, Его высокоблагородие Михаил Афанасьевич Никифоров, Яков Семенович Прокопович"...

Итак, из общего числа 214 - три оренбургских "пренумеранта", причем два из них нам уже знакомы, и оба по...биографии Винского. Не встречался мне доселе только Никифоров, хотя тоже мог быть среди его знакомцев (хотя бы как коллега по службе что Прокоповича, что Величко).

Чем, однако, заслужил этот факт право на введение в книгу о Григории Винском? Логика моих рассуждений здесь такая: Винский близок и с Величко, и с Прокоповичем; домашняя библиотека Величко - это, в значительной степени, и круг чтения Винского оренбургских лет; следовательно, Винский знал "Путешествия Пифагора...", читал их, думал над ними. Читательский же его "формуляр" для нас, безусловно, важен...

Но что такого особого в книге "г. Маршала де Сильвень"?

Пьер-Сильвен де Марешаль (1750-1803) был поэтом и ученым, автором политических и богоборческих памфлетов, активным участником Французской революции.

Его биографию наиболее полно восстановил литературовед Ю. Г. Оксман, и сделал он это в своей работе "Из истории агитационно-пропагандистской литературы 20-х годов XIX века", помещенной в сборнике 1954 года "Очерки из истории движения декабристов". Читая, мы узнаем, что поэт, филолог и журналист Марешаль являлся одним из виднейших участников "заговора равных", другом и единомышленником Бабефа, лишь чудом избежавшим гильотины. Известность пришла к нему еще до революции - после распространения атеистической поэмы "Книга, спасшаяся от потопа" и памфлета "Альманах честных людей". Громкую славу принесли Марешалю богоборческие памфлеты в стихах и прозе. На сцене парижского Театра Революции в октябре 1793 года состоялась премьера его политического фарса "Страшный суд над королями. Пророчество в одном действии в прозе". Пророчество? Оно было, по Оксману, таким: "Короли английский, прусский, испанский, польский, австрийский губернатор, русская царица и римский папа показаны были в этой пьесе как пленники революции, победившей во всем мире и

изолировавшей своих врагов на необитаемом острове. Предоставленные самим себе, недавние властители Европы очень быстро обнаруживают свое моральное убожество и звериные инстинкты. Наиболее зло высмеяна была в этом фарсе "безнравственная и бесстыдная старушка Като, царица Великой, Малой и Белой Руси". Екатерине II, выходит, досталось от Маршала особенно... Он же, Маршал, переложил прозаическую концовку "Завещания" Жана Мелье в стихи, получившие в России распространение широчайшее:

Мы добрых граждан позабавим  
И у позорного столба  
Кишкой последнего попа  
Последнего царя удавим.

Их даже (пока ученые не доказали, что это было сделано без каких-либо оснований) приписывали Пушкину.

...Вот, выходит, кто написал "Путешествия Пифагора", изданные во Франции анонимно - даже само имя автора оставалось под запретом.

Из статьи Ю. Г. Оксмана: "В этом его труде пламенная проповедь нового мирового порядка облекалась в форму рассказов из истории якобы древнего мира и в этой оболочке в самых жестких цензурно-полицейских условиях завоевывала внимание передовой аудитории во всех концах феодальной Европы".

Из концовки "Путешествий Пифагора": Пифагор "испустил дух свой. Но для нас еще осталась его философия. Повсюду, где ни рассеет нас жребий, мы клянемся оживить в самих себе благороднейшую часть существа его, чтобы со временем вся вселенная, несмотря на жрецов, на тиранов и на легковерную чернь, которая попускает им обольщать и угнетать себя, засвидетельствовала, наконец, с благоговением свою признательность пред Пифагорейцами".

Тома в переводе на русский выходили (и поступали к подписчикам) год за годом: в 1804-м - два первых, в 1805-м - третий, в 1806-м - четвертый, в 1807-м - пятый. Заключительный, шестой, вышел три года спустя - в 1810-м. Но увидел свет не весь "Пифагор" Маршала. Часть страниц осталась непереуведенной по цензурным условиям России. По тем же причинам не появился и весь шестой том оригинала. А в нем были сентенции, или правила, или "законы Пифагора" - сгусток революционных мыслей автора и тех, чьи идеи он нес людям.

Однако "законы" эти стали известны по публикациям в тогдашних журналах: сначала - "Новостях русской литературы", а затем и "Любителе словесности". В Оренбург журналы поступали. Можно предположить, что оказалась здесь и брошюра В. С. Сопикова "Пифагоровы законы и нравственные правила" (вышла она в 1808-м). Из 3506 у Маршала сюда попало только 325 сентенций, но каких!

Впрочем, достаточно много политических проповедей Пифагора донесено и томами вышедшими.

- Из всех правлений на земле, поистине, самое твердое есть Республика при общем равенстве...

- Равенство есть главный закон Вселенной...

- Пусть не будет наследственных государей, но судьи, нами избираемые. В общем благе все должны принимать участие...

- Лучше быть тираноубийцею, нежели тираном... Это выписки (сделанные Оксманом) из одного только шестого тома в русском издании.

Издании, что и говорить, дерзком. Осуществление его стало истинным подвигом передовых русских людей, продолжавших дело А. Н. Радищева и Н. И. Новикова. Не случайно "Путешествия Пифагора" стали близки декабристам, а еще раньше - их предшественникам.

Как не вспомнить снова, что оренбургскому декабристскому тайному обществу задолго предшествовало то, которое основал Павел Елисеевич Величко - один из 214 пренумерантов

шести томов Марешаля и... близкий товарищ, единомышленник, друг Григория Степановича Винского.

Сейчас русское издание "Путешествий Пифагора" относится к числу редчайших. Приятно подумать, что сохранилось оно в Астрахани - городе, причастном к рождению "Моего времени". (На томах в Астраханской библиотеке, как сообщил мне А. С. Марков, есть обозначение: "Из книг купца Осипа Федорова Лапшина". Лапшин в начале XIX века был известным купцом всего этого прикаспийского края.)

У Винского мне слышатся живые интонации Пьера-Сильвена де Марешаля. Особенно на тех его страницах, которые в печати не появились, так как их арестовала и приговорила к уничтожению цензура царя. На полях одной из них есть даже подзаголовок: "Пифагорейцы".

Но раньше Марешаля был у них (Винского, Величко, Прокоповича) Массой.

В литературе упоминаний о нем много. Особенно в давней - прошлого века. Немало анекдотичного. В "Записках графа М. Д. Бутурлина" ("Русский архив", 1897, кн. 3) читаем такое:

"Некто француз Массой, издавший в начале текущего века пасквильное сочинение о царствованиях Екатерины, наделавшее много шуму в свое время, надеясь, вероятно, что в 1814 году все забыли о его книге, подал прошение императору Александру о назначении ему пенсии (или временной награды) за то, что он обучал верховой езде государя (еще великим князем) и великого князя Константина Павловича. Вместо ответа на его просьбу государь послал от своего имени Массону экземпляр его сочинения о России".

Бутурлин ссылается на рассказ матери. Рассказ мог быть и не точным. Совершенно достоверно, однако, что тома Массона, его "Секретных записок о России" оставались "крамоллой из крамол" весь XIX век и до самой предреволюционно-революционной поры 1917-го.

Повторяться незачем: тому, как Винский переводил Массона, посвящено немало страниц в первой части этой книги (весь ее "шестой шаг"). Сделаю только вывод: а) перевод осуществлялся в Оренбурге, б) делал его человек, который только что перенес тяжелейшее разочарование - отказ в "облегчении участи", в) адресовал свою работу Винский прежде всего оренбургскому "Новиковскому обществу", ему уже известному (как известен, знаком был сам П. Е. Величко).

Но воспользуюсь дополнительной возможностью процитировать еще не приводившиеся мною места из этого смелого перевода-переложения.

Скажем, о сменах "царствующих особ":

"...Ежели бы кто вздумал судить о любви народа к монарху по впечатлениям, производимым его смертью, сего наблюдения совсем нельзя делать в России, разве двор принять за целое государство. <...> Что касается до народа, которому делают напрасную честь, называя его оселком царей, он в России есть самый грубый гольщ, попираемый ногами, как камни на улицах; ничто не можно сравнить с его равнодушием..."

О законности и беззаконии:

"...Вот странное двумыслие: в России одно Уложение можно назвать некоторым родом закона; но с времен Петра I все Государские указы, даже сенатские, велено считать законами. <...> Во всяком другом месте, кроме России, подобное вопиющее в законах противоречие произвело бы по судам страшное затруднение, но здесь благодаря крайнему судейскому искусству, сие ни малейшего не сделало ни в ком впечатления. Здесь каждый печется только о себе..."

О возможности коренных перемен:

"...Ежели Р<еволуция> Ф<ранцузская> должна неминуемо обойти целый свет, как многие думают, наверное, Россия будет последнее место, куда она пожалует; на пределах 'сея обширный Империи Фр<анцузский> Геркулес воздвигнет два столба, на которых Свобода долго будет видеть начертанные: Нет далее... Самовластие, поставив ногу на чело раба и держась за небо злодейскою рукою, издевается над нею и пренебрегает ею..."

О восстаниях и - революции:

"...Отчаяние некоторых злосчастных крестьян может от времени до времени производить, как пред сим, частные возмущения против своих господ, но общая перемена в Р<оссии> есть чистая мечта. Россия весьма пространна и по мере сего малочисленна, чтоб ей можно было собраться громадою..."

Но... "Разум не может совершенно погаснуть в душе, в которой он единожды поселился..." И "да трепещет" потому "каждый самовластник"! Революция может быть и такая, "для которой Россия уже имеет довольно зрелости", то есть "аристократия просвещенная". Это - пока. Народ, находящийся "в плачевном состоянии", нужно "к ней (свободе! - Л. Б.) приготовить, заставить его ее желать..."

В Оренбурге - напомню - труд Карла Массона в интерпретации Григория Винского читали уже вскоре после того, как появился он в Европе. Над "Выписками..." дата: 1802.

...И снова думается о Величко - его общественной позиции, общественной деятельности в далеком крае. "Распространение чтения полезных книг и вообще свободомыслие того времени" - вот что было одной из целей опекаемого им "Новиковского общества".

Для того канва и существует, чтобы расшивать ее узорами. Это и стараюсь я делать. Стараюсь, но... не позволяю себе поддаваться полету художественного воображения. Все должно опираться на факты.

Поразительно скупо написал он о поездке в Санкт-Петербург, о шести месяцах жизни там. По сути, ничего и не написал. Ну, а кто усомнится в наполненности их, в важности для всей последующей жизни?

Сколько было встреч, оставивших след... И со старыми знакомыми, и с новыми... Где они в его книге? Осели в памяти для второй части? Но ненаписанное не прочтешь, незапечатленное исчезает...

Реми остался, потому что упомянут. "Не забуду никогда почтенного г. Реми за многие его мне одолжения, как и пояснение сего различия..." Речь шла о различии между образованием и воспитанием. Просвещал в этом, наставлял на путь истинный, вероятнее всего, Реми Александр Иванович, оказавшийся в России после Великой Французской революции и занимавший место лектора французского языка в столичных университетах. Где они могли сойтись, как не в Петербурге или на пути к нему?

"Проживши шесть месяцев в сей великолепной столице, бродивши ежедневно по привлекательнейшим местам, еще довольно картинно я могу себе представлять..." Называет только Летний сад - тот, что между Невою, Фонтанкой и Лебяжьим каналом. Не называет... все остальное. Каждый день перед его глазами была Петропавловская крепость, но о ней тут и вовсе ни слова. Только нам как не задуматься над тем, что в Санкт-Петербурге Винский не оставлял без внимания ничто из связывающегося и сего судьями-палачами, и с его сопроцессниками-страдальцами? Все они, осужденные, оставались там, куда их разослали: Епанчин и Теляковский - на поселении в городе Коле Архангельской губернии, Соколов, Калитеевский и Гиммель - в Тобольской губернии. Вот Радищев... В Коле он не задержался, попал под беспощадную руку снова и по определению тамошней палаты суда и расправы был наказан жесточайше: публично высечен кнутом "с вырезанием ноздрей и постановлением знаков", а затем "отослан для употребления на Нерчинских заводах вечно в каторжную работу". Страшная участь!..

Величко ехал в столицу с наилучшими "рекомендательными грамотами", обращенными к высокопоставленным петербургским Волконским. Благодаря этому получал, конечно, возможность знать о происходившем в мире и Винский.

Г. С. Волконский был встревожен вестями о ранении и взятии в плен старшего своего сына Николая Григорьевича Репнина, который, будучи в Кавалергардском полку и командуя его 4-м эскадронем, 20 ноября 1805 года возглавил ту знаменитую атаку, которую так картинно

воссоздал в "Войне и мире" Лев Толстой. Сам Наполеон не мог не воздать должное героизму Репнина и других кавалергардов... Как раз в это время, в январе 1806-го, героя Аустерлица наградили орденом св. Георгия 4-й степени, и он для излечения от ран получил отпуск... До Отечественной войны 1812 года было пока довольно далеко, но развитие событий вызывало тревогу. Еще в 1804 году, провозгласив себя императором французов, Наполеон Бонапарт во всеуслышание заявил, что покой в Европе может быть установлен не иначе как "с воцарением одного императора, одного главы, у которого под начальством будут короли, главы, который распределит все государства между своими наместниками". Таким императором он видел, конечно, только себя...

В Санкт-Петербурге Винский бродил по местам своей далекой молодости, местам любви и трепета любовного, встречался с теми, кто был в "той" его жизни, многих уже не находил, но... и сам он стал иным, с другим характером и другими взглядами.

Из довольно большого числа учеников "домашнего учителя" Винского лучшим все-таки остался Александр Величко. Он впитал не только знания своего наставника, но во многом и убеждения его.

Вернувшись впоследствии, по окончании Московского университета, в Оренбург, магистр Величко, чиновник канцелярии оренбургского губернатора, сразу примкнул к тому обществу, которым так дорожил отец. О его взглядах этого периода достаточно убедительно свидетельствует дружеское письмо Величко-младшего к К. Ф. Рылееву, в котором выражалось и желание сотрудничать в "Полярной звезде"; автограф хранится в Пушкинском Доме и дает основание письму датировать 1823-1825 годами. Годами, предшествовавшими восстанию декабристов, среди которых у Александра Павловича было достаточно много друзей: и Владимир Штейнгейль, и Александр Бестужев... всех не сочтешь.

Величко-сын имел прямое отношение к деятельности масонских лож "Любовь к истине", "Орла Российского", "Избранного Михаила", даже к руководству ими был причастен. Лишь случайностью можно объяснить то, что не попал он в поле зрения следователей по делам декабристов, а потом и "Оренбургского тайного общества".

В это время А. П. Величко служил уже не в Оренбурге. После смерти отца (и Винского!) он оставил край навсегда и с 1823 по 1838 гг. управлял делами в Сибирском комитете, возглавляемом М. М. Сперанским, публиковал статистические материалы о Сибири, экономические обзоры по окраинным местам России, труды по природоведению. Благополучно протекала и дальнейшая служба, пока в 1846-м, по именному повелению самого Николая I, его, уже действительного статского советника, не сместили с поста и даже подвергли заключению.

На этот счет есть несколько строк в "Записках сенатора К. Н. Лебедева" ("Русский архив", 1910, кн. 3).

"Много толков о д. с. с. Александре Павловиче Величко. Его отставили от службы за неприличные званию поступки и посадили в исправительное заведение. Зная Величко, я не сомневаюсь, что он мог дать повод к таким мерам: злой язык при оскорбленном самолюбии, дерзкие речи и праздная жизнь... все это могло привести к поступкам, неприличным его званию... Но на все есть порядок и форма. Он мог быть уволен и без публикации в газетах, он мог быть посажен в долговую тюрьму и без особого поведения... А. П. Величко, как весьма многие, испытывает мщение времени за старое".

Подчеркнуто мною: "мщение за старое".

Два года спустя Величко был освобожден и отправлен на пенсию - очень и очень скромную, куда меньше, чем та, которую получали другие. Умер он почти два десятилетия спустя - в 1867-м. "После тяжелой болезни" - гласил некролог, особо отмечавший талант и заслуги покойного.

...Но тогда Величко-младший был еще учеником Винского. Любимым учеником, сохранившим и память о своем учителе, и его переводы, к сожалению, еще не отысканные.

Из Оренбурга Винский наезжал в Богородское-Языкове - связи не рушились, он ими дорожил. Прошло время - вернулся туда насовсем. Там и родились его записки "Мое время". Но об этом вы читали на страницах главы шестой, предыдущей.

Жизнь в бузулукском селе не мешала Винскому сохранять дружбу и поддерживать

О любопытном образце их совместной "служебной прозы" в этой книге было говорено тоже сотрудничество с П. Е. Величко.. Имеется в виду "Проект о усилении российской с Верхнею Азиею торговли через Хиву и Бухарию".

Обидно мало известно мне о дочерях Винского. Кире к началу нового века шел тринадцатый, Катя перешагнула через свои десять. Девочки становились девушками, подрастали невесты. Интересно бы знать, исполнили (или не исполнили) Левашовы обещание взять дочерей учителя на попечение, когда "сделаются властны сами располагать своими делами". Сведений на сей счет - ни прямых, ни косвенных - нет. Спасибо Александру Величко, из уст которого кто-то и когда-то услышал, что "под конец, с 1808 по 1818 год" Винский "жил на покое в городе Бузулуке (теперь мы знаем точнее: в Бузулукском уезде. - Л. Б.), откуда часто ездил в Астрахань к одной из дочерей своих, бывшей там замужем". Недавняя находка в Киеве астраханского списка "Моего времени" дала возможность узнать, что мужем дочери (Кире? Кати?) был Яков Мартынович Сизов, смотритель, или пристав, Бертюльских соляных магазинов.

Предпринятый мною дальнейший поиск увлек и Александра Маркова - писателя-краеведа, несравненного знатока астраханской старины. Обращаясь к нему с вопросами-просьбами, я даже не подозревал, чего стоит этому человеку каждый его шаг. Еще в детстве, перенеся тяжкую болезнь, он лишился возможности ходить. Единственным для него способом передвижения стала коляска. Но где только не побывал Александр Сергеевич за годы и годы жизни своей, в каких только архивах не работал! Вышли (и выходят) книги: "Ульяновы в Астрахани", "Были Астраханского края", "По следам Степана Разина", "Тайный советник" и другие. Он же их и оформляет - талантлив и как художник. А в тупик становится перед тем,

чего мы даже не замечаем: перекопали дорогу возле архива... закрыли подъезд к музею...

С ходу отвечая на мой вопрос о Сизове и соляном озере, Марков написал, что фамилии такой в его картотеке нет, а вот Бертюль... "Сейчас сохранилось село Бертюль, где когда-то были соляные магазины и соляная пристань". И тут же вспомнил: "Была даже такая частушка в ходу: "Куда милый делся? Где тебя искать?" - "Я в Бертюль подался, мешком соль таскать".

Но вскоре уже Марков начал информировать меня "по существу". Нашел, пишет, донесение такого содержания: "Со вступления в должность пристава с 17 августа 1812 года по 1 число декабря 1814 года из вверенных мне магазинов выпущено в продажу покупателям приема моего соли 377 158 пуд 36 фунтов, сверх того оказалось излишней 10 609 пуд 4 фунта. Долгом поставляю о сем донести... Пристав Сизов".

Или другое - его же: "...когда селение было в несколько минут объято пламенем (8 сентября 1813 г. случился пожар в доме штаб-лекаря Никольского. - Л. Б.), с моей стороны были предприняты все меры, ...огонь не причинил вреда амбарам..."

А вот и о нем самом: к Болдинской заставе прибыли шесть казаков, препровождавших из Гурьева до Астрахани титулярного советника Сизова.

Что ж, Бертюльские соляные магазины представляли собою предприятие крупное: четыре корпуса - двадцать один амбар. Отсюда-то довольно высокий гражданский чин "пристава", который, вероятно, и на службе состоял достаточно продолжительное время, ото же, косвенно, подтверждается отставкой его от должности в 1820-м.

...Формулярного списка Я. М. Сизова найти не удалось поныне. А уж в нем-то имя жены его обозначено...

Донесения Сизова - не все, так некоторые - адресовались астраханскому гражданскому губернатору Степану Семеновичу Андреевскому!

"Не забуду никогда и живущих еще..." Тогда, когда Винский писал "Мое время", Андреевский был жив. Только поприще медицинское сменил на государственное. Служил в Петербурге, Гродно, Киеве и, наконец, в Астрахани.

О, Астрахань его запомнила! Семь лет занимал Андреевский губернаторский пост и многое сделал для людей, их блага.

Уже на третий день его пребывания здесь все присутственные места губернии получили предписание: в адресуемых ему официальных бумагах избегать всякого усложненного титулования, обращаясь только так - "Г. Астраханскому гражданскому губернатору". Объяснялось это нетерпимостью нового начальника к "излишней переписке, напрасно занимающей место и отнимающей нарочитое время, коим должно дорожить для других дел, медленности не терпящих".

Много внимания Андреевский уделял благоустройству города и его санитарной очистке, борьбе с инфекционными болезнями, охране здоровья детей. Забота о добыче соли, рыбные промыслы, финансы - все требовало его участия. Это он составил проект "устройства калмыцкого народа" и другие документы, определявшие развитие края на годы и десятилетия.

Приезжая в Астрахань, Винский, конечно, с ним встречался и мог самолично убедиться, что "скверная корысть не коснулась чистоты... души" давно почитаемого им человека.

Из истории взаимоотношений главного героя повествования со встреченным им в Уфе медиком (а потом губернатором) явствует неизменный его интерес к событиям общественной жизни края своей неволи.

Знакомство и дружба свидетельствуют о том, как тянулся изгнанник ко всему свежему, что вторгалось в серые будни его бесконечной ссылки. В Андреевском он сразу разгадал человека, живущего ради того, чтобы приносить пользу людям, оценил "истины, им знаемые", его ум и сердце, его "умные суждения".

Они встречались, наверное, и после самоотверженного эксперимента в Челябине: тогда, при расставанье, в задуманном им "опыте" лекарь не признался, но не узнать о нем потом Винский не мог. Узнать - и оценить Андреевского как личность необыкновенную.

И вот теперь стало возможным встречаться в Астрахани. Думается, что к первым читателям записок мы вправе причислить не только Александра Михайловича Тургенева, которого назвал Александр Величко, но также Степана Семеновича Андреевского, человека высоких достоинств.

Умер Андреевский там же, в Астрахани, 19 декабря 1818 года "от нервного удара".

Винский и Андреевский скончались в одном городе и в одном году. Похоронили их где-то рядом - на старом Духосошестввенском кладбище.

"Старое кладбище в Астрахани, где еще попадались надгробия первой половины XIX века, снесено окончательно..." - написал мне Александр Марков. Памятника уже не найти. А стихи, которые на нем были, живут: "Бог дал мне свет ума. Я истины искал./Но видел ложь везде. Светильник погашаю./Бог дал /мне сердце. Я страдал./И сердце Богу возвращаю".

Они звучат во мне, я повторяю их снова и снова.

## **ВСТРЕЧА НА МАЛОЙ НИКИТСКОЙ**

Вместо эпилога

Об этом экземпляре я узнал из необычной (и необычайной!) книги, случайно встреченной и не случайно купленной. Приобретал ее, естественно, не "ради Винского", но - к тому времени меня уже всевластно захватили его подвиг, его судьба и, листая двухтомное

описание личной библиотеки А. М. Горького в Москве, не преминул поискать в указателе именно это имя.

Оно тут было. На странице 356-й первой книги значилось:

"...6219. ВИНСКИЙ Г. С. Мое время; Записки /Ред. и вступ. статья П. Е. Щеголева. - СПб.: Огни, 1914. - XII, 159 с. - (Б-ка мемуаров изд-ва "Огни") - переплет Горького. Пометы Горького".

Винский у Горького... Горький читает "Мое время" с карандашом в руках. О встрече с этим, именно этим - горьковским, экземпляром я стал мечтать.

Музей-квартира писателя - в доме на Малой Никитской. После нескольких лет реставрации он в марте 1988 года снова раскрыл свои двери перед друзьями и почитателями А. М. Горького в нашей стране и во всем мире.

Во множестве репортажей писали об этом событии. И всюду, через каждый прошла мысль: книги - тут главное. Они и в специально отведенной для них обширной комнате - бывшей гостиной бывшего особняка Рябушинского, и в вестибюле, и вдоль лестницы, ведущей на второй этаж, и в секретарской, и в спальне. В сорока четырех шкафах, сделанных по заказу самого Алексея Максимовича, - двенадцать тысяч томов. На двух тысячах следы его карандаша, его раздумий над читанным.

Одна из хранительниц библиотеки - Марфа Максимовна Пешкова, внучка писателя. Она же - один из авторов печатного каталога, дающего нам счастливейшую возможность как бы поддержать в руках каждую из книг, войти в святая святых - лабораторию чтения (и творчества) Мастера.

Так нужно ли спрашивать, почему обратился я за помощью к ней? И нужно ли говорить, как обрадовался ответу-подтверждению, ответу-"ключу"?

Да, "Мое время" Горький читал в высшей степени заинтересованно! На десятках страниц - его красный карандаш: подчеркнутое, отчеркнутое, помеченное. По всей книге - "отголоски" настоящей читательской увлеченности.

Сначала были отчеркивания; начались они на странице 34-й. Отчеркнул: "..несомнительный заимобратель подвергался суду магистрата, т. е. купеческому сословию..." Сам факт внимание привлек? язык? Здесь - язык: "Ты сам, утесненный ехидною твоею супружницею, омочивши иногда твоими слезами моих несчастных детей..." (с. 36).

Отчеркивания появляются почти на каждой странице. Он выделяет для себя утверждение автора о том, что "научение, особенно словесность", открыли "большой части" французов глаза, "дабы смотреть и видеть должностных особ, их деяния, их домогательства в настоящем виде" (с. 38). Проводит волнистую черту против слов о том, что во время Семилетней войны "цены <...> ни одною копейкою ни на какие вещи не возвысились", а "деньги... ходили для всех в своей истинной цене". Сомневается, наверное, и ставит знак вопроса. Было так или не было? (с. 40).

Испещрена следующая, 41-я. На полях справа, между девятой и десятой строками - знак "нотабена"; касается он, однако, не двух этих строк, а всего абзаца, выразительно раскрывающего обстановку 1775 года ("Мелодрама открылась наряднейшим императрицы въездом в Москву..."). Подчеркивает: "47 милостей" (там, где говорится о "благодетельствах" государыни) и вслед за тем - "не стоили ни одной дельной". Карандаш Горького отчеркивает весь последний абзац: речь идет о реорганизации судебной системы, в результате которой "грубой хлебопашец скоро почувствовал... невыгоды, поелику, вместо трех баранов в год, должны возить их до 15 в город".

Рассуждения продолжаются на следующей странице, и он опять ставит "NB", выделяя утверждение Винского о совестных судах: "мы скоро на свой счет узнали, что они были одна кукольная игра". Волнистой чертой - о невежестве земских судов, по "следствиям" которых



"целые селения обнаруживались преступными в колдовстве; одни как колдуны, другие - заколдованные"

Заинтересованный читатель берет на заметку ироническое утверждение автора о том, что, даруя привилегии, Екатерина "твердо была уверена, что они (россияне. - Л. Б.) не только не воспользуются даруемою свободою устраивать свое счастье, но не поймут ни содержания, ни силы ее благоволения" (с. 43).

Отчеркивает: "по духу рабствования и невежества дворян правители гнули и вертели его, как податливой тальник..." И подчеркивает: "народ русский есть самый повадливый и нещекотливый" (с. 44).

Отчеркивание на странице следующей: "Нравы... хотя начали умягчаться, но с тем вместе и распуста становилась виднее..."/Тут попытка анализа духовной жизни общества, в которой все большее значение приобретали "начавшие выходить в свет сочинения Вольтера, Ж.-Ж. Руссо и других".

Насколько чтение его внимательно, говорит такой штрих: на с. 54 напечатано таким образом, что "нагнувши раз, всяк быстро потечет ко злу". Карандаш исправляет: "шагнувши". Исправляет, не останавливаясь, не задерживаясь, следуя за мыслью Винского дальше.

Мыслью - и мытарствами. Словом - и злоключениями. На какое-то время карандаш будто замирает. Но нет, чтение продолжается, и отчеркнутыми или подчеркнутыми оказываются строки о тех, кто устраивал "убиивственные узилища для своих братии" (с. 79), о том, что заточение героя продолжалось еще "тринадцать месяцев" (с. 88).

"Несомнительными доказательствами поверхности россиян над оттоманами..." (с. 99) - язык времени? Отчеркнутые рассуждения о гвардии и о засилье иностранцев (с. 100) - дух времени?

А это обращение к "чадам Плутуса" с вопросом прямым: "...в состоянии ли кто-нибудь из вас тысячную частицею своих сокровищ пожертвовать для нужды ближняго?" (с. 104).

А описания нравов помещичьего дома? (с. 116). Горький выделяет: "Я начал мое ознакомление с домами точно не в худшем..." и доводит волнистую линию на полях до скорбного вывода о том, что и "в сем доме за малейшие проступки, часто по одному своенравию госпожи, лилась кровь несчастных" (с. 117).

Винский иной раз противопоставляет себя, "малоросса", русским. Националистического духа в книге нет и в помине, но в чем-то частном прорывается: "житья с русскими", "приемы русских" (с. 118). Читатель Горький к этому чуток - не пропускает, подчеркивает.

И точно так же тотчас замечает автобиографическое признание автора о начале его переводческой работы, о том, чего ради он за нее взялся, и как огорчался, что далеко не все жаждали прочесть то, над чем трудился "точно неленостно" (с. 121).

Дважды появляется горьковская "нотабена" в описаниях охоты (с. 124, 125). И вновь отчеркивания: против слов о ревности (с. 127), против замечания о том, что "никогда ни на одну книгу ни один русской не ссылается и ни одного автора не именуется" (с. 130). На этой же странице еще одно подчеркивание: "дворяне почитают невежество своим правом"...

"Любите книгу - источник знания", - повторял Горький, и это было его убеждением, основанным на опыте всей жизни.

"Любите книгу..." Высокая, действенная любовь к чтению заключена и в экземпляре единственного пока "цельного" книжного издания "Записок" Григория Винского - того, который был приобретен, одет в переплет, а главное, с таким интересом прочитан Алексеем Максимовичем Горьким.

И какие люди еще его читали!

От героя-медика Андреевского; свободомыслящих Величко - отца и сына; Тургенева А. М. в Астрахани...

До ...братьев Тургеневых, Александра и Николая Ивановича, что навеки в истории общественной мысли, общественного движения... А. Н. Афанасьева. Петра Бартенева. П. А. Вяземского. Александра Пыпина. (А их имена переплетены с другими, великими - то Пушкина, то Герцена, то Чернышевского...)

В "Русском архиве" "Записки" читал Лев Толстой. В издании П. Е. Щеголева - замечательные читатели предреволюционного, революционного и послереволюционного времени.

Этому изданию уже семьдесят. Каким был его тираж, не знаю, но - небольшим. Книги и горят, и тонут, и ветшают. Сколько экземпляров выжило? Ох, немного. А скольким доступен Винский неурезанный, неприглаженный, говорящий в полный свой голос? Горстке исследователей. В нашу ли пользу факт?

"Пусть же одни добрые люди меня читают..." Винскому повезло: над "Моим временем" задумывался Л. Н. Толстой, его читал Горький. А я утверждаю, что автор этих слов думал и о тех, кому жить много десятилетий и даже веков спустя. О нас думал. Нас видел.

"Ежели когда-нибудь настанут времена правды, тогда великие умы 18-го столетия, истинные благодетели рода человеческого, получают всю им принадлежащую честь и признательность..." Себя он в виду не имел - Винский писал о других. Но с эверестов столетий, с высот жизни глубже постигаешь и величие ума, и душевную близость.

"Время требует слуги своего..." Это уже из Чернышевского. Его слова мне поначалу хотелось вынести на титульный лист - сделать эпиграфом. Однако менее ли уместны они здесь, в конце "дороги поисков"? Да, их можно отнести к Радищеву и Некрасову, Пушкину и Шевченко, Горькому и Маяковскому. Но и к нему, Винскому, тоже. "Втесниться в лик творцов сочинений" он не собирался. "Честь и признательность" воздаем ему мы, люди кануна XXI века.

1979-1983

1995

## **ДАТЫ ЖИЗНИ Г. С. ВИНСКОГО**

1752, вторая половина года

Родился в местечке Почеп на Черниговщине (ныне районный центр Брянской области); отец - военный канцелярист Степан Акимович Винский; из дворян г. Трубчевска (1730-1753), мать - дочь почепского войта Марфа Артемовна Пороховникова (1735-1779).

1753

Смерть отца. Рождение брата Осипа. Вторичное замужество матери (за "значкового товарища" Михаила Васильевича Губчица) и переезд семьи в его имение - Котляков (Котляковку), ныне с. Котляково на Брянщине.

1754

Рождение сестры Екатерины, дочери М. В. Губчица.

1756, июль-август

Переезд на жительство в местечко Баклань (ныне с. Баклань Брянской области), куда Губчиц был назначен сотником.

1759

Начало учения грамоте в приходской школе церкви св. Николая (Баклань).

1760

Начало домашних занятий с приглашением учителей.

1762. октябрь

Поездка в Чернигов и определение на учение в Черниговский Коллегиум; Григорий учился во второй школе ("грамматике").

1763. апрель-май

Прекращение занятий в Черниговском Коллегиуме и возвращение домой.

1763, конец сентября - начало октября

Поездка с матерью и бабушкой в г. Нежин (ныне Черниговской области) на осеннюю Покровскую ярмарку; оттуда - поездка в Киев.

Ноябрь-декабрь

Определение на учение в Киевскую академию - первую высшую школу на Украине и в Восточной Европе.

1768. вторая половина года

Выезд из Киева. Возвращение домой. Поступление в пансион местечка Стародуб (ныне г. Стародуб - райцентр Брянской области) с целью изучения французского языка.

1769. лето

Окончание курса в Стародубском пансионе.

Осень

Отправился в г. Глухово (ныне Сумской обл.) для подготовки к будущей службе. Числился в канцеляристах Генерального суда.

1770. 2 марта

Выехал из Глухова в Санкт-Петербург для определения на службу.

12 апреля

Зачислен в лейб-гвардии Измайловский полк, первоначально - в инженерную школу для молодых дворян.

1771

Оставил учение в школе, получил перевод в первую роту и перешел на жительство в казарму (до этого жил вне расположения полка). Сблизился с обществом "деловых и ученых людей".

1772

Произведен в капралы Измайловского полка.

1773

За неоплаченные векселя и другие долги оказался в магистратской тюрьме.

1774

Неудачная попытка матери рассчитаться по долгам сына и продолжение его арестантских будней.

1775, январь

Стараниями матери и влиятельных родственников освобожден от наказания, произведен в подпрапорщики и получил отпуск в Москву для участия в торжествах по случаю заключения мира с Турцией. Находился здесь до конца марта.

Апрель-июнь

Поехал в Почеп и жил в родном городе.

Конец июня

Возвратился в Москву, участвовал в продолжавшихся там торжествах.

10 июля

Вышел в отставку с чином подпоручика. Остался жить в Москве.

1776

Вернувшись на Украину, обосновался в почепском своем доме; пытался наладить хозяйство, но "буйная жизнь" привела к его полному упадку.

1777. февраль

Решил отправиться в Санкт-Петербург для приискания себе службы.

Март

Приехал в "северную столицу"; оказался не у дел, существовал в основном "коммерческими играми на небольшие деньги".

Декабрь

Познакомился с обедневшим ювелиром Фродингом; вместе встретили Новый год.

1778. январь

Знакомство с Лорхин - младшей сестрой Фродинга.

Апрель (май?)

Женитьба на Элеоноре Карловне Фродинг (Лорхин), 1763 года рождения.

1779. май

Нашумевшее преступление поручика М. П. Кашинцева и привлекшее всеобщее внимание следствие по этому уголовному делу; Винский о том и другом знал, главным образом, по информации Л. П. Соколова, его приятеля.

Сентябрь

Слухи об открытии "важного заговора", вызванные новым этапом следствия, в который оно вступило с учреждением при Сенате "Секретной комиссии о Кашинцеве и его сообщниках".

11 октября

Арестован Л. П. Соколов.

12 октября

Арест Винского, ночь на офицерской гауптвахте.

13 октября

Винский доставлен в Петропавловскую крепость и помещен здесь в рavelин св. Иоанна.

7 (8?) ноября

Допрос Винского в "секретной комиссии".

24 декабря

Осуждение Кашинцева и других непосредственных участников уголовного преступления; Винский остается в крепости.

1780, 16-17 февраля

Из крепости освобождена вторая группа арестантов; на Винского освобождение не распространилось.

31 мая

В крепости осталось семь арестованных (Винский в их числе).

17 декабря

"Высочайшая конфирмация" в отношении "семерки". Винский приговорен к лишению чина, дворянского достоинства и вечной ссылке в Оренбург. Приговор собственноручно подписан Екатериной II.

26 декабря

Объявление приговора (около полудня), отправка Винского (в шесть часов вечера); прощание с Лорхин при выезде из Санкт-Петербурга и мгновенное решение Элеоноры Карловны разделить участь осужденного - отправиться в Оренбург вместе с ним.

1781, 7 февраля

В тяжелом полуторамесячном переезде по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Оренбург Винские добрались до Бугульмы - первого города в Оренбургской губернии (ныне районный центр Татарии).

16 февраля

Приезд в Оренбург; позади - более двух тысяч верст зимнего пути. Первая ночь - на постоялом дворе.

17 февраля

Представление вице-губернатору князю М. А. Хвабулову; "приказные обряды";  
определение на жительство.

20 февраля

Болезнь Лорхин; рождение ею мертвого ребенка.

Конец февраля

Попытки Винского приобщиться к роли учителя французского языка: уроки в доме  
майора Рыбкина, отказ от них после первых двух недель учительствования.

Март (апрель?)

Винский определяется на службу к управляющему откупом Астраханцеву.

1782

Служба в винном откупе.

17 мая

Реорганизация края и управления им: открытие Уфимского наместничества и Уфимской  
губернии.

24 мая

Открытие Оренбургской провинции (области). Знакомство с участниками экспедиции  
генерал-поручика И. В. Якоби, приезжавшими (или переведенными) в Оренбург в связи с  
реорганизацией управления.

1783, 9 августа

С окончанием откупа Винский, принявший предложение переехать в Уфу для  
учительствования в доме надворного советника Н. М. Булгакова, выезжает в губернский центр.

13 августа

Приезд Винских в Уфу; семья обосновывается у Булгаковых. Начало систематического  
учительствования.

1784-1786

Учительская служба в доме Н. М. Булгакова; выработка и практическая проверка  
собственных педагогических методов.

1784

Приобщение к постоянному чтению литературы, прежде всего - философской.

1784-1785

Начало литературной (переводческой) деятельности с целью распространения  
прогрессивных идей в произведениях Вольтера и других французских авторов.

1785

Общение с полковником А. И. Арсеньевым - первым наставником в переводческом  
деле.

1786

Поездка Е. К. Винской на Украину, а оттуда в Санкт-Петербург - для ходатайств об  
освобождении Г. С. Винского от вечной ссылки.

1787. май-июнь

Переход Винского на службу в качестве домашнего учителя к С. Я. Левашову и  
переселение в его имение Левашовку близ г. Стерлитамака (ныне Башкирия).

Сентябрь

Возвращение в Уфу и переход на положение "бродящего учителя"; уроки в домах Н. П.  
Рычкова, Н. Ф. Зубова и др.

Декабрь

Знакомство с штаб-лекарем С. С. Андреевским.

1788. 9 февраля

Выезд с С. С. Андреевским и А. П. Мансуровым в Челябину.

Февраль-май Пребывание в Челябине.

Конец мая Возвращение в Уфу.

Осень

Переезд на жительство в имение Рычковых - с. Спасское под Бугульмой (ныне в составе Татарии).

1788

Рождение дочери Киры.

1790, весна

Вторичное переселение к Левашовым (зима в Уфе, весна, лето и осень - в с. Левашовке).

1790 Рождение Кати.

1792. 21 октября

Трагическая потеря: на 29-м году жизни в Уфе скончалась Элеонора Карловна Винская.

1793. ноябрь

Расставание с сыновьями и дочерями Левашова в связи с их отъездом в Санкт-Петербург и Казань. Решение переехать к Ф. Я. Шишкову.

Декабрь-март Последняя зима в Уфе.

1794, апрель (май?)

Переселение в имение Шишковых - село Богородское-Языково Бузулукской округи Оренбургской губернии (ныне с. Языкове Борского района Самарской области).

Конец 90-х гг.

Знакомство с П. Е. Величко (1757-1821) - директором таможни в Оренбурге.

1801

Переезд Г. С. Винского в Оренбург. Начало его учительской деятельности в доме Величко, где он и поселился (ученик - Александр Величко). Предпринято ходатайство об освобождении Винского от наказания перед "Комиссией для пересмотра прежних уголовных дел о преступниках, находящихся в ссылке в разных местах Империи". Доклад о нем был подан на рассмотрение 18 апреля.

1802, январь-февраль

Заслушав представление военного губернатора Бахметева, Комиссия отнесла Винского к числу лиц, мера наказания которых пересмотру не подлежит.

9 июня

Указом Правительствующего Сената Оренбургскому губернскому правлению предписано иметь Винского в своем ведомстве.

В течение года

Винский работает над переводом труда Карла Массона "Секретные записки о России"; перевод-изложение, вероятно, предназначался, прежде всего, оренбургскому Новиковскому обществу. В дальнейшем переводил пьесы Мерсье и другие произведения (переводы не отысканы).

1805, 3 апреля

Возобновление ходатайства о Г. С. Винском: письмо военного губернатора Г. С. Волконского в Санкт-Петербург П. В. Лопухину, министру юстиции.

9 мая

Принято "высочайшее" повеление: "Бывшего подпоручика Григория Винского... всемилостивейше прощая, дозволяем ему вступить в статскую службу с низших чинов".

Июль

Определение Винского губернским регистратором Оренбургской таможни.

Декабрь

"По старости и болезни" Винский отказался от продолжения службы в таможенном ведомстве.

1806, январь

Г. С. Винский отправляется в Санкт-Петербург вместе с П. Е. Величко и Я. С. Прокоповичем. Маршрут пролегал через Ярославль.

28 марта

"Всепогоднейшее прошение" Винского Александру I о возвращении ему "прежнего подпоручичьего чина".

Апрель-июнь

"Изучение" прошения в высоких петербургских инстанциях. Пребывание и встречи Винского в "северной столице".

Июль

Возвращение в Оренбург. Прошение на "высочайшее имя" положительного решения не получило. Винский продолжает учительствование в семье Величко.

1808

С крахом надежды на возвращение чина и дворянства Винский вновь поселяется в Богородском-Языкове, владельцем которого, после смерти отца, стал его ученик А. Ф. Шишков. Занимается чтением, переводами, охотой, хозяйством; выезжает в разные места Бузулукской и Бугульминской округи; поддерживает связи с П. И. Чичаговым, П. Е. Величко и другими. Работает над проектами улучшения торговли России с Востоком (продолжение занятий, начатых в таможенном ведомстве).

Примерно в это же время выход одной из дочерей замуж за чиновника соляного ведомства Я. М. Сизова и начало периодических поездок Винского в Астрахань.

1812

Отечественная война и ее отголоски в Оренбургском крае.

1814, 24 июня

Г. С. Винский начинает работу над своим главным произведением - автобиографическими записками "Мое время".

1815

Появление первого рукописного списка "Моего времени" с приложением перевода-изложения ряда переводов-переложений произведений французских авторов, прежде всего К. Массона ("список Сизова").

1816-1817

Продолжение работы над переводами: распространение сделанного (и делаемого) в Оренбургской губернии, Астрахани и других местах России (рукописные списки).

1817-1818

По просьбе П. Е. Величко подготовка окончательного варианта "Проекта о усилении российской с Верхнею Азией торговли через Хиву и Бухарию", представленного в Санкт-Петербург уже после его, Винского, смерти от имени начальника Оренбургского таможенного округа в качестве официального документа (1819).

1818

Смерть Г. С. Винского в Астрахани, где он гостил в семье дочери. Похороны на Духосошестввенском кладбище. Последнее произведение Винского - автоэпитафия: "Бог дал мне свет ума. Я истины искал. Но видел ложь везде. Светильник погашаю. Бог дал мне сердце. Я страдал. И сердце Богу возвращаю".

## **ТЕТРАДЬ С ВЫРВАННЫМИ ЛИСТАМИ**

К этому своему повествованию автор шел тридцать с лишним лет - с той поры, когда после двух десятилетий жизни в Орске переселился в Оренбург и между основными, так сказать, служебными, делами занялся собственно оренбургскими страницами биографии Тараса Шевченко, о которых до того имел лишь самое общее, весьма фрагментарное представление.

Несколько лет спустя состоялись первые мои публикации о пребывании Шевченко в Оренбурге, а на шестом году здешнего обитания увидела свет книга "По следам оренбургской зимы" (Челябинск, 1968), и уже там я с горечью констатировал утрату семейной тетради-хроники Кутиных - сначала, как писал, листов, относившихся к 1849-1850 годам, а затем и всей ее целиком. На одной из страниц первой моей шевченковской книги можно прочесть такое: "Я долго искал некоего Иванова, местного журналиста, который брал эту памятную книжку в середине тридцатых годов, но смог только установить, что искать его бесполезно - старый газетчик В. П. Иванов-Яицкий, который действительно много занимался историей своего края, давно умер и архив его исчез безвозвратно".

Меж тем в доме Кутиных, по свидетельствам мемуаристов, а затем и прямых потомков домовладельца, Шевченко то ли "квартировал", то ли "часто бывал". Не случайно этот дом, теперь уже совсем ветхий, еще в десятые годы XX столетия первым (и надолго единственным) был отмечен памятной доской. Кутиных если и помнят, то в связи с поэтом-изгнанником.

Помнят, хотя толком ничего-то о них не знают...

Была бы цела та "тетрадь-хроника"! Но надежды отыскать ее уже не было. Надежда угасла окончательно и - бесповоротно. Надеяться оставалось лишь на чудо. Чудеса же есть чудеса. В них веришь и - не веришь.

Что знали о сей исчезнувшей реликвии до того?

...В 1939 году областное издательство в Чкалове (такое наименование незадолго перед тем получил Оренбург) выпустило в свет сборник "Т. Г. Шевченко в ссылке". Мне посчастливилось знать всех ее авторов: М. Клипиницера, Н. Прянишникова, И. Изотова, А. Бочагова. Первая основательная попытка обобщения материала (в основном книжного) о десятилетнем изгнании поэта-свободолюбца в современной краеведческой литературе принадлежала им. Разумеется, более другого их занимало все, что относилось к этим годам. Нашлось место и для свидетельств, прямо связанных с домом Кутаных.

Николай Ефимович Прянишников вспомнил и привел рассказ жены тогдашнего хозяина дома, записанный П. Юдиным и опубликованный в "Русском архиве", третьей его книге за 1898 год: "Ходил он по городу всегда в солдатской шинели и только под низом ее одевал синие шаровары и белую, вышитую на груди и по рукавам, хохлацкую рубаху. Был у него приятель, офицер-хохол, который квартировал у Кутиных. Шевченко чуть не каждый день навещал его. Вдвоем они коротали длинные зимние вечера за чайком и водочкой. "Придет, бывало, он к нам, - говорила старушка, - сейчас шинель долой, повесит ее в передней на гвоздик, расправит свои длинные черные усы, и первый его вопрос в шутовском тоне:

- Ой, чи живи, чи здорови, всі родич! гарбузові?

Когда приятеля нет дома, он в ожидании его ходит из угла в угол по всем комнатам. Потом придет на мою половину, а я тем временем водочки приготовлю и закусочки смастерю.

- А що, хозяйюшка, кисленька капустака е? - всегда спрашивал он.

- Есть, батюшка, есть.

- О це добре! - До смерти он любил эту кислую шинкованную капусту. Никаких других угощений ему не надо. Придет хозяин, сядут они за стол и пойдут у них разговоры, иногда далеко за полночь, но всегда тихо, скромно, без шума".

В том же сборнике 1939 года о семейной тетради говорилось как о реально существующем раритете. О ней писали и Прянишников, и Бочагов.

В статье Н. Е. Прянишникова о тетради сказано в таком контексте: "...Интересно, что у Н. И. Кутаной (здравствовавшей тогда вдове доктора Кутана, внука былых домовладельцев. - Л.



Б.) сохранилась старая записная книжка ее свекра, в которой есть, между прочим, запись о том, что в описываемые годы у него квартировал Лазаревский. Очевидно, это и был тот "офицер-хохол", которого "чуть не каждый день навещал" Шевченко. К сожалению, порядочное количество листов из этой книжки хищнически вырезано..."

А вот что писал А. К. Бочагов: "...Лазаревский... жил в доме Кутана. Об этом свидетельствуют недавно обнаруженные документы-записи Кутана в семейной тетради-хронике..."

Из них видно, что в доме Кутана одно время жил И. А. Усков, который позднее был комендантом Новопетровской крепости, покровительствовал поэту и значительно облегчил там его существование, и Лазаревский.

"Лазаревский, - читаем мы в записях, - приехал к нам из степи 8 апреля 1850 года..."

Выписки доподлинные. Архипа Кузьмича я знал долгое время, имея достаточно оснований оценить его как добросовестного историка. Он действительно держал тетрадь в своих руках. Больше того, показал мне фоторепродукцию записи с упоминанием Ускова. Такую репродукцию с чужих слов не сделаешь.

Семейная тетрадь-хроника еще в 1938-м - начале 1939-го существовала, была доступна прочтению и изучению. Но для изучения нужна большая предварительная и кропотливая сопутствующая работа, в том числе по уяснению сути, значения каждого человека, в ней упоминаемого. Бочагов шевченковедом не был, как и не владел доскональным знанием атмосферы Оренбурга 40-50-х годов.

...То были последние "прижизненные" свидетельства о "тетради с вырванными листами". Была да сплыла...

Где только я ее не искал!

В моей книге "По следам оренбургской зимы", вышедшей, напомним, в 1968-м, я не мог открыто сказать, что журналист-краевед, в прошлом думский репортер, В. П. Иванов-Яицкий был в конце 30-х годов репрессирован и следы его пришлось искать даже в архиве оренбургского КГБ. Дело нашел: старого газетчика постигла судьба многих; "расстрельный" приговор никаких надежд не оставлял. Что же касается "доказательств" вещественных, то они, как свидетельствовал официальный акт, оказались уничтоженными. Тогда, решил, и закончила свое существование тетрадь Кутаных. Что иное мог подумать?

Но все-таки продолжал грезить. Ни на что уже не надеясь - надеялся. Написал о ней чуть ли не на первых страницах трехтомной "Были о Тарасе", изданной в 1993-м. Рассказывал о своих

поисках то одному, то другому - и в Оренбурге, и при выездах. В общем, многим.

И вот однажды получаю я письмо из Уфы, от очень симпатичного мне Василия Бабенко - историка, этнографа, фольклориста, певца и вообще славного человека. Единственный его недостаток - не любитель писать письма. За это не раз ему выговаривал.

С самого начала письма почувствовал: мой корреспондент смущен. Смущение от долгого молчания? Оказалось, что не только.

Василий Яковлевич повинился: чуть не на два года задержал у себя записку, обращенную ко мне. Получилось это непредумышленно. Деловые поездки (Москва - Киев - Петербург - снова Москва - Уфа), нескончаемые обязанности советника мэра и руководителя товарищества "Кобзарь" вышибли из памяти маленькую записку и обещание переслать ее в Оренбург.

Записка была вложена в конверт. "Уважаемый Леонид Наумович, в фольклорном отделе Государственного Литературного музея (Москва) есть записная книга хозяина дома (фамилию не помню), у которого останавливался Шевченко (по легенде собирателя). Есть материалы по истории Оренбурга. Приезжайте!

Сейчас отдел рукописей находится в состоянии капитального ремонта и не принимает исследователей. Но, я думаю, Вы заинтересуетесь, и я смогу ответить на некоторые Ваши вопросы пока в письмах..."

Подпись: Светлана Андреевна Бойко, старший научный сотрудник Гослитмузея. Подмосковский домашний адрес, московский служебный телефон.

Тетрадь... Кутина?! Та самая?! Десятки мысленных вопросов и ни одного ответа. Их может дать только архив. Архив и - до поездки - Бойко.

Но прошло два года. Мало ли что могло случиться. Изменился адрес, не там уже работает...

Написал. Попросил посмотреть, есть ли в книге приведенные Бочаговым записи о Лазаревском, об Ускове, наличествуют там вырванные листы или нет и вообще сопоставить мои сведения о "семейной тетради" с тем, о чем Светлана Андреевна сообщила мне в записке.

Стал отсчитывать дни. Но ответа не было. Не приходил он долго: минул сентябрь, ничего не принес октябрь, заканчивался ноябрь. Письмо, которое так ждал, прибыло лишь в самые последние ноябрьские дни. Пришло!

"...Очень обрадовалась Вашему письму... Василий Яковлевич все-таки донес его Вам, за что я ему прощаю расстояние во времени... Рада известить Вас, что являюсь хранительницей той самой книги Кутина, которую Вы так давно ищете..."

Фамилии Лазаревского и Ускова в записях есть. Кроме того, там еще Орлов Ал. Вас. Лашкевич, управляющий таможней, и др.

Вы рады?

Записи в книге велись, выражаясь языком Пушкина, "с конца, с начала и кругом"...

В фонде Ефременкова (где и находится книга) есть еще история Оренбурга, написанная неустановленным лицом (52 л7), путеводитель по Оренбургу 1915 года (без начала), газеты и еще кое-какие материалы..."

Ефременков? В первый раз слышу! А я-то думал, что знаю обо всех оренбургских исследователях, собирателях, краеведах, по крайней мере, обозримых десятилетий. Выходит, ошибался...

Моя новая знакомая (пока заочная) просила прощение за свое молчание. "Были серьезные причины: лермонтовские дни, командировка (я занимаюсь Лермонтовым) и болезнь, выбившая меня из колеи".

Прощаю, прощаю... Да за такое известие простишь все!

"До встречи в Москве..."

А где же еще? В музей, в архив. Какой уже по счету. Но кто осмелится исчислять архивы цифрами: единицами? десятками? Любой архив неповторим, как и неповторима личность.

Что за Ефременков. Кто такой?

Со времени издания есть у меня "архивная лоция" - большие, толстые, во всех измерениях весомые тома под названием "Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР". Тысячи фондов с точными адресами хранения. Да, с такой "лоцией" на мель не сядешь...

...Ефременков Василий Константинович, историк-краевед, собиратель фольклора в Смоленской области...

Как она, книга из оренбургского дома, могла попасть в места смоленские? Хотя пути и книг, и людей в нашем бурном веке неисповедимы.

Ого, "историк-краевед и фольклорист" накопил изрядно. Его материалы - в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ф. 1451), Московском отделении архива Академии наук (ф. 480), в отделах рукописей "Салтыковки" (ф. 278) и Государственного

Исторического музея (ф. 8); тут многие десятки единиц хранения, относящихся к середине XIX века и последующих ста с лишним лет.

Фонд Гослитмузея в указателе не значится. По какой-то причине не вошел. "В фольклорном отделе..." Странное место нахождения отнюдь не фольклорного источника.

В последний раз книгу видели в Оренбурге не позднее февраля 1939 года (время сдачи в набор сборника "Т. Г. Шевченко в ссылке"), конечная дата жизни Ефременкова - 1941-й. А все-таки, как на самом деле архивный раритет за те два года мог перемахнуть через тысячи километров - с Южного Урала почти до западной границы России?

Эта загадка тоже в архиве, и нигде, кроме архива.

Поинтересовался: где именно он располагается? В бывшей квартире Анатолия Васильевича Луначарского, рядом с мемориальным его музеем, в непосредственной близости от Арбата.

...Тридцать с лишним лет думал я о "тетради-хронике" Кутаных там, где она велась. Отныне нить поиска протянулась к Москве. Не поехать туда было выше моих сил.

- Эврика! Я нашел! - воскликнул еще до нашей эры великий грек Архимед, догадавшись, что он открыл основной закон будущей гидростатики.

Эвристика - от греческого слова, переводимого как "нахожу", - "совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и отыскания истины; метод обучения, способствующий развитию находчивости, активности" (Словарь иностранных слов. - 1983, с. 570).

"Архивная эвристика", "библиографическая эвристика" - поиск в архивах, книгах и других материалах, как главный источник изучения личности и эпохи.

"Ищите да обрящите" - наставляет всех нас Библия. Главный принцип эвристики сформулирован еще в Священном писании.

Она, эвристика, прежде всего архивная и лежит в основе всего, что делал и делает автор на протяжении десятилетий своей исследовательской работы в литературе и истории. Из книг о Тарасе Шевченко явствует это всего более.

И вот еще один архив на путях шевченковских моих поисков. Звонок у массивной двери подъезда.

- Что угодно?

- В Литературный музей.

- Открывайте.

"Сезам, откройся" срабатывает. Несколько ступеней ведут вверх. Там два милиционера и вполне цивилизная девушка. Извлекаю документ, но ни им, ни мною не интересуются.

- Лифт, пятый этаж.

Понимаю, что охраняют не "Луначарского" и не архив в его квартире. То, на пятом, молодым бездельникам (да простят они меня, если ошибся) глубоко безразлично. Приставлены они к банку, фирме или другим, на фасаде не обозначенным, учреждениям совсем иного толка. А может, к богатеям-нуворишам, пекущимся о безопасности своего тела и покоев. Времена изменились, дух Анатолия Васильевича в подъезде более не витает. Не модно...

Размышления в лифте там и остаются, едва переступаю порог заветных апартаментов.

- Здравствуйте, Светлана Андреевна!

Она родилась, росла, училась на Украине. Закончила Киевский университет. Потом переехала в Подмоскovie - с мужем-офицером. Работала в столичном экскурсионном ведомстве, водила и возила экскурсантов со всех концов державы, тогда еще великой, нерасчлененной. Узнала Москву - особенно литературную - досконально. Приглашение на научную работу в Гослитмузей приняла с радостью и работает тут с удовольствием. Каждый день по несколько часов - в электричках (ее "Угольная" не ближний свет), зато сколько приятного в кропотливых поисках, в общении с исследователями.

Ее "конек" - как и писала мне - Лермонтов.

Позже, при расставании, она подарила "в знак знакомства и дружбы" два последних выпуска научного сборника "Тарханский вестник". Основу основ в том и другом составил ее большой исследовательский очерк "Московской тропой поэта". Интереснейший, увлекательнейший, доложу вам, очерк; прочтя его, я пожалел, что не могу поделиться впечатлениями со своим добрым гением Ираклием Луарсабовичем Андрониковым - многое почерпнул бы отсюда даже он, великий знаток всего о Лермонтове.

А какое к очерку посвящение! "Моему Кастальскому ключу..." Это прекрасно, это поэтично. Прямое опровержение того, что архивисты - "казенные", "сухие" люди.

Шевченко любил Лермонтова больше, чем других русских поэтов.

Бойко любит и Лермонтова, и Шевченко.

Но изучает она не Шевченко, а Лермонтова, и в литературу о бессмертном Тарасе ее имя я ввожу первым. Ведь это она стала для меня гидом на новом витке моей шевченковской - архивной эвристики.

Фонд 427, дело 21 - "Записная книга домовладельца Аполлона Кутана, у которого якобы останавливался на квартире Т. Г. Шевченко (Оренбург)". Так в описи.

На обложке иначе - без "якобы" в тексте, зато с фамилией собирателя на первом плане: "В. К. Ефременков. Хронологическая книга Аполлона Кутана, домохозяина, у коего проживал на квартире в годы оренбургской ссылки великий украинский поэт Т. Г. Шевченко".

Тут же вклеен "Анкетно-паспортный листок Ефременкова приобретения":

I. Название приобретения - Хронологическая книга Оренбургского жильца.

II. Место приобретения - Оренбург, в 1943 году.

III. От кого? Чкаловской жительницы Кутаной.

IV. История возникновения рукописи - Хронологическая книга, принадлежавшая ранее оренбургскому домовладельцу Кутану Аполлону Михайловичу, у которого жил великий украинский поэт Т. Г. Шевченко в годы ссылки.

V. Приобрел любитель русской словесности и автографов, коллекционер, краевед-фольклорист Починковского района Смоленской области, г. Починок, Василий Ефременков.

VI. Дата заполнения анкеты - 15 сентября 1943, г. Оренбург, читальный зал агитпункта, стол у окна, угол Советской и Горсоветской".

Экая точность: куда выходили окна и за каким столом сидел в тот день посреди Отечественной. Но ведь только что собиратель купил и унес с собою нечто важное, тешащее душу коллекционера, и он не стал идти домой, зашел туда, где бывал не раз, разглядывает свое приобретение со всех сторон, а заодно составляет его паспорт. Как сдается Ефременкову, по всем архивным правилам...

Но он же, судя по указателю личных архивных фондов, умер в 1941-м! Нет, там явная ошибка. Если и умер, то не тогда.

Какие вопросы "анкетно-паспортный листок" рождает еще?

Книга приобретена у Кутаной... Хоть бы инициалы дал, это существенно. Хронологическая книга, принадлежавшая домовладельцу Кутану Аполлону Михайловичу... Однако, во-первых, хронология - это "перечень каких-либо событий в их временной последовательности", а в книге с самого начала апрель 1843 соседствует с июнем 1854 и, тут же, с июнем 1855, после чего идут записи 1845-1846. И, во-вторых, как давно я установил, хозяином дома до самой своей смерти был вовсе не Аполлон Михайлович, но Михаил Иванович, его отец.

То и другое существенно. Одно - для меня, прочее - не для меня только. Для начала - прояснение того, кто был кто в кутанском семействе шевченковских времен. Кто есть кто?

Приведу справки из своего же энциклопедического тома "Вокруг Шевченко", законченного до того, как состоялась моя встреча с заветной тетрадью.

Итак...

КУТИН, Михаил Иванович - чиновник (вагстемпельмейстер) Оренбургской пограничной таможни (Госархив Оренбургской области, ф. 172, оп. Ъ, д. И), владелец дома на углу Преображенской улицы и Канонирского переулка (ныне угол улицы 8 Марта и переулка Шевченко). В этом доме снимал квартиру Ф. М. Лазаревский. Сюда Шевченко впервые пришел в первые дни по доставке его в Оренбург (июнь 1847). Тут он проводил много времени в течение "оренбургской зимы" 1849-1850, встречался с друзьями. Здесь провел и ночь с 22 на 23 апреля 1850 после обыска, произведенного в его квартире в доме К. И. Герна.

М. П. Кутан вел с 1822 по 1865 годы семейную тетрадь-хронику, но она не сохранилась. Сначала оказались неизвестно кем вырванными листы за 1849-1850, а затем, уже в конце 30-х годов XIX столетия, исчезла и тетрадь в целом.

КУТИН А, Александра Петровна - жена М. И. Кутана. (ГАОО, ф. 172, оп. 3, д. И.) Как хозяйка дома, Кутана принимала и потчевала Шевченко. С ее слов записал воспоминания о посещении поэтом дома Кутаных П. Л. Юдин: "Ходил он по городу всегда в солдатской шинели..." (Запись здесь уже цитировалась.)

КУТИН, Аполлон Михайлович - сын М. И. и А. П. Кутаных. А. Кутан родился в 1831-1832 гг.; учился в Оренбургском уездном училище, которое в 1850 окончил. (ГАОО, ф. 77, оп. 1, д. 1, л. 18.) Впоследствии - чиновник Оренбургского отделения государственного банка.

Справка дается в связи с укоренившейся в литературе путаницей: владельцем дома, в котором бывал Шевченко, называют Аполлона, а не М. И. и А. П. Кутаных, владевших им в то время. (Статьи Н. Прянишникова и А. Бочагова в сб. "Т. Г. Шевченко в ссылке" (Чкалов, 1939); А. Ведмицкий - "Т. Шевченко в оренбургской ссылке" (Оренбургское книжное издательство, 1960) и др.)

В пересказе Н. И. Кутаной, вдовы оренбургского врача М. А. Кутана (являвшегося сыном Аполлона Михайловича), известны и его изустные воспоминания о Шевченко. ("Т. Г. Шевченко в ссылке", с. 168-169.) Они свидетельствуют, что Аполлон Кутан, живя в доме, поэта видел. На основании записи в указанном выше архивном деле, у Кутаных была также дочь Татьяна, жившая в 1849-1850 гг. вместе с родителями.

Справки эти, надеюсь, полезны и для нынешнего моего повествования. Знать, кто есть кто, всегда важно.

Еще не видя тетради, загорелся я желанием иметь к своему приезду в Москву точную копию. Согласен был на микрофильм, фото, ксерокс - любой способ воспроизведения рукописи со всеми ее особенностями. Сулил уплатить сколько потребуется.

Более в таких делах опытная Светлана Андреевна просьбе моей хода не дала. Уже в архиве понял: сколько-нибудь разборчивую копию могли бы выполнить, и то не без изобретательности, разве что в условиях первоклассной криминалистической лаборатории, причем тоже без всяких гарантий.

Стерлись или поблекли записи карандашные, на многих листах выцвели чернила, грубые следы оставили не всегда чистые пальцы. Многое оказалось зачеркнутым или перечеркнутым по минованию практической надобности.

Это была сугубо рабочая книга - для записи прибытия и убытия квартирантов, доходов и расходов, хозяйственных дел и трат, а попутно, как бы между делом, также каких-то иных событий - семейных, городских, губернских.

Хозяин, Михаил Иванович, записывал без всякой системы действительно "с конца, с начала и кругом"; сам в этой своей круговерти он кое-как ориентировался, тем и был доволен.

Книга для общего пользования не предназначалась - а уж для чтения в будущем столетии и подавно.

Несколько слов о листах вырванных или вырезанных - в общем, отсутствующих. Они тут не в одном месте - по всей тетради.

Листа два - перед 17-м, один (может, и больше) - перед 23-м, несколько - после 27-го, перед 34-м, после 45-го, перед 50-м, выдрано на пороге 60-го, между 66-м и 67-м листом, после 72-го, 76-го, 94-го.

Раны тяжелые и давние, незаживающие и ~ кровоточащие. По-особому болезненные еще и потому, что нанес их тебе, вероятно, сам либо изувечил тебя кто-то совсем близкий.

Из статьи Н. Е. Прянишникова: "...К сожалению, порядочное количество листов из этой книжки кем-то хищнически вырезано (Н. И. Кутана не раз давала книжку разным лицам), и возможно, что на вырезанных листах были записи о самом Шевченко".

Из статьи А. К. Бочагова, а точнее, из приведенного в ней подлинного свидетельства самой же Натальи Илларионовны Кутиной: "...В этой тетради... была запись о том, что Т. Г. Шевченко жил у них на квартире в той части дома, которая выходила на Канонирский переулок... Когда я получила эту тетрадь, оказалось, что очень много листов было вырезано и как раз за те годы, где была запись о Шевченко. Кто вырезал эти листки, я не знаю..."

За те годы? Но с первой же страницы убеждаешься: записи с самого начала идут вперемежку, хронологически однородных блоков в тетради нет. И скорее всего не было. "Хозяин-барин..." Требовалось записать нечто для памяти - брал в руки книжку, открывал ее в любом месте, записывал на первом попавшемся чистом листе или на свободной площади уже начатой страницы. Как же можно утверждать, что двенадцать (!) вырезов и выдирок, по несколько листов каждая, или хотя бы часть из них, относятся к тому сравнительно короткому времени, когда в этом доме мог "жить" (а если точнее, то бывать) поэт-солдат? Почему из материалов, покрывающих более чем сорокалетний отрезок времени, должны были изыматься листы с записями только двух месяцев в 1849 году и четырех в 1850-м? Ради одной "записи о Т. Шевченко" - два-три десятка листов из разных мест?

"Хищнически вырезано..." В большинстве случаев не вырезано, а выдрано, причем без всяких предосторожностей, грубо... Объяснение? Из книги реликвию не делали, на нее не молились, она всегда была на виду. А мало ли на что может экстренно понадобиться листок бумаги? Уместно сказать, что тогда ее, бумаги, выпускали много меньше нынешнего...

Ну, а касательно "записи о Т. Шевченко", то предположения на сей счет еще впереди. Додумаю и - выскажусь.

109 листов. Отсутствующие не в счет. Это лишь те, которые доступны прочтению.

Что тут для меня главное? Что ищу и хочу найти?

Прежде всего то, что может, пусть косвенно, иметь отношение к Шевченко, а также к тем, кого он знал и кто знал его.

"...Адъютант г. поручик Михайлов перешел к нам на квартиру 15 мая 1845 платою по 20 ассигнаций в месяц". (Л. 10.)

(Уже старшим адъютантам и штабс-капитанам он скрепит своей подписью официальное письмо 1849 г. о прикомандировании Шевченко к А. И. Бутакову "для окончательных работ по описи Аральского моря".)

"...Г. старший адъютант Усков Иракий Александрович перешел к нам на квартиру 12 мая 1849 г. с платою 20 асс. в месяц".

(Тот самый Усков - будущий комендант Новопетровского укрепления, будущий многолетний и искренний друг Тараса.)

Тут же записи о получении платы: в июне... в июле... в сентябре... (Л. 31.)

"...Г. Лазаревский приехал к нам из степи 8 апреля 1850 года". (Л. 38 об.)

(Шевченко ждал его возвращения после отнюдь не мимолетной поездки; любая командировка "в степь" растягивалась тогда на месяцы.)

"...Вместо г. Лазаревского перешел к нам на квартиру с 16 декабря 1849 года г. Ксенофонт <Егорович> Поспелов, имеющий чин поручика, с платою по 20 р. асс. в месяц". (Л.

39.) "...Среднюю комнату занял он с 6 апреля 1850 по 5 р. асс. С 7 мая занял квартиру Г. Лазаревский по 25 р. асс. в месяц. Г. Лазаревский уехал 31 мая..." (Л. 40.)

(Сколько нового для шевченковской биографии! Точная дата выезда Федора Лазаревского в долгую его степную командировку и, следовательно, расставания Шевченко с другом-земляком. Неопровержимое свидетельство того, что с отъездом Федора дом Кутана не перестал быть для него притягательным центром. О, нет - сюда переселился Поспелов, с которым он особенно сблизился в Аральской экспедиции. Вернулся Лазаревский - Поспелов уступил ему первые, и главные, комнаты квартиры, а сам переместился в "среднюю" комнату. Уехал он (не позднее 6 мая 1850-го) - Федор стал "хозяином" всей этой части дома. Правда, ненадолго: в последний день мая отбыл в командировку новую. Легко сосчитать, когда они были тут вдвоем с Лазаревским, втроем-с Лазаревским и Поспеловым, снова вдвоем. Важные сведения из жизни шевченковского дома...)

"...Чиновник Пограничной комиссии (столоничальник) Александр Васильевич Орлов перешел ко мне на квартиру 12 августа 1850 года..." (Л. 41.)

(И Орлов, выходит, тут жил - еще один знакомый и приятель Шевченко в бытность его в Оренбурге; их добрые, доверительные отношения подтверждены документально, автор писал о них в третьем томе своей "Были о Тарасе".)

"...Чиновник особых поручений коллежский асессор Федор Матвеевич Лазаревский переехал к нам на квартиру 22 мая 1851 года..." (Л. 43.)

(Дому Кутана его квартиранты оставались верны - он их к себе притягивал).

Да, это был по-особому близкий ему дом. Здесь жили его друзья, его добрые знакомые. Недруги стали появляться в нем гораздо позже.

"...Г. Барховец перешел к нам на квартиру 6 ноября 1857 года по 5р. сер. в месяц.

Получено в задаток 3 р.

Перешел на другую квартиру 12 числа". (Л. 84.)

"Барховец" - это же Бархвиц! Знакомый Шевченко по Орской крепости. Прикидывавшийся приятелем, офицер Бархвиц доставил Тарасу немало горьких разочарований. В том же 1857-м,

на Мангышлаке, он в своем Дневнике записал: "Искорени друзей, подобных... Бархвицу... это дрянь, мелочь..." ...Но не тем дом Кутана будь помянут.

На страницах книги - атмосфера дома, семьи оренбургского обывателя среднего достатка. Не богатого, хотя и не бедного. "Университетов не проходившего", но достаточно по тем временам грамотного. В меру честолюбивого, поборника порядка, преданного семье.

"...Аполлонычка отправлен в Гурьев-городок 10 мая 1850 года.

...Аполлон приехал из Гурьева-городка 15 февраля 1853 года, а из Оренбурга уехал обратно в Гурьев к своей должности 29 апреля в 7 часа пополудни". (Л. 45 об.)

(Это о сыне Аполлоне, который в оренбургские месяцы Т. Шевченко заканчивал уездное училище и готовился к чиновничьей службе; они, конечно же, были знакомы).

"...Танечку и Машеньку отдали для обучения к Александре Степановне 1849 года, января 18 дня по 8 р. асе. в месяц. (Л. 27.)

...Таня... начала учиться танцевать с 23 октября 1849 года с платою по 10 р. сер. каждый год. (Л. 12 об.)

...Таня и Маша отданы учиться к г-же Малюге 9-го января 1851 года". (Л. 45.)

(Знавал Шевченко и дочерей хозяина, по крайней мере, видел их.)

"...Брат жены моей Николай Петрович Сычугов помер в ночь на 19-е число августа 1858 г. в госпитале..." (Л. 97 об.)

(Следовательно, А. П. Кутана, урожденная Сычугова, принадлежала к семье уральских казаков, занимавших достаточно видное положение в войске.)

"...Представление о награждении меня знаком отличия беспорочной службы за XV лет послано через почту в Департамент внешней торговли из канцелярии г. начальника округа 26 февраля

1852 года".

Приписка: "Этот знак отличия получил я 28 декабря 1853 года". (Л. 44 об.)

(Полтора десятка лет честной работы в Оренбургском таможенном округе. Гордился Михаил Иванович и наградой, и делом...)

Занимало его многое и разное.

"...19 апреля 1843 года праздновано было столетие г. Оренбургу. (Л. 6 об.)

...В музыкантском хоре хороший скрипач первый Павел Третьяковский... (Л. 10 об.)

...Слона, приведенного с караваном в 1848, отправлено из Оренбурга в Санкт-Петербург 25 мая 1849 года. (Л. 30.)

...Г. генерал-губернатор Перовский отправился из Оренбурга в Хиву 17 мая 1853 года. (Л. 50.)

...1860 года октября 31 дня умер польский ксендз Зеленко, 3 ноября схоронен в ограде костела. (Л. 94 об.)

...18 ноября 1853 года приехал в Оренбург новый архиерей - Антоний. (Л. 98.)

...В 1852 году лед на Урале прошел апреля 21 дни и сильная была вода..." (Л. 99.)

Но тут же сугубо домашнее.

"...1855 июня 1-го в 8 часов утра родилась внучка Ольга. (Л. 6 об.)

...Работник Мухамет Латиф перешел к нам жить 30 июня 1847 года с платою по 5 асе. в м-ц. (Л. 19.)

...Продад лошадь с бричкой 26 ноября 1849 года некоему драгуну... (Л. 28.)

...Взято из лавки купца Дюкова 1850, генваря 16-го, сахару, чаю, трехлитровый самовар... (Л. 28 об.)

...1863 года генваря в ночи на 3 число родился внук Михаила..." (Л. 41 об.)

Впоследствии этот самый Михаил, сын Аполлона, станет "доктором Кутиным", вдове которого суждено будет сохранить и семейную тетрадь, и семейные воспоминания о Шевченко.<sup>10</sup>

Но как эта реликвия оказалась у Ефременкова?

Раньше о том, кто он сам.

Отец его был крестьянином, а потом рабочим, погиб от несчастного случая еще до рождения сына. Мать, крестьянка, оставила его совсем маленьким - умерла в 1930-м. Закончив семь классов, стал работать учеником продавца, а затем и продавцом в книжном магазине. Тогда же приобщился к чтению, особенно книг по истории, увлекся краеведением, собиранием фольклора. По мере взросления его страстью становился также сбор всевозможных материалов для будущего местного музея, для "исторической памяти" - архивов.

С юных лет Василий болел туберкулезом. От военной службы его освободили. Негодным признали и с началом Отечественной - уволили подчистую.

Подступал враг - вместе с другими земляками эвакуировался на восток. Эшелон доставил смолян в Чкалов - Оренбург.

Такой была внешняя канва его жизни.

Работал, где удавалось, кормился чем попало и... оставался самим собою. Продолжал собирать фольклор, записывал рассказы фронтовиков. Чтобы находиться ближе к источникам драгоценных свидетельств, устроился в военный госпиталь. Так набралось 48 устных рассказов и большое число набросков по теме Великая Отечественная война в русском говоре".

Множество частушек записал от неистоцимой Тамары Приходько... От разных людей, опаленных войной, - несколько вариантов песни "Синий платочек"... Еще и еще - из народной памяти, народных сердец...



Делал все, что ему приказывали, лишь бы оставаться поближе к истинному кладу - фольклору бывалых. И день за днем заполнялись его тетради... Жаль, что сегодняшние исследователи до них еще не добрались.

Годы спустя, уже в мирное время, обратился он в фольклорный отдел Гослитмузея. Вместе с записями устного творчества попало туда и "кое-что" еще.

Под номером 51-м в фонде 393 значится "Дневник коллекционера". Коллекционер - тот же Ефременков.

"16 июля 1943 года.

Одна из торговек чкаловского базара дала обещание связать меня с какой-то горожанкой, у которой имеются рукописи, фотографии и открытки известных личностей.

17 июля

Вновь встретил рыночную торговку, заявившую мне о том, что та горожанка ничего не имеет против моего посещения. Сообщила адрес.

18 июля

Навестил Пролетарскую улицу, дом № 58. Стою у одноэтажного приличного каменного домика. Нажимаю кнопку электрозвонка. Дверь открывается. Встречает сама хозяйка. - Заходите к нам в комнату.

Вхожу в светлую просторную горницу с большими окнами. Уют, чистота. Присаживаюсь в мягкое кресло. Объясняю визит.

Оказывается, я попал к дочери хозяина дома, в котором жил когда-то великий украинский поэт Шевченко. Отец Кутаной давным-давно помер от глубокой старости, оставив в потомстве трех дочерей, из коих эта проживает по Пролетарской. 2-я дочь по Почтовому переулку в доме № 11 под фамилией Вера Аполлоновна Бромстрем. 3-я живет на улице ... зовут ... (так в "дневнике" - слушая, не записывал, надеясь на память, но она подвела. - Л. Б.). Все эти личности взял на учет и в ближайшее время навещу.

Гр-ка Кутана предоставила в мое распоряжение целую кипу наследственных бумаг отца ее. Тут были родословные, предсмертное завещание и т. п. Из всех бумаг отобрал лишь несколько, в т. ч. выкупил открытки с собственноручными письмами известной дореволюционной артистки Марии Карпинской. Всего куплено на 150 рублей..."

Увлеченность была - критериев отбора не" было. Подводила невысокая общая культура, мешала всеядность, распыленность поиска. Сегодня бегал за якобы сохранившимися письмами Льва Толстого, завтра за человеком, который знал писателя Гусева-Оренбургского, тут же загорался желанием купить рукописные страницы истории Оренбурга, писанной в начале века, соблазняясь "ревизской сказкой из имущества писателя Аксакова"... - что-то покупал, с огорчением считая немногие свои рубли, чему-то сокрушался, в чем-то разочаровывался, но... остановиться не мог.

Не прервались и его связи с Кутаными. "... 27 июля.

Навестил второй дом сестры Кутаной, проживающей по Почтовому переулку в доме № 15. Кроме портрета ее отца и матери ничего не оказалось. Портреты огромного формата. Чуть было не выкупил, но потом решил подумать... .. 29 июля.

Навестил вдову Кутину. Навестил напрасно, раздумала продавать...

... 2 августа.

Отыскал 3-ю дочь Кутаной, которая замужем за зубным врачом. Кутана встретила мой визит весьма откровенно и показала ряд семейных альбомов, из коих я приобрел <...> фотографий. (Цифра в дневнике пропущена. - Л. Б.). В частности, фотографии отца с матерью..."

Фотография сохранилась в том самом фонде, что и "дневник коллекционера". Сам же дневник восторга у меня не вызвал: рассчитывал (и вправду был рассчитывать) на большее, прежде всего по части Кутаных, встреч с ними, описания увиденного и услышанного при их посещении.

Дневник не ответил на вопросы элементарные - например, с кем конкретно, по имени-отчеству, разговаривал Ефременков на Пролетарской, что раздумала продавать "вдова Кутана", кто же конкретно хранил и передал (продал!) ему ценнейший документ - «семейную тетрадь», "записную книгу", "хронологическую книгу" или как ее еще называли? Что ж, человеком он был не слишком грамотным, о Шевченко знал немного, отличить важное от неважного в отношении его не мог, целей научных перед собою не ставил. Упрекать энтузиаста не буду.

Спасибо ему уже за то, что книга дома Кутаных, претерпев многое, сохранилась, выжила и будет жить. Нет на земле места надежнее, чем Архив.

Обещания надо выполнять, и под конец своего повествования я возвращаюсь к "записям" или "записи" о самом Шевченко, будто бы имевшимся (имевшейся) на вырванных листах. Напомню, что свидетельствовала об этом Н. И. Кутана, для которой "учредитель" и хозяин книги Михаил Иванович был свекром; она его знала не понаслышке - лично.

Так вот - квартировать в доме сем Шевченко не мог (его перемещения в Оренбурге более или менее ясны), бывал же тут постоянно. То у официального квартиранта Федора Лазаревского, то у другого официального - Пospelова. Приходилось ночевать. Но дом не гостиница, дополнительных расчетов в таких случаях не требовалось, и Кутан, при всей, своей скрупулезности, заводить особые счета на гостя вправе себя не считал.

Выходит, шевченковского в "семейной книге" не было и быть не могло? Утверждать это не смею.

В то время в домах водились альбомы, содержавшие разного рода записи "на добрую память". Один запишет свою или чужую мысль, по возможности, "мудрую", другой - стихотворение, третий что-то изобразит. Хозяевам, особенно молодым, как и гостям дома, - это развлечение.

Сорок с лишним лет вел такой альбом Федор Лазаревский. Иной раз записи в нем буквально фонтанировали, а бывало, что про него забывали надолго - на годы. Сопутствовал он Федору и в Оренбурге. Со временем образовалась солидная антология поэзии, любезной сердцу молодых чиновников, отнюдь не ретроградов. Кого только тут нет: Пушкин, Кольцов, Тютчев, Лермонтов, Жуковский, Полежаев ("В России чтут царя и кнут. В ней царь с кнутом, что поп с крестом")...

Украинское в альбоме молодых украинцев впервые появилось в те дни, когда на квартиру Лазаревского в доме Кутана пришел, по настоятельному приглашению земляка, отданный за стихи свои в солдаты Тарас Шевченко.

Де ти, хмелю, зимовав,  
Що и не розвивався?  
Де ти, сину, ночевав,  
Що и не раздягався?..

Под записью - июньская дата 1847-го. Поэзия, песни Украины звучат и дальше, среди записей последующих лет. Есть тут собственноручные шевченковские.

А фамилии Шевченко ни здесь, ни где-то еще нет...

Кто он такой, чем он прославился и одновременно провинился, знали в этом доме и квартиранты, и хозяева. В минуты непринужденного общения Кутаны вполне могли раскрыть перед ним чистые листы семейной тетради: напишите, мол, Тарас Григорьевич, оставьте память. Как откажешь?

Но если смотреть в корень, то резонно усомниться: автографами всегда дорожат, их берегут и вырывать из домашней книги наверняка не решатся.

Сделал кто-то корысти ради? В таком случае листок с автографом давно уже всплыл бы на поверхность и дал о себе знать. Листок или листки...

Ничего другого сказать насчет этого не могу.

## НАБАТОВ ИЗ «ВОСКРЕСЕНИЯ»

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Один из вошедших был невысокий сухощавый молодой человек в крытом полушубке и высоких сапогах. Он шел легкой и быстрой походкой, неся два дымящихся больших чайника с горячей водой и придерживая под мышкой завернутый в платок хлеб.

- Ну, вот и князь наш объявился, - сказал он, ставя чайник среди чашей и передавая хлеб Масловой. - Чудесные штуки мы накупили, - проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через головы в угол нар. - Маркел молока и яиц купил; просто бал нынче будет. А Кирилловна все свою эстетическую чистоту наводит, - сказал он, улыбаясь, глядя на Ранцеву. - Ну, теперь заваривай чай, - обратился он к ней.

От всей наружности этого человека, от его движений, звука его голоса, взгляда веяло бодростью и веселостью..."

Так входит в камеру политических еще один, дотоле нам незнакомый ее обитатель. Так появляется в "Воскресении" новый персонаж. Немного страниц остается до конца романа, но мы успеваем узнать этого человека - его жизнь, характер, духовный склад.

Герой, с которым читатель впервые знакомится только в двенадцатой главе третьей части произведения, глубоко симпатичен Толстому. Искренность такого отношения, такого чувства подтверждается каждой строкой и каждым штрихом.

Имя этого героя - Набатов.

На сибирском этапе, где разворачивается значительная часть толстовского романа, мы встречаем многих людей, проникнутых ненавистью к социальной несправедливости, стремлением к достойному устройству человеческого общества.

Они различны: мирная социалистка Мария Павловна, идущая на каторгу ради спасения других, и оправдывающий все средства борьбы Новодворов, поборник терпеливого воспитания народа Симонсон и решительный пролетарий Кондратьев. Различны по характеру своей деятельности (как и по отношению к ним автора) Ранцева и Богодуховская, Крыльцов и Набатов.

Осуждая революционные методы борьбы, революционное насилие как способ разрешения коренных социальных проблем, Толстой, конечно, не мог создать по-настоящему глубокие, правдивые образы революционеров. Во многих из них на первый план выдвинуты личные отрицательные черты; некоторые из этих людей писателю откровенно чужды.

Тем не менее именно с революционерами связывает художник-реалист нравственное воскресение, возрождение Катюши Масловой. Толстому дороги их бескорыстная самоотреченность, стремление помочь обездоленным, несомненное моральное превосходство.

Черты такого превосходства несут в себе почти все представители этой человеческой галереи. Одни наделены ими в меньшей степени, другие в большей, но в целом автор имеет возможность и право подчеркнуть, что "таких чудесных людей" Маслова прежде "не могла себе представить". "Она очень легко и без усилия поняла мотивы, руководившие этими людьми, и, как человек из народа, вполне сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за народ против господ". Сочувствует новым героям романа, несмотря на противоречивость своих взглядов, и сам Толстой.

Однако лишь отдельные из них близки ему до конца. Не случайно дальнейшую судьбу Масловой Толстой соединяет с судьбой Симонсона. Он, типичный толстовец, служит для автора "Воскресения" как бы этическим идеалом.

Ну, а политическим? При выяснении политического идеала на первый план выдвигается не кто другой, как Набатов - "крестьянин Набатов".

Именно этими двумя словами представляет его нам Толстой, и мы понимаем, что акцентирование крестьянского происхождения, крестьянской принадлежности Набатова отнюдь не случайно.

Толстой обстоятельно рассказывает о жизни, взглядах, моральном облике человека из народа.

В революционное движение Набатов вступил с восемнадцати лет. "Выдающиеся способности" позволили ему попасть из сельской школы в гимназию, где он, кормя себя уроками, закончил курс с золотой медалью. Это открывало возможности учиться дальше. Но Набатов поступил писарем в село, где занимался чтением крестьянам книжек, организацией "потребительского и производительного товарищества". За это его арестовали. После восьмимесячного пребывания в тюрьме он был выпущен под негласный надзор полиции, но начатой деятельностью не прекратил. Выехав в другую губернию и устроившись там сельским учителем, Набатов "делал то же самое". Новое тюремное заключение было более длительным - год и два месяца. В тюрьме "он еще укрепился в своих убеждениях".

Ссылка, побег, тюрьма, новая ссылка - "так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме и ссылке". Но это не ослабило, а напротив, еще более разожгло его энергию. "Это был подвижной человек с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, веселый и бодрый. Он никогда ни в чем не раскаивался и ничего далеко вперед не загадывал, а всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле, он работал для той цели, которую он себе поставил, а именно: просвещение, сплочение рабочего, преимущественно крестьянского народа; когда же он был в неволе, он действовал так же энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наилучшей в данных условиях жизни не для себя только, но и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую - и физическую и умственную работу, не покладая рук, без сна, без еды". Крестьянскими качествами Набатова Толстой считает и то, что "он был трудолюбив, сметлив, ловок в работах", и то, что этот человек "естественно воздержан и без усилия учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других", и его заботу о старухе-матери, и религиозные взгляды. "Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как лучше жить в нем, всегда стоял перед ним".

В чем состояли революционные взгляды Набатова?

"Когда он думал и говорил о том, что даст революция народу, он всегда представлял себе тот самый народ, из которого он вышел, в тех же почти условиях, но только с землей и без господ и чиновников. Революция, в его представлении, не должна была изменить основные формы жизни народа - в этом он не сходил с Новодворовым и последователем Новодворова Маркелом Кондратьевым, - революция, по его мнению, не должна была ломать всего здания, а должна была только иначе распределить внутренние помещения этого прекрасного, прочного, огромного, горячо любимого им старого здания".

Как не приходится сомневаться, что Набатов действительно из крестьян, так уже из этой характеристики видно: и его политическая программа отражает стремления именно крестьянства - патриархального крестьянства того времени. Оно научилось ненавидеть своих эксплуататоров, оно осознало причины страданий, но не знает, как сбросить с шеи многочисленных мироедов, и питает на этот счет самые легковесные иллюзии.

Иллюзии Набатова, иллюзии представляемого им крестьянства - это иллюзии самого Толстого. Набатов близок, ясен писателю, и невольно возникает мысль, что если бы не было в романе Симонсона, то автор "Воскресения" вручил бы судьбу Катюши Масловой не кому другому, а только ему.

Последующие страницы (расширяют и обогащают характеристику, данную Набатову при первом с ним знакомстве, подчеркивают симпатии Толстого к этому человеку.

Мы узнаем о его "преданной и чистой" любви к Эмилии Ранцевой, разлученной с мужем и ребенком. "Он, нравственный и твердый человек, друг ее мужа, старался обращаться с ней как с сестрой, но в отношениях его к ней проскальзывало нечто большее, и это нечто большее пугало их обоих и вместе с тем украшало теперь их трудную жизнь".

Мы слышим голос Набатова в идейном споре политических, происходившем в присутствии Масловой и Нехлюдова. Это был спор о путях, которыми должен идти народ. Нехлюдову захотелось услышать мнение Катюши, и он спросил ее "с робостью о том, что она скажет что-нибудь не то".

"- Я думаю, обижен простой народ, - сказала она, вся вспыхнув, - очень уж обижен простой народ.

- Верно, Михайловна, верно, - крикнул Набатов, - дюже обижен народ. Надо, чтобы не обижали его. В этом все наше дело".

Таким образом, именно он раньше других поддержал Катюшу в ее первом, робком политическом высказывании. Поддержал темпераментно, с душой.

Мы видим, чувствуем искреннее участие Набатова и в других заключенных. Таков он в мимолетном разговоре с Бузовкиным об одном из событий, волновавшем камеры уголовных. Он, Набатов, "везде ходивший, со всеми входивший в сношения, все наблюдавший", принес весть о найденной на стене записке революционера Петлина. Всегда и всюду старается Набатов изгонять уныние, поддерживать в людях бодрость.

Мы расстаемся с Набатовым в момент последних сборов перед отправкой этапа дальше. Толстой отмечает лишь то, что он, Ранцева и еще одна женщина сидели на второй телеге. Никаких подробностей, никаких слов. Но в молчаливом, сдержанном расставании - не разочарование и не равнодушие, а надежда на новые встречи, уверенность в том, что они будут.

До этого Набатов занимал меня таким, каким он живет на страницах романа в его окончательной редакции.

Но есть еще один благодарный первоисточник изучения образа. Я имею в виду различные варианты "Воскресения". Известно, что работа над произведением протекала с переработками

и до сдачи в набор, и в ходе чтения корректур, и в процессе печатания. Причем на всех этапах не только переписывались отдельные куски, но и появлялись новые главы, менялись не только детали, но и характеристики персонажей, пересматривалось все отношение автора к некоторым из своих героев.

Шесть основных редакций прошел роман, прежде чем автор смог счесть свою работу законченной. Стоит заметить, что в границах каждой из этих редакций было (и дошло до нас то в черновиках, то в испещренных правкой корректурных оттисках) множество различных вариантов. Вслед за тридцать вторым томом Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, где опубликован роман "Воскресение", идет том тридцать третий (по размерам своим ничуть не меньший), который содержит в себе из этих вариантов лишь наиболее существенные, самостоятельные.

Они дают возможность проследить и творческую работу над образом Набатова.

Крестьянин-революционер в воображении и под пером писателя сложился сразу. Правда, от варианта к варианту образ претерпевал определенные изменения, но они не касались сути взглядов, методов, характера деятельности Набатова, а исходили только из желания

донести все наиболее ярко и полно. Никакой ломки, никакой перестройки в нем мы не видим. Это бросается в глаза тем более, что в отношении других революционеров, стоявших за применение насилия, такого постоянства нет. Политические колебания Толстого, противоречия в его взглядах сказались тут ощутимо.

Развернем же том черновых редакций романа.

Раньше всего стоит взять на заметку, что Набатов вместе с другими революционерами - народниками и народолюбцами, возник в "Воскресении" только в четвертой редакции.

Это было связано с усилением социальной проблематики, социального звучания произведения. Не стремление усложнить сюжет, но желание быть верным своему главному герою - правде, открыло путь на страницы романа и выдвинуло в ряд его ведущих героев целую группу политических ссыльных.

Каким предстает в этой, четвертой редакции Набатов?

С самого начала он входит в произведение энергичной походкой хозяина, без особых представлений и рекомендаций.

"В узенькой, аршин 5 ширины и 10 длины комнатке с одним окном за перегородкой были почему-то высокие нарты и между нартами и перегородкой пустое пространство в два аршина. В этом пустом пространстве стоял стол, который достал всегда бодрый и всех оживляющий Набатов... Набатов только что принес самовар, добытый от конвойного, и, перелезши через нарты и ноги Марьи Павловны, лежавшие на дороге, шел за молоком и столкнулся в дверях с Нехлюдовым.

- Идите, идите, у нас все прекрасно. Только вот странницы наши (это были Марья Павловна и Маслова) измочили. Вот молока хочу достать, - сказал он, вышел во двор и вступил в совещание с конвойным..."

Вот-вот закончился утомительный переход в бездорожье, холод и дождь. Все обитатели камеры политических устали, промокли, продрогли. А Набатов, который делил тяготы этапа с другими, думал не о собственном отдыхе, не о своем покое, а о том, как согреть и накормить товарищей.

Набатов принес крынку молока... "Всегда бодрый", - еще раз говорит о нем Толстой. Эта характеристика, прозвучавшая в одном отрывке дважды, является комментарием к короткому, но очень важному спору по поводу покорности народа. "Долго воспитывать", - с явным разочарованием произносит Семенов (позднее фигурирующий в романе как Крыльцов). "Вот мы это и делаем и будем делать", - спокойно отвечает Набатов. "Да, в Якутке, где нет людей..." - "И Якутка не вечная". Приведенный тут диалог сразу вводит во внутренний мир человека, в круг его настроений и взглядов.

Он, Набатов, поддерживает связи не только внутри этапа, но и с внешним миром. Буквально на следующей странице той же, четвертой редакции Толстой рисует группу политических, слушающих, как Набатов, стоя под лампой, "читал вслух мелко написанный листок почтовой бумаги, вымазанный товарищем прокурора, который его читал, чем-то желтым". Новости в письме были недобрыми: один погибает в тюрьме, другой взят и осужден, третий уехал за границу. Но Набатов видит и меж строк. Он радуется тому, что ряд друзей благополучно продолжает работу, а значит, борьба не прекращена. И снова многозначительный диалог:

"- Хорошего мало. Не взяли нынче, так завтра возьмут. Не могу забыть Герцена слов: "Чингисхан с телеграфом", - заговорил Семенов. - Он всех задушит.

- Ну, не всех. Я не дамся.

- Да, не дашься, а вот сидишь в кутузке.

- Покамест сажу. Дай срок".

Набатов весь в будущем. Ради завтрашнего дня, который он мечтает отдать на пользу народа, этот человек готов вынести любые лишения, любые невзгоды. Перед его глазами

проходят замученные, казненные. Он знал их живыми, деятельными. Но нет, дело, которое они вели, не угаснет!

Все это передается Толстым через восприятие Нехлюдова. И Нехлюдов с гневом, с душевной болью говорит о "жестких", "незаслуженных" страданиях, которые "несли эти люди". Он с полной убежденностью заявляет, что "эти люди были много выше тех подлых людей, их врагов, жандармов, сыщиков, прокуроров, которые их мучили". Набатов и другие революционеры, встреченные на сибирском этапе, представляются ему как "люди самой высокой нравственности".

В таком же духе - и индивидуальные характеристики Семенова, Вильгельмсона (в окончательной редакции - Симонсона), Крузе (впоследствии изъятого автором) и Набатова. О каждом - предельно кратко. Вот что сказано о прошлом Набатова: "Набатов был крестьянин, кончивший курс с золотой медалью и не поладивший в университете, а поступивший в рабочие. Ему было 26 лет, и он 8 лет провел в тюрьмах". И тут же идет обобщение, касающееся всех этих людей: "Началось с того, что они шли в народ, чтоб просветить его. Их за это казнили. Они мстили за это. За их месть им мстили еще хуже, и вот дошло до 1-го Марта, и тогда мстили им за прошедшее, и они отвечали тем же".

Нехлюдову это кажется ужасом. "Ах, какой ужас, какой ужас!" - повторяет он, думая о виденном и слышанном.

Это ужас самого Толстого, стоящего на распутье, обуреваемого самыми разноречивыми чувствами. Не понимая подлинного пафоса революционной борьбы, он склоняется к тому, что движущей силой в ней является месть за репрессии со стороны властей. Но сами образы революционеров противоречат такому выводу. Не жажда мщения руководит ими, а благородная цель служения народу.

Верность этой цели подчеркнута и в Набатове.

Перейдем к вариантам пятой редакции. Она еще более оттеняет противоречия, сомнения автора "Воскресения". Толстой чувствует, понимает, что симпатии, выраженные им в отношении революционеров, если не полностью отрицают, то, во всяком случае, основательно "подсекают" проповедуемый им тезис о непротивлении злу насилием. И писатель выдвигает те качества этой группы героев романа, которые должны снизить их положительное воздействие. Появляется Вера Ефремовна Богодуховская, наделенная непривлекательными внешними и внутренними чертами; в других, уже знакомых по четвертой редакции, персонажах также выделяются, выпячиваются те или иные отрицательные качества.

Известно, какое значение придавал Толстой целомудрию человека. Вот почему можно усмотреть желание уменьшить звучание образа Набатова в сообщении о том, что некогда он находился в связи с Богодуховской, а теперь так же, как и другие, был "задет прелестью птички" - речь шла о Богомиловой, впоследствии Грабец. Делается попытка и по-иному представить взгляды Набатова на методы революционной борьбы: "... третьи, как Набатов и Вера Ефремовна, утверждали, что для этого (т. е. для изменения существующих порядков. - Л. Б.), главное, нужно разрушить теперешнее устройство, а для этого есть только средство: террор...". Но несколькими строками ниже идут слова, оправдывающие даже этот метод борьбы: "Все они были движимы не только желанием зла кому бы то ни было, но только одним желанием служения народу и сознанием несправедливости, жестокости правительства к этому угнетающему народу. Главный мотив - перейти на сторону страдающих, помочь им и, если нельзя, то по крайней мере страдать вместе с ними". Это, подчеркивается тут, было главным мотивом "и Марии Павловны, и Набатова, и Семенова". Небезынтересно, что связывая Набатова - и прошлым его, и даже определенными взглядами - с Богодуховской, Толстой тотчас же их разделяет: Веры Ефимовны в приведенном перечне нет.

О том, что автор романа остается верен своим симпатиям, лучше всего говорит его признание, сделанное в той же пятой редакции: "Из мужчин Нехлюдов сблизился особенно с

Набатовым, всегда бодрым, веселым, твердым и самоотверженным человеком, прошедшим половину взрослой жизни в тюрьме..."

Шестая редакция составила окончательный текст "Воскресения". В ходе работы над ней произведение было разделено на три части, появились новые главы и эпизоды, подверглись пересмотру характеристики героев, точнее стали многие детали. Эта редакция отмечена и дальнейшими раздумьями над образами революционеров. При всем различии в отношении Толстого к тому или иному представителю революционной интеллигенции тон, которым писатель говорил об этих людях (по крайней мере, о большинстве из них), становился более сочувственным, а оценка их деятельности - более положительной.

На примере Набатова это видно в меньшей степени: его в своем творческом воображении Толстой создал сразу, существенной перестройки образ не претерпел.

В процессе работы над шестой редакцией автор освободил Набатова от прошлых его отношений с Богодуховской и отказался от знака равенства в характеристике их взглядов на методы борьбы с несправедливостью. На этом же этапе подготовки романа к печати возникла развернутая литературная биография героя, заменившая собой те краткие сведения, которые давались о Набатове в предыдущих редакциях. Она несколько отличается от окончательной, изложенной вначале, и потому заслуживает быть процитированной:

"Набатов обратил на себя внимание необыкновенными способностями в сельской школе. Учитель устроил ему помещение в гимназию. В гимназии, давая уроки с 5-го класса, он блестяще кончил курс с золотой медалью. Еще в 7-м классе он решил не идти в университет, а идти в народ, из которого он вышел, чтобы просвещать своих крестьянских братьев. Он так и сделал, поступив писарем в село. В селе, кроме исполнения своих обязанностей, он читал крестьянам "Сказку о трех братьях", "Хитрую механику", объяснял им обман, в котором их держат, и старался уговорить их устроить коммуну. Его арестовали, продержали в тюрьме о месяцев и, не найдя улик, выпустили. (Зачеркнуто: "Как только его выпустили, он пошел на фабрику рабочим и на фабрике..." -Л. Б.). Освободившись от тюрьмы, он тотчас же пошел в другую деревню и, устроившись там учителем, делал то же самое. Его опять взяли и опять продержали год. Благодаря ловкости и сдержанности при допросах и внушающей доверие прямоте и добродушию, которыми он действовал на своих судей, его опять выпустили, и он, оставив в тюрьме революционные связи, опять пошел в народ, устроил общинную слесарню и потребительское товарищество. Его опять взяли и в этот раз (зачеркнуто: "уже совсем ни за что и опять посадили". - Л. Б.), продержав 7 месяцев, приговорили к ссылке, так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме".

Все эти варианты являются эскизами образа, подступами к той цельной, мотивированной, художественно выразительной характеристике Набатова, которая знакома каждому, кто читал роман "Воскресение".

Много дорогих мыслей, душевного тепла, щедрой толстовской любви отдано крестьянскому революционеру Набатову, чтобы предстал он перед читателем таким, каким виделся автору и каким был ему, Толстому, близок.

## **ГЛАВА ВТОРАЯ**

В своих развернутых комментариях к 33-му тому Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, прослеживая историю писания и печатания романа, Н. К. Гудзий связывает работу над образами политических с живым интересом писателя к реальным представителям русской революционной интеллигенции, личным знакомством его с некоторыми из этих людей.



Исследователь высказывает предположения об отдельных прототипах, черты которых в той или иной степени нашли воплощение в художественных образах. В комментариях мы читаем и следующее: "Фигура Набатова возникла в четвертой редакции "Воскресения", видимо, под влиянием воспоминания Толстого о его встрече в 1883 году в самарских степях с привлекавшимся в 1878 году по делу 193-х Е. Е. Лазаревым".

Набатов - Лазарев... Об этом мне довелось читать и в других источниках.

Литератор В. В. Поссе, редактировавший журналы "Новое слово", "Жизнь", "Жизнь для всех", в своих воспоминаниях, опубликованных в 1923 году, писал: "Егора Егоровича Лазарева, когда он был еще молод, хорошо знал Лев Николаевич Толстой - знал и очень любил. Часто они вели дружеские беседы и никогда не ссорились, несмотря на то, что Толстой был непротивленцем, а Лазарев противленцем. Любовь к Лазареву Толстой переносил и на других революционеров лазаревского толка, т. е. народников. Эта любовь чувствует в третьей части "Воскресения", где выводятся типы русских революционеров. С самого Лазарева Толстой написал Набатова. В превосходной характеристике Набатова нет ничего вымышленного".

Сын писателя С. Л. Толстой, рассказывая о встречах Льва Николаевича с Лазаревым, заявляет: "Отец впоследствии вспомнил о нем, когда писал "Воскресение": на Лазарева похож Набатов".

Эти утверждения, насколько известно, никем и никогда не оспаривались: не беру их под сомнение и я.

Конечно, мне чужд наивно-биографический подход к раскрытию творческой лаборатории писателя в работе над художественными образами вообще и образом Набатова в частности. В нем, Набатове, обобщены, осмыслены черты и судьбы многих народников семидесятых-восьмидесятых годов. Но олицетворением их в глазах Толстого стал Лазарев. Обстоятельства, время сделали его типической фигурой. И потому вполне закономерным является наш интерес не только к литературному герою, но и к его прототипу. Тем более что изучение конкретного исторического лица, ближе других стремящего к образу романа, открывает возможности глубже, полнее раскрыть отношение великого писателя к одной из важных, ведущих революционных сил того периода.

"В каком ^году - рассчитывай, в какой стране - угадывай, в одной степной губернии, при столбовой дороженьке, по берегам речонки крохотной стоит себе, раскинулось именье господ Карповых, огромное, богатое село Успенское - Грачевка тож..."

Откуда это? И какое отношение имеют приведенные нами слова к Набатову - Лазареву? Отношение прямое. Так начинается воспоминания о своем детстве сам Е. Е. Лазарев.

Мне доведется часто пользоваться его книгой "Моя жизнь", и нелишне сразу сказать о судьбе этого скромного, непритязательного сборника, опубликованного в 1935 году в Праге.

Разыскать лазаревскую книжку удалось не без труда. Уникальный экземпляр ее отыскался в столичной "Ленинке". У него, этого экземпляра, своя история и даже своя "тайна".

Однажды, в день восьмидесятилетия Лазарева, с юбилеем вступил в беседу незнакомый человек. Разговор, вероятно, затронул близкое, дорогое для виновника торжества, вызвал в нем волнующие воспоминания. На только что вышедшей книге "Моя жизнь", преподнесенный незнакомцу, была сделана надпись: "Лицу, пожелавшему, к моему смущению, остаться неизвестным (в Лозанне), от признательного 80-летнего автора на добрую память".

На экземпляре имеется широко известный экслибрис Н. А. Рубакина с девизом: "Да здравствует книга - могущественное оружие борьбы за истину и справедливость". В таком случае проясняется кажущееся поначалу странным упоминание о Лозанне. Именно там жил и работал эмигрировавший еще в 1907 году из России Рубакин, оттуда поддерживал тесную связь с родной страной, которой завещал свое прекрасное книжное собрание. Среди восьмидесяти тысяч томов оказалась и "Моя жизнь" Лазарева.

Но вернемся к рассказу, начатому оригинальной цитатой из книги, история которой это отступление вызвала. Автор не томит нас загадками. Едва ли не сразу узнаем, что год его рождения - 1855-й, место - степная губерния Самарская и что господам Карповым в селе Грачевка принадлежало "все и вся", включая родителей Лазарева, бесправных крепостных.

Курная изба с полатями, неумолчный шум прядильного станка, песня-стон - это запомнилось на всю жизнь. Не легче стало дышать крестьянам и после объявления "воли". Впрочем, отца, как человека хозяйственного и справедливого, выбрали старшиной Пустоваловской волости, и такое избрание стало предвестником больших перемен в жизни Егора-сына. В доме старшины часто появлялись новые люди, наезжавшие по делам то из уездного Бузулука, то из губернской Самары. Среди гостей были такие, которые воротили нос от "мужичья", и совсем другие, вглядывавшиеся в крестьянскую жизнь с большим сочувствием. По их совету и приняли решение - учить смышленого Егорку, сделать из него образованного человека.

Не только грамоту постиг десятилетний мальчишка в семье дальней родственницы Елизаветы Николаевны Зиновьевой (она-то и приютила его в Самаре). Дочь хозяйки, Серафима Ивановна, объединяла вокруг себя большую группу передовой, свободомыслящей молодежи. По примеру Веры Павловны из романа Чернышевского "Что делать?" она образовала артель-коммуны из девушек-портных. Не раз Егор становился свидетелем жарких споров о жизни народа, о религии и науке, о будущем. Не все, далеко не все было ему понятно, но даже то, что доходило до сознания, заставляло смотреть на многое глазами иными.

Приходское училище он закончил с похвальной книгой. Отличные знания обнаружил крестьянский паренек и в трехклассном уездном. Когда же благодаря своим способностям (и, конечно, не без участия добровольных шефов из среды разночинной интеллигенции) Лазарев попал в гимназию, то и здесь, буквально с самого начала, выделился как лучший ученик. Из класса в класс его переводили без экзаменов. Но больше, чем гимназическими пятерками, гордился он тем, что сам зарабатывал на жизнь, давая уроки сынкам богатеев.

Каждое лето Егор отправлялся в родное село. Что ни год, то резче бросались ему в глаза контрасты жизни, все больше задевала несправедливость, все ближе к сердцу принимал он бедственное положение крестьян, обреченных на нищету, бесправие и вечную темноту.

Неужели вечную? Неужто нет просвета, нет выхода? А если есть, то где он, в чем?

Была у Лазарева мечта - стать ученым, посвятить себя науке. Теперь она отодвинулась на второй план. На смену ей пришла другая. Думалось уже о том, как отправится к угнетенному и обездоленному сельскому люду, как будет нести в крестьянские массы свет знаний и разума, как станет раскрывать глаза мужиков и вместе с ними добиваться достойной, справедливой жизни.

Юноша "кончил курс с золотой медалью", но не пошел в университет потому, что еще в VII классе решил: пойдет в народ, из которого вышел, - чтобы просвещать своих братьев. "Он так и сделал..." Это сказано Толстым о Набатове.

Точно так поступил Егор Лазарев. И спустя много лет, оглядываясь на пройденное, он мог написать: "С этих пор перед нашим героем открывается широкая дорога, которая повела его не только по городам, весям и тюрьмам родной России, но и по городам, весям и тюрьмам чуть ли не всего Земного Интернационала".

Семидесятые годы... Их по праву называют одной из самых героических эпох русской истории. На линию борьбы с бесправием трудового народа выдвинулось новое поколение бойцов, воспитанное на революционных традициях Чернышевского, Добролюбова, Герцена. То были люди, беспредельно преданные своей цели и готовые на самопожертвование ради ее торжества. Мы говорим о них: штурманы революционной бури, и в этих словах нет преувеличения. Они ждали и звали бурю революции, они разжигали, вздували ее изо всех сил.

Семидесятники, революционные народники расширили рамки пропагандистской работы, особенно в среде крестьян; в качестве боевой задачи освободительного движения они выдвинули практическую революционную борьбу против самодержавного строя.

Но даже несмотря на то, что в теоретическом отношении эти люди сделали шаг назад от Чернышевского, что некоторые слабые стороны революционных демократов семидесятники не только не преодолели, а и усугубили, - мы преклоняемся перед этими представителями народа, которые вписали не одну страницу в летопись борьбы за свободу.

Той боевой эпохе и принадлежит Лазарев. Он намного пережил ее, но для нас остается - если не исключительно, то главным образом - одним из активных деятелей семидесятых годов.

"Еще в VII классе решил, что пойдет в народ..." Этому решению способствовало дальнейшее сближение Лазарева с разночинной интеллигенцией. Важным шагом являлось вступление его в революционный кружок самарской молодежи.

"Самарский кружок был, без всякого сомнения, одним из самых выдающихся кружков, работавших в глухой провинции, вдали от университетских центров", - свидетельствует непосредственный участник борьбы в семидесятые годы С. Ф. Ковалик. Как отмечает он в своих воспоминаниях, этот кружок изучал литературу и науку, начиная от химии и кончая социологией. Особенно занимали его вопросы об ассоциациях и улучшении быта рабочих. Дух отрицания все более и более креп в кружке, и когда до Самары стали доходить отклики начинающегося революционного движения, члены кружка быстро усвоили себе обычную в то время программу революционеров. Самый состав кружка увеличился вследствие принятия новых членов... Вообще все молодое и живое поднялось в Самаре на ноги - образовался настоящий революционный муравейник".

Среди членов кружка в ряду других называется Е. Лазарев.

Более подробные сведения о кружке и его членах, в том числе о Лазареве, содержатся в сборнике "Государственные преступления в России в XIX веке", в третьем его томе, вышедшем в свет в период первой русской революции. Здесь прежде всего привлекает внимание обвинительный акт нашумевшего "процесса 193-х". Одним из подсудимых на нем являлся Лазарев, а одной из организаций, чья "противозаконная деятельность" разбиралась специальным судом, был кружок самарцев.

Констатируя, что "главные силы революционной партии сосредоточились в восточной полосе России, в приволжских губерниях", составители обвинительного акта подчеркнули, что это произошло не случайно, а в силу заранее обдуманного плана действий и выработавшегося у большинства пропагандистов, на основании примеров Стеньки Разина и Пугачева, убеждения, что революционные идеи найдут наиболее благоприятную для себя почву на востоке, в приволжских губерниях, представлявшихся для революционеров классической страной бунтов и возмущений.

В кружке самарцев занимались то строго научной подготовкой, изучая анатомию, то чтением сочинений Бакунина. Но, как отмечается в цитируемом документе, "к весне 1874 года направление кружка получило характер чисто революционный". Лазарев присоединился к нему как раз перед этой весной - в феврале. "Воспитанник Самарской гимназии, крестьянин села Грачевки", он был рекомендован своими товарищами Осиновым, Городецким, Филадельфовым и другими, а некоторое время спустя выдвинулся в число наиболее видных участников.

Новый прилив сил у молодежи вызвал приезд в Самару петербургских товарищей. Для выработки программы действий с их участием устраивались сходки. Первая проходила в одном из залитых разливом реки домов пригорода. Больше всего тут говорили о том, что "правительство обманывает народ и злоупотребляет его доверием, что налоги слишком тяжелы и что освободиться от правительственного гнета можно только при помощи огня и меча". Громко, страстно звучал голос Лазарева, требовавшего немедленного, деятельного развертывания пропаганды среди крестьянства. Он предлагал практические пути сближения с

народом и внушения крестьянам того, что "земля не должна быть ни помещичьей, ни государственной, а общинной", что "обществу должны принадлежать также и железные дороги", что только люди труда вправе владеть богатствами, создаваемыми их мозолистыми руками.

Наступило лето, и члены кружка приступили к осуществлению своих планов. Они разъехались, разошлись по многим деревням, волостям, уездам, и всюду, где появлялись, вокруг них - поначалу недоверчиво, а затем все более охотно - собирались крестьяне, чтобы послушать справедливые слова о жизни, советы о том, как быть дальше. Революционные мысли, как животворные семена, давали всходы.

Лазарев вел пропагандистскую работу в своей родной Грачевке. К образованному односельчанину, который, выучившись, не возгордился и не чурался никаких крестьянских дел, доверие было полным. С таким же доверием относились грачевские мужики и жители окрестных сел к Марфе Никитиной и Николаю Буху. Они поселились у Лазаревых, трудились в поле, вникали в нужды людей, читали книги. В Грачевку приезжали другие товарищи по кружку самарцев; вместе ходили в Павловку, Дубовое, еще в некоторые села уезда. Здесь также беседы находили отклик.

"Самара 1874 года... не могла разочаровать революционеров в той вере их в Поволжье, которая заставляла многих из них избирать ареной своей агитаторской деятельности расположенные по Волге губернии..." Это признание С. Ф. Ковалика с полным основанием могли бы повторить Лазарев и его товарищи.

Но в один из первых августовских дней в Грачевке появилась девушка из артели Серафимы Ивановой. Она прошла пешком десятки верст. Она торопилась изо всех сил. Нужно было предупредить об арестах.

В Самаре взяли несколько членов кружка. Захватывали "частым бреднем". Можно было ожидать, что не сегодня-завтра полицейские нагрянут и сюда.

В ту же ночь Лазарев-отец вывез из села Никитину и Буха. А несколько дней спустя за Лазаревым-сыном пришли прямо в поле, где он убирал созревший хлеб. Его препроводили в Самарскую тюрьму.

"...Скоро был арестован..." Да, как и у Набатова, революционная работа Лазарева в этот раз продолжалась очень недолго. Тем не менее след она оставила, след на всю жизнь.

"Процесс 193-х" иначе называют "Большим процессом". Среди множества других судебных разбирательств политического характера он отмечен особой масштабностью.

Поначалу количество привлеченных по этому делу достигло нескольких тысяч человек. Часть из них еще до процесса подверглась высылке в административном порядке, многих освободили за неимением улик, некоторые умерли или сошли с ума в период предварительного заключения.

Следствие тянулось годы. Более трех лет провели в тюремных камерах в ожидании суда Егор Лазарев и другие участники "хождения в народ".

Лазарев смог познакомиться здесь со многими мужественными бойцами, которые обвинялись не только в революционной пропаганде и агитации, но и в организации сообщества для ниспровержения существующего строя.

Особое место среди них занимал Ипполит Мышкин - человек высокого личного мужества, решительный в борьбе и стойкий в самых суровых испытаниях застенка. Это Мышкин пытался организовать побег Н. Г. Чернышевского из Вилуйска. Теперь ему предстояло держать ответ сразу по нескольким статьям "уложения о наказаниях".

Такой, как Мышкин, такие, как П. И. Войнаральский, Д. М. Рогачев, С. Ф. Ковалик и другие, уже закаленные в борьбе, являлись для остальных - и Лазарева в том числе - примером беззаветного служения народу.

В этот трехлетний период "предварительного заключения" Лазарев получил много уроков жизни. Ему, к примеру, довелось быть свидетелем столкновения петербургского градоначальника генерала Трепова с заключенным Боголюбовым. После того, как Боголюбов был наказан розгами, Лазарев принял участие в демонстрации протеста политических. Шесть недель после этого просидел он в одиночной камере с забитыми окнами - как ее называли, "наморднике". Но даже физические мучения, связанные с пребыванием в одиночке, не могли вытравить из сознания гордость тем, что и в тюрьме они страшны палачам.

Егор Лазарев вошел в число 193 -х, чьи действия рассматривались в особом присутствии Сената. Разбирательство дела "о революционной пропаганде в империи" началось 18 октября 1877-го, а закончилось только 23 января 1878 года.

С первых же заседаний стало ясно: происходит не суд, а пустая комедия. Обвиняемые были поставлены в такие условия, которые не давали возможности раскрыть истинный характер дела. Процесс фактически протекал за закрытыми дверями. Большинство подсудимых в знак протеста против произвола решило отказаться от какого-либо участия в судебном следствии, а равно и от защиты. Мужество участников процесса особенно проявилось в яркой обличительной речи И. Н. Мышкина. Охарактеризовав причины и задачи движения, он во всеуслышание заявил, что никто из сидящих на скамьях подсудимых не ожидает от царского Сената ни правосудия, ни справедливости. В лицо суду, в лицо всему самодержавию Мышкин бросил слова о революции как единственно возможном выходе из сложившегося положения. Это выступление, которое закончилось столкновением между подсудимыми и жандармами, тотчас получило известность и вызвало возбужденные отклики.

Лазарев вел себя на следствии, а затем на суде, с достоинством, с гордостью за дело, участником которого ему довелось быть. Ни малейшего раскаяния он не выражал.

Нет сомнения, что и против него, и против всех других обвиняемых "особое присутствие" применило бы самые тяжелые наказания. Однако негодование прогрессивных общественных сил было настолько сильным, что не считаться с этим оказалось невозможным. Почти половину подсудимых признали невиновными, многим в качестве наказания было зачтено предварительное заключение. В числе их вышел на волю и Егор Лазарев.

Небезынтересно знать, что среди выпущенных вместе с ним были С. Л. Перовская, А. И. Желобов и другие деятели революционного народничества, снискавшие впоследствии славу громкую.

О продолжении этой борьбы они мечтали в крепостных стенах, к ней вернулись сразу после выхода на свободу, хотя за каждым (и за Лазаревым в том числе) был установлен самый пристальный надзор.

Анкетные данные Лазарева не во всем соответствуют анкетным данным Набатова, хотя тот же В. А. Поссе прямо заявляет: "Измените... фамилию Набатова на Лазарева - и вы познакомитесь с Егором Егоровичем". Мемуарист подошел к набатовской характеристике в "Воскресении" как к фотографии реального, ему знакомого лица.

Нет, повторяю, анкетных несовпадений в Набатове-Лазареве много.

Толстой не упоминает о "процессе 193-х". Первое тюремное заключение Набатова продолжается восемь месяцев, в то время как Лазарев провел в ожидании суда три с половиной года. По освобождении герой романа едет "в другую губернию, в другое село", где продолжает начатое ранее, а у человека-прообраза получилось иначе... По ходу дальнейшего разбора будем говорить и о других несоответствиях, и о других расхождениях. И все же это отнюдь не дает оснований сомневаться ни в правде образа, ни в прототипе, но лишь подчеркивает стремление Толстого к глубокому образным обобщениям.

Итак, как же складывалась судьба Лазарева? Что, кроме уже известного, предшествовало его встрече и дружбе с Львом Толстым?

Вот что говорится о нем в одном из документов жандармского дела, хранящегося в Государственном архиве Самарской области: "Приговором Особого присутствия Правительствующего Сената, 23 января 1878 г. состоявшемся, был оправдан. Затем служил в военной службе до 1880 г., когда уволен в запас унтер-офицером. После чего возвратился на родину в с. Грачевку, где за ним учрежден был надзор полиции. Здесь он вновь заявил себя политически неблагонадежным и, хотя произведенное дознание было прекращено, но по постановлению Особого совещания от 3 мая 1882 г. он оставлен под надзором полиции на два года".

В описках подробностей я снова обращаюсь к единственно возможному в данном случае источнику - запискам самого Лазарева.

Из них становится ясным, что между объявлением оправдательного приговора и взятием в солдаты (причем не только его, а и других возвратившихся после процесса) прошло не более месяца. 24 января 1878 года Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника генерала Трепова, и солдатчина для получивших свободу политических явилась одним из первых актов перепуганного Александра II.

Под благовидным предлогом Лазареву удалось получить двухнедельную отсрочку. Он использует ее, чтобы поехать в Уральск для освобождения арестованной там группы пропагандистов во главе с Н. Н. Смецкой. Операция оказалась сложной. Выполняя ее, Лазарев сам попал в руки полиции. Шестинедельное пребывание в Уральской тюрьме закончилось отправкой в этапном порядке в Бузулук, откуда его, на этот раз уже без всяких отсрочек, препроводили в солдаты.

Подходила к концу русско-турецкая война. Рядового Лазарева зачислили в 159-й пехотный Гурийский полк. В составе Кавказской армии он непосредственно участвует в боях, в том числе в известном сражении под Карсом. Но и на военной службе не прекращается его пропагандистская работа. Вокруг Лазарева образуется кружок свободомыслящих молодых офицеров: идет чтение запрещенной литературы, обсуждаются вопросы общественной жизни, ведутся откровенные разговоры о том, как добиться свободы, равенства, братства. Только сугубая осторожность позволяла избежать провала. В условиях военной службы он грозил особенно серьезными последствиями.

Возвращение в Самару стало для Лазарева возвращением к прежним связям. К этому времени в народническом движении выявились существенные качественные изменения. В "Земле и воле" произошел раскол. Возникли две самостоятельно действующие тайные организации. Одна из них - "Народная воля" - стояла за широкое признание террора, другая - "Черный передел" - только за пропаганду социалистических идеалов.

Еще проходя службу, Лазарев задумывался над тем, что для возбуждения крестьянских масс, для подъема их на революционную борьбу одной лишь пропаганды мало, необходимы какие-то новые средства, способные зажечь и всколыхнуть миллионы. Такими средствами представлялись прежде всего героические акты возмездия, направленные против высших сановников и самого царя. Утверждению подобных взглядов в большей мере способствовали выстрел Веры Засулич, убийство Кравчинским шефа жандармов Мезенцева и неудачное покушение Халтурина на царя. Эти акты произвели огромное впечатление на русское общество и вызвали замешательство в правительственных сферах.

Участие в создании народовольческого кружка было первым делом унтер-офицера запаса по приезде в Самару в 1880 году. Однако бдительно смотревшее вокруг полицейское око не дало возможности развернуть работу. Под надзором полиции Лазарев выехал в родное село. Надзор сопутствовал каждому дню его жизни и в Грачевке.

К этому-то периоду относится знакомство Егора Лазарева с Львом Николаевичем Толстым. Оно состоялось летом 1883 года, положив начало связям, которые продолжались чуть не четверть века.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

"...Последнюю неделю я все возился с мужиками, и теперь эти последние дни - другое. Кроме всех жителей, здесь наехали еще гости к Бибикову: два человека, бывшие в процессе 193-х, и вот последние дни я подолгу с ними беседую. Я знаю, что им этого хочется, и думаю, что не имею права удаляться от них. Может быть, им полезно. А мне тяжелы эти разговоры. Это люди, подобные Бибик<ову> и Вас<илию> Ив<ановичу>, но моложе. Один особенно, крестьянин (крепостной бывший) Лазарев, очень интересен. Образован, умен, искренен, горяч и совсем мужик - и говором, и привычкой работать. Он живет с двумя братьями, мужиками, пашет и жнет, и работает на общей мельнице. Разговоры, разумеется, вечно одни - о насилии. Им хочется отстоять право насилия, я показываю им, что это безнравственно и глупо..."

Это отрывок из письма, посланного Л. Н. Толстым Софье Андреевне из самарского хутора 8 июня 1883 года.

Начиная с 1862 года, когда он впервые выехал в заволжскую степь, Толстой предпринимал такие поездки десять раз. Если между первой и второй прошло девять лет, то последующие повторялись чуть ли не каждое лето. Сначала сюда вели предписания врачей, настоятельно рекомендовавших кумыс. Затем степные места понравились настолько, что возникла мысль завести здесь

собственное имение.

Приволье, воздух, обилие дичи и рыбы восхищали Толстого. Близкими ему по духу оказались патриархальные заволжские крестьяне. Он отмечал их "простоту и честность, наивность и ум".

Однако не ускользали и теневые стороны жизни. Он приезжал сюда в засушливые, неурожайные годы и своими глазами видел страшную, смертельную нищету людей. Объезжал окрестные деревни, хутора и всюду наблюдал одно: бедность, неописуемую

бедность.

Положение помещика, собственное благополучие среди беспросветной нужды народа все глубже ранили чуткое сердце. В этот раз, в 1883-м, Толстой приехал сюда с твердым - и затем осуществленным - решением: свернуть, ликвидировать хозяйство.

В такой обстановке и состоялась встреча Л. Н. Толстого с Лазаревым, о которой он не преминул написать в Ясную Поляну. Заслуживает внимания уже сам факт, что ни о ком, кроме как о Лазареве, в этом письме не говорится так подробно и тепло.

Но надо попытаться более полно восстановить обстановку, настроения, дух тех дней. Источниками для выяснения подробностей, кроме датированного письма к С. А. Толстой, могут служить воспоминания С. Л. Толстого и В. И. Алексеева, статья в "Русской мысли", но в большей степени - заметки самого Е. Е. Лазарева, известные современному читателю исключительно по небольшой газетной публикации.

"Всего на нашем и бибиковском хуторе жило почти тридцать человек, - писал сын писателя Сергей Львович, вспоминая поездку в самарское имение. - Из них особенно заинтересовал отца и меня Егор Егорович Лазарев. Это был мускулистый, белокурый, бодрый, веселый крепыш среднего роста, двадцати восьми лет, с открытым лицом. В его разговоре сказывалось его крестьянское происхождение: он пересыпал свою речь народными выражениями..."

Большинство кумысников и гостей Бибикова были, как тогда говорили, "красными", и отец не раз спорил с ними по вопросу о революционном насилии...

Признаюсь, я больше сочувствовал Лазареву и молодежи, чем отцу..."

Тут опущены отдельные биографические сведения, о которых уже писалось. Но и без них нельзя не видеть сходства характеристик, данных Лазареву и отцом, и сыном. И тот и другой выдвигают на первый план споры политические.

Толстой в то время все более "пестовал" свою теорию "непротивления злу насилием", а среди интеллигенции, которая вела работу в народе, идеи насильственного вмешательства для изменения положения масс получали все новых сторонников.

Весьма важным представляется мне то, что среди споривших находились люди с опытом революционной работы. Кроме Лазарева по "делу 193-х" проходил еще один из тогдашних обитателей хутора - В. Х. Степанов, двадцати пяти лет от роду; он также участвовал в "хождении в народ" и также подвергался преследованиям со стороны властей. А. А. Бибиков привлекался по делу Каракозова и после тюремного заключения был в ссылке. В. И. Алексеев, учитель старших детей Толстого, принадлежал к "кружку чайковцев", вел занятия с фабричными рабочими в Петербурге и не скрывал своих социалистических взглядов. Правда, и Бибиков, и Алексеев находились к тому времени под сильным влиянием толстовских теорий. Но прошлое было еще очень близко и давало о себе знать.

Кто прав: народовольцы, вступившие в смертельный поединок с самодержавием, или непротивленец Толстой? Борьба не на жизнь, а на смерть, или пассивное выжидание? Самозабвение террора или умиленное подставление правой щеки после удара по левой?

Споры, споры без конца...

"Лоно природы, ширь степей необъятная да высь поднебесная, гипертрофия молодой энергии, свобода, простота жизни и общее доверие друг другу - все это давало полный простор проявлению широкой русской натуры.

- Бей по голове двухглавую хищную птицу! - кричала на всю степь молодежь.

- Не тронь и клопа! - отвечал Толстой. Случалось, наши горячие споры, по русскому обычаю, переходили в ссоры, причем доставалось на орехи и "консервативному графу".

Это свидетельствует Лазарев - участник тех споров. Не без юмора описывает он, как семнадцатилетняя курсистка с яростью нападала на Толстого, доказывая, что тот "не знает настоящей жизни и рассуждает, как наивное дитя". И уже с другой интонацией, просто и серьезно, вспоминает о том, как рассказывал в присутствии писателя о "процессе 193-х", о годах, проведенных в тюрьме, о насилиях Трепова, о наказании розгами политического заключенного Боголюбова, о выстреле Засулич, о суде над ней. Рассказы повторялись, обрстая подробностями.

Так и видишь Толстого, который внимательно слушает симпатичного ему человека - "образованного, умного, искреннего, горячего и совсем мужика". Раньше ему приходилось слышать о нем от своего друга Бибикова. Личное знакомство не разочаровало.

Многим интересным были полны те дни. Поездка всей компанией в соседнее кочевье, совместные веселые пиршества... Но могучая память гения отобрала (и вобрала в себя) воспоминания отнюдь не о развлечениях. В нее вошел именно Лазарев - крестьянин и борец за крестьянскую долю.

Сомневаться не приходится - трех недель ежедневного общения совсем немало, чтобы узнать человека. Но одно дело встречаться среди летней праздности и другое - в обстановке трудов,

забот, испытаний.

Не нужно доказывать, что далеко не всегда человек, веселый и жизнерадостный в нормальных жизненных условиях, сохраняет в себе душевную бодрость в грозные бури и невзгоды. Даже крепкое дерево иной раз оказывается сломанным под натиском урагана.

Набатова мы видим только в арестантской партии, следующей по этапу. О его прошлом нам становится известно лишь из авторской характеристики. Но и в прежнем, и в нынешнем



Набатове Толстой неизменно подчеркивает бодрость, даже веселость. Они никогда его не покидают, помогая выстоять, выдержать, не согнуться. И это несмотря на то, что в тюрьме и ссылке проведена "половина взрослой жизни"!

О такой горестной "половине" с полным основанием мог сказать и Лазарев. В неизменной же бодрости, в постоянном оптимизме этого человека писатель убедился не только в то степное лето.

Подыскивая слова-эпитеты, мы едва не сказали: "беззаботное", "беспечное" лето. Ни беззаботным, ни беспечным оно не было. И не только потому, что люди вели большие, страстные разговоры о борьбе против самодержавия, что, посвятив себя делу революции, они откровенно делились своими убеждениями и старались увлечь ими других, что сам Толстой бесконечно думал над тем, как помочь народу.

Нет, не потому только. За Толстым, за жителями и гостями хутора следили, каждым шагом их интересовались, каждое слово желали подслушать.

Раньше уже упоминалась статья в "Русской мысли". Речь идет о статье под названием "Граф Л. Н. Толстой и толстовцы в Самарской губернии". Автор - некий А. Дунин - ограничил свои задачи преимущественно характеристикой отношения писателя к сектантам, причем даже подчеркнул, что поездка в заволжское имение была вызвана якобы исключительно желанием "лично убедиться в размерах сектантского движения". Но статья показывает осведомленность Дунина в обстоятельствах переполоха, связанного с подготовкой к приезду, а затем приездом писателя в самарские степи. Перед нами - отношения, директивы, уведомления о негласном надзоре, донесения о встречах и беседах его с крестьянами и о тех, кто окружал "отставного поручика графа Толстого".

Нельзя не обратить внимания на то, что в "списке лиц, пользовавшихся нынешним летом кумысом", указаны не все, о которых Толстой писал Софье Андреевне в Ясную Поляну. В нем ни Степанова, ни Лазарева. Чем это объяснить? Думается, лишь одним - осторожностью поднадзорных революционеров, не желавших подвергать знаменитого писателя дополнительным неприятностям и потому уклонявшихся от какого-либо афиширования своего пребывания здесь. В пользу такого предположения говорит и один из документов, найденных мною в более позднем архивном деле под названием "Переписка о разыскиваемом департаментом полиции Егоре Егоровиче Лазареве". Лист девятый этого дела представляет собой "копию со статьи входящего журнала помощника Самарской губернии Бузулукского уезда". В журнале отмечено, что 28 июня 1883 года было получено донесение унтер-офицеров Ненашева и Земскова о том, что Е. Е. Лазарев был в кумысолечебном заведении "под фамилией Бровинского".

Именно в эти дни он находился вместе с Львом Толстым. Деталь небезынтересная...

Новая встреча Толстого с Лазаревым произошла немногим более года спустя, причем в обстановке, прямо противоположной той, что сопутствовала их знакомству. Она состоялась в... Бутырской тюрьме.

Первое и последующие свидания в тюрьме позволили писателю яснее увидеть моральную возвышенность революционера из крестьян, проникнуться к нему еще большим уважением.

В июле 1884 года Лазарева арестовали, доставили из Грачевки в Самару, а оттуда, после кратковременной отсидки в местной тюрьме, отправили в Москву, в Бутырскую пересыльную. Он уже знал: ему определили трехлетнюю ссылку в Восточную Сибирь. Не было известно только одно: за что? Приговор вынесли в "административном порядке" - без следствия и суда.

Уместно привести относящиеся к Лазареву и причинам его ареста строки из книги американского писателя-путешественника Джорджа Кеннана "Сибирь". Их встреча произошла в Забайкалье, к ней еще вернемся, а пока воспроизведем рассказ о том, каково было лазаревское

недоумение по поводу неожиданной кары. Этот рассказ, вне всякого сомнения, Кеннан записал со слов самого Лазарева.

"В Московской пересыльной тюрьме несколько политических заключенных обменивались как-то тем, что им пришлось пережить, и рассказывали, за какие преступления они были приговорены к ссылке. У одного нашли запрещенные книги; другой должен был вести революционную пропаганду; третий признался, что состоял членом тайного союза. Господин Лазарев заявил, что ему неизвестно, за что он едет в Сибирь. "Вы этого не знаете! - воскликнул один из его товарищей по несчастью. - Не было ли у вашего отца черной с белым коровы?" "Очень может быть", - сказал господин Лазарев..." "Ну, так чего же вы хотите? - с торжеством возразил тот. - Разве этого не достаточно, чтобы сослать 20 человек?"

Арест Лазарева стал одним из актов произвола, которые совершались в то время ежедневно и на каждом шагу. Однако в доносе предателя Дегаева, повлекшем за собой ссылку многих людей, наряду с клеветой содержались и бесспорные обвинения в пропаганде, проводившейся Лазаревым во время военной службы, в "нежелательном влиянии" на крестьян. Заключенный понимал, что обвинение в "преступной деятельности" опровергнуть не удастся. Понимал это и Толстой. Пользуясь связями, он имел возможность получить личное представление о деле Лазарева. Несмотря на то, что оно уже было решено, писатель не мог отказаться от попыток облегчения участи Лазарева. В декабрьских письмах к Софье Андреевне не раз встречаются такие сообщения: "О Лазареве просил князя узнать, он обещал", "О Лазареве просил Урусова...".

Хлопоты не помогли ни тогда, когда Толстой действовал из Ясной Поляны, ни после приезда его в Москву. Но с приездом сюда стало возможным встретиться с Лазаревым, и он не преминул этим воспользоваться.

"Отец, приехав в Москву, как я и предполагал, не раз ходил на свидание с Лазаревым, - свидетельствует С. Л. Толстой и тут же добавляет: - Сцены, виденные им там, впоследствии описаны им в "Воскресении".

"Помню, - вспоминает Сергей Львович далее, - как он возмущался тем, что административно ссыльный Ив. Ник. Присецкий мог видеться с женой, с которой повенчался в киевской тюрьме, не иначе как в комнате для свиданий, несмотря на то, что она жила на воле и приехала в Москву специально для того, чтобы следовать в ссылку за мужем".

Однако пора вновь уступить место воспоминаниям самого Е. Е. Лазарева.

"Д один день, - пишет он, - ко мне неожиданно явился на свидание... А. А. Бибиков в сопровождении моей матери, которую он привез из Самары и поместил у Льва Николаевича в Хамовниках, где он жил в эту зиму. Бибиков возвращался вскоре назад в Самару, но Лев Николаевич оставил мать у себя в доме, чтобы дать ей возможность подольше видеться со мною. Иногда он сам приходил на свидание ко мне вместе с матерью. А когда она, наконец, уехала, Лев Николаевич продолжал ходить ко мне в установленные дни".

Свидания, как пишет Лазарев, происходили в общем зале, где одновременно встречались со своими родными и близкими другие политические заключенные, и Толстой с большим вниманием рассматривал всех присутствующих, расспрашивал о них.

То же свидание Присецкого с женой, о котором упоминает С. Л. Толстой, в описании очевидца этого эпизода Лазарева обрастает многими подробностями, важными для понимания большой души Льва Николаевича.

Услышав историю молодой пары, Л. Н. Толстой был взволнован.

"- Как, - спрашивает Лев Николаевич, - значит, они до сих пор остаются на положении жениха и невесты?..

Я улыбнулся утвердительно.

Лев Николаевич молчал и из-под своих длинных бровей все время смотрел на молодую пару, которая сидела близко друг к другу, крепко сцепившись руками.

Но Лев Николаевич не унимался.

- Как, - снова спрашивает он, - неужели им не позволяют остаться одним?

Я вновь улыбнулся при мысли о такой наивности и, признаюсь, был немного смущен, потому что Лев Николаевич говорил это своим обычным ровным голосом, отнюдь не поднимая его при своем щекотливом вопросе...

Мы оба продолжали молчать, потому что все его внимание перенеслось на молодую пару. Я не прерывал молчания, ибо видел, что он о чем-то напряженно думает, хмурит брови и жует губами.

Наконец, решив прервать молчание, я взглянул на него и был несказанно смущен: по щекам его текли слезы и глаза, полные слез, постоянно мигали.

Слез своих он не вытирал.

- Какое варварство! - произнес он, вставая вместе со всеми, когда свидание окончилось..."

Такую влюбленную пару мы встречаем и на страницах "Воскресения". Строки, посвященные ей, исполнены волнения, как песнь о любви, которой не страшны никакие препоны, как гимн неподдельному, настоящему чувству.

Не только это, а и немало других наблюдений, сделанных Толстым во время посещения Лазарева, запечатлелось в его памяти, чтобы позднее, во время работы над романом, соединиться в широкую, впечатляющую галерею глубоко индивидуальных и в то же время типических образов.

Лучше, полнее раскрылся перед ним и Лазарев. В условиях пересыльной тюрьмы, на пороге дальнего этапа, тяжелой ссылки в сибирскую глухомань этот человек не терял присутствия духа, был неизменно деятелен. Не случайно политические в Бутырках избрали его своим старостой.

"Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую - и физическую, и умственную работу, не покладая рук,

без сна, без еды".

Это - из романа. Слова относятся к Набатову. Но разве не видно, что они и о Лазареве? Живом Лазареве, который стал в глазах Толстого средоточием многих самых дорогих для него качеств? Не случайно и много лет спустя Толстой вспоминает встречу с Лазаревым в тюрьме. Это воспоминание можно прочесть в дневниковой записи, сделанной 15 июня 1904 года.

...В Московской пересыльной тюрьме Лазарев пробыл не один месяц. Не попав в последнюю партию 1884 года, он был оставлен тут до весны, до мая, когда первая партия 1885-го вышла, чтобы следовать в Сибирь.

Переход продолжался три с половиной месяца. К месту ссылки прибыли только осенью. Началась новая полоса жизни Лазарева - в обстановке, в которой происходит большая часть действия "Воскресения".

К тому времени об этом своем романе Толстой еще не думал.

## **ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.**

Замысел "Воскресения" возник у него в период, когда трехлетняя ссылка Лазарева уже подходила к концу. Но много, очень много крутых поворотов произошло в судьбе

революционера из крестьян за годы, отделившие возникновение первой мысли о романе от последних писательских поправок на листах корректуры.

Всего пять месяцев пробыл Лазарев на свободе по возвращении из Читы. Чуть ли не вдогонку прибыли бумаги, которые изобличали его в недозволенных связях со штундистами. И снова самарская тюрьма, снова мрачный корпус Бутырок, снова этап в Сибирь - только еще более тяжелый. В приговоре значилось: "пять лет".

Поселили Лазарева среди бурят. С коренным населением у него вскоре установилась крепкая дружба; к собственному своему удивлению, он стал известен как "чудесный врач".

Но год спустя, тщательно продумав и подготовив побег, ссыльный скрылся. Амур... Николаевск... Владивосток... Япония... Америка... С осени 1890 года по март 1894-го Лазарев исходил и изъездил Соединенные Штаты вдоль и поперек. Работал на фермах и заводах, был чернорабочим и писарем, разъезжал с русским хором и сопровождал туристов на Всемирной выставке в Чикаго. Там, на выставке, ему довелось встретиться с В. Г. Короленко. Вместе ходили по городу, посещали приуроченные к выставке конгрессы. Лазарев и познакомил писателя с будущим героем повести "Без языка".

Однако постоянно и неизменно в сердце Лазарева жила тоска по родине, мечта о ней. Не без его агитации в далекой заокеанской стране стали собирать хлеб для умирающих от голода поволжских крестьян.

Революционная работа казалась далеким, навсегда ушедшим прошлым. На самом же деле то была лишь передышка. Весной 1894 года товарищи в Лондоне основали "Фонд вольной русской прессы" - организацию, целью которой являлось издание и распространение запрещенных в России произведений. С. Степняк-Кравчинский, Ф. Волховский и другие организаторы привлекли к делу и Лазарева. Предполагалось, что он совершит тайную поездку в Россию: для успеха предпринятой работы требовались надежные связи с единомышленниками на русской земле. Однако и первая, и вторая попытки попасть на родину закончились для Лазарева арестами: сначала в Париже, потом в Швейцарии. Аресты, правда, были кратковременными. Но приходилось возвращаться ни с чем.

В Лондоне он принимал участие и в выпуске "Летучих листков", и в пересылке революционной литературы в Россию.

Эта деятельность продолжалась до 1896 года, когда Лазарев, познакомившись со своей будущей женой, переселился на постоянное жительство в Швейцарию. Молочная ферма и "кефирное заведение" в Божии над Клараном, во владение которыми он вошел по праву мужа их хозяйки, на длительное время стали одним из центров русской политической эмиграции. Тут бывали представители самых различных направлений общественной мысли. Как пишет в своей книге Лазарев, приходил сюда и Ленин.

На протяжении всех этих лет Лазарев проявлял живой интерес ко всему, что было связано с именем Толстого, с его жизнью и творчеством, а писатель, в свою очередь, постоянно интересовался другом-волжанином.

Свидетельство к тому - их переписка.

Письма Л. Н. Толстого к Лазареву опубликованы в Полном собрании сочинений великого писателя. Они снабжены пояснениями-комментариями; там же можно найти двух-трехстрочное изложение отдельных писем корреспондента.

Значит ли это, что переписка Льва Толстого с Егором Лазаревым изучена и стала достоянием читателя? Нет.

Переписка - акт двухсторонний, и рассматриваться она должна в совокупности обеих ее составных частей: писем одной и писем другой стороны. Это первое. Второе заключается в том, что каждую страницу эпистолярного наследия выдающихся деятелей культуры непременно нужно рассматривать на широком фоне событий времени, в тесной связи с творческой работой, в единстве со всем литературным наследием.

Только при соблюдении этих условий знакомство с письмами может быть действительно полезным.

В Государственном музее Л. Н. Толстого, точнее, в его архиве, кроме копий писем к Лазареву, хранятся и семь неопубликованных лазаревских писем. Было их, по всей вероятности, больше. Остальные до нас не дошли. Но об этом речь впереди.

Обратимся к письмам, которые в нашем распоряжении имеются.

Первое. Оно написано 22 апреля 1885 года в пересыльной тюрьме, за несколько дней до отправки партии. И автор письма, и адресат находятся в Москве, но разделены толстыми тюремными стенами. Лазарев готовится в дальнюю дорогу, его заботы – о том, что может понадобиться там, в Сибири. Это прежде всего книги. Что ему хотелось бы читать? Монографию Костомарова, соловьевскую "Историю России", труды по истории: Шлессера, Гервинуса, Кареева, "Карл Маркс и Рикардо" Зиберы. Далее в перечне - "Современная идиллия" Салтыкова-Щедрина, собрание сочинений Льва Толстого, произведения Михайловского и Успенского.

"Всего этого, конечно, трудно Вам приготовить, особенно за такой короткий срок, - пишет Лазарев, - потому-то еще раз оговариваюсь: помогите в том и тем, что сможете и успеете". Он обещает воспользоваться добрым советом Толстого относительно изучения английского языка и просит взять на себя инициативу в выборе соответствующих пособий.

"Не найдете еще, возможно, подробную карту Сибири и небольшой хоть географический атлас? - продолжает Лазарев. - Конечно, грустно, но что же делать? Возможно, что люди будут драться и стрелять друг в друга в разных концах света: по слабости человеческой захочешь знать, в каком пункте наиболее проявляется "человеческое заблуждение". Простенький компас (даже два) и трое простых, прочных деревенских шаровар довершат мои, и без того не совсем скромные, пожелания".

Автор письма выражает сожаление: здесь, в Москве, находясь в камере на двадцать человек, он не мог "ни серьезно почитать, ни углубиться в философию жизни". В "стране бурят и всяческих инородцев", надеется Лазарев, в этом отношении можно будет сделать гораздо больше. Вот только не притянет ли к себе вновь земля, до которой он такой охотник?

"По возвращении в родные Палестины рассчитываю на лучшее будущее для родной страны: как любящий сын своей матери страстно желаю, чтобы Ваши, ныне "подспудные", сочинения продавались открыто и на всех перекрестках и читались не с трепетом, дико озираясь по сторонам, а так, как читают все классические, настольные книги и сочинения, - высказывает Лазарев самое большое и заветное. - Я еще молод, здоров и к испытаниям судьбы приобвыкший, а потому и надеюсь на более светлую перспективу в будущем".

Единственное, что страшит Лазарева, - трудность и опасность пути к месту назначения. При этом он имеет в виду не только перемену климата, условия арестантской жизни на этапах и полуэтапах, но и грубость, насилия над ссыльными со стороны власти имущих. Такое отношение, такое насилие, пишет он, "может вызвать, как часто и вызывает, "человеческое заблуждение" и с нашей стороны".

И снова о книгах. Лазарев просит не забыть еще прислать "дешевые народные издания", которые "обратили Ваше внимание" и, в свою очередь, рекомендует "Сказку о трех мужиках и Бабе-Ведунье". Мнение Толстого о ней очень хотелось бы ему знать, причем даже до выезда из Москвы.

Ответа на первое письмо в архиве нет. Скорее всего, его и не было.

Толстой, насколько можно судить по дошедшим до нас свидетельствам, проявил заботу о том, чтобы Лазарев получил все, что его интересовало.

В записках учителя детей Толстых М. И. Ивакина "Толстой в 1880-е годы" есть несколько строк о Лазареве. Разговор о нем, описанный автором записок, состоялся после того, как партия, в которой он находился, уже была отправлена. "В Москве он целый почти год сидел в остроге, - пишет мемуарист. - Лев Николаевич был у него раза три. Бодрей он никогда себя не

чувствовал, чем в это время. Он говорил, что в деревне ему уж становилось тошно, а тут впереди ждут новые впечатления, новая жизнь. Он просил достать ему компас. Лев Николаевич достал и спрашивает: "Для чего вам это? уж не для побега ли?" - Он ответил, что на пути все может быть - этапные начальники бывают всякие, пожалуй, бить, притеснять станут".

Письмо Лазарева интересно не только тем, что расширяет наше представление о круге интересов, о настроениях прототипа будущего героя "Воскресения". В нем - отголоски разговоров, которые происходили во время свиданий Толстого с Лазаревым. О чем только не вели они бесед! Об изучении английского языка, о теории американского экономиста Генри Джорджа, о дешевых народных изданиях, о насилии. Не во всем Лазарев соглашался со своим великим другом. Несколько раз в письме повторяются слова "человеческое заблуждение"; перо корреспондента окрашивает их явной иронией. Она особенно проявляется там, где "человеческим заблуждением" называются издевательства, насилия властей и жандармов над политическими арестантами и где подчеркивается возможность "человеческого заблуждения" (иначе - решительных ответных мер) со стороны последних.

Нельзя не обратить внимания, что Толстой внимательно отнесся не только к просьбам Лазарева, но и к его совету прочесть "Сказку о трех мужиках и Бабе-Ведунье". Отзыв о книге был дан, вероятно, во время свидания. Но факт остается фактом: в шестой редакции романа, в характеристике Набатова, среди книг, читанных им крестьянам, писатель упоминает и "Сказку о трех мужиках".

Следующее из сохранившихся писем Лазарева вторым назвать нельзя. То, второе, письмо, к сожалению, обнаружить не удалось. Между тем оно, как мне кажется, представляет интерес особый.

В своих воспоминаниях Лазарев сообщает, что с этапного пути, из Иркутска, он написал Толстому "длинное письмо" с описанием шестнадцатидневной голодовки четырех женщин-каторжанок: Ковалевской, Богомолец, Роскиковой и Кутитонской. Длительное время ему было неизвестно, дошло ли письмо по назначению. "Лишь четыре года спустя мне пришлось идти вновь этапом в Сибирь с лицами, взятыми в подпольной типографии за печатание моего описания иркутской голодовки. От них я узнал, что Лев Николаевич получил мое письмо и не держал его в секрете".

В том, что письмо было весьма интересным, убеждает свидетельство уже упомянутого нами американца Джорджа Кеннана. Он изучал сибирскую ссылку и каторгу, а для этого старался установить близкие связи с ссыльными, прежде всего - политическими.

"Среди читинских ссыльных, как мужчин, так и женщин, - писал он впоследствии, - несколько были самыми способными, самыми образованными и самыми симпатичными из всех тех ссыльных, с кем нам удалось познакомиться в Восточной Сибири; и я еще и теперь со смешанным чувством радости и грусти вспоминаю о тех часах, которые мы провели в их обществе".

Тут же он называет Лазарева. Дальше его фамилия упоминается особенно часто. От него-то Кеннан впервые услышал "рассказ об ужасной голодовке, к которой с отчаяния прибегли четыре женщины в Иркутской тюрьме". И вот живое впечатление слушателя: "Рассказов более ужасных и более трогательных мне никогда не приходилось читать, и никогда я не мог бы вообразить ничего подобного; каждую ночь я в таком возбуждении возвращался в гостиницу, что не в состоянии был ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Целыми часами я лежал на полу и еще раз переживал все те сцены и события, которые с такой потрясающей реальностью были мне нарисованы. Громадная разница, читать ли рассказы о страданиях, несправедливости и жестокости... или слушать их, передаваемые дрожащими губами, непосредственно от тех лиц, которые сами играли деятельную роль в описываемых трагедиях и сами блуждали в мрачной долине смерти. Если при этих рассказах глаза мои наполнялись

слезами и кулаки сжимались в диком порыве, правда, немного и бессильного гнева, то я не стыжусь этого..."

Пока не удалось мне установить, что кроется за словами из воспоминаний Лазарева: "Лев Николаевич... не держал его (письма из Иркутска. - Л. Б.) в секрете". Не знаю о практических действиях, предпринятых Толстым, чтобы привлечь к иркутской голодовке женщин внимание общественности. Но сомнения нет: работая над многими своими публицистическими произведениями, создавая "Воскресение", писатель не раз вспоминал описанное ему Лазаревым.

В сохранившемся письме, которое было отправлено из Читы 22 декабря 1885 года, Лазарев просил Толстого прислать ему денег. Это не являлось просьбой о вспомоществовании. Скорее всего, у Льва Николаевича хранилась определенная сумма, принадлежащая его другу. Добравшись до места поселения, тот запросил нужные двести рублей и даже подсказал, как лучше оформить перевод (написать, что якобы "за статью").

"Получили ли мое письмо?" - спрашивает ссыльный, явно озабоченный судьбой своего описания истории, о которой так много тогда говорили.

Писем, адресованных Лазареву, среди толстовского эпистолярного наследия этого периода (1885-1887) не обнаружено. А они были. "Из Забайкальской области я раза два обменивался с Львом Николаевичем письмами", - свидетельствует сам корреспондент.

Затем в переписке наступил довольно длительный перерыв. Во время второй своей ссылки (1888-1890) Лазарев Толстому не писал. Не писал и из Америки, где жил после побега. Лишь оказавшись в Лондоне, где включился в работу "Фонда вольной русской прессы", он прервал чуть не десятилетнее молчание.

"Дорогой мой и многоуважаемый Лев Николаевич! - обращается Лазарев к Толстому в октябре 1895 года. - Ваша жизнь так полна событиями и лицами, - что я боюсь - Вы не сразу вспомните случайный инцидент нашего знакомства с Вами. То было давно: сначала в самарской степи, на кумысе, у А. А. Бибикова, потом - в Москве, при совершенно иных обстоятельствах, когда Вы так великодушно приняли участие во мне и особенно в положении моей бедной матери... Одним словом, я тот Егор Лазарев из Грачевки, Бузулукского уезда, Самарской губернии, ныне волею судеб проживающий в Лондоне, которого Вы когда-то знали... Если Вам удастся вспомнить эти обстоятельства, я надеюсь - этого вполне довольно для Вас, чтобы быть уверенным, что я, находясь в экстраординарном, так сказать, положении, отнюдь не думаю злоупотреблять ни Вашим, ни своим именем..."

Письмо продиктовано, как подчеркивает корреспондент, желанием "общественной справедливости" и "истины". Прилагая вырезки из газет, Лазарев спрашивает, на самом ли деле принадлежит Толстому подписанная его именем статья в одной из английских газет и верны ли распространяемые печатью Англии сведения о взрыве артиллерийских казарм в Туле, произведенном якобы "нигилистами".

Первая из статей-вырезок озаглавлена: "Граф Толстой сообщает об ужасных русских жестокостях. Заключение подвергается пыткам, истязаниям, голоду, одиночному заключению, многие избиваемы до смерти - все ради дисциплины".

Если эта статья действительно написана Толстым, пишет Лазарев, то "Ваше имя - лучшая порука достоверности фактов, в ней сообщенных". А он и его товарищи в Лондоне хотят иметь возможность отвечать на такие вопросы с полной уверенностью: "да" или "нет".

Что касается сенсационной новости о взрыве в Туле, то автор письма твердо заявляет: "... лично я и все знающие ближе Россию ни на минуту не сомневаемся в ложности приписывания "нигилистам" такого неизгладимого преступления". Но "злонамеренная сенсация, раз пущенная и нигде, никем не опровергнутая, оставляет известное впечатление, с которым приходится считаться". Вот почему людям, "живо принимающим к сердцу судьбу своей родины", хотелось бы "при выражении сомнений насчет достоверности этой телеграммы..."

опираться не только на наше внутреннее убеждение", но и на свидетельство "человека, на слова которого можно вполне положиться". Лазарев предупреждает, что ссылки на Толстого, в случае опровержения ложного выступления газеты, без его специального разрешения сделано не будет.

Заканчивая письмо, автор не может не высказать своего мнения о только что напечатанном в "Тайме" толстовском выступлении о духоборах, которое "производит всюду прекрасное впечатление по своему беспристрастию и авторитетности".

О своей жизни Лазарев в этом письме не пишет. Но характер поставленных вопросов таков, что сомнений в направлении его деятельности быть не может.

Ответное письмо Л. Н. Толстого, датированное 21 октября 1895 года, полно душевной теплоты.

"Дорогой Егор Егорович, я очень рад возобновлению общения с вами. Я знал про вас и радовался тому, что вы на свободе и в Англии..."

Таково начало. Значит, Лазарев ошибался, полагая, что Толстой мог о нем забыть. И значит, писатель интересовался его судьбой, наводил о нем справки.

"...Как вы живете? Хорошо ли вам? Не могу ли чем быть вам полезным? У меня осталось самое хорошее воспоминание о вас..."

Это из того же письма, подписанного: "Любящий вас Л. Толстой".

Охотно и ясно отвечает он на заданные вопросы. Статью об издевательствах над заключенными Толстой не может признать своей, хотя факты, в ней изложенные, совершенно правильны. Дело в том, что статья состоит из выписок, которые сделаны из вышедшей в Берлине книги "Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина"; ее составил Е. Попов, а Толстой снабдил предисловием. "Выписки эти сделаны очень дурно, с прибавлениями составителя (газетной статьи. - Л. Б.), так что ни в коем случае статья... не может быть приписываема мне и подписание ее моим именем есть обман. Я очень рад, что сведения эти распространяются, но мне неприятно, что написанное не мною подписывается моим именем, и если вы найдете это нужным, пожалуйста, заявите об этом в английских газетах, опираясь на это письмо". Относительно же известий о тульском взрыве, то здесь Толстой категорически заявил: "... Это все выдумка, и ничего подобного не случилось".

Ответ обрадовал Лазарева и его друзей. В следующем письме, которое было отправлено в Ясную Поляну в декабре того же, 1895 года, сообщается, что с помощью влиятельных представителей английской общественности удалось опровергнуть клеветнические слухи о злонамеренных действиях "нигилистов". В подтверждение этого прилагалась вырезка из "Дейли кроникл" за 6 декабря. Опровержение со ссылкой на Толстого поместили и другие газеты Англии.

Лазарев пишет Толстому об издании отдельной книжкой его статей о духоборах и о намерении выпустить книгу о Дрожжине, причем возможно дешевле, чтобы "дать ей больший ход в публике". По поручению своих товарищей он предлагает пользоваться их услугами и впредь, когда возникнет необходимость в распространении запрещенных в России произведений. "Какова бы ни была разница в наших взглядах, - подчеркивает Лазарев, - в высшей степени отрадно и успокоительно действует на душу, когда среди бесчисленной толпы безмолвных и трусливых рабов слышишь хоть один ободряющий и свежий голос честного гражданина".

Автор письма делится со своим высоким адресатом и общественной радостью - по поводу приобретения "всего склада русских книг лондонской фирмы Трюбнера, издателя работ покойного Герцена", и личной - в связи с предстоящей женитьбой. Глубоко тронуло Лазарева предложение Толстым личных услуг. Ни о чем не хотел бы он знать, как о том, жива ли мать, живы ли братья и сестры. Его тяготит неосведомленность о судьбе близких. А вообще же он чувствует себя здоровым и бодрым, "все время занят" и потому "не знает скуки".

"Крепко, крепко с сыновним чувством обнимаю и целую Вас", - заканчивает Лазарев.



На конверте этого письма есть пометка: "Б.О." ("без ответа"). Она сделана рукой Толстого. Однако нельзя не учитывать того факта, что Лев Николаевич одновременно поддерживал связь с "Фондом вольной русской прессы", в котором Лазарев участвовал, и потому переписка с этой организацией была вместе с тем и продолжением переписки с личным знакомым.

Брошюра о гонениях на духоборов, о которой сообщал в своем письме Лазарев, стала первой публикацией статьи Толстого на русском языке. На это обращается внимание в заметке М. И. Перпер к публикации "Революционер-народник о Толстом", где речь идет о двух забытых статьях С. М. Степняка-Кравчинского. В статьях видного революционера-семидесятника подчеркивается огромная разоблачительная сила выступления Толстого и в то же время подвергается принципиальной, нелицеприятной критике его проповедь "непротивления злу насилием". Читая их, мы явственно улавливаем те мотивы, которые звучат в двух последних письмах Лазарева, и потому имеем возможность глубже проникнуть в строй его тогдашних мыслей. "Выступивши смело и открыто со своими разоблачениями, Лев Николаевич исполнил свой долг человека и гражданина, - заявил в первой из двух статей Степняк-Кравчинский. - Появившись с его именем и под гарантией его непререкаемого авторитета, факты, им сообщаемые, облетят всю Россию и не одной тысяче людей послужат они новым стимулом для борьбы - все равно, желает ли он этого или нет". Не приходится сомневаться, что под таким заявлением подписался бы и Лазарев.

Что касается личной его просьбы, то не осталась без внимания и она. В следующем письме, написанном три с половиной месяца спустя, далекий корреспондент сообщил о своей радости - получении письма от брата. Это новое письмо, датированное 26 марта 1896 года, пришло в Ясную Поляну уже не из Англии, а из Швейцарии.

"Я берусь за перо, чтобы обратить Ваше внимание на положение армянского народа", - сразу приступает к делу автор. Письмо проникнуто тревогой, волнением. "Бывают такие положения и душевные состояния, при которых просто молчание или умолчание составляют уже преступление, - пишет Лазарев. - Таким преступником чувствуешь себя невольно при виде какого-то злорадного надругательства над целой страной, над целым народом, то есть над миллионами живых человеческих существ".

Больно ранит его сердце зверское уничтожение армян турецкими башибузуками. Еще тяжелее - сознание того, что все это происходит при молчаливом попустительстве царского правительства. Русский народ не имеет даже возможности заявить протест.

"Надо закричать, пора закричать, наш милый, добрый и душевный старик! Народ наш безгласен и не в силах заявить о себе; печать или бесчинствует, или принуждена молчать... Лев Николаевич! Вы умеете и можете, т. е. имеете возможность, сказать свое веское, искреннее и правдивое слово всему миру - столько же за себя, сколько и от имени нашего народа!"

Снова и снова звучат слова, клеймящие тех, кто поддерживает резню, кто разглагольствованиями о "русских интересах" дает возможность творить кровавые преступления, кому выгодно рассорить народы. Лазарев готов помочь Толстому - прислать веские документы, принять активное участие в распространении всего, что будет написано. "Вам следует отзываться на все животрепещущие вопросы и события: Вы имеете силу, Вас слушают все - и враги, и сторонники", - убеждает он.

Таких животрепещущих вопросов много. Серьезно занимает Лазарева создание кооперативных земельных колоний. Он надеется, что в самом непродолжительном времени "вступят в дело энергичные люди и придадут сразу теперешним метафизическим диспутам практические формы".

И вновь мне слышатся отзвуки письма Лазарева в толстовских беседах, записях, письмах тех дней. "Многие явления жизни тревожат меня и требуют как будто участия в них", - пишет Толстой своему единомышленнику Д. А. Хилкову 20 марта 1896 года. Но "столько

набралось дела", что "не знаешь, что можешь сделать". Тем более, когда все мысли заняты двумя начатыми художественными работами.

Произведения эти - драма "И свет во тьме светит" и роман "Воскресение". Ему, "Воскресению", суждено было стать суровым обвинительным актом против социальной несправедливости.

Ко времени получения последнего из рассмотренных мною писем от Лазарева у Толстого сложилась уже вторая редакция "Воскресения".

Тогда, в начале 1896 года, в романе отсутствовали многие из известных теперь каждому читателю действующих лиц. Революционеров, например, не было и в помине. Социальные мотивы звучали в произведении весьма глухо, политической заостренности не ощущалось совершенно. Финалом, венчавшим повествование, являлась женитьба Нехлюдова на Масловой.

Но писатель-реалист, верный главному - правде, все глубже понимал: для возрождения героини одних лишь нехлюдовских усилий недостаточно. Казавшийся совершенно бесспорным, моральный подвиг Нехлюдова перестал представляться единственным источником перерождения женщины "дна".

И как-то сразу на страницы произведения вошли совершенно новые люди - защитники народа. Их привела сюда не только воля автора, но и логика жизни. Той жизни, которая вторгалась в тишину Ясной Поляны и тысячами писем, и бесконечным потоком посетителей, и газетными "шапками". Ко времени наиболее интенсивной работы над романом в стране все более нарастал революционный подъем, и Толстой не мог его не ощутить.

В обстоятельном труде В. А. Жданова о работе над "Воскресением" приведены убедительные примеры творческого использования писателем книг о сибирских этапах, свидетельств очевидцев, писем людей, которые подвергались преследованиям.

В связи с появлением в четвертой и развитием в последующих редакциях близкого писателю образа Набатова нельзя не высказать предположения о значении возобновившейся после длительного перерыва переписки с Лазаревым как побудительном факторе в работе над образом революционера из крестьян. Этому, несомненно, способствовал и характер писем. Они вселяли уверенность в том, что несмотря ни на какие жизненные невзгоды, знакомый Толстому человек остался таким же самоотверженным в борьбе за справедливость, каким проявил себя в первые годы революционной работы, что главным для него продолжало быть не личное, а общественное благо.

Читая в письме Лазарева строки о том, что вскоре возьмутся за дело "энергичные люди", которые "придадут... теперешним метафизическим диспутам практические формы", нельзя не вспомнить характеристику Набатова: и то, что он "никогда не думал о метафизических вопросах", и то, что он "всегда был занят практическими делами и на такие же практические дела наталкивал товарищей". Вчитываясь в письма - и о преследованиях духоборов, и о "взрыве" в Туле, и об истреблении армян, явственно видишь прямую их связь с уже приводившимися словами набатовской характеристики: "Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как получше жить в нем, всегда стоял перед ним". Письма Лазарева все более утверждали Толстого в уже сложившемся у него мнении об этом типе людей: "О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души нося то унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее земледельцам, что как в мире животных ничто не кончается, а постоянно переделяется от одной формы в другую - навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, так и человек не уничтожается, но только изменяется". Вера в это была источником его бодрости, его оптимизма.

Толстому часто и много писали о Боге, о сотворении мира, о церковных учениях. Эти вопросы занимали и самого писателя-мыслителя. Письма Лазарева были свободны от таких

проблем. И это давало автору "Воскресения" основания с большей уверенностью рисовать Набатова: "никогда не думал... о начале всех начал, о загробной жизни", в Боге "не встречал надобности", до того, "каким образом начался мир", равнодушен... "В религиозном отношении он был также типичным крестьянином..." - подчеркивает писатель.

Наряду с письмами Лазарева толчком к созданию образа Набатова могло стать также чтение книги Джорджа Кеннана, впервые вышедшей в 1891 году в Лондоне. Эту книгу, известную русскому читателю под названием "Сибирь", Толстой читал в подлиннике, на английском языке.

Кеннан, как я уже писал, встречался в Чите с Лазаревым, подолгу беседовал с ним и его товарищами, а затем рассказал об этих людях с большой теплотой. (Уместно заметить, что после возвращения из своего путешествия в Сибирь он посетил Л. Н. Толстого, и в продолжительной беседе Лев Николаевич мог многое узнать о том, чья судьба его всегда интересовала.)

Жизнь Лазарева на чужбине также не могла разочаровать писателя и поколебать в нем добрые чувства, о которых один из видных толстовцев А. С. Пругавин писал в своих заметках 1883 года: "Меня поразила та сердечность, с которой Толстой говорил об этом "социалисте". При этом он особенно высоко ставил и ценил стремление и готовность Лазарева служить народу, к которому он сам принадлежал, - готовность, доходившую до полного самопожертвования".

Именно это качество в Набатове и выделено прежде всего.

"Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определенный тип", - говорил Лев Толстой. Писатель знал и других революционеров-народников. С одними он встречался лично, о других читал или слышал. Однако живым, реальным воплощением этой плеяды людей для него на протяжении многих лет оставался встреченный впервые в самарских степях Лазарев. Вот почему именно о нем мы и говорим как о прообразе Набатова.

Набатов... Фамилия звучит многозначительно, даже символически. Она как бы подчеркивает: вот кто способен ударить в набат, всколыхнуть крестьянскую массу, поднять ее. Фамилия героя не претерпевала, как это было со многими другими, каких-либо изменений в процессе работы Толстого над произведением. Появившись, она осталась до конца и так вошла в окончательный текст. Надо полагать, что слово "набат" часто повторялось Лазаревым в беседах со своим великим другом. Об этом можно судить и по тому, как охотно пользуется им Лазарев в своих воспоминаниях, как многократно встречается оно в песнях, в поэзии революционного народничества. Небезынтересно, что этим словом называлось и одно из периодических изданий народников.

...Вот для каких заметок прервал я обзор писем Лазарева к Толстому. А теперь возвратимся к их переписке, которая, как и их общение вообще, продолжалась и после создания "Воскресения".

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Письмо Егора Лазарева от 18 октября 1902 года выделяется не только среди семи сохранившихся его писем к Толстому, но и во всей обширной почте писателя. Выделяется оно и спецификой поставленного вопроса, и глубиной его трактовки, и искренностью, страстностью творчества. Это письмо тоже из Швейцарии, точнее - из Божии.

"Небывало событие: 7 лет живу на одном месте!" - неподдельно удивляется Лазарев собственной "оседлости". Но для этого есть причина, или, как говорит он сам, "уменьшающее вину обстоятельство". Обстоятельство это заключается в женитьбе и связанным с ней

получением недвижимой собственности. Жену свою Лазарев характеризует как "истинно редкого человека" и главный ее "недостаток" видит в "нетерпимом и непримиримом преклонении перед одним русским великим стариком". А вот положение владельца фермы его, как можно судить по письму, серьезно смущает. Лазареву неловко чувствовать себя "действительным статским буржуа". Утешает лишь то, что и здесь, в живописной Швейцарии, он не оторван от политической жизни своей страны.

"В уютном уголке, где прилепился наш домик, французской речи не услышишь, - пишет он Толстому. - На самом чистом хохляцко-нижегородско-владимирском наречии на 7 миль в окрестностях Божи с утра до поздней ночи разрушаются в розницу и оптом все существующие и когда-либо существовавшие авторитеты: прелигомены, ноумены, критерии, категории, классы, пролетариат, буржуазия, эволюция и революция, не считая тысяч "измов"... Если бы я не знал, что вы не любите клятв, я бы сказал: "Клянусь, Вы в самой России никогда не увидите столько русских!.."

(Раньше уже приходилось отмечать, а теперь хочется повторить, что "кефирное заведение" Лазарева являлось одним из центров русской политической эмиграции.)

Здесь, в Швейцарии, Лазарев радуется возможности поддерживать дружеские связи с близкими Толстому людьми - дочерью Татьяной Львовной, ее мужем Михаилом Сергеевичем Сухотиным, бывшим домашним врачом в Ясной Поляне Григорием Беркенгеймом и другими.

"Был у них два раза, хотелось бы бывать очень часто, они так радушно приглашали меня заходить почаще, да по вышеизложенным мотивам (перегруженность хозяйством. - Л. Б.) я не господин себе. А у них так... тепло и просто..."

Уместно сказать, что Татьяна Львовна вместе с другими, в свою очередь, бывала у Лазарева. "Вчера мы с Мишей и доктором ездили к одному Лазареву (папа его знает...)", - писала она матери 27 сентября 1902 года и тут же просила прислать для передачи Лазареву портрет Льва Николаевича: "последний, в Ясной на балконе".

Разговоры о Толстом затрагивали, судя по всему, различные стороны его жизни и деятельности. Каждая весть о любимом писателе и друге находила в Лазареве живой отклик.

Таким откликом и явилась основная часть этого письма. Приведу ее с незначительными сокращениями.

"...Вот что у меня рвется из сердца сказать Вам. Меня порадовали вестью о Вас, что Вы кончили новый роман с кавказским названием и, может быть по нескромности, сообщили мне о Вашем колебании, - что Вам дальше и в какой форме писать - новый роман или статью, т. е. мыслить художественно, образами или, если можно так выразиться, прозой и от головы.

Конечно, было бы смешно думать, что я мог бы повлиять на Ваше решение. Вы слышите тысячи голосов вокруг себя, которых Вы не можете не признать компетентными, и эти голоса могут журчать Вам в уши на разные лады. Решайте сами согласно Вашему внутреннему голосу, это самый верный указатель. Нельзя насиловать свой дух, свою душу.

И только потому, что, быть может, по нескромности, мне передали Ваше признание, что Вам хочется, внутренне хочется мыслить образами, я невольно шепчу Вам на ухо: дорогой мой, послушайте еще раз своего внутреннего голоса и продолжайте, не оставляйте мыслить образами. Я Вас достаточно знаю, чтобы говорить Вам это, ибо знаю, что Вы не истолкуете моих слов дурно.

Не потому я говорю это, что отношусь к Вашим художественным произведениям иначе, чем к нравственно-философским писаниям. Люди могут рано соглашаться или расходиться с Вами в обеих сторонах Вашей литературной деятельности. Было бы неправильно думать, чтобы один и тот же человек, одна и та же душа, вечно ищущая правды и истины, могла противоречить себе в одной форме писания и согласоваться в другой.

Когда Вы стали скептически относиться к своим художественным произведениям, т. е. к их пользе для того дела, которое Вы считаете истиной, мне кажется Вы несправедливо усомнились в самом себе.

Разве человек, написавший "В чем моя вина", "Царство Божие внутри нас" и т. д., перестает быть самим собой, когда мыслит и поучает тому же художественными, т. е. правдивыми образами? Я не говорю - не проводите Ваших взглядов. Как раз наоборот: старайтесь до последних сил, до последней минуты Вашей жизни помогать и поучать тому, что считаете, и не можете не считать, истиной.

Не о том речь, что многие любят читать романы, а не серьезные статьи, а о том, что если перед целым обществом поставлена одна определенная цель, то каким способом ее скорее и лучше приблизить или как подойти к ней.

Здесь дело идет о противлении или непротивлении злу насилем, для Вас самих это уже решенное, - дело идет о том, как при непротивлении наилучше и наиболее целесообразно и производительно распорядиться огромным запасом духовных сил на склоне своей физической жизни.

Богатая, - я прямо буду говорить, - гениальная сила, в Вас 'сидящая, не может быть Вашей частной собственностью. Назовите чем угодно то или того, что или кто Вам дал эту силу, но не Вы лично творец своего дара. То, чем вы обязаны сами себе, пусть останется при Вас и распоряжайтесь им как частной собственностью. Но в том-то и дело, что от Бога или ценою страшных вековых страданий русского народа и картинами его ужасной жизни Вы получили необыкновенный дар, и получили Вы его случайно, т. е. независимо от себя.

Я не о комплиментах, конечно, говорю, когда скажу, что Вы необыкновенный человек, обладающий в России исключительным дарованием, природным даром - мыслить художественно.

Во всех других способах мышления у Вас и в России множество соперников, быть может, с лучшим стилем писания, с более обширными научными знаниями, но на этом пути, на этом поприще по всей русской земле нет такого другого человека.

Умрете Вы, останутся Ваши глубокие нравственные поучения. Но разве они могут по своей сущности стать или быть выше Евангелия? Поэтому я смею сказать, не боясь быть дурно понятым, что русская земля не с этой стороны понесет неизмеримую потерю в Вашей смерти. Страшная потеря будет в том, что во всей русской земле не найти скоро человека, обладающего гениальными способностями мыслить и, значит, поучать людей образами.

Я отнюдь не унижаю силу и достоинства Ваших прозаических, если можно так выразиться, сочинений, в противоположность истинно поэтическим и художественным. Я хочу только оправдать перед Вами мое маленькое вмешательство в Вашу духовную лабораторию.

Ваши философские и религиозно-нравственные сочинения, конечно, лучше и полнее, чем все другое, Вами написанное, выражают Ваши нравственно-религиозные взгляды и убеждения и, однако, Вы понимали, что большинство этих писаний огромной серой массе недоступно не столько по содержанию, сколько по логической форме и языку, и Вы правильно принялись за ряд статей, сказок и художественных рассказов для этой огромной серой массы. И этим самым для массы, для крестьян, для религиозного развития русского народа Вы сделали больше, чем всеми другими философско-религиозными произведениями.

Тем более это можно сказать о Ваших художественных произведениях. Разве Вы можете расколоть свою личность и в романах проводить и думать не то, что проводите и думаете в Ваших религиозных произведениях?

Вы недовольны прежними художественными произведениями? Но Вы сами знаете, что Вы не можете их сделать художественнее, не этим ведь Вы недовольны в них, какими Вы обладаете в настоящее время. Но ведь Ваши романы и рассказы говорят только то, что думал их автор во время написания их. Если бы в то время Вы думали и чувствовали так, как в настоящее

время, то и роман, не изменив своей художественной формы, передал бы нам иные чувства, взгляды и настроения.

Вы, который не боится никого и ничего, вдруг испугались самого себя, своей собственной природы. Вы, господин своих чувств и мыслей, хотите передать эти чувства и мысли другим людям, - и чем больше таких людей, тем лучше, - и вдруг с тревогой останавливаетесь перед вопросом: следует ли прибегнуть к тому приему передачи своих убеждений, взглядов и , мыслей, к которому волею судеб приспособлены в исключительно высокой степени.

Роман, как и всякое другое сочинение, есть лишь отражение своего автора. Если художественная правда в изображении мыслей, чувств и настроений общественных типов разойдется со взглядами и логическими посылками философа, то, конечно, придется разобраться: кто прав - художественная правда или философ. А изображения художественной правды от Вас с жадностью ждут целые миллионы людей, и Вы знаете, что не одних праздных людей. Итак, пишите, поучайте мир образами, - не бойтесь самого себя".

Как велика выраженная в этом письме убежденность в могучей силе художественного слова, художественного образа! Какое глубокое понимание общественного назначения литературы и ее роли в воспитании народа!

Лазарев говорит прямо и откровенно. Высказываемые им мысли продуманы, взвешены, выношены. Нельзя, рассуждает этот человек, никак нельзя допустить, чтобы переживаемый Толстым кризис повлек за собой полное прекращение его замечательной художественной работы, так нужной, так важной людям всего мира, и особенно родному русскому народу. Нельзя! - не говорит, а кричит он своим письмом, и мы слышим самые различные чувства автора - боль и надежду, твердость и нежность.

Слова из письма хочется перечитать и второй, и третий раз. Это живой голос народа, в котором пробудилось и крепнет чувство хозяина настоящей, большой культуры.

Как откликнулся на это письмо Толстой? Принял или отверг он доводы Лазарева? Над чем задумался и к чему пришел?

"Спасибо вам за ваше письмо и простите, что долго не отвечал вам, - пишет Толстой 11 ноября 1902 года, через несколько дней после получения лазаревского. - И стар, и слаб, и занят".

А затем сразу он переходит к сути высказанного корреспондентом. Писателю вспоминается запавший в память разговор: "Ко мне раз зашел пьяненький умный мужик. Он увидел у меня на столе свинчивающийся дорожный подсвечник и чернильницу. Я, думая доставить ему удовольствие, показал, как он развинчивается и употребляется. Но он не прельстился моим подсвечником и, неодобрительно покачав головой, сказал: "Все это младость".

К чему такое воспоминание? А вот к чему:

"... мне кажется, что все художественные работы - все только младость. Это в ответ на ваши увещевания, кот<орые> мне лестны и приятны, поощряя меня к младости. Иногда и отдаю дань желанию побаловаться".

Толстому много рассказывал о Лазареве незадолго перед тем вернувшийся из Швейцарии врач Г. М. Беркенгейм и своими рассказами он "освежил еще больше вашего письма мою большую симпатию к вам, что совсем не трудно".

"Радуюсь на вашу бодрую, свойственную вам деятельную жизнь, - заявляет автор письма дальше и подчеркивает: - Думаю, что, хотя и средства достижения у меня с вами различные, цель одна. И то хорошо".

Передав привет жене Лазарева ("и не очень сетуйте на нее за ее мне очень приятный недостаток"), Толстой сообщает о том, что написал и отправил для опубликования статью "Обращение к духовенству", которая, как он уверен, "вызовет против меня гро<мы>".

Ни отвергнуть доводы Лазарева, ни согласиться с ними Толстой не мог. Перелом, совершившийся в начале восьмидесятых годов во взглядах на жизнь, на религию, на общественные отношения, сказывался на всем характере творчества. Тем не менее такие письма, как приведенное здесь, серьезно питали его сомнения, заставляли больше думать о путях к разуму и сердцам людей.

Характерно, что письмо к Лазареву не является единственным откликом на полученное от него. Слово продолжение ответа звучит написанное в тот же день, 11 ноября, письмо к дочери, Т. Л. Сухотиной. Сообщив о беседе с Г. М. Беркенгеймом, Толстой отмечает, что он "интересно и хорошо... рассказывал про Лазарева...", и тут же проводит очень важную параллель: "Несомненно, что как во времена декабристов лучшие люди из дворян были там и были изъяты из обращения, так и теперь... из этих самостоятельных, выбившихся на жизненную дорогу лучшие изъяты, а худшие, Боголеповы, Зверевы и т. п., царствуют и разносят свой яд в обществе".

Сопоставление с декабристами лишний раз подчеркивает, как высоко ценил Толстой деятельность Набатова и - Лазарева.

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

И вот, наконец, последняя страница переписки. Прошло семь лет.

"Не догадывайтесь и не удивляйтесь, кто пишет. Я - Егор Егоров Лазарев и пишу не из-за границы, а из самой что ни на есть России, из самого Петербурга. Давно ли я виделся в Лозанне с Татьяной Львовной и Михаилом Сергеевичем. Грозил, что ехать хочу у них Кочеты отбирать - не верили..."

Он радуется возвращению и спешит возможно больше рассказать о своей новой деятельности в качестве секретаря журнала "Вестник знания". У журнала - широкая просветительская программа. Его организаторы, сотрудники хотят нести в массы свет науки, мечтают установить возможно более тесную связь с читателями и уже достигли определенных результатов. "Читатель... понес в редакцию свои думы, тревоги и горести - как личные, так и общественные... И чего только не приходится выслушивать, вычитывать! Земельные тревоги, переселенческий вопрос, семейные недоразумения, брачные отношения, что читать, какие учебники... Нет никаких человеческих сил, имеющих в распоряжении редакции, чтобы ответить на все вопросы и запросы..." Но все-таки, пишет автор письма, "из отвлеченной теории жизни я сразу ухватился за живой, бьющийся пульс реальной жизни". И он рад тому, рад искренне.

Это написано в 1909-м.

Только после революции 1905 года Лазарев получил возможность вернуться в Россию. Ко времени написания этого письма он уже побывал и в родной Грачевке, и в Самаре, и в столице, с головой окунулся в российскую действительность и все активнее стремился участвовать в пропаганде того, что, по его мнению, требовалось для нового подъема в народе...

Уже в конце своей работы над этим очерком с помощью чешских друзей мне удалось отыскать следы архива Е. Е. Лазарева. Разыскивал его в Праге, но оказалось, что вместе с другими фондами Русского заграничного архива он был передан послевоенным правительством Чехословакии Советскому Союзу. Стало возможным прочесть дневники и записные книжки Лазарева, среди которых - относящиеся к периоду следования по этапу в 1886 году его воспоминания, в том числе из времен "процесса 193-х", его переписку - письма от Веры Фигнер и других общественных деятелей. Документы фонда могут принести большую пользу историкам при изучении общественного движения в России. Однако уже тут хочется сказать,

что архивные материалы подтверждают неизменный до конца его дней интерес Лазарева ко всему, чем жила оставленная им родина.

Он умер в глубокой старости, в 1937 году, политическим эмигрантом. С новой, большевистской властью ему оказалось не по пути. Ни Егор Лазарев, ни Набатов из "Воскресения" эту дорогу не приняли окончательно и бесповоротно.

1974

В один из январских вечеров (было это много лет тому назад) О участковый уполномоченный Локшин был вызван начальником районного отдела Михайловым. Полчаса спустя шустрая милицейская лошадка, запряженная в легкие сани, везла его по снежной дороге в деревню Хайдук.

- Спецзадание, - коротко сказал Локшин товарищам, поинтересовавшимся, чем объясняется поздняя поездка.

Зная Локшина не первый год, работники милиции не стали допытываться. Но про себя каждый подумал: что же могло стрястись в обычно спокойном Хайдуке?

В выезде "на ночь глядя", если говорить откровенно, никакой необходимости не было. Ни пожара, ни кражи, ни драки там не произошло, как не случилось и ничего другого, входящего в обычный круг дел, которыми занимается милиция.

Но где-то далеко ждали ответа, и Локшин не считал себя вправе отложить выяснение обстоятельств, интересовавших неведомого гражданина.

Утром он уже писал ответ: "Я побывал в Хайдуке... Скутиной и ее сына сейчас в живых нет... Прилагаю свидетельство старожила..."

Ответ был лаконичным, достаточно ясным и, как казалось, выдавал разочарование. Хотя, возможно, объективность здесь мне изменяет и разочарован был не Локшин, добросовестно выполнявший задание, а тот, чье письмо заставило отправиться его в ночной рейс. Иными словами, я, автор этого повествования, живший тогда в Орске, надеялся все-таки на ответ иной.

Задание, данное участковому, действительно было необычным. Оно касалось события, которое произошло в конце 1906 года, когда в безвестную деревню Хайдук Шогринской волости Ирбитского уезда Пермской губернии пришло письмо из Ясной Поляны.

Адресовалось письмо Афанасии Семеновне Скутиной.

Как можно было судить по содержанию, оно являлось ответом на стихи Скутиной и в первых же строках содержало жесткий приговор - "бросить занятие сочинительством". "Все это давно сказано и пересказано, и более искусно", - писал Толстой. Второй его совет крестьянке звучал так: "...не презирать людей, окружающих вас, а постараться найти в них хорошее". Автор утверждал: "Хорошее есть во всех людях. И его всегда можно увидеть, если сам стараешься быть лучше, жить по-божьи". Наконец, еще один, третий совет касался сына Скутиной: Толстой уговаривал "не выводить из крестьянской среды" того, о ком так пеклась женщина. "Крестьянская среда гораздо лучше и почтеннее среды ученых", - заявил он.

В небольшом письме - его словах, а еще больше в том, что за ними таилось, - был весь Толстой: с глубоким сочувствием крестьянству, беспредельным желанием помочь трудовому земледельческому народу и в то же время непониманием путей избавления от нищеты, от бесправия. Вновь и вновь он повторял догмы своей религиозной философии, проповедовал нравственное самоусовершенствование и непротивление злу насилием. Вместе с письмом Толстой посылал Скутиной несколько книг.

Это, повторяю, случилось в конце 1906 года; письмо Толстого имеет дату - 13 ноября. Итак, прошло много десятилетий. Но не только во времени дело. Этот период вместил в себя величайшие исторические события, коренным образом изменившие весь облик страны. Пойти через огромный промежуток времени - да еще какого - по старому адресу... Не слишком ли самонадеянно?



Но все больше хотелось узнать о судьбе женщины, которая писала Толстому и получила от него письмо.

Запрос в районный отдел милиции был отправлен после того, как из Екатеринбургского, тогда Свердловского, справочного бюро сообщили: Хайдук сохранил прежнее наименование, находится на территории области и относится к Артемовскому району. Работницы бюро Андреева и Замятина пошли дальше казенного ответа на заданный им вопрос и попытались оказать возможную помощь в поисках.

"В деревне Хайдук, - выяснили они, - проживает только одна женщина с фамилией Скутина, это Агафья Федоровна, а вообще в Артемовском районе эта фамилия очень распространенная. Советуем обратиться..."

Их совету я охотно последовал. И вот - разочарование. Конечно, трудно было ожидать, что Афанасия Семеновна жива. Но нет в живых и сына, ничего не известно о других потомках.

Главное же разочарование несло в себе приложенное к письму Локшина свидетельство Петра Григорьевича Н-ова. По этому свидетельству выходило, что Скутина родилась и выросла в семье торговца, общественно полезным трудом никогда не занималась, пользы народу ни в дореволюционные годы, ни потом не приносила и вообще не заслуживает ни малейшего внимания.

Выходит, переписка с Толстым была случайным эпизодом в жизни этой женщины? Увы, так тоже бывает. Значит, поиски не приведут ни к каким результатам и вообще предприняты напрасно. Стоит ли продолжать их? Тем более что само письмо Льва Толстого опубликовано, от исследователей не ускользнуло, а это - главное.

И я, пожалуй, отказался бы от последующих разысканий, если бы не новое письмо. Оно пришло из Москвы.

Скажите два слова: "стальная комната", и литературоведы без труда поймут, что речь идет об уже упоминавшемся рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого. Здесь сосредоточены рукописи всех произведений писателя - от "Войны и мира" до маленьких рассказов из "Азбуки". Тут же хранятся письма. Тысячи и тысячи писем - как самого Толстого, так и его многочисленных корреспондентов из различных уголков России, со всех частей света.

Долголетняя хранительница архива Екатерина Сергеевна Серебровская, неизменно внимательная к каждой просьбе исследователей творчества Толстого, по обыкновению своему откликнулась на мой вопрос быстро. Она внимательно проверила фонды и среди множества других отыскала то письмо Афанасии Скутиной, на которое отвечал Толстой. Копия его и находилась в пакете.

С интересом и трудно сдерживаемым волнением читал я письмо Скутиной. Будто живая, вставала перед моими глазами женщина-крестьянка - обездоленная, но не сломленная, забитая, но ищущая правды, неученая, но полная жажды знаний. Знаний для себя и для других.

Хочу, чтобы то же непосредственное чувство первого знакомства с этим человеком ощутили и вы, а потому привожу письмо лишь с самыми незначительными сокращениями.

Вот оно:

"Ваше сиятельство Лев Николаевич!

Много я слышала и читала про вашу доброту и великодушие и вот осмеливаюсь писать вам. Недавно я прочитала ваше сочинение "В чем счастье?" Много хорошего и полезного для меня дала эта книга, но много и неразгаданного осталось. Да и как я могу, малограмотная, понять вас, великий человек. Я самоучка-крестьянка, даже не умею правильно написать слова, незнакома с грамматикой, но, несмотря на все это, я очень много читаю, мне хочется знания, хочется просвещения, я не могу выносить окружающую меня среды, мне тесно здесь.

Я не могу выразить вам, до чего мне хочется учиться и хотя бы иметь маленькую надежду на то, что я не настолько ничтожна, как мы все, крестьяне. Подумайте, живем мы все темные, неученые, как скоты; никакого хорошего задатка в жизни, гибнем среди невежества.

Вот я вам скажу про себя. Мне 27 лет. По глупости своей, когда я была молоденькая, я вышла замуж. Имею сейчас сына четырех лет. Я мать. Как много значит это слово для женщины! Но что я могу сделать для своего ребенка, если сама нуждаюсь в помощи других? У меня душа болит за будущее моего ребенка. Он какой-то необыкновенный, очень понятлив для своих лет. Как бы я была счастлива, что хотя бы для своего ребенка могла сделать что-нибудь полезное. Но что же я могу поделать, непросвещенная самоучка?

У меня есть задатки писать, но я не могу выложить на бумаге мои мысли, потому что мало развита.

Прошу вас, ваше сиятельство, дайте мне свету. Как слепому человеку нужен дневной свет, так и мне нужен свет науки. Укажите мне правильный путь, Бог наградит вас за это. Вот вам мои сочинения в стихах, а потом пошлю маленький рассказ. Будьте милостивы: прочтите и скажите мне истину - есть у меня задатки писать или нет. Ведь вот Ломоносов был же сын рыбака! О, много гибнет сильных натур, но нет просвещения среди народа, поэтому бывает много несчастных жертв невежества!

Вы моя последняя надежда в жизни, будьте моим критиком... С истинным почтением и уважением к вам.

Покорнейшая ваша слуга А. С. Скутина".

Такие письма не оставляют равнодушными. Пусть человек, написавший это, совершенно незнаком - он сразу становится ближе. Нет, письмо к Толстому не могло быть для Скутиной случайностью. Она выносила его в душе.

Так дальше, дальше. А дальше - стихи. Стихи о том же - о безрадостной, беспросветной жизни женщины-труженицы.

Эх ты, долюшка крестьянская.

Как Некрасов нам сказал.

Он крестьянки долю горькую

Во всей правде описал.

Горечи, обиды полно сердце, и эта горечь - в каждой строке.  
Чем же хуже, что крестьянкою

Я на свете рождена?

Миловидней и дороднее

Любой барыни б была.

Плечи - сахар, руки - белые...

Да работушка томит!

От работушки тяжелой

Рано спинушка болит...

Не плавно течет стихотворная исповедь. Строки бугристы, корявы. Но сколько в них неподдельного чувства!

Лицо с жару загорелое,

А из рук сочится кровь,

Да меня же, горемычную.

Целый день журит свекровь...

Муж из поля возвращается:

«Дай поужинать, жена.

Да напои коня водицею,

А потом уж спи сама..."

За первым - "Доля крестьянки" - три других стихотворения. Все - об одном. Но есть в них и новый мотив - ожидание перемен, надежда на то, что настанут времена иные. Крестьянка ждет...

Ждет, когда взойдет светило.  
Когда русская жена  
Поимеет в жизни право,  
Будет женщиной она.

Днем и ночью, всегда и везде думает Скутина о горемычной судьбе таких, как сама, о том, что впереди.

Заснула деревня.  
Не слышно в ней шуму.  
Сижу под окном я  
И думаю думу.  
Думаю:  
Бедно крестьянин живет!  
Когда же пора золотая придет?

Золотая пора... Пока она является уделом "всесильного барства". Совсем другое - "непосильное рабство" - остается единственным достоянием крестьян.

Сегодня под вечер  
Вот буря была.  
Ко мне после бури соседка зашла.  
"Матушка, дай мне чайку на заварку.  
Вся перемокла, уж в поле не жарко.  
Дождь проливной  
Целый день нас мочил,  
Устала работать,  
А хлебушко крошится.  
Муж мой больной, у меня нету сил".  
Так причитала  
Аксинья, соседка.  
Семеро дома, все малые детки,  
В лохмотьях, голодные ждали ее.  
Хата не топлена.  
Пол не метеный...  
То голос нужды -  
Богачам незнакомый.

Укор, упрек, обвинение звучат в стихах крестьянки. Читая их, все глубже проникаешь в мир ее дум, забот и чаяний.

Под последним стихотворением - приписка: "Если найдете нужным отвечать, я пошлю вам свою биографию и карточку, чтобы вы правильнее могли судить обо мне".

Но разве такое письмо, такие стихи не говорят о человеке больше, чем самая подробная биография и самая лучшая фотокарточка?

Толстой ответил, притом сразу. Он не мог не ответить, не отозваться на неподдельную исповедь женщины из глухой уральской деревни. Однако полученный ответ вряд ли мог удовлетворить Афанасию Скутину. Не того ждала она, не того.

Конечно, стихи ее не искусны. Но почему Толстой пишет, что они "нехороши... и по содержанию"? В них же сама жизнь, сама правда! Разве может она писать про иное, когда вокруг так много горя и лжи?

"Советую вам не презирать людей, окружающих вас, а постараться найти в них хорошее. Хорошее есть во всех людях..." Да разве она не хочет добра той же многолетней соседке Аксинье, всему трудовому народу, среди которого живет? Разве не мечтает быть полезной людям? А если мудрый писатель советует искать хорошее в богатеях, так пустое это - немного пожила на свете, да убедилась, какова барская доброта и барская правда. Как ни старайся жить по-божьи - живоглотам не угодишь.

Неужто и сыночку ее суждена тяжкая доля? Хорошо пишет Лев Толстой о крестьянской среде, с почтением. Спасибо ему - подумал о будущем сына и не советует выводить его из крестьянства. Но будет ли счастлив ее первенец или доведется ему жить, как и ей, под гнетом?..

Толстой говорил вроде бы твердым голосом, но Скутиной то в одном, то в другом месте письма слышались сомнения. Зная жизнь народа, как может он, человек большой души, звать к примирению с несправедливостью? Не одна Скутина удивлялась таким противоречиям во взглядах любимого писателя.

Но не подменяю ли я мысли Скутиной собственными? Так ли встретила письмо она? А может, советы были приняты без всяких колебаний и сомнений? Может, она сразу смирилась, оставила поиски правды, рассталась с мечтами и превратилась в никчемную обывательницу? Ведь вот же пишет неведомый мне Н-ов из Хайдука, что Скутина была "беспольным человеком".

Где найти ответ на эти вопросы? В одном не было сомнения: ответ сам собой не придет, его можно добыть лишь в поисках. Следовательно, поиски надо продолжать. Продолжать... Как, по каким направлениям?

Музей Толстого в Москве. Возможно, отыщутся еще какие-то следы переписки? Хайдук. Во что бы то ни стало нужно разыскать родственников Скутиной, а через них какие-либо достоверные, лучше документальные, сведения о ней.

Наверняка помогут и в районных организациях, в районном отделе милиции. Теперь можно обратиться прямо к Локшину - тем более что он сам просил не стесняться и беспокоить.

Отправились новые письма-объяснения, письма-запросы.

Первая весточка пришла из Хайдука, вернее - из соседнего села Сарафаново. Заведующая школой Мария Андреевна Ковтунова и ее вездесущие помощники провели "глубокую разведку". Родственников и близких Скутиной найти им не удалось. Однако несколько адресов они все же записали. Не всегда точных, но приближающихся к тому, что искал.

Скутина Лидия Васильевна, сноха... Ее адрес был наиболее сомнительным. Между тем, казалось, именно она могла сообщить больше других.

Заглядывая вперед, сразу скажу, что письмо мое адресата нашло. И хотя ответа от Лидии Васильевны я не получил, она вручила мне ключ к искомому.

Но случилось это уже после того, как прибыл второй пакет из Москвы. То, что пакет, а не просто тоненькое письмецо, обрадовало всего более. Значит, удручающего слова "нет" прочесть не придется.

И действительно, в архиве нашлось нечто новое: еще три письма Скутиной к Льву Николаевичу Толстому.

"Я получила от вас письмо и книги, за что душевно вас благодарю..." Это написано вскоре после того, как Толстой ей ответил. Достиг ли ответ из Ясной Поляны своей цели? Успокоил? Примирил с действительностью? Нет, нет и еще раз - нет.

Строй мыслей Скутиной я, пожалуй, предугадал. В письме ее, написанном почти через месяц после получения толстовского, все еще звучит растерянность. Она мучительно пытается отыскать выход из тупика, выход в свете советов писателя и... не находит. С радостью, пишет крестьянка, стала бы готовиться к экзамену на помощницу учительницы, а затем взялась бы за столь святое дело ("наша глухая провинция очень нуждается в просвещении"), но на пути к

этому так много преград. "Прошу вас, помогите мне стать человеком!" - обращается Скутина к Толстому, и в словах ее слышится мольба.

На конверте письма помета Толстого: "Б.О." Это значит - "без ответа".

Многие сотни людей - письменно и лично - обращались к нему с просьбами о помощи. Но что, кроме сочувствия, мог он им дать? Если бы его состояния хватило для того, чтобы высушить все слезы! Увы, не хватит. Слишком невелико оно, да и не ему принадлежит - наследники уже давно вошли в права хозяев... будоражить же себя и других однообразными отказами было выше сил. Пусть извинят, поймут и довольствуются тем, что он щедро дает на пользу людям: мысль, слово, тепло души.

"Б.О." - такие пометы стоят и на двух последующих письмах Скутиной, присланных в новом, 1907 году. В них она уже открыто просила материальной помощи.

Эти письма содержат и некоторые детали ее жизни. Скутина, в частности, писала, что муж вот уже три года как уехал в Сибирь на заработки, но сколько наживает, столько и пропивает, а она с сыном из милости живет в семье крестного отца, где слышит только брань и упреки...

... Нет, Толстой не помог своей корреспондентке выйти из тупика, в который ее загнала жизнь. Но Скутина на милость судьбы сдаваться не намеревалась.

Вот теперь о "ключе", врученном мне Лидией Васильевной. Со все большим нетерпением ждал я ответа со станции Кедровка. Неужели не дошло?

Снова написал Локшин. Он сообщал о той же Лидии Васильевне. По его данным, женщина жила на станции Кедровка лет десять тому назад, а теперь сменила место жительства. Адреса сообщить не мог. Но и возврата письма "за ненахождением адресата" не было.

Каждое утро, получая почту, я прежде всего бросал взгляд на обратный адрес, ожидая найти название уральской станции и фамилию Скутиной. Потому-то, думаю, не сразу мое внимание остановилось на письме из Ленинграда, от В. И. Юрьева. А в нем и содержался тот самый долгожданный "ключ".

Уже из первых строк письма я узнал, что Юрьев - это не кто иной, как младший сын Афанасии Семеновны Скутиной. Сын, о котором я и не подозревал.

Юрьев сообщал, что Лидия Васильевна, вдова старшего брата, переслала ему полученное от меня письмо, и заверял, что могу рассчитывать на любую помощь, которая окажется ему по силам.

Хотя автор письма предупреждал, что знает немного, ибо родился в 1924 году, от второго брака Скутиной, уже в этом письме содержались настолько важные сведения, что я окончательно убедился: с незаурядным человеком свело меня и в этот раз изучение переписки Льва Толстого.

Несомненно, судьба его уральской корреспондентки не стала совершенно ясной с первым письмом Юрьева. И со вторым, и с третьим. Каждый новый факт, сообщенный им, как правило, вызывал дополнительный, встречный вопрос, любой из отысканных в семейных архивах документов служил поводом к размышлениям, требовавшим подтверждения или возражения. С помощью питерца в разыскания были втянуты другие люди, которые могли сообщить хоть что-то важное. Очень кстати, например, оказалась исписанная ученическая тетрадка - заметки В. С. Скутина, внука Афанасии Семеновны, сына ее первенца, о судьбе которого некогда думал великий писатель... Виталий Семенов жил в одном из сел близ Нижнего Тагила.

Не остались без ответа запросы в архивы Урала, обращения к новым людям в местах, где протекала жизнь Скутиной. Все отвечали охотно. Только Н-ов, когда я попросил его обосновать свои обвинения, предпочел не откликаться. Что ж, как говорится, вольному воля. Хорошо, однако, что то его "свидетельство" не отбило у меня желания продолжать поиски. Поверь тогда навету, опусти руки и - не узнал бы много важного. А теперь передо мною была

большая и яркая книга. Книга жизни Афанасии Скутиной... Раскроем же эту книгу, прочтем страницу за страницей. Страница первая - детство. Оно было нелегким. Отец слыл в округе мастером на все руки. Что в кузнечном, что в слесарном, что в столярном деле - в любом знал толк Семен Павлович. Но ничего не нажил он своими трудами. Ни дома, ни хозяйства.

- Прихлебалы вы у меня, хомуты на шее, - выговаривал ему дядя, Иван Яковлевич, хозяин деревенской лавки, именовавший себя купцом. - Давно без меня ноги бы протянули, голытьба!.. Вот вышвырну вас... - угрожал он племяннику, его жене и дочери, занимавшим убогий флигелек за лавкой.

Ради них, своих близких, и сносил все обиды Семен Скутин. Был он не из тех, которые умеют постоять за себя, и помыкали им сельские мироеды как вздумается. Только хватив изрядно водки или самогону, становился Семен Павлович смелее и мог высказать этим людишкам все, что о них думал. Даже в драку бросался, чтобы доказать: человек он, а не бесчувственная тварь.

Однажды вечером, после особенно злой пьяной стычки, принесли его домой изрезанного, окровавленного. Раны оказались смертельными, Афанасия стала сиротой. Сиротой и... батрачкой.

"Сердобольный" торгаш, на людях называвший ее не иначе, как "крестница" или даже "дочка", мигом впряг малолетнюю девочку в большую и скрипучую телегу своего хозяйства.

Она работала, не разгибая спины, не зная отдыха, а Иван Яковлевич выискивал для нее все новые дела. Их, этих треклятых дел, ничуть не убавилось и тогда, когда девочка стала учиться.

Не добросердечием, как пытался представить лавочник свое отношение к ученью Афанасии, а опять же интересами своекорыстными объяснялось то, что, заметив способности родственницы-батрачки, стал он поощрять ее в занятиях. Чуть подучится, надеялся хозяин, и будет дома даровой писарь, даровой счетовод, не понадобится нанимать человека со стороны, платить ему. Снова выгода!

...Мы переворачиваем страницы в книге жизни. Детство ушло быстро, за работой незаметно пролетели отроческие годы, пришла юность.

Оставаясь батрачкой, Афанасия чувствовала себя богаче всех - так много раскрыли перед ней книги. Ее воображение заполнили люди светлых мечтаний и хороших дел. Все чаще - наяву и во сне - грезилась она о том, как будет жить, трудиться для народа, как разорвет домашние оковы и станет свободной, гордой гражданкой.

Разорвать оковы должен был помочь некто большой, сильный. Герой девичьих грез обернулся Василием Скутиным из села Егоршино.

Не знала она, не могла и подумать, что и в этом обманул ее "богобоязненный" Иван Яковлевич, задумавший переманить к себе бойкого, хотя часто и нетрезвого, приказчика у конкурента Черенкова. Дело он провернул таким образом, что Афанасия даже не успела толком узнать своего жениха.

Тем тяжелее было пробуждение. Вскоре после свадьбы молодой муж в пьяном угаре поднял на нее руку. Она отвела ее. Этого оказалось достаточно, чтобы избить Афанасию до кровавых синяков. И вновь потянулись безрадостные дни.

Недолго прожили они вместе. Вскоре после рождения первенца, Семена, Скутин исчез. Окольными путями доходили вести: видели его в Сибири, работает у богатого купца, только ждать денег не стоит - что наживет, то и пропьет.

Ну и пусть не шлет ничего. Ну и пусть смеются на селе - "грамотейку мужик бросил". А она и без мужа добьется своего - сына в люди выведет и сама в темноте не погрязнет.

Как стать полезной людям? Афанасия зачастила в маленькую волостную больничку, к фельдшерице. Однажды съездила в уезд и привезла книжек - про то, как раны перевязывать да

болезни лечить. Не пожалела всех своих скудных сбережений - добилась приема на курсы, где обучали сестер милосердия.

Скоро это пригодилось. Началась война с японцами. Оставив сына под присмотр свекрови, она поступила в госпиталь. Потом стала ухаживать за ранеными в санитарных поездах, что направлялись с Дальнего Востока в Москву, в Петербург. Дело поглотило ее целиком.

"...Главное управление Российского общества Красного Креста удостоверяет, что согласно постановления своего от 18 мая 1906 года высочайше утвержденная в 19-й день января 1906 года Медаль Красного Креста в память участия в деятельности общества во время русско-японской войны 1904-1905 гг. выдана крестьянке Афанасии Семеновне Скутиной".

Это - документ. С ним вместе прибыла красивая медаль.

Но куда дороже медали (хотя ею и гордилась) было для Скутиной воспоминание о днях, когда могла она облегчить страдания людей и слышать душевные слова: "Спасибо, сестрица".

О многом наслушалась Афанасия у солдатских коек, многое повидала в поездках. Больше, чем писали в самых толстых книгах, знала она теперь о России, о войне, о бедствиях народа. Понятнее, ближе стало и отвлеченное дотоле слово: революция. Своими глазами видела Скутина площадь в Питере, навсегда вобравшую, впитавшую в себя выстрелы, кровь и стоны Кровавого воскресенья.

...А в Хайдуке все оставалось по-старому. Встречи с сыном, о которой она мечтала долгие дни, для счастья оказалось мало. Напротив, эта встреча еще более разбередила душу. Мальчик показался матери по-особому смышленным, и тем больнее было думать, что впереди у него нет ничего отрадного.

Где же счастье? В чем оно?

"В чем счастье?" - так называлась книжка, попавшаяся ей как-то на глаза. Лев Толстой... Скутина читала "Войну и мир", "Анну Каренину", "Воскресение" и очень любила эти произведения. Но прочитанное сейчас было совершенно иным. С первых же строк ее увлекло знание писателем тяжелого положения крестьянства, сочувствие трудовому люду, страстное разоблачение церковной лжи. А все же к чему зовет он, великий и мудрый человек? Терпеть? Не противиться злу? Стараться жить чище? Да будь она трижды святой - не жить ей и ее сыну по-человечески, если после одной оплеухи станет подставлять щеку для другой. Богатей не упустят своего, не поделятся по доброй воле, не отдадут того, что награбили.

Еще раньше Афанасия пробовала писать стихи. Перед отъездом она сожгла никем не читанную тетрадку. Теперь захотелось передать на бумаге все наблевшее. Одно за другим были написаны "Доля крестьянки", "Работница", "Сентябрь", "Средь шумной столицы", в которых речь шла о тяжелой доле сельской женщины, о безрадостном детстве крестьянских ребят, о мраке невежества. Сквозь все проглядывала мечта о "золотой поре" избавления от гнета. Нет, само по себе избавление не наступит!

Редакции журналов, которым Скутина послала свои стихи, отвергли их. Тогда она решила обратиться к Толстому. Вот бы прочел... Вот бы дал свой совет...

Писатель откликнулся скорее, чем могла рассчитывать его далекая корреспондентка. Однако он повторял то же, о чем писал в книге "В чем счастье?". Письмо не рассеяло недоумений. Смириться с действительностью, не роптать, даже в стихах не сетовать на несправедливость? Не того ждала она, не того...

Присланные книги тоже не внесли спокойствия и умиротворения в мятущуюся душу крестьянки. На какое-то время "Мысли мудрых людей", "мысли о воспитании и обучении, собранные В. Чертковым", "Сказка об Иване дураке" и другие книги, полученные от писателя, поглотили ее внимание, но и после прочтения осталась та же неопределенность.

Скутина остановилась на распутье. Все ее планы и мечты оказались погребенными в убожестве жизни. Пришла апатия, и в таком состоянии она простила вернувшегося после

долгих странствий мужа, даже попыталась развернуть после смерти Ивана Яковлевича торговое дело, которое так не любила. Не все ли равно?

Без всякой пользы проходили годы, растрчивалась жизнь.

И наверняка нечего было бы рассказать о ней, если бы не революции.

Февраль, а затем Октябрь подняли Скутину к жизни, а жизнь означала для нее одно - действие. Она стала поборником всего нового.

Вот когда пригодились крестьянской женщине знания, почерпнутые из множества прочитанных книг, равно как и опыт, добытый в суровых университетах жизни. Скутина с увлечением взялась за трудную, беспокойную работу агитатора. Она стала первой в деревне красной делегаткой. Не было ни одного общественно важного дела, в которое не был бы "несен ее боевой дух.

Враги грозили расправиться с ненавистной им "агитаторшей", угрожали всяческими бедами ее детям: подростку Семену и малышу Николаю. Но активистку не могли запугать. Сельские мироеды попытались использовать в своих гнусных целях морально неустойчивого Василия Скутина. Афанасия Семеновна решительно - и теперь уже бесповоротно - порвала со своим мужем, оказавшимся в чужом ей стане.

Обстановка осложнялась. Белогвардейские отряды давали о себе знать то в одном, то в другом селе. Надо было готовиться к вооруженному отпору. И она действовала. Это едва не стоило ей жизни.

Белая дружина сразу после своего воцарения схватила Афанасию Семеновну. Приговор был predetermined: смерть. С тем и отправили ее в волостной центр. Каким-то чудом смертная казнь миновала активистку. Скутину подвергли порке и другим истязаниям. Она вышла из "холодной" инвалидом. Но - вышла. А коль так, то свою работу не прекратила.

"Когда мы вернулись, то она была искалечена и ходила на костылях", - вспоминает та же Никонова, на свидетельстве которой мне уже довелось сослаться.

Да, Скутина знала, за что и как вести борьбу.

...Делегатский билет № 126 на Екатеринбургскую губернскую конференцию. Скутину направили сюда ее товарищи по Ирбитскому уезду. Это было в самом начале 1920 года.

...Удостоверение о назначении на должность организатора Шогринской волости - выдано летом того же, двадцатого.

...Мандат на проведение "собрания с гражданами, не имеющими семян в Лайдуковском обществе". Он предписывает "оказывать тов. Юрьевой помощь вплоть до предоставления подвод". Дата - май 1921 года.

Юрьевой? Ах да, эту фамилию носит сын от второго брака. Так вот в какое напряженное время нашла женщина свое личное счастье... Ее другом, ее мужем стал такой же, как она сама, рядовой партиец Илья Юрьев. Их свела совместная работа.

До чего волнуют эти скромные, истертые на сгибах, пожелтевшие от времени листки-документы! Каждый несет в себе свое, новое, позволяя ярче, полнее представить их владелицу в тревожное время.

Мандаты, удостоверения, справки... Но что это?

"Юрьева Роза Семеновна..." Почему "Роза"? Снова - "Розе Семеновне Юрьевой поручается..." Как понять? Если ошибка, то почему она многократно повторяется?

"Никакой ошибки нет", - ответил на мой вопрос Юрьев из Ленинграда. И я узнал "секрет" нового имени.

...Шел 1924-й. Юрьевы жили в другом месте - Илью Ивановича, в прошлом питерского пролетария, затем красногвардейца, направили на егоршинские угольные копи (ныне город Артемовск). Нашлось здесь дело и для Афанасии Семеновны - она развернула большую работу среди женщин.



В том году ей вновь довелось пережить радость материнства. "Крестить" новорожденного решили по-новому, а назвать Владимиром.

Официальное свидетельство - на плохонькой бумаге, но сколько в нем революционной страсти! "Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что в ряды трудящихся СССР вступил новый гражданин Юрьев Владимир Ильич. Мы, собравшиеся на крестинах, приветствуем в тебе нового борца за дело трудящихся, за достижение нашей великой цели...

...Не поповским крестом и молитвой введен ты в гражданство СССР. Помни, что тебя не коснулось наследие темноты, невежества, рабства, дурманом которых утешали, сковывали умы угнетатели. Ты свободен от этих оков. Твои старшие товарищи наказывают тебе идти по единственному правильному пути.

Иди этим путем и будь постоянным сыном своего класса, достойным носить имя борца революции..."

В каждой строчке - высокий накал времени.

...Мать новорожденного на том торжественном вечере получила еще один документ. Она сама решила отречься от старого, попом данного имени и взять себе новое, революционное.

Героиней Афанасии Семеновны с давних пор была Роза Люксембург. В честь нее и приняла женщина имя: Роза.

История ее жизни могла бы послужить материалом для романа. Я же, насколько это возможно, стараюсь быть кратким. Факты, только факты...

Многое выпало на долю бывшей корреспондентки Льва Толстого. Но главным для Скутиной-Юрьевой стало созидание новой жизни на селе.

Илья Иванович был направлен для организации сельхозартели в деревню Семенчи. Переехав с мужем, она быстро заслужила добрую славу у еще совсем недавно незнакомых людей. "Председательша" стала инициатором радиофикации деревни; по ее предложению создали первую в районе столовую, первую пошивочную мастерскую, первый коллектив художественной самодеятельности.

Если тогда, после получения письма из Ясной Поляны, женщина вняла совету "не писать", то теперь она вновь взялась за литературное творчество.

Сельские артисты буквально измучились без репертуара на злобу дня, и их руководительница попыталась восполнить этот пробел. В Семенчи, в других селах, в самом районном центре поныне помнят поставленные ею пьесы "Леон-подкидыш", "Пасхальная свечка" и другие. Сама же она их и написала.

...Две тощие ученические тетрадки. На одной из них название: "Пасхальная свечка". Ниже стоит подзаголовок: "Пьеса в 4-х действиях". И пометка: "Сюжет пьесы взят с факта".

Борьба нового со старым - вот идея "Пасхальной свечки". Досконально зная быт села, весь уклад его жизни, находясь в самой гуще крестьянства, автор сумел показать и тех, кто всеми силами цепляется за отжившее, прошлое, и тех, кто им противостоит. Характерна приписка в самом конце: "Здесь можно говорить-агитировать против темноты деревни". Против этого агитировала вся пьеса.

Нет, крестьянка не отказалась от литературного труда, и хотя высот в нем не достигла, смогла поставить его на службу людям. А ведь об этом, только об этом мечтала Афанасия из Хайдука, когда посылала свои стихи Толстому.

Это была деятельная, неутомимая натура. Новые и новые подробности, которые я черпал из писем, документов, рассказов, подтверждали правильность такого вывода.

Продолжить ее историю - значит вспомнить, как уже на шестом десятке лет организовала она из таких же, как сама, пожилых женщин специальную бригаду и на деле доказала возможность выращивать в довольно суровых условиях хорошие овощи.

Вести рассказ дальше - это припомнить ее заметки с критикой недостатков в уральских газетах, инициативу и расторопность в развертывании сельских бытовых мастерских, поведать о

том, как в военную годину она стала одной из зачинательниц сбора теплых вещей для фронтовиков.

Среди них были ее сыновья, ее внуки. В первые дни войны настоял на досрочном призыве семнадцатилетний Владимир. Ушли воевать средний сын - Николай, внук Виталий и другие члены семьи.

Она писала им. Писала душевные, бодрые письма, исполненные веры в разгром врага. Даже большое личное горе - гибель Николая - не лишило ее стойкости. До сих пор хранит Владимир Юрьев одно из писем, полученных им в промежутке между боями.

Всего несколько дней не дожидая она до светлого праздника победы. Но ей посчастливилось слышать по радио торжественные залпы столицы в честь доблестных воинов, которые вели бои уже на подступах к Берлину...

1966